

9 ДЖОН ГОЛСУОРСИ

ДЖОН
ГОЛСУОРСИ

ДЖОН
ГОЛСВОРСИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 9

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1962

Путь святого

«...Где силы брал он,
Чтобы жить так долго?»

*Шекспир,
«Король Лир».*

Перевод
Л. Чернявского
под редакцией
А. Мионовой.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Такие дни радуют душу. Июль поднял все свои флаги; пылало солнце, пылали маки; белые бабочки гонялись друг за дружкой, пчелы хлопотали над чашечками львиного зева. Зацветали липы. В саду на клумбах высокие белые лилии уже догоняли дельфиниумы; йоркские и ланкастерские розы, в полном цвету, раскрыли свои золотые сердечки. Дул мягкий ветерок, суета, шум и гам лета волнами поднимались и стихали в ушах Эдварда Пирсона, возвращавшегося из одинокой прогулки вокруг Тинтернского Аббатства. Он только сегодня утром приехал в Кестрель, что на берегу реки Уай,—погостить у своего брата Роберта; по дороге он останавливался на курорте Бат, и теперь лицо его покрывал тот неровный загар, какой обычно бывает у людей, постоянно живущих в городе. Проходя по узкой заросшей аллее, он слышал звуки музыки — кто-то бренчал на рояле вальс; Пирсон улыбнулся — музыка была самой большой его страстью. Его черные, седеющие волосы были откинuty назад, потный лоб он обмахивал соломенной шляпой; лоб был неширокий, хотя и составлял самую широкую часть узкого овального лица, казавшегося еще уже и длиннее благодаря небольшой бородке клинышком; Ван Дейку могло бы послужить натурой это лицо — серьезное и кроткое, если бы не беспокойный блеск серых глаз с бесцветными ресницами и «гусиными лапками» морщин в уголках и странный, словно невидящий взгляд. Он шел быстро, хотя и устал от жары — высокий, прямой, сухоща-

вый, в сером одеянии священника, с золотым крестиком на черном кашемировом жилете.

Дом его брата был с мансардой — вместительной комнатой с отдельным входом; позади дома раскинулся сад, отлого спускавшийся к железной дороге и реке. Пирсон остановился у развилки аллеи, радуясь звукам вальса и прохладным дуновениям ветерка, шумевшего в платанах и березах. В пятьдесят лет человек, способный чувствовать красоту, родившийся и воспитанный в деревне, всегда тоскует по ней, если безвыездно живет в столице; поэтому утро в старом Аббатстве показалось ему просто райским. А теперь он всей душой отдался созерцанию пронизанной солнечным светом зеленой рощи, приглядывался к паукам, маленьким блестящим жучкам, мухоловкам, воробьям, возившимся в плюще; касался рукой мхов и лишайев; рассматривал глазки цветущей вероники; мечтал сам не зная о чем. Над рощей кружил ястреб, и Пирсон мысленно вместе с ним парил в синеве неба. Он словно совершал какое-то духовное омовение — смывал с души пыльную суету Лондона.

В своем церковном приходе в столице он уже год работал один — его помощник ушел в армию капелланом. И вот теперь — первый настоящий отдых за два года, с начала войны; впервые он очутился и в доме брата. Он поглядел на сад, поднял глаза к верхушкам деревьев, окаймлявших аллею. Чудесный уголок нашел себе Боб после того, как четверть века прожил на Цейлоне. Славный старина Боб! Он улыбнулся при мысли о старшем брате, о его загорелом лице, со свирепо торчащими седыми бакенбардами, чем-то напоминавшем бенгальского тигра. Добрейший из всех смертных! Да, Боб нашел хороший дом для Тэрзы и себя. Эдвард Пирсон вздохнул. У него тоже когда-то был хороший дом, прекрасная жена; она умерла пятнадцать лет назад, но эта рана все еще кровоточила в его сердце. Обе дочери — Грэтiana и Ноэль — не были похожи на его жену; Грэтiana пошла в бабушку, мать Пирсона; а светлые волосы и большие серые глаза Ноэль всегда напоминали ему двоюродную сестру Лилу; та — бедняга! — сделала из своей жизни сплошной сумбур, и теперь, как он слышал, выступает певицей где-то в Южной Африке, зарабатывая этим на жизнь. А какая красивая была девушка!

Несмолкающие звуки вальса словно притягивали его, и он пошел в музыкальную комнату. На дверях висела ситцевая занавеска; он сначала услышал шарканье ног по натертому полу, а потом увидел свою дочь Ноэль, которая медленно вальсировала с молодым человеком в офицерской форме цвета хаки. Они шли тур за туром, кружась, отступая, двигаясь в сторону мелкими шажками,— эти забавные па, наверно, вошли в моду недавно, никогда прежде он не видел таких. У рояля сидела его племянница Ева, на ее розовом лице играла насмешливая улыбка. Но Эдвард Пирсон смотрел только на свою юную дочь. Ее глаза были полузакрыты, щеки немного бледноваты, коротко подстриженные светлые волосы висели над стройной круглой шеей. Она держалась с холодным спокойствием, а молодой человек, в объятиях которого она скользила, видимо, просто пылал; красивый юноша—голубые глаза, золотистый пушок на верхней губе, открытое румяное лицо. Эдвард Пирсон подумал: «Прелестная пара!» И на минуту перед ним встало видение — он сам и Лила, танцующие на празднестве Майской недели в Кембридже, когда ей исполнилось, помнится, семнадцать лет; значит, Лила была тогда на год моложе, чем Ноэли сейчас! А этот молодой человек, должно быть, тот самый, о котором Ноэли все упоминает последние три недели в своих письмах. Что же, они так никогда и не остановятся?

Он прошел мимо них и спросил:

— Тебе не очень жарко, Ноэли?

Она послала ему воздушный поцелуй; молодой человек несколько смутился, а Ева крикнула:

— Это пари, дядя! Они должны меня перетанцевать.

Пирсон сказал мягко:

— Пари? О, дорогие мои!

Ноэль пробормотала через плечо:

— Все хорошо, папа!

Молодой человек выдохнул:

— Мы побились с Евой об заклад на щенка, сэр.

Пирсон уселся, загипнотизированный сонным бренчанием рояля, медленным движением танцующих, каким-то «плывущим» взглядом полузакрытых глаз своей юной дочери, смотревшей на него через плечо, когда

она проносилась мимо. Он сидел и улыбался. Нолли становится взрослой! Теперь, когда Грэтiana замужем, на его попечении — только Нолли! Вот если бы была жива его дорогая жена! Улыбка его угасла; он вдруг почувствовал себя очень усталым. Временами ему казалось, что на нем лежит непосильным грузом физический и духовный труд этих пятнадцати лет. Большинство мужчин женятся снова, но он всегда считал это кощунством. Брачные союзы заключаются навечно, хотя церковь и разрешает вторичный брак.

Он смотрел на юную дочь со смешанным чувством эстетического наслаждения и растерянности. Хорошо ли это для нее? Правда, оба они выглядят счастливыми; но многого он не понимает в этих молодых. Ноэль — такая нежная, такая мечтательная; но подчас в нее вселяется какой-то бесенок. Эти вспышки одержимости Эдвард Пирсон приписывал тому, что она лишилась матери, когда была еще совсем крошкой; а Грэтiana, которая была всего на два года старше, не могла заменить ей мать. Все заботы о дочери легли на его плечи; и он знал, что в чем-то потерпел здесь неудачу. Он сидел и все смотрел на нее, и какая-то необъяснимая горечь закрадывалась в его душу. И вдруг он услышал ее капризный голосок, словно подчеркивающий каждое слово:

— С меня довольно! — И, сев рядом с ним, она схватила его шляпу и стала обмахиваться.

Ева взяла торжествующий заключительный аккорд.

— Ура, я выиграла!

Молодой человек пробормотал:

— Слушайте, Ноэль, мы ведь могли бы потанцевать еще!

— Конечно; но папе скучно, правда, папа? Это — Сирил Морленд.

Пирсон пожал молодому человеку руку.

— Папочка, у тебя загорел нос!

— Да, дорогая, я знаю.

— Я тебе дам белой мази. Ты намажешься на ночь. Дядя и тетя тоже пользуются ею.

— Нолли!

— Так мне сказала Ева. Если вы собираетесь купаться, Сирил, будьте поосторожнее, там быстрое течение.

Молодой человек, смотревший на нее с откровенным обожанием, сказал: «Хорошо!» — и вышел.

Ноэль проследила за ним глазами; Ева нарушила молчание.

— Если ты хочешь принять ванну перед чаем, Нолли, ты лучше поспеши.

— Я сейчас. Хорошо было в Аббатстве, папа?

— Изумительно! Словно какая-то великолепная музыка.

— Папа всегда все переводит на музыку. Ты бы посмотрел Аббатство при лунном свете; это просто величественно. Ну ладно, Ева, я бегу! — Но она не встала с места, а когда Ева ушла, взяла отца под руку и шепотом спросила:

— Как тебе нравится Сирил?

— Душенька, что я могу сказать? Как будто очень приятный молодой человек.

— Хорошо, папа, не надо... Здесь замечательно, правда?

Ноэль встала, чуть потянулась и пошла к двери — коротко подстриженные выющиеся волосы придавали ей вид долговязого подростка.

Пирсон смотрел ей вслед и, когда она исчезла за занавесью, подумал: «Какое прелестное существо!» Он тоже поднялся, но не пошел за ней, а сел к роялю и начал играть Прелюдию и Фугу ми-минор Мендельсона. У него было прекрасное туше, и играл он с какой-то страстной мечтательностью. Только музыка и помогала ему: это был безошибочный способ преодолеть растерянность, сожаление, тоску.

В Кембридже Пирсон собирался стать профессиональным музыкантом, но по семейной традиции он предназначался для священнического сана; подъем религиозных настроений в те дни захватил и увлек его.

У него были личные средства, и свою молодость перед женитьбой он провел довольно счастливо в одном из приходов лондонского Ист-энда. Не только иметь возможность, но и быть призванным помогать бедным — это было увлекательно. Сам человек простой, он близко принимал к сердцу горести своих неимущих прихожан. Когда он женился на Агнессе Хэриот, ему дали самостоятельный приход, как раз на границе восточной и западной

части Лондона; он так и остался в этом приходе после смерти жены. Горе чуть не убило его самого; но легче было жить и работать там, где все напоминало о той, которую он поклялся никогда не забывать и не связывать себя другими узами. Однако он чувствовал, что служение церкви далеко не так увлекает его, как при жизни жены или даже до женитьбы. Иногда он сомневался, помогли ли ему двадцать шесть лет пребывания в сане священника в точности понять то, во что он верует. Все было записано и установлено в тысячах его проповедей, но заново вникнуть в свою веру, углубиться в ее корни—значило бы подкапываться под фундамент еще крепкого дома. Некоторые люди стремятся в область непостижимого и полагают, что все догматы более или менее одинаковы; но Эдвард Пирсон решительно предпочитал догму англиканской церкви учению, скажем, Зороастра. Едва заметные перемены в жизни или новшества, вносимые наукой, не порождали в его душе мыслей о несовместимости их с религией и не вели к отказу от нее. Чувствительный, человеколюбивый и только в глубине души воинствующий, он инстинктивно избегал споров, если видел, что может причинить боль другим, а они ему. Впрочем, от него трудно было ожидать истолкования явлений — он не опирался на Разум и лишь очень редко углубленно изучал что-либо. Как и в старом Аббатстве, следя за ястребом и глядя на насекомых и травы, он уносился куда-то в бесконечное, так и теперь — звуки, которые он сам создавал, увлекали его снова в мир высокого душевного волнения; он не замечал, что, собственно, был сейчас в одном из глубочайших своих религиозных настроений.

— Ты разве не пойдешь пить чай, Эдвард?

У стоявшей позади него женщины в лиловом платье лицо было из тех, которые навсегда сохраняют наивное выражение. Тэрза Пирсон, как и все матери, прекрасно знала жизнь. В годы горя и тревог, как и в эту мировую войну, Тэрза Пирсон была незаменима. Она никогда не высказывала своего мнения о высоких материях, она только повторяла и утверждала некоторые общеизвестные истины. Так, например: хотя вся планета сейчас охвачена войной, есть все-таки и мир; хотя сыновья погибают на войне, остается мате-

ринство; хотя все умирают за будущее, существует, однако, и настоящее. Ее спокойная, мягкая, будничная деловитость, взгляд по-молодому живых глаз — все в ней свидетельствовало о том, что двадцать три года жизни на чайной плантации в жаркой части Цейлона не сказали на нее никакого влияния, как, впрочем, и на Боба Пирсона; по внешнему виду Тэрзы нельзя было подумать, что ее постоянно обуревают тревога матери, у которой два сына на фронте, и что ей почти каждый день приходится слушать рассказы о таких же горестях от многих женщин, с которыми она встречалась. Она была невозмутима и напоминала изображение «Доброты» на картине какого-то старого мастера, реставрированной Кэт Гринуэй¹. Она никогда заранее не готовилась к жизненным бедам, но когда они приходили, справлялась с ними наилучшим образом. Такова уж она была, и Пирсон всегда чувствовал, что отдыхает в ее присутствии.

Он послушно встал и пошел с ней через лужайку к большому дереву в конце сада.

— Как ты находишь Ноэль, Эдвард?

— Очень мила. А что этот молодой человек, Тэрза?

— О... Боюсь, он по уши влюблен в нее.

Пирсон в замешательстве пробормотал что-то, и она просунула ему под рукав свою мягкую, округлую руку.

— Он скоро едет на фронт, бедный мальчик!

— Они говорили с тобой?

— Он говорил, а Нолли нет.

— Нолли странный ребенок, Тэрза.

— Нолли — прелесть, но у нее какой-то отчаянный характер, Эдвард.

Пирсон вздохнул.

«Отчаянный характер» сидел в качалке под деревом, где был накрыт стол для чаепития.

— Просто картинка! — сказал Пирсон и снова вздохнул.

До него донесся голос брата, высокий и хриплый, словно подпорченный климатом Цейлона:

— Ты неисправимый мечтатель, Тэд! Мы тут съели всю малину. Ева, дай ему хоть варенья, он, наверно,

¹ Г р и н у э й, Катарина (1846—1901) — английская художница-иллюстратор.

умирает от голода. Фу, какая жара! Дорогая, налей ему чаю. Здравствуйте, Сирил! Хорошо искупались? Ах, черт побери, мне бы хоть голову смочить! Садитесь рядом с Нолли—она будет качаться и отгонять от вас мух.

— Дай мне сигарету, дядя Боб,—попросила Нолли.

— Что?! Твой отец не...

— Это я от мух. Ты не возражаешь, папа?

— Не возражаю, если это уж так необходимо, милая.

Ноэль улыбнулась, показав верхние зубы; глаза ее, казалось, плыли под длинными ресницами.

— Нет, не так уж необходимо, но приятно.

— Ха, ха! — рассмеялся Боб Пирсон.— Ну, держи сигарету, Нолли!

Но Ноэль покачала головой. В эту минуту ее отца больше всего тревожила мысль о том, как она повзрослела; она сидела в качалке такая спокойная, сдержанная, а молодой офицер примостился у ее ног, и его загорелое лицо светилось обожанием. «Она больше не ребенок! — подумал Пирсон.— Милая Нолли!»

ГЛАВА II

Разбуженный ежедневной пыткой — принесли горячую воду для бритья,— Эдвард Пирсон проснулся в комнате с ситцевыми занавесками, и ему показалось, что он снова в Лондоне. Дикая пчела, охотившаяся за медом у вазы с цветами на подоконнике, и сильный запах шиповника нарушили эту иллюзию. Он раздвинул занавески и, став коленями на подоконник, высунул голову в окно. Утренний воздух был пьяняще свеж. Над рекой и лесом стелился легкий туман; лужайка сверкала росой, две трясогузки пролетели в солнечном сиянии. «Благодарение богу за эту красоту! — подумал он. Но каково бедным мальчикам там, на фронте!..»

Опершись руками о подоконник, он стал молиться. То же чувство, которое побуждало его украшать свою приходскую церковь — он любил красивые облачения, хорошую музыку, ладан, — владело им и сейчас. Бог был в красоте мира и в его церкви. Человек может поклоняться ему в буковой рощице, в красивом саду, на высоком холме, у берегов сверкающей реки.

Бог в шелесте ветвей, и в гудении пчел, и в росе, покрывающей траву, и в благоухании цветов — он во всем! И к обычной молитве Пирсон прибавил шепотом: «Я благодарю тебя за мои чувства, всевышний! Сохрани их во всех нас светлыми, благодарными за красоту». Он стоял неподвижно, весь во власти какого-то блаженного томления, близкого к печали. Подлинная красота всегда приводила его в такое состояние. Люди так мало ее видят и никогда не наслаждаются ею в полную меру. Кто-то сказал недавно: «Любовь к красоте — это на самом деле только инстинкт пола, и его удовлетворяет только полный союз». Ах, да, — это сказал Джордж, муж Гретианы, Джордж Лэрд! Небольшая морщинка обозначилась меж его бровей, словно он внезапно укололся о шип.

Бедный Джордж! Впрочем, все они, эти врачи, в душе — материалисты, хотя и прекрасные ребята; и Джордж тоже славный парень, он просто до смерти заработался там, во Франции. Но их нельзя принимать всерьез. Он сорвал несколько веток шиповника и поднес их к носу, на котором еще остались следы белой мази, принесенной ему Ноэль. Сладкий запах чуть шероховатых лепестков вызвал в нем какую-то острую боль. Он бросил шиповник и отошел от подоконника. Нет, никакой тоски, никакой меланхолии! В такое прекрасное утро надо быть на воздухе!

День был воскресный; но он сегодня свободен — и от трех служб и от чтения проповеди. День отдохновения, наконец-то его собственный день! Его это даже как-то смущало; так долго он чувствовал себя рабочей лошадью, которую нельзя распрягать из боязни, что она упадет. Он начал одеваться с особой тщательностью и еще не кончил, когда кто-то постучал в дверь и послышался голос Ноэль:

— Можно войти, папа?

В бледно-голубом платье, с дижонской розой, приколотой у ворота, открывавшего загорелую шею, она казалась отцу олицетворением свежести.

— Письмо от Гретианы; Джорджа отпустили в Лондон, он болен и сейчас у нас в доме. Ей пришлось взять отпуск в госпитале, чтобы ухаживать за ним.

Пирсон прочел письмо. «Бедный Джордж!»

— Папа, когда ты позволишь мне стать сестрой милосердия?

— Надо подождать, пока тебе исполнится восемнадцать, Нолли!

— А я могу сказать, что мне уже исполнилось. Всего месяц остался — и выгляжу я гораздо старше.

Пирсон улыбнулся.

— Разве не так, папа?

— Тебе, наверно, что-то между пятнадцатью и двадцатью пятью, родная, если судить по твоему поведению.

— Я хочу поехать как можно ближе к фронту.

Она закинула голову так, что солнце ярко осветило ее довольно широкое лицо и такой же широкий лоб, обрамленный волнистыми, светло-каштановыми волосами, короткий, несколько неопределенной формы нос, еще по-детски округлые, почти восковой прозрачности, щеки и голубоватые тени под глазами. Губы были нежные и уже любящие, серые глаза, большие и мечтательные, чем-то напоминали лебедя. Он даже не мог представить ее в форме сестры милосердия.

— Это что-то новое, да, Нолли?

— Обе сестры Сирила Морленда там; и сам он тоже скоро идет на фронт. Все идут.

— Грэтиана еще не уехала. Требуется время для подготовки.

— Я знаю. Тем более надо начинать поскорее.

Она встала, посмотрела на него, потом на свои руки, казалось, собираясь что-то сказать, но не сказала. Легкий румянец окрасил ее щеки. Чтобы только поддержать разговор, она спросила:

— Ты идешь в церковь? Забавно послушать, как дядя Боб читает Поучения, особенно когда он будет путаться... Не надо надевать длинный сюртук до того, как пойдешь в церковь. Я этого не потерплю!

Пирсон послушно отложил сюртук.

— Ну, теперь можешь взять мою розу. А нос твой много лучше! — Она поцеловала его в нос и воткнула розу в петлицу его куртки.

— Вот и все. Пойдем!

Он взял ее под руку, и они вышли вместе. Но он знал: она пришла сказать ему что-то и не сказала.

Бобу Пирсону, как человеку наиболее состоятельному из всех прихожан, оказывалось уважение: он всегда читал библию; читал он высоким, глухим голосом, не всегда соразмеряя дыхание с длиннотами некоторых периодов. Прихожане привыкли слушать его, и их это особенно не смущало; он был человеком полезным и желательным компаньоном в любом деле. Только собственную семью он этим чтением всегда приводил в смущение. Сидя во втором ряду, Ноэль важно взирала на профиль отца, сидевшего впереди, и думала: «Бедный папа! У него, кажется, вот-вот глаза на лоб вылезут. О, папа! Улыбнись, нельзя же так!» Сидевший с ней рядом юный Морленд, подтянутый, в военной форме, размышлял: «Она и не думает обо мне». Но в то же мгновение ее мизинчик зацепился за его палец. Эдвард Пирсон волновался: «Ох! Этот старина Боб! Ох!» А рядом с ним Тэрза соображала: «Бедный милый Тэд, как хорошо, что он устроил себе полный отдых. Его надо подкормить — он так исхудал!» А Ева думала: «О господи! Пощади нас!» Сам же Боб Пирсон прикидывал: «Ура! Кажется, осталось всего только три стиха!»

Мизинец Ноэль разжался, но она то и дело украдкой поглядывала на молодого Морленда, и в ее глазах все время, пока длились песнопения и молитвы, светился какой-то огонек. Наконец прихожане, стараясь не очень шуметь, стали рассаживаться, и на кафедре появилась фигура в стихаре.

«Не мир пришел я принести, но меч!»

Пирсон поднял голову. Он был весь погружен в ощущение покоя. Приятный свет в церкви, жужжание больших деревенских мух — все только подчеркивало удивительную тишину. Ни одно сомнение не волновало его душу, но не было и экстаза. Он подумал: «Сейчас я услышу нечто, что пойдет мне на пользу; хороший текст взят для проповеди; когда это я в последний раз читал на этот текст?» Чуть повернув голову, он не видел ничего, кроме простого лица проповедника над резной дубовой кафедрой; давно уже не приходилось ему слушать проповедей, так же давно, как не было у него отдыха! Слова доносились отчетливо, проникали в сознание, как бы поглощались им и растворялись.

«Хорошая простая проповедь,— подумал он.— Мне кажется, я становлюсь черствым; словно я не...»

— Не следует думать, дорогие братья,— убежденно гудел проповедник,— что господь наш, говоря о мече, который он принес, имел в виду меч материальный. Упомянутый им меч был меч духовный, тот светлый меч, который во все века разрубал путы, налагаемые людьми на себя во имя удовлетворения своих страстей, налагаемые одними людьми на других во имя удовлетворения своего честолюбия; разительный пример тому — вторжение нашего жестокого врага в маленькую соседнюю страну, которая не причинила ему никакого вреда. Братья, все мы должны нести меч!

У Пирсона дернулся подбородок; он поднял руку и провел ею по лицу. «Все должны нести мечи,— подумал он.— Мечи... Я не сплю; да, это так!»

— Но мы должны быть уверены, что наши мечи светлы; что они сияют надеждой и верой; тогда мы увидим, как сияют они среди плотских вожделений сей брэнной жизни, как прорубают нам дорогу в царство божие, где царит только мир, подлинный мир. Помолимся!

Пирсон не стал прикрывать рукой глаза; он еще шире открыл их, когда преклонил колени. Сзади Ноэль и юный Морленд тоже опустились на колени, и каждый прикрыл себе лицо только одной рукой; ее левая рука, как и его правая были свободны. Они почему-то стояли на коленях несколько дольше, чем все другие, и, поднявшись, запели гимн немного громче.

По воскресеньям газет не было — даже местной, которая своими крупными заголовками вносила благородную лепту в дело победы. Не было газет — значит, не было известий о солдатах, взлетевших на воздух при взрывах артиллерийских снарядов; ничто не всколыхнуло тишины жаркого июльского дня и не помешало усыпительному действию воскресного завтрака, изготовленного тетужкой Тэрзой. Одни спали, другие думали, что бодрствуют, а Ноэль и юный Морленд поднимались через лесок к раскинувшемуся на холмах, заросшему вереском и дроком лугу, над которым возвышались так называемые Кестрельские скалы. Ни слова о любви не было еще сказано между молодыми людьми; их влюб-

ленность выражалась только во взглядах и прикосновениях.

Молодой Морленд был школьным товарищем братьев Пирсонов, которые сражались на фронте. У него не было семьи — родители его умерли; сейчас он не впервые появился в Кестреле. Три недели назад он приехал сюда в последний отпуск перед отъездом на фронт; возле станции он увидел встретившую его на маленькой тележке девушку и почувствовал сразу, что это его судьба. А что до Ноэль, то, кто знает, когда влюбилась она. Надо полагать, она была готова отозваться на это чувство. Последние два года она заканчивала свое образование в аристократическом учебном заведении; несмотря на предусмотренные программой занятия спортом, а может быть, именно благодаря им, там всегда ощущался некий скрытый интерес к лицам другого пола; и никакие, даже самые строгие меры не могли воспрепятствовать этому. Потом, когда почти вся молодежь мужского пола исчезла, брошенная в мясорубку войны, интерес к мужчинам усилился. Мысли Ноэль и ее школьных подруг невольно обратились к тем, кто в довоенное время, по их уверениям, играл для них весьма второстепенную роль. Над этими юными созданиями нависла угроза, что они будут лишены любви, замужества, материнства, от века предуказанных судьбой миллионам женщин. И совершенно естественно, девушки тянулись к тому, что, как им казалось, ускользает от них.

Ноэль нравилось, что юный Морленд все время провожает ее взглядом, явно показывая, что с ним творится; затем это приятное чувство сменилось легким волнением; волнение — мечтательностью. Потом, примерно за неделю до приезда отца, она уже сама начала украдкой заглядываться на молодого человека. Она стала капризной и чуточку злой. Будь здесь другой юноша, которому можно было бы отдать предпочтение... но такого не было; поэтому она отдавала предпочтение рыжему сеттеру дяди Боба. В душе Сирила Морленда нарастало отчаяние. В последние три дня бес, которого так страшился отец, окончательно овладел Ноэль. Однажды вечером, когда они с Морлендом возвращались с лугов, она посмотрела на него искоса; тот так и ахнул:

— О Ноэль, что я такого сделал?

Она схватила его руку и на мгновение сжала ее. Боже, какая перемена! Какая счастливая перемена!..

Теперь в лесу юный Морленд шел молча, только всячески старался прикоснуться к ней. Ноэль тоже молчала и думала: «Я его поцелую, если он поцелует меня». Какое-то нетерпеливое томление ощущала она в крови, но не смотрела на Морленда из-под своей широкополой шляпы. Сквозь просветы в листве пробивались солнечные лучи, придавая густой зелени леса удивительную теплоту; они вспыхивали на листьях буков, ясеней, берез, маленькими ручейками струились на землю, расписывали яркими полосами стволы деревьев, траву, папоротники; бабочки гонялись друг за другом в солнечных лучах, мириады муравьев, комаров, мух, казалось, были охвачены неистовой жаждой бытия. Весь лес был одержим ею, словно вместе с солнечным светом сюда пришел Дух счастья. На середине пути, в том месте, где деревья расступались и вдали была уже видна сверкающая река, Ноэль села на буковый пенек; молодой Морленд стоял, глядя на нее. Почему именно это лицо, а не другое, этот голос, а не другой, заставляют так биться его сердце? Почему прикосновение именно этой руки пробуждает восторг, а прикосновение другой не вызывает ничего? Он вдруг опустился на колени и прижался губами к ее ноге. Ее глаза засияли; но она вскочила и побежала — она никак не думала, что он поцелует ее ногу. Она слышала, как Морленд спешит за ней, и остановилась, прислонившись к стволу березы. Он рванулся к ней и, не говоря ни слова, прижался губами к ее губам. Для обоих наступила та минута, которую не передать словами. Они нашли свое заколдованное место и не уходили отсюда, а сидели обнявшись и их охранял добрый Дух леса. Война — поразительный ускоритель Любви: то, на что должно было уйти полгода, совершилось в три недели. Час пролетел, как минута, и Ноэль промолвила:

— Я должна рассказать папе, Сирил. Я хотела сделать это сегодня утром, но решила, что лучше подождать, а вдруг ты не...

— О Ноэль! — воскликнул Морленд. Это было все, что он мог сказать, пока они сидели здесь. Прошел еще один мимолетный час, и Морленд проговорил:

— Я сойду с ума, если мы не поженимся до моего отъезда.

— А сколько это потребует времени?

— О, совсем немного! Надо только поспешить. У меня шесть дней до явки в часть; и, может быть, командир даст мне еще неделю, если я попрошу его.

— Бедный папа!.. Поцелуй меня еще. Крепко.

Когда долгий поцелуй кончился, она сказала:

— А потом я смогу приехать и быть с тобой, пока ты не уйдешь на фронт? Ах, Сирил!

— О Ноэль!

— А может быть, ты не уедешь так скоро? Не уезжай, если можешь.

— Если бы я мог, дорогая! Но я не могу.

— Да, я знаю.

Юный Морленд схватился за голову.

— Все мы сейчас плывем в одной лодке; но не вечно же это будет продолжаться! А теперь, когда мы помолвлены, мы сможем быть вместе все время, пока я не получу разрешения или как это там называется. А потом...

— Папа захочет, чтобы мы повенчались в церкви. Но мне все равно.

Глядя сверху на ее закрытые глаза, на опущенные ресницы, юный Морленд думал: «Бог мой, я в раю!»

И еще один короткий час прошел, пока она не высвободилась из его объятий.

— Надо идти, Сирил. Поцелуй меня еще раз.

Было время обеда, и они бегом начали спускаться с холма.

Эдвард Пирсон возвращался с вечерней службы, на которой читал библию, и увидел их издали. Он сжал губы. Их долго не было, и это сердило его. Но что он может сделать? Перед этой юной любовью он чувствовал себя странно беспомощным. Вечером, открыв дверь своей комнаты, он увидел на подоконнике Ноэль; она сидела в халате, освещенная лунным светом.

— Не зажигай огня, папочка! Я должна тебе что-то сказать.

Она потрогала золотой крестик и повернула его.

— Я помолвлена с Сирилом; мы хотим пожениться на этой неделе.

Пирсону показалось, что его ударили под ребра; у него вырвался какой-то нечленораздельный звук. Ноэль торопливо продолжала:

— Видишь ли, это необходимо; он каждый день может уехать на фронт.

Как он ни был ошеломлен, он должен был признать, что в ее словах есть доля здравого смысла. Но он сказал:

— Милая моя, ты ведь еще ребенок. Брак — самое серьезное дело в жизни. А вы и знакомы-то всего три недели!

— Я все это понимаю, папа.— Ее голос звучал на удивление спокойно.— Но нам нельзя ждать. Он ведь может никогда не вернуться, понимаешь? И тогда получится, что я сама отказалась от него.

— Но, Ноэль, представь себе, что он действительно не вернется. Тогда тебе будет еще хуже.

Она выпустила крестик, взяла его руку и прижала к сердцу. Но голос ее был все так же спокоен.

— Нет. Так будет гораздо лучше; ты думаешь, что я не знаю своих чувств. Но я их знаю.

Сердце Пирсона-человека смягчилось, но он был еще и священник.

— Нолли, настоящий брак — это союз душ; а для этого нужно время. Время, чтобы убедиться, что вы оба чувствуете и думаете одинаково и любите одно и то же.

— Да, я знаю. Но у нас так и есть.

— Ты еще не можешь этого сказать, дорогая; да и никто не может за три недели.

— Но ведь теперь не обычное время, правда? Теперь людям приходится спешить во всем. О папа! Будь же ангелом! Мама, наверно, поняла бы и позволила мне, я знаю!

Пирсон отнял у нее руку; эти слова ранили его, напомнив об утрате, напомнив и о том, как плохо он заменял ей мать.

— Послушай, Нолли,—сказал он.—Столько лет прошло с тех пор, как она покинула нас, а я все оставался одиноким; это потому, что мы с ней были действительно одно целое. Если вы поженитесь с этим молодым

человеком, зная о своих сердцах только то, что вы могли узнать за такое короткое время, вы, возможно, потом страшно раскаетесь; вы можете вдруг убедиться, что все было лишь маленьким пустым увлечением; или же, если с ним случится что-нибудь до того, как у вас начнется настоящая семейная жизнь, твое горе и чувство утраты будут гораздо сильнее, чем если бы вы оставались просто помолвленными до конца войны. И потом, дитя мое, ты ведь слишком еще молода!

Она сидела так неподвижно, что он с испугом посмотрел на нее.

— Но я должна!

Он закусил губу и сказал резко:

— Ты не можешь, Нолли.

Она встала и, прежде чем он успел ее удержать, ушла. Когда дверь закрылась за ней, гнев его испарился, вместо него пришло отчаяние. Бедные дети! Что же делать с этими своевольными птенцами, — они только что вылупились из яйца, а уже считают себя вполне оперившимися. Мысль о том, что Ноэль сейчас лежит у себя, несчастная, плачущая, может быть, проклинаяющая его, не давала покоя Пирсону; он вышел в коридор и постучал к ней. Не дождавшись ответа, он вошел. В комнате было темно, только смутный свет луны пробивался сквозь штору; он увидел Ноэль — она лежала на кровати лицом вниз. Он осторожно подошел и положил руку ей на голову. Она не шевельнулась. Глядя ее волосы, он мягко сказал:

— Нолли, родная, я вовсе не хочу быть жестоким. Если бы на моем месте была твоя мать, она сумела бы убедить тебя. Но я ведь только старый брюзга-папочка.

Она повернулась на спину и скрестила ноги. Он видел, как сияли ее глаза. Но она не произнесла ни слова, словно зная, что сила ее в молчании.

Он сказал с каким-то отчаянием:

— Позволь мне поговорить с твоей тетушкой. Она очень разумный человек.

— Хорошо.

Он наклонился и поцеловал ее горячий лоб.

— Спокойной ночи, милая, не плачь! Обещай мне.

Она кивнула и потянулась к нему; он почувствовал,

как горят ее мягкие губы, коснувшиеся его лба, и вышел, немного успокоенный.

Ноэль сидела на кровати, обхватив руками колени, и вслушивалась в ночь, пустую, безмолвную; каждую минуту она теряла еще частичку из крохотного времени, которое она еще могла быть с ним.

ГЛАВА III

Пирсон проснулся после тяжелой, полной беспокойных сновидений ночи — ему снилось, что он потерянно блуждает в небесах, словно грешная душа.

Вчера он вернулся к себе от Ноэль особенно подавленный и обеспокоенный тем, что его слова: «Не плачь, Нолли!» — оказались совершенно ненужными. Он убедился, что она и не собиралась плакать; нет, она была далека от этого! Он и сейчас живо представлял себе: полумрак в комнате, Нолли лежит, скрестив ноги, сдержанная, загадочная, точно какая-нибудь китаянка; он еще чувствовал лихорадочное прикосновение ее губ. Лучше бы ей по-детски выплакаться: и самой было бы легче и в него это вселило бы какую-то уверенность. И хотя было неприятно признаваться себе, но он с горечью убеждался в том, что его отказ прошел мимо ее сознания, словно он ничего и не говорил. В тот поздний час он не мог отдаться музыке, а потому провел остаток ночи в молитве, на коленях прося у бога наставления, но не удостоился получить его.

Юные преступники вели себя за завтраком очень скромно. Никто не сказал бы, что они только что целый час сидели, крепко обнявшись, любовались рекой и очень мало разговаривали, так как губы у них были заняты. Пирсон пошел вслед за невесткой в комнату, где она каждое утро разбирала цветы. Он с минуту смотрел, как она отделяет розы от анютиных глазок, васильки от душистого горошка, а потом заговорил:

— Я очень встревожен, Тэрза. Вчера вечером ко мне приходила Нолли. Представь себе! Они хотят пожениться — эта пара!

Тэрза принимала жизнь такой, как она есть, и поэтому не выказала особого удивления, только щеки ее чуть-

чуть порозовели и глаза удивленно округлились. Она взяла веточку резеды и промолвила безмятежно:

— Ах, ты, моя милочка!

— Подумай, Тэрза, она совсем еще ребенок. Ведь всего год или два назад она сидела у меня на коленях и щекотала мне своими кудрями лицо!

Тэрза продолжала разбирать цветы.

— Ноэль старше, чем ты думаешь, Эдвард; она много старше своих лет. И настоящая семейная жизнь у них начнется лишь после войны, если только вообще начнется.

Пирсон почувствовал, что у него словно отнимается язык. То, что сказала невестка, было преступно легкомысленным!

— Но... но...—пробормотал он, запинаясь.—Ведь это же... брачный союз, Тэрза! Кто знает, что может случиться, прежде чем они снова встретятся?

Она посмотрела на его вздрагивающие губы и сказала мягко:

— Я знаю, Эдвард; но если ты не дашь согласия, боюсь, как бы Нолли чего-нибудь не натворила — вспомни, в какое время мы живем. Говорю тебе, в ней есть что-то отчаянное.

— Ноэль послушается меня.

— Ты уверен? Ведь сколько их сейчас, этих браков военного времени!

Пирсон отвернулся.

— Это ужасно. О чем думают эти молодые? Только о том, чтобы удовлетворить свою чувственность! С таким же успехом можно было бы и вовсе не жениться.

— Сейчас, как правило, думают о военной пенсии,—сказала Тэрза спокойно.

— Тэрза, это цинично! К тому же это не имеет никакого отношения к Ноэль. Я не могу даже подумать, чтобы моя маленькая Нолли поступила так под влиянием минуты, да еще зная, что это ни к чему не приведет или станет началом несчастливого брака. Кто он, этот мальчик, что он такое? Я ничего о нем не знаю. Как я могу ее отдать ему — это невозможно! Если бы они некоторое время были помолвлены, если бы я знал что-нибудь о нем, тогда брак был бы возможен, пусть даже они еще очень юные. Но такая опрометчивая влюб-

ленность—нет, это нехорошо, недостойно. Я не понимаю, право же, не понимаю, как может такой ребенок, как она, желать этого? Тут дело в том, что она сама не понимает, о чем меня просит, моя маленькая Нолли! Она просто не знает, что означает брак, и не может постигнуть, что он священен. Ах, если бы была жива ее мать! Поговори с Нолли, Тэрза, ты сумеешь сказать то, чего не умею я.

Тэрза посмотрела ему вслед. Несмотря на свое одеяние, а отчасти даже благодаря ему, он казался ей ребенком, который приходил показать ей свой больной пальчик. Кончив разбирать цветы, она пошла искать племянницу. Ей не пришлось далеко ходить. Ноэль стояла в прихожей, явно поджидая кого-то. Они вместе пошли по аллее.

Девушка сразу заговорила:

— Бесцельно убеждать меня, тетя. Сирил собирается просить разрешение.

— О, значит, у вас все уже договорено?

— Окончательно.

— А ты думаешь, что это честно по отношению ко мне, Нолли? Разве я пригласила бы его сюда, если бы знала, что случится такая история?

Ноэль только улыбнулась.

— Нолли! Ты себе представляешь, что такое брак?

Ноэль кивнула.

— Да неужели?

— Ну, конечно. Вот Грэтиана замужем. И, кроме того, в школе...

— Твой отец решительно возражает. Для него это большое горе. Он ведь настоящий святой, и ты не должна причинять ему боль. Разве ты не можешь подождать хотя бы до следующего отпуска Сирила?

— Но может случиться, что у него больше никогда не будет отпуска!

Сердце матери, у которой сыновья были на фронте, откуда у них тоже могло не быть больше отпуска, откликнулось на эти слова. Она взволнованно смотрела на племянницу и уже ощущала какое-то смутное одобрение этому восстанию жизни против смерти, этому мятежу юности, которой грозит уничтожение. Ноэль шла, стиснув зубы, устремив взгляд куда-то вперед.

— Папа не должен был возражать. Пожилым людям не приходится воевать, их не убивают. И не надо им мешать нам, когда мы хотим взять от жизни, что можем. Они тоже были когда-то молоды.

Тэрза не знала, что ответить.

— Да,— сказала она наконец.— Может быть, он не совсем понимает все это.

— Я хочу быть уверенной в Сириле, тетя; я хочу взять от нашей любви все, что возможно. И не думаю, что это так уж много, ведь я, может быть, больше его не увижу.

Тэрза взяла девушку под руку.

— Я понимаю,— сказала она.— Только, Нолли, подумай: война кончится, мы вздохнем с облегчением и снова заживем нормальной жизнью, а ты вдруг поймешь, что сделала ошибку?!

Ноэль покачала головой.

— Нет, это не ошибка.

— Все мы так думаем, родная. Но люди совершают тысячи ошибок, хотя уверены, как и ты, что ошибки нет. А потом наступает расплата. Она оказалась бы особенно ужасной для тебя; твой отец всем сердцем и душой верует в то, что брак заключается навек.

— Папа — прелесть; но, знаете ли, я не всегда верю в то, во что верит он. Кроме того, я не делаю ошибки, тетя! Я так люблю Сирила!

Тэрза обняла ее за талию.

— Тебе нельзя ошибаться — мы слишком любим тебя, Нолли! Как мне хотелось бы, чтобы Гретиана была здесь.

— Гретиана поддержала бы меня,— сказала Ноэль.— Она знает, что такое война. Да и вы должны знать, тетушка. Если бы Рекс и Гарри захотели жениться, я уверена, вы не стали бы им мешать. Они не старше Сирила. Вы должны понять, тетя, дорогая, что означает для меня знать, что мы принадлежим друг другу по-настоящему, до того, как это начнется для него... и... может быть, больше вообще ничего не будет. Отец этого не понимает. Я знаю, он ужасно добрый, но... он забыл.

— Деточка, я думаю, он даже слишком хорошо помнит. Он был безумно привязан к твоей матери.

Ноэль стиснула руки.

— Правда? Но я так же предана Сирилу, а он мне. Мы бы не шли наперекор, если бы... если бы это не было необходимо. Поговорите с Сирилом, тетушка; тогда вы поймете. Вон он здесь; но только не задерживайте его долго, потому что он мне нужен. Ах, тетушка, он так мне нужен!

Она повернулась и убежала в дом; Тэрза, видя, что попала в ловушку, направилась к молодому офицеру, который стоял, сложив руки на груди, как Наполеон перед битвой. Она улыбнулась ему.

— Ну, Сирил, значит, ты меня предал?

Она понимала, какая серьезная перемена произошла в этом загорелом голубоглазом, сдержанно-дерзком юноше с того дня, как он приехал сюда в их маленькой тележке три недели назад. Он взял ее руку — точно так, как и Ноэль, — и усадил ее рядом с собой на грубо сколоченную скамейку, у которой, видимо, ему было приказано ждать.

— Видите ли, миссис Пирсон, — начал он, — дело в том, что Ноэль не какая-нибудь обычная девушка, и время теперь тоже необычное, правда? Ноэль такая девушка, что за нее душу отдашь; отпустить меня на фронт, не позволив мне жениться на ней, это значит разбить мне сердце. Разумеется, я надеюсь вернуться обратно, но ведь там и убивают; и вот я думаю, что было бы жестоко, если бы мы с ней не могли взять от жизни все, что можем и пока еще можем. Кроме того, у меня есть деньги; так или иначе они достанутся ей. Так будьте же доброй, хорошо? — Он обнял Тэрзу за талию, словно был ее сыном, и это согрело ее сердце, тоскующее по двум сыновьям. — Видите ли, я не знаю мистера Пирсона, но он как будто страшно милый и приятный человек, и если бы он знал мои мысли, он, конечно, не стал бы возражать, я убежден в этом. Мы готовы рисковать своей жизнью и всякое такое; но мы считаем, что надо позволить нам распоряжаться своей жизнью, пока мы еще живы. Я дам ему предсмертную клятву или что-нибудь вроде этого — что никогда не переменюсь к Ноэль, а она тоже даст клятву. Ах, миссис Пирсон, будьте же молод-

чиной и замолвите за меня словечко, только поскорее! У нас осталось так мало времени!

— Но, мой милый мальчик,— слабо запротестовала Тэрза,— ты думаешь, что поступаешь честно с таким ребенком, как Ноэль?

— Думаю, что да. Вы просто не понимаете: ей пришлось повзрослеть, вот и все. И она повзрослела за эти недели; она такая же взрослая, как я, а мне двадцать два года. И видите ли, приходит — уже пришел! — новый, молодой мир; люди начнут входить в жизнь гораздо раньше! Какой смысл притворяться, будто все осталось по-старому, остерегаться и прочее? Если меня убьют, то, я думаю, у нас было полное право сначала пожениться; а если не убьют, тогда какое это имеет значение?

— Но вы ведь с ней знакомы всего только двадцать один день, Сирил!

— Нет, двадцать один год. Тут каждый день стоит года, когда... Ах, миссис Пирсон! Это что-то не похоже на вас, правда? Вы ведь еще никогда никому не делали ничего дурного, верно ведь?

После этого хитрого замечания она нежно сжала его руку, все еще обнимавшую ее за талию.

— Хорошо, мой милый,— сказала она тихо.— Посмотрим, что тут можно сделать.

Сирил Морленд поцеловал ее в щеку.

— Я буду вечно вам благодарен,— сказал он.— Вы ведь знаете, что у меня никого нет, кроме двух сестер.

Что-то вроде слезинки мелькнуло на ресницах Тэрзы. Да, оба они похожи на детей, заблудившихся в лесу.

ГЛАВА IV

В столовой отцовского дома на Олд-сквер Грэтiana Лэрд, одетая в форму сестры милосердия, составляла телеграмму: «Преподобному Эдварду Пирсону, Кестрель — Тинтерн, Монмаутшир. Джордж опасно болен. Пожалуйста, приезжай, если можешь. Грэтiana».

Передав телеграмму горничной, она скинула пальто и на минуту присела. Всю ночь после тяжелого рабочего дня она провела в пути и только сейчас приехала. Муж ее был на волосок от смерти. Грэтiana была сов-

сем не похожа на Ноэль: не такая высокая, но более крепкая, с темно-каштановыми волосами, ясными светлыми глазами и широким лбом; у нее было серьезное, отражающее постоянную работу мысли лицо и удивительно правдивый взгляд. Ей недавно исполнилось двадцать лет; за год своего замужества она всего только полтора месяца провела с Джорджем; у них даже не было своего пристанища.

Отдохнув пять минут, она решительно провела рукой по лицу, тряхнула головой и пошла наверх, в комнату, где он лежал. Он был без сознания; она ничем не могла ему помочь — ей оставалось только сидеть и смотреть на него. «Если он умрет, — подумала она, — я возненавижу бога за его жестокость. Я прожила с Джорджем шесть недель, а люди живут вместе по шестьдесят лет». Она не отрывала глаз от его лица, округлого и широкого, с «шишками наблюдательности» над бровями. Он сильно загорел. Глаза были закрыты, и темные ресницы четко выделялись на мертвенно-желтых щеках; густые волосы окаймляли довольно низкий и широкий лоб, сквозь полуоткрытые губы виднелись зубы, крепкие и белые. У него были маленькие подстриженные усы, на четко очерченном подбородке отросла щетинистая борода. Пижама его была распахнута, и Гретиана застегнула ее. Стояла удивительная для лондонского дня тишина, хотя окно было широко открыто. Все, что угодно, только бы Джордж вышел из этого каменного забытья — не только он, но и она и весь мир! Какая жестокость! Подумать только: через несколько дней и даже часов она может потерять его навеки! Она вспомнила об их расставании в последний раз — оно было не очень нежным. Он уезжал вскоре после того, как они сильно поспорили, а это часто случалось между ними, и ни один не шел в споре на уступки. Джордж сказал тогда, что если человек умирает, для него нет никакой будущей жизни; она утверждала, что есть. Оба разгорячились, были раздражены. Даже в машине по пути на вокзал они продолжали этот злополучный спор, и последний поцелуй их был отравлен горечью размолвки. С тех пор, словно раскаиваясь, она начала склоняться к точке зрения Джорджа, а сейчас... сейчас он, возможно, разрешит для себя этот вопрос. И тут она почувствова-

ла, что если он умрет, она не встретится с ним больше никогда! Это было вдвойне жестоко — в эти минуты подвергалась испытанию и ее вера! Она приложила ладонь к его руке. Рука была теплой и, казалось, полной силы, хотя лежала неподвижно и беспомощно. Джордж — здоровый, жизнеспособный, волевой человек; просто невероятно, чтобы судьба могла сыграть с ним такую злую шутку! Она вспомнила твердый взгляд его блестящих стальных глаз, глубокий, немного вибрирующий голос, в котором не было и следа застенчивости, но не было и фальши или притворства. Она приложила руку к его сердцу и принялась осторожно, мягко растирать ему грудь. Он, как врач, и она, как сестра милосердия, видели много смертей за эти последние два года. А здесь ей все казалось неожиданным, словно она никогда не видела, как умирают люди, словно все эти молодые лица в палатах госпиталя, бледные и безжизненные, были для чего-то выставлены напоказ. Да, смерть предстанет перед нею впервые, если из этого лица, такого любимого, навеки уйдут краски, движение, мысль.

Со стороны парка влетел шмель и стал с ленивым жужжанием носиться по комнате. Она подавила рыдание и медленно, осторожно вздохнула.

Пирсон получил телеграмму в полдень, вернувшись с невеселой прогулки, которую он предпринял после разговора с Тэрзой. Если уж Грэтиана, обычно такая уверенная в себе, вызывает его, видимо, дело плохо. Он сразу же стал собираться, чтобы поспеть на ближайший поезд. Ноэль не было в доме, никто не знал, где она. С каким-то болезненным чувством он написал ей:

«Милое дитя,

Я еду к Грэтиане; бедный Джордж тяжело болен. Если дела пойдут еще хуже, тебе придется приехать и побыть с сестрой. Я дам тебе телеграмму завтра рано утром. Оставляю тебя на попечение тетушки, моя дорогая. Будь разумна и терпелива. Благослови тебя бог.

Твой любящий отец».

Он сидел один в купе третьего класса и, подавшись вперед, до тех пор смотрел на руины Аббатства по ту сторону реки, пока они не исчезли из виду. Те древние монахи жили не в такой тяжелый век, как этот! Они, наверно, вели мирную, уединенную жизнь; в ту эпоху церковь была величественна и прекрасна, и люди отдавали жизнь за веру и сооружали вечные храмы во славу Божию! Как непохожи те времена на этот век спешки и суеты, науки, торговли, материальных выгод, век, породивший эту ужасную войну! Он попытался читать газету, но от нее веяло ужасом и ненавистью. «Когда это кончится?» — думал он. А поезд, ритмично раскачиваясь, словно отстукивал в ответ: «Никогда... никогда...»

В Чепстоу в вагон вошел солдат, за ним следовала женщина с раскрасневшимся лицом и заплаканными глазами; волосы ее были спутаны, из губы сочилась кровь, словно она прокусила ее. У солдата тоже был такой вид, будто он сейчас выкинет что-нибудь отчаянное. Они уселись на противоположной скамье и отодвинулись друг от друга. Чувствуя, что мешает им, Пирсон решил укрыться за газетой; когда он взглянул снова, солдат уже скинул мундир, снял фуражку и стоял, глядя в окно; женщина, сидя на краю скамейки, всхлипывала и вытирала лицо. Она встретилась глазами с Пирсоном, во взгляде ее была злоба. Приподнявшись, она потянула солдата за рукав.

— Садись. Не высовывайся!

Солдат плюхнулся на скамейку и посмотрел на Пирсона.

— Мы с женой немножко повздорили, — доверительно заговорил он. — Она раздражает меня; я не привык к этому. Она попала в бомбежку, ну, и нервы у нее совсем пошли к черту, правда, старуха? У меня что-то с головой. Я был там ранен, понимаете? Теперь уж я мало на что гожусь. Я бы мог что-нибудь делать, но только пусть она бросит свои фокусы.

Пирсон повернулся к женщине, но в глазах ее была все та же враждебность. Солдат протянул ему пачку сигарет.

— Закуривайте, — сказал он.

Пирсон взял сигарету и, чувствуя, что солдат чего-то ждет от него, пробормотал:

— У всех у нас беды с близкими; и чем больше мы их любим, тем больше страдаем, не правда ли? Вот и я с моей дочерью вчера...

— А! — сказал солдат. — Это верно. Но мы с женой как-нибудь поладим. Ну, хватит, старушка.

Из-за газеты до Пирсона доносились звуки, свидетельствующие о примирении — упреки в том, что кто-то часто выпивает, потом поцелуи попеременно с легкими похлопываниями, потом ругань. Когда они выходили в Бристоле, солдат тепло пожал ему руку, но женщина глядела на него с той же злобой. Он подумал: «Война. Как она затрагивает каждого!»

Вагон наводнила толпа солдат, и весь остаток путешествия он просидел в тесноте, стараясь занимать как можно меньше места. Когда он наконец добрался до дома, Грэтiana встретила его в прихожей.

— Никакой перемены. Доктор говорит, что все выяснится через несколько часов. Очень хорошо, что ты приехал! Наверно, устал, — ведь такая жара. Просто ужасно, что пришлось прервать твой отдых!

— Милая, да разве я... Могу я подняться и посмотреть на него?

Джордж Лэрд все еще был в бессмысленности. Пирсон глядел на него с состраданием. Как и все священники, он часто посещал больных и умирающих и был как бы на короткой ноге со смертью. Смерть! Самая обыденная вещь на свете — сейчас она еще обычнее, чем жизнь. Этот молодой врач, должно быть, повидал немало мертвецов за два года и многих людей спас от смерти; а теперь он лежит и не может пальцем шевельнуть для собственного спасения. Пирсон посмотрел на дочь; какая жизнеспособная, какая многообещающая молодая пара! И, обняв Гретиану, он повел ее и усадил на диван, откуда они могли наблюдать за больным.

— Если он умрет, отец... — прошептала она.

— Если умрет, то умрет за родину, моя любовь! Как и многие наши солдаты.

— Я понимаю; но это не утешение; я просидела возле него целый день и все думала: после войны люди будут такими же жестокими, если не более жестокими. Все в мире останется таким же.

— Нужно надеяться, что так не будет. Может быть, помолимся, Грэтиана?

Грэтиана покачала головой.

— Если бы я могла верить, что мир... если бы я вообще могла во что-либо верить! Я потеряла веру, отец, даже в будущую жизнь. Если Джордж умрет, мы никогда с ним больше не встретимся.

Пирсон смотрел на нее, не говоря ни слова. Грэтиана продолжала:

— Когда мы в последний раз разговаривали с Джорджем, я обозлилась на него за то, что он смеялся над моей верой. А теперь, когда она мне так нужна, я чувствую, что он был прав.

Пирсон ответил дрожащим голосом:

— Нет, нет, родная! Ты просто слишком устала. Бог милостив, он вернет тебе веру.

— Бога нет, отец.

— Милое мое дитя, что ты говоришь?!

— Нет бога, который мог бы помочь нам; я чувствую это. Если бы существовал бог, который принимал бы участие в нашей жизни и мог бы изменить что-либо помимо нашей воли, если бы его заботило то, что мы делаем, он не потерпел бы, чтобы в мире творилось то, что творится сейчас.

— Но, дорогая, пути господни неисповедимы. Мы не смеем судить о том, что он делает или чего не делает, не должны пытаться проникнуть в цели его.

— Тогда он для нас бесполезен. Это все равно, как если бы его не было. Зачем же мне молиться о том, чтобы Джордж остался в живых, молиться кому-то, чьи цели только ему известны? Я знаю одно: Джордж не должен умереть. Если есть бог, который может ему помочь, то тогда будет просто позором, если Джордж умрет; если есть бог, который должен помогать людям, тогда страшный позор и то, что умирают дети, умирают миллионы бедных юношей. Нет, уж лучше думать, что бога нет, чем верить в то, что бог есть, но он беспомощен или жесток...

Пирсон внезапно зажал уши. Она подвинулась поближе и обняла его.

— Милый папа, прости, я совсем не хотела огорчить тебя.

Пирсон прижал ее голову к своему плечу и глухо сказал:

— Как ты думаешь, Грэйси: что случилось бы со мной, если бы я потерял веру, когда умерла твоя мать? Я никогда не терял веры. Да поможет мне бог никогда не потерять ее!

Грэтиана пробормотала:

— Джордж не хотел, чтобы я притворялась, будто верю; он хотел, чтобы я была честной. Если я не честна, тогда я не заслуживаю, чтобы он остался в живых. Я не верю, и поэтому я не могу молиться.

— Милая, ты просто переутомилась.

— Нет, отец.— Она отодвинулась и, охватив руками колени, уставилась куда-то в пространство.— Только мы сами можем себе помочь; и я смогу перенести все это, только если восстану против бога.

У Пирсона дрожали губы, он понимал, что никакие увещевания сейчас не подействуют на нее. Лицо больного уже было почти неразличимо в сумерках, и Грэтиана подошла к его кровати. Она долго глядела на него.

— Пойди отдохни, отец. Доктор снова придет в одиннадцать. Я позову тебя, если будет нужно. Я тоже немного прилягу рядом с ним.

Пирсон поцеловал ее и удалился. Побывать рядом с ним — это было для нее теперь величайшим утешением. Он вошел в узкую маленькую комнату, которую занимал с тех пор, как умерла его жена; скинув башмаки, он принялся ходить взад и вперед, чувствуя себя разбитым и одиноким. Обе дочери в беде, а он словно им и не нужен! Ему казалось, что сама жизнь отодвигает его в сторону. Никогда он не был так растерян, беспомощен, подавлен. Если бы Грэтиана действительно любила Джорджа, она не отвернулась бы в такой час от бога, что бы она об этом ни говорила! Но тут он понял, насколько кощунственна эта мысль, и как вкопанный остановился у открытого окна.

Земная любовь... Небесная любовь... Есть ли между ними что-либо общее? Ему ответил равнодушный шорох листьев в парке; где-то в дальнем углу площади слышался голос газетчика, выкрикивавшего вечерние новости о крови и смертях.

Ночью в болезни Джорджа Лэрда наступил перелом. Наутро врачи сказали, что опасность миновала. У него был великолепный организм — сказывалась шотландская кровь — и очень боевой характер. Но вернулся он к жизни крайне ослабевшим, хотя и с огромной жаждой выздоровления. Первые его слова были:

— Я висел над пропастью, Грэйси!

...Да, он висел над крутым скалистым обрывом, и тело его качалось над бездной в бесплодных попытках удержать равновесие; еще дюйм, крошечная доля дюйма — и он сорвется вниз. Чертовски странное ощущение; но не такое ужасное, как если бы это было в действительности. Соскользни он еще немного — на этот последний дюйм, и он сразу перешел бы в небытие, не пережив ужаса самого падения. Так вот что приходилось ежедневно испытывать этим беднягам, которых немало прошло через его руки за эти два года! Их счастье, что в эти последние мгновения в них оставалось так мало жизни, что они уже не сознавали, с чем расстаются, так мало жизни, что им это уже было безразлично. Если бы он, Джордж Лэрд, мог почувствовать тогда, что рядом с ним его молодая жена, понять, что видит ее лицо и прикасается к ней в последний раз,— это был бы сущий ад; если бы он был способен видеть солнечный свет, свет луны, слышать звуки жизни вокруг, ощущать, что лежит на мягкой постели,— это было бы самой мучительной пыткой! Жизнь чертовски хороша, и быть выброшенным из нее в расцвете сил— это означало бы, что есть какая-то гнусная ошибка в устройстве Природы, убийственная подлость со стороны Человека, ибо его смерть, как и миллионы других преждевременных смертей, свидетельствовала бы об идиотизме и жестокости рода человеческого!.. Теперь он уже мог улыбаться, когда Гретиана наклонялась над ним; но все пережитое только подлило масла в огонь, который всегда горел в его сердце врача, огонь протеста против этой полущивилизованной породы обезьян, именующей себя человеческой расой. Что ж, он получил кратковременный отпуск с карнавала смерти! Он лежал и всеми вернувшимися к нему чувствами радовался тому, что жена возле него. Из нее получилась прекрасная сестра

милосердия; его наметанный глаз отдавал ей должное: она была энергична и спокойна.

Джорджу Лэрду было тридцать лет. В начале войны он проходил практику в Ист-энде, а потом сразу пошел добровольцем в армию. Первые девять месяцев он провел в самой гуще войны. Заражение крови в раненой руке быстрее, чем любое начальство, дало ему отпуск домой. Во время этого отпуска он и женился на Грэтиане. Он был немного знаком с семьей Пирсонов и, зная, как неустойчиво все стало теперь в жизни, решил жениться на Грэтиане при первой возможности. Своему тестю он отдавал должное и даже любил его, но всегда испытывал к нему какое-то смешанное чувство не то жалости, не то презрения. В Пирсоне уживались властность и смирение, церковник и мечтатель, монах и художник, мистик и человек действия; такое смешение вызывало в Джордже немалый интерес, но чаще какое-то досадливое удивление. Он сам совершенно по-иному смотрел на вещи, и ему не было свойственно то смешное любопытство, которое заставляет людей восхищаться всем необычным только потому, что оно необычно. В разговорах друг с другом они неизбежно доходили до той черты, когда Джорджу хотелось сказать: «Если мы не должны доверять нашему разуму и чувствам и не будем всецело полагаться на них, сэр, тогда не будете ли вы любезны сказать, чему же нам верить? Как можно полностью полагаться на них в одних случаях, а в других случаях вдруг отказываться от этого?» В одном из таких споров, которые часто бывали язвительными, Джордж изложил свои взгляды более подробно.

— Я допускаю,— сказал он,— что есть какая-то великая конечная Тайна, которую мы никогда не познаем,— тайна происхождения жизни и основ Мироздания; но почему должны мы отбросить весь аппарат наших научных исследований и отрицать всякую достоверность нашего разума, когда речь идет, скажем, об истории Христа, или о загробной жизни, или о моральном кодексе? Если вы хотите, чтобы я вошел в ваш храм маленьких тайн, оставив на пороге свой разум и чувства — как магометане оставляют свою обувь,— тогда нельзя просто пригласить меня: «Вот храм! Войди!» Вы должны еще показать мне дверь. А вы не можете этого сде-

латы! И я скажу вам, сэр, почему. Потому что в вашем мозгу есть какая-то маленькая извилина, которой нет в моем, или, наоборот, отсутствует извилина, которая есть в моем. И ничто, кроме этого, не разделяет людей на две главные категории — на тех, кто верит в бога, и на тех, кто не верит. О, конечно! Я знаю, вы не согласитесь с этим, потому что такой взгляд превращает все ваши религии в нечто естественное, а вы считаете их сверхъестественными. Но, уверяю вас, ничего другого нет. Ваш взор всегда устремлен вверх или вниз, но вы никогда не смотрите прямо перед собой. Ну, а я смотрю прямо!

В тот день Пирсон чувствовал себя очень усталым, и, хотя дать отпор такой атаке было для него жизненно важно, он не был в состоянии сделать это. Его мозг отказывался работать. Он отвернулся и подпер рукой щеку, словно желая прикрыть неожиданный прорыв его оборонительных позиций. Но через несколько дней он сказал:

— Теперь я могу ответить на ваши вопросы, Джордж. Я надеюсь, мне удастся заставить вас понять.

— Очень хорошо, сэр,— сказал Лэрд.— Давайте!

— Вы начинаете с допущения, что человеческий разум есть конечное мерило вещей. Какое право вы имеете утверждать это? Представьте себе, что вы муравей; тогда муравьиный разум будет для вас конечным мерилom, не правда ли? Но разве это мерило откроет вам истину? — Он довольно ухмыльнулся в бороду.

Джордж Лэрд тоже улыбнулся.

— Это звучит как сильный аргумент, сэр,— сказал он.— Но аргумент этот хорош, если вы только не вспомните, что я вовсе не говорил о человеческом разуме как о конечном, абсолютном мериле вещей. Я ведь сказал, что это *наивысшее мерило*, какое мы способны применить, и что за пределами этого мерилa все остается темным и непознаваемым.

— Значит, Откровение для вас ничего не означает?

— Ничего, сэр.

— Тогда, я думаю, нам бесцельно продолжать спор, Джордж.

— Я тоже так думаю, сэр. Когда я разговариваю с

вами, у меня такое чувство, будто борюсь с человеком, у которого руки связаны за спиной.

— А я, может быть, чувствую, что спорю с человеком, слепым от рождения.

И все-таки они часто спорили, и каждый раз на их лицах появлялась эта особенная, ироническая улыбка. Но они уважали друг друга, и Пирсон не был против того, чтобы его дочь вышла замуж за этого еретика, которого он знал как человека честного и заслуживающего доверия. Джордж и Грэтиана поженились еще до того, как зажила его рука, и они выкроили себе медовый месяц, прежде чем он снова уехал во Францию, а она — в свой госпиталь в Манчестере. А потом, в феврале, они провели две недели на море — вот и вся их совместная жизнь!..

С утра Джордж попросил бульона и, выпив чашку, заявил:

— Мне надо кое-что сказать твоему отцу.

Хотя губы его улыбались, Грэтиану обеспокоила его бледность, и она ответила:

— Скажи сначала мне, Джордж.

— Это о нашем с тобой последнем разговоре, Грэйси. Так вот, по ту сторону жизни нет ничего! Я сам заглянул туда: ничего, кроме тьмы, черной, как твоя шляпа.

Грэтиана вздрогнула.

— Я знаю. Вчера вечером, когда ты лежал здесь, я сказала об этом отцу.

Он сжал ее руку.

— Мне тоже хочется сказать ему это.

— Папа ответит, что тогда теряется смысл жизни.

— А я скажу, что, наоборот, смысла в ней становится больше, Грэйси. Ах, как мы сами калечим нашу жизнь — мы, обезьяны в образе ангелов! Когда же наконец мы станем людьми, я спрашиваю? Мы с тобой, Грэйси, должны бороться за достойную жизнь для каждого. А не только размахивать руками по этому поводу! Наклонись ко мне. Как приятно снова прикоснуться к тебе! Все очень хорошо. А теперь мне хочется заснуть...

Когда утром врач заверил, что все обойдется, Пирсон вздохнул с облегчением, но ему пришлось еще вы-

держат тяжелую борьбу с собой. Что же написать в телеграмме Ноэль? Ему так хотелось, чтобы она снова была дома, подальше от соблазна, от грозящего ей легкомысленного и недостойного брака. Но может ли он умолчать о том, что Джордж выздоравливает? Будет ли это честно? Наконец он послал такую телеграмму: «Джордж вне опасности, но очень слаб. Приезжай».

С вечерней почтой он получил письмо от Тэрзы:

«У меня было два долгих разговора с Ноэль и Сирилом. Их невозможно отговорить. Я серьезно думаю, дорогой Эдвард, что было бы ошибкой упорно сопротивляться их желанию. Он, может быть, не так скоро уедет на фронт, как мы предполагали. Не следует ли пойти на то, чтобы они сделали оглашение в церкви? Это дало бы отсрочку еще на каких-нибудь три недели; а когда придет время им расставаться, может быть, удастся уговорить их отложить свадьбу? Боюсь, что это единственный выход; если ты просто запретишь свадьбу, они сбегут и поженятся где-нибудь в регистрационном бюро».

Пирсон отправился в Сквер-Гарден и взял письмо с собой, чувствуя, что ему предстоят горестные размышления. У человека, который много лет был на положении духовного наставника, не могла не сложиться привычка судить других, и он осуждал Ноэль за опрометчивость и непокорство, а черточка упрямства в ее характере еще больше укрепила его в том, что как отец и священник он правильно судит о ней. Тэрза его разочаровала: она, видно, плохо представляет себе непоправимые последствия, которые может иметь этот поспешный и нескромный брак. Она, наверно, смотрит на это слишком легко; она думает, что можно все отдать на волю случая, а если случай обернется неблагоприятно, то все-таки останется какой-нибудь выход. А он полагает, что никакого выхода не будет. Он посмотрел на небо, словно ожидая оттуда поддержки. День был так прекрасен, и так горько было причинить боль своей девочке, даже если это пойдет ей на пользу! Что посоветовала бы ее мать? Он знал, что Агнесса всегда, так же глубоко, как он сам, верила в святость брака!

Он сидел, освещенный солнцем, и чувствовал, как но-

ет и все больше ожесточается его сердце. Нет, он поступит так, как считает правильным, каковы бы ни были последствия! Он вернулся в дом и написал, что не может дать согласия и требует, чтобы Ноэль немедленно вернулась домой.

ГЛАВА V

Но в тот же самый день, даже в тот же час, Ноэль сидела на берегу реки, крепко прижав руки к груди, а рядом стоял Сирил Морленд и с выражением отчаяния на лице вертел в руках телеграмму: «Явиться в часть вечером. Полк отправляется завтра».

Какое утешение в том, что миллионы таких телеграмм получали за последние два года миллионы людей и тоже горевали? Можно ли утешиться тем, что солнце ежедневно заволакивается тучами для сотен беспокойных глаз? Радость жизни иссыкает, ее заносят пески безнадежности!

— Сколько нам еще остается, Сирил?

— Я заказал машину в гостинице и могу остаться здесь до полуночи. Я уложил вещи, чтобы у меня было больше времени.

— Тогда пусть оно будет целиком нашим. Пойдем куда-нибудь. Я захватила с собой шоколад.

Морленд ответил уныло:

— Я могу сделать так: за моими вещами машину пришлют сюда, а потом она заберет меня в гостинице; тогда уж тебе придется передать всем прощальный привет от меня. А мы сейчас пойдем с тобой вдоль железной дороги, там мы никого не встретим...

Озаренные ярким солнцем, они шли рука об руку вдоль сверкающих рельсов. Было около шести часов, когда они добрались до Аббатства.

— Возьмем лодку,— сказала Ноэль.—Мы можем вернуться сюда, когда взойдет луна. Я знаю, как попасть в Аббатство, когда ворота закрыты.

Они наняли лодку и поплыли к далекому берегу. Когда лодка причалила, они уселись на корме рядом, плечом к плечу; высокий лес отражался в воде, и она казалась густо-зеленой. Они почти не разговаривали,— лишь

изредка сорвется нежное слово, или один укажет другому на плеснувшую рыбу, на птицу, на стрекоз. Что толку строить планы на будущее — заниматься этим обычным делом влюбленных? Тоска парализовала их мысли. Что им оставалось? Только жаться поближе друг к другу, сидеть сплетя руки и касаясь губами губ другого. На лице Ноэль застыло какое-то тихое, странное ожидание, словно она на что-то надеялась. Они съели шоколад. Солнце садилось, уже пала роса; вода меняла окраску — становилась светлее; небо побледнело, стало аметистовым; тени удлиннились и медленно расплывались. Было уже больше девяти часов; пробежала водяная крыса, белая сова перелетела через реку в сторону Аббатства. Выходила луна, но свет ее был еще бледен. Они не замечали всей этой красоты — слишком юные, слишком влюбленные, слишком несчастные.

Ноэль сказала:

— Когда луна поднимется над этими деревьями, Сирил, мы вернемся на тот берег. Будет уже темно.

Они ждали, следя за луной, которая бесконечно медленно поднималась, с каждой минутой становясь все ярче.

— Пора,— сказала Ноэль.

И Морленд принялся грести к другому берегу. Они вышли из лодки, и Ноэль повела его мимо пустого коттеджа к сарайчику, крыша которого вплотную прилегала к низкой внешней стене Аббатства.

— Вот здесь мы можем подняться,— прошептала она.

Они вскарабкались на стену, спустились в заросший травой дворик, потом прошли во внутренний двор и укрылись в тени высоких стен.

— Который час? — спросила Ноэль.

— Половина одиннадцатого.

— Уже?! Давай сядем здесь в тени и будем смотреть на луну.

Они сели, прижавшись друг к другу. На лице Ноэль все еще было это странное выражение ожидания; Морленд покорно сидел, положив руку ей на сердце, и его собственное сердце билось так, что он едва не задыхался. Они молчали, тихие, как мыши, и следили за подни-

мающейся луной. Вот она бросила тусклый зеленоватый отблеск на высокую стену, потом свет опустился ниже, становясь все ярче; уже можно было различить траву и лишай на стене. Свет приближался. Он уже посеребрил тьму над их головами. Ноэль потянула Сирила за рукав и прошептала: «Смотри!» Они увидели белую сову, легкую, как ком снега; она плыла в этом неземном свете, словно летела навстречу луне. И как раз в это мгновение край луны выглянул из-за стены, точно стружка, сверкающая серебром и золотом. Она росла, превратилась в яркий раскрытый веер, потом стала круглой, цвета бледного меда.

— Вот она, наша! — прошептала Ноэль.

Стоя на обочине дороги, Ноэль прислушивалась до тех пор, пока шум уходящей машины не затерялся в холмистой долине. Она не заплакала, только провела рукой по лицу и пошла домой, стараясь держаться тени деревьев. Сколько лет прибавилось ей за эти шесть часов — после того, как была получена телеграмма! Несколько раз на протяжении полутора миль она выходила в полосу яркого лунного света, вынимала маленькую фотографию и, поцеловав ее, снова прятала у сердца, не думая о том, что маленький портрет может пострадать от теплоты ее тела.

Ноэль ничуть не раскаивалась в своей безрассудной любви; эта любовь была ее единственным утешением среди гнетущего одиночества ночи; она поддерживала ее, помогала идти дальше с каким-то ощущением гордости, словно ей выпала самая лучшая в мире судьба. Теперь он принадлежал ей навеки, несмотря ни на что. Она даже не думала о том, что сказать, когда вернется домой. Она вступила в аллею и прошла ее как во сне. У крыльца стоял дядя Боб, она слышала, как он что-то бормочет. Ноэль вышла из тени деревьев, подошла к нему вплотную и, глядя в его взволнованное лицо, проговорила спокойно:

— Сирил просил меня пожелать вам всего лучшего, дядя. Спокойной ночи!

— Но послушай, Нолли... послушай же...

Она прошла мимо него прямо в свою комнату. Стояв-

шая там у дверей тетка Тэрза хотела поцеловать ее. Ноэль отшатнулась.

— Нет, тетушка, только не сейчас! — И, проскользнув мимо нее, заперла дверь.

Вернувшись к себе, Боб и Тэрза Пирсоны искоса поглядели друг на друга. Они радовались тому, что племянница вернулась здоровой и невредимой, но их смущали другие мысли. Боб Пирсон высказался первым:

— Фу! А я уж думал, что придется искать в реке. До чего доходят нынешние девушки!

— Это все война, Боб.

— Мне не понравилось ее лицо, старуха. Не знаю, в чем тут дело, но мне не понравилось ее лицо.

Оно не понравилось и Тэрзе, но она промолчала, чтобы приободрившийся Боб не слишком близко принимал все это к сердцу. Он так тяжело и так бурно все переживает! Она только сказала:

— Бедные дети! Но я думаю, это будет облегчением для Эдварда!

— Я люблю Нолли,— неожиданно заявил Боб Пирсон.— Она нежное создание. Черт побери, мне ее жаль. Но, право же, молодой Морленд может гордиться. Правда, ему пришлось нелегко, да и мне не захотелось бы расставаться с Нолли, будь я молод... Слава богу, ни один из наших сыновей не помолвлен. Проклятие! Когда я думаю о тех, кто на фронте, и о себе самом, я чувствую, что у меня голова раскалывается. А эти политики еще разглагольствуют во всех странах, как у них только хватает наглости!

Тэрза с тревогой смотрела на него.

— Она даже не пообедала,— сказал неожиданно Боб.— Как ты думаешь, что они там делали?

— Держали друг друга за руки, бедняжки! Знаешь ли ты, сколько сейчас времени, Боб? Почти час ночи.

— Ну, должен сказать, вечер у меня был испорчен. Давай ложиться, старушка, а то ты ни на что не будешь годна завтра.

Он скоро уснул, а Тэрза лежала без сна; она, собственно говоря, не волновалась, потому что это было не в ее характере, но все время она видела перед собой лицо Ноэль — бледное, томное, страстное, словно девушка уносилась куда-то на крыльях воспоминаний.

Ноэль добралась до отцовского дома на следующий день к вечеру. В передней лежало для нее письмо. Она разорвала конверт и прочитала:

«Моя любимая,

Я доехал благополучно и сразу пишу тебе, что мы проедем через Лондон и отправимся с вокзала Черинг-кросс, должно быть, сегодня около девяти вечера. Я буду ждать тебя там, если только ты поспеешь вовремя. Каждую минуту думаю о тебе и о нашей вчерашней ночи. О, Ноэль!

Обожающий тебя С.»

Она посмотрела на ручные часы, которые раздобыла себе, как и всякая патриотка. Восьмой час! Если она промедлит еще, Грэтiana и отец, наверное, вцепятся в нее.

— Отнеси мои вещи, Диана. У меня в дороге разболелась голова; я немного прогуляюсь. Вероятно, вернусь в десятом часу. Передавай мой привет всем.

— О, мисс Ноэль, но не можете же вы...

Ноэль уже исчезла. Она шагала в сторону вокзала Черинг-кросс; чтобы убить время, она вошла в ресторан и заказала простой ужин — кофе и сдобную булочку, которыми всегда довольствуются влюбленные, если только общество насильно не питает их разными другими вещами. Думать сейчас о еде казалось ей смехотворным. Она попала в людской муравейник, тут были какие-то личности, которые ужасно много ели. Место это напоминало современную тюрьму, по стенам зала ярусами шли галереи, в воздухе носились запахи еды, гремели тарелки, играл оркестр. Повсюду сновали мужчины в хаки, и Ноэль вглядывалась то в одного, то в другого, надеясь, что по какому-нибудь счастливому случаю здесь вдруг окажется тот, который представлял для нее все — жизнь и британскую армию. В половине девятого она вышла и пробралась через толпу, все еще машинально ища то хаки, к которому рвалась ее душа; к счастью, в ее лице и походке было что-то трогательное, и ее не задевали. На станции она подошла к старому носильщику, сунула ему шиллинг, страшно его удивив, и попросила

узнать, откуда отправляется полк Морленда. Он быстро вернулся и сказал:

— Следуйте за мной, мисс.

Ноэль пошла. Носильщик хромал, у него были седые бакенбарды и неуловимое сходство с дядей Бобом — может быть, поэтому она инстинктивно и подошла к нему.

— Брат уезжает на фронт, мисс?

Ноэль кивнула.

— А! Эта жестокая война! Уж я-то не огорчусь, когда она кончится. Мы тут провожаем, и встречаем, и видим очень печальные сцены. Правда, у ребят бодрый дух, скажу я вам. Я никогда не смотрю теперь на расписание, только думаю: «Все поезда идут туда и всё — товарные!» Я бы охотнее обслужил вас в тот день, когда ребята вернутся назад! Когда я подношу кому-нибудь чемодан, мне все кажется: «Вот еще один — для преисподней!» Так уж оно есть, мисс, так говорят все. У меня у самого сын там... Вот здесь они будут грузиться! Вы стойте спокойно и следите, и у вас будет несколько минут — повидаться с ним, когда он придет со своими солдатами. На вашем месте я бы не двигался; он так прямо и подойдет к вам; он не может миновать вас здесь.

Глядя в ее лицо, он подумал: «Просто удивительно, как много уезжает этих братьев! Ох-ох, бедная маленькая мисс! Должно быть, из хорошего дома. Она отлично владеет собой. Да, ей тяжело!» И, желая утешить ее, он пробормотал:

— Самое лучшее место, чтобы увидеть его. Спокойной ночи, мисс. Я больше ничего не могу сделать для вас?

— Нет, благодарю. Вы очень любезны.

Старик раз или два оглянулся на неподвижную фигуру в синем платье. Он поставил ее возле маленького оазиса из нагроможденных друг на друга пустых молочных бидонов, много ниже платформы, на которой собралось с той же целью несколько штатских. Железнодорожный путь был пока пуст. В серой необъятности станции, в ее шумном водовороте Ноэль не чувствовала себя одинокой, но и не замечала других ожидающих; она вся была поглощена одной мыслью — увидеть его, прикоснуться к нему. На рельсы вползал пустой состав, он дал задний ход, остановился, вагоны с лязгом столкнулись,

состав снова попятился и наконец остановился. Ноэль посмотрела на сводчатые выходы из вокзала. Ее охватила дрожь, словно полк уже посылал ей издали трепетные звуки марша.

Ноэль еще никогда не видала, как уходят воинские эшелоны. У нее было только смутное представление о молодецком строе, о реющих знаменах и грохоте барабанов. И вдруг она заметила, что какая-то коричневая масса заполняет дальний край платформы; потом от нее отделилась тоненькая коричневая струйка, и вот она течет в ее сторону; ни звука музыки, ни колыхания знамен. Ей страшно захотелось броситься к барьеру, но она вспомнила слова носильщика и осталась стоять на месте, судорожно сцепив пальцы. Струйка превратилась в ручей, ручей в поток, он уже приближался к ней. Заполняя платформу гулом голосов, шагали загорелые солдаты, навьюченные до затылка, с винтовками, торчащими в разные стороны; напрягая глаза, она всматривалась в этот поток или, скорее, движущийся лес, пытаясь отыскать в нем нужное ей одно-единственное дерево. Голова у нее кружилась от волнения, от усилий распознать его голос среди нестройного шума этих веселых, грубых, беспечных голосов. Некоторые солдаты, заметив ее, прищелкивали языками, другие проходили молча, третьи пристально вглядывались в нее, словно она и была той, кого они искали. Коричневый поток и шум голосов постепенно растекались по вагонам, но солдат все прибавлялось. А она ждала, не сходя с места, и страх ее возрастал. Как он может найти ее или она — его? Она видала, что многие из провожающих уже нашли своих солдат; ее мучило желание броситься в сторону платформы; но она все ждала. И вдруг она увидела его у самых вагонов, он шел с двумя молодыми офицерами; все трое неторопливо приближались к ней. Она замерла, не сводя с него глаз; офицеры прошли, и она чуть не закричала им вслед. Но тут Морленд повернулся, отделился от остальных и направился к ней. Он увидел ее еще раньше, чем она его. Он был красен, на лбу, над голубыми глазами, застыла морщинка, челюсти были сжаты. Они стояли, глядя друг на друга, крепко держась за руки; воспоминания прошлой ночи так переполняли их сейчас, что заговорить не было никаких сил. Молочные

бидоны образовали что-то вроде укрытия, и молодые люди стояли так близко друг к другу, что никто не мог видеть их лиц. Ноэль первая обрела дар речи; слова, как всегда произносимые нежным голосом, сыпались из ее дрожащих губ:

— Пиши мне часто, как только сможешь, Сирил! Я скоро буду сестрой милосердия. Когда получишь первый отпуск, я приеду к тебе, не забывай.

— Забыть?! Отодвинься немного назад, дорогая, нас не увидят здесь. Поцелуй меня!

Она отодвинулась и, подняв голову, чтобы ему не надо было наклоняться, прижалась губами к его губам. Потом, почувствовав, что ей вот-вот станет дурно и она упадет на бидоны, отняла губы и подставила ему лоб. Целуя, он бормотал:

— Дома все обошлось, когда ты вернулась ночью?

— Да; и я со всеми распрощалась за тебя.

— О, Ноэль, я все время боялся!.. Я не должен был... Я не должен был!..

— Нет, нет; теперь ничто не может разлучить нас.

— Ты была такой смелой! Смелее меня.

Раздался долгий гудок. Морленд судорожно сжал ее руки.

— До свидания, моя женушка! Не горюй! Прощай! Мне пора. Благослови тебя бог, Ноэль.

— Я люблю тебя!

Они смотрели друг на друга еще мгновение, потом она отняла руки и еще постояла в тени молочных бидонов, оцепенелая, провожая его глазами, пока он не исчез в вагоне.

В каждом окне полно было этих коричневых фигур с загорелыми лицами, люди махали руками, смутно звучали голоса, где-то кто-то кричал «ура»; какой-то солдат, высунувшись из окна, затянул песню «Старая моя подружка...» Ноэль стояла тихо в тени молочных бидонов, губы ее были плотно сжаты, руки она скрестила на груди; а молодой Морленд, стоя у окна, не отрываясь, смотрел на нее...

Как она очутилась на скамейке на Трафальгар-сквере, Ноэль не помнила. Слезы застилали ей глаза, и

она, как сквозь пелену, видела толпу гуляющих лондонцев, шумную в этот летний вечер. Глаза ее машинально следили за бродящими по небу лучами прожекторов, этими новыми млечными путями, которые рассекали небо и указывали путь в никуда. Все это было удивительно красиво: небо бледной синевы, луна, посеребрившая шпиль церкви Сент-Мартина, превратившая огромные здания в сказочные дворцы. Даже львы Трафальгарской площади словно ожили и глядели на эту лунную пустыню и на человеческие фигурки, слишком маленькие, чтобы стоило протянуть к ним лапу. Она сидела со страшной болью в сердце, словно тоска всех осиротевших сердец столицы переселилась в него. Сегодня она переживала свою потерю в тысячу раз острее: в прошлую ночь она была опьянена новым для нее ощущением победившей любви, а теперь чувствовала себя так, словно жизнь загнала ее в угол огромной пустой комнаты, погасила веселые огни и заперла дверь. У нее вырвалось короткое, сухое рыдание. Она вспомнила сенокос, Сирила в расстегнутой рубашке, с обнаженной шеей, — он копил сено и все время смотрел на нее, а она рассеянно тыкала вилами, подбирая остатки; вспоминала и сверкающую реку, и лодку, приставшую к песчаному берегу, и ласточек, сновавших над их головами, и этот долгий вальс, когда она все время чувствовала его руку на спине! Воспоминания были такими сладостными, такими острыми, что она чуть не закричала. Снова перед ней предстал этот темный, поросший травой дворик в Аббатстве и белая сова, летящая над ними. Белая сова! Она, наверно, и сегодня полетит туда же, но уже не увидит влюбленных внизу, на траве. А сейчас Сирил был только коричневой частичкой этого огромного, бурлящего коричневого потока солдат, текущего в гигантское коричневое море. Жесткие минуты на платформе, когда она все искала и искала в этом шагающем лесу свое единственное дерево, казалось, навсегда выжжены в ее сердце. Сирил исчез, она уже не могла различить его, он растворился в тысяче других силуэтов. И вдруг она подумала: «А я — я ведь тоже исчезла для него; он никогда не видел меня дома, не встречался со мною в Лондоне; скоро он даже не сможет ясно представить меня. Теперь все в прошлом, только в прошлом — для нас обо-

их. Есть ли хоть кто-нибудь еще такой же несчастный?» И голоса города: стук колес, шум шагов, свистки, разговоры, смех—отвечали ей равнодушно: «Нет никого». Она посмотрела на свои ручные часы. Как и на часах Сирила, на них были светящиеся стрелки. «Половина одиннадцатого»,— говорили зеленоватые цифры. Она поднялась в смятении. Дома подумают, что она заблудилась, что ее переехали, вообразят еще какие-нибудь глупости! Она не могла найти свободного такси и пошла пешком, не очень разбираясь в дороге в эти ночные часы. Наконец она остановила полисмена и спросила:

— Скажите, пожалуйста, как пройти в сторону Блумсбери? Я не могу найти такси.

Полисмен посмотрел на нее и некоторое время размышлял. Потом сказал:

— Такси? Они сейчас выстраиваются возле театров, мисс.— Он снова оглядел ее. Казалось, что-то в нем пробудилось.— Мне надо туда же, мисс. Если хотите, можете идти со мной.

Ноэль пошла с ним рядом.

— Теперь улицы не такие, как им положено быть,— заговорил он.— Во-первых, темно, и девушки совсем потеряли голову, прямо удивительно, сколько их шляется. Тут всему виной солдаты, я думаю.

Ноэль почувствовала, как запылали ее щеки.

— Осмелюсь спросить, замечаете ли вы,—продолжал полисмен,— но эта война — забавная штука. На улицах стало веселее и многолюднее по ночам; просто сплошной карнавал. Что мы будем делать, когда наступит мир, я просто ума не приложу. Но я думаю, у вас, в вашем районе, поспокойнее, мисс?

— Да,— сказала Ноэль,— там совсем спокойно.

— В Блумсбери нет солдат. У вас есть кто-нибудь в армии, мисс?

Ноэль кивнула.

— Ах, тревожные времена пришли для женщин! Во-первых, эти цеппелины, и потом — мужья и братья во Франции — все это так мучительно. У меня самого погиб брат, а теперь сын воюет где-то на Ближнем Востоке; мать страшно тоскует. Что мы только будем делать, когда все кончится, даже ума не приложу... Эти гунны — просто гнусная банда!

Ноэль взглянула на него; высокий человек, подтянутый и спокойный, с одной из тех внушительных физиономий, которые часто встречаются у лондонских полисменов.

— Мне очень жаль, что вы уже потеряли кого-то,— сказала она.— А я еще никого из близких не потеряла, пока.

— Что же, будем надеяться, что этого не случится, мисс. Времена такие, что сочувствуешь другим, а это много значит. Я заметил перемену даже в тех людях, которые раньше никогда никому не сочувствовали. И все-таки я видел много жестоких вещей — так уж приходится нам в полиции. Вот, например, эти англичанки, жены немцев, или эти безобидные немецкие булочники, австрияки и всякие там прочие; для них наступили тяжелые времена; это их беда, а не вина — вот мое мнение; а обращаются с ними так, что просто иногда стыдишься, что ты англичанин. Да, стыдишься. А женщинам сейчас хуже всех приходится. Я только вчера говорил жене. «Они называют себя христианами,— сказал я,— а при всей своей любви к ближнему ведут себя не лучше этих гуннов». Но она не понимает этого, не понимает! «Хорошо, а почему они бросают бомбы?» — спрашивает она. «Бомбы? — говорю я.— Это английские-то жены да булочники бросают бомбы? Не говори глупостей. Они так же ни в чем не повинны, как и мы. Просто невинные люди страдают за чужую вину». «Но они все шпионы», — говорит она. «Ну,— говорю я,— старуха! Как не стыдно так думать, в твои-то годы!» Да только женщине разве что втолкуешь? А все оттого, что начитались газет. Я часто думаю, что их, наверно, пишат женщины,— извините меня, мисс; и, право же, вся эта истерика и ненависть просто с ног могут свалить человека. А у вас в доме тоже так ненавидят немцев, мисс?

Ноэль покачала головой.

— Нет. Понимаете, мой отец — священник.

— А! — сказал полисмен. Взгляд, который он бросил на Ноэль, говорил о возросшем уважении к ней.

— Конечно,— продолжал он,— наше чувство справедливости порой возмущается этими гуннами. Их поступки иногда просто переходят всякие границы. Но

вот о чем я всегда думаю, хотя, конечно, не высказываю этого — не хочется ведь, чтобы о тебе думали дурно, — так вот сам я часто думаю: посмотреть на каждого немца в отдельности — и увидишь, что они в общем такие же люди, как и мы, осмелюсь сказать. Их просто скверно воспитали, обучали действовать скопом, потому они и превратились в таких бандитов. По своей профессии мне не раз приходилось видеть толпу, и у меня очень невысокое мнение о ней. Толпа совершает самые жестокие ошибки и кровавые злодеяния, которые только бывают на свете. Толпа похожа на рассвирепевшую женщину, у которой повязка на глазах, — что может быть опаснее? Эти немцы, мне кажется, всегда действуют, как толпа. У них в голове только то, что говорят их кайзер Билл и вся эта кровавая шайка; они никогда не живут своим умом.

— Я думаю, что их расстреливали бы, если бы они жили своим умом, — сказала Ноэль.

— Да, наверно, так и есть, — сказал задумчиво полисмен. — У них дисциплина поставлена очень высоко, это несомненно. А если вы спросите меня... — он понизил голос, так что его слов почти не было слышно из-за ремешка, охватывающего подбородок. — Мы скоро дадим им как следует. То, что мы защищаем, — дело нешуточное... Посмотрите: тут тебе город без огней, темные улицы, а там иностранцы, и их магазины, и бельгийские беженцы, и английские жены, и солдаты с женщинами, и женщины с солдатами, и эта самая партия мира, и жестокое обращение с лошадьми, и кабинет министров, который все меняется, а теперь еще появились эти «кончи»¹. А нам, учтите, даже жалованья не прибавили! Для полиции нет военных ставок. Насколько могу судить, война дала только один хороший результат: сократились кражи со взломом. Но, помяните мое слово, скоро и здесь у нас будет рекордный урожай, не будь моя фамилия Харрис.

— У вас, наверно, очень беспокойная жизнь? — спросила Ноэль.

¹ «Кончи» — сокращенное «Conscientious objectors» — «добросовестно возражающие» — движение отказывающихся от военной службы по политическим или религиозным соображениям.

Полисмен посмотрел на нее искоса, как умеют смотреть только люди его профессии, и сказал снисходительно:

— Это — дело привычное, видите ли; в том, что делаешь постоянно, уже нет ничего беспокойного. Говорят, беспокойно в окопах. Возьмите наших моряков. Сколько их было взорвано и сколько взлетает в воздух снова и снова, а они все идут да записываются! Вот в чем ошибка немцев! Англия военного времени! Я часто, обходя улицы, размышляю—тут ведь ничего не поделаешь, мозг просит работы,—и чем больше думаю, тем больше вижу, что у нашего народа боевой дух. Мы не поднимаем вокруг этого такого шума, как кайзер Билл. Посмотрите на мелкого лавочника или на бедняков, у которых разбомбили дома. Вы увидите, что они смотрят на всю эту кашу с отвращением. Но приглядитесь к их лицам — и вы увидите, что они готовы драться не на жизнь, а на смерть. Или возьмите какого-нибудь из наших томми¹, — он ковыляет на костылях, и пот течет с его лба, и глаза лезут на лоб от усилия, и все-таки идет, шагает вперед — тут вы можете получить понятие! Жаль мне этих ребят из партии мира, право же жаль; они и сами не знают, против чего борются. Я думаю, бывают минуты, когда вам хотелось бы быть мужчиной, не правда ли, мисс? А иногда и мне как будто хочется пойти в окопы. В моей работе самое скверное то, что ты не можешь быть человеком — в полном смысле этого слова. Ты не должен выходить из себя, тебе нельзя пить, разговаривать; эта профессия держит человека в очень узких рамках. Ну вот, мисс, вы и дошли. Ваша площадь — первый поворот направо. Спокойной ночи и спасибо вам за беседу.

Ноэль протянула руку.

— Спокойной ночи,— сказала она.

Полисмен взял ее руку с каким-то смущением; он был явно польщен.

— Спокойной ночи, мисс,— повторил он.— Я вижу, у вас горе; но надеюсь, что все обернется к лучшему.

Ноэль пожала его огромную лапу; глаза ее наполнились слезами, и она быстро повернула к площади.

¹ Прозвище английских солдат.

Ей навстречу двинулась какая-то темная фигура. Она узнала отца. Лицо его было усталым и напряженным; он шел неуверенно, как человек, что-то потерявший.

— Нолли! — воскликнул он. — Слава богу! — В его голосе слышалось бесконечное облегчение. — Дитя мое, где ты была?

— Все хорошо, папа: Сирил только что уехал на фронт. Я провожала его с вокзала Черинг-кросс.

Пирсон обнял ее. Они молча вошли в дом...

Сирил Морленд стоял в стороне от остальных, у поручней палубы морского транспорта, и смотрел на Кале. Перед ним, как во сне, вырисовывался город, сверкающий под жарким солнцем. Сирил уже слышал доносившийся издалека гром пушек, голос его новой жизни. Вот она уже наступала, эта жизнь, полная неведомых тревог, а он весь еще был во власти нежных, удивительных воспоминаний: он видел Ноэль на траве, освещенную луной, темную стену Аббатства. Мгновенный переход от одного чуда к другому — это было нелегко для юноши, непривычного к серьезным размышлениям, и он стоял, тупо уставившись на Кале, а гром его новой жизни все накатывался, поглощая ту волнующую лунную мечту.

ГЛАВА VII

После потрясений минувших трех дней Пирсон проснулся с ощущением, какое мог бы испытывать корабль, наконец приставший к берегу. Такое ощущение естественно, но, как правило, обманчиво, потому что события в такой же мере чреваты будущим, в какой сами порождены прошлым. Снова быть дома, с дочерьми, отдыхать — ибо его отпуск еще продлится десять дней, — как в былые времена. Джордж поправляется очень быстро, и Гретиана становится прежней. Сирил Морленд уехал, и Ноэль избавится от этой внезапной любовной лихорадки юности. Если в ближайшие дни Джордж совсем выздоровеет, можно будет поехать куда-нибудь с Ноэль и провести там последнюю неделю отдыха. А пока — в этом старом доме, в котором скопилось столько воспоминаний о счастье и горе, и в обществе до-

черей так же можно отдохнуть, как во время их бывших скитаний на каникулах где-нибудь в Уэльсе или Ирландии. В это первое утро полной праздности — никто не знал, что он вернулся в Лондон, — он мог бездельничать, играть на рояле в их просто обставленной гостиной, где ничто не изменилось после смерти его жены; и он испытывал истинное наслаждение. Он еще не видел дочерей; Ноэль не сошла вниз к завтраку, а Гретиана была с Джорджем.

Прошло еще два дня, и он сделал открытие, что его отделяет от дочерей какой-то барьер. Ему не хотелось признаваться в этом, но барьер был. Это чувствовалось по их голосам, по движениям — скорее, исчезло что-то из прежнего, чем появилось нечто новое. Было так, словно каждая из них говорила ему: «Мы любим тебя, но ты не знаешь наших секретов и не должен знать, потому что ты будешь пытаться проникнуть в них». Они его не боялись, но как бы бессознательно отодвигали в сторону, чтобы он не мог запретить или изменить то, что кажется для них самым дорогим. Обе они очень любили его, но каждая шла по своему пути. И чем сильнее была его любовь, тем настороженнее они относились к вмешательству этой любви в их жизнь. С лица Ноэль не сходило выражение подавленности и в то же время гордости — это и трогало и раздражало Пирсона. Что он сделал такого, что потерял право на ее доверие? Ведь она сама должна понять, насколько естественным и правильным было его сопротивление их браку! Однажды, сделав над собой огромное усилие, он решил высказать ей свое сочувствие. Но она только ответила: «Я не могу говорить о Сириле, папа, просто не могу!» И он, сам столь часто уходивший в свою скорлупу, не мог не посчитаться с ее замкнутостью.

С Гретианой дело обстояло иначе. Он знал, что ему не миновать столкновения с ее мужем; характерно, что изменение, происшедшее в ней, — упадок ее веры, — он приписывал влиянию Джорджа, а не ее собственным, внезапно возникшим мыслям и чувствам. Он страшился этого столкновения и все же ждал его. Оно произошло на третий день, когда Лэрд уже начал поправляться и лежал на том самом диване, на котором Пирсон выслушивал признания Гретианы в ее неверии. Он по-на-

стоящему еще и не повидался с зятем — только заглядывал к нему в комнату, чтобы пожелать доброго утра. Молодого врача нельзя было назвать хрупким — широкое лицо, квадратный подбородок, тяжелые скулы, — но все-таки на нем оставила свой след отчаянная борьба, которую он перенес, и сердце Пирсона сжалось.

— Ну, Джордж, — сказал он, — задали же вы нам страху! Я благодарю бога за его милосердие.

Этой почти машинальной фразой он как бы бессознательно бросил вызов Лэрду. Тот насмешливо посмотрел на него.

— Значит, вы и в самом деле считаете, что бог милосерден, сэр?

— Не будем спорить, Джордж; вы еще недостаточно окрепли.

— О! Я просто изнываю от желания вцепиться в этот вопрос.

Пирсон посмотрел на Грэтиану и сказал мягко:

— Милосердие божие безгранично, и вы оба знаете, что это так.

Лэрд, прежде чем ответить, тоже посмотрел на Грэтиану.

— Милосердие божие, наверно, стоит того же, что и милосердие людей. А как оно велико, об этом говорит нам война, сэр.

Пирсон вспыхнул.

— Мне не ясна ваша мысль, — сказал он с болью. — Как можете вы говорить такие вещи, когда вы сами только что... Нет! Я отказываюсь спорить, Джордж. Я отказываюсь.

Лэрд подал знак Грэтиане, она подвинулась к нему, и он крепко сжал ей руку.

— Хорошо. Тогда я буду спорить, — сказал он. — Меня просто распирает от желания поспорить. Я предлагаю вам, сэр, показать мне, есть ли в чем-либо, кроме человека, признаки милосердия. Материнская любовь не идет в счет: мать и дитя в основном одно и то же.

Оба одновременно иронически усмехнулись.

— Милый Джордж, разве человек не высшее создание бога, а милосердие не высшее качество человека?

— Нисколько. Если все геологическое время принять за одни сутки, то жизнь людей на земле составила бы

примерно две секунды; а еще через несколько секунд, когда люди уже исчезли бы с лица земли, геологическое время продолжалось бы, пока земля не стукнулась бы о что-нибудь и снова не превратилась в туманность. Бог был не так уж сильно занят, сэр, не правда ли? Всего две секунды из двадцати четырех часов — для человека, который есть его любимейшее создание! А что касается до милосердия и до того, что оно есть высшее качество человека, то это только современный стиль разговора. Наивысшее качество человека — это ощущение меры вещей, и только благодаря этому он выживает; а милосердие, если говорить логически, могло бы только его истребить. Это для него роскошь или побочный продукт.

— Джордж, в вашей душе совсем нет музыки. Наука — это такая малая вещь! Если бы только вы могли это понять!

— Покажите мне нечто большее, сэр.

— Вера.

— Во что?

— В то, что открылось для нас.

— А! Опять об этом. Кем же открылось и как?

— Самим богом. Через нашего спасителя.

Легкий румянец окрасил желтое лицо Лэрда, и глаза его заблестели.

— Христос! — сказал он. — Если он существовал, в чем некоторые, как вы знаете, сомневаются, он был очень хорошим человеком. Были и другие пророки. Но требовать в наше время, чтобы мы верили в его сверхъестественность или божественность, — это значит требовать от нас, чтобы мы шли по земле с завязанными глазами. А именно этого вы и требуете, не правда ли?

Снова Пирсон посмотрел в лицо дочери. Она стояла очень тихо, не сводя глаз с мужа. Каким-то чутьем он угадывал, что слова больного обращены, по сути дела, к ней. Гнев и отчаяние подымались в нем, и он с горечью сказал:

— Я не могу объяснить. Есть вещи, которые я не могу сделать совершенно ясными, потому что вы сознательно закрываете глаза на то, во что я верю. За что, по-вашему, мы сражаемся в этой великой войне, как не за то, чтобы восстановить веру в любовь как главный принцип жизни?

Лэрд покачал головой.

— Мы воюем за то, чтобы удержать равновесие, которое вот-вот могло быть нарушено.

— Равновесие сил?

— Господи, нет! Равновесие философии.

Пирсон улыбнулся.

— Это звучит очень умно, Джордж, но опять-таки я не улавливаю вашу мысль.

— Я говорю о равновесии между двумя поговорками: «Сила есть право» и «Право есть сила». Обе эти пословицы — только полуправда. Но первая вытеснила вторую со сцены. А все остальное — ханжество. Тем временем, сэр, ваша церковь продолжает требовать наказания грешников. Где же здесь милосердие? Либо бог вашей церкви немилосерден, либо ваша церковь не верит в своего бога.

— Но ведь наказание не исключает милосердия, Джордж!

— В природе это исключается.

— Ах! Природа, Джордж,— вечно природа! Бог превыше природы.

— Тогда почему же он отпустил поводья и не управляет ею? Если человек привержен к пьянству или к женщинам,— милосердна ли к нему природа? Наказание, которое он получает, равноценно его распущенности; пусть человек молится богу, сколько хочет; если он не изменит своих привычек, он не дождется милосердия. А если изменит, он все равно не будет вознагражден никаким милосердием: он просто получит от природы то, что ему причитается. Мы, англичане, которые всегда пренебрегали разумом и образованием,— много ли милосердия мы видим в этой войне? Милосердие — искусственное украшение, созданное человеком, болезнь или роскошь — называйте как хотите. А так вообще я ничего не могу сказать против милосердия. Наоборот, я целиком за него.

Пирсон еще раз взглянул на дочь. Что-то в ее лице тревожило его: то ли тихая сосредоточенность, с которой она прислушивалась к каждому слову мужа, то ли этот жадный, вопрошающий взгляд. И он пошел к двери, сказав:

— Вам нельзя волноваться, Джордж.

Он увидел, как Грэтиана положила руку на лоб мужа, и ревниво подумал: «Как могу я спасти мою бедную дочь от этого неверия? Неужели двадцать лет моего попечения о ней ничто перед этим современным духом?»

Когда он вернулся в кабинет, в его голове промелькнули слова: «Свят, свят, свят, милосерден и всемогущ!» Подойдя к стоявшему в углу пианино, он открыл его и стал наигрывать церковные гимны. Он играл, осторожно прикасаясь к стертým клавишам этого тридцатилетнего друга, который был с ним еще в годы учения в колледже, и тихо подпевая утомленным голосом. Шум шагов заставил его поднять глаза: вошла Грэтиана. Она положила руку ему на плечо и сказала:

— Я знаю, это причиняет тебе боль, отец, но ведь мы сами должны доискиваться до истины, правда? Все время, пока ты разговаривал с Джорджем, я чувствовала одно: ты не замечаешь, что перемена произошла именно во мне. Это не его мысли; я пришла сама к тому же выводу. Мне хотелось бы, чтобы ты понял: у меня свой разум, папа.

Пирсон посмотрел на нее с изумлением.

— Конечно, у тебя свой разум.

Грэтиана покачала головой.

— Нет. Ты всегда думал, что разум у меня твой; а теперь думаешь, что это разум Джорджа. Но он мой собственный. Когда ты был в моем возрасте, разве ты не старался всеми силами самостоятельно искать истину и не расходился в этом с твоим отцом?

Пирсон не отвечал. Он не мог вспомнить. Это было все равно, что пошевелить палкой кучу прошлогодних листьев, но услышать только сухой шорох да вызвать смутное ощущение небытия. Искал ли он? Разумеется, искал. Но это не дало ему ничего. Знания — это дым. Только в эмоциональной вере — истина и подлинная реальность!

— Ах, Грэйси, — сказал он. — Ищи, если это тебе нужно. Но где ты найдешь истину? Источник слишком глубок для нас. Ты вернешься к богу, дитя мое, когда устанешь искать; единственное отдохновение — в нем.

— Я не ищу отдохновения. Некоторые люди ищут

всю жизнь и умирают, так ничего и не отыскав. Почему же со мной не может случиться так?

— Ты будешь очень несчастна, дитя мое.

— Если я и буду несчастна, папа, то только потому, что мир несчастен. А я не верю, что он должен быть таким. Я думаю, мир несчастен потому, что люди на все закрывают глаза.

Пирсон встал.

— Ты полагаешь, что я закрываю глаза?

Грэтиана кивнула.

— Но если так,— сказал он,— то, видимо, нет иного пути к счастью.

— А ты счастлив, папа?

— Счастлив настолько, насколько позволяет мой характер. Мне так не хватает твоей матери. А если я еще потеряю тебя и Ноэль...

— О! Мы не покинем тебя!

Пирсон улыбнулся.

— Дорогая моя,— сказал он.— Мне кажется, что я уже потерял вас!

ГЛАВА VIII

Кто-то написал мелом слово «мир» на дверях трех соседних домов на маленькой улочке напротив Букингэмского дворца.

Оно бросилось в глаза Джимми Форту, которыйковылял к себе домой после затянувшегося спора в клубе, и его тонкие губы скривились в усмешке. Он был одним из тех англичан-перекати-поле, которые проводят юность в разных частях света и попадают в разные передраги; это был человек, похожий на трость из твердой орешины, высокий, сухощавый, узловатый, крепкий, как гвоздь, смуглый, с крутым, упрямым затылком и таким же упрямым лбом. Люди такого типа складываются за одно-два поколения в колониях и в Америке. Но всякий принял бы Джимми Форту только за англичанина, и ни за кого другого. Хотя ему было уже около сорока, в его открытом лице еще сохранилось что-то мальчишеское, отважное и напористое, а маленькие, твердые серые глаза смотрели на жизнь с каким-то задорным юмором. Он еще носил военную

форму, хотя был признан негодным к военной службе: его продержали девять месяцев в госпитале, пытаясь подремонтировать раненую ногу, но она навсегда осталась искалеченной; теперь он служил в военном министерстве и ведал лошадьми, в которых знал толк. Работа ему не нравилась, он слишком долго прожил среди самых разных людей, которые не были ни англичанами, ни чиновниками,— эту комбинацию он находил просто невыносимой. Жизнь, которую он теперь вел, наводила на него скуку, и он бы все отдал, лишь бы снова очутиться во Франции. Вот почему это слово «мир» показалось ему особенно раздражающим.

Придя домой, он скинул с себя военную форму, которая была ему ненавистна своей казенной жесткостью, раскурил трубку и сел у окна.

Лунный свет не охлаждал раскаленного города, и, казалось, Лондон спит беспокойным сном — семь миллионов спящих в миллионе домов. Звуки были какими-то затяжными, они словно никогда не утихали; внизу, в узких улицах, стояли застарелые запахи, которые не под силу было развеять легкому ветерку. «Проклятая война!» — подумал Форт. «Чего бы я не отдал за то, чтобы выспаться где-нибудь на воле, а не в этом чертовом городе». Те, кто, пренебрегая правилами приличия, спят под открытым небом, наверняка насладятся ночной прохладой. И сколько бы ни выпало сегодня росы, ее не хватит, чтобы охладить в душе Джимми Форты вечно обжигающую мысль: «Война! Проклятая война!» В бесконечных рядах маленьких серых домиков, в огромных отелях, в поместьях богачей, в виллах, в трущобах, в правительственных канцеляриях, на заводах, на железнодорожных станциях, где работа идет всю ночь; в длинных палатах госпиталей, где чуть не навалом лежат раненые; в лагерях для интернированных; в бараках, рабочих домах, во дворцах — повсюду, где спит человек или бодрствует, ни одна голова не свободна от этой мысли: «Проклятая война!»

Ему бросился в глаза шпиль, точно призрак, возвышающийся над крышами. Ах, одни лишь церкви, потерявшие человеческие души, не желают ничего понимать!.. А людей не освобождает даже сон. Там мать шепчет имя своего сына; тут храпит предприниматель, и

ему снится, что он тонет, захлебываясь в золоте; здесь жена протягивает руку — и никого не находит рядом; там просыпается в холодном поту раненый солдат — ему снится, будто он все еще в окопе; а тут, на чердаке, газетчик продолжает и во сне хрипло выкрикивать названия и заголовки газет. Тысячи и тысячи обездоленных людей мечутся, заглушая стоны; тысячи разоренных людей вглядываются в мрачное будущее; домохозяйки воюют за жизнь с жалкими грошами в руках; солдаты спят как убитые — завтра их и в самом деле убьют; детям снятся отцы; проститутки тупо дивятся тому, что на них такой спрос; журналисты спят сном праведников — и над всеми в лунном свете витает одна и та же мысль: «Проклятая война!» И она машет черными крыльями, как старый ворон.

«Если бы Христос существовал, — думал Форт, — он достал бы с неба луну, и пошел бы по всей Европе, и писал бы ею, как мелом, слово «мир» на каждой двери каждого дома. Но Христа не существует, а Гинденбург и Хармсворт существуют. Они так же реальны, как два буйвола, бой которых он видел однажды в Южной Африке. Ему казалось, что он снова слышит топот, храп и удары мощных черепов и видит, как животные, отпрянув назад, снова несутся один на другого, вращая налитыми кровью глазами.

Он вынул из кармана письмо и снова перечел его при свете луны:

«Кэймилот-Мэншенз, 15.

Сент-Джонс-Вуд.

— Дорогой мистер Форт,

Просматривая старые письма, я натолкнулась на адрес вашего клуба. Знаете ли вы, что я в Лондоне? Мой муж умер пять лет назад, и я уехала из Стэнбока. С тех пор я много пережила; это было ужасное время. Пока немцы вели кампанию на юго-западе, я работала сестрой милосердия; но год назад я вернулась в Лондон, чтобы помогать здесь. Как было бы приятно встретиться с вами снова, если вы случайно в Англии! Я работаю в госпитале в В. А. Д.¹, но по вечерам обычно свободна. Пом-

¹ В. А. Д.— Victoria-Albert Dock's — портовый район Лондона.

ните ли вы ту лунную ночь во время сбора винограда? Здесь нет благоуханных ночей, как там. Бензин! Фу! А все эта война!

С самыми лучшими воспоминаниями
Лила Линч».

Ужасное время! Если он не ошибается, для Лилы Линч вся жизнь была ужасным временем. Он улыбнулся, представив себе крыльцо старого голландского дома в Верхней Констанции и женщину, сидящую под белыми, ароматными цветами плюща, — красивую женщину, с глазами, которые словно околдовывают тебя; женщину, в чьи сети он непременно попал бы, если бы во время не удрал! С тех пор прошло десять лет, и вот теперь она снова здесь и напоминает ему о прошлом. Он вдохнул аромат, исходивший от письма. Как это люди ухитряются отразить в письмах суть того, чем они занимаются во время войны! Если он надумает ответить ей, то, наверно, напишет так: «Поскольку я охромел, я работаю в военном министерстве, комплектую коней для кавалерии. Скучная это работа!» Лила Линч! Женщины с годами не молодеют, а он и тогда подозревал, что она старше его. Но он не без удовольствия вспоминал ее белые плечи, изгиб шеи, когда она поворачивала голову и смотрела на него большими серыми глазами. Они были знакомы всего пять дней, но сколько вместилось в эти дни! Так нередко случается с теми, кто приезжает в чужие края. Весь этот эпизод напоминал охоту на бекасов в болотистой местности: ступишь на опасный зеленый островок ногой — и увязнешь по самую шею. Да, теперь для него опасности уже нет: ее муж умер, бедняга. Было бы приятно в эти унылые дни, когда все время уходит только на службу родине, поразнообразить служебную скуку несколькими часами отдыха в ее обществе. «Какие же мы ничтожества! — подумал он. — Если верить газетам и речам, — все думают только о том, чтобы попасть под пули во имя будущего. Какое-то опьянение собственным красноречием! Что же будет с нашими головами и ртами, когда в одно прекрасное утро мы проснемся и увидим, как мир сияет во всех окнах? Ах, если бы только это сбылось! Если бы только радость жизни опять вернулась к нам!» Он посмотрел на луну. Она уже заходила,

растворяясь в свете зари. На улицах из рассветных сумерек появлялись поливочные и уборочные машины. Хлопотливо щебетали в канавах воробьи. Пустынный, как Вавилон, город поднимал свое странное, незнакомое лицо к серому свету. Джимми Форт выколол трубку, вздохнул и лег спать.

В это самое время Лила Линч, возвращаясь с ночного дежурства, решила прогуляться часок, прежде чем идти домой. В ее ведении были две палаты, и, кроме того, как правило, она брала дневные дежурства; незначительные изменения в расписании дали ей лишний свободный час. И она чувствовала себя на этот раз хуже или, может быть, лучше обычного — после восемнадцати часов, проведенных в госпитале. Щеки ее были бледны, у глаз обозначились морщинки, обычно незаметные. В лице ее странно совмещались мягкость и твердость: глаза, несколько полные губы и бледные щеки говорили о природной мягкости, но ее огрубляло выражение замкнутости и сдержанности, свойственное женщинам, которым самим приходится бороться за существование и, сознавая свою красоту, стараться сохранить ее, несмотря на возраст. Фигура ее тоже производила двойственное впечатление: естественная мягкость линий приобрела некоторую жесткость из-за корсета. Она шла по пустынным предрассветным улицам, распахнув длинное синее пальто; сняв шляпу, она вертела ее на пальце; ее пушистые, светло-каштановые, чуть подкрашенные волосы, свободно развевались на утреннем ветерке. И хотя она не могла себя видеть, ей нравилась ее фигура, медленно движущаяся мимо одиноких деревьев и домов. Как жаль, что никто не видит ее на этой прогулке по Риджент-парку, занявшей у нее уже добрый час! Она шла, размышляя и наслаждаясь утренними красками, которые словно только для нее возвращались в мир.

Лила Линч была женщиной с характером, и прожила она в некотором смысле интересную жизнь. В юности она кружила головы многим, не только своему кузену Эдварду Пирсону, а в восемнадцать лет вышла замуж по любви за красивого молодого индийского чинов-

ника по имени Фэйн. Год они любили друг друга. А потом потянулись пять лет взаимных обид, скуки, все возраставшего цинизма, частых поездок в Симлу, путешествий домой в Англию для лечения — здоровье ее и в самом деле было подорвано жарким климатом. Все это кончилось, как и следовало ожидать, новой страстью, которой она вспылала к колониальному стрелку Линчу. Последовал развод, второй брак, а потом началась бурская война, и ее новый муж был тяжело ранен. Она приехала к нему; ее заботы помогли ему отчасти восстановить свое когда-то крепкое здоровье; в двадцать восемь лет она поселилась с ним в глуши, на ферме в Капской колонии. Так они прожили десять лет, сначала на уединенной ферме, потом в старом голландском доме в Верхней Констанции. Линч оказался неплохим парнем, но, как и большинство солдат старой армии, был абсолютно лишен эстетических чувств. А на несчастье Лилы, у нее наступали моменты, когда эстетические переживания казались ей совершенно необходимыми. Она боролась, чтобы преодолеть эту, а заодно и другую свою слабость — ей нравилось вызывать восхищение мужчин; были, разумеется, и такие этапы в ее жизни, когда судьба не баловала ее успехами. Ее знакомство с Джиммом Фортом произошло как раз на таком этапе. И когда он неожиданно уехал в Англию, Лила уже питала к нему весьма нежные чувства. Она до сих пор не без удовольствия вспоминала о нем. Пока был жив Линч, в ней иногда возрождалось на этих «этапах» прежнее теплое чувство к искалеченному человеку, с которым она связала жизнь в романтической обстановке развода. Он, конечно, оказался неудачным фермером, и после его смерти у нее не осталось ничего, кроме собственного ежегодного дохода в 150 фунтов. И вот в тридцать восемь лет она должна была сама зарабатывать себе на жизнь; но если Лила и растерялась, то очень ненадолго — она была поистине смелой женщиной. Как и многие, кто играл в любительских спектаклях, она вообразила себя актрисой; после нескольких попыток выяснилось, что для разборчивых импрессарио и публики Южной Африки ценность представляют только ее голос да прекрасно сохранившиеся ноги. Назвав себя вымышленным именем, она три сезона боролась с судьбой при помощи голоса и ног.

Все, что она делала, стараясь сохранить при этом некоторый лоск и изысканность, было гораздо пристойнее, чем подвиги некоторых дам, оказавшихся в ее положении. По крайней мере она никогда не жаловалась на стесненные обстоятельства, и если ее жизнь была беспорядочной и насчитывала три тяжелых эпизода, это была жизнь глубоко человеческая. Она храбро встречала превратности судьбы, никогда не теряла способности извлекать из жизни удовольствия и все больше сочувствовала бедам ближних. Но она смертельно устала. Когда началась война, она вспомнила, что прежде была неплохой сестрой милосердия, приняла свое настоящее имя и решила переменить профессию. Для женщины, которая привыкла нравиться мужчинам и хотела, чтобы мужчины нравились ей, обстановка военного времени не лишена была некоторой привлекательности; после двух лет войны она с удовольствием замечала, что ее томми поворачивают головы и следят за ней взглядом, когда она проходит мимо их коек. Но жестокая школа жизни научила ее в совершенстве владеть собой. И хотя всякие кисляи и пуритане не были равнодушны к ее чарам, они знали, что ей сорок три. А вообще солдаты любили ее, и в ее палатах редко случались неприятности. Война научила ее идти простыми путями; она была патриоткой без мудрствований, как все люди ее круга. Отец ее был моряк, а мужья: один — чиновник, другой — военный; жизнь для нее не осложнялась никакими отвлеченными размышлениями. Родина — прежде всего. И хотя в течение этих двух лет через ее руки прошло великое множество молодых изувеченных тел, она считала это повседневной работой, щедро даря свои симпатии и не очень предаваясь сожалениям и мыслям об утратах. Да, она и в самом деле работала не покладая рук, «внося свою лепту»; но с некоторого времени она почувствовала, что в ней снова просыпается прежняя смутная тяга к «жизни», к удовольствиям, к чему-то большему, чем платоническое восхищение, которое испытывали к ней ее томми. Эти старые письма — уже одно то, что она стала их просматривать, было верным признаком той смутной тяги — до предела обострили ощущение, что жизнь проходит мимо нее, хотя она, Ли́ла Линч, все еще не лишена привлека-

тельности. Она долго не была в Англии, а вернувшись сюда, она так много времени отдавала работе, что не связала даже тех немногих нитей, которые соединяли ее с прошлым. Два письма из этой маленькой пачки, сохранившейся от прошлого — а ведь прошли годы и годы! — пробудили в ней какое-то сентиментальное томление.

«Дорогая хозяйка ароматных цветов!
Exiturus(sic!) te saluto!¹ Почтовое судно привезет вам мое прощальное послание. Честно говоря, мне очень не хочется покидать Южную Африку. Из всех моих воспоминаний последнее будет жить дольше всего — сбор винограда в Констанции и ваша песенка «Ах, если б я была росинкой». Если когда-нибудь вы и ваш муж приедете в Англию, дайте мне знать, я попытаюсь хоть немного отблагодарить вас за эти счастливейшие пять дней, которые я провел здесь.

Ваш верный слуга
Джимми Форт».

Она вспомнила его загорелое лицо, высокую, стройную фигуру и что-то рыцарское во всем облике. Каким он стал через десять лет? Седой, женатый, с большой семьей? Какая страшная вещь — время. А вот еще письмо — от кузена Эдварда, на желтой бумаге. Боже мой! Двадцать шесть лет назад! Он еще не был священником, еще не женился, ничего этого не было! Такой прекрасный партнер в танцах, по-настоящему музыкальный; странный, милый юноша, преданный, рассеянный, легко обижающийся, но горящий каким-то внутренним огнем...

«Дорогая Лиля!

После нашего последнего танца я сразу же ушел — мне не хотелось оставаться. Я направился к реке и гулял вдоль берега. Река, окутанная серым туманом, была прекрасна, деревья что-то шептали, и даже коровы казались мне священными, а я все ходил и думал о тебе. Какой-то фермер, поглядев на мой карнавальный ко-

¹ Уходя, тебя приветствую! (лат.)

стюм, принял меня за умалишенного. Дорогая Лила, ты была такая красивая вчера вечером, и мне так нравилось танцевать с тобой. Надеюсь, что я тебе не надоел и что скоро смогу тебя увидеть снова.

Твой любящий кузен
Эдвард Пирсон».

А потом он уехал, стал священником, женился, и вот уже пятнадцать лет вдовец. Лила вспомнила, что жена его умерла перед тем, как она уехала в Южную Африку, в тот «позорный» период ее жизни, когда она так шокировала всю семью своим разводом. Бедный Эдвард — самый приятный из ее кузенов! Единственный, которого ей хотелось бы снова увидеть. Должно быть, он очень постарел и страшно добропорядочен сейчас!..

Круг, который она делала по Риджент-парку, замкнулся. Солнце уже поднялось над домами, но шума уличного движения еще не было слышно. Она остановилась у клумбы с гелиотропами и глубоко вздохнула всей грудью. Не удержавшись, она сорвала веточку и понюхала цветы. И вдруг тоска по любви охватила ее, она просто жаждала любви каждой частицей своей души.

Она вздрогнула и, полузакрыв глаза, долго стояла у клумбы с бледно-фиолетовыми цветами. Потом, взглянув на ручные часы, увидела, что уже около четырех часов утра, и поспешно зашагала домой, чтобы поскорей добраться до постели — в полдень ей снова надо быть на дежурстве. Ах, эта война! Она так устала. Только бы кончилась война, тогда можно было бы еще пожить!..

Где-то у Твикенхэма луна зашла за дома, где-то у Кентиш Таун выплывало солнце; снова загремели колеса и семь миллионов спящих пробудились в миллионе домов от утреннего сна с одною и той же мыслью...

ГЛАВА IX

За завтраком Эдвард Пирсон, рассеянно доедая яйцо, распечатал письмо, написанное почерком, которого он не узнал.

Дорогой кузен Эдвард!

Помнишь ли ты меня или я ушла слишком далеко под сень ночи? Когда-то я была Лилой Пирсон; я часто о тебе думаю и все спрашиваю себя: каков-то он сейчас, какие у него дочери? Я здесь уже около года, ухаживаю за нашими ранеными, а до этого была сестрой милосердия в Южной Африке. Пять лет назад умер мой муж. Хотя мы не встречались — страшно даже подумать, как давно, — мне очень хотелось бы увидеть тебя снова. Не зайдешь ли ты как-нибудь ко мне посмотреть мой госпиталь? Под моим началом две палаты; наши солдатики — просто чудо.

Забытая тобой, но все еще любящая тебя кузина
Лила Линч.

Р. S. Мне попало коротенькое письмецо, которое ты мне когда-то написал; оно напомнило мне о прежних днях».

Нет! Он не забыл. В его доме было живое напоминание о ней. Он посмотрел на сидящую напротив Ноэль. Как похожи у них глаза! И он подумал: «Интересно, какая сейчас Лила? Надо быть милосердным. Тот человек умер; два года она работает сестрой в госпитале. Она, наверно, очень изменилась. Конечно, я рад был бы повидать ее. Я пойду к ней».

Он еще раз взглянул на Ноэль. Только вчера она снова просила позволить ей начать готовиться в сестры милосердия.

— Сегодня я решил посмотреть один госпиталь, Ноли, — сказал он. — Если хочешь, я наведу справки. Но боюсь, что тебе придется начать с мытья полов.

— Ну что ж, мне все равно. Лишь бы начать.

— Очень хорошо; я узнаю. — Пирсон снова принялся за яйцо.

Потом он очнулся от задумчивости, услышав голос Ноэль:

— Ты очень чувствуешь войну, папа? Из-за нее у тебя не болит здесь? — Она положила руку на сердце. — А может, и не болит, потому что ты живешь наполовину в потустороннем мире. Правда?

У Пирсона чуть не сорвались слова: «Боже упаси!», — но он не произнес их, а только положил на стол ложку, обиженный и ошеломленный. Что она хотела сказать? Как можно не чувствовать войны?

— Мне кажется, Нолли, что я в силах еще иногда помочь людям, — возразил он.

Сознавая, что отвечает скорее на собственные мысли, чем на ее вопрос, он закончил завтрак и ушел.

Пирсон пересек площадь и направился через две многолюдные улицы к своей церкви. На этих улицах, запущенных и грязных, его фигура в черном одеянии и серьезное лицо с вандейковской бородкой производили странное впечатление чего-то устарелого, какого-то пережитка прежней цивилизации. Он вошел в церковь через боковую дверь. Всего пять дней он не был здесь, но эти дни были наполнены такими переживаниями, что знакомое пустое здание показалось ему чужим. Он пришел сюда бессознательно, в поисках пристанища и наставления, в которых так нуждался теперь, когда его отношения с дочерьми вдруг изменились. Он стоял у потертого медного орла и смотрел на алтарь. Для хора нужны новые сборники песнопений — не забыть бы заказать! Глаза его остановились на цветном витраже, который он поставил здесь в память жены. Солнце стояло высоко и озяло низ витража, пылавший густым вишневым цветом.

«В потустороннем мире»... Что за странные слова! Он посмотрел на блестящие трубы органа. Поднявшись на хоры, он сел и начал играть, беря мягкие, сливающиеся друг с другом аккорды. Потом постоял немного, глядя вниз. Это пространство между высокими стенами и сводчатым потолком, где дневной свет всегда казался сумерками, сквозь которые лишь кое-где выступали яркие пятна стекол, цветов, металла или полированного дерева, — это пространство было его домом, его заботой, его прибежищем. Ни шороха там, внизу.... И все-таки разве эта пустота не жила своей таинственной жизнью, разве сам воздух, заключенный в этих стенах, не хранил в себе странным образом и звуки музыки и голоса людей, читающих молитвы и воссылающих хвалу богу? Разве не живет здесь святость? На улице шарманщик накручивал какую-то мелодию; по мостовой громахала телега и возчик покрикивал на лошадь; откуда-то издалека доноси-

лись учебные залпы орудий, а перестук догоняющих друг друга колес сплетался в какую-то паутину звуков. Но весь этот вторгающийся с улицы шум превращался здесь в некое подобие приглушенного жужжания; только тишина да этот сумеречный свет были реальны для Пирсона — маленькой черной фигурки, застывшей в огромном, пустом пространстве.

Когда он покинул церковь, было еще рано идти в госпиталь к Лиле; заказав новые сборники песнопений, он отправился к одной из своих прихожанок, у которой сын был убит во Франции. Он нашел ее в кухне; пожилая женщина жила поденной работой. Она вытерла табуретку для викария.

— Я как раз собиралась выпить чашку чая, сэр.

— А! Приятно выпить чаю, миссис Солз.

И он сел, чтобы она чувствовала себя свободнее.

— Да. Только от чая у меня изжога. Я выпиваю теперь восемь или десять чашек в день, к тому же крепкого. Без этого я бы не могла жить. Надеюсь, ваши дочки в добром здравии, сэр?

— Да, благодарю вас. Мисс Ноэль собирается стать сестрой милосердия.

— Подумать только, она ведь так молода! Но теперь все молодые девушки что-то делают. У меня племянница на военном заводе, неплохо зарабатывает... Мне все хотелось сказать вам — я ведь теперь не хожу в церковь; с тех пор, как убит сын, мне никуда не хочется идти. Я и в кино не была три месяца. Как поволнуюсь, так сразу в слезы.

— Я знаю. Но в церкви вы найдете утешение.

Миссис Солз покачала головой, и маленький узелок ее бесцветных волос тоже качнулся.

— Я не могу быть без дела, — сказала она. — Я лучше похлопочу по дому или задержусь на работе. Мой мальчик был мне хорошим сыном. Вот чай — единственная вещь, которая мне на пользу. Если хотите, я мигом приготовлю вам чашечку свежего.

— Благодарю вас, миссис Солз, но мне пора идти. Всем нам нужно жить в ожидании встречи с нашими любимыми, ибо бог милосерден. Надеюсь, что в один из ближайших дней я увижу вас в церкви, не правда ли?

Миссис Солз переступала с ноги на ногу.

— Ну что ж, может быть и так,— сказала она.— Но я не знаю, когда соберусь пойти в церковь. До свидания, сэр, и спасибо вам, что зашли.

Пирсон уходил со слабой улыбкой. «Странная, бедная старушка! — Она была не старше его самого, но он почему-то считал ее глубокой старушкой,— Лишилась сына, как многие и многие! И как добра и терпелива!»

В его ушах зазвучала мелодия хорала. Пальцы его задвигались; он стоял неподвижно, ожидая автобуса, который должен был отвезти его в Сент-Джонс-Вуд. Тысячи людей проходили мимо остановки, но он не замечал их, думая об этом хорале, о своих дочерях, о божьем милосердии; когда наконец подошел автобус и Пирсон забрался на империял, он казался одиноким и заброшенным, хотя рядом с ним сидел пассажир, до того толстый, что трудно было примоститься возле него на скамейке. Сойдя у Лордс Крикет-граунда, он спросил дорогу у женщины в одежде сестры милосердия.

— Если хотите, могу вас проводить,— сказала она.— Я как раз туда и иду.

— О, так, может быть, вы случайно знаете миссис Линч, которая работает там сестрой?..

— Я и есть миссис Линч. Ах, да вы — Эдвард Пирсон!

Он внимательно посмотрел ей в лицо.

— Лила! — сказал он.

— Да, Лила. Как это славно, что ты пришел, Эдвард!

Они продолжали стоять, и каждый искал в другом свою юность. Наконец она пробормотала:

— Несмотря на твою бороду, я бы узнала тебя всюду.

Но подумала она другое: «Бедный Эдвард, он сильно постарел и похож на монаха!»

Пирсон, в свою очередь, сказал:

— Ты очень мало изменилась, Лила. Мы не виделись с того времени, когда родилась моя младшая дочка. Она немного похожа на тебя.

Про себя он подумал: «Моя Нолли! Насколько она красивее! Бедная Лила!»

Они двинулись вперед и, разговаривая о его дочерях, дошли до госпиталя.

— Если ты подождешь минуту, я проведу тебя по моим палатам.

Она оставила его в пустой приемной. Он стоял держа шляпу в одной руке, другой теребил золотой крестик. Лила тут же вернулась, и сердце его сразу оттаяло. Как красит женщину милосердие! В белой косынке и белом переднике, надетом поверх голубого платья, она казалась совсем иной — мягкой и доброй.

Она заметила перемену в выражении его лица, и на душе у нее тоже стало теплее; пока они шли через бывшую бильярдную, она все время смотрела на него.

— Мои солдатики — прелесть, — сказала она. — Они любят, когда с ними беседуют.

Верхний свет падал на шесть коек, выстроившихся вдоль зеленой стены; напротив, вдоль другой, стояло еще шесть; с каждой койки к ним поворачивались молодые равнодушные лица. Сиделка в дальнем конце комнаты оглянулась на них и занялась своим делом. Вид палаты был столь же привычным для Пирсона, как и для всякого другого в эти дни. Все было до мелочей знакомо и давно утеряло новизну. Пирсон остановился у первой койки, Лила стала рядом с ним. Пока она говорила, солдат улыбался; но когда начал говорить Пирсон, улыбка сошла с лица раненого. Это тоже было ему знакомо. Они переходили от одного раненого к другому, и все было так же, пока Лилу куда-то не вызвали. Он уселся возле молодого солдата с длинной головой, узким лицом и туго забинтованным плечом. Бережно прикоснувшись к повязке, Пирсон спросил:

— Ну как, мой милый мальчик, все еще плохо?

— А! — ответил солдат. — Шрапнельная рана. Шрапнель здорово рвет мясо.

— Но не убивает дух, я вижу?

Молодой солдат посмотрел на него как-то странно, словно хотел сказать: «Это бы еще полбеды!»

Возле крайней кровати заиграл граммофон: «Боже храни папу на войне!»

— Вы любите музыку?

— Да так себе. Помогает убивать время.

— Наверное, в госпитале время долго тянется?

— Конечно, долго; такова уж тут жизнь. Я не пер-

вый раз ранен, знаете ли. Но лучше лежать в госпитале, чем быть там. Должно быть, я уже не смогу действовать этой рукой. Но я не горюю. По крайней мере демобилизуют.

— У вас здесь хорошие сестры?

— Да, мне нравится миссис Линч, славная женщина.

— Она моя кузина.

— Я видел, что вы пришли вместе. Я все вижу. И очень много думаю. Быстрее проходит время.

— Вам разрешают курить?

— О да. Нам разрешают курить.

— Хотите сигарету?

Молодой солдат впервые улыбнулся.

— Благодарю вас. У меня их полно.

Мимо проходила сиделка, она с улыбкой сказала Пирсону:

— Он у нас старичок; уже побывал здесь однажды. Правда, Симсон?

Пирсон посмотрел на молодого солдата; длинное, узкое лицо, одно веко с рыжеватыми ресницами немного опущено. Этот юноша, казалось, был закован в некую броню всезнайства. Граммофон зашипел и начал исполнять «Сиди Ибраим».

— «Сиди Абрам»,— сказал молодой солдат.—Французы поют ее. Они ставят эту пластинку сотни раз, знаете ли.

— А,— пробормотал Пирсон,— хорошая песенка! — И его пальцы забарабанили по одеялу, он не знал этой мелодии. Что-то словно дрогнуло в лице молодого солдата, он как будто стал оттаивать.

— Франция мне нипочем,— сказал он отрывисто.— Мне нипочем снаряды и все прочее. Но я терпеть не могу болот. Так много раненых гибнет в болотах; они не в силах выбраться: их засасывает.— Его здоровая рука беспокойно задвигалась.— Меня и самого чуть не затянуло, но как-то удалось высунуть оттуда нос.

Пирсон содрогнулся.

— Слава богу, что удалось!

— Да. Я не люблю болот. Я рассказывал об этом миссис Линч, когда у меня был жар. Она хорошая женщина. Она много перевидала таких, как я. Эти болота — скверная штука, знаете ли.— И снова его здоровая рука

беспокойно задвигалась, а граммофон заиграл «Ребята в хаки».

Этот жест страшно подействовал на Пирсона; он поднялся, коснулся забинтованного плеча солдата и сказал: — Прощайте. Надеюсь, вы скоро поправитесь.

Губы молодого солдата задержались, — это было подобие улыбки, опущенное веко словно пыталось подняться.

— До свидания, сэр, — сказал он. — Благодарю вас.

Пирсон вернулся в приемную. Солнечный свет падал из открытой двери. Повинуясь какому-то бессознательному порыву, Пирсон подошел и встал в полосу света, и у него как-то стало спокойнее на душе. Болота! Как безобразна жизнь! Жизнь и смерть. И то и другое безобразно. Бедные мальчики! Бедные мальчики!

Он услышал сзади голос:

— О, ты уже здесь, Эдвард? Хочешь, я проведу тебя по другой палате, или показать тебе кухню?

Пирсон судорожно сжал ей руку.

— Ты делаешь благородное дело, Лила. Я хотел спросить тебя: не могла бы ты устроить, чтобы Нолли ходила сюда обучаться? Она хочет начать сейчас же. Дело в том, что юноша, в которого она влюблена, только что уехал на фронт.

— Ах, — прошептала Лила, и глаза ее стали грустными. — Бедное дитя! На будущей неделе нам потребуется человек. Я посмотрю, может быть, ее возьмут. Поговорю с сестрой-экономкой и сегодня же сообщу тебе.

Она крепко пожала ему руку.

— Милый Эдвард, я так рада, что снова встретила с тобой. Ты первый из нашей семьи, кого я увидела за эти шестнадцать лет. Может быть, ты приведешь Ноэль ко мне поужинать сегодня вечером? Так, легкий ужин. У меня маленькая квартирка. Будет капитан Форт, очень приятный человек.

Пирсон принял приглашение и, уходя, подумал: «Милая Лила! Я верю, что это рука провидения. Лила нуждается в сострадании. Ей хочется почувствовать, что прошлое есть прошлое. Как добры женщины!»

Солнце, вдруг сверкнувшее из-за туч в ту минуту, когда он проходил по середине Портленд-Плэйс, залило светом его черную фигуру и маленький золотой крестик.

Люди, часто бывавшие на чужбине и повидавшие свет, даже если они и не обладают художественной жилкой, привыкают смотреть на мир, как на некую театральную сцену и становятся очень восприимчивыми ко всему живописному. Так Джимми Форт впоследствии вспоминал и свой первый ужин у Лилы Линч: как некую картину или серию картин. Случилось, что весь тот день он пробыл на воздухе, разъезжал в машинё под жарким солнцем по конским заводам, а рейнвейн, выпитый за ужином, обладал скрытой крепостью; ощущение театральности происходящего еще больше усиливало присутствие какой-то высокой девочки, которая ничего не пила; отец ее тоже только пригубил вина; так что они с Лилой выпили все остальное. В его сознании все это слилось в одну сцену, теплую, яркую и в то же время странно мрачную — может быть, из-за черных стен комнаты.

Квартирка эта принадлежала какому-то художнику, который уехал на фронт. Собственно, это была мансарда на четвертом этаже. Два окна маленькой квадратной гостиной глядели на группу деревьев и церковь. Но Лила, которая не любила обедать при дневном свете, сразу же задернула шторы из темно-голубой материи. Картина, которая припоминалась потом Форту, была такая: маленький квадратный стол темного дерева, посреди него на ярко-синей китайской подставке — серебряная ваза с садовой гвоздикой; несколько зеленоватых бокалов с рейнвейном; слева от него — Лила в сиреневом платье, открывавшем очень белую шею и плечи, лицо немножко напудрено, глаза сверкают, губы улыбаются; напротив — священник в темном одеянии с маленьким золотым крестиком; у него тонкое смуглое лицо с благообразной острой бородкой, он мягко улыбается, но в его глубоко запавших серых глазах светится огонь; справа — девушка в закрытом сером платье, очень бледная, с тонкой шеей, пышные рукава до локтей открывают ее тонкие руки; короткие волосы слегка растрепаны; большие серые глаза глядят серьезно; полные губы изящно складываются, когда она говорит, но говорит она мало; красные отблески камина смешиваются с золотыми бликами света, пляшущими на черных сте-

нах; голубой диван, маленькое черное пианино у стены, черная полированная дверь; четыре японских гравюры; белый потолок. Он чувствовал, что его хаки портит это странное и редкое сочетание красок, встречающееся разве что на старинном китайском фарфоре. Он даже помнил, что они ели: омаров, холодный пирог с голубем, спаржу, сент-ивельский сыр, малину со сливками. О чем они разговаривали, он наполовину забыл; помнил только собственные рассказы о бурской войне, в которой он участвовал в полку добровольческой кавалерии; пока он говорил, девушка, словно ребенок, слушающий сказку, не сводила с него глаз. После ужина они все курили сигареты, даже эта высокая девочка — и священник сказал ей мягко: «Моя дорогая!», — а она ответила: «Мне просто необходимо, папа. Только одну.» Он помнил, как Ли́ла наливала всем кофе по-турецки, очень хорошее, и как красивы были ее белые руки, словно порхающие над чашками. Он помнил также, что она усадила священника за пианино, а сама села рядом с девушкой на диване, плечом к плечу — странный контраст! — хотя они были так же странно похожи. Он помнил, как изумительно звучала музыка в маленькой комнате, наполняя все его существо мечтательным блаженством. А потом, вспоминал он, Ли́ла пела, а священник стоял рядом; высокая девочка сидела на диване, подавшись вперед, охватив колени руками и уткнувшись в них подбородком. Он довольно отчетливо помнил, как Ли́ла повернула голову и посмотрела на него, потом на священника, потом снова на него; и весь вечер его не покидало восхитительное ощущение света, тепла и какого-то волшебного обаяния; и это долгое рукопожатие Лилы, когда он прощался! Все вышли вместе, потому что им было по дороге. Он помнил, что в машине очень долго разговаривал о чем-то со священником, кажется, о школе, в которой оба они учились, и думал: «Это хороший священник». Помнил он, как такси доставило их на какую-то площадь, которой он не знал, где деревья казались непроницаемо черными в свете звезд. Он помнил, что какой-то человек, стоявший у дома, завел со священником серьезный разговор, а высокая девушка и он стояли у открытой двери, за которой была темная передняя. Он очень хорошо по-

мнил короткий разговор, который завязался между ним и девушкой, когда они поджидали ее отца.

— Очень страшно в окопах, капитан Форт?

— Да, мисс Пирсон, почти всегда очень страшно.

— И все время опасно?

— Да, почти всегда.

— А офицеры рискуют больше, чем солдаты?

— Нет. Если только не бывает атаки.

— А атаки часто бывают?

Ему показались странными и примитивными эти вопросы, и он улыбнулся. И хотя было очень темно, она увидела эту улыбку, потому что лицо ее сразу стало очень гордым и замкнутым. Он мысленно выругал себя и спросил мягко:

— У вас брат там?

Она покачала головой.

— Но кто-нибудь есть?

— Да.

Кто-нибудь! Этот ответ его поразил. Ребенок, принцесса из сказки,— а у нее уже есть там кто-то. Он понял, что она задавала все эти вопросы не зря, а все время думая о том человеке. Бедное дитя! И он поспешно сказал:

— В конце концов посмотрите на меня. Я там пробыл год, и вот я здесь, только нога покалечена; а ведь тогда времена были похуже. Я часто мечтаю вернуться туда. Все лучше, чем Лондон и военное министерство!

Он увидел приближающегося священника и протянул ей руку.

— Спокойной ночи, мисс Пирсон. Не беспокойтесь. Это ведь не помогает. Там и вполонину не так опасно, как вы думаете.

Она благодарно сжала его руку. Так мог бы сжать руку ребенок.

— Спокойной ночи,— прошептала она.— Большое вам спасибо.

Сидя в темной машине, он подумал: «Что за странный ребенок! А он счастливее, тот мальчик, что сейчас на фронте. Как все скверно! Бедная маленькая принцесса из сказки!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Мытье посуды — не очень вдохновляющее занятие. А в августе оно превратилось для Ноэль в подлинное испытание ее сил и энтузиазма. К тому же, готовясь к роли сестры милосердия, она выполняла и другие работы. У нее было очень мало свободного времени, и по вечерам она дома часто засыпала, свернувшись калачиком в большом, обитом ситцем кресле.

Джордж и Гретиана давно уже уехали в свои госпитали, и Ноэль с отцом были сейчас в доме одни. Она получала от Сирила много писем, носила их с собой и часто перечитывала по дороге в госпиталь и домой. Сама она писала ему через день. Он еще не был на передовой. В письмах он рассказывал ей, какие у него солдаты, каков военный паек, что за люди живут в тех местах, вспоминал о Кестреле. А Ноэль писала, что моет посуду в госпитале, и тоже вспоминала Кестрель. Но в каждом их письме всегда было словечко-другое о том, как они тоскуют друг о друге.

В конце августа он написал ей, что его часть передвинули на передовую. Отныне он постоянно будет в опасности! В этот вечер Ноэль не заснула после обеда в кресле, а села, сцепив руки, у открытого окна; пыталась читать «Гордость и предубеждение»¹, но не понимала ни одного слова. Когда к ней заглянул отец, она была целиком поглощена своими мыслями.

¹ Роман известной английской писательницы Джейн Остин (1775—1817).

— Капитан Форт пришел, Нолли. Угости его кофе. А мне надо отлучиться.

Отец ушел. Ноэль смотрела на гостя, отхлебывающего кофе. Капитан был на фронте и вернулся живым, вот только слегка прихрамывает. Форт сказал с улыбкой:

— О чем вы думали после того, как мы виделись с вами?

— Я все время думаю только о войне.

— Есть какие-нибудь новости от него?

Ноэль нахмурилась.

— Да. Он теперь на передовой. Не хотите ли сигарету?

— Спасибо. А вы закурите?

— Да, непременно. Мне кажется, что сидеть тихо и ждать — ужаснее всего на свете.

— Еще ужаснее — знать, что другие тебя ждут. Когда я был на фронте, меня страшно мучили мысли о матери. Она все время болела. Самое жестокое в войне — это беспокойство друг о друге — ни с чем нельзя сравнить!

Эта фраза словно подытожила то, о чем постоянно думала Ноэль. Он утешал ее, этот человек с длинными ногами и худым, загорелым, шишковатым лицом.

— Я хотела бы быть мужчиной, — сказала она. — Мне кажется, больше всего страдают во время войны женщины. Ваша мать старая? «Ну, конечно же, старая, ведь и сам он не молод», — подумала она.

— Она умерла в прошлое рождество.

— О, простите!

— А вы потеряли мать еще в детстве, не правда ли?

— Да. Вот ее портрет.

В углу комнаты на куске черного бархата висел исполненный пастелью, в очень бледных тонах, да и выцветший уже, портрет молодой женщины со страстным и нежным лицом и темными глазами; она сидела, слегка подавшись вперед, словно о чем-то спрашивая художника. Форт подошел к портрету.

— Вы несколько не похожи на нее, но она, наверно, была прелестной женщиной.

— Она как будто живет в этой комнате. Мне хотелось бы быть похожей на нее.

— Нет, — сказал Форт, вернувшись к столу. — Нет.

Лучше оставайтесь такой, какая вы есть. Это бы только нарушило цельность вашего облика.

— Она была хорошая.

— А вы?

— О нет! Иногда в меня вселяется бес.

— В вас? Да вы же прямо принцесса из сказки!

— Беса я унаследовала от отца; только он этого не знает, потому что он — настоящий святой. Но я-то знаю, что в нем когда-то сидел бес. Иначе отец не мог бы быть святым.

— Гм! — пробормотал Форт. — Что-то очень сложно! Но одно, я думаю, верно: в каждом святом действительно когда-то сидел бес.

— Бес бедного папочки уже давно умер. Или он мори́л его голодом, и тот удрал.

— А вашему бесу есть еще чем поживиться?

Ноэль почувствовала, как вспыхнули ее щеки под его взглядом, и отвернулась к окну.

— Нет. Но это настоящий бес.

И вдруг перед нею живо предстало темное Аббатство и луна, повисшая над полуразрушенной стеной, и белая сова, плывущая над ними. И, словно в пространство, она прошептала:

— Бес заставляет человека делать то, что ему нравится.

Она подумала, что он засмеется — это прозвучало так глупо. Но он не засмеялся.

— И — наплевать на последствия? Понимаю. Наверно, занятно, когда в тебе живет бес?

Ноэль покачала головой.

— Вот папа возвращается, — сказала она.

Форт протянул ей руку.

— Мне пора идти. Спокойной ночи: и не слишком тревожьтесь, хорошо?

Он держал ее руку довольно долго, потом крепко пожал.

«Не тревожьтесь»! Что за совет! О Сирил!

В сентябре 1916 года, несмотря на войну, суббота наступила перед воскресеньем. Для Эдварда Пирсона эта суббота была очень напряженным днем, и даже сейчас,

чуть не в полночь, он продолжал трудиться, заканчивая почти готовую проповедь.

Он был патриотом, и у него часто появлялось страстное желание отказаться от своего прихода и отправиться, как и его помощник, на фронт войсковым священником. Ему казалось, что люди считают его жизнь праздной, бесполезной и слишком уж беззаботной. Даже в мирное время его очень уязвляли отчужденность и равнодушие, с которыми приходится встречаться церкви в этот век материализма. Он знал, что девять человек из десяти видят в нем чуть ли не паразита, не занятого никаким полезным делом. И так как основной чертой его характера была необычайная добросовестность, он работал до полного изнеможения.

Сегодня он встал в половине седьмого и после ванны и гимнастики уселся за свою проповедь — даже теперь он раз в месяц составлял новую, хотя всегда мог легко выбрать что-нибудь из запаса, накопившегося за двадцать шесть лет. Впрочем, сочиняя проповедь наново, он широко использовал старые; с отъездом помощника на фронт у него уже не хватало времени для новых размышлений на старые темы. В восемь он позавтракал с Ноэль; потом она ушла в госпиталь, откуда возвращалась в восемь вечера. С девяти до десяти он принимал прихожан; они являлись к нему со своими бедами, за помощью или советом; сегодня он принял троих, все они просили помощи, и он оказал ее. С десяти до одиннадцати он снова работал над проповедью, а с одиннадцати до часу был в церкви, занимаясь всякими мелочами: писал объявления, намечал порядок песнопений, отслужил ежедневную получасовую службу, установленную для военного времени, хотя мало кто посещал это моление. Потом он поспешил домой ко второму завтраку и съел его второпях, чтобы осталось время посидеть у рояля, забыться хотя бы на час. В три он крестил очень крикливого ребенка, и его еще задержали родители расспросами о самых разнообразных вещах. В половине пятого он наскоро проглотил чашку чая и просмотрел газету. Между пятью и семью побывал в двух приходских клубах, говорил с несколькими прихожанами, для которых он хлопотал о военных пенсиях — заполнял формы, подлежащие хранению в соответствующих учреждениях до

тех пор, пока не будут выпущены новые формы. От семи до восьми он снова был дома — на случай, если понадобится своей пастве; сегодня явились побеседовать с ним четверо — он не был уверен, стали ли они мудрее от этой беседы или нет. С половины девятого до половины десятого он присутствовал на репетиции хора, так как органист был в отпуску. Потом медленно в вечерней прохладе добрался до дома и там уснул в кресле. В одиннадцать проснулся, как от толчка, и, скрепя сердце, снова засел за проповедь. И вот теперь почти полночь, а вся проповедь займет не больше, чем двадцать минут. Он закурил сигарету, что позволял себе очень редко, и предался размышлениям. Как красивы эти светло-алые розы в старой серебряной вазе, словно удивительная маленькая поэма! А как хороша та музыкальная пьеса Дебюсси или картина Мариса¹, которая странным образом напоминала ему слово «Лила». Не ошибка ли это, что он позволяет Ноэль так много времени проводить в обществе Лилы? Но она стала намного лучше, эта славная Лила!.. А розы уже готовы осыпаться! И все-таки они прекрасны!.. Сегодня спокойный вечер... Он почувствовал, что начинает дремать... А Нолли все еще думает об этом юноше или ее чувство уже прошло? Она с тех пор ни разу не поверяла ему своих тайн! Хорошо бы после войны увезти ее в Италию, показать все эти маленькие городки. Они могли бы поехать в Ассизи, где жил святой Франциск. «Цветочки Франциска Ассизского»². Цветочки! Рука его упала, сигарета погасла. Он спал. Лицо его было в тени.

Но постепенно в его глубокую дремоту вторглись какие-то едва слышные, зловещие звуки, какие-то легкие постукивания — они звали его, выводили из этого тяжелого оцепенения. Он вскочил. В дверях стояла Ноэль в длинном пальто. Она сказала спокойным голосом:

— Цеппелины, папа!

— Да, моя милая. Где девушки?

Кто-то с ирландским акцентом ответил из передней:

¹ Марис, Маттейс (1839—1917) — голландский художник.

² Сборник проповедей, приписываемых Франциску Ассизскому (1182—1226), основателю монашеского ордена францисканцев.

— Мы здесь, сэр; уповаем на господу; но лучше бы спуститься в подвальный этаж.

Он увидел на ступеньках лестницы три жавшиеся друг к другу фигуры в довольно странных одеяниях.

— Да, да, Бриджи. Там безопаснее.— Но тут он заметил, что Нолли исчезла. Он пошел за ней следом на площадь, уже заполненную людьми, лица которых были едва различимы в темноте. Ноэль он нашел возле ограды сквера.

— Пойдем домой, Нолли.

— Ну нет! У Сирила это бывает каждый день.

Он покорно стал рядом с ней; его и самого охватывало какое-то возбуждение. Несколько минут они напрягали зрение, стараясь разглядеть что-нибудь в небе, но видели только зигзагообразные вспышки рвущейся шрапнели да слышали гул голосов вокруг и выкрики: «Смотри, там, там! Вот он — там!»

Но, должно быть, эти люди обладали более острым зрением, чем Пирсон: он не видел ничего. Наконец он взял Ноэль за руку и повел в дом; в прихожей она вырвалась.

— Пойдем на крышу, папочка! — И побежала вверх по лестнице. И опять он последовал за ней, поднялся по лестнице и через люк вылез на крышу.

— Здесь так хорошо видно! — крикнула она.

Он заметил, как сверкают ее глаза, и подумал: «Откуда у моего ребенка такое пристрастие ко всему возбуждающему — это просто невероятно!»

На необъятном темном, усеянном звездами небе метались лучи прожекторов, освещая маленькие облака; среди множества крыш вздымались вверх купола и шпили, величественные и призрачные. Зенитные пушки вдруг прекратили огонь, словно чем-то озадаченные; вдали раздался взрыв.

— Бомба! Ах! Вот бы сбить хоть один из цеппелинов!

Снова яростно загрохотали пушки, канонада продолжалась с минуту, потом снова умолкла, словно по волшебству. Они увидели, как два луча прожекторов скрестились и встретились прямо у них над головой.

— Это над нами,— прошептала Ноэль.

Пирсон обнял ее. «Она совсем не боится»,— подумал

он. Лучи прожекторов опять разделились; и вдруг откуда-то издалека донесся неясный гул.

— Что это?! Кричат «ура»! О! Папочка, смотри!

На восточной стороне неба висело что-то тускло-красное, оно словно удлинялось прямо на глазах.

— Они попали в него! Он горит! Ура!

Пылающий оранжевый предмет начал опускаться книзу, крики «ура» все нарастали, доходя до какой-то неистовой ярости. Пирсон сжал плечо дочери.

— Хвала богу,— пробормотал он.

Яркий овал, казалось, надломился и, распластавшись, поплыл боком, опускаясь за крыши; и вдруг все небо вспыхнуло, словно опрокинулся гигантский сосуд, наполненный красным светом. Что-то перевернулось в сердце Пирсона; он порывистым жестом прикрыл глаза рукой.

— Бедные люди — те, которые там! — сказал он.— Как ужасно!

Он услышал голос Ноэль, жесткий и безжалостный:

— Нечего было лететь сюда! Они убийцы!

Верно, они убийцы. Но как это страшно! Он продолжал стоять неподвижно, содрогаясь, закрыв лицо руками, пока наконец не замерли крики «ура» и не наступила тишина.

— Помолимся, Нолли,— прошептал он.— О боже! Ты, по великой милости своей спасший нас от гибели! Прими в лоно твое души врагов наших, испепеленных гневом твоим на наших глазах; дай нам силы сожалеть о них,— ведь они такие же люди, как и мы сами!

Но даже молясь, он видел лицо Ноэль — бледное, освещенное отблесками пламени; и когда кровавый свет на небе угас, он еще раз ощутил трепет торжества.

Они спустились вниз, рассказали обо всем девушкам и некоторое время сидели вместе, толкуя о том, что им довелось увидеть, ели печенье и пили молоко, подогретое на спиртовке. Было уже около двух часов, когда они легли спать. Пирсон заснул тут же и ни разу не повернулся во сне, пока его не разбудил в половине седьмого будильник. В восемь ему надо было раздать причастие; он торопился попасть в церковь заблаговременно и кстати выяснить, не пострадала ли она от налета. Но церковь стояла вся залитая солнечным светом, высокая,

серая, спокойная, неповрежденная, и колокола ее тихо звонили.

В этот самый час Сирил Морленд стоял у бруствера своей траншеи, затягивая пояс, поглядывая на ручные часы и в сотый раз примеряясь, куда поставить ногу, где опереться рукой, когда надо будет выпрыгнуть из окопа. «Я ни в коем случае не должен позволить ребятам идти впереди меня», — думал он. Столько-то шагов до первой линии траншей, столько-то до второй линии — и там остановка!.. Итак, репетиции кончились; сейчас начнется действие. Еще минута — и из страшного гула артиллерийской подготовки возникнет огневая завеса, которая будет передвигаться впереди них. Он обвел глазами траншею. Ближайший к нему солдат поплевывал на пальцы, словно готовясь взять битую и ударить по мячу в крикете. Чуть подалее другой солдат поправлял обмотки. Чей-то голос сказал: «Вот бы оркестр сейчас!» Сирил увидел сверкающие зубы на загорелом до черноты лице. Потом он посмотрел вверх; сквозь бурую пелену пыли, поднятой рвущимися снарядами, проступала синева неба.

Ноэль! Ноэль! Ноэль!.. Он засунул пальцы глубоко в левый карман куртки, пока не почувствовал края фотографии между бумажником и сердцем. Оно трепетало сейчас так же, как тогда, когда он еще школьником, пригнувшись и касаясь одной рукой земли, собирался стартовать на сто ярдов. Уголком глаза он уловил огонек зажигалки — какой-то солдат закуривал сигарету. Этим ребятам все нипочем. А как он? Ему понадобится все его дыхание — да еще мешают винтовка и вся выкладка! Два дня назад он читал в газете описание того, как солдаты чувствуют себя перед атакой. Теперь он знал это по себе. Нервы его были напряжены до предела. Скорее бы наступила эта минута и скорее бы прошла! Он не думал о противнике, как будто его не существовало; не было ничего-ничего, кроме снарядов и пуль, словно живущих своей собственной жизнью.

Он услышал свисток; его нога сразу оказалась на том месте, которое он наметил, рука там, где решил ее положить. Он крикнул:

— Ну, ребята!

Голова его была уже над бруствером. Он перемахнул через него и тут же увидел, что кто-то падает, а вот, рядом с ним, еще двое. Только не бежать, только не сбиться с ровного шага; идти твердо и только вперед! Черт бы побрал эти ямы! Пуля пробила его рукав, обожгла руку — точно он прикоснулся к раскаленному железу. Английский снаряд пронесся над самой его головой и разорвался в шестидесяти ярдах впереди; Морленд споткнулся, упал плашмя, потом снова вскочил. Теперь впереди него трое! Он зашагал быстрее и поравнялся с ними. Двое упали. «Вот повезло!» — подумал он и, крепче сжав винтовку, не глядя, ринулся в ров. Там повсюду валялись мертвые тела! Это была первая линия немецких траншей, и ни одного живого солдата в них не было. Некого было выбивать — ни живой души! Он остановился перевести дыхание и смотрел, как его солдаты, запыхавшись, прыгают в траншею. Гул орудий стал громче, заградительный огонь переносили на вторую линию. Пока все хорошо. А вот и капитан!

— Готовы, ребята? Вперед!

Теперь он двигался куда медленнее, земля была вся изрыта воронками и ямами. Инстинктивно он искал и находил укрытия. Все вокруг было наполнено треском пулеметов, их огонь бушевал вокруг зигзагообразными линиями — воздух казался живым от взвизгивания пуль, пыли и дыма. «Как я расскажу ей обо всем этом?» — подумал он. Но о чем тут рассказывать? Какое-то безумное опьянение! Он смотрел прямо перед собой, стараясь не видеть падающих вокруг солдат, не желая знать ничего, что могло бы отвлечь от этого движения туда, вперед. Он чувствовал, как свистит воздух от пролетающих пуль. Должно быть, близко вторая линия. Почему же не прекращают заградительный огонь? Что это? Новая военная хитрость — вести огонь до последней секунды, пока атакующие не достигнут траншей? Еще сто ярдов — и он ворвется в них. Он снова бросился на землю, выжидая; взглянув на часы, он вдруг заметил, что его рукав пропитался кровью. Он подумал: «Рана! Теперь я вернусь домой. Слава богу! О Ноэль!» Пули свистели над ним; он слышал их даже сквозь грохот и гром орудийного огня. «Вот проклятые!» — подумал он. Чей-то голос сзади него сказал:

— Заградительный прекращен, сэр.

— За мной, ребята! — крикнул Морленд и, согнувшись, побежал вперед. Пуля ударила в его винтовку, он пошатнулся, словно электрический ток пробежал по его руке. «Снова повезло! — подумал он. — Теперь — туда! Я еще не видал ни одного немца!» Он прыгнул вперед, завертелся на месте, вскинул вверх руки и упал на спину, насквозь прошитый пулеметной очередью...

Позиция была закреплена, как говорится в донесениях; в темноте, по этому участку фронта в полмили, бродили санитары. Как блуждающие светлячки, они двигались час за часом со своими затененными фонариками, понемногу прочесывая черную, опаленную, похожую на соты землю, лежащую позади новой английской линии. То и дело одинокая ракета освещала их фигуры, склоняющиеся к земле, поднимающие неподвижные тела раненых или орудующие лопатой и киркой.

— Офицер.

— Убит?

— Без сомнения.

— Обыщите.

Желтоватый свет фонарика, поднесенного прямо к телу, упал на лицо и грудь. Руки санитары двигались в этом маленьком пятне света. Второй санитар делал заметки. Он наклонился пониже.

— Еще один мальчик! — сказал он. — Это все, что у него есть?

Первый санитар поднялся.

— Только это, и вот еще фотография.

— Бумажник, кредитный билет в фунт стерлингов, пачка сигарет, ручные часы, фотография. Дайте посмотреть.

Второй санитар осветил маленькую фотографию фонариком. Лицо девушки, обрамленное коротко стриженными кудрями, глядело на них.

— «Нозэль», — прочел первый санитар.

— Гм! Спрячьте фотографию, положите в бумажник. Пошли!

Пятно света погасло, и тьма навеки окутала Сирила Морленда.

Когда они вчетвером заняли места в большом зале Куинс-холла, шел уже второй номер программы; несмотря на все патриотические усилия устроителей, это было произведение немецкого композитора: «Бранденбургский концерт» Баха. Еще любопытнее было то, что концерт повторяли на бис. Пирсон не аплодировал; наслаждаясь музыкой, он сидел с блаженной улыбкой, забыв об окружающем. Он был сейчас бесконечно далек от земных радостей и горестей. Когда замерли последние аплодисменты, Лила сказала ему на ухо.

— Какая удивительная аудитория, Эдвард! Смотри: всюду хаки. Кто бы думал, что наши молодые солдаты интересуются музыкой, хорошей музыкой, к тому же немецкой?

Пирсон посмотрел на всю эту массу людей в военных кепи и соломенных шляпах, терпеливо стоявших в зале и глядевших на эстраду, и вздохнул:

— Хотелось бы мне иметь такую аудиторию в церкви!

Улыбка тронула уголки губ Лилы. Она подумала: «Ах, мой дорогой, церковь твоя устарела, и ты вместе с ней! Куда уж ей, твоей церкви, с запахом плесени и ладана, витражами, узкими закоулками и гудящим органом! Бедный Эдвард, он совсем не от мира сего!» Но она только пожала ему руку и прошептала:

— Посмотри на Ноэль.

Девушка разговаривала с Джимми Фортом. Щеки ее разругались, она была такой красивой, какой Пирсон не видел ее уже давно, с самого Кестрела. Он услышал, как вздохнула Лила.

— Есть у нее какие-нибудь вести от этого юноши?.. Помнишь ту нашу Майскую неделю, Эдвард? Мы были очень молоды тогда, даже ты был молод. И ты написал мне такое милое письмо. Я и сейчас представляю себе, как ты бродил в своем карнавальном костюме вдоль реки, среди этих «священных» коров.

Но, говоря это, Лила смотрела в другую сторону—на второго своего соседа и на девушку. Скрипач играл сонату Цезаря Франка. Это была любимая вещь Пирсона. Она всегда вызывала в нем ощущение небес — этой

напоенной благодатью голубой тверди, в которой блистают кроткие звезды, а в полдень солнце заливают ликующие деревья и воды, где плавают ликующие лебеди.

— Станный мир, мистер Пирсон! Представьте себе: все эти ребята после того, как прослушают такую музыку, должны вернуться в казармы! Что вы думаете об этом? Не возвращаемся ли мы назад, к обезьянам? Или поднимаемся до высоты этой сонаты?

Пирсон повернулся и внимательно посмотрел на Форта.

— Нет, капитан Форт, я не думаю, что мы опускаемся до обезьян, если мы только произошли от них. У этих парней — души героев.

— Я знаю это, сэр, и, быть может, лучше, чем вы.

— Ах, да, — кротко сказал Пирсон. — Я и забыл.

Но он все еще с сомнением смотрел на своего соседа. Этот капитан Форт, знакомый Лилы, дважды уже приходивший к ним, ставил его в тупик. У него было открытое лицо, спокойный голос, но совершенно дикие воззрения — или это только казалось Пирсону? Что-то от магометанства; что-то от религий жителей джунглей или южноафриканской степи; при этом странный, неожиданный цинизм и какой-то иронический взгляд на Англию. Все это совмещается в нем, и Форт этого, кажется, не скрывает. Мысли выскакивают из него, как пули, и хотя он говорит спокойно, его слова словно пробивают дыры в слушателе. Подобные критические воззрения звучат острее в устах человека, получившего примерно то же образование, что и сам Пирсон, чем если бы все это говорил какой-нибудь скромный самоучка, какой-нибудь актер, иностранец или даже врач вроде Джорджа. И это каждый раз вызывает какое-то неприятное чувство, словно прикосновение к колючему шипу. Нет, это совсем не забавляет! Эдвард Пирсон всегда сжимался, соприкасаясь со всякой крикливой философией, — и естественно, что так на него действовал и Форт.

После первого отделения концерта они с Ноэль ушли, распрощавшись с Лилой и Фортом в дверях. Отец взял Ноэль под руку и, все еще занятый теми мыслями, которые возникли у него в концертном зале, спросил:

— Тебе нравится капитан Форт, Ноэли?

— Да, он славный человек.

— Это верно. Он производит впечатление славного человека — у него приятная улыбка, но, боюсь, очень странные взгляды.

— Он считает, что немцы немногим хуже, чем мы сами; он говорит, что большинство англичан — такие же грубые, как они.

— Да, он говорил что-то вроде этого.

— Но разве мы такие, папа?

— Безусловно, нет.

— Один полисмен сказал мне то же самое. Капитан Форт считает, что мало кто из людей не развратился бы, добравшись до власти. Он рассказал мне несколько ужасных случаев. Он говорит, что у нас нет воображения и мы часто делаем многое, не понимая, как это жестоко.

— Мы, конечно, не безупречны, Нолли, но в целом я считаю, что мы добродушный народ.

Ноэль с минуту помолчала, потом вдруг сказала:

— Хорошие люди часто думают, что все другие тоже хорошие; а на самом деле те совсем нехороши. Капитан Форт не ошибается в людях.

— Я думаю, что он немного циничен и поэтому вреден.

— А разве все, кто думает не так, как другие, — вредные люди, папа?

Пирсон неспособен был насмехаться над людьми и поэтому не понимал, когда насмеваются над ним самим. Он посмотрел на дочь с улыбкой.

— Не так плохо сказано, Нолли, но все-таки мистер Форт в каком-то смысле вреден. Вероятно, потому, что он видел слишком много плохого в жизни.

— Поэтому он мне и нравится!

— Ну, ну, — ответил Пирсон рассеянно.

У него была срочная работа: надо было подготовиться к конференции. Как только они вернулись домой, он сразу направился в свой кабинет.

Ноэль зашла в столовую выпить горячего молока. Шторы не были опущены, и яркий лунный свет заливал комнату. Не зажигая электричества, она поставила молоко на спиртовку и стала смотреть на небо. Было полнолуние — второе с тех пор, как она и Сирил ожидали

появления луны над Аббатством. Она вздрогнула и прижала руки к сердцу. Если бы она могла призвать его к себе из этого лунного света! Если бы она была колдуньей — могла увидеть его, узнать, где он, что делает! Уже две недели от него нет писем. После того, как он уехал на фронт, она ежедневно прочитывала в газетах списки убитых; у нее было суеверное чувство, что этим она как бы спасает его от гибели. Она взяла «Таймс». Было достаточно светло, и она принялась читать этот свиток доблести и читала до тех пор, пока... луна не осветила ее, лежащую на полу рядом с отброшенной в сторону газетой...

Она была горда и унесла свое горе к себе в комнату, как унесла с собой свою любовь в ту ночь, когда он уезжал. Ни один звук не выдал дому ее несчастья; газета на полу, запах подгоревшего молока — все это не говорило ни о чем. В конце концов ее сердце — лишь одно из тысяч сердец, которые терзаются в эту лунную ночь жестокой мукой. Каждую ночь, год за годом, тысячи женщин прячут лицо в подушку, пытаются заглушить это первое страшное чувство осиротелости; они словно ищут тайного прибежища, слабого утешения в мысли о том, что есть и другие, у которых такое же горе. Утром она поднялась после бессонной ночи, даже как будто съела завтрак и пошла в госпиталь. Там, с каменным лицом, с темными кругами под глазами, она принялась мыть тарелки и блюда.

Пирсон узнал о гибели Морленда из письма Тэрзы, которое получил во время завтрака. Он прочел его с великой горечью. Бедная, бедная маленькая Нолли! Какое страшное несчастье для нее! Весь день он работал с кошмарной мыслью, что вечером должен будет сообщить ей это. Никогда он не чувствовал себя таким одиноким, никогда так страстно не желал, чтобы здесь была мать его детей. Она знала бы, как успокоить, как утешить! На ее груди девочка могла бы выплакать свое горе. Весь этот час между семью и восемью, когда он обычно выполнял обязанности представителя бога перед своими прихожанами, он провел в молитве, прося указания: как нанести ей этот удар и как залечить рану? Когда наконец Ноэль пришла, он сам открыл ей дверь и, отбрасывая волосы с ее лба, сказал:

— Зайди ко мне на минутку, родная!

Ноэль пошла за ним в кабинет и села.

— Я уже знаю, папа.

Ее стойкость поразила Пирсона больше, чем если бы он увидел естественный взрыв горя. Робко поглаживая ее волосы, он нашептывал ей то же самое, что Грэтиане и многим другим в такие минуты:

— Смерти нет. Жди новой встречи с ним. Бог милосерден!

И снова он изумился спокойствию этого бледного лица, такого юного.

— Как ты мужественна, дитя мое! — сказал он.

— Ничего другого не остается.

— Могу ли я сделать что-нибудь для тебя, Ноэли?

— Нет, папа.

— Когда ты узнала об этом?

— Вчера вечером.

Она знала уже почти сутки и не сказала ему ни слова!

— Ты молилась, моя девочка?

— Нет.

— Попробуй, Ноэли!

— Нет.

— О, попробуй!

— Это было бы нелепо, папа. Ты не понимаешь.

Охваченный горем, растерянный, Пирсон отстранился от нее и сказал:

— У тебя страшно усталый вид. Может быть, примешь горячую ванну и тебе дадут пообедать в постель?

— Я хотела бы чашку чая, больше ничего.— И она ушла.

Когда ей понесли чай, он вышел из дому. У него было непреодолимое желание спросить совета у какой-нибудь женщины. Он взял машину и поехал к Лиле.

ГЛАВА III

После концерта Лила и Джимми Форт разыскали такси; поздно вечером, да еще в военное время, поездка в машине располагала к интимности. Тряска, шум мотора, темнота; однако всего этого было мало, чтобы возродить прежнее чувство; не хватало аромата жимоло-

сти, роз, белых цветов плюща, который они вдыхали в Верхней Констанции,— тот аромат был много приятнее, чем этот запах бензина.

Когда Ли́ла очутилась с Фортom наедине, чего она так жаждала, ее охватила болезненная застенчивость. Вот уже несколько недель она была в странном состоянии. Каждую ночь подолгу размышляла и никак не могла разобраться в своих чувствах. Когда женщина достигает известного возраста, какой-то голос словно нашептывает ей: «Ты была молода, ты была красива; ты еще и теперь красива; ты не постарела, и ты не должна быть старой; не расставайся с молодостью, держись за свою красоту; бери от жизни все, что можно, не жди, пока твое лицо покроется морщинами, волосы поседеют; не верь, что прошлая твоя любовь была последней».

Такие мысли с особой силой овладели ею, когда она увидела, как Джимми Форт разговаривает на концерте с Ноэль. Ли́ла не была ревнива и искренне восхищалась Ноэль, но сама мысль, что Джимми Форт может тоже восхищаться девушкой, причиняла ей боль. Он не имеет права на это; это нечестно; он слишком стар для нее — и, кроме того, у девушки есть тот мальчик, а Ли́ла уже позаботилась, чтобы Форт знал об этом. Наклонившись к нему, когда молодая дама с обнаженными плечами пела что-то на эстраде, она прошептала:

— О чем задумались?

Он ответил ей шепотом:

— После скажу.

Это успокоило ее. Он проводит ее домой. Пора ей открыть ему свое сердце.

Но теперь, в машине, когда она уже решила сказать ему о своих чувствах, ею овладела неожиданная робость, и все показалось не таким-то легким. Любовь, которой она не испытывала уже три года, вдруг ожила в ней. Чувствовать это было сладостно и мучительно; она сидела, отвернувшись от него, не в силах воспользоваться драгоценными минутами. Они подъехали к ее дому, перекинувшись лишь несколькими словами о том, что улицы темны, а луна светит ярко. Она вышла из машины, еще не зная, как ей поступить, и вдруг сказала с решимостью отчаяния:

— Вы можете подняться ко мне и выкурить сигарету. Еще совсем рано.

Он поднялся вместе с ней.

— Подождите минутку,— сказала Ли́ла.

Сидя за стаканом вина и покуривая сигарету, он пристально разглядывал цветы в вазе марки «Семейство Роз» и ждал — уже минут десять; слегка улыбаясь, он вспоминал нос этой маленькой сказочной принцессы и ее изящную манеру складывать губы, когда она говорит. Не будь этого чертовски удачливого солдати́ка, он бы и сам был не прочь застегивать ее башмаки или расстилать перед ней в грязи свое одеяние — или как это еще делается в волшебных сказках? Да, он хотел бы этого, — эх, чего только не хочется человеку! Чтоб он пропал, этот молодой солдат! Ли́ла сказала, что ему двадцать два года. Черт побери! Каким старым чувствуешь себя, когда тебе под сорок, да еще с таким увечьем! Нет, сказочные принцессы не для него! Вдруг запах духов ударил ему в нос; подняв голову, он увидел Ли́лу; она стояла перед ним в длинном кимоно из темного шелка, белые руки были обнажены.

— Опять задумались? А помните эти кимоно, Джими? В Кейптауне их носили малайские женщины. Можете себе представить, как я отдыхаю, когда сбрасываю свою одежду рабыни? Ах, до чего мне надоело быть сестрой милосердия! Джими, мне так хочется пожить еще, хотя бы немного!

В этом одеянии она выглядела лет на пятнадцать моложе: цветок гардении, приколотый на груди у самого выреза шелкового кимоно, не казался белее, чем ее кожа. Он удивленно подумал: уж не упал ли этот цветок с неба?

— Пожить? — переспросил он. — Как это? Разве вы сейчас не живете?

Она подняла руки, и черные шелковые рукава упали, обнажив их до плеч.

— У меня нет жизни — вот уже два года. Ах, Джими, помогите мне. Жизнь так коротка, особенно сейчас.

Ее взгляд, напряженный и взволнованный, обнаженные руки, запах цветов смутили его. Он почувствовал, как кровь приливает к его лицу, и опустил глаза.

Легким движением она бросилась к нему, опустилась на колени и, сжимая обеими руками его руки, зашептала:

— Полюбите меня хоть немного! Что же еще остается? Ах, Джимми, что же еще?

Вдыхая волнующий аромат цветка, раздавленного их руками, Форт подумал: «Ах, что еще есть в это окаянное время?»

Джимми Форт обладал чувством юмора и был в своем роде философом, и его почти всегда забавляли всякие капризные повороты жизни. Но от Лилы он возвращался в глубокой задумчивости. Она была хороша собой — очень красивое создание, женщина спортивного склада, обольстительница, но... она явно перезрела. И вот он впутался в эту историю — теперь он должен помочь ей «пожить»; впутался так, что это не может не вызывать тревоги; он уже почти безошибочно знал, что она действительно полюбила его.

Это было, конечно, очень лестно и приятно. Время просто ужасное, развлечения скудные, но... Инстинкт бродяжничества заставлял его с юных лет носиться по свету; так же инстинктивно он избегал всяких уз, даже приятных, если не мог сам оценить их силу и прочность; может быть, впервые в жизни он заглянул в какую-то сказочную страну, — а в его связи с Лилой уж, конечно, нет ничего сказочного. Была у него и другая причина чувствовать себя неловко. Несмотря на беспорядочный образ жизни, он обладал мягким сердцем, и ему всегда бывало трудно причинять кому-либо боль, особенно женщине, которая оказала ему честь полюбить его. Какое-то предчувствие угнетало Форта, шагавшего по залитым луной улицам в этот безлюдный ночной час, когда даже такси не попадались. Захочет Лила, чтобы он женился на ней? И будет ли он считать это своим долгом, если она захочет? Но мысли его приняли другое направление: он думал о концерте, о девушке, которая слушала его рассказы. «Дьявольски странный мир! — мелькало у него в голове. — И как все это нелепо получилось!.. Что подумала бы она обо мне и Лиле, если бы знала? И этот добрый священник! Уф!»

Он шел медленно, боясь, что разболится нога и при-

дется провести ночь на крыльце, поэтому у него было достаточно времени для размышлений. Но они не успокаивали его, и он в конце концов решил: «Ладно, ведь могло быть и хуже. Надо без долгих рассуждений брать те блага, которые посылают нам боги!» И вдруг он с удивительной живостью вспомнил ту ночь на веранде в Верхней Констанции и подумал растерянно: «Тогда я мог бы погрузиться в эту любовь с головой, а теперь не могу. Вот она, жизнь! Бедная Ли́ла! Да и сам я, возможно, несчастен — кто знает!»

ГЛАВА IV

Когда Ли́ла открыла дверь Эдварду Пирсону, глаза ее сияли, на губах играла мягкая улыбка. Казалось, вся ее душа мягко улыбается; она протянула ему обе руки. В этот день все доставляло ей радость, даже это скорбное лицо. Она любила и была любима. У нее снова было настоящее и будущее, а не только прошлое; надо только кончить разговор с Эдвардом в полчаса — ведь скоро придет Джимми! Она села на диван, по-родственному взяла Пирсона за руку и сказала:

— Ну, выкладывай, Эдвард; я чувствую, ты в большом смятении. Что случилось?

— Ноэль... Тот мальчик, которого она любила, убит. Ли́ла выпустила его руку.

— Не может быть! Бедное дитя! О, как это жестоко! — Слезы навернулись на ее серые глаза, она отерла их крошечным носовым платочком. — Бедная, бедная маленькая Ноэль! Она его очень любила?

— Это была неожиданная и поспешная помолвка; но боюсь, что на Ноэль все это слишком подействовало. Не знаю, как утешить ее; это может только женщина. Я пришел спросить тебя: продолжать ли ей работать? Как ты думаешь, Ли́ла? Я просто растерялся.

Ли́ла взглянула на него и подумала: «Растерялся? О да, похоже на то, мой бедный Эдвард!»

— На твоём месте я позволила бы ей работать, — сказала она. — Это помогает; только это и может помочь. Я посмотрю, может быть, устрою ее работать в палатах. Ей нужно быть поближе к нашим солдатам, видеть, как

они страдают; теперь работа на кухне будет для нее особенно мучительной... А он был очень молод?

— Да. Они хотели пожениться. Я был против этого. Лила чуть скривила губы. «Еще бы!»—подумала она.

— Я не мог вынести даже мысли, что Ноэли готова так поспешно отдать себя; они и знакомы-то были всего три недели. Это было очень тяжело для меня, Лила. А потом он внезапно уехал на фронт.

Волна возмущения поднялась в Лиле. Ах, уж эти ханжи! Как будто и без них жизнь не лишает людей радости! В эти минуты лицо кузена казалось ей почти отталкивающим; его кроткая, безмятежная доброта словно потускнела и растворилась в этом монашеском облике. Она отвернулась, посмотрела на часы над камином и подумала: «Ну, конечно, он и нам с Джимми стал бы мешать! Сказал бы: «О нет, дорогая Лила, ты не должна его любить — это грех!» Как я ненавижу это слово!»

— Я считаю, что самое страшное в жизни,— возразила она,— это когда люди подавляют в себе естественные инстинкты да еще заставляют других делать то же, если, конечно, могут; этим объясняется добрая половина несчастий, которые случаются в мире.

Заметив по его лицу, что он ошеломлен этим взрывом, причин которого он не мог знать, она поспешно добавила:

— Я надеюсь, что Ноэль скоро забудет свое горе и найдет кого-либо другого.

— Возможно. Но было бы еще хуже, если бы они поженились! Слава богу, что они этого не сделали.

— Не знаю. У них, наверно, был бы все-таки час блаженства. Даже час блаженства чего-то стоит в наше время.

— Для тех, кто верит только в земную жизнь,— пожалуй.

«Осталось всего десять минут,— подумала она.— Ах, почему он не уходит?» Но тут он поднялся, и сразу же ее сердце смягчилось.

— Мне так жаль Ноэли, Эдвард! Если только я могу чем-нибудь помочь, завтра же попытаюсь сделать для нее все, что в моих силах; а ты приходи сюда, когда тебе вздумается.

Она снова протянула ему обе руки; прощаясь, она боялась, что он вдруг вздумает остаться, но все-таки ласково заглянула ему в глаза и тепло и сочувственно пожала ему руки.

Пирсон улыбнулся. Эта улыбка всегда вызывала в Лиле жалость к нему.

— Прощай, Лила; ты очень мила и добра. До свидания!

Она ответила глубоким вздохом, в котором чувствовалось явное облегчение. Потом она пошла его провожать.

Взбегая по лестнице, она думала: «У меня еще есть время. Что мне надеть? Бедный Эдвард, бедная Ноэль!.. Какой цвет нравится Джимми?.. Ах, почему я не удержала его тогда, десять лет назад, как глупо растрачено это время!»

Лихорадочно закончив туалет, она подошла к окну и стала ждать, не зажигая света; аромат жасмина доносился снизу. «Выйду я за него замуж, если он предложит мне? — думала она. — Но он не предложит — с чего бы он стал это делать? Кроме того, я бы не потерпела, если бы он подумал, что я ищу положения или денег. Мне нужно одно — любовь, любовь, любовь!» Беззвучное повторение этого слова приносило ей какое-то приятное ощущение прочности и спокойствия. Пока она хочет только любви — он наверняка останется с ней!

Из-за угла церкви появилась высокая фигура и направилась к ее дому. Он! И вдруг Лила опомнилась. Она подбежала к маленькому пианино и, аккомпанируя себе, запела песенку, которую пела десять лет назад. «Если б я была росинкой, я несла б тебе прохладу каждый день!» Она не обернулась, когда он вошел, а продолжала напевать, чувствуя, что он уже стоит в темноте за ее плечами. Но, окончив песню, она встала, обняла его, притянула к себе и разрыдалась у него на плече; она думала о Ноэль и об этом убитом юноше, о миллионах других юношей, думала о своем счастье, и об этих упущенных десяти годах, и о том, как коротки жизнь и любовь. И, думая обо всем этом, она едва ли сознавала, о чем думает. А Джимми Форт, растроганный ее настроением, которое понимал только наполовину, крепко сжимал ее в объятиях, целовал ее мокрые щеки и теплую шею, такую белую, что она словно светилась в темноте.

Прошел месяц, и Ноэль продолжала работать; но однажды утром она потеряла сознание и упала на грудь тарелок. Шум привлек внимание, кто-то позвал миссис Линч.

Увидев Ноэль, лежащую со смертельно бледным лицом, Лила ужаснулась. Но Ноэль скоро пришла в себя, и для нее вызвали машину. Лила поехала с ней, велев шоферу отвезти их в Кэймилот-Мэншенз. Ноэль была в таком состоянии, что везти ее домой не следовало—лучше избавить девушку от лишней тряски в машине и дать ей сначала по-настоящему окрепнуть. Они поднялись по лестнице рука об руку. Лила уложила ее на диван и принесла бутылку горячей воды, чтобы согреть ей ноги. Ноэль была еще так слаба и бледна, что было бы жестоко расспрашивать ее. Лила тихонько достала из шкафчика бутылку с остатками шампанского, которое прислал ей Джимми Форт, и, захватив два стакана и штопор, отправилась в спальню. Там она выпила немного сама, а другой стакан принесла и подала девушке. Ноэль покачала головой, глаза ее словно говорили: «Неужели ты думаешь, что меня так легко вылечить?» Но Лила за свою жизнь повидала многое и презирала общепринятые лекарства; она поднесла стакан к губам девушки и заставила ее выпить. Это было прекрасное шампанское, а Ноэль никогда не пробовала спиртного; вино немедленно оказало свое действие. Глаза ее заблестели; слабый румянец окрасил щеки. И вдруг она повернулась к Лиле спиной и зарылась лицом в подушку. С коротко стриженными волосами она была похожа на ребенка; Лила опустилась на колени и стала гладить ее по голове, приговаривая:

— Ну, родная! Ну же, успокойся!

Наконец девушка приподнялась; бледная маска отчаяния, которую она носила на лице весь последний месяц, спала; лицо ее горело, глаза блуждали. Она отодвинулась от Лилы, крепко прижала руки к груди и сказала:

— Я не вынесу этого. Я совсем не сплю. Я хочу, чтобы он вернулся ко мне. Я ненавижу жизнь, ненавижу весь мир! Мы не сделали ничего дурного — только люби-

ли друг друга. Богу нравится наказывать; он наказывает нас лишь за то, что мы любили. У нас был только один день для нашей любви... только один день... только один!

Лила видела, как судорожно дергается стройная, белая шея девушки, как неестественно вытянулись и оцепенели ее руки; было почти невыносимо смотреть на это. Удивительно нежный голос произносил безумные слова, безумным казалось и лицо девушки.

— Я не хочу... Я не хочу жить! Если есть загробная жизнь, я уйду к нему. А если ее нет, тогда это все равно, что уснуть.

Лила подняла руку, словно желая остановить этот бред. Как и большинство женщин, которые живут только своими чувствами и настроениями, она не привыкла раздумывать над подобными вещами и поступила так, как принято поступать в таких случаях.

— Расскажи мне о себе и о нем,— попросила она.

Ноэль повернулась и вскинула серые глаза на кухню.

— Мы любили друг друга; когда любишь, рождаются дети, правда? Ну, а мой не появится на свет!

Не столько эти слова, сколько выражение лица Ноэль раскрыло Лиле все; потом смысл сказанного как бы погас в ее сознании и вспыхнул снова. Невероятно! Но... если Ноэль сказала правду — это ужасно! То, что всегда казалось Лиле простым отступлением от общепринятых норм, сейчас вставало перед ней как подлинная трагедия! Она порывисто поднялась и крепко обняла девушку.

— Бедная детка,— сказала она.— Это у тебя какие-то фантазии.

Слабый румянец сошел с лица Ноэль, она откинула голову, веки ее наполовину опустились; теперь она была похожа на привидение, маленькое и скорбное.

— Пусть фантазии, но жить я не буду. Мне все равно — умереть так легко! И я не хочу, чтобы отец знал.

— Что ты, дорогая... дорогая моя! — шептала, запинаясь, Лила.

— Это была ошибка, Лила?

— Ошибка? Не знаю... Если все действительно так, то... это просто неудача. Но ты вполне уверена?

Ноэль кивнула.

— Я сделала так, чтобы мы принадлежали друг другу. Чтобы ничто не могло отнять его у меня.

Ли́ла ухвати́лась за эти слова.

— Тогда, моя милая, он не совсем ушел от тебя, понимаешь?

С губ Ноэ́ль слетело едва слышное «да».

— Но папа! — прошептала она.

Перед Ли́лой встало лицо Э́дварда — так живо, что на минуту заслонило лицо девушки. Все жизнелюбие Ли́лы восстало против этого аскета. И хотя, следуя здравому житейскому рассудку, она не одобряла поступок Ноэ́ль и огорчалась за нее, — сердцем она поневоле приветствовала этот час жизни и любви, который они вырвали для себя из пасти смерти.

— Разве отец непременно должен знать? — спросила она.

— Я никогда не лгала папе. Но это неважно. Зачем человеку продолжать жить, если жизнь ни к чему?

На улице ярко сияло солнце, хотя был уже конец октября. Ли́ла поднялась с колен. Она стала у окна и глубоко задумалась.

— Дорогая, — сказала она наконец, — надо победить в себе эту боль и уныние. Посмотри на меня! У меня было два мужа, и... я провела довольно бурную жизнь, с подъемами и падениями, и смело скажу, что всяких бед и потрясений я видела довольно в своей жизни. Но я не собираюсь еще умирать; не надо умирать и тебе. Пирсоны всегда были мужественными людьми, не изменяй же своему роду. Это последнее дело! Твой мальчик тоже велел бы тебе быть мужественной. Теперь это — твои «окопы», и не надо давать жизни смять себя.

Наступило долгое молчание. Потом Ноэ́ль пробормотала:

— Дай мне сигарету, Ли́ла.

Ли́ла достала маленький плоский портсигар, который всегда носила с собой.

— Вот молодец! — сказала она. — Нет ничего неизлечимого в твоём возрасте. Неизлечима только старость.

Ноэ́ль усмехнулась.

— Но ведь и она излечима, не так ли?

— Если только не сдаваться.

Снова они замолчали; они курили, часто затяги-

ваясь, и синий дымок двух сигарет поднимался к низкому потолку. Потом Ноэль встала с дивана и подошла к пианино. На ней была еще госпитальная форма из лилового полотна; стоя, она слегка прикасалась пальцами к клавишам, беря то один, то другой аккорд; сердце Лилы разрывалось от жалости; сама она была сейчас так счастлива, а жизнь этого ребенка исковеркана!

— Поиграй мне,— сказала она.— Или нет, не надо! Лучше я сыграю сама.

Она села за пианино и запела французскую песенку, в которой первые слова были: «*Si on est jolie, jolie comme vous...*»¹ Это была наивная, веселая, очаровательная песенка. Если бы Ноэли выплакалась, для нее было бы лучше! Но Ноэль не плакала; она, видимо, вполне овладела собой. Она говорила спокойно, отвечала на вопросы Лилы без всякого волнения и наконец заявила, что хочет домой. Лила вышла вместе с ней и немного ее проводила; ей было грустно, но она чувствовала себя какой-то растерянной. В конце Портленд-плэйс Ноэль остановилась и сказала:

— Мне уже лучше, Лила. Я очень тебе благодарна. Я теперь пойду домой и лягу. А завтра приду в госпиталь, как обычно. До свидания!

Лила успела только схватить руку девушки и сказать:

— Милая моя, это чудесно! Мало ли что случается, особенно в военное время!

С этими словами, неясными для нее самой, она отпустила Ноэль и некоторое время следила, как та медленно шла вперед; потом Лила направилась к госпиталю. Она была растрогана и полна сострадания.

Ноэль не пошла домой; она зашагала по Риджент-стрит. В какой-то мере она успокоилась, немножко оправилась — этому помог оптимизм ее выдавшей виды кузины; слова Лилы «он не совсем ушел от тебя» и «особенно в военное время» толкали ее на новые размышления. К тому же кузина говорила обо всем вполне откровенно; неведение, в котором Ноэль находилась последние три недели относительно своего физического состоя-

¹ Если быть красивой, красивой, как вы... (франц.).

ния, рассеялось. Естественно, что она, как и большинство гордых натур, не очень задумывалась над тем, что скажут окружающие; впрочем, у нее было слабое представление об обществе и о том, как судят и что думают люди. Кошмаром висела над ней только одна мысль: какой это будет ужас и горе для отца. Она пыталась успокоить себя, вспоминала о сопротивлении отца ее замужеству, о том, как она озлобилась тогда. Он не понимал, не мог постигнуть, как они с Сирилом любили друг друга! Теперь, если у нее действительно появится ребенок, это будет ребенок Сирила — сын Сирила, это будет сам возродившийся к жизни Сирил! В ней понемногу снова пробуждался инстинкт, который сильнее всякой утонченности, традиций, воспитания; тот самый инстинкт, который толкнул ее так поспешно закрепить их союз — неудержимое биение жизни, противостоящее небытию; и ее ужасная тайна теперь казалась ей почти сокровищем. Она читала в газетах о так называемых «детях войны», читала с каким-то неясным ей самой любопытством. Теперь внутренний смысл прочитанного осветился для нее совсем иным светом. Эти дети были плодом «дурного поведения», они составляли «проблему»; и все-таки она знала теперь, что люди рады им; эти дети примиряли их с жизнью, заполняли пустоту. Может быть, когда у нее будет ребенок, она станет гордиться им, тайно гордиться, наперекор всем и даже отцу! Они старались убить Сирила — этот их бог и все они; но им это не удалось — Сирил живет в ней! Лицо Ноэль пылало, она шагала в гуще суетливой толпы; прохожие оборачивались и глядели на нее — у нее был такой вид, словно она никого и ничего не замечает, — обычно люди, у которых есть хоть немного времени, обращают на это внимание. Так она бродила два часа, пока не очутилась возле своего дома; состояние восторга прошло у нее только в ее комнате, когда она села на кровать, вынула фотографию и стала в нее вглядываться. И тут наступил новый упадок сил. Заперев дверь, она легла на кровать и заплакала, чувствуя себя совсем одинокой и брошенной; наконец, окончательно измученная, она уснула, сжимая в руке фотографию, на которой не высохли еще следы слез. Проснувшись она, как от толчка. Было темно, кто-то стучал в дверь.

— Мисс Ноэль!

Из какого-то детского упрямства она не ответила. Почему они не оставят ее в покое? Если бы они знали, они не приставали бы к ней! Она услышала новый стук и голос отца:

— Нолли, Нолли!

Она вскочила и открыла дверь. Вид у него был встревоженный, у нее сжалось сердце.

— Все хорошо, папа. Я спала.

— Дорогая, извини, но обед готов.

— Я не хочу обедать, я лучше лягу.

Морщинка между его бровями углубилась.

— Ты не должна запира́ть дверь, Нолли. Я так испугался. Я зашел за тобой в госпиталь, мне сказали о твоём обмороке. Прошу тебя — пойдй к доктору.

Ноэль отрицательно затрясла головой.

— Ах, нет! Это пустяки!

— Пустяки? Такой обморок? Но послушай же, дитя мое! Ради меня!

Он сжал ладонями ее голову. Ноэль отстранилась.

— Нет, папа, я не пойду к доктору. Что еще за нежности в военное время! Я не хочу. И не надо меня заставлять. Я спущусь вниз, если ты хочешь. А завтра я буду себя чувствовать совсем хорошо.

Пирсону пришлось уступить; но в этот вечер она не раз замечала его тревожный взгляд. Когда она снова ушла наверх, он последовал за ней и настоял, чтобы она растопила камин. Целуя ее у двери, он сказал очень спокойно:

— Как бы я хотел заменить тебе мать, дитя мое!

На мгновение Ноэль обожгла мысль: «Он знает!» Но потом, взглянув на его озадаченное лицо, она поняла, что это не так. Если бы он знал! Какую тяжесть это сняло бы с нее! Но она ответила ему так же спокойно:

— Доброй ночи, милый папочка! — Поцеловав его, она закрыла дверь. Потом села перед камином и протянула к нему руки. Ее сердце было словно сковано ледяным холодом. Отблески света играли на ее лице с тенями под глазами, на все еще округлых щеках, на тонких бледных руках, на всей ее юной, легкой, полной грации фигурке. А там, в ночи, мимо луны бежали облака. Снова наступило полнолуние.

Пирсон вернулся в кабинет и начал писать Грэтиане:

«Если бы ты могла взять отпуск на несколько дней, моя дорогая, я бы хотел, чтобы ты приехала домой. Меня очень беспокоит Нолли. С тех пор, как у нее случилось это несчастье, она совсем извелась; а сегодня она упала в обморок. Она ни за что не хочет обращаться к врачу, но, может быть, показать ее Джорджу? Если бы ты приехала, Джордж тоже завернул бы к нам на один-два дня; или же ты могла бы отвезти Нолли к нему, на море. Я только что прочел, что погиб твой троюродный брат Чарли Пирсон. Он убит в одном из последних наступлений на Сомме; он племянник моей кузины Лилы, с которой, как ты знаешь, Ноэль встречается каждый день в госпитале. Бертрам получил орден «За отличную службу». В последнее время я не так страшно занят: мой помощник Лодер приехал в отпуск с фронта и иногда служит в церкви вместо меня. Теперь, когда наступают холода, я чувствую себя лучше. Постарайся приехать. Меня серьезно тревожит здоровье нашей дорогой девочки.

Твой любящий отец
Эдвард Пирсон».

Грэтиана ответила, что получит отпуск в конце недели и приедет в пятницу. Он встретил ее на станции, и они поехали в госпиталь, чтобы захватить с собой Ноэль. Лила вышла к ним в приемную; Пирсон, полагая, что им с Грэтианой будет удобнее поговорить о здоровье Ноэль, если он оставит их одних, вышел в комнату отдыха. Там он стал смотреть, как двое выздоравливающих играют в настольный бильярд. Когда он вернулся в маленькую гостиную, Лила и Грэтиана еще стояли у камина и разговаривали вполголоса. Грэтиана, должно быть, слишком близко наклонилась к огню: ее лицо пылало, оно даже как бы припухло, а веки были красные, словно она их обожгла.

Лила сказала легким тоном:

— Ну, Эдвард, разве наши солдатики не изумительны? Когда мы снова пойдем с тобой в концерт?

Но она тоже покраснелась и выглядела совсем молодой.

— Ах! Если бы мы могли делать то, что хотим! — ответил Пирсон.

— Это хорошо сказано, Эдвард. Но иногда, знаешь ли, полезно хоть немного развлечься.

Он покачал головой и улыбнулся.

— Ты искусительница, Лила. Пожалуйста, скажи Ноэли, что мы хотим увезти ее с собой. Ты можешь отпустить ее на завтра?

— На столько дней, сколько потребуется; Ноэль нужен отдых — я говорила об этом Грэтиане. Все-таки ей надо было перестать работать после такого страшного удара, может быть, тут и моя ошибка. Я думала тогда, что лучше всего для нее — работать.

Пирсон увидел, что Грэтиана идет мимо него к двери. Он пожал руку Лиле и последовал за дочерью. Позади себя он услышал восклицание, которое обычно издают женщины, наступив на собственное платье, или если что-либо другое вызовет у них раздражение. В приемной их уже ждала Ноэль; Пирсон, очутившийся как бы в центре треугольника женщин, смутно почувствовал, что глаза их ведут между собой какую-то тайную игру. Сестры расцеловались. Потом все они сели вместе в такси. Даже самый наблюдательный человек, расставаясь с ними дома в прихожей, ничего не заметил бы — разве только то, что обе были очень молчаливы. Войдя в свой кабинет, он взял с полки книгу «Жизнь сэра Томаса Мора»; там были строки, которые ему не терпелось показать Джорджу Лэрду — его ждали в этот же вечер.

Грэтиана и Ноэль поднимались по лестнице, поджав губы и не глядя друг на друга; обе были очень бледны. Они подошли к комнате Грэтианы, которая когда-то была комнатой их матери, и Ноэль уже собиралась пройти мимо, но Грэтиана схватила ее за руку и сказала:

— Зайди ко мне.

В комнате ярко горел камин, и сестры стали по обе его стороны, опершись на каминную доску и глядя в огонь. Ноэль прикрыла рукой глаза и пробормотала:

— Я просила Лилу сказать тебе.

Грэтиана сделала такой жест, словно она боролась

между двумя сильными чувствами, не зная, какому из них поддаться.

— Это ужасно! — только и выговорила она.

Ноэль пошла к двери.

— Подожди, Нолли.

Ноэль уже взялась за ручку двери, но остановилась.

— Мне не нужно ни прощения, ни сочувствия, — сказала она. — Я только хочу, чтобы меня оставили в покое.

— Но как же можно оставить тебя в покое?

Волна горечи поднялась в Ноэль, и она крикнула страстно:

— Я ненавижу сочувствие тех, которые не в состоянии понять! Мне не надо ничего сочувствия. Я всегда могу уйти и скрыться подальше.

Слова «не в состоянии понять» ошеломили Грэтиану.

— Я могу понять, — сказала она.

— Нет, не можешь; ты никогда не видела его, ты не видела... — Ее губы задрожали, она закусил их, чтобы не разрыдаться. — И потом, ты бы никогда так не поступила, как я.

Грэтиана шагнула к ней, но остановилась и села на кровать. Да, это правда. Она сама никогда бы так не поступила! И именно это — как бы страстно она ни желала помочь сестре — сковывало ее любовь и сочувствие. О, как все это ужасно, уродливо, унижительно! Ее сестра, ее единственная сестра оказалась в таком же положении, как все эти бедные, плохо воспитанные девушки, которые потеряли себя! А что скажет ее отец — их отец! До этой минуты Грэтиана почти не думала о нем, она была слишком занята своей собственной уязвленной гордостью; слово «отец» вырвалось у нее против воли.

Ноэль вздрогнула.

— А этот мальчик! — сказала Грэтиана. — Его я не могу простить. Если ты не знала, то он знал. Это он... — Она осеклась, увидев лицо Ноэль.

— Я все знала, — ответила Ноэль. — И все сделала я. Он был моим мужем, так же, как Джордж — твой муж. Если ты скажешь хоть одно слово против Сирила, я никогда не буду с тобой разговаривать. Я счастлива, как и ты будешь счастлива, если у тебя родится ребенок. В чем же разница? Только в том, что тебе повезло, а мне нет? — Ее губы снова задрожали, и она замолчала.

Грэтиана уставилась на нее. Ей вдруг захотелось, чтобы Джордж был здесь; как бы хорошо узнать, что он думает обо всем этом!

— Ты не возражаешь, если я расскажу Джорджу? — спросила она.

Ноэль покачала головой.

— Нет, не теперь! Не говори никому.— И вдруг горе Ноэль, скрытое за мнимым безразличием, пронзило сердце Грэтианы. Она встала и обняла сестру.

— Нолли, дорогая, не смотри так!

Ноэль не ответила на ласку сестры и, как только та отняла руки, ушла в свою комнату.

Грэтиана осталась одна; она была полна сострадания к Ноэль и в то же время огорчена и разобижена; неуверенность и страх владели ею. Ее гордости был нанесен жестокий удар, сердце у нее сжималось; она злилась на себя. Почему она не проявила больше сочувствия и теплоты? И все-таки теперь, когда Ноэль ушла, она снова стала осуждать покойного. То, что он сделал, непροститительно! Ведь Нолли — еще ребенок. Он совершил святотатство. Скорее бы приехал Джордж, и скорее бы переговорить с ним обо всем! Сама она вышла замуж по любви и знала, что такое страсть; была достаточно пронищательна, чтобы понять, насколько глубока любовь Ноэль, конечно, в той мере, в какой может быть глубокой любовь девочки; себя Грэтиана считала уже зрелой женщиной — ей было двадцать лет. И все-таки, как могла Ноэль так забыться! А этот мальчик! Если бы Грэтиана была знакома с ним, может быть, ее негодование было бы смягчено личным впечатлением о нем — это ведь так важно во всех человеческих суждениях, — но она никогда его не видала и находила его поведение «непорядочным». Грэтиана знала, что это останется камнем преткновения в ее отношениях с сестрой. Как бы она ни пыталась скрывать свои мысли, Ноэль все равно поймет, что сестра втайне осуждает ее.

Она сбросила форму сестры милосердия, надела вечернее платье и начала беспокойно расхаживать по комнате. Все, что угодно, только как можно дольше не идти вниз к отцу! То, что случилось, разумеется, будет страшным горем для него. Она боялась разговора с ним, его расспросов о здоровье Ноэль. Она, разумеется, может обо

всем умолчать, пока этого хочет Ноэль, но она была очень правдива по характеру, и ее приводила в отчаяние мысль, что надо что-то скрывать.

Наконец, она спустилась вниз; отец и сестра были уже в гостиной: Ноэль в платье с оборками сидела у камина, опершись подбородком на руку, а отец читал последние сообщения с фронта в вечерней газете. Увидев изящную девичью фигуру сестры, ее глаза, задумчиво устремленные на огонь, увидев усталое лицо отца, Гретиана с особой силой ощутила трагичность происшедшего. Бедный папа, бедная Нолли! Ужасно!

Ноэль повернулась к ней и слегка качнула головой; ее глаза говорили так же ясно, как если бы сказали губы: «Молчание!» Гретиана кивнула ей и подошла к камину. Так начался этот спокойный семейный вечер, но за этим спокойствием таились глубокие душевные страдания.

Ноэль подождала, пока отец отправился спать, и сразу поднялась в свою комнату. Она явно решила больше не разговаривать о себе. Гретиана осталась в столовой одна—ждать приезда мужа. Когда он приехал, было уже около полуночи, и она сообщила ему семейные новости только на следующее утро. Он встретил их неясным мычанием. Гретиана увидела, как он прищурил глаза, словно разглядывая тяжелую и сложную рану; потом уставился в потолок. Хотя они были женаты уже больше года, она все еще не знала его отношения ко многим вещам и с замиранием сердца ждала ответа. Эта позорная семейная тайна, скрываемая от других, будет испытанием любви Джорджа к ней самой, испытанием достоинств человека, за которого она вышла замуж! Некоторое время он молчал, и тревога ее все возрастала. Потом он нащупал ее руку и крепко сжал.

— Бедная маленькая Нолли! Вот случай, когда требуется весь оптимизм Марка Тэпли¹. Не унывай, Грэйси! Мы ее выручим.

— Но как быть с отцом! Ведь скрыть от него невозможно, но и рассказать нельзя! Ах, Джордж! Я раньше

¹ Имеется в виду отличавшийся большим оптимизмом герой романа Чарльза Диккенса «Мартин Чеззлвит».

не знала, что такое семейная гордость. Это просто невероятно! Этот злополучный мальчик...

— *De mortuis*¹. Вспомни, Грэйси: мы живем, осажденные смертью! Нолли, конечно, вела себя, как подлинная дурочка. Но ведь война! Война! Надо бы и твоему отцу привыкнуть к этому; вот для него прекрасный случай проявить христианский дух!

— Папа будет так же добр, как всегда; но именно это и страшно!

Джордж Лэрд сильнее сжал ее руку.

— Совершенно верно! Старомодный папа может себе это позволить! Но нужно ли, чтобы он знал? Мы можем увезти ее из Лондона, а позднее что-нибудь придумаем. Если отец узнает, надо будет убедить его, что этим поступком Нолли «внесла свою лепту».

Грэтiana отняла руку.

— Не надо,— сказала она едва слышно.

Джордж Лэрд обернулся и посмотрел на нее. Он и сам был очень расстроен и, возможно, более ясно, нежели его молодая жена, представлял себе жестокие последствия случившейся беды; он так же отчетливо понимал, насколько глубоко задета и взволнована Грэтiana; но, как прагматик, воспринимавший всегда жизнь с позиций опыта, он терпеть не мог этого восклицания: «Какой ужас!» Ему всегда хотелось побороть в Грэтiane и традиционную черту отцовского аскетизма. Если бы она не была его женой, он сразу сказал бы себе: изменить эту основную черту ее характера так же безнадежно, как пытаться переделать строение костей ее черепа; но она была его женой, и эта задача казалась ему такой же легко осуществимой, как, скажем, поставить новую лестничную клетку в доме или соединить две комнаты в одну. Обняв ее, он сказал:

— Я знаю. Но все это уладится, если только мы будем делать вид, что ничего не случилось. Поговорить мне с Нолли?

Грэтiana согласилась—она может сказать отцу, что Джордж согласился «осмотреть» Нолли, и тем избежать лишних разговоров. Но ей все больше казалось, что свалившуюся на них беду никак не отвести и не смягчить.

¹ *De mortuis aut bene aut nihil*—о мертвых либо хорошее, либо ничего (лат.).

У Джорджа Лэрда было достаточно спокойного мужества — неоценимое свойство в человеке, которому часто приходится причинять боль и облегчать ее; и все-таки ему не нравилась эта «миссия», как выразился бы он сам. Он предложил Ноэль прогуляться с ним, потому что боялся сцен. Ноэль согласилась по той же причине. Кроме того, Джордж ей нравился; с бескорыстной объективностью золовки и суровой проницательностью ранней юности она понимала его, пожалуй, даже лучше, чем его собственная жена. Во всяком случае, она твердо знала, что он не станет ни осуждать, ни жалеть ее.

Они могли, конечно, пойти в любом направлении, но почему-то избрали Сити. Такого рода решения принимаются бессознательно. Видимо, они искали какой-нибудь скучный деловой район; а возможно, что Джорджу — он был в военной форме — просто хотелось дать отдых своей руке, которая, словно заводная, непрерывно отдавала честь.

Не успел он сообразить, насколько нелепа эта прогулка с миловидной молодой золовкой по улицам, заполненным толпой суесящихся дельцов в черных сюртуках, как они уже дошли до Чипсайда. «Черт дернул нас пойти сюда, — подумал он. — В конце концов мы могли с успехом поговорить и дома».

Он откашлялся и, мягко сжимая ее руку, начал:

— Грэтiana рассказала мне обо всем, Нолли. Самое главное для тебя — не падать духом и не волноваться.

— Я не думаю, чтобы ты смог вылечить меня.

Эти слова, произнесенные милым, насмешливым голосом, поразили Джорджа; он торопливо продолжал:

— Не об этом речь, Нолли, да это и невозможно. Ну, а ты-то сама что думаешь?

— Отец...

У него чуть не вырвалось: «Проклятый отец!», но он прикусил язык и продолжал:

— Бог с ним! Мы сами все обдумаем. Ты действительно хочешь утаить от него? Надо решать или так, или иначе; ведь нет смысла скрывать, если это все равно совершится.

— Да.

Он украдкой взглянул на нее. Она смотрела прямо перед собой. Как чертовски молода она и как прелестна! К горлу его подкатил комок.

— Пока я ничего не буду предпринимать,— сказал он.— Еще рано. Позднее, если ты захочешь, я расскажу ему. Но все зависит целиком от тебя, моя дорогая; можно сделать так, что он никогда не узнает.

— Да...

Он не мог разгадать ее мыслей.

— Грэтиана осуждает Сирила,— сказала Ноэль после долгого молчания.— Не позволяй ей. Я не хочу, чтобы о нем думали плохо. Во всем виновата я; мне хотелось быть уверенной в нем.

Джордж возразил решительно:

— Грэйси огорчена, конечно, но у нее это скоро пройдет. Пусть это не будет причиной раздора между вами. Только одно тебе нужно твердо запомнить: жизнь велика, и в ней можно найти свое место. Посмотри на всех этих людей! Многие из них перенесли или переносят какие-нибудь личные неприятности или горе. Может быть, такое же, как твое, или даже более тяжелое. И смотри: вот они, живые, прыгают, как блохи. В этом заключается и очарование и ирония жизни. Хорошо бы тебе побывать там, во Франции, и увидеть все в подлинном свете.

Он почувствовал, что она взяла его под руку, и продолжал с еще большим жаром:

— *Жизнь* — вот что будет самым важным в будущем, Ноэли! Нет, не комфорт, не какая-либо монашеская добродетель или обеспеченность; нет, самый *процесс жизни*, ее давление на каждый квадратный дюйм. Понятно? Все старые, закоренелые традиции, все тормозы будут пущены в переплавку. Смерть вскипятит все это, и выйдет великолепный навар для нового супа. Когда приходится отсекаать, удалять лишнее,— кровь течет в жилах быстрее. Сожаления, размышления, подавление своих чувств — все это выходит из моды; у нас не будет времени или нужды в них в будущем. Нам предстоит делать жизнь — да, пожалуй, это единственное, за что можно благодарить нас. Ты ведь сохранила в себе живым Сирила Морленда? И... словом, как ты знаешь, все мы одинаково появились на свет; некоторые прилично,

другие «неприлично», и тут нет ни на грош различия в ценности этого товара, нет и беды в том, что он появляется на свет. Чем бодрее ты будешь сама, тем крепче будет твой ребенок,— вот о чем надо прежде всего думать. По крайней мере, в ближайшие два месяца ты вообще не должна ни о чем беспокоиться, а после этого позволь уж нам подумать, куда тебе деваться, я все это устрою.

Она посмотрела на него, и под этим юным, ясным, печальным взглядом у него возникло неприятное ощущение, что он разговаривает с ней, как шарлатан. Разве он затронул суть дела? Какая польза от всех этих общих разговоров для молодой, заботливо воспитанной девушки, приученной старомодным любящим отцом всегда говорить правду? Джордж тоже ненавидел пустословие; а обстановка его жизни в эти последние два года просто внушила ему страх перед людьми, деятельность которых заключается в разговорах. Ему хотелось сказать Ноэль: «Не обращай ни малейшего внимания на мои слова, все это чепуха; будь что будет — и дело с концом».

Но тут Ноэль спросила совершенно спокойно:

— Что же, рассказать мне папе или нет?

Ему хотелось ответить: «нет»; но он почему-то не сказал этого. В конечном счете прямой путь — вероятно, самый лучший. Можно из всего сделать тайну, но нельзя же хранить тайну всю жизнь. Рано или поздно все раскрывается. Но тут в нем заговорил врач:

— Не торопись, Нолли; успеем сделать это через два месяца. Тогда ты ему сама расскажешь или поручишь мне.

Она покачала головой.

— Нет. Я скажу сама, если надо будет.

В знак согласия он снова сжал ее руку.

— А что мне делать до тех пор? — спросила она.

— Возьми отпуск на неделю, а потом будешь работать, как и прежде.

Ноэль помолчала с минуту и сказала:

— Да. Я так и сделаю.

Больше они не говорили на эту тему, и Джордж стал ей рассказывать о разных случаях из своей работы в госпитале, распространялся и об удивительном на его

взгляд явлении — британском солдате. Но, когда они подходили к дому, он вдруг сказал:

— Послушай, Нолли, если ты сама не стыдишься себя, — никто не будет тебя стыдиться. Если ты вздумаешь посыпать пеплом главу, все твои близкие станут делать то же самое; таково уж их христианское милосердие.

Он снова почувствовал на себе ее ясный, задумчивый взгляд и покинул ее с мыслью: «Как одиноко это дитя!»

ГЛАВА VII

После недельного отпуска Ноэль вернулась в госпиталь. Джордж даже не подозревал, какое огромное впечатление произвели на нее его слова: «Жизнь велика, и в ней можно найти свое место». В самом деле, какое значение имеет то, что случилось с ней? Она стала вглядываться в лица людей, с которыми встречалась, стараясь разгадать, о чем они думают, какие тайные горести или радости носят в себе? Ее собственное одиночество понуждало ее к такому наблюдению за другими — а она действительно была очень одинока. Грэтiana и Джордж уехали в свои госпитали, от отца приходилось держаться подальше; встречаясь с Лилой, Ноэль тоже чувствовала себя как-то неловко: гордость ее была уязвлена тогдашним признанием, а друзей дома и всяких знакомых она боялась, как чумы. Единственным человеком, от которого ей не удалось избавиться, был Джимми Форт. Однажды вечером он явился с большим букетом фиалок. Но его Нолли не принимала всерьез: слишком недавно они знакомы и слишком разные люди. По некоторым его замечаниям она поняла, что ему известно об ее утрате и что фиалки — как бы знак соболезнования. Он был удивительно мил в тот вечер, рассказывал ей всякие «арабские сказки» и не произнес ни одного слова, которое могло бы быть неприятным отцу. Как это замечательно — объехать весь свет, побывать во всяких диковинных странах, повидать жизнь разных народов: китайцев, гаучо, буров, мексиканцев! Она слушала его с любопытством, и ей приятно было смотреть на его насмешливое, загорелое лицо: кожа на

нем была словно дубленая. Его рассказы вызывали в ней ощущение, что суть жизни в наблюдениях, что самое главное — это многое повидать и что-то сделать. Ее собственное горе начинало казаться ей маленьким и незначительным. Когда он распрощался, она крепко пожала ему руку.

— Спасибо вам за фиалки и за то, что пришли; это очень мило с вашей стороны. Мне бы так хотелось пережить хоть одно из ваших приключений!

— У вас еще будут приключения, милая сказочная принцесса! — ответил он.

Он произнес это странным голосом, очень ласково.

Сказочная принцесса! Как это забавно! Но если бы он знал...

Какие приключения могли ее ожидать там, где она мыла посуду? Не видать там было и «большой жизни, в которой можно найти свое место», и вообще ничего, что могло бы отвлечь ее от мыслей о себе. И тем не менее по дороге в госпиталь и обратно с ней все чаще случались маленькие приключения. Однажды утром она заметила бедно одетую женщину с покрасневшим и распухшим лицом — она неслась вдоль Риджент-стрит, будто подстреленная птица, и как-то странно кусала собственную руку. Услышав ее стон, Ноэль спросила, что с ней случилось. Женщина показала ей руку.

— О! — простонала она. — Я мыла пол, и большая иглолка вонзилась мне в руку! Она сломалась, я не могу ее вытащить. О... ох!

Женщина все пыталась ухватить зубами кончик иглолки, почти незаметной, но сидевшей где-то близко под кожей; и вдруг она сильно побледнела. Испуганная Ноэль обхватила ее за плечи и отвела в ближайшую аптеку. Там у прилавка несколько дам выбирали духи; они с неприязнью посмотрели на растрепанную, грязную женщину. Ноэль подошла к продавцу:

— Дайте, пожалуйста, поскорее что-нибудь этой бедной женщине. Боюсь, что она упадет в обморок. Ей попала в руку иглолка, она не может ее достать.

Продавец дал ей какое-то лекарство, и она бросилась мимо покупательниц к женщине. Та все так же упорно кусала руку; и вдруг она дернула головой — в зубах у нее торчала иглолка! Она взяла ее другой рукой

и воткнула в отворот платья, едва слышно пробормотав:

— Ну, вот она. Я все-таки поймала ее!

Проглотив лекарство, она растерянно оглянулась вокруг.

— Большое вам спасибо, мисс,— сказала она и тут же вскочила.

Ноэль заплатила за лекарство и вышла вместе с ней, за их спинами нарядный магазин, казалось, испустил благоухающий вздох облегчения.

— Вам нельзя идти на работу,— сказала Ноэль.— Где вы живете?

— В Хорнси, мисс.

— Садитесь в автобус, поезжайте домой и сделайте сразу же примочку из слабого раствора марганцевого калия. Иначе рука распухнет. Вот пять шиллингов.

— Да, мисс; спасибо вам, мисс! Вы очень добры. Рука сильно болит.

— Если сегодня не станет лучше, пойдите к врачу, обещайте мне это!

— О, дорогая мисс, обязательно! Вот мой автобус. От всего сердца спасибо вам, мисс.

Ноэль глядела, как автобус увозил ее, как она все еще посасывала грязную опухшую руку. И она пошла дальше, полная душевного сочувствия к этой бедной женщине и ненависти к дамам, которых она видела в аптеке. Почти до самого госпиталя она ни разу не вспомнила о собственном горе.

В другой ноябрьский день, в субботу, она ушла из госпиталя пораньше и направилась в Хайд-парк. Платаны уже были готовы окончательно расстаться со своей увядающей красотой. Мало, очень мало желтых листьев висело на ветках; стройные, величественные деревья словно радовались тому, что сбросили с себя тяжелый летний наряд. Их тонкие ветки раскачивались и плясали на ветру, а омытые дождями, пятнистые, словно шкура леопарда, стволы выглядели не по-английски легкомысленными. Ноэль прошла меж рядами деревьев и села на скамью. Рядом писал картину художник. Его мольберт стоял в нескольких шагах от нее, и она могла разглядеть картину. Это был уголок Парк-Лейн с дома-

ми на фоне веселых молодых платанов. Художник был высокий человек лет сорока, по всей видимости — иностранец; худощавое, овальное, безбородое лицо, высокий лоб, большие серые глаза, глядевшие так, словно он страдал головными болями и жил какой-то скрытой внутренней жизнью. Он несколько раз взглянул на Ноэль, а она, следуя пробудившемуся в ней интересу к «жизни», незаметно наблюдала за ним: однако она немного испугалась, когда он вдруг снял широкополую мягкую шляпу и сказал с сильным иностранным акцентом:

— Простите меня за смелость, *mademoiselle*! Не будете ли вы добры позволить мне сделать с вас набросок — так, как вы сидите? Я работаю очень быстро. Прошу вас, не откажите мне. Я бельгиец и, как видите, не очень хорошо воспитан... — Он улыбнулся.

— Если вам угодно, — ответила Ноэль.

— Очень вам благодарен.

Он поставил мольберт поближе к ней и принялся рисовать. Она была польщена и в то же время чувствовала себя немного смущенной. Он был такой худой и бледный, что она растрогалась.

— Вы давно в Англии? — спросила она.

— С первого месяца войны.

— Вам нравится здесь?

— Сначала я очень тосковал по родине. Но моя жизнь — в картинах. В Лондоне есть изумительные полотна.

— Почему же вам захотелось рисовать меня?

Художник снова улыбнулся.

— *Mademoiselle*, юность так таинственна! Молодые деревца, которые я сейчас писал, говорят моему сердцу больше, чем старые большие деревья. Ваши глаза видят то, чего еще не случилось. В них — сама судьба, они запрящают нам, посторонним, видеть это. У меня на родине нет таких лиц; мы проще; наши глаза открыто выражают наши чувства. Англичане же непостижимы. Мы для них — нечто вроде детей. Но и вы для нас в некотором смысле дети. Вы совершенно не такие, как другие нации. Вы, англичане, добры к нам, но вы не любите нас.

— Наверно, и вы нас тоже не любите?

Он снова улыбнулся, и она заметила, какие у него белые зубы.

— Да, не очень. Англичане многое делают из чувства долга, но сердце они оставляют для себя. А их искусство — ну, оно просто забавно.

— Я мало понимаю в искусстве, — прошептала Ноэль.

— А для меня это весь мир, — возразил художник и некоторое время молчал, с увлечением занявшись своей работой.

— Так трудно найти тему, — заговорил он отрывисто. — У меня нет денег на модель, а когда работаешь на открытом воздухе, на тебя косятся. Вот если бы у меня была такая натура, как вы! У вас... у вас горе, не правда ли?

Вопрос поразил Ноэль; взглянув на художника, она нахмурилась.

— У всех теперь горе.

Художник ухватился за подбородок; выражение его глаз внезапно стало трагическим.

— Да, — сказал он, — да, у всех. Трагедия стала повседневностью. Я потерял семью, она осталась в Бельгии. Как они живут, не знаю.

— Мне очень жаль вас; я сожалею и о том, что к вам здесь не так добры. Нам надо быть добрее.

Он пожал плечами.

— Что поделаешь! Мы разные. Это непростительно. К тому же человек искусства всегда одинок; у него более тонкая организация, чем у других людей, и он видит то, чего не дано видеть им. Люди не любят, когда ты не похож на них. Если вам когда-либо придется поступить не так, как другие, вы это поймете, mademoiselle.

Ноэль почувствовала, что краснеет. Неужели он разгадал ее тайну? В его взгляде было что-то необычное, словно он обладал вторым зрением.

— Вы, наверно, уже кончаете рисунок? — спросила она.

— Нет, mademoiselle. Я мог бы рисовать еще несколько часов. Но я не хочу задерживать вас. Вам, должно быть, холодно.

Ноэль встала.

— Можно взглянуть?

— Конечно.

Она не сразу узнала себя — да и кому дано узнавать себя? — но увидела лицо, странно взволновавшее ее: девушка на рисунке всматривалась во что-то, что уже словно было перед ней, но чего еще как будто и не существовало.

— Моя фамилия Лавенди,— сказал художник.— Мы с женой живем вот здесь.— И он протянул ей карточку.

Ноэль ничего не оставалось, как ответить:

— Меня зовут Ноэль Пирсон: я живу с отцом; вот наш адрес.— Она открыла сумочку и достала карточку.— Мой отец — священник. Не хотите ли познакомиться с ним? Он любит музыку и живопись.

— С удовольствием, а может быть, мне будет разрешено написать вас? Увы! У меня нет мастерской.

Ноэль отшатнулась.

— Боюсь, что.. я не смогу. Я целый день занята в госпитале, и... и... я не хочу, чтобы меня рисовали, благодарю вас. Но папе, я уверена, будет приятно с вами познакомиться.

Художник снова поклонился; она поняла, что обидела его.

— Я, конечно, вижу, что вы очень хороший художник,— торопливо добавила она.— Только... только... я не хочу, понимаете? Может быть, вы пожелаете написать папу? У него очень интересное лицо.

Художник усмехнулся.

— Он ваш отец, mademoiselle. Можно мне задать вам вопрос? Почему вы не хотите, чтобы я писал вас?

— Потому что... потому что я не хочу. Я боюсь.— Она протянула ему руку. Художник склонился над ней.

— Au revoir, mademoiselle¹.

— Спасибо вам,— сказала Ноэль.— Мне было очень интересно.

И она ушла. В небе над заходящим солнцем клубились тучи; ажурные сплетения ветвей платанов вырисовывались на фоне серого облака с золотистыми краями. Ее успокаивала эта красота, как и горести других людей. Ей было жаль художника; вот только глаза у него видят слишком многое. А его слова: «Если

¹ До свидания, барышня (франц.).

вам когда-либо придется поступить не так, как другие...» показались ей просто вещими. Правда ли, что люди не любят и осуждают тех, кто живет иначе, чем они? Если бы ее школьные подруги знали, что ей предстоит, — как бы они отнеслись к ней? В кабинете ее отца висела репродукция небольшой, находящейся в Лувре картины «Похищение Европы» неизвестного художника — изящная, полная иронии вещь: светловолосая девушка на спине вздыбленного белого быка, пересекающего неглубокий поток; на берегу ее подруги, искоса, полусердито, полузавистливо смотрят на это ужасающее зрелище; одна из девушек пытается с робким безрассудством сесть верхом на лежащую рядом корову и ринуться вслед. Однажды кто-то сравнил лицо девушки, гарцующей на быке, с лицом Ноэль. Она думала теперь об этой картине и видела своих школьных подруг — группу возмущенных и изумленных девиц. «А что, если бы одна из них очутилась в ее положении? Отвернулась бы я от нее, как остальные? Нет, я не отвернулась бы, нет! — решила Ноэль. — Я бы ее поняла!» Но Ноэль чувствовала, что в этих ее мыслях таится какой-то фальшивый пафос. Инстинкт ей подсказывал, что художник прав. Тот, кто действует вразрез с общепринятым, пропащий человек!

Она рассказала отцу о встрече с художником и добавила:

— Я думаю, он придет к нам, папа.

Пирсон ответил мечтательно:

— Бедняга, я рад буду повидать его, если он захочет.

— И ты будешь позировать для него, да?

— Милая моя, — я?!

— Видишь ли, он одинок, и люди не очень-то ласковы к нему. Разве это не ужасно, что одни люди обижают других только потому, что те иностранцы или отличаются еще чем-либо?

Она увидела, как расширились его глаза и в них появилось выражение кроткого удивления.

— Я знаю, ты считаешь людей милосердными, папа. Но они не милосердны, нет!

— То, что ты говоришь, не слишком милосердно, Ноэли.

— Ты ведь знаешь, что я права. Мне иногда кажется, что грех означает только одно: человек поступает не так, как другие. Но ведь если он причиняет этим боль только самому себе — это еще не настоящий грех. И все-таки люди считают возможным осуждать его, правда?

— Я не понимаю, что ты хочешь сказать, Нолли.

Ноэль прикусила губу и прошептала:

— Ты уверен, папа, что мы истинные христиане?

Такой вопрос, заданный собственной дочерью, настолько ошеломил Пирсона, что он попытался отделаться шуткой.

— Я возьму этот вопрос на заметку, как говорят в парламенте, Нолли.

— Значит, ты не уверен?

Пирсон покраснел.

— Нам суждено ошибаться; но не забивай себе голову такими идеями, дитя мое. И без того уже много мятежных речей и писаний в наши дни.

Ноэль заложила руки за голову.

— Я думаю,— сказала она, глядя прямо перед собой и говоря как бы в пространство,— что истинно христианский дух выражается не в том, что ты думаешь или говоришь, а в том, как поступаешь. И я не верю, что человека можно считать христианином, если он поступает так, как все остальные, то есть я хочу сказать, как те, кто осуждает людей и причиняет им боль.

Пирсон встал и зашагал по комнате.

— Ты еще не видела жизни, чтобы говорить такие вещи,— сказал он.

Но Ноэль продолжала:

— Один солдат рассказывал в госпитале Грэтиане, как поступают с теми, кто отказывается от военной службы. Это просто ужасно! Почему с ними так обращаются? Только потому, что у них другие взгляды? Капитан Форт говорит, что это страх делает людей жестокими. Но о каком страхе можно говорить, если сто человек набрасываются на одного? Форт говорит, что человек приручил животных, но не сумел приручить себе подобных. Или люди и в самом деле—дикие звери? Иначе как объяснить, что мир так чудовищно жесток? А жестокость из хороших побуждений или из плохих—я здесь не вижу никакой разницы.

Пирсон смотрел на нее с растерянной улыбкой.

Было что-то фантастическое и невероятное в этих неожиданных философских рассуждениях Ноэль, которая росла на его глазах, превращаясь из крохотного создания во взрослого человека. Устами младенцев иногда... Но молодое поколение всегда было для Пирсона книгой за семью печатями; его чувствительность и робость, а еще больше его священнический сан всегда воздвигали какой-то невидимый барьер между ним и сердцами других людей, особенно молодых. Очень многое он вынужден был осуждать либо, на худой конец, делать вид, что ничего не замечает. И люди великолепно это понимали. Еще несколько месяцев назад он и не подозревал, что знает своих собственных дочерей не больше, чем какие-нибудь девственные леса Бразилии. А теперь, поняв это, он растерялся и не мог себе даже представить, как найти с ними общий язык.

Он стоял, глядя на Ноэль, глубоко озадаченный, и не подозревал, какое несчастье случилось с ней и как оно изменило ее. Его мучила смутная ревность, тревога, боль. И когда она ушла к себе, он долго еще шагал взад и вперед по комнате в тяжелой задумчивости. Как ему нужен друг, которому можно было бы довериться, у которого можно было бы попросить совета! Но у него не было такого друга. Он отдалился от друзей, считая одних слишком прямолинейными, резкими и деловитыми; других — слишком земными и глухими к прекрасному; третьих — слишком окостенелыми и ограниченными. Среди молодых людей его профессии он встречал таких, которые нравились ему; но разве доверишь глубоко личные переживания людям, которые вдвое моложе тебя? А среди людей своего поколения или стариков он не знал никого, к кому можно было бы обратиться.

ГЛАВА VIII

Лила самозабвенно вкушала свой новый эликсир любви. Уж если она влюблялась, то по уши; и поэтому страсть у нее обычно перегорала раньше, чем у любимого. В этом, конечно, было большое ее преимущество. Не то, чтобы Лила ожидала, что чувство ее угаснет са-

мо собой; наоборот, она каждый раз думала, что полюбила навсегда. Сейчас она верила в это больше, чем когда бы то ни было. Джимми Форт казался ей человеком, которого она искала всю жизнь. Он был не так красив, как Фэйн или Линч, но, когда она его сравнивала с ними, эти двое казались ей почти жалкими. Впрочем, они теперь и вовсе не шли в счет, их образы словно расплылись, увяли, рассыпались в прах; они исчезли, как и другие, к которым она когда-то питала преходящую слабость. Теперь для нее во всем мире существует один мужчина, и он останется единственным навеки. Она ни в коем случае не идеализировала Джимми Форта — нет, все было гораздо серьезнее; ее приводил в трепет его голос, прикосновение, она мечтала о нем, тосковала, когда его не было рядом. Она жила в постоянном беспокойстве, ибо прекрасно понимала, что он и вполтину не любит ее так, как любит его она. Это новое ощущение было непонятно даже ей самой, и все время ее не покидала душевная тревога. Возможно, что именно эта неуверенность в его чувстве заставляла ее так дорожить им. Была и другая причина — она сознавала, что время ее уходит и что это ее последняя любовь. Она следила за Фортом, как кошка следит за своим котенком, хотя и виду не показывала, что наблюдает за ним: она была достаточно опытна. У нее появилась странная ревность к Ноэль, которую она скрывала; но почему возникло это чувство, она не могла сказать. Может быть, это объяснялось ее возрастом или смутным сходством между ней и Ноэль, которая была привлекательнее, чем она сама в молодости; либо тут сыграло роль случайное упоминание Форта об «этой маленькой сказочной принцессе». Какой-то непостижимый инстинкт порождал в ней эту ревность. До того, как погиб молодой Сирил, возлюбленный ее кузины, она чувствовала себя уверенно; она знала, что Джимми Форт никогда не станет добиваться той, которая принадлежит другому. Разве он не доказал это еще в те дни, когда сбежал от нее?

Она часто жалела, что сообщила ему о смерти Сирила Морленда. Однажды она решила рассказать ему и все остальное. Это было в зоопарке, куда они обычно ходили по воскресеньям. Они стояли у клетки мангуста — зверька, напоминавшего им прежние дни. Не

поворачивая головы, она сказала, словно обращаясь к зверьку:

— А ты знаешь, что у твоей «сказочной принцессы», как ты ее прозвал, скоро появится так называемое «военное дитя»?

В его голосе звучал ужас, когда он воскликнул: «Что?!» Это словно подхлестнуло ее.

— Она мне сама все рассказала,— продолжала Ли-ла упрямо.— Ее мальчик убит, как ты знаешь. Какая беда, правда? — Она посмотрела на него. Вид у него был просто комичный — такое недоверие было написано на его лице.

— Эта милая девочка! Невозможно!

— Иногда невозможное оказывается возможным, Джимми!

— Я отказываюсь верить.

— Говорю тебе, это правда,— повторила она сердито.

— Какой позор!

— Она сама виновата; так мне она и сказала.

— А отец-то ее — священник! Господи!

Внезапно Лилу охватило тревожное сомнение. Она рассчитывала вызвать в нем неприязненное чувство к Ноэль, излечить от малейшего желания романтизировать ее, а теперь заметила, что вместо этого пробудила в нем опасное сострадание. Она готова была откусить себе язык. Уж если Джимми Форт преисполнится рыцарских чувств к кому-нибудь, то на него нельзя будет полагаться,— это она хорошо знала; Ли-ла не без горечи успела убедиться, что ее власть над ним в какой-то мере зиждется на его рыцарском отношении к ней; она чувствовала наконец, что он замечает ее постоянное опасение быть покинутой — ведь она уже немолода! Только десять минут назад он произнес целую тираду перед клеткой какой-то обезьяны, которая показалась ему особенно несчастной. А теперь она сама вызвала в нем сочувствие к Ноэль. Как она глупа!

— Не гляди так, Джимми! Я жалею, что сказала тебе.

Он не ответил на пожатие ее руки, только пробормотал:

— Видишь ли, я тоже считаю, что это переходит всякие границы. Но как можно ей помочь?

Ли́ла отве́тила как можно мягче:

— Боюсь, что помочь нельзя. Ты любишь меня? — Она крепче сжала его руку.

— Ну конечно.

Ли́ла подумала: «Если бы я была этим мангу́стом, он бы более тепло отозвался на прикосновение моей лапы». У нее внезапно защемило сердце. Она крепко сжала губы и с высоко поднятой головой перешла к следующей клетке.

В этот вечер Джимми Форт ушел из Кэймилот-Мэншенз в чрезвычайно дурном настроении. Ли́ла вела себя так странно, что он распрощался сразу после ужина. Она отказывалась говорить о Ноэ́ль и сердилась, когда он начинал заводить о ней разговор. Как непостижимы женщины! Неужели они думают, что мужчина может остаться невозмутимым, услышав нечто подобное о прелестном юном создании? Ужасающая новость! Ну что она теперь станет делать, бедная маленькая принцесса из волшебной сказки? Ее маленький карточный домик распался, и все, что было в ее жизни, пошло прахом! В́сё! Сможет ли она это перенести, с ее-то воспитанием, с таким отцом и всем окружением? А Ли́ла, как бессердечно она отнеслась к этой жуткой истории! До чего все-таки жестоки женщины друг к другу! Будь она простой работницей, и то ее положение было бы скверным, но изящная, окруженная заботой близких, красивая девочка! Нет, это слишком жестоко, слишком горько!..

Следуя порыву, которому он не мог противостоять, он пошел по направлению к Олд-сквер. Однако, дойдя до самого дома Пирсона, он почти решил повернуть назад. Пока он стоял в нерешительности, подняв руку к звонку, из освещенного луной ноябрьского тумана, словно по волшебству, появились девушка и солдат; крепко обнявшись, они прошли мимо и снова исчезли в тумане, оставив после себя лишь гулкое эхо шагов. Форт дернул ручку звонка. Его провели в комнату, которая для человека, пришедшего из тумана, могла показаться залитой светом и полной народа, хотя на самом деле в ней горело только две лампы и было всего пять человек. Они сидели вокруг камина и о чем-то разговаривали; когда он вошел, все замолчали. Он пожал руку Пирсону, который представил его «моей дочери Грэтиане», человеку в хаки —

«мой зять Джордж Лэрд», и наконец высокому, художавому человеку, похожему на иностранца, в черном костюме и как будто бы без воротничка; Ноэль сидела в кресле у камина, и когда Форт подошел к ней, она слегка приподнялась. «Нет,— подумал он,— мне все это приснилось или Лила солгала!» Она великолепно владела собой и была все той же прелестной девушкой, какой он помнил ее. Даже прикосновение ее руки было таким же — теплым и доверчивым. Садясь в кресло, он сказал:

— Пожалуйста, продолжайте, позвольте и мне принять участие в беседе.

— Мы спорим о Мироздании, капитан Форт,— сказал человек в хаки.— И будем рады получить вашу поддержку. Я только что говорил о том, что наш мир не столь уж важная штука; если он будет завтра уничтожен, любой продавец газет выразит это событие так: «Страшная катастрофа, полное разрушение мира — вечерний выпуск!» Я говорил, что мир наш когда-нибудь снова превратится в туманность, из которой он возник, и путем столкновения с другими туманностями преобразуется в некую новую форму. И так будет продолжаться *ad infinitum*¹ — только я не могу объяснить, почему. Моя жена поставила вопрос: существует ли этот мир вообще или он только в сознании человека,— но и она не может объяснить, что такое сознание человека. Мой тесть полагает, что Мироздание есть излюбленное творение бога. Но и он не может объяснить, кто такой или что такое бог. Нолли молчит. Monsieur Лавенди еще не высказал своего мнения. Так что вы думаете обо всем этом, monsieur?

Человек с художавым лицом и большими глазами потер рукой высокий, с набухшими жилами лоб, словно у него болела голова; он покраснел и начал говорить по-французски, Форт с трудом понимал его.

— Для меня Мироздание — безграничный художник, monsieur, художник, который искони и до настоящего дня выражает себя в самых разнообразных формах — постоянно старается создать нечто совершенное и большей частью терпит неудачу. Для меня наш

¹ До бесконечности (лат.).

мир, да и все другие миры, как и мы сами, и цветы, и деревья — суть отдельные произведения искусства, более или менее совершенные, жизнь которых протекает своим чередом, а потом они распадаются, превращаются в прах и возвращаются к этому Созидающему Художнику, от которого проистекают все новые и новые попытки творить. Я согласен с monsieur Лэрдом, если правильно его понял; но я согласен также и с madame Лэрд, если понял ее. Видите ли, я считаю, что дух и материя — это одно и то же; или, вернее, не существует того, что было бы или духом, или материей; существует лишь рост и распад и новый рост — и так из века в век; но рост — это всегда развитие сознания; это художник, выражающий себя в миллионах постоянно изменяющихся форм, а распад и смерть, как мы их называем, — это не более, чем отдых и сон, отлив на море, который всегда наступает между двумя приливами, или как ночь приходит между двумя днями. Но следующий день никогда не будет таким же, как предыдущий, как и очередная волна не похожа на свою предшественницу; так и маленькие формы мира и мы сами — эти произведения искусства, созданные Вечным Художником, никогда не возобновляются в прежнем виде, никогда не повторяются дважды; они всегда представляют нечто новое — новые миры, новые индивидуальности, новые цветы, все новое. В этом нет ничего угнетающего. Наоборот, меня угнетала бы мысль, что я буду продолжать жить после смерти либо существовать снова в иной оболочке: я и в то же время не я. Как это было бы скучно! Когда я кончаю картину, я не могу представить себе, что она когда-нибудь превратится в другую или что можно отделить изображение от его духовного содержания. Великий Художник, который есть совокупность Всего, всегда делает усилия к созданию новых вещей. Он, как фонтан, который выбрасывает все новые капли, и ни одна из них не похожа на другую; они падают обратно в воду, стекают в трубу и снова выбрасываются вверх в виде новых свежих капель. Но я не могу объяснить, откуда берется эта Вечная Энергия, постоянно выражающая себя в новых индивидуальных творениях, этот Вечный Работающий Художник; не могу объяснить, почему существует он, а не какая-то темная и бессодержательная пустота;

я только утверждаю, что должно существовать либо то, либо другое; либо все, либо ничто; и на деле так и есть. Все, а не Ничто.

Он замолк, и его большие глаза, которых он не сводил с лица Форта, казалось, совершенно его не видят, а устремлены куда-то в пространство. Человек в хаки, который теперь стоял, положив руку на плечо жены, сказал:

— Браво, monsieur, очень красиво изложено с точки зрения художника! В целом идея интересная. Но, может быть, вообще не надо идей? Существуют вещи; и надо принимать их такими, какие они есть.

Форту показалось, что перед его глазами встало что-то темное, расплывающееся; то была худая черная фигура хозяина дома, который встал и подошел к камину.

— Я не могу допустить,— сказал Пирсон,— чтобы Создатель отождествлялся с его созданиями. Бог существует вне нас. Я не могу также допустить, что нет определенных целей и свершений. Все сотворено по его великим начертаниям. Мне кажется, мы слишком предались умствованиям. Мир потерял благочестие. Я сожалею об этом, я горько об этом сожалею.

— А я радуюсь этому,— сказал человек в хаки.—Ну, капитан Форт, теперь ваша очередь брать битву в руки.

Форт, смотревший на Ноэль, встрепенулся и заговорил.

— То, что monsieur называет выражением себя, я бы назвал борьбой. Я подозреваю, что Мироздание — это просто очень длительная борьба, сумма побед и поражений. Побед, ведущих к поражениям, и поражений, ведущих к победе. Я всегда хочу победить, пока я жив, и именно поэтому мне хочется жить и после смерти. Смерть есть поражение. Я не хочу признать его. И поскольку я обладаю этим инстинктом, я не верю, что действительно умру: вот когда лишусь этого инстинкта, тогда, наверно, умру.

Форт видел, что лицо Ноэль обращено к нему, но ему казалось, что она его не слушает.

— Мне думается,— продолжал он,— то, что мы называем духом,— это и есть инстинкт борьбы; то, что мы называем материей, это стремление к покою. Суще-

ствуем ли бог вне нас, как утверждает мистер Пирсон, или мы сами, как выражается monsieur, являемся частицами бога — вот этого я не знаю!

— Ага! Значит, так оно и есть! — сказал человек в хаки. — Все мы рассуждаем в соответствии с нашим темпераментом, но никто из нас не знает. Все религии мира — это не более, как поэтические выражения определенного, резко выраженного темперамента. Monsieur и сейчас остается поэтом, и, пожалуй, его темперамент — единственный, которого не вбить в глотку мира в форме религии. Но пойдите и провозгласите ваши взгляды с крыш домов, monsieur, и вы увидите, что из этого получится.

Художник покачал головой, улыбнувшись, казалось бы, веселой, но, на взгляд Форта, грустной улыбкой.

— Non, monsieur, — сказал Лавенди, — художник не желает никому навязывать свой темперамент. Различие в темпераментах — в этом вся суть его радости, его веры в жизнь. Он не мыслит жизни без этих различий. Tout casse, tout lasse¹, но изменение продолжается вечно. Мы, художники, преклоняемся перед изменением; мы поклоняемся новизне каждого утра, каждой ночи, каждого человека, каждого проявления энергии. Для нас нет ничего конечного, мы жадны ко всему и всегда — ко всему новому. Поймите, мы влюблены даже... в смерть.

Наступило молчание; потом Форт услышал шепот Пирсона:

— Это красиво, monsieur, но, увы, как это ложно!

— А что думаешь ты, Нолли? — спросил вдруг человек в хаки.

Она сидела очень тихо в низком кресле, сложив руки на коленях и устремив глаза на огонь. Отблески ламп падали на ее пышные волосы; она подняла голову, вздрогнула и встретилась глазами с Фортом.

— Я не знаю, я не слушала.

Что-то дрогнуло в нем, где-то в глубине поднялась волна обжигающей жалости, непреодолимое желание защитить ее.

Он сказал поспешно:

¹ Все распадается, все наскучивает (франц.).



«ПУТЬ СВЯТОГО»



«ПУТЬ СВЯТОГО»

— Наше время — время действия. Философия мало что значит сейчас. Надо ненавидеть тиранию и жестокость и защищать всякого, кто слаб и одинок. Это все, что нам остается, все, ради чего стоит жить в эти дни, когда волчья свора во всем мире вышла на охоту за кровью.

Теперь Ноэль слушала его, и он горячо продолжал говорить:

— Да! Даже мы, которые первыми вышли на бой с этой прусской сворой, даже мы заразились ее инстинктом — и вот по всей стране идет травля, травят самых разных людей. Это очень заразная вещь.

— Я не считаю, что мы заражены этим, капитан Форт.

— Боюсь, что это так, мистер Пирсон. Подавляющее большинство людей всегда поддержит того, кто травит, а не того, кого травят; давление сейчас очень велико. Дух травли и убийства носится в воздухе.

Пирсон покачал головой.

— Нет, я не вижу этого, — повторил он. — Мне кажется, в нас сильнее дух братства и терпимости.

— Ах, *monsieur le curé*¹, — услышал Форт мягкий голос художника. — Хорошему человеку трудно увидеть окружающее зло. Есть люди, которых течение жизни оставляет как бы в стороне, и действительность щадит их. Они шествуют по жизни со своим богом, а жестокость животных кажется им фантазией. Дух травли, как сказал *monsieur*, носится в воздухе. Я вижу, как все человечество мчится, разинув пасть и высунув красный язык, тяжело дыша, с диким воем. На кого нападут в первую голову, никто не знает — ни невинный, ни виновный. Если бы вы видели, как самое дорогое вам существо погибает на ваших глазах, *monsieur le curé*, вы тоже почувствовали бы это, хотя, впрочем, не знаю.

Форт увидел, как Ноэль повернулась к отцу. Выражение ее лица в эту минуту было очень странным — вопрошающим, отчасти испуганным. Нет! Лила не солгала. Это ему не приснилось! Это правда!

Он встал, распрощался и вышел на площадь. Он ничего не замечал вокруг. Перед ним вставало ее лицо, вся

¹ Господин священник (франц.).

ее фигура — мягкие линии, нежные краски, тонкое изящество, задумчивый взгляд больших серых глаз. Он пересек Нью-Оксфорд-стрит и уже повернул в сторону Стрэнда, как вдруг услышал позади себя голос:

— Ah, c'est vous, monsieur!¹ — Рядом с ним появился художник.

— Нам с вами по дороге? — спросил Форт. — Но я хожу медленно.

— Чем медленнее, тем лучше, monsieur. Ночной Лондон так красив! Лунные ночи — несчастье для художника. Бывают минуты, когда кажется, что действительности нет. Все видишь, будто во сне, — как лицо этой молодой девушки.

Форт посмотрел на него вопрошающим взглядом.

— А! Она произвела на вас впечатление, да?

— Да! Это очаровательное создание. Духи прошлого и будущего веют вокруг нее. А она не хочет, чтобы я ее писал. Да, возможно, только Матье Марис... — Он приподнял свою широкополую шляпу и взъерошил волосы.

— Да, — сказал Форт, — с нее можно писать картину. Я, правда, не судья в искусстве, но понимаю это.

Художник улыбнулся и торопливо продолжал по-французски:

— В ней и молодость, и зрелость, все вместе. А это так редко встречается. Ее отец тоже интересный человек; я пытаюсь писать его, но он очень труден. Он живет в какой-то полной отрешенности; он — человек, душа которого обогнала его самого — в точности как его церковь, которая удирает от этого века машин, оставив позади свое тело, не правда ли? Он так добр; я думаю, он просто святой. Другие священники, которых я встречаю на улицах, совсем не похожи на него; они вечно заняты и словно застегнуты на все пуговицы, у них лица людей, которые могли бы быть школьными учителями, или адвокатами, или даже военными, — словом, лица земных людей. Знаете ли, monsieur, в том, что я скажу, есть какая-то доля иронии, но это правда; я думаю, хорошим священником может быть только земной человек. Я еще не встречал ни одного священника, у которого был бы такой взгляд, как у monsieur Пирсона, — какой-то скорбный и отсутствующий. Он наполовину художник,

¹ Ах, это вы, мосье! (франц.).

большой любитель музыки. Я пишу его сидящим у рояля; когда он играет, лицо его оживляется, но даже и тогда душа его витает где-то далеко. Мне он напоминает красивую, но заброшенную церковь. Он очень трогателен. Je suis socialiste¹, но мне всегда не было чуждо эстетическое восхищение старой церковью, которая удерживала свою паству с помощью одного простого чувства. Времена меняются; она не может больше взывать только к чувству; церковь стоит в тумане, и ее шпиль тянется к небу, которого больше не существует; ее колокола все еще мелодично звонят, но они уже не звучат в унисон с музыкой улиц. Все это мне и хотелось бы вложить в портрет monsieur Пирсона. И, sarpisti², это нелегко!

Форт сочувственно хмыкнул. Затея художника показалась ему чересчур сложной, если он правильно понял его.

— Чтобы сделать такой портрет,— продолжал художник,— надо хорошо подготовиться: знать течения современной жизни, чувствовать современного человека, который подчас проходит мимо тебя, не оставляя никакого впечатления. В современной жизни нет иллюзий, нет мечты. Посмотрите на эту улицу. Là, là!³

По погруженному в темноту Стрэнду сплошным потоком двигались сотни людей в хаки под руку с девушками, голоса звучали грубо, весело и вульгарно. Бешено мчались такси и автобусы; продавцы газет, не умолкая, предлагали свой товар. И снова художник безнадежно махнул рукой:

— Как мне выразить в своей картине эту современную жизнь, которая бушует вокруг него и вокруг вот этой церкви, что стоит здесь, на самой середине улицы? Смотрите, как бурлят вокруг нее людские потоки и словно вот-вот ее смоят; но она стоит и не замечает опасности. Если бы я был фантастом, все было бы гораздо легче; но быть фантастом слишком просто — эти романтически настроенные художники втискивают в свои картины всё, что им нравится, преследуя только собственные цели. Mais je suis réaliste⁴. И вот, monsieur, я

¹ Я социалист (франц.).

² Черт возьми (франц.).

³ Вон туда! (франц.)

⁴ Но я реалист (франц.).

набрел на одну идею. Он сидит у рояля, а перед ним на стене будет изображен другой портрет — портрет одной из этих молодых проституток, в которых нет ни таинственности, ни юности; ничего, кроме дешевого опыта жизни, вызова добродетельному обществу да веселого настроения. Он смотрит на этот портрет, но не видит его. Лицо этой девушки будет воплощением жизни, а он будет глядеть на нее и не видеть ничего. Что вы скажете о моей идее?

Но Форт уже почувствовал к нему ту неприязнь, которая очень быстро возникает у человека действия к художнику, пустившемуся в длинные рассуждения.

— Это звучит неплохо, — сказал он отрывисто. — Но все равно, *monsieur*, мои симпатии на стороне современной жизни. Возьмите хотя бы этих девушек и солдат. При всей их бездумной вульгарности — а они чертовски вульгарны — должен сказать, что это прекрасный народ; они умеют стойко переносить невзгоды; все они «вносят свою лепту» и смело противостоят этому жестокому миру. А в эстетическом отношении, надо сказать, они представляются мне жалкими. Но можете ли вы утверждать, что их философия в целом не является шагом вперед по сравнению с тем, что мы имели до сих пор? Они ничему не поклоняются — это верно, но они хорошо знают, чего хотят.

Художник, очевидно, почувствовал, какой ушат холодной воды вылили на его идею, и пожал плечами.

— Меня это не интересует, *monsieur*, я пишу то, что вижу — плохо ли, хорошо ли, не знаю. Но посмотрите! — Он протянул руку вдоль темной, озаренной луной улицы. Казалось, вся она была усеяна драгоценными камнями, облита глазурью, то тут, то там играли тускло-красные и зеленовато-голубые блики, а с высоких фонарей струилось оранжевое сияние, и по этой заколдованной, словно из сновидения, улице двигались бесчисленные ряды призраков, земную реальность которых можно было разглядеть лишь на близком расстоянии. Художник шумно перевел дыхание.

— Ах, — сказал он, — какая красота! А они не видят ее — разве что один из тысячи. Жаль, не правда ли? Красота — это святыня.

Форт, в свою очередь, пожал плечами.

— У каждого человека свое зрение,— сказал он.— Однако нога начинает меня беспокоить; мне придется взять машину. Вот мой адрес. В любое время, когда вздумается, заходите. Обычно я дома около семи. Может быть, вас подвезти куда-нибудь?

— Тысяча благодарностей, monsieur, но мне в северный район. Мне очень понравились ваши слова о своре. Я часто просыпаюсь по ночам и слышу завывание всех свор мира. Люди мягкие и по натуре добрые в наши дни чувствуют себя чужеземцами в далекой стране. Спокойной ночи, monsieur!

Он снял свою смешную шляпу, низко поклонился и пересек улицу, направляясь к Стрэнду; он словно приснился Форту и теперь расплылся, как сонное видение. Форт подозвал такси и отправился домой; все время он видел перед собой лицо Ноэль. Это ее вот-вот бросят на съедение волкам! Это вокруг нее будет завывать свора всего мира, вокруг этого прелестного ребенка! И первым, самым громким из этой своры, будет голос ее собственного отца, высокого, тощего человека с кротким лицом и горящими внутренним огнем глазами. Как это жутко!

В эту ночь он видел сны, которые едва ли одобрила бы Лила.

ГЛАВА IX

Когда в семье появляется настоящая тайна, в которую не посвящен только один из членов семьи,— этот человек неизбежно становится одиноким. Но Пирсон прожил одиноким пятнадцать лет и не чувствовал этого так сильно, как почувствовали бы другие люди. В нем наряду с мечтательностью уживалась забавная самонадеянность, которую могли поколебать только очень сильные удары судьбы; он по-прежнему был погружен в свою служебную рутину, столь же незыблемую для него, как и мостовые, по которым он ходил в церковь и обратно. Однако нельзя сказать, что он вовсе не сталкивался с жизнью, как утверждал художник. В конце концов на его глазах люди рождались, сочетались браком, умирали. Он помогал им в нужде или в случае болезни; воскресными вечерами он объяснял им и их детям библейские тексты; для тех, кто нуждался в пище, он

устроил бесплатную раздачу супа. Он никогда не щадил себя и всегда готов был выслушать любую жалобу своих прихожан на тяготы жизни. И все-таки он не понимал этих людей, и они знали это; словно он или они страдали дальтонизмом. Он и его паства совершенно по-разному смотрели на жизнь. Он видел одни ее стороны, они — другие.

Одна из улиц его прихода граничила с большой магистралью; там возникло новое место сборищ проституток, которых власти прогнали с облюбованных раньше улиц в целях охраны общественного порядка; теперь они занимались своим промыслом в темноте. Это зло всегда было кошмаром для Пирсона. В его собственной жизни царило суровое воздержание; это побуждало его быть строгим и к другим, но строгость не была самой сильной чертой его характера. Поэтому под личиной суровой непримиримости в нем шла постоянная острая борьба с самим собой. Он становился на сторону тех, кто устраивал облавы, потому что боялся — нет, разумеется, не своих собственных инстинктов, ибо, будучи джентльменом и священником, был разборчив, — он боялся оказаться снисходительным к греху, к чему-то, что ненавистно господу. Он как бы принуждал себя разделять профессиональную точку зрения на это нарушение общественной нравственности. Когда ему приходилось встречать на улицах женщину легкого поведения, он невольно поджимал губы и хмурился. Темнота улиц, казалось, придавала этим женщинам какую-то нечистую власть над ночью. К тому же они представляли большую опасность для солдат, а солдаты, в свою очередь, угрожали благополучию юных овечек из его паствы. Время от времени до него доходили сведения о семейных бедах его прихожан; случалось, что солдаты вовлекали в грех молодых девушек, и те собирались стать матерями. Пирсон жалел этих девушек, но он не прощал им их легкомыслия и того, что они вводили в соблазн юношей, которые сражаются за родину. Ореол, окружавший солдат, не был в его глазах достаточным оправданием. Узнав, что родился внебрачный ребенок, он созывал учрежденный им самим комитет из трех замужних и двух незамужних женщин. Те посещали молодую мать и, если это было необходимо, определяли ре-

бенка в ясли; как-никак, а дети представляли ценность для страны, и — бедные создания! — конечно, не отвечали за грехи своих матерей. Пирсон редко сталкивался с молодыми матерями — он стеснялся их, а втайне даже побаивался, что не будет достаточно суров. Но однажды жизнь столкнула его лицом к лицу с одной из них.

В канун Нового года он сидел после чая в кабинете; это был час, который он всегда старался отдавать прихожанам. Ему доложили, что пришла миссис Митчет; он ее знал — это была жена мелкого книгопродавца, временами исполнявшего в церкви обязанности причетника. Она привела с собой молодую черноглазую девушку, одетую в широкое пальто мышиного цвета. Он указал им на стоявшие перед книжным шкафом два зеленых кожаных кресла, уже сильно потертые за годы этих бесед с прихожанами; слегка повернувшись на стуле у письменного стола и сцепив свои длинные пальцы музыканта, он внимательно смотрел на посетительниц. Женщина вынула носовой платок и принялась вытирать слезы; девушка сидела притаившись, как мышь, и чем-то даже была похожа на мышь в своем пальто.

— Итак, миссис Митчет? — наконец тихо спросил Пирсон.

Женщина отложила носовой платок, решительно засопела и начала:

— Это Хильда, сэр. Такого от нее ни Митчет, ни я никогда не ожидали. Это свалилось как снег на голову. Я решила, что лучше всего привести ее к вам, бедную девочку. Конечно, во всем виновата война. Я ее десять раз предупреждала; и вот — пожалуйста! Ей через месяц рожать, а солдат во Франции.

Пирсон инстинктивно отвел глаза от девушки, которая неотрывно смотрела ему в лицо, правда, без всякого интереса, словно она уже махнула рукой на свою беду и предоставила думать об этом другим.

— Печально, — сказал он. — Очень, очень печально.

— Да, — пробормотала миссис Митчет, — я то же самое говорила Хильде.

Девушка на минуту опустила глаза, потом снова принялась равнодушно разглядывать Пирсона.

— Как зовут этого солдата, какой номер его полка?

Может быть, нам удастся устроить ему отпуск,— он придет и тут же женится на Хильде?

Миссис Митчет засопела.

— Она не говорит нам, как его зовут, сэр. Ну, Хильда, скажи же мистеру Пирсону! — В ее голосе послышалась мольба. Но девушка только покачала головой. И миссис Митчет забормотала горестно: — Вот такая она, сэр! Не хочет сказать ни слова. Мы начинаем думать, что он был у нее не первый. Какой стыд!

Девушка даже не шевельнулась.

— Поговорите с ней вы, сэр! У меня просто ум за разум заходит.

— Почему вы не хотите сказать его имя? — начал Пирсон. — Я убежден, что этот человек захотел бы поступить по справедливости.

Девушка покачала головой и проговорила:

— Я не знаю его имени.

У миссис Митчет задергалось лицо.

— Ну вот! — простонала она. — Только подумайте! Нам она даже и этого не сказала.

— Не знаете его имени? — растерянно переспросил Пирсон. — Но как же... как же вы могли... — Он остановился, и лицо его потемнело. — Но вы ведь не поступили бы так, если бы не испытывали к нему привязанности? Ну же, расскажите мне!

— Я не знаю, — повторила девушка.

— Ох, уж эти прогулки в парках! — пробормотала миссис Митчет из-за носового платка. — И подумать только, что это будет наш первый внук! Хильда — трудный ребенок: такая тихая, такая тихая, но зато уж такая упрямая!..

Пирсон посмотрел на девушку, у которой, видимо, совсем пропал интерес к разговору. Ее тупое равнодушие и поистине ослиное упрямство раздражали его.

— Я не могу понять, — сказал он, — как могли вы так забыть? Это очень печально.

— Да, сэр, — подхватила миссис Митчет, — девушки нынче вбили себе в голову, что для них не останется молодых людей.

— Так и есть, — угрюмо отозвалась Хильда.

Пирсон крепче сжал губы.

— Что же я могу сделать для вас, миссис Митчет? — сказал он. — Ваша дочь ходит в церковь?

Миссис Митчет скорбно покачала головой: .

— Никогда. С тех пор, как мы купили ей велосипед.

Пирсон встал с кресла. Старая история! Контроль и дисциплина подорваны — и вот они, горькие плоды!

— Ну что ж, — сказал он, — если вам понадобятся ясли, зайдите ко мне.

— А вы, — он повернулся к девушке, — разве эта ужасная история не тронула ваше сердце? Дорогое дитя, мы должны владеть собою, нашими страстями и неразумными чувствами — особенно в такое время, когда родина нуждается в нас. Мы должны быть дисциплинированными и думать не только о себе. Я полагаю, что по натуре своей вы хорошая девушка.

Черные глаза Хильды были все так же неподвижно устремлены на его лицо, и это вызвало в нем приступ нервного раздражения.

— Ваша душа в большой опасности, и вы очень несчастны, я вижу это. Обратитесь за помощью к богу, и он в милосердии своем сделает для вас все иным, совершенно иным. Ну же!

Девушка сказала с каким-то поражающим спокойствием:

— Мне не нужно ребенка!

Эти слова потрясли его, словно она совершила какое-нибудь богохульство.

— Хильда работала на военном заводе, — объяснила ее мать. — Получала около четырех фунтов в неделю. О! Боже мой! Это просто разорение!

Странная, недобрая усмешка искривила губы Пирсона.

— Божья кара! — сказал он. — Спокойной ночи, миссис Митчет. До свидания, Хильда. Если я вам понадоблюсь, когда придет срок, пошлите за мной.

Они встали; Пирсон пожал им руки. И вдруг он увидел, что дверь открыта и в ней стоит Ноэль. Он не слышал, когда она вошла, и не знал, долго ли она стояла здесь. В ее лице и позе была какая-то странная неподвижность. Она смотрела на девушку, а та, проходя мимо нее, подняла голову; черные и серые глаза встрети-

лись. Дверь захлопнулась, и Ноэль осталась наедине с отцом.

— Ты сегодня вернулась раньше, дитя мое? — спросил Пирсон. — Ты вошла так тихо.

— Да. Я все слышала.

Тон ее голоса был таким, что он слегка вздрогнул; на лице ее было то самое выражение одержимости, которого он всегда страшился.

— Что именно ты слышала? — спросил он.

— Я слышала, как ты сказал: божья кара! А мне ты скажешь то же самое? Но только мне... мне мой ребенок нужен.

Ноэль стояла, прислонившись спиной к двери, на которой висела тяжелая темная портьера, и на этом фоне лицо ее казалось юным и маленьким, а глаза — необыкновенно большими. Одной рукой она теребила блузку в том месте, где билось сердце.

Пирсон глядел на нее, вцепившись в спинку кресла. Привычка всей жизни — подавлять свои чувства — помогла ему и на этот раз совладать с еще не вполне осознанным ужасом. У него вырвалось одно-единственное слово:

— Нолли!

— Это правда, — сказала она, повернулась и вышла из комнаты.

У Пирсона закружилась голова; если бы он двинулся с места, он, наверное, упал бы. Нолли! Он опустился в кресло, и по какой-то жестокой и обманчивой игре нервов ему вдруг представилось, что Нолли сидит у него на коленях, как сидела когда-то маленькой девочкой, прижавшись светлыми, пушистыми волосами к его щеке. Ему казалось, он чувствует даже, как ее волосы щекочут кожу; тогда, после смерти ее матери, эти минуты были для него величайшим утешением! А теперь в какое-нибудь мгновение вся его гордость сгорела, словно цветок, поднесенный к огню; вся необъятная тайная гордость отца, который любит своих детей и восхищается ими, боготворит в этих детях память умершей жены, подарившей их ему; гордость отца, кроткого по натуре, никогда не знавшего меры своей гордости, пока не обрушился на него этот удар; вся многолетняя гордость священнослужителя, увещания и поучения которого подняли его на

такую высоту, о какой он даже и не догадывался, — вся эта гордость перегорала сейчас! Что-то кричало в нем от боли, как кричит и стонет животное, когда его мучают и оно не может понять, за что. Сколько раз ему приходилось взывать к богу: «Господи! Господи! Почему ты покинул меня?»

Он вскочил, пытаюсь преодолеть смятение. Все его мысли и чувства странно перемешались. Духовное и мирское... Презрение общества... Ее душа в опасности!.. Испытание, посланное богом!.. Будущее? Он не мог себе его представить. Он подошел к маленькому пианино, открыл его, закрыл снова; потом схватил шляпу и тихонько вышел из дома. Он шагал быстро, не зная, куда идет. Было очень холодно — стоял ясный вечер, дул пронизывающий ветер. Быстрое движение на морозном воздухе принесло ему какое-то облегчение. Как Ноэль убежала от него, сказав ему о своей беде, так и он сейчас бежит от нее. Все страждущие куда-то торопятся. Он скоро очутился у реки и повернул на запад вдоль набережной. Всплывала луна, почти полная, ее стальной свет ложился мерцающими бликами на воду. Жестокая ночь! Он дошел до Обелиска и бессильно прислонился к нему, раздавленный тем, что произошло. Ему казалось, что лицо покойной жены осуждающе смотрит на него из прошлого. «Плохо же ты заботился о Ноэли, если она дошла до этого!» Но потом лицо жены превратилось в лицо озаренного луной сфинкса, смотревшего прямо на него, — широкое темное лицо с большими ноздрями, жестоким ртом, выпуклыми глазами без зрачков; живое и бледное в серебристом свете луны — воплощение чудовищной, слепой энергии Жизни, без всякого милосердия переворачивающей и терзающей человеческие сердца. Он смотрел в эти глаза с каким-то тревожным вызовом. Огромные когтистые лапы, сила и беспощадное спокойствие этого притаившегося зверя с человеческой головой, ожившего в его воображении благодаря игре лунного света, — все казалось ему искушением, побуждало к отрицанию бога, к отрицанию человеческой добродетели.

Потом в нем вдруг проснулось чувство красоты. Он отодвинулся, чтобы посмотреть сбоку на посеребренные луной ребра и мощные мышцы; хвост сфинкса, закинутый на бедро, был свернут кольцом, и кончик его высывал-

ся из этого кольца, как голова змеи. Это чудище, созданное руками человека, было волнующе живым, прекрасным и жестоким. Сфинкс выражал нечто, присущее человеческой душе, безжалостное, далекое от любви; или скорее ту беспощадность, с которой судьба вторгается в жизнь людей. Пирсон отошел от сфинкса и продолжал свой путь вдоль набережной, почти пустынной в этот холодный вечер. Он дошел до того места, откуда был виден вход в подземку; крохотные фигурки людей устремлялись туда, где сверкали оранжевые и красные огоньки. Зрелище захватило его своей теплотой и красочностью. Не приснилось ли ему все? Приходила ли к нему на самом деле эта женщина с дочерью? А Нолли, не была ли она только видением, а ее слова — игрой его воображения? Он еще раз отчетливо увидел ее лицо на фоне темной портьеры, ее руку, теребящую блузку, услышал свой собственный испуганный возглас: «Нолли!» Нет, это не обман чувств! Все здание его жизни лежит во прахе. Смутной, призрачной вереницей мимо него проносились человеческие лица — лица его друзей, достойных мужчин и женщин, которых он знал раньше и которые теперь были чужды ему. Вот они все столпились вокруг Ноэль, показывают на нее пальцами. Он содрогнулся от этого видения, он не в силах был перенести его. Нет, он не может признать своего несчастья! Болезненное ощущение нереальности окружающего сменилось вдруг некоторым успокоением, и он перенесся мыслью в прошлое, к летним каникулам, которые проводил с девочками в Шотландии, Ирландии, Корнуэлле, Уэльсе, в горах, у озер; сколько солнечных закатов, расцветающих деревьев, птиц, зверей, насекомых они перевидали тогда! Юная дружба его дочерей, их пылкость, доверие к нему — сколько было в этом тепла и сколько радости! Но если эти воспоминания — правда, то не может быть правдой то, что случилось! Ему вдруг захотелось бежать домой, подняться к Ноэль, сказать, что она жестока к нему, или по крайней мере убедиться, что в ту минуту она была не в своем уме. Он все больше и больше раздражался, раздражение переходило в гнев. Гнев против Ноэль, против всех, кого он знал, против самой жизни! Глубоко засунув руки в карманы легкого черного пальто, он спустился в узкий, яр-

ко освещенный туннель, где была билетная касса метро, и выбрался снова на кишашие людьми улицы. Но когда он добрался до дома, гнев его улегся, осталась только огромная усталость. Было девять часов, горничные в растерянности убрали посуду со стола. Ноэль уже ушла в свою комнату. У него не хватило мужества подняться к ней, и он, не поужинав, сел за рояль, и пальцы его стали искать нежные, горестные мелодии; может быть, Ноэль услышит сквозь беспокойную дремоту эти слабые, далекие звуки? Так он сидел до тех пор, пока пришло время идти к полуношной службе под Новый год.

Вернувшись домой, он закутался в плед и улегся на старом диване в своем кабинете. Когда утром горничная вошла разжечь камин, она застала его спящим. Круглолицая, с приятным румянцем девушка замерла на месте, глядя на него с благоговейным страхом. Он лежал, положив голову на руку, его темные, слегка поседевшие волосы были гладко причесаны, словно он ни разу не пошевелился во сне; другая рука прижимала плед к груди, а из-под пледа высовывались ноги в ботинках. Он показался ей одиноким и заброшенным. Она с интересом рассматривала его впалые щеки, морщины на лбу, губы, обрамленные темными усами и бородой, крепко сжатые даже во сне. Оказывается, быть святым вовсе не значит быть счастливым! Больше всего ее растрогали пепельные ресницы, опущенные на щеки, слабое дыхание, едва колеблющее лицо и грудь; она наклонилась над ним с каким-то детским желанием — посчитать его ресницы. Губы ее раскрылись, готовые сказать «ах!», если он проснется. Лицо его чуть подергивалось, и это вызывало в ней особенную жалость. Он джентльмен, у него есть деньги, каждое воскресенье он читает проповеди и не так уж стар — чего еще может желать человек? И все-таки у него такой измученный вид, такие впалые щеки! Она жалела его; он казался ей беспомощным и одиноким — вот и уснул здесь, нет чтобы по-настоящему лечь в постель! Вздохнув, она на цыпочках пошла к двери.

— Это вы, Бесси?

Девушка вернулась.

— Да, сэр. Очень сожалею, что разбудила вас. Со счастливым Новым годом, сэр!

— Ах, да! Счастливого Нового года и вам, Бесси!

Она увидела его обычную улыбку; но тут же улыбка погасла и глаза застыли. Это испугало ее, и она поспешно вышла.

Пирсон вспомнил все. Несколько минут он лежал, глядя в пространство и ничего не видя, потом встал, машинально сложил плед и посмотрел на часы. Восемь! Он поднялся по лестнице и, постучав, вошел к Ноэль.

Шторы были подняты, но она еще лежала в постели. Он стоял и смотрел на нее.

— Счастливого Нового года тебе, дитя мое,— сказал он и весь задрожал, словно его била лихорадка. Она выглядела так молодо и невинно — круглолицая и свежая после ночного сна. И у него снова вспыхнула мысль: «Наверно, это мне приснилось!» Она не двинулась, на щеках ее проступил слабый румянец. Нет, не сон!.. Не сон!.. И он сказал прерывающимся голосом:

— Я не могу поверить. Я... я надеялся, что неправильно понял тебя. Может быть, я не расслышал, Ноэли? Может быть...

Она только покачала головой.

— Скажи мне все,— попросил он.— Ради бога!

Он увидел, как зашевелились ее губы, и уловил ее шепот:

— Больше не о чем говорить. Гретиана и Джордж знают, и Лила знает. Сделанного не воротишь, папа! Быть может, я и не поступила бы так, если бы ты не запретил мне и Сирилу пожениться. А теперь я иногда чувствую себя счастливой, потому что у меня останется хоть что-нибудь от него...— Она подняла на него глаза.— В конце концов какая разница, право же! Только что нет кольца на пальце. Не стоит разговаривать со мной об этом — я тоже думаю, думаю дни и ночи. И знаю заранее, что ты можешь сказать. Я и сама себе это говорила. Теперь уже ничего не поделаешь, лишь бы все обошлось хорошо.

Она высунула горячую руку из-под одеяла и крепко сжала его пальцы. Щеки ее пылали, глаза горели.

— Ах, папа! У тебя такой усталый вид! Ты, наверное, не ложился! Бедный папочка!

От прикосновения ее горячей руки, от этих слов «бедный папочка» у него на глазах выступили слезы. Они

медленно скатились на бороду, и он закрыл лицо рукой. Она еще крепче, почти судорожно сжала его руку и вдруг поднесла ее к губам, поцеловала и отпустила.

— Не надо,— сказала она и отвернулась.

Пирсон подавил волнение и ответил почти спокойно:

— Ты хочешь остаться дома, дорогая, или поехать куда-нибудь?

Ноэль заметалась по подушке, словно ребенок в бреду, которому волосы попали в глаза и рот.

— Ах, я не знаю; да и какое это имеет значение!

— А если в Кестрел? Может быть, тебе поехать туда? Твоя тетя... Я могу ей написать.— Ноэль несколько мгновений смотрела на него, охваченная, видимо, какой-то внутренней борьбой.

— Да,— сказала она наконец.— Я поеду. Но только если там не будет дяди Боба.

— Дядя может приехать сюда и пожить со мной.

Она снова отвернулась к стене, голова ее судорожно заметалась по подушке.

— Мне все равно,— сказала она.— Куда угодно. Все равно.

Пирсон положил ледяную руку ей на лоб.

— Успокойся,— сказал он и опустился на колени у ее кровати.— Милосердный отец,— зашептал он,— дай нам силы вынести это ужасное испытание. Возьми мое возлюбленное дитя под свою защиту и даруй ей мир; и дай мне уразуметь, что сделал я несправедливого, в чем прегрешил пред тобой и ею. Очисти и укрепи мое дитя и меня.

Его мысли текли вместе с этой путаной, невнятной, отрывочной молитвой. Потом он услышал, как Ноэль сказала:

— Ты не согрешил. Почему ты говоришь о грехе? Это неправда! И не молись за меня, папа.

Пирсон встал и отошел от кровати. Ее слова ошеломили его, он боялся отвечать. Она опустила голову на подушку и лежала, уставившись глазами в потолок.

— У меня будет сын; значит, Сирил не совсем умер. И я не хочу, чтобы меня прощали.

Он смутно понимал, какой долгий и молчаливый процесс брожения мыслей и чувств происходил в ней, прежде чем она так ожесточилась; это ожесточение ка-

залось ему чуть ли не богохульством. Но при всем смятении, царящем в его душе, он не мог не любоваться ее прекрасным лицом, округлыми линиями открытой шеи, выющимися вокруг нее короткими кудряшками. Сколько страстной, протестующей жизненной силы чувствовалось в этой откинутой назад голове, мечущейся по горячей смятой подушке! Он продолжал молчать.

— Я хочу, чтобы ты знал, что во всем виновата я сама. Но я не могу притворяться. Конечно, я постараюсь причинять тебе как можно меньше горя. Мне так жаль тебя, бедный папа! Ах, мне так тебя жаль!

Непостижимо быстрым и мягким движением она повернулась и зарылась головой в подушку, и он видел только спутанные волосы и трясущиеся под одеялом плечи. Он попытался погладить ее по голове, но она отодвинулась, и он тихо вышел из комнаты.

К завтраку она не спустилась. А когда он сам покончил с безвкусной для него едой, привычный механизм его профессии священника уже целиком завладел им. Новый год! У него много дел. Надо держаться как можно бодрее перед паствой, напутствовать всех и каждому сказать ласковое слово; надо вселять в людей мужество и надежду.

ГЛАВА X

Узнав почерк шурина, Тэрза Пирсон сказала, не повышая голоса:

— Письмо от Тэда.

Боб Пирсон, у которого рот был набит колбасой, так же спокойно промычал:

— Что он пишет?

Она начала читать письмо и сразу поняла, что ответить на этот вопрос — самая трудная задача из всех, которые когда-либо вставали перед ней. Письмо глубоко взволновало и обеспокоило ее. Ведь беда разразилась под ее крылышком! Именно здесь произошло это прискорбное событие, чреватое такими неурядицами и ложью. Перед ней встало лицо Ноэль, страстное и какое-то отсутствующее, — такой она увидела ее возле двери ее комнаты в ту ночь, когда Сирил Морленд уезжал — нет, инстинкт не обманул ее тогда!

— Эдвард хочет, чтобы ты приехал и пожил с ним, Боб.

— А почему не мы оба?

— Он хочет, чтобы Нолли приехала сюда ко мне; она не совсем здорова.

— Нездорова? А в чем дело?

Рассказать ему — значило бы совершить предательство по отношению к своему полу; не рассказать — обмануть доверие собственного мужа. Простой учет фактов, а не принципов помог ей принять решение. Что бы она ни придумала, Боб тут же скажет: «Ну, это тыхватила через край!» И ей все равно придется рассказать. Она начала спокойно:

— Ты помнишь ту ночь, когда Сирил Морленд уезжал, а Ноэль вела себя несколько странно? Так вот, мой милый, у нее будет ребенок в начале апреля. Несчастный юноша убит, Боб, — он погиб за родину...

Она увидела, как он побагровел.

— Что?!

— Бедный Эдвард страшно расстроен. Мы должны сделать все, что можем. Во всем я виню себя. — Последние слова она произнесла почти машинально.

— Винишь себя? Дудки! Этот молодой... — Он осекся.

Тэрза все так же спокойно продолжала:

— Нет, Боб! Из них двоих виновата Ноэль; она в тот день совсем потеряла голову. Разве ты не помнишь ее лицо? Ах, эта война! Она весь мир перевернула вверх дном. И в этом единственное оправдание. Что сейчас нормально?

Боб Пирсон в большей мере, чем другие, владел секретом быть счастливым, ибо всегда жил минутой, полностью растворяясь в том, что делал: ел ли он яйцо, рубил ли дерево, заседал ли в суде или приводил в порядок счета, сажал картошку, смотрел на луну, или ехал верхом на лошади, или читал в церкви библию, — он решительно не способен был посмотреть на себя со стороны и спросить себя, почему он делает это так, а не делает лучше. Он был крепок, как дуб, и вел себя как сильный, добродушный пес. Его горести, гнев, радость были, как у ребенка, и таким же был его беспокойный, шумный сон. Они с Тэрзой очень подходили

друг другу, потому что и она владела тем же секретом чувствовать себя счастливой; хотя она жила так же, как и он, минутой, но, подобно всякой женщине, всегда помнила о близких; более того, именно они и были для нее главным в жизни. Кто-нибудь мог бы сказать, что ни у него, ни у нее нет никакой собственной философии; но это была самая философическая супружеская пара, какую только можно встретить на нашей планете, населенной простаками. Оба сохранили вкус к простой обыденной жизни. Не было ничего более естественного для них, как раствориться в жизни, в этой бесконечной, удивительной смене времени и явлений, которые ощущаешь или создаешь сам, о которых говоришь и которые изменяешь; они поддерживали связи с бесконечным множеством других людей, но никогда не размышляли о том, растворились ли они в жизни или нет, есть ли у них какое-либо определенное отношение к Жизни и Смерти; это, конечно, было великое благо в эпоху, в которой они жили.

Боб Пирсон шагал по комнате, настолько озабоченный этой бедой, что был почти счастлив.

— Черт побери,— рассуждал он,— вот ужас-то! И надо же, чтобы так случилось! И именно с Нолли! Я просто убит, Тэрза. Просто не нахожу себе места!—Но с каждым словом голос его становился все бодрее, и Тэрза почувствовала, что самое худшее позади.

— Кофе стынет,— сказала она.

— Что же ты советуешь? Ехать мне туда, а?

— Я думаю, что ты будешь просто находкой для бедного Тэда; ты поддержишь его дух. Ева не приедет в отпуск до пасхи, и я останусь здесь одна и присмотрю за Нолли. Прислугу можно отпустить на отдых; а мы с нянькой будем вести хозяйство. Мне это даже нравится.

— Ты хорошая женщина, Тэрза.— Взяв руку жены, он поднес ее к губам.— Другой такой женщины не сыщешь во всем белом свете.

Глаза Тэрзы смеялись.

— Дай-ка мне чашку, я налью тебе горячего кофе.

Было решено осуществить этот план в середине месяца. Тэрза пустила в ход все уловки, чтобы вдолбить мужу мысль, что одним ребенком больше или меньше — не

так уж важно для планеты, где живет миллиард двести миллионов человек. Обладая более острым чувством семейной чести, свойственным мужчинам, Боб никак не мог уразуметь, что этот ребенок будет таким же, как и все другие.

— Проклятие! — восклицал он. — Я просто не могу привыкнуть к этому. В нашей семье! А Тэд к тому же священник. И на какого черта нужен нам этот ребенок?

— Если Нолли позволит, почему бы нам не усыновить его? Это поможет мне не думать все время о наших мальчишках.

— Идея! Но Тэд забавный парень. Он теперь придумает какую-нибудь догму искупления или другую несуразицу!

— Да не волнуйся, пожалуйста! — решительно прервала его Тэрза.

Мысль о том, что ему придется пожить некоторое время в столице, не была неприятной для Боба Пирсона. Работа в суде закончилась, ранний картофель посажен, и он уже мечтал о том, как будет трудиться на благо родины, как его выберут специальным констеблем, как он будет обедать в своем клубе. И чем ближе он передвигается к фронту и чем чаще ему доведется рассуждать о войне, тем более важные услуги, как ему представлялось, он окажет родине. Он обязательно потребует работы, в которой смогут пригодиться его мозги! Он очень сожалел, что Тэрзы не будет с ним. Долгая разлука казалась ему слишком большим испытанием. И он вздыхал и теребил бакенбарды. Но ради Нолли и родины придется примириться с этим.

Когда наконец Тэрза прощалась с ним в вагоне поезда, у обоих в глазах стояли слезы — они ведь были искренне привязаны друг к другу и хорошо знали, что раз уж взяли это дело в свои руки, оно будет доведено до конца, а это значит по меньшей мере трехмесячная разлука.

— Я буду писать каждый день.

— Я тоже, Боб.

— Не станешь нервничать, старушка?

— Нет, если ты не станешь нервничать.

— Я буду на месте в пять минут шестого, а она придет сюда без десяти пять. Давай еще раз поцелуемся —

черт бы побрал этих носильщиков! Благослови тебя бог! Я надеюсь, Ноэли не будет недовольна, если я изредка стану наезжать сюда.

— Боюсь, что будет. Это... это... — ну, словом, ты сам понимаешь.

— Да, да, понимаю! — И он действительно понимал; в душе он был человеком деликатным.

Ее последние слова: «Ты очень милый, Боб!» — звучали в его ушах вплоть до станции Сэверн.

Тэрза вернулась домой, и дом показался ей пустым без мужа, дочери, мальчиков и даже прислуги. Только собаки были на месте да старая нянька, которая издавна была ее доверенным лицом. Даже в укрытой лесистой долине этой зимой было очень холодно. Птицы прятались, ни один цветок не цвел, а бурая река вздулась и с ревом несла свои воды. Весь день в морозном воздухе гулко отдавались удары топора в лесу и шум падающих деревьев — их валили для креплений в окопах. Она решила сама приготовить обед и до самого полудня возилась на кухне, варила и пекла всякие вкусные вещи и при этом размышляла: как бы она себя чувствовала на месте Ноэль, а Ноэль на ее — и решила устранить все, что могло бы причинить боль девушке. К вечеру она отправилась на станцию в деревенском автобусе, том самом, который в июльскую ночь увез Сирила Морленда; их кучер был в армии, а лошадей угнали на подножный корм.

Ноэль выглядела усталой и бледной, но спокойной, слишком спокойной. Тэрзе показалось, что лицо ее стало тоньше, а задумчивые глаза придавали ей еще больше очарования. В автобусе она взяла Ноэль за руку и крепко сжала ее; они ни разу не упомянули о случившемся, только Ноэль, как и полагается, промолвила:

— Очень вам благодарна, тетушка, за ваше приглашение; это так любезно с вашей стороны и со стороны дяди Боба.

— В доме нет никого, моя милая, кроме старой няни. Тебе будет очень скучно, но я решила научить тебя готовить; это всегда пригодится.

Улыбка, скользнувшая по губам Ноэль, испугала Тэрзу.

Она отвела девушке комнату и постаралась сде-

лать ее как можно уютнее и веселее — в камине пылали дрова, на столе стояла ваза с хризантемами и блестящие медные подсвечники, на кровати лежали грелки.

Когда настало время ложиться спать, Тэрза поднялась наверх вместе с Ноэль и, став у камина, сказала:

— Знаешь, Нолли, я решительно отказываюсь рассматривать все это как трагедию. Подарить миру новую жизнь в наши дни — неважно каким путем — это же счастье для человека. Я бы и сама согласилась на это, — по крайней мере я чувствовала бы, что приношу пользу. Спокойной ночи, дорогая! Если тебе что-либо понадобится, постучи в стену. Моя комната рядом. Да хранит тебя бог!

Она увидела, что девушка очень тронута — этого не могла скрыть даже бледная маска ее лица; и Тэрза вышла, пораженная самообладанием племянницы.

Тэрза плохо спала эту ночь. Ей все представлялось, как Ноэль мечется на большой кровати и широко открытыми серыми глазами вглядывается в темноту.

Встреча братьев Пирсонов произошла в обеденный час и отличалась истинно английской сдержанностью. Они были такими разными людьми, и с самых ранних лет, проведенных в старом доме в Букингэмшире, так мало жили вместе, что по сути дела были почти чужими, и единственное, что связывало их, — это общие воспоминания о том далеком прошлом. Об этом они и беседовали, да еще о войне. По этому вопросу они были согласны друг с другом в основе, но расходились в частностях. Так, оба считали, что знают Германию и другие страны, хотя ни у одного не было настоящего представления ни о какой стране, кроме собственной; правда, они оба порядком попутешествовали по чужим краям в то или иное время, но не увидели там ничего, кроме земли, по которой они ходили, церквей да солнечных закатов. Далее, оба полагали, что являются демократами, но ни один не знал подлинного значения этого слова и не считал, что рабочему можно по-настоящему доверять; оба чтити церковь и короля. Обоим не нравилась воинская повинность, но они признавали ее необходи-

мость. Оба высказывались в пользу предоставления самоуправления Ирландии, но ни один не считал, что это можно осуществить. Оба мечтали, чтобы война кончилась, но были за то, чтобы она продолжалась до победы, хотя ни тот, ни другой не знали, что это означает. Так обстояло дело с основными проблемами. Что же до частных, — таких, как стратегия или личности руководителей страны, то тут они были противниками. Эдвард был западником, Роберт — восточником, что было естественно, так как он провел четверть века на Цейлоне. Эдварду нравилось правительство, которое пало, Роберту — то, которое пришло к власти. Ни один не мог привести никаких причин, объясняющих такое пристрастие, если не считать того, что вычитал в газетах. Впрочем, могли ли быть какие-либо другие причины? Эдварду не нравилась пресса Хармсворта; а Роберт считал, что она приносит пользу. Роберт был вспыльчив, но довольно расплывчат в суждениях; Эдвард был мечтателен, но несколько дидактичен. Роберту казалось, что бедный Тэд похож на призрак, а Эдварду казалось, что бедный Боб похож на красное заходящее солнце. Их лица и в самом деле были до смешного непохожими, как и глаза и голоса — бледный, худой, удлинённый лик Эдварда с короткой остренькой бородкой — и красное, широкое, полное, обрамленное бакенбардами лицо Роберта! Они расстались на ночь, обменявшись теплым рукопожатием.

Так началось это курьезное содружество; по мере того, как проходили дни, оно свелось к получасу совместного завтрака — причем каждый читал свою газету — и к совместным обедам примерно три раза в неделю. Каждый считал, что его брат странный человек, но оба продолжали быть самого высокого мнения друг о друге. И вместе с тем глубокое родственное чувство говорило им, что они оба попали в беду. Впрочем, об этой беде они никогда не разговаривали, хотя несколько раз Роберт опускал газету и поверх очков, торчащих на его породистом носу, созерцал своего брата, и маленькая морщинка сочувствия пересекала его лоб между кустистыми бровями. Но иногда Роберт ловил на себе взгляд Эдварда, который отрывался от газеты, чтобы увидеть не столько брата, сколько... их совместную семейную тайну; и тогда Роберт поспешно поправлял очки,

проклинал нечеткую газетную печать и тут же извинялся перед Эдвардом за грубость. «Бедный Тэд,— думал он,— ему бы выпить портвейна, как-нибудь развлечься, забыть обо всем. Какая жалость, что он священник!»

В письмах к Тэрзе он оплакивал аскетизм Эдварда. «Он ничего не ест, ничего не пьет и редко когда выкуривает одну несчастную сигарету. Он одинок, как сыч. Тысячу раз приходится жалеть, что он потерял жену. Все же, я надеюсь, что крылья его в один прекрасный день расправятся; но, черт побери, я не уверен, что у него хватит мяса, на котором можно укрепить эти крылья. Пришли-ка ему сливок, а я уж постараюсь, чтобы он их съел». Когда сливки были получены, Боб заставил Эдварда съесть немного за завтраком, но когда подали чай, вдруг убедился, что съел почти все сам. «Мы никогда не говорим о Нолли,— писал он.— Я все собираюсь потолковать с ним начистоту и сказать, что ему надо приободриться; но когда доходит до дела, я не нахожу слов, потому что в конце концов все это и у меня стоит поперек горла. Мы, Пирсоны, уже довольно стары и всегда были людьми порядочными, начиная со святого Варфоломея, когда этот гугенотский парень явился сюда и основал нас. Единственная черная овца, о которой я слышал,— это кузина Лила. Кстати, я на днях ее видел—она заглянула к Тэду. Помнится, я как-то собирался остановиться у нее в Симле, когда она жила там с мужем, молодым Фэйном; я возвращался тогда домой как раз перед нашей женитьбой. Фью! Это была забавная пара; все молодые парни увивались вокруг нее, а молодой Фэйн относился к этому, как истый циник. Даже теперь она не может удержаться, чтобы не заигрывать с Тэдом, а ему это и невдомек; он думает, что она набожное существо, что она окончательно исправилась в этом своем госпитале и тому подобное. Бедный старина Тэд! Он самый мечтательный парень из всех, кого я знавал».

«В конце недели приезжала Гретиана с мужем,— писал Боб в следующем письме.— Я ее люблю не так, как Нолли; слишком она серьезная и прямолинейная, на мой взгляд. Ее муж, видимо, тоже рассудительный парень; но он до черта свободомыслящий. Они с беднягой Тэдом, как кошка с собакой. В субботу к обеду была снова при-

глашена Лила и приходил еще какой-то человек по фамилии Форт. Лила влюблена в него — я видел это уголком глаза, но милейший Тэд, разумеется, ничего не замечает. Доктор и Тэд спорили до полного изнеможения. Доктор сказал одну вещь, которая меня поразила: «Что отличает нас от зверей? Сила воли — больше ничего. В самом деле, что такое эта война, как не карнавал смерти, который должен доказать, что человеческая воля непобедима?» Я записал эти слова, чтобы передать их тебе в письме, когда пойду писать его к себе наверх. Он умный человек. Я верю в бога, как ты знаешь, но должен сказать, что как только дело доходит до спора, бедняга Тэд кажется слабоватым с этими вечными «нам сказано то» или «нам указано это». Никто не упоминал о Нолли. Постараюсь обязательно поговорить о ней с Тэдом; нам надо знать, как действовать, когда все кончится».

Но только в середине марта, после того, как оба брата просидели друг против друга за обеденным столом около двух месяцев, эта тема была, наконец, задета, да и то не Робертом. Однажды Эдвард стоял после обеда у камина в своей обычной позе, поставив ногу на решетку, а рукой опираясь на каминную доску и устремив глаза на огонь. Он сказал:

— Я ни разу не попросил у тебя прощения, Боб.

Роберт, засидевшийся за столом со стаканом портвейна, вздрогнул, обернулся к Эдварду, успевшему уже надеть свое одеяние священника, и ответил:

— Да что ты, старина!

— Мне очень тяжело говорить об этом.

— Разумеется, разумеется! — И снова наступила тишина. Роберт обводил глазами стены, словно ища вдохновения. Но глаза его встречали только написанные маслом портреты покойных Пирсонов и снова возвращались к обеденному столу. Эдвард продолжал, как бы обращаясь к огню:

— Это до сих пор кажется мне невероятным. День и ночь я спрашиваю себя: что повелевает мне долг?

— Ничего! — вырвалось у Роберта. — Оставьте ребенка у Тэрзы; мы будем заботиться о нем. А когда Нолли поправится, пусть возобновит работу в госпитале. Она скоро забудет обо всем!

Увидев, что брат покачал головой, он подумал: «Ну, конечно, сейчас пойдут всякие чертовы осложнения с точки зрения совести».

— Это очень мило с вашей стороны,— повернулся к нему Эдвард,— но было бы ошибкой и трусостью, если бы я это разрешил.

Роберт почувствовал возмущение, которое всегда появляется у отца, когда он видит, как другой отец бесцеремонно распоряжается жизнью своих детей.

— Брось, дорогой Тэд; слово тут за Нолли. Она теперь женщина, помни об этом.

На помрачневшем лице его брата застыла улыбка.

— Женщина? Маленькая Нолли! Боб, право же, я окончательно запутался со своими дочерьми.— Он приложил пальцы к губам и снова отвернулся к огню. Роберт почувствовал, как комок подкатил к его горлу.

— Черт возьми, старина, я с тобой не согласен. А что еще ты мог сделать? Ты слишком много берешь на себя. В конце концов они прекрасные дочери. Я убежден, что Нолли — прелесть. Тут все — в современных взглядах и в войне. Выше голову! Все еще устроится!

Он подошел к брату и положил ему руку на плечо. Эдвард, казалось, окаменел от этого прикосновения.

— Ничто не устраивается само собой,— сказал он,— если не добиваться этого. Ты хорошо знаешь это, Боб.

Стоило посмотреть в эту минуту на Роберта. Он виновато понурился и стал похож на пса, на которого накричал хозяин; густо покраснев, он начал позвякивать монетами в кармане.

— В этом есть доля смысла, конечно,— сказал он резко.— Но все равно, решение за Нолли. Посмотрим, что скажет Тэрза. Во всяком случае, нечего спешить. Я тысячу раз сожалею, что ты священник; хватит у тебя бед и кроме этой.

Эдвард покачал головой.

— Обо мне нечего говорить. Я думаю о своем ребенке, ребенке моей жены. Все дело в гордости, и только. И я не могу подавить эту гордость, не могу победить ее. Прости меня бог, но я возроптал!

Роберт подумал: «Черт возьми, как близко он принимает это к сердцу. Впрочем, и со мной было бы то же

самое. Да, да, если бы так пришлось!» Он вытащил трубку и стал ее набивать, все плотнее уминая табак.

— Я не мирской человек,— услышал он голос брата.— Многое остается вне меня. Просто невыносимо чувствовать, что я вместе с мирянами осуждаю собственную дочь — может быть, мною движут не те причины, что ими, не знаю; надеюсь, что нет. И все-таки я против нее.

Роберт разжег трубку.

— Спокойнее, старина,— сказал он.— Произошло несчастье. Но будь я на твоём месте, я бы вот что подумал: «Да, она совершила дикий, глупый поступок; но, черт возьми, если кто-нибудь скажет против нее хоть одно слово, я сверну ему шею!». Более того, ты и сам почувствуешь то же, когда дойдет до дела.

Он выпустил мощный клуб дыма, которым заволокло лицо брата; кровь оглушительно стучала в его висках, голос Эдварда доносился откуда-то издалека.

— Я не знаю; я пытался это понять. Я молился, чтобы мне было указано, в чем состоит долг мой и ее. Мне кажется, не знать ей покоя, пока она не искупит греха прямым страданием; я чувствую, что суд людской — это ее крест, и она должна нести его. Особенно в эти дни, когда все люди так мужественно идут навстречу страданиям. И вдруг мне становится так тяжело, так горько. Моя маленькая бедная Нолли!

Снова наступила тишина, прерываемая только хрипением трубки Роберта. Наконец он заговорил отрывисто:

— Я не понимаю тебя, Тэд, нет, не понимаю. Мне кажется, что человек должен защищать своих детей как только может. Выскажи ей все, если хочешь, но не давай говорить это другим. Черт побери, общество — это сборище гнусных болтунов. Я называю себя человеком общества, но когда доходит до моих личных дел — извините, тут я подвожу черту. По-моему... по-моему, это бесчеловечно! Что думает об этом Джордж Лэрд? Он ведь парень толковый. Я полагаю, что вы... надеюсь, что вы не...

Он замолчал, потому что на лице Эдварда появилась странная улыбка.

— Нет,— сказал он,— вряд ли я стану спрашивать мнение Джорджа Лэрда.

И Роберт вдруг понял, сколько упрямого одиночества сосредоточено в этой черной фигуре, в этих пальцах, играющих золотым крестиком. «Эх!—подумал он.—Старый Тэд похож на одного из тех восточных типов, которые удаляются отшельниками в пустыню. Он в плену у каких-то призраков, ему видится то, чего и на свете нет. Он живет вне времени и пространства, просто никак не поймешь его. Я бы не удивился, если бы узнал, что он слышит голоса, подобно этим... как их там звали? Эх! Какая жалость!.. Тэд совершенно непостижим. Он очень мягок и прочее — он джентльмен, разумеется; это и служит ему маской. А внутренне — что он такое? Самый настоящий аскет, факир!»

Чувство растерянности от того, что он имеет дело с чем-то необъяснимым, все больше охватывало Боба Пирсона. Он вернулся к столу и снова взялся за стакан с портвейном.

— По-моему,— сказал он довольно резко,— цыплят по осени считают.

Он тут же раскаялся в своей резкости и осушил стакан. Почувствовав вкус вина, он подумал: «Бедный старина Тэд! Он даже не пьет — вообще никаких удовольствий в жизни, насколько я вижу. Только и знает, что выполняет свой долг, а сам не очень ясно понимает, в чем он состоит. Но таких, как он, к счастью, немного. И все-таки я люблю его — трогательный он парень!»

А «трогательный парень» все стоял и не отрываясь глядел на огонь.

В тот самый час, когда шел разговор между братьями,— ибо мысли и чувства таинственным образом передаются через пространство по невидимым проводам,— Ноэл родила, немного раньше срока, сына Сирила Морленда.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

На берегу реки Уай, среди цветущих слив, Ноэль сидела возле своего ребенка, спящего в гамаке, и читала письмо.

«Моя любимая Нолли,

Теперь, когда ты снова восстановила силы, я чувствую, как необходимо мне изложить перед тобой свои мысли по поводу того, что повелевает тебе долг в этот критический момент твоей жизни. Тетя и дядя сделали мне самое сердечное и великодушное предложение — усыновить твоего маленького мальчика. Я знал, что эта мысль была у них уже давно, и сам размышлял об этом день и ночь, целыми неделями. В общежитейском смысле это было бы самое лучшее, я не сомневаюсь. Но это вопрос духовный: будущее наших душ зависит от того, как мы сами относимся к последствиям нашего поведения. И как бы горестны, может быть, даже страшны, ни были эти последствия, я чувствую, что ты сможешь обрести подлинный покой, если встретишь их с мужественным смирением. Я хотел бы, чтобы ты подумала и еще раз подумала, пока не примешь решение, которое удовлетворило бы твою совесть. Если ты решишь — а я надеюсь, что так и будет — вернуться ко мне со своим мальчиком, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была счастлива, и мы вместе пойдем навстречу будущему. Если ты поступишь так, как желают по своей доброте твои тетя и дядя, то боюсь, это кончится тем, что ты потеряешь внутреннюю силу и счастье, которыми бог

наделяет только тех, кто выполняет свой долг и пытается мужественно исправить свои ошибки. Я верю в тебя, мое дорогое дитя.

Твой любящий отец
Эдвард Пирсон».

Она еще раз прочла письмо и посмотрела на ребенка. Папа, должно быть, думает, что она согласится расстаться с этим прелестным созданием! Солнечный свет проникал сквозь ветви цветущей сливы и прихотливым узором падал на лежавший в гамаке маленький сверток, щекотал нос и ротик младенца, и тот забавно чихнул. Ноэль рассмеялась и прикоснулась губами к лицу малютки. «Отказаться от тебя! — подумала она. — Ну, нет! Я тоже хочу быть счастливой, и никто мне не сможет помешать».

В ответ на письмо она просто сообщила, что возвращается домой. И через неделю отправилась в Лондон, к неудовольствию тетки и дяди Боба. Она взяла с собой старую няню. Ноэль не приходилось думать о своем положении, пока она не вернулась домой — Тэрза обо всем заботилась и от всего оберегала племянницу.

Грэтiana перевелась в лондонский госпиталь и жила теперь дома. К приезду сестры она наняла новую прислугу; и хотя Ноэль радовалась, что нет старых слуг, — ей все же было не очень приятно замечать тупое любопытство со стороны новых. Утром, перед отъездом из Кестрела, тетка пришла к ней в комнату, когда она одевалась. Тэрза взяла ее левую руку и надела на третий палец тоненькое золотое кольцо.

— Пожалуйста, уважь меня, Нолли; теперь ты уезжаешь, и это будет для дураков, которые ничего не знают о тебе.

Ноэль позволила ей надеть кольцо, но подумала: «Как это все глупо!»

И вот теперь, когда новая горничная наливала ей горячую воду, Ноэль вдруг заметила, что девушка, вытаращив голубые глаза, то и дело поглядывает на ее руку. Оказывается, этот маленький золотой обруч обладает чудодейственной силой! Ей вдруг стало отвратительно все это. Жизнь показалась переполненной условностями и притворством. Значит, теперь все ста-

нут поглядывать на это колечко, а она будет трусливо избегать этих взглядов! Когда горничная ушла, она сняла кольцо и положила его на умывальник, в полосу солнечного света. Только этот маленький кусочек желтого металла, только это сверкающее кольцо защищает ее от вражды и презрения! Губы ее задрожали, она схватила кольцо и подбежала к открытому окну, намереваясь выбросить его. Но не выбросила — она уже отчасти извела жестокость жизни и теперь чувствовала себя растерянной и подавленной. Постучали в дверь, и она вернулась к умывальнику. В комнату вошла Гретиана.

— Я видела его,— сказала она тихо.— Он похож на тебя, Ноэли; вот разве только нос не твой.

— Да у него и носа-то почти нет. А правда у него умные глаза? По-моему они удивительные.— Она показала сестре кольцо.— Что мне делать с ним, Гретиана?

Гретиана покраснела.

— Носи его. Думаю, что посторонним незачем знать. Мне кажется, ты должна его надеть ради отца. Ведь у него приход.

Ноэль надела кольцо на палец.

— А ты носила бы?

— Не знаю. Думаю, что да.

Ноэль внезапно рассмеялась.

— Скоро я стану циничной, я уже предчувствую это. Как выглядит папа?

— Очень похудел. Мистер Лодер опять приехал ненадолго и выполняет какую-то долю обязанностей по церкви.

— Отец, наверно, страдает из-за меня?

— Он очень доволен, что ты вернулась. Он так нежно заботится о тебе, как только умеет.

— Да,— пробормотала Ноэль,— вот это-то и страшно! Я рада, что его не было дома, когда я приехала. Он рассказал... об этом кому-нибудь?

Гретиана покачала головой.

— Не думаю, чтобы кто-либо знал; разве что капитан Форт. Он приходил однажды вечером, и как-то...

Ноэль покраснела.

— Лила! — сказала она загадочно.— Ты видела ее?

— Я заходила к ней на прошлой неделе с отцом. Он считает, что она славная женщина.

— Знаешь, ее настоящее имя Далила. Она нравится всем мужчинам. А капитан Форт — ее любовник.

Грэтiana ахнула. Иногда Ноэль говорила такие вещи, что она чувствовала себя ее младшей сестрой.

— Да, да, так и есть, — продолжала Ноэль жестко. — У нее нет друзей среди мужчин; женщины ее сорта никогда их не имеют, только любовников. А откуда ты знаешь, что ему все известно обо мне?

— Когда он спрашивал о тебе, у него был такой вид...

— Да, я заметила, у него всегда такой вид, когда ему жалко кого-нибудь. Но мне все равно. А monsieur Лавенди заходил?

— Да, он выглядит очень несчастным.

— Его жена — наркоманка.

— О, Нолли, откуда ты знаешь?!

— Я видела ее однажды. Я уверена в этом; почувствовала по запаху. И потом у нее блуждающий взгляд, остекленевшие зрачки. Теперь пусть он пишет мой портрет, если захочет. Раньше я ему не позволяла. А он-то знает?

— Конечно, нет!

— Он понимает, что со мной что-то случилось. У него второе зрение, так мне кажется. Но пусть лучше знает он, чем кто-либо другой. А портрет отца хорош?

— Великолепен. Но он как-то оскорбляет.

— Пойдем вниз, я хочу посмотреть.

Портрет висел в гостиной; он был написан в весьма современной манере и казался особенно странным в старомодной комнате. Черная фигура, длинные бледные пальцы на белых клавишах рояля были пугающе живы. Голова, написанная в три четверти, была чуть приподнята, как бы в порыве вдохновения, а глаза, мечтательные и невидящие, устремлены на портрет девушки, выделявшийся на фоне стены.

Некоторое время они молча смотрели на картину.

— У этой девушки такое лицо... — сказала Грэтiana.

— Не в том суть, — возразила Ноэль. — Главное — это его взгляд.

— Но почему он выбрал такую ужасную, вульгарную девушку? А она ведь страшно живая, правда? Словно вот-вот крикнет: «Веселей, старина!»

— Да, именно так... просто потрясающе. Бедный папа!

— Это пасквиль,— упрямо сказала Грэтиана.

— Нет. Меня оскорбляет другое: он не весь, не весь на этом портрете!.. Скоро он придет?

Грэтиана крепко сжала ей руку.

— Как ты думаешь, остаться мне к обеду или нет? Я ведь легко могу исчезнуть.

Ноэль покачала головой.

— Какой смысл уклоняться? Он хотел, чтобы я приехала, и вот я здесь. Ах, зачем ему это понадобилось? Он будет ужасно все переживать!

Грэтиана вздохнула.

— Я пыталась уговорить его, но он все время твердит: «Я так много думал, что больше думать уже не в силах. Я чувствую, что действовать открыто — самое лучшее. Если проявить мужество и покорность, тогда будет и милосердие и всепрощение».

— Ничего этого не будет,— сказала Ноэль.— Папа святой, он не понимает.

— Да, он святой. Но ведь человек должен думать сам за себя — просто должен думать. Я не могу верить так, как верует он, не могу больше. А ты, Ноэли?

— Не знаю. Когда я проходила через все это, я молилась; но не могу сказать, верила ли я по-настоящему. И для меня не так уж важно, надо верить или нет.

— А для меня это очень важно,— сказала Грэтиана.— Я хочу знать правду.

— Да ведь я не знаю, чего хочу,— медленно сказала Ноэль.— Но иногда мне хочется одного — жить. Ужасно хочется.

И обе сестры замолчали, удивленно глядя друг на друга.

В этот вечер Ноэль вздумалось надеть ярко-синее платье, а на шею — усыпанный старинными камнями бретонский крест, принадлежавший ее матери. Кончив одеваться, она пошла в детскую и остановилась у колыбели ребенка. Нянька поднялась и сказала:

— Он крепко спит, наш ягненочек. Я пойду вниз, возьму чашку чая и к гонгу вернусь обратно, мэм.



«ПУТЬ СВЯТОГО»



«ПУТЬ СВЯТОГО»

Как и все люди, которым не положено иметь своего мнения, а положено только следовать тому, что им внушают другие, она уверила себя, что Ноэль и в самом деле вдова военного. Впрочем, она прекрасно знала правду, потому что наблюдала этот мгновенно возникший маленький роман в Кестреле; но по своему добросердечию и после туманных размышлений она легко вообразила себе свадебную церемонию, которая могла состояться, и страстно желала, чтобы и другие люди это вообразили. На ее взгляд, так было бы куда правильнее и естественнее, и к тому же «ее» ребенок получил бы законное право на существование. Спускаясь за чаем, она думала: «Прямо картинка они оба, вот что! Благослови, господь, его маленькое сердечко! А его красивая маленькая мать — тоже еще ребенок, вот и все, что тут можно сказать».

Поглощенная созерцанием спящего младенца, Ноэль постояла еще несколько минут в детской, куда уже заглядывали сумерки; подняв глаза, она вдруг увидела в зеркале отражение темной фигуры отца, стоящего в дверях. Она слышала его тяжелое дыхание, словно подняться по лестнице оказалось ему не под силу; подойдя к кровати, она положила на изголовье руку и повернулась к отцу. Он вошел и стал рядом с ней, молча глядя на ребенка. Она увидела, как отец осенил его крестным знаменем и начал шептать молитву. Любовь к отцу и возмущение этим непрошеным заступничеством за ее ребенка так яростно боролись в сердце Ноэль, что она чуть не задохнулась и рада была, что в сумерках отец не видит выражения ее лица. Он взял ее руку и приложил к губам, все еще не произнося ни слова; а она, если бы даже шла речь о спасении ее жизни, все равно не могла бы заговорить. Потом он так же молча поцеловал ее в лоб; и вдруг Ноэль охватило страстное желание показать ему, как любит она ребенка и как гордится им. Она протянула палец и коснулась им ручки младенца. Малюсенькие кулачки вдруг разжались и, словно какая-то крохотная морская анемона, цепко охватили ее палец. Она услышала глубокий вздох отца и увидела, как он, быстро повернувшись, молча вышел из комнаты. А она стояла, едва дыша, не отнимая у ребенка пальца, который тот сжимал.

Эдвард Пирсон испугался охватившего его чувства и, выйдя из утопающей в сумерках детской, тихо проскользнул в свою комнату и опустился на колени возле кровати, еще весь во власти того видения, которое только что предстало перед ним. Фигура юной мадонны в синем одеянии, нимб ее светлых волос; спящее дитя в мягкой полутьме; тишина, обожание, которыми, казалось, была наполнена белая комната! К нему пришло и другое видение из прошлого: его дитя — Ноэль — спит на руках матери, а он стоит рядом, потрясенный, возносящий хвалу богу. Все прошло, стало потусторонним — все торжественно-прекрасное, что составляет красоту жизни, прошло и уступило место мучительной действительности. Ах! Жить только внутренним созерцанием и только восхищением божественной красотой, какое он только что испытал!

Пока он стоял на коленях в своей узкой, похожей на монашескую келью комнате, будильник отстукивал минуты и вечерние сумерки сменялись темнотой. Но он все еще не поднимался с колен, как бы страшась вернуться к мирской повседневности, встретиться с ней лицом к лицу, услышать мирские толки, соприкоснуться со всем грубым, вульгарным, непристойным. Как защитить от этого свое дитя? Как охранить от всего этого ее жизнь, ее душу, которая вот-вот должна погрузиться в холодные, жестокие житейские волны?.. Но вот прозвучал гонг, и он спустился вниз.

Эта семейная встреча, которой страшились все, была облегчена, как это часто случается в тяжелые минуты жизни, неожиданным появлением бельгийского художника. Получив приглашение заходить запросто, он воспользовался этим и часто бывал у них; но сегодня он был молчалив, его безбородое, худое лицо, на котором, казалось, остались только лоб и глаза, было таким скорбным, что все трое почувствовали себя свидетелями горя, быть может, более глубокого, чем их семейная беда. Во время обеда Лавенди молча смотрел на Ноэль. Он только сказал:

— Теперь, я надеюсь, вы позволите мне написать вас?

Она кивнула в знак согласия, и его лицо просветлело. Но и с приходом художника разговор не вязался: стоило ему и Пирсону углубиться в какой-нибудь спор, хотя бы даже об искусстве, как сразу начинало сказываться различие их взглядов. Пирсон никогда не мог преодолеть то смутное, необъяснимое раздражение, какое вызывал в нем этот человек, с несомненно высокими духовными запросами, которых он, однако, не мог понять. После обеда он извинился и ушел к себе. Вероятно, *mon-sieur* Лавенди будет приятнее общество его дочерей! Но Гретиана тоже поднялась наверх. Она вспомнила слова Ноэль: «Уж лучше ему рассказать, чем другим». Для Ноэли это был еще один случай сломать лед.

— Мы так давно не встречались, *mademoiselle*, — сказал художник, когда они остались вдвоем.

Ноэль сидела перед погасшим камином, протягивая к нему руки, словно там горел огонь.

— Я уезжала. Ну как, будете вы писать мой портрет?

— Хотелось бы, чтобы вы были в этом платье, *mademoiselle*, — вот так, как вы сейчас сидите и греетесь у огня жизни.

— Но тут нет огня.

— Да, огни быстро гаснут, *mademoiselle*. Не хотите ли зайти к нам и повидаться с моей женой? Она больна.

— Сейчас? — удивленно спросила Ноэль.

— Да, сейчас. Она серьезно больна. У меня никого здесь нет. Я пришел просить об этом вашу сестру; но вы приехали, и это даже лучше. Вы ей нравитесь.

Ноэль встала.

— Подождите одну минуту, — сказала она и поднялась наверх. Ребенок спал, рядом клевала носом старая нянька. Надев шубу и шапочку из серого кроличьего меха, она сбегала вниз в прихожую, где ждал ее художник; они вышли вместе.

— Не знаю, виноват ли я, — сказал Лавенди, — но моя жена перестала быть мне настоящей женой с того времени, когда узнала, что у меня есть любовница и что я ей не настоящий муж.

Ноэль в изумлении уставилась на его лицо, освещенное непонятной улыбкой.

— Да, — продолжал он, — отсюда вся ее трагедия! Но

она ведь знала все, прежде чем я женился на ней. Я ничего не скрывал. *Bon Dieu!*¹ Она должна была знать. Почему женщины не могут принимать вещи такими, какие они есть? Моя любовница, *mademoiselle*,— это не существо из плоти и крови. Это мое искусство. Оно всегда было для меня главным в жизни. А жена никогда не мирилась с этим и не может примириться и сейчас. Я очень жалею ее. Но что поделаешь? Глупо было жениться на ней. Милая *mademoiselle*! Любое горе — ничто по сравнению с этим; оно дает себя знать днем и ночью, за обедом и за ужином, год за годом — горе двух людей, которым не надо было вступать в брак, потому что один из них любит слишком сильно и требует всего, а другой совсем не любит — нет, совсем теперь не любит и может дать очень мало... Любовь давно умерла.

— А разве вы не можете расстаться? — удивленно спросила Ноэль.

— Трудно расстаться с человеком, который до безумия любит тебя — не меньше, чем свои наркотики — да, она сейчас наркоманка. Невозможно оставить такого человека, если в душе есть хоть какая-то доля сострадания к нему. Да и что бы она делала? Мы перебиваемся с хлеба на воду в чужой стране, у нее нет здесь друзей, никого. Как же я могу оставить ее сейчас, когда идет война? Это все равно, как если бы два человека расстались друг с другом на необитаемом острове. Она убивает себя наркотиками, и я не могу спасти ее.

— Бедная *madame*! — пробормотала Ноэль. — Бедный *monsieur*!

Художник провел рукой по глазам.

— Я не могу переломить себя, — сказал он приглушенным голосом. — И точно так же не может и она. Так мы и живем. Но когда-нибудь эта жизнь прекратится, для меня или для нее. В конце концов ей хуже, чем мне. Войдите, *mademoiselle*. Не говорите ей, что я собираюсь написать вас; вы ей потому и нравитесь, что отказались мне позировать.

Ноэль поднималась по лестнице с каким-то страхом; она уже была здесь однажды и помнила этот тошнотворный запах наркотиков. На четвертом этаже они вошли

¹ Боже правый! (франц.)

в маленькую гостиную, стены ее были увешаны картинами и рисунками, а в одном углу высилась пирамида полотен. Мебели было мало — только старый красный диван, на котором сейчас сидел плотный человек в форме бельгийского солдата. Он сидел, поставив локти на колени и подперев кулаками щеки, поросшие щетиной. Рядом с ним на диване, баюкая куклу, устроилась маленькая девочка; она подняла голову и уставилась на Ноэль. У нее было странно привлекательное, бледное личико с острым подбородком и большими глазами—она теперь не отрывала их от этой неожиданно появившейся волшебницы, укутанной в серый кроличий мех.

— А, Барра! Ты здесь! — воскликнул художник. — Mademoiselle, это monsieur Барра, мой друг по фронту. А это дочурка нашей хозяйки. Тоже маленькая беженка. Правда, Чика?

Девочка неожиданно ответила ему сияющей улыбкой и тут же с прежней серьезностью принялась изучать гостью. Солдат, тяжело поднявшись с дивана, протянул Ноэль пухлую руку и печально, как бы с натугой, усмехнулся.

— Садитесь, mademoiselle, — сказал Лавенди, пододвигая Ноэль стул. — Сейчас я приведу жену. — И он вышел через боковую дверь.

Ноэль села, солдат принял прежнюю позу, а девочка снова принялась нянчить куклу, но ее большие глаза все еще были прикованы к гостье. Смущенная непривычной обстановкой, Ноэль не пыталась завязать разговор. Но тут вошли художник и его жена. Это была худая женщина в красном халате, со впалыми щеками, выступающими скулами и голодными глазами. Ее темные волосы были не убраны, она все время беспокойно теребила отворот халата. Женщина протянула руку Ноэль; ее выпуклые глаза впились в лицо гостьи, но она тут же отвела их, и веки ее затрепетали.

— Здравствуйте, — сказала она по-английски. — Значит, Пьер опять привел вас ко мне. Я очень хорошо вас помню. Вы не хотите, чтобы он вас писал. Ah, que c'est drôle! ¹ Вы такая красивая, даже слишком. Heïn, monsieur Барра ², ведь верно — mademoiselle красива?

¹ Ах, как это смешно! (франц.)

² Что, мосье Барра (франц.).

Солдат снова невесело усмехнулся и продолжал разглядывать пол.

— Генриетта, — сказал Лавенди, — сядь рядом с Чикой, зачем ты стоишь? Садитесь; *mademoiselle*, прошу вас.

— Я очень сожалею, что вы нездоровы, — сказала Ноэль и снова опустилась на стул.

Художник стоял, прислонившись к стене, а жена смотрела на его высокую худую фигуру глазами, в которых были гнев и какое-то лукавство.

— Мой муж великий художник, не правда ли? — сказала она, обращаясь к Ноэль. — Вы даже не можете себе представить, что способен сделать этот человек. И как он пишет — весь день! И всю ночь это не выходит у него из головы. Значит, вы не позволите ему писать себя?

— *Voyons, Henriette*, — нетерпеливо сказал художник. — *Causez d'autre chose*¹.

Его жена нервно затеребила складку на красном халате и посмотрела на него так, как смотрит на хозяина собака, которую только что оттрепали за уши.

— Я здесь как пленница, *mademoiselle*. Я никогда не выхожу из дома. Так и живу день за днем — мой муж ведь все время пишет. Да и как я могу ходить одна под этим вашим серым небом, окруженная всей этой ненавистью, которую война запечатлела на каждом лице? Я предпочитаю сидеть в своей комнате. Мой муж уходит рисовать, его интересуется каждое лицо, которое он видит, но только не то, что он видит каждый день. Да, я пленница. *Monsieur Барра* первый гость у нас за долгое время.

Солдат поднял голову.

— *Prisonnière, madame?*² А что сказали бы вы, если бы побывали там? — Он снова тяжело усмехнулся. — Мы пленники, вот кто! Что бы вы сказали, если бы побывали в другом плену — в окопах, где кругом рвутся снаряды, день и ночь ни минуты отдыха! Бум! Бум! Бум! О, эти окопы! Нет, там не так свободно, как вы думаете.

— Всякий из нас в каком-то плену, — сказал с горечью Лавенди. — Даже *mademoiselle*, и маленькая Чи-

¹ Послушай, Генриетта, поговори о другом (франц.).

² Пленница, сударыня? (франц.)

ка, и даже ее кукла. У всякого своя тюрьма, Барра. Monsieur Барра — тоже художник, mademoiselle.

— Moi?¹ — сказал Барра, подымая тяжелую волосатую руку. — Я рисую грязь, осветительные ракеты, остовы лошадей... Я рисую ямы, воронки и воронки, проволоку, проволоку и проволоку, и воду — бесконечную мутную отвратительную воду. Я рисую осколки и обнаженные людские души, и мертвые людские тела, и кошмары, кошмары — целые дни и целые ночи я рисую их мысленно, в голове! — Он вдруг замолчал и снова устоялся на ковер, подперев щетинистые щеки кулаками. — У них души белы как снег, у les camarades², — добавил он вдруг очень громко. — Миллионы бельгийцев, англичан, французов, даже немцев — у всех белые души. Я рисую эти души!

Ноэль бросило в дрожь, и она умоляюще посмотрела на Лавенди.

— Барра — большой художник, — сказал он так, словно солдата здесь и не было, — но он был на фронте, и это подействовало ему на голову. То, что он говорит, — правда. Там нет ненависти. Ненависть — здесь, и все мы в плену у нее, mademoiselle; остерегайтесь ненавистников — это яд!

Его жена протянула руку и коснулась плеча девочки.

— А почему бы нам не ненавидеть? — спросила она. — Кто убил отца Чики? Кто разнес ее дом в куски? Кто выгнал ее в эту страшную Англию? Pardon, mademoiselle³, но она действительно страшна. Ah, les Boches!⁴ Если бы моя ненависть могла их уничтожить, их не осталось бы ни одного. Даже муж не сходил так с ума по своей живописи, когда мы жили дома. А здесь... — Она снова метнула взгляд на мужа, потом испуганно отвела глаза. Ноэль видела, что губы художника дрогнули. Больная женщина затрепетала.

— Это мания, твоя живопись! — Она посмотрела на Ноэль с улыбкой. — Не хотите ли чаю, mademoiselle? Monsieur Барра, чашку чая?

¹ Я? (франц.)

² Товарищей (франц.)

³ Извините, барышня (франц.)

⁴ Ах, эти немцы! (франц.)

Солдат сказал хрипло:

— Нет, *madame*; в траншеях у нас достаточно чая. Это нас утешает. Но когда мы выбираемся из траншей — давайте нам вина! *Le bon vin, le bon petit vin!*¹

— Принеси нам вина, Пьер.

Ноэль видела по лицу художника, что вина нет, и скорее всего, нет и денег, чтобы купить его; но он быстро вышел. Она поднялась и сказала:

— Мне пора уходить, *madame*.

Мадам Лавенди подалась вперед и обняла ее за талию.

— Погодите немного, *mademoiselle*. Мы выпьем вина, а потом Пьер вас проводит. Вам ведь нельзя идти одной — вы такая красивая. Правда, она красивая, *mon-sieur Барра*?

— Что бы вы сказали, — заговорил солдат, подняв голову, — что бы вы сказали о бутылках вина, которые взрываются в воздухе? Взрываются красным и белым, весь день, всю ночь? Огромные стальные бутылки величиной с Чикку; и осколки этих бутылок сносят людям головы? Бзум! Трах-тарарах! — и нет дома, и человек разлетелся на мелкие кусочки; и эти кусочки, такие мелкие, такие крохотные, взлетают в воздух и рассеиваются по земле. Там большие души, *madame*! Но я открою вам тайну, — он снова с натугой усмехнулся. — Там все немножко спятили! Самую малость, чуть-чуть, но спятили. Как часы, знаете ли, у которых лопнула пружина, и вы можете заводить их без конца. Вот это и есть открытие, которое принесла война, *mademoiselle*, — сказал он, впервые обращаясь к Ноэль. — Нельзя быть человеком большой души, пока малость не спятишь. — Он вдруг опустил свои маленькие серые свиные глазки и принял прежнюю позу.

— Вот это безумие я когда-нибудь и нарисую! — объявил он, обращаясь к ковру. — Нарисую, как оно прокрадывается в каждый крохотный уголок души каждого из этих миллионов людей; это безумие ползет отовсюду и отовсюду проглядывает, такое неожиданное, такое маленькое — когда вам кажется, что его давно уложили спать; а оно снова тут, именно тогда, когда вы

¹ Хорошего вина, хорошего доброго вина! (франц.)

меньше всего о нем думаете. Бегаёт взад и вперед какмыш с горящими глазами. Миллионы людей с белыми душами — все чуточку сумасшедшие. Великая тема, мне кажется, — веско добавил он.

Ноэль невольно приложила руку к сердцу, оно учащенно билось. Она чувствовала себя совсем больной.

— Долго ли вы пробыли на фронте, monsieur?

— Два года, mademoiselle. Пора возвращаться домой, писать картины, не правда ли? Но искусство... — Он пожал могучими плечами и содрогнулся всем своим медвежьим телом. — Все немного спятили, — пробормотал он еще раз. — Я расскажу вам одну историю. Однажды зимой, после двухнедельного отпуска, я вернулся в траншеи ночью, и мне понадобилось немного земли, чтобы засыпать яму в том месте, где я спал. После того, как человек поспит в кровати, ему везде неудобно. Так вот я стал снимать лопатой землю с бруствера окопа и нашел там довольно забавную вещь. Я чиркнул зажигалку и увидел: это была голова боша, совершенно замерзшая, землистая и мертвая, бело-зеленая при свете зажигалки.

— О, не может быть!

— Увы, да, mademoiselle; это правда, как то, что я сижу здесь. Это весьма полезно — мертвый бош в бруствере. Когда-то он был такой же человек, как я сам. Но когда наступило утро, я не мог на него смотреть; мы его вырыли и похоронили, а яму забросали всяким мусором. До этого я стоял ночью на посту, и его лицо было совсем близко от меня, — вот так! — Он протянул пухлую руку. — Мы разговаривали о наших семьях; у него была душа, у этого человека. Il me disait des choses¹ о том, как он страдал; и я тоже рассказывал ему о своих страданиях... Господи боже, мы все узнали! Мы больше никогда не узнаем ничего сверх того, что узнали там, потому что мы сошли с ума — самую малость. Все мы чуточку сумасшедшие. Когда вы встречаете нас на улицах, mademoiselle, помните об этом. — И он снова опустил голову и подпер щеки кулаками.

В комнате воцарилась тишина — какая-то странная, всепоглощающая. Маленькая девочка баюкала куклу, солдат смотрел в пол, у жены художника судорожно

¹ Он мне рассказывал (франц.).

подергивался рот, а Ноэль думала только о том, как бы уйти отсюда: «Разве я не могу встать и сбежать по лестнице?» Но она продолжала сидеть, загипнотизированная этой тишиной, пока не появился Лавенди с бутылкой и четырьмя стаканами.

— Выпьем за наше здоровье и пожелаем себе счастья, *mademoiselle*, — сказал он.

Ноэль подняла стакан, который он ей подал.

— Я всем вам желаю счастья.

— И вам, *mademoiselle*, — пробормотали мужчины.

Она отпила немного и встала с места.

— А теперь, *mademoiselle*, — сказал Лавенди, — если вам надо идти, я провожу вас до дому.

Ноэль протянула руку мадам Лавенди; рука была холодная и не ответила на ее пожатие; как и в прошлый раз, у женщины были остекленевшие глаза. Солдат поставил пустой стакан на пол и разглядывал его, забыв о Ноэль. Она поспешно направилась к двери; последнее, что она увидела, была девочка, баюкавшая куклу.

На улице художник сразу же торопливо заговорил по-французски:

— Мне не следовало приглашать вас, *mademoiselle*, я не знал, что наш друг Барра у нас в гостях. Кроме того, моя жена не умеет принимать леди; *vous voyez, qu'il y a de la manie dans cette pauvre tête*¹. Не надо было вас звать; но я так несчастен.

— О! — прошептала Ноэль. — Я понимаю.

— На родине у нее были свои интересы, а в этом огромном городе она только тем и занята, что настраивает себя против меня. Ах, эта война! Мне кажется, что все мы как будто в желудке огромного удава. Мы лежим там и нас переваривают. Даже в окопах чувствуешь себя лучше в каком-то отношении; там люди выше ненависти: они достигли высоты, до которой нам далеко. Просто удивительно, как они все еще стоят за то, чтобы война продолжалась до полной победы над бошами; это забавно, и это очень значительно. Говорил вам Барра, что, когда они вернутся домой — все эти вояки, они возьмут власть в свои руки и устроят

¹ Вы понимаете, что в ее бедной голове не все в порядке (франц.).

по-другому будущее мира? Только этого не будет. Они растворятся в жизни, их разъединят, распылят, и в конце концов ими будут править те, кто и не видел войны. Язык и перо будут управлять ими.

— О! — воскликнула Ноэль. — Но ведь они тогда будут самыми храбрыми и самыми сильными!

Художник улыбнулся.

— В войну люди становятся проще, — сказал он, — элементарнее; а мирная жизнь не проста, не элементарна, она тонка, полна сложных перемен, и человек должен к ней приспособливаться; хитрец, ловкач, умеющий приспособиться, — вот кто всегда будет править в мирное время. Вера этих храбрых солдат в то, что будущее за ними, конечно, очень трогательна.

— Он сказал странную вещь, — пробормотала Ноэль. — Он сказал, что все они немного сумасшедшие.

— Барра — человек гениальный, но странный; вы бы видели его ранние картины. Сумасшедшие — это не совсем то слово, но что-то действительно сломалось в них и что-то действительно как бы тарахтит; они потеряли ощущение соразмерности вещей, их все время толкают в одном направлении. Я говорю вам, *mademoiselle*, эта война — гигантский дом принудительных работ; каждое живое растение заставляют расти слишком быстро, каждое качество, каждую страсть — ненависть и любовь, нетерпимость и похоть, скупость, храбрость и энергию, да, конечно, и самопожертвование — все ускоряют, и это ускорение выходит за пределы человеческих сил, за пределы естественного течения соков, ускоряют до того, что вырастает роскошный дикий плод, а потом — трах! Presto! ¹ Наступает перемена, и эти растения вянут, гниют и издают зловоние. Те, кто видит жизнь в формах искусства, — единственные, кто понимает это; а нас так мало. Утеряны естественные очертания вещей, кровавый туман стоит перед глазами каждого. Люди боятся быть справедливыми. Посмотрите, как мы ненавидим не только наших врагов, но и любого, кто отличается чем-нибудь от нас! Посмотрите на эти улицы, — видите, как стремятся куда-то мужчины и женщины, как Венера царит в этом доме принудительных работ. Так разве не естествен-

¹ Быстро! (итал.)

но, что молодежь жаждет наслаждения, любви, брака перед тем, как пойти на смерть?

Ноэль устала на него. «Верно,— подумала она,— ведь и я... тоже».

— Да,— сказала она,— я знаю, это правда, потому что и сама тоже поторопилась. Мне хочется, чтобы вы это знали. Мы не могли пожениться: у нас не было времени. А его убили. Но сын его жив. Вот почему я и уезжала отсюда надолго. Я хочу, чтобы это знали все.— Она говорила очень спокойно, но щеки ее горели.

Художник как-то странно вскинул руки, словно в них ударил электрический ток, но потом сдержанно сказал:

— Я глубоко уважаю вас, *mademoiselle*, и весьма вам сочувствую. А как отнесся к этому ваш отец?

— Для него это ужасный удар.

— Ах, *mademoiselle*,— мягко сказал художник,— я в этом не уверен. Возможно, ваш отец не так уж страдает. Может быть, ваша беда не так уж и огорчает его. Он живет в каком-то особом мире. В этом, я думаю, и заключается его подлинная трагедия: он живет, но не так, чтобы по-настоящему чувствовать жизнь. Вы знаете, что говорил Анатоль Франс об одной старой женщине: «*Elle vivait, mais si peu*»¹. Разве это не подходит к церкви нашего времени: «*Elle vivait, mais si peu*»? Мистер Пирсон такой, каким вы видите красивый темный шпиль в ночном небе. но не видите, как и чем этот шпиль связан с землей. Он не знает и никогда не захочет знать Жизнь.

Ноэль смотрела на него во все глаза.

— А что вы понимаете под Жизнью, *monsieur*? Я много читаю о Жизни, и люди говорят, что они знают Жизнь, а что она такое? Где она? Я никогда не видела ничего, что можно назвать Жизнью.

Художник усмехнулся.

— «Знают Жизнь»! — сказал он.— О, «знать жизнь» это совсем не то; наслаждаться жизнью — вот о чем идет речь! Мой собственный опыт учит меня: когда люди говорят, что «знают жизнь», они ей не рады. Понимаете, вот так бывает с человеком, у которого большая жажда,— он пьет и пьет и все равно не может утолить жажду. Есть места, где люди могут «узнать жизнь», как

¹ «Она жила, но так мало» (франц.).

они это называют; но пользоваться радостями жизни могут в таких местах лишь болтуны, вроде меня, когда они собираются побеседовать за чашкой кофе. Возможно, в вашем возрасте это бывает иначе.

Ноэль сжала руки, и глаза ее, казалось, сияли в ночном мраке.

— Я хочу музыки, хочу танцев и света, красивых вещей и красивых лиц! Но ничего этого у меня никогда не было.

— Но этого нет в Лондоне да и в любом другом городе — нет вообще такого места, которое давало бы вам все это. Фокстроты и регтаймы, румяна и пудра, яркие огни, развязные полупьяные юноши, женщины с накрашенными губами — этого вдоволь. Но подлинного ритма, красоты и очарования нет нигде! Когда я был моложе, в Брюсселе, я повидал эту так называемую «жизнь»; все прекрасное, что только есть, было испорчено. От всего пахло тленом. Вы, конечно, можете улыбаться. Но я знаю, о чем говорю, *mademoiselle*. Счастье никогда не приходит, когда его ищут. Красота — в природе и в подлинном искусстве, а не в этом фальшивом глупом притворстве... Но вот мы дошли с вами до того дома, где собираемся мы, бельгийцы; может быть, вы хотите убедиться в том, что я сказал вам правду?

— О, да!

— *Très bien!*¹ Тогда войдем?

Они прошли через вращающуюся дверь с маленькими стеклянными секторами, и она вытолкнула их в ярко освещенный коридор. Пройдя его, художник взглянул на Ноэль и как будто заколебался. Потом повернул назад от зала, в который хотел было войти, и подошел к другому, справа. Зал был небольшой, всюду позолота и бархат, мраморные столики, за которыми сидели пары: молодые люди в хаки и пожилые мужчины в штатском с молодыми женщинами. Ноэль разглядывала этих женщин, одну за другой, пока они с художником пробирались к свободному столику. Она заметила, что некоторые были красивы, а некоторые только старались казаться красивыми; все были густо напудрены, с подведенными глазами и накрашенными губами; ей даже почудилось, что ее

¹ Отлично! (франц.)

собственное лицо какое-то голое. Наверху, на галерее играл маленький оркестр; звучала мелодия незатейливой песенки; гул разговоров и взрывы смеха просто оглушали.

— Что вам предложить, *mademoiselle*? — спросил художник. — Сейчас как раз девять часов, надо поскорее заказать.

— Можно мне вон тот зеленый напиток?

— Два коктейля-крем с мятой, — сказал Лавенди официанту. Ноэль слишком была погружена в себя, чтобы заметить горькую усмешку, пробежавшую по его лицу. Она все еще внимательно изучала лица женщин, взгляды которых, уклончивые, холодные, любопытствующие, были прикованы к ней; она смотрела и на лица мужчин — у них глаза бегали, были воспалены и словно от чего-то прятались.

— Интересно, бывал ли папа когда-либо в таких местах? — проговорила Ноэль, поднося бокал с зеленой жидкостью к губам. — Это вкусно? Пахнет мятой.

— Красивый цвет. За ваше счастье, *mademoiselle*! — И он чокнулся с ней.

Ноэль выпила немного, оставила бокал, потом еще выпила.

— Очень вкусное, но страшно липкое. У вас нет сигареты?

— *Des cigarettes!* — сказал Лавенди официанту. — *Et deux cafés noirs*¹. Так вот, *mademoiselle*, — продолжал он, когда принесли кофе. — Представим себе, что мы выпили каждый по бутылке вина — и вот мы уже на подступах к тому, что именуется Пороком. Забавно, не правда ли? — Он пожал плечами.

Его лицо поразило Ноэль: внезапно оно стало тусклым и угрюмым.

— Не сердитесь, *monsieur*, это все так ново для меня, понимаете?

Художник улыбнулся своей ясной, рассеянной улыбкой.

— Простите, я забылся. Но мне больно видеть красоту в подобном месте. Она ведь не вяжется и с этой музыкой, и с голосами, и с лицами. Развлекайтесь, *made-*

¹ Сигареты! И два черных кофе (франц.).

moiselle, впивайте все это. Взгляните, как эти люди смотрят друг на друга; сколько любви сияет в их глазах! Жалко, что мы не можем слышать, о чем они говорят. Поверьте мне, их речи невероятно утончены и *très spirituels*! ¹ Эти молодые женщины «вносят свою лепту», как принято говорить; они доставляют *le plaisir* ² тем, кто служит родине. Есть, пить, любить, ибо завтра мы умрем! Кому дело до того, как прост и прекрасен мир! Храм духа пуст.

Он украдкой посмотрел на нее, словно хотел заглянуть в ее душу. Ноэль встала.

— Мне пора идти, *monsieur*.

Он помог ей надеть шубку, расплатился, и они снова, медленно пробираясь среди маленьких столиков, пошли к выходу, оставляя позади гул голосов, смех и табачный дым; оркестр заиграл еще какую-то пустую и звонкую мелодию.

— А вон там,— проговорил художник, показывая на дверь другого зала,— они танцуют. Так оно и идет. Лондон военного времени! Впрочем, в любом большом городе вы увидите то же самое. Вы довольны, что повидали «жизнь», *mademoiselle*?

— Я думаю, что надо танцевать, быть счастливой... Это сюда ходят ваши друзья?

— О, нет! Они собираются в более простом зале, играют в домино, пьют кофе и беседуют. Они не могут сорить деньгами.

— А почему вы мне их не показали?

— *Mademoiselle*, в том зале вы, возможно, увидели бы кого-нибудь, с кем вам пришлось бы встретиться снова; а там, где мы побывали, вы были в безопасности, по крайней мере я надеюсь, что так.

Ноэль пожала плечами.

— Я думаю, теперь уж все равно, что я делаю.

И вдруг на нее нахлынула волна воспоминаний: лунная ночь, темное старое Аббатство, лес, река,— и у нее перехватило дыхание. Две слезинки скатились по ее щекам.

— Я вспомнила кое о чем,— сказала она глухо.— Это ничего.

¹ Возвышенны! (франц.)

² Удовольствие (франц.).

— Дорогая mademoiselle! — пробормотал Лавенди. Всю дорогу до ее дома он был молчалив и печален. Пожимая ему руку у двери, она прошептала:

— Простите, что я вела себя глупо; и спасибо вам большое, monsieur. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, самых лучших снов. Скоро наступит хорошее время — время Мира и Счастья. Оно снова придет на землю. Не вечно же будет существовать этот дом принудительных работ! Спокойной ночи, дорогая mademoiselle!

Ноэль поднялась наверх и осторожно заглянула в детскую. Горел ночник, нянька и ребенок крепко спали. Она на цыпочках прошла в свою комнату. Только теперь она поняла, как устала — так устала, что едва смогла раздеться. И в то же время она чувствовала себя какой-то необычно отдохнувшей, может быть, от такого неожиданного наплыва переживаний; Сирил и все прошлое навсегда уходили из ее жизни.

ГЛАВА III

Первая встреча Ноэль с Общественным Мнением произошла на следующий день. Ребенка только что принесли с прогулки. Он спокойно спал, и Ноэль стала спускаться по лестнице. Вдруг чей-то голос донесся из передней.

— Как поживаете?

Она увидела одетого в хаки Адриана Лодера, помощника ее отца. Поколебавшись только секунду, она спустилась вниз и пожала ему руку. Это был довольно грузный молодой человек лет тридцати, с бледным лицом; ему не шла его форма цвета хаки с большим круглым белым воротником, застегнутым сзади; но одухотворенный взгляд смягчал впечатление от всей его фигуры: глаза его говорили о самых лучших в мире намерениях и о том, что он способен восхищаться красотой.

— Я не видал вас целую вечность, — сказал он, как-то неуверенно, следуя за ней в кабинет ее отца.

— Да, — ответила Ноэль. — А как там, на фронте?

— Ах, — сказал он. — Солдаты наши просто великолепны. — Глаза его засияли. — Но как приятно видеть вас снова!

— Разве?

Он, казалось, был озадачен этим вопросом; зачинаясь, он проговорил:

— А я и не знал, что у вашей сестры родился ребенок. Прелестное дитя.

— У нее нет ребенка.

Лодер разинул рот. «Какой у него глупый вид!» — подумала она.

— О! — сказал он. — Значит, это приемыш — бельгиец или какой-либо другой?

— Нет, это мой, мой собственный. — Отвернувшись, она сняла кольцо с пальца.

Когда она взглянула на него снова, он все еще выглядел до крайности растерянным. Он смотрел на нее взглядом человека, в жизни которого подобные вещи не могут случиться.

— Что вы так на меня уставились? — сказала Ноэль. — Разве вы не понимаете? Это мой ребенок, мой. — Она вытянула левую руку. — Смотрите, кольца нет.

Он, заикаясь, выговорил:

— Послушайте... вы ведь не... вы ведь не можете...

— Что... не могу?

— Шутить... таким образом... Ведь правда же?

— Какие там шутки, если у тебя ребенок и ты не замужем!

Лодер вдруг весь съежился, словно рядом разорвался снаряд. Но затем, как и полагается в таких случаях, он сделал над собой усилие, выпрямился и сказал странным тоном — одновременно высокомерным и мягким:

— Я не пойму... Ведь не может же быть... Это ведь не...

— Это так и есть, — сказала Ноэль. — Если не верите мне, спросите у папы.

Он поднес руку к своему круглому воротнику; Ноэль пришла дикая мысль, что он собирается сорвать его, — она крикнула:

— Не надо!

— Вы? — пробормотал он. — Вы! Но...

Ноэль отвернулась от него и стала смотреть в окно, ничего не видя.

— Я не хочу этого скрывать, — сказала она, не оборачиваясь. — Я хочу, чтобы все знали. Это так глупо,

так глупо! — Она топнула ногой. — Разве вы не видите, как это глупо, — каждый разевает рот от удивления!

Он вздохнул, и в этом вздохе было страдание. И вдруг она почувствовала настоящую боль раскаяния. Он ухватился за спинку стула; лицо его утратило торжественное выражение и слегка покраснело. У Ноэль было такое ощущение, словно ее уличили в предательстве. В его молчании, странном взгляде и каком-то безличном огорчении, которого не выразишь словами, было нечто более глубокое, чем просто неодобрение, — что-то, находившее отклик в ней самой. Она быстро прошла мимо него, поднялась к себе наверх и бросилась на кровать. Лодер ничего не значил для нее, суть была не в нем. Вся суть в ней самой, в этом впервые возникшем, остром и горьком ощущении, что она предала свою касту, утратила право считаться порядочной женщиной, изменила свойственной ей сдержанности и утонченности, заплатила черной неблагодарностью за всю любовь, которая была вложена в ее воспитание, вела себя как простая, выросшая без присмотра девчонка. Раньше она этого не понимала — даже тогда, когда Гретиана впервые узнала обо всем, и они, стоя по обе стороны камина, не могли говорить друг с другом. Тогда она еще вся была во власти глубокой скорби о погибшем, но это прошло, словно ничего никогда и не было. Она теперь беззащитна, ничто не ограждает ее от этого обрушившегося на нее унижения и горя. Да, она тогда сошла с ума! Наверное, сошла с ума! Этот бельгиец Барра прав: «Все немного сумасшедшие!» Все живут в «доме принудительных работ», созданном войной! Она так глубоко уткнулась лицом в подушку, что чуть было не задохнулась; голова, щеки, уши горели, как в огне. Если бы этот Лодер просто проявил отвращение, сказал бы что-нибудь, что могло вызвать в ней гнев, справедливое негодование, ощущение, что судьба была слишком жестока к ней; но он просто стоял — весь воплощение растерянности, как будто расставался с самыми заветными иллюзиями. Это было ужасно! Она не может больше жить здесь, должна куда-то уйти, бежать, спастись от этого ощущения собственного предательства и измены. Ноэль вскочила. Внизу все было тихо, она прокралась по лестнице и вышла на улицу. Она быстро шагала впе-

ред, не думая о том, куда идет. Инстинктивно она пошла по дороге, по которой ежедневно ходила в госпиталь.

Был конец апреля, деревья и кусты, одетые молодой листвой, уже стояли в цвету и благоухали; весело пробегали собаки; в ярком солнечном свете лица людей казались счастливыми. «Если бы я могла уйти от самой себя, мне все стало бы безразличным», — подумала она. Легко уйти от людей, от Лондона, даже уехать из Англии; а от себя самой — невозможно! Она прошла мимо госпиталя, посмотрела затуманенным взглядом на флаг с красным крестом, поднятый над оштукатуренной стеной, на солдата в синем комбинезоне с красным галстуком, выходявшего из дверей. Много горьких часов провела она здесь, но не было у нее часа более горького, чем этот! Она миновала церковь и очутилась напротив того дома, где жила Лила; тут она вдруг столкнулась с высоким человеком, заворачивавшим за угол. Это был Форт. Она опустила голову и попыталась было незаметно улизнуть. Но он уже протянул руку, и ей ничего не оставалось, как поздороваться с ним. Холодно глядя на него, она спросила:

— Вы все знаете обо мне, да?

Его лицо, обычно такое открытое, вдруг замкнулось, как будто он вот-вот должен был взять барьер на лошади. «Сейчас он солжет!» — с горечью подумала она. Но он не солгал.

— Да, Лила говорила мне.

«Сейчас он постарается притвориться, — снова мелькнула у нее мысль, — что не находит в этом ничего непристойного».

— Я восхищаюсь вашим мужеством! — сказал он.

— У меня нет никакого мужества.

— Мы ведь никогда не знаем сами себя, не так ли? Может быть, вы пройдетесь со мной немного? Я иду в том же направлении.

— А я не знаю, в каком направлении иду.

— И я тоже.

Они молча пошли рядом.

— Я молю бога только о том, чтобы снова очутиться во Франции, — отрывисто сказал Форт. — Здесь не чувствуешь себя чистым человеком.

Сердце Ноэль взыграло.

«О да! Уехать, уйти от самой себя!» Но тут же она подумала о ребенке и снова упала духом.

— А как ваша нога, совсем безнадежна? — спросила она.

— Совсем.

— Это, наверно, ужасно.

— Сотни тысяч людей считают, что это большая удача; и верно: хоть калека, да жив! Так и я думаю, несмотря на всю скуку жизни.

— Как чувствует себя кузина Лила?

— Очень хорошо. Она так старается в своем госпитале, просто удивительно.— Говоря это, Форт не смотрел на нее; молчание длилось, пока он не остановился у Лордс-Крикет-граунд.

— Я не хочу вас заставлять тащиться со мной.

— О, это ничего!

— Я хочу только сказать, что если могу служить вам когда-либо и в какой-либо форме, пожалуйста, приказывайте.

Он снял шляпу и пожал ей руку. Ноэль пошла дальше. Этот короткий разговор с недомолвками только обострил ее беспокойство; и все-таки в каком-то смысле он смягчил боль в ее сердце. Как бы то ни было, но капитан Форт не презирает ее; у него тоже неприятности, как и у нее самой. Она чувствовала это и по выражению его лица и по тону, когда он говорил о Лиле. Она ускорила шаг. Вдруг ей вспомнились слова Джорджа: «Если тебе самой не стыдно за себя, то другие не будут тебя стыдиться». Легко сказать! Потом она вспомнила давние времена, школу, танцы для подростков, на которые она ходила,— все тогда казалось счастьем. Прошло! Все прошло!

Но встречи Ноэль с Общественным Мнением еще не кончились в этот день; дойдя наконец до своего дома, измученная трехчасовым скитанием, она встретила пожилую даму, которую она и Грэтiana знали еще в детстве. Это была красивая женщина, вдова одного чиновника; она проводила дни в полезной деятельности и не обнаруживала ни малейшего признака старения. С ней была ее дочь, жена убитого на Марне офицера, и обе встретили Ноэль целым градом сердечных расспросов. Значит, она вернулась из деревни и теперь совсем здорова? Она ра-

ботает в госпитале? А как себя чувствует ее дорогой отец? Он так похудел и устал. Но теперь ведь и Грэтiana с ним. Как ужасно, что война разделяет мужей и жен! А чей это милый маленький ребеночек, который сейчас у них в доме?

— Мой,— сказала Ноэль и прошла мимо них, высоко подняв голову. Она почувствовала, как обижены, удивлены, озадачены эти очень доброжелательные дамы, которых она оставила на мостовой. Она представляла себе, как они возьмут друг друга под руку, потом пойдут дальше, может быть, молча, и, только завернув за угол, начнут удивляться: «Что такое с Ноэль? Что она сказала?»

Она вынула из кармана золотое колечко и изо всей силы швырнула его за ограду Сквер-Гарден. Это спасло ее от нервного припадка, и в дом она вошла спокойная. Завтракать давно кончили, но отец еще не уходил — он встретил ее в прихожей и повел в столовую.

— Тебе надо поесть, дитя мое,— сказал он.

И пока она поспешно ела то, что он велел оставить для нее, он стоял у камина в своей излюбленной позе: нога на решетке, рука на каминной доске.

— Я исполнила твое желание, отец,— сказала она глухо.— Теперь все знают. Я сказала мистеру Лодеру, и художнику, и Диннафордам.

Она увидела, как он разжал пальцы, а затем снова вцепился в каминную доску.

— Я рад,— сказал он.

— Тетя Тэрза дала мне кольцо, но я его выбросила.

— Мое дорогое дитя,— начал он, но не мог продолжать — так у него дрожали губы.

— Я хочу еще раз сказать, папа, что я страшно жалею тебя. И я действительно себя стыжусь; раньше мне казалось, что не стыжусь, а теперь — да; но я думаю, что все это жестоко, и я ни в чем не каюсь перед богом; и ни к чему заставлять меня каяться.

Пирсон повернулся и поглядел на нее. Еще долгое время этот взгляд не мог изгладиться из ее памяти.

После того, как Джимми Форт распрощался с Ноэль, он почувствовал себя совсем несчастным. С того

дня, как Лила рассказала ему о беде этой девушки, он все больше убеждался, что в его отношениях с Лилой нет достойной основы, что их связь держится только на жалости. Однажды, чувствуя угрызения совести, он предложил Лиле выйти за него замуж. Она отказала. Это вызвало в нем еще большее уважение к ней; голос ее так дрожал, и выражение глаз было такое, что он понял: она отказала ему не потому, что мало его любит, а потому, что сомневается в его чувстве к ней. Да, у этой женщины был большой жизненный опыт!

Сегодня он собирался в обеденный перерыв принести ей цветы и оставить записку, что не сможет прийти вечером. Отперев дверь своим ключом, он принес воды из спальни и заботливо поставил японские азалии в вазу марки «Семейство Роз». Потом сел на диван и подпер голову руками.

Он много скитался по свету, но мало сталкивался с женщинами. В нем ничего не было от француза, который берет то, что ему преподносит жизнь, пользуется этим в полное свое удовольствие, а затем легко примиряется с тем, что подобные любовные приключения кончаются весьма быстро. Связь с Лилой еще доставляла ему удовольствие, но уже переставала быть удовольствием; однако это не означало конца и не освобождало его. Какой-то смутный, но глубокий инстинкт подсказывал ему, что надо притворяться влюбленным до тех пор, пока он не надоест ей. Он сидел и старался припомнить хоть какой-нибудь, пусть самый маленький признак того, что она охладела к нему,— и не мог. Наоборот, он с горечью подумал, что если бы он действительно ее любил, то она, вероятно, сейчас уже охладела бы к нему, ибо для нее он все еще оставался незавоеванным, несмотря на самые честные старания казаться завоеванным. Он совершил роковую ошибку в тот вечер, после концерта в Куин-Холле, когда поддался смешанному чувству желания и жалости.

Распрощавшись с Ноэль, он еще острее почувствовал, какую совершил глупость. Ну разве это не глупость — пойти к Лиле в тот самый вечер, когда там была эта девочка? А может быть, смутное, едва уловимое сходство между ними толкнуло его переступить через эту грань? «Я был ослом,— подумал он.— Страшным

ослом». Он отдал бы любой час, проведенный с Лилой, за одну только улыбку этой девушки.

Неожиданная встреча с Ноэль после многих месяцев, когда он честно старался забыть о ее существовании, но не преуспел в этом, заставила его почувствовать особенно ясно, что он полюбил ее; полюбил так сильно, что сама мысль о Лиле становилась неприятной. И все-таки чувство джентльмена запрещало ему выдать эту свою тайну любой из них. Проклятое положение! Он взял такси, потому что опаздывал; всю дорогу в военное министерство он видел перед собой девушку, ее лицо, короткие кудряшки. Страшное искушение одолевало его. Разве она недостойна рыцарского поклонения, сочувствия? Разве у него нет права посвятить себя ее защите, когда она попала в такое ужасное положение? Лила прожила свою жизнь; а жизнь этого ребенка, несомненно исковерканная, все-таки впереди. Внезапно он почувствовал глубокое отвращение к самому себе и насмешливо улыбнулся. Все это иезуитство! Нет, не рыцарское сочувствие движет им сейчас, а любовь! Любовь! Любовь к недостижимому!

С тяжелым сердцем он вошел в огромное здание, где в маленькой комнате с телефоном, окруженный грудami бумаги, исписанной цифрами, он коротал свои дни. Война все превратила в какую-то безнадежную пустыню. Удивительно ли, что он хватался за любое развлечение, которое только может встретиться,— хватался, пока его не захватило и не унесло самого!

ГЛАВА IV

Узнать худшее о своих ближних — это лишь вопрос времени. Но если «худшее», как в данном случае, связано с уважаемой семьей, обладающей таким же авторитетом и репутацией, как сама церковь, то обнаружить это худшее можно, только преодолев многие препоны: невероятность самого факта; искреннее уважение к этой семье; инстинкт самозащиты тех, кто тесно связан с церковью и для кого умаление авторитета церкви означало бы умаление их собственного авторитета; слишком уж явный скандал, чтобы в

него можно было сразу поверить; да и мало ли какие еще препоны должны быть преодолены! Для Диннофордов то, что сказала Ноэль, было слишком уж сенсационно, и это могло бы их заставить молчать просто из самосохранения; но все-таки чудовищность этой новости привела их к мысли, что здесь может быть какая-то ошибка, что девушкой вдруг овладело дикое желание подтрунить над ними, как сказал бы их дорогой Чарли. И в надежде на то, что эта точка зрения будет подтверждена, они подстерегли старую няньку, когда та выносила ребенка, и тут же получили от нее очень краткий ответ:

— О да! Ребенок — мисс Ноэль. Ее муж убит, бедный мальчик!

И тут они были вознаграждены. Ведь они так и думали, что вышла какая-то ошибка! Каким облегчением было для них услышать это слово «муж»! Разумеется, это один из тех поспешных военных браков, которых, правда, не одобряет наш дорогой викарий, но потому-то и держат все в секрете. Вполне понятно, но очень печально! Однако оставалось еще много неясного, и они не торопились выразить сочувствие дорогому викарию, но в то же время не считали возможным опровергать всякие слухи, которые уже доносились до их ушей. Кроме того, их друг мистер Кэртис однажды заявил совершенно определенно: «Она ведь не носит обручального кольца. Я могу поклясться в этом, потому что очень внимательно смотрел на ее руку!» Наконец они решились спросить мистера Лодера. Он-то должен знать, просто обязан; и он не станет придумывать никаких историй. Они спросили Лодера, и тут же стало ясно, что он знает. Они даже пожалели, что задали этот вопрос, — бедный молодой человек сразу же покраснел, как помидор.

— Я предпочитаю не отвечать, — сказал он.

После этого краткого интервью все почувствовали себя крайне неловко. Впрочем, некоторая неловкость начала ощущаться среди постоянных прихожан церкви Пирсона еще за несколько недель до возвращения Ноэли в Лондон. Было, например, замечено, что ни одна из сестер не посещает богослужений. Прихожане, которые надеялись увидеть в церкви Ноэль, были разочарованы: она так и не появлялась. Теперь это объясня-

ли тем, что ей совестно показаться на глаза людям. А что касается Грэтианы, то ей, разумеется, тоже стыдно. Отмечалось также, что викарий очень мрачен и сильно похудел,— это очень заметно. Когда слухи превратились в уверенность, отношение прихожан к Пирсону стало меняться: к сочувствию все больше примешивалось осуждение. Во всем этом случае было нечто, вызывающее у англичан особую неприязнь. Само появление Пирсона на кафедре по воскресеньям вызывало осуждение — словно он выставял напоказ всю греховность и недостойность поведения дочери,— это было вопиющим свидетельством того, что церковь не способна надлежащим образом руководить своей паствой! Если человек не смог наставить на путь истинный собственную дочь, то как же он может наставлять других! Убрать его! И хотя слово еще не было сказано, об этом уже начинали подумывать. Он ведь так долго был с ними и так много потратил своих средств на церковь и на приход; его кротость и мечтательная задумчивость были приятны всем. Он был джентльменом, помогал многим прихожанам; и хотя его пристрастие к музыке и пышным облачениям вызывало у некоторых досаду, однако все это придавало больше благолепия их храму. Во всяком случае женщины всегда радовались тому, что церковь, в которую они ходят, способна переманить женщин из других церквей. Кроме того, шла война, и упадок нравственности, который и в мирное время был весьма ощутим, сейчас не так уж осуждался; людям было не до того: их больше беспокоил недостаток продовольствия и воздушные налеты. Конечно, так дальше не может продолжаться в приходе; но пока все оставалось по-прежнему.

Человек, о котором идут какие-то слухи, всегда узнает о них последним; до Пирсона не доходило ничего такого, что могло бы задеть его. Он делал свое обычное дело, и порядок его жизни не менялся. Но какая-то перемена в нем самом все же произошла, тайная и едва уловимая. Сам раненный почти смертельно, он чувствовал себя так, будто окружен тяжелоранеными. Но прошло еще несколько недель, прежде чем случилось нечто, вызвавшее в нем гнев и желание дать отпор. Однажды

довольно незначительное проявление людской жестокости потрясло его до глубины души. Он возвращался домой после длительного обхода прихожан; повернув в сторону Олд-сквер, он услышал, как кто-то позади него крикнул:

— Сколько стоит ублюдок?

Словно от мучительной боли у него перехватило дыхание. Он обернулся и увидел двух нескладных подростков, удиравших со всех ног; в приступе гнева он бросился вслед за ними, схватил каждого за плечи и резко повернул к себе лицом; мальчишки даже рты разинули от страха. Тряся их изо всей силы, он спрашивал:

— Как вы посмели? Как вы посмели сказать... это слово?

Его лицо и голос, должно быть, были страшны; видя ужас на их лицах, он внезапно понял, что сам совершает насилие, и отпустил их. В две секунды мальчишки очутились возле угла. На мгновение они остановились; один из них крикнул: «Дедушка!» — и оба тут же исчезли. У него тряслись губы и руки; он почувствовал слабость и полную опустошенность — чего с ним в жизни не случилось, — это было состояние человека, только что поддавшегося жажде убийства! Он перешел улицу и прислонился к решетке. «Боже, прости меня! — думал он. — Я ведь мог убить их... Я ведь мог убить их!» Это бес- вселился в него! Если бы ему попалось что-нибудь под руку, он был бы сейчас убийцей. Как это прискорбно! Ведь крикнул только один мальчишка, а он мог убить обоих! Кроме того, это была правда, это слово на устах у всех — на устах этих невежественных, простых людей, его повторяют изо дня в день. И сказано оно о ребенке его собственной дочери. Мысль эта ужаснула его, поразила в самое сердце, и он, скорчившись, как от боли, ухватился за решетку, словно хотел согнуть ее.

С того дня он стал понимать, что люди начинают отвергать его, и эта мысль уже всецело завладела им. Он все острее и реальнее чувствовал, что его отождествляют с Ноэль и ее малышом; желание защитить их становилось все более страстным. Ему казалось, что вокруг него и Ноэль люди все время перешептываются, что на них уставились указующие персты, что недоброжелательство

прихожан все возрастает; это было невыносимо. Он стал понимать и другую, более глубоко скрытую истину. Дыхание злословия легко разрушает авторитет и репутацию человека, который обладает ими благодаря своему сану. Как это бессмысленно — чувствовать себя безупречным и в то же время знать, что другие считают тебя запятанным!

Он старался как можно чаще бывать вместе с Ноэль. Иногда по вечерам они выходили прогуляться, но никогда не заговаривали о том, что лежало у них на душе. Между шестью и восемью Ноэль позировала Лавенди в гостиной; время от времени Пирсон приходил туда, чтобы поиграть им. Теперь он был буквально одержим мыслью, что для Ноэль общество любого мужчины опасно. Раза три заходил после обеда Джимми Форт. Он почти не разговаривал, и было непонятно, зачем он появлялся. Это новсе чувство — опасение за дочь — заставляло Пирсона быть наблюдательнее, и он заметил, что Форт не спускает глаз с Ноэль. «Он восхищен ею», — размышлял он, все упорнее пытаюсь понять характер этого человека, который прожил всю жизнь бродягой. «А такой ли он... тот ли он человек, которому я доверил бы Нолли? — иногда думалось ему. — Мне хотелось бы надеяться, что какой-нибудь хороший человек женится на ней, на моей маленькой Нолли, которая еще так недавно была ребенком!» В это печальное и трудное время гостиная Лилы была для него прибежищем. Он часто заходил к ней на полчаса, когда она возвращалась из госпиталя. Эта маленькая комната с черными стенами, с японскими гравюрами и цветами успокаивала его. Успокоительно действовала на него и сама Лила — в своем святом неведении он и не подозревал о ее последнем увлечении, хотя чувствовал, что она не очень счастлива. Наблюдать, как она расставляет цветы, слушать ее французские песенки, видеть ее рядом с собой, разговаривать с ней было его единственной отрадой в эти дни. А Лила глядела на него и думала: «Бедный Эдвард! Он никогда не жил, а теперь уже и не будет!» Временами у нее мелькала мысль: «А может быть, ему можно позавидовать? Он по крайней мере не переживает того, что переживаю я. И зачем только я снова полюбила?»

Как правило, они не говорили о Ноэль; но однажды Ли́ла высказалась откровенно:

— Большая ошибка, что ты заставил Ноэль вернуться в Лондон, Эдвард. Это — донкихотство. Будет еще счастьем, если ей не придется серьезно страдать. У нее неустойчивый характер; в один прекрасный день она со свойственной ей опрометчивостью может что-нибудь натворить. И, уверяю тебя, она скорее натворит бед, когда увидит, что люди плохо относятся именно к тебе, а не к ней. Я бы отправила ее обратно в Кестрель, пока не случилось худшее.

— Я не могу поступить так, Ли́ла. Мы должны переживать все это вместе.

— Ты ошибаешься, Эдвард. Надо принимать вещи такими, какие они есть.

Пирсон ответил с тяжелым вздохом:

— Мне хотелось бы знать ее будущее. Ноэль так привлекательна и так беззащитна. Она потеряла веру, веру во все, что приличествует хорошей женщине. В тот день, когда она вернулась домой, она сама сказала мне, что стыдится своего поступка. Но с тех пор я больше ничего от нее не слышал. Она слишком горда — моя бедная маленькая Но́лли. Я вижу, как мужчины восхищаются ею. Наш бельгийский друг пишет ее портрет. Он хороший человек; но он любит ее, и это не удивительно. А также твой друг капитан Форт. Говорят, что отцы слепы. Но иногда они видят довольно ясно.

Ли́ла встала и опустила штору.

— Солнце! — объяснила она. — А часто у вас бывает Джимми Форт?

— О, нет, очень редко. Но все-таки я вижу это.

«Слеп, как филин, да еще болтун! — подумала Ли́ла о Пирсоне. — ...Вижу! Ты не видишь даже того, что происходит у тебя под носом!»

— Я думаю, он жалеет ее, — сказала она дрогнувшим голосом.

— Почему ему жалеть ее? Он ведь ничего не знает.

— Нет, знает! Я рассказала ему.

— Ты рассказала?!

— Да, — упрямо подтвердила она. — И поэтому он жалеет ее.

Но и теперь «этот монах», сидящий рядом с ней, ничего не понимал и продолжал нести свое.

— Нет, нет! Тут не только жалость. Я вижу, как он смотрит на нее, и знаю, что не ошибаюсь. Я хочу спросить тебя: что думаешь об этом ты, Лила? Ведь он слишком стар для нее; но, кажется, он благородный и добрый человек?

— О, самый благородный, самый добрый! — Она зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться горьким смехом.

Этот человек, который ничего не видит, смог заметить, какими глазами Форт смотрит на Ноэль, и даже увериться в том, что он влюблен в нее! Как же ясно должны были говорить эти глаза! Лила перестала владеть собою.

— Все это очень интересно, — заговорила она, подчеркивая слова, как это делала Ноэль. — Особенно, если принять во внимание, что Форт мне больше чем друг, Эдвард.

Она почувствовала некое удовлетворение, когда увидела, как он вздрогнул. «Ох, уж эти слепые филины!» — подумала она, страшно уязвленная тем, что Пирсон так легко сбрасывал ее со счетов. Но потом ей стало его жалко: его лицо словно окаменело и стало печальным. Отвернувшись, она продолжала:

— О! Мое сердце не будет разбито; я умею проигрывать, не поморщившись. Но я умею и бороться — и, может, не проиграю эту партию!

Сорвав ветку герани, она прижала ее к губам.

— Прости меня, — медленно проговорил Пирсон. — Я не знал. Я глуп. Я думал, что твоя любовь к этим бедным солдатам поглотила все другие чувства.

Лила резко засмеялась.

— А разве одно мешает другому? Ты никогда не слышал, что такое страсть, Эдвард? О! Не смотри на меня так. Ты думаешь, женщина в моем возрасте не может испытывать страсть? Так же, как всегда! Больше, чем всегда — потому что все ускользает от нее!

Она опустила руку с веткой, лепесток герани остался на губе, как пятнышко крови.

— Что такое была твоя жизнь за эти годы? — продолжала она горячо. — Подавление страсти, ничего больше! Вы, монахи, уродуете природу вашими святыми

словами и пытаетесь за ними укрыть то, что видит любой простак. Ну что ж, я не подавляла своих страстей, Эдвард. Вот и все!

— Но была ли ты счастлива?

— Была; и, может быть, еще буду.

Легкая улыбка искривила губы Пирсона.

— Еще будешь? — повторил он. — Надеюсь. Но на вещи можно смотреть по-разному, Лила.

— Ах, Эдвард! Не будь же таким добрым! Ты ведь, наверное, думаешь, что такая женщина, как я, не способна на настоящую любовь?

Он стоял перед нею, опустив голову; и она вдруг почувствовала, что хотя он и наивен и слеп, в нем есть то, чего ей не дано постигнуть. И она воскликнула:

— Я была груба с тобой, прости меня, Эдвард. Я так несчастна!

— Один грек говорил: «Бог — это помощь людей друг другу». Это неверно, но красиво. До свидания, дорогая Лила, и не печалься!

Она пожала ему руку и отвернулась к окну.

Лила наблюдала за ним: вот он, в черном одеянии, облитый солнцем, пересек дорогу и завернул за угол у ограды церкви. Он шагал быстро и держался очень прямо; и все же в нем было что-то незрячее, это чувствовалось, даже когда глядишь ему вслед; а может быть, он и в самом деле видит какой-то другой мир?

Она никогда не отступала от того, что было внушено ей религиозным воспитанием еще в юности, и, несмотря на всю свою нетерпимость к взглядам Пирсона, считала его святым. Когда он исчез за углом, она пошла в спальню. То, что он сказал, не было для нее открытием. Она знала! Да! Она знала это! «Почему я не приняла предложение Джимми? Почему не вышла за него? А не слишком ли поздно? — думала она. — Могу ли я? Захочет ли он — даже сейчас?» Но она отбросила эту мысль. Выйти за него замуж! Зная, что сердце его принадлежит этой девушке!

Она долго разглядывала свое лицо в зеркало, с тревожным интересом изучая маленькие жесткие линии и морщинки, которые скрывались под легким слоем пудры. Она рассматривала искусно подкрашенные на висках

волосы. Достаточно ли искусно, может ли это обмануть? Ей вдруг показалось, что все это бросается в глаза. Она пощупала и разгладила слегка обвисшую кожу на полной шее под подбородком. Потом выпрямилась и провела руками по всей фигуре, — нет ли уже дряблости или излишней полноты? И у нее возникла горькая мысль: «Я выхожу в тираж. Но делаю все, что могу, лишь бы удержаться!» Строчки коротенького стихотворения, которые показывал ей Форт, зазвучали в её голове:

Время, старый цыган!
Пока не пришел твой срок,
Пусть останется твой караван
Хоть еще на один денек!

Ну что еще может она сделать? Джимми не любит, когда она красит губы. Она замечала, что он недоволен и всегда вытирает рот после поцелуя, когда ему кажется, что она не видит этого. «Незачем было красить губы, — подумала она. — Ведь у Ноэль губы не краснее моих. Но что же в ней лучше? Молодость — вот что! Роса на траве!» Молодость не вечно длится; но достаточно долго, чтобы «прикончить» ее, Лилу, как выражаются солдаты. И вдруг она взбунтовалась против себя самой, против Форты, против этой холодной и туманной страны; ее охватила тоска по африканскому солнцу, по африканским цветам, по счастливой и беспечной жизни — когда живешь только одним днем, как в те пять лет, перед войной; тоска по Верхней Констанции в пору уборки винограда! Как много лет прошло с тех пор — десять, одиннадцать! Ах, если бы эти десять лет были еще впереди — и... вместе с ним! Десять лет на солнце. Он любил бы ее тогда и продолжал бы любить и сейчас. И она тоже не охладела бы к нему, как охладела к другим. «Через полчаса, — подумала она, — он будет здесь; сядет напротив меня, и я увижу, как он борется с собой, стараясь быть нежным. Это слишком унижительно! Но все равно — я хочу его!»

Она стала рыться в шкафу, разыскивая какое-нибудь яркое платье или украшение, что-нибудь новое, что могло бы ей помочь. Но она уже испробовала все — все эти мелкие ухищрения, и все равно стоит перед крахом! И такое бессилие, такая невыносимая тоска овладели ею,

что она даже не стала переодеваться. Не снимая формы сестры милосердия, она легла на диван и, пока девушка накрывала на стол для ужина, притворялась, будто дремлет. Она лежала неподвижно, угнетенная, угрюмая, стараясь как-то собраться с силами, чувствуя, что если она хоть чем-нибудь обнаружит, что терпит поражение, то обязательно будет побеждена; она уже твердо знала, что его удерживает только жалость. Когда она услышала его шаги на лестнице, она быстро провела руками по щекам, словно для того, чтобы кровь отлила от них, и продолжала лежать так же тихо. Ей хотелось казаться бледной — она и действительно была бледна, под глазами лежали темные круги, — так много она выстрадала за этот час. Сквозь опущенные ресницы она увидела, что он остановился и недоуменно посмотрел на нее. Спили больна? Она не двигалась. Ей хотелось понаблюдать за ним. Он на цыпочках прошел по комнате и наклонился над ней, нахмутив брови. «Ах, милый друг, — подумала она, — как было бы тебе кстати, если бы я умерла!» Он еще ниже наклонился к ней; и вдруг она подумала: «А грациозна ли моя поза?» — и пожалела, что не переменила платье. Она увидела, как он с озадаченным видом чуть-чуть пожал плечами. Он так и не заметил, что она притворяется спящей. Каким милым было его лицо — ничего неизменного, ничего скрытого, грубого! Она открыла глаза — помимо ее воли, они выражали владевшее ею отчаяние. Он опустился на колени, поднес ее руку к губам и не отпускал ее.

— Джимми, — проговорила она мягко. — Тебе страшно скучно со мной? Бедный Джимми! Нет, не притворяйся. Я знаю, что говорю.

«О боже! Что это я сказала? — испугалась она. — Это рок, рок! Мне не следовало бы...»

Она обняла Форта и прижала его голову к груди. Инстинктивно почувствовав, что в эту минуту она победила, Лила поднялась, поцеловала его в лоб, потянулась и засмеялась.

— Я спала. Мне что-то снилось. Снилось, что ты любишь меня. Забавно, правда? Пойдем ужинать, тут есть устрицы — последние в этом сезоне.

Весь вечер они словно стояли над пропастью, и оба были очень осторожны; боясь задеть чувства друг дру-

га, они старались избегать всего, что могло бы привести к сцене. Лила, не умолкая, говорила об Африке.

— Разве ты не тоскуешь по солнцу, Джимми? Разве мы... разве ты не мог бы поехать туда? Ах, когда будет конец этой несчастной войне? Все, что есть у нас здесь — все наше достояние, комфорт, традиции, искусство, музыку, — все это я бы отдала за яркое солнце Африки. А ты?

Форт сказал, что он тоже отдал бы, хотя хорошо знал, что здесь у него есть нечто, чего он никогда не отдаст. И она тоже хорошо это знала.

Оба уже давно не были так веселы; но когда он ушел, она снова бросилась на диван и, зарыв голову в подушку, горько разрыдалась.

ГЛАВА V

Пирсон возвращался домой не то что разочарованный, — тут было нечто другое. Возможно, он и сам не очень верил в перерождение Лилы. И теперь он только острее чувствовал все возрастающее беспокойство и свое одиночество. Он лишился уютного прибежища; какое-то тепло и очарование ушли из его жизни. Ему даже не пришло в голову, что его долг — постараться спасти Лилу, убедить ее выйти замуж за Форта. Он был слишком чувствительным человеком, слишком, так сказать, джентльменом по сравнению с более грубыми представителями протестантизма. Эта деликатность всегда была для него камнем преткновения в его профессии. Все те восемь лет, пока его жена была с ним, он чувствовал себя уверенным, более прямым и простым — и в этом помогали ее сочувствие, рассудительность, дружба. После ее смерти словно туман окутал его душу. Теперь не с кем поговорить откровенно и просто. Кто же станет разговаривать откровенно и просто со священником? Никто не убеждал его жениться снова и не доказывал, что оставаться вдовцом плохо для него и в физическом и в духовном смысле, что это будет тусклая, исковерканная жизнь. Но, живя в одиночестве, он не проявлял нетерпимости, не ожесточился, а скорее пребывал в какой-то полусонной мечтательности, в постоян-

ном смутном и печальном томлении. Все эти годы воздержания он видел радость только в музыке, в путешествиях по сельским местам, в физических упражнениях, в самозабвенном упоении красотой природы; с тех пор как началась война, он только однажды уезжал из Лондона — чтобы провести те три дня в Кестреле.

Он шел домой, беспокойно перебирая в уме всевозможные признаки того, что Форт влюблен в Ноэль. Сколько раз приходил он к ним, когда она вернулась? Только три раза — три вечерних визита. И он не оставался с ней наедине ни одной минуты! Пока на его дочь не свалилось это несчастье, Пирсон не замечал ничего предосудительного в поведении Форта; но теперь с обостренной настороженностью он замечал, как тот с обожанием смотрит на нее, улавливал особую мягкость в его голосе, когда он обращается к ней, а однажды перехватил его взгляд, полный страдания; он видел также, как Форт мрачнел, когда Ноэль уходила из комнаты. А сама она? Два раза он поймал ее на том, что она задумчиво и с интересом смотрела на Форта, когда тот отворачивался. Пирсон вспомнил, как она, еще маленькой девочкой, вот так же присматривалась к кому-нибудь из взрослых, а затем крепко и надолго привязывалась к этому человеку. Да, он должен предостеречь ее, пока она не попала в ловушку. Целомудренный до крайности, Пирсон вдруг резко изменил свое отношение к Форту. Раньше он считал его просто свободомыслящим человеком; теперь же он казался ему воплощением той «свободы», которая граничит с беспутством. Бедная маленькая Ноэли! Снова над нею висит угроза. Каждый мужчина, словно волк, готов вцепиться в нее!

Войдя в столовую, он застал там Лавенди и Ноэль, они стояли перед портретом, который художник уже заканчивал. Пирсон долго смотрел на полотно и затем отвернулся.

— Ты думаешь, я не похожа, папа?

— Похожа. Но портрет меня огорчает. Не могу сказать, почему.

Он увидел, как Лавенди улыбнулся, это была улыбка художника, чья картина подвергается критике.

— Может быть, вас не удовлетворяет колорит, monsieur?

— Нет, нет; это глубже. Выражение лица! Чего она ждет?

Оборонительная улыбка угасла на лице Лавенди.

— Такой я ее вижу, *monsieur le curé*! ¹

Пирсон снова повернулся к портрету и вдруг прикрыл рукой глаза.

— Она похожа на фею, — сказал он и вышел из комнаты.

Лавенди и Ноэль смотрели во все глаза на портрет.

— Фея? Что это означает, *mademoiselle*?

— Одержимая. Или что-то в этом роде.

Они снова посмотрели на портрет, и Лавенди сказал:

— Мне кажется, что на этом ухе все еще слишком много света.

В тот же вечер, когда пришло время ложиться спать, Пирсон позвал к себе Ноэль.

— Нолли, я хотел бы сказать тебе кое-что. Капитан Форт, по существу, женат, хотя и не официально.

Он увидел, как она зарделась, и почувствовал, что краснеет и сам.

— Я знаю, — сказала она спокойно. — На Лиле.

— Значит, она тебе рассказала?

Ноэль покачала головой.

— Тогда каким же образом...

— Я догадалась. Папа, перестань считать меня ребенком! Какой теперь в этом смысл?

Он опустился в кресло перед камином и закрыл лицо руками. Плечи его и руки дрожали — она поняла, что он всячески борется с волнением и, может быть, даже плачет; сев к нему на колени, она прижала к себе его голову и прошептала:

— О папа, родной! О папа, родной!

Он обнял ее, и они долго молча сидели, прижавшись друг к другу.

ГЛАВА VI

Следующим днем после этого молчаливого взрыва чувств было воскресенье. Повинуясь пробудившемуся накануне желанию быть с отцом как можно ласковее, Ноэль спросила:

¹ Господин священник! (*франц.*).

— Хочешь, чтобы я пошла в церковь?

— Разумеется, Ноэли!

Мог ли он ответить иначе? Для него церковь была прибежищем утешения и всепрощения; сюда люди идут со своими грехами и печалью, здесь спасение для грешников, источник милосердия и любви. Не верить этому после стольких лет значило бы полностью отрицать свою полезность в жизни, бросить тень на дом божий.

И Ноэль пошла с ним — Гретиана уехала на два дня к Джорджу. Она проскользнула в боковой придел на привычное место перед кафедрой. Там она сидела, не сводя глаз с алтаря и едва ли подозревая, какую сумятицу в умах вызвало ее появление в церкви на эти полтора часа. Позади нее струились ручейки удивления, неодобрения, негодования. Постепенно глаза всех приковались к ней, и все мысленно осуждали ее. Шло богослужение. Голос священника монотонно гудел, и каждый прихожанин, сидя, стоя или преклонив колена, бросал недобрые взгляды на набожно склонившуюся головку, которая, право же, излучала благочестие. Она смущала набожно настроенных прихожан — эта девушка, которая предала отца, веру, свой класс. Конечно, она должна покаяться, и, конечно, здесь, в церкви. Но было что-то вызывающее в этом ее покаянии на глазах у всех; она была уж слишком заметным пятном на кристальной чистоте церкви и на одеянии их священнослужителя. На ней, как в фокусе, сосредоточились тревожное любопытство и недоумение, которые владели всеми в эти последние недели. Матери трепетали при мысли, что их дочери могут увидеть ее, а жены опасались, что ее увидят их мужья. Мужчины смотрели на нее по-разному — кто с осуждением, а кто с вождением. Молодежь пялила на нее глаза и готова была похихикать. Старые девы отворачивались. Среди прихожан были мужчины и женщины, много испытавшие в жизни, — они просто жалели Ноэль. Чувства тех, кто знал ее лично, сейчас подвергались испытанию: как вести себя, если они столкнутся с нею при выходе из церкви? И хотя рядом с нею могло оказаться лишь несколько человек, всем казалось, что это выпадет на их долю; а многие считали это даже своим долгом, ибо хотели раз навсегда определить свое отношение к ней. Это было действительно весьма суровое

испытание человеческой природы и тех чувств, которые призвана пробуждать церковь. Неподвижность этого юного создания, невозможность разглядеть лицо девушки и судить о состоянии ее духа, наконец неясное чувство стыда за то, что они так заинтригованы и смущены чем-то, имеющим отношение к сексуальному, да еще в храме божьем,— все это вызывало стадное чувство самозащиты, которое очень быстро приобретает наступательный характер. Ноэль как будто не замечала этого, спокойно вставала, садилась, становилась на колени.

Один или два раза она почувствовала, что отец смотрит на нее. Ее снова охватили жалость к нему и угрызения совести, которые она уже испытала прошлой ночью; и теперь она с каким-то обожанием глядела на его исхудавшее, серьезное лицо. Но собственное ее лицо выражало скорее то, что Лавенди перенес на свое полотно,— ожидание решающего перелома в жизни, каких-то непреходящих волнений, которые жизнь всегда держит в запасе для человеческого сердца. Это был взгляд, углубленный в себя, не тоскливый и не радостный, но мечтательный и ожидающий, готовый в любой момент загореться страстью и снова стать углубленным, мечтательным.

Когда затихли последние звуки органа, она не пошевелилась и не обернулась. Второй службы не было, и прихожане уходили из церкви, рассеиваясь по улицам и площадям, а она все еще оставалась на месте. Потом, поколебавшись с минуту — войти ли ей в ризницу, ведущую в алтарь, или уходить совсем,— она повернулась и пошла домой одна.

Она явно избегала каких бы то ни было встреч, и это, вероятно, обострило положение. Когда долго сдерживаемое негодование не находит выхода, это чревато опасностью. Прихожане почувствовали себя обманутыми. Если бы Ноэль вышла вместе с теми, чье благочестие было нарушено ее присутствием в церкви; или если бы ее уход в одиночестве свидетельствовал бы о ее подчинении намечающемуся бойкоту,—воинствующее общественное мнение могло бы еще быть умиротворено, и все просто решили бы держаться подальше от греха — мы ведь привыкаем ко всему. Кроме того, война была на первом месте во всех умах и оттесняла на второй план

даже заботу о нравственности. Но ничего этого не случилось; предвидя, что каждое воскресенье будет повторяться этот маленький вызов им всем, более десятка прихожан, не сговариваясь, написали вечером письма, подписав или не подписав их, и направили в соответствующую инстанцию. Лондон — мало подходящее место для заговоров в масштабе прихода; и событие, которое в масштабе страны вызвало бы в лучшем случае какое-нибудь публичное собрание или, возможно, резолюцию, в данном случае не могло решиться таким способом. Кроме того, у некоторых людей просто бывает необъяснимый зуд — писать анонимные письма; подобные послания служат удовлетворению смутного чувства справедливости либо необузданного желания рассчитаться с теми, кто оскорбил или доставил неприятности автору письма, и не дать обидчику возможности повторить это снова.

А отправленные письма, как известно, приходят по назначению.

В среду утром, когда Пирсон сидел в кабинете в час, отведенный для приема прихожан, горничная доложила: — Каноник Рашбурн, сэр.

Перед Пирсоном предстал старый товарищ по колледжу, с которым он последние годы встречался очень редко. Гость был невысокий, седой человек, довольно грузный, с круглым, добродушным, розовощеким лицом и светло-голубыми, спокойными глазами, излучавшими доброту. Он схватил руку Пирсона и заговорил — в его голосе естественная звучность сочеталась с некоторой профессиональной елейностью.

— Мой дорогой Эдвард, сколько лет мы не видались! Ты помнишь милого старого Блэкуэя? Я встретил его только вчера. Он все такой же. Я в восторге, что вижу тебя снова! — И он рассмеялся мягким, немного нервным смехом. Несколько минут он говорил о войне, о прежних днях в колледже, а Пирсон глядел на него и думал: «Зачем он приехал?»

— У тебя, наверно, есть что-нибудь ко мне, Алек? — сказал он наконец.

Каноник Рашбурн слегка подался вперед в кресле и ответил с видимым усилием:

— Да. Мне хотелось немного потолковать с тобою, Эдвард. Надеюсь, ты не будешь возражать. Очень надеюсь на это.

— А почему бы мне возражать?

Глаза каноника Рашбурна засияли еще больше, по лицу разлилась дружественная улыбка.

— Я знаю, что ты вправе сказать мне: не суйся в чужие дела. Но я все-таки решил прийти к тебе, как друг, надеясь спасти тебя от... э...

Он осекся и начал снова:

— Надеюсь, ты понимаешь, какие чувства испытывает твоя паства от... э... оттого, что ты попал в очень щекотливое положение. Это не секрет, что к нам поступают письма; ты, наверно, представляешь, о чем я говорю? Поверь мне, мой дорогой друг, что мною движет лишь старая дружба; ничего больше, уверяю тебя.

В наступившей тишине слышно было только тяжелое дыхание гостя, похожее на дыхание астматика; он, не переставая, поглаживал толстые колени, а в лице его, все так же излучавшем добродушие, чувствовалась некоторая настороженность. Яркое солнце озаряло эти две черные фигуры, такие разные, и обнажало все изъяны в их поношенных одеяниях, порыжелых от времени, как это свойственно одежде священников.

Помолчав, Пирсон сказал:

— Спасибо тебе, Алек. Я понимаю.

Каноник гулко вздохнул.

— Ты даже не представляешь, с какой легкостью люди превратно истолковывают даже тот факт, что она продолжает жить у тебя; им это кажется чем-то... чем-то вроде вызова. Они вынуждены... я думаю, они чувствуют, что... И я опасаюсь, что в конце концов...— Он остановился, потому что Пирсон закрыл глаза.

— Ты думаешь, мне придется выбирать между дочерью и приходом?

Каноник, спотыкаясь на каждом слове, попытался смягчить остроту вопроса.

— Мое посещение носит неофициальный характер, мой дорогой друг; но я бы не сказал, что и абсолютно неофициальный. Здесь, очевидно, многие так настроены, это я и хотел тебе сообщить. Ты не совсем разобрался в том, что...

Пирсон поднял руку.

— Я не могу говорить об этом.

Каноник встал.

— Поверь мне, Эдвард, я глубоко тебе сочувствую. Но мне казалось, что я должен предупредить тебя.— Он протянул руку.— До свидания, дорогой друг, и прости меня.

Он вышел. В прихожей с ним случилось такое неожиданное и так смутившее его приключение, что он смог рассказать об этом только одной миссис Рашбурн, и то ночью.

— Когда я вышел из комнаты моего бедного друга,— рассказывал он,— я налетел на детскую коляску и на эту молодую мать, которую помню еще вот такой крошкой,— он показал рукой, какой именно.— Она собирала ребенка на прогулку. Я вздрогнул и с перепугу спросил как-то по-глупому: «Мальчик?» Бедная молодая женщина пристально посмотрела на меня. У нее очень большие глаза, очень красивые и какие-то странные. «Вы говорили с папой обо мне?» «Моя дорогая, молодая леди,— ответил я.— Я ведь его старый друг, вы знаете. И вы должны простить меня». Тогда она сказала: «Что же, ему предложат подать прошение об уходе?» «Это зависит от вас»,— сказал я.— Почему я все это говорил, Шарлотта? Мне лучше бы придержать язык. Бедная женщина! Такая молодая! А этот крохотный ребенок!

— Она сама во всем виновата, Алек,— ответила миссис Рашбурн.

ГЛАВА VII

Когда каноник исчез за дверью, Пирсон принялся расхаживать по кабинету, и в сердце его поднимался гнев. Дочь или приход? Старая поговорка гласит: «Дом англичанина — его крепость!»; и вот на его дом началась атака. Ведь это же его долг — дать приют своей дочери и помочь ей искупить грех и снова обрести мир и душевные силы. Разве не поступил он как истинный христианин, избрав для себя и для нее более трудный путь? Либо отказаться от этого решения и дать погибнуть душе дочери, либо отказаться от прихода! Разве это не жестоко — ставить его перед таким выбором?

Ведь эта церковь — вся его жизнь; единственное место, где такой одинокий человек, как он, может почувствовать хотя бы какое-то подобие домашнего очага; тысячи нитей связывают его с его церковью, с прихожанами, с этим домом; уйти из церкви, но продолжать жить здесь? Об этом не может быть и речи. И все-таки главными чувствами, которые обуревали его, были гнев и растерянность; он поступил так, как повелевал ему долг, и за это его осуждают его же прихожане!

Его охватило нетерпеливое желание — узнать, что же на самом деле думают и чувствуют они, его прихожане, к которым он относился так дружески и которым отдавал так много сил. Этот вопрос не давал ему покоя, и он вышел из дому. Но он понял всю нелепость своего намерения еще до того, как пересек площадь. Нельзя же подойти к человеку и сказать: «Стой, выкладывай свои сокровенные мысли». И вдруг ему стало ясно, что он и в самом деле очень далек от них. Разве его проповеди помогли ему проникнуть в их сердца? И теперь, когда он стоит перед жестокой необходимостью узнать их подлинные мысли, у него нет никаких путей для этого. Он наудачу зашел в писчебумажную лавку, хозяин которой пел в его хоре. На протяжении последних семи лет они встречались каждое воскресенье. Но когда он, мучимый жаждой узнать тайные мысли этого человека, увидел его за прилавком, ему показалось, что он видит его впервые. В его голове промелькнула русская пословица: «Чужая душа — потемки». Он спросил:

— Ну, Хотсон, какие новости от вашего сына?

— Пока ничего нет, мистер Пирсон. Благодарю вас, сэр. Пока еще ничего.

Пирсон смотрел на его лицо, обрамленное короткой седеющей бородкой, подстриженной точь-в-точь как его собственная. Он, должно быть, думает: «Ладно, сэр! А вот какие новости насчет вашей дочери?» Нет, ни один из них не выскажет ему прямо то, что у него на душе. Он купил два карандаша и вышел.

На другой стороне улицы была лавка, где торговали птицами. Владельца ее призывали в армию, и в лавке хозяйничала его жена. Она никогда не проявляла дружеских чувств к Пирсону, потому что он не раз пенял ее мужу за то, что тот торговал жаворонками и другими

вольными пташками. Но он намеренно пересек улицу и остановился у витрины с горькой надеждой, что именно от этой недружелюбной женщины услышит правду. Она была в лавке и подошла к двери.

— Есть какие-нибудь вести от мужа, миссис Черри?

— Нет, мистер Пирсон. На этой неделе не было.

— Его еще не отправили на передовую?

— Нет, мистер Пирсон. Пока нет.

Лицо ее оставалось равнодушным. У Пирсона вдруг возникло дикое желание крикнуть: «Ради бога, женщины, откройте свою душу; скажите, что вы думаете обо мне и о моей дочери! Пусть вас не смущает одеяние священника!» Но он не мог спросить ее, так же, как женщина не могла ничего сказать ему. И, пробормотав: «До свидания», — он пошел дальше.

Никто, ни мужчина, ни женщина, ничего ему не скажут, разве что в нетрезвом состоянии. Он подошел к кабачку и на мгновение заколебался; но мысль о том, что здесь могут оскорбительно отозваться о Ноэль, остановила его, и он прошел мимо. Только теперь он почувствовал подлинную правду: он вышел из дому с намерением узнать, что думают о нем люди, а на самом деле он вовсе и не хочет ничего узнавать, ибо не сможет этого перенести. Слишком давно не слышал он о себе осуждающего слова, слишком долго находился в положении человека, призванного говорить другим то, что он о них думает! Он стоял посреди людной улицы — и вдруг почувствовал страшную тоску по деревне; так бывало с ним всегда в тяжелые моменты жизни. Он заглянул в записную книжку. Какая редкая удача! У него почти свободный день. Рядом остановка автобуса, он увезет его за город. Он взобрался в автобус и доехал до Хендона. Там он слез и дальше отправился пешком. Стоял яркий теплый день, кругом расцветал и благоухал май. Он быстро шел по очень прямой дороге, пока не добрался до Элстри Хилл. Там он постоял несколько минут, глядя на школьную часовню, площадку для крикета, на широкие деревенские просторы. Было очень тихо, наступил час завтрака. Неподалеку паслась на привязи лошадь; мимо пробежала кошка; напуганная несуразно высокой черной фигурой, она вдруг замерла на месте, потом, проскользнув под калитку, выгнула спину

и стала тереться о его ногу. Пирсон наклонился и погладил ее; слабо мяукнув, кошка грациозно перебежала через дорогу. Он пошел дальше, миновал деревню, перелез через изгородь и по тропинке спустился вниз. На краю поля молодого клевера, у изгороди из боярышника, он лег на спину, положив рядом шляпу, и скрестил руки на груди — словно изваяние какого-нибудь крестоносца на древней гробнице. Хотя он лежал не менее спокойно, чем древний рыцарь, глаза его были открыты и взор устремлен в синеву, где звенел жаворонок. Песня жаворонка освежила его душу; ее восторженная легкость снова разбудила в нем чувство красоты и в то же время вызвала протест против жестокого и немилосердного мира. О, если бы он мог улететь вместе с этой песнью в страну ясных умов, где нет ничего уродливого, грубого, беспощадного, где кроткое лицо Спасителя излучает вечную любовь! Аромат майских цветов, озаренных солнцем, смягчил его душу; он закрыл глаза, и тут же его мысль, словно негодуя на эту недолгую передышку, еще более напряженно заработала, и он возобновил спор с самим собой. Дело дошло до крайностей, приобрело страшную и тайную многозначительность. Если поступать так, как повелевает ему совесть, тогда надо признать, что он оказался неспособным вести свою паству. Все было построено на песке, не имело настоящей глубокой основы и держалось только на условностях. Милосердие, искупление грехов, что стало со всем этим? Либо ошибается он, избрав для Ноэль путь исповеди и раскаяния, либо ошибаются они, заставляя его отказаться от этого решения. Соединить эти две крайности невозможно. Но если ошибку совершил он, избрав самый тяжкий путь, что ему теперь остается? Идеалы церкви рушились в его сознании. Ему казалось, что его вышвырнули за пределы мира и он висит в воздухе, уткнувшись головой в облако, которое застлало ему глаза. «Я не мог ошибиться, — думал он. — Любое другое решение было бы намного легче. Я пожертвовал своей собственной гордостью и гордостью моей бедной дочери; я бы предпочел, конечно, чтобы она скрылась. Если за это в нас бросают камнями и изгоняют нас, то какова же жизненная сила религии, которую я так чтил? К чему тогда все это? Разве я сотворил что-либо постыдное? Я не могу

и не хочу поверить в это. Что-то со мной происходит неладное, да, неладное — но что и в чем?»

Он повернулся, припал лицом к земле и начал молиться. Он молил бога наставить его, избавить от приступов гнева, которые так часто овладевали им в последнее время; а главное — избавить от чувства личной обиды и ощущения несправедливости того, что происходит с ним. Он старался остаться верным тому, что считал справедливым, ради этого он пожертвовал своей чувствительностью, тайной гордостью, которая жила в его дочери и в нем самом. И за это его изгоняют!

Была ли тому причиной молитва или пряный запах клевера, но внезапно к нему пришло умиротворение. Вдалеке виднелся шпиль церкви. Церкви!.. Нет! Она не ошибается и никогда не ошибется. Ошибка кроется в нем самом. «Я совершенно непрактичный человек,— подумал он.— Это так, я знаю. Об этом не раз говорила Агнесса, так думают Боб и Тэрза. Они считают меня не от мира сего, мечтателем. Но разве это грех, хотел бы я знать?»

Рядом на поле паслись ягнята; он стал следить за их прыжками, и у него отлегло от сердца; стряхнув клеверную пыльцу со своего черного одеяния, он пошел обратно тем же путем. На площадке мальчишки играли в крикет, и он несколько минут стоял и глядел на них. Он не видел этой игры с самого начала войны, и теперь она представлялась ему чем-то нереальным, призрачным — удары бит, звонкие молодые голоса, гудение «воздушных ос»¹, проносившихся над Хендоном. Один из мальчиков сильным ударом послал биту. «Хорошо сыграно!» — крикнул Пирсон. Но, вспомнив о том, какой несуразной должна казаться его фигура на этой зеленой лужайке, повернулся и зашагал по дороге в Лондон. Подать в отставку... Выждать... Услать куда-нибудь Ноэль... Из этих трех возможностей только последняя казалась ему невыносимой. «Неужели я и впрямь так далек от них,— думал он,— что они могут потребовать моего ухода? Если так, то мне лучше уйти. Ну что ж, еще одна жизненная неудача. Но пока я не могу поверить этому. Не могу».

¹ Тип военного самолета в войну 1914 — 1918 гг.

Жара все усиливалась, и он очень устал, прежде чем добрался до автобуса и уселся, подставив разгоряченное лицо под охлаждающий ветерок. Домой он вернулся только к шести часам. С утра у него во рту не было ни крошки. Собираясь в ожидании обеда принять ванну и прилечь, он поднялся наверх.

Там царила необычайная тишина. Он постучал в дверь детской — она была пуста. Прошел в комнату Ноэль, но и здесь никого не было. Шкаф стоял открытым, словно из него торопливо доставали вещи, ничего не было и на туалетном столике. В тревоге он подошел к звонку и резко дернул кольцо. Старомодный звонок прозвонил где-то далеко внизу. Вошла горничная.

— Где мисс Ноэль и нянька, Сьюзен?

— Я не знала, что вы пришли, сэр. Мисс Ноэль просила передать вам это письмо. Она.. Я...

Пирсон остановил ее движением руки.

— Спасибо, Сьюзен, принесите мне чаю, пожалуйста.

Не распечатывая письма, он подождал, пока она уйдет. Голова у него кружилась, и он присел на кровать Ноэль. Потом стал читать.

«Дорогой папа!

Тот человек, который приходил утром, сказал мне о том, что должно случиться. Я просто не хочу, чтобы это произошло. Няньку и ребенка я отправляю в Кестрель, а сама переночую у Лилы, потом решу, что делать дальше. Я знаю, что совершила ошибку, вернувшись к тебе. Мне безразлично, что случится со мной, но я не хочу, чтобы было плохо тебе. Я считаю, что мучить и преследовать тебя за мою ошибку — отвратительно. Мне пришлось занять у Сьюзен шесть фунтов. Прости меня, дорогой папа.

Любящая тебя
Нолли».

Он прочел письмо с невыразимым облегчением; по крайней мере он знает, где она — бедная, своевольная, порывистая девочка с любящим сердцем! Он знает, где она, и может пойти к ней. Он примет ванну, выпьет чаю, а потом пойдет к Лиле и приведет Ноэль домой. Бедная маленькая Нолли, ей кажется, что, уйдя от него, она сразу развяжет этот запутанный узел! Он был слыш-

ком измучен и поэтому не спешил; около восьми он вышел, оставив записку Гретиане — она, как правило, не приходила из госпиталя раньше девяти.

Дневная жара еще не спала, но уже наступила прохлада, и он всеми своими освеженными чувствами впитывал красоту вечера. «Бог так сотворил мир,— размышлял он,— что, несмотря на нашу борьбу и страдания, жить всегда радостно — и тогда, когда сверкает солнце, и тогда, когда сияет луна или приходит звездная ночь. Даже мы не в состоянии испортить этого!» В Риджент-парке сирень и ракитник были еще в цвету, хотя близился июнь, и он смотрел на них, как смотрит любовник на свою возлюбленную. И вдруг словно что-то кольнуло его. Он вспомнил миссис Митчет и ее черноглазую дочь, которую она привела к нему в канун Нового года, в тот самый вечер, когда он узнал о трагедии своей дочери! Подумал ли он хоть раз о них с того времени? Что теперь с этой бедной девушкой? Ее упорство вывело его тогда из терпения. Что знает он о сердцах ближних, если свое собственное для него — тайна; если он не в силах подавлять свой гнев и возмущение; если он не сумел привести в тихую гавань даже собственную дочь? А Лила? Разве он не осуждал ее в мыслях? Как силен, как странен этот инстинкт пола, который тяготеет над жизнью людей, уносит их, словно шквал, и выбрасывает, измученных и беззащитных! Прогромыхало несколько фургонов с оружием, выкрашенных в глухой серый цвет, ими правили загорелые юноши в куртках цвета хаки. Сила жизни, сила смерти — все это, по сути, одно и то же: некая непознаваемая сила, от которой только одно спасение — в лоне небесного Отца.

На память пришли строки Блэйка¹:

Нам на земле достался малый уголок,
Чтоб здесь познать нам жар лучей любви,
И черные тела, медь загорелых лиц —
Лишь облако одно над сенью тихих роц.
Когда научимся мы этот жар терпеть,
Растает облако, и мы услышим глас:
Придите: вам — моя забота и любовь,
Ликуйте, агнцы, вокруг моего шатра.

¹ Б л э й к, Уильям (1757—1827) — английский поэт и художник.

«Научимся мы этот жар терпеть»! Те ягнята, которых он видел сегодня в поле, их неожиданные прыжки, их забавные, дрожащие хвостики, принюхивающиеся черные мордочки — какие это прелестные, беспечные создания, как радуются они жизни среди полевых цветов! Ягнята, и цветы, и солнечный свет! Голод, и похоть, и эти огромные серые пушки! Лабиринт, пустыня! И если бы не вера — какой исход, какой путь избрать человеку, как не блуждать ему безнадежно в беспросветном мраке? «Сохрани, боже, нашу веру в любовь, в милосердие и в потустороннюю жизнь», — подумал он. Слепой человек с собакой, к ошейнику которой была привязана глубокая тарелочка для денег, вертел шарманку. Пирсон бросил в тарелочку шиллинг. Слепец перестал играть и поднял на него белесые глаза.

— Спасибо, сэр, теперь я пойду домой. Вперед, Дик!

Он пошел, выстукивая дорогу палкой, и свернул за угол; собака бежала перед ним. Невидимый в кусте цветущей акации дрозд завел вечернюю песню, и еще один большой серый фургон прогремыхал через ворота парка.

Часы на церкви пробили девять, когда Пирсон дошел до квартиры Лилы. Он поднялся и постучал. Звуки пианино умолкли, дверь открыла Ноэль. Она отшатнулась, увидев его. Потом сказала:

— Зачем ты пришел, папа? Лучше бы тебе не приходить.

— Ты здесь одна?

— Да. Лила дала мне ключ. Она работает в госпитале до десяти.

— Ты должна вернуться домой, моя родная.

Ноэль закрыла пианино и села на диван. На лице ее было то самое выражение, как и в тот раз, когда он запретил ей выходить замуж за Сирила Морленда.

— Ну же, Нолли! — сказал он. — Не будь безрасудной. Мы должны пережить все это вместе.

— Нет.

— Моя дорогая, это — ребячество! Будешь ли ты жить в моем доме или не будешь, — это не повлияет на мое решение поступить так, как велит мне долг.

— Но дело именно в том, что я живу у тебя. Эти люди безразличны ко всему, но только до тех пор, пока не разразится открытый скандал.

— Нолли!

— Но это же так, папа! Именно так, ты сам знаешь. А если я уйду, они станут тебя жалеть за то, что у тебя плохая дочь. И пусть. Я и есть плохая дочь.

— Ты говоришь совсем так, как в те дни, когда была малышкой,— улыбнулся Пирсон.

— Я бы хотела снова стать маленькой или же лет на десять старше, чем теперь. О, этот возраст!.. Но я не вернусь домой, папа. Это ни к чему.

Пирсон сел рядом с ней.

— Я думал об этом весь день,— сказал он, стараясь быть спокойным.— Может быть, в гордыне своей я и совершил ошибку, когда впервые узнал о твоей беде. Может быть, уже тогда мне надо было примириться с моей неудачей, оставить церковь и увезти тебя куда-нибудь. В конце концов, если человек не годится на то, чтобы заботиться о душах ближних, он должен по крайней мере сообразовать понять это.

— Но ты годишься! — крикнула страстно Ноэль.— Папа, ты годишься!

— Боюсь, что нет. Чего-то во мне не хватает; не знаю только — чего. Но чего-то очень не хватает.

— Нет, это не так! Просто ты слишком хороший, вот в чем дело!

— Не надо, Нолли,— покачал головой Пирсон.

— Нет, я должна сказать,— продолжала Ноэль.— Ты слишком мягок и слишком добр. Ты милосерден и прост, и ты веришь в бога и загробную жизнь — вот в чем дело. А эти люди, которые хотят выгнать нас, ты думаешь — они верят? Они даже не начинали верить, что бы они ни говорили и ни думали. Я ненавижу их, а иногда ненавижу церковь; она либо жестока и тупа, либо вся погрязла в мирских делах.

Она остановилась, заметив, как изменилось его лицо; на нем были написаны ужас и боль, словно кто-то извлек на свет божий и выставил перед ним его собственную, молчаливую измену самому себе.

— Ты говоришь дикие вещи! — сказал он, но губы

его тряслись.— Ты не смеешь этого говорить; это — богохульство и злоба!

Ноэль сидела, прикусив губу, настороженная и тихая, прислонившись к большой голубой подушке. Но вскоре она взорвалась снова:

— Ты словно раб служил этим людям долгие годы! Ты лишал себя удовольствия, ты лишал себя любви; для них ничего не значило бы, если бы твое сердце разорвалось. Им все равно до тех пор, пока соблюдены приличия. Папа, если ты позволишь им причинить тебе боль, я не прощу тебе!

— А если ты причиняешь мне боль сейчас, Нолли? Ноэль прижала его руку к своей горячей щеке.

— Ах, нет! Нет! Я не причиню... Я не причиню тебе боли. Никогда больше! Один раз я уже сделала это.

— Очень хорошо, моя родная! Тогда пойдем со мной домой, а потом решим, как нам лучше поступить. Убежать — это не решение вопроса.

Ноэль выпустила его руку.

— Нет, дважды я делала, как хотел ты, и дважды это оказалось ошибкой. Если бы я не ходила в воскресенье в церковь, чтобы доставить тебе удовольствие, может быть, до этого и не дошло бы. Ты не видишь, что происходит вокруг тебя, отец. Я могу тебе рассказать, хотя сидела в церкви в первом ряду. Я знаю, какие у людей были лица и о чем они думали.

— Надо поступать правильно, Нолли, и ни на кого не обращать внимания.

— Да. Но что такое правильно? Для меня неправильно причинять тебе боль, и я не стану делать этого.

Пирсон вдруг понял, что бесполезно пытаться ее переубедить.

— Что же ты тогда думаешь делать?

— Завтра я поеду в Кестрель. Тетушка будет мне рада, я знаю; до этого я хочу повидаться с Лилой.

— Что бы ты ни предприняла, обещай поставить меня в известность.

Ноэль кивнула.

— Папочка, ты выглядишь страшно усталым. Я сейчас дам тебе лекарство.— Она подошла к маленькому треугольному шкафчику и наклонилась, собираясь что-то достать. Лекарство! Оно нужно не для

его тела, а для души. Единственное лекарство, которое могло бы исцелить его,— это знать, в чем состоит его долг!

Он очнулся, услышав звук хлопнувшей пробки.

— Что ты там делаешь, Ноэли?

Ноэль выпрямилась; в одной руке она держала стакан с шампанским, в другой — бисквит.

— Тебе надо выпить вина; и я тоже немного выпью.

— Милая моя,— сказал ошеломленный Пирсон.— Это ведь не твое вино!

— Выпей, папа! Разве ты не знаешь — Лила никогда не простит мне, если я отпущу тебя домой в таком состоянии. А кроме того, она сама велела мне поест. Выпей. Потом пошлешь ей какой-нибудь приятный подарок. Выпей же!

Она топнула ногой.

Пирсон взял стакан, сел и принялся пить вино маленькими глотками, закусывая бисквитом. Очень приятно! Он даже не представлял себе, как необходимо ему было сейчас подкрепиться. Ноэль отошла от шкафчика, держа в руках стакан и кусочек бисквита.

— Ну вот, теперь ты выглядишь лучше. А сейчас поезжай домой, возьми такси, если сумеешь найти; и скажи Грэтиане, чтобы она тебя кормила как следует, иначе от тебя скоро останется один дух; а с духом, но без тела ты не сможешь выполнять свой долг, вот что!

Пирсон улыбнулся и допил шампанское. Ноэль взяла у него стакан.

— Сегодня ты мой ребенок, и я отправляю тебя спать. Не тревожься, папа; все будет хорошо! — И, взяв его за руку, она спустилась с ним по лестнице и, стоя в дверях, послала ему вслед воздушный поцелуй.

Он шел как во сне. Дневной свет еще не угас, но луна уже всходила, она была на ущербе; прожекторы начали свои ночные прогулки по небу. То было небо, заселенное призраками и тенями; и оно как нельзя лучше соответствовало мыслям, которые владели Пирсоном. А, может быть, все это — перст Провидения? Почему бы ему не уехать во Францию? В самом деле — почему нет? Его место займет кто-нибудь другой, кто лучше его понимает человеческое сердце, знает жизнь; а он пойдет туда, где смерть делает все простым и ясным,— уж там-то он

не потерпит неудач. Он шагал все быстрее и быстрее, полный какого-то пьянящего облегчения. Тэрза и Грэтiana позаботятся о Нолли лучше, чем он. Нет, право же, так предначертано свыше! Город был весь в лунном свете; все вокруг стало какого-то сине-стального цвета, даже воздух; это был сказочный город — город мечты, и он шел этим городом, весь охваченный волнением и восторгом. Скоро он будет там, где сложили свою голову этот бедный мальчик и миллионы других; там, где грязь и разрывы снарядов, где обожженная, серая земля, разбитые деревья, где каждый день повторяются муки Христовы, где ему самому так часто хотелось очутиться в эти последние три года. Да, так предуказано свыше!

Навстречу ему шли две женщины; увидев его, они переглянулись, и готовые сорваться слова «Проклятый ворон» замерли у них на губах.

ГЛАВА VIII

У Ноэль стало легче на душе, словно она одержала важную победу. Она нашла немного консервированного мяса, положила его на кусок бисквита, жадно съела и допила остаток шампанского. Потом стала искать сигареты и наконец села за пианино. Она играла старые песенки: «Есть таверна в городе», «Полюбил я красавицу», «Мы косим ячмень», «Клементина», «Долина Шотландии» — и напевала, вспоминая слова. Она чувствовала, как быстро течет кровь в ее жилах, и один раз вскочила и немного покружилась в танце. Потом, став коленями на подоконник, выглянула на улицу и тут же услышала, как открылась дверь. Не оборачиваясь, она крикнула:

— Ну разве не великолепная ночь! Папа был здесь. Я угостила его твоим шампанским, а остальное допила сама...

Но тут она увидела в дверях фигуру, слишком высокую для Лилы. Мужской голос сказал:

— Простите. Это я, Джимми Форт.

Ноэль вскочила на ноги.

— Лилы нет дома, она скоро будет; уже начало одиннадцатого.

Он стоял неподвижно посреди комнаты.

— Может быть, присядете? Не хотите ли сигарету?

— Спасибо.

При свете зажигалки она ясно разглядела выражение лица Форта. Это наполнило ее каким-то веселым злорадством.

— Я уйду,— сказала она.— Передайте, пожалуйста, Лиле, что я решила не оставаться.

Она подошла к дивану и взяла шляпу. Надев ее, она увидела, что Форт подошел к ней вплотную.

— Ноэль... Вы не возражаете, что я вас так называю?

— Нисколько.

— Не уходите; я сам уйду.

— О нет! Ни за что на свете! — Она пыталась проскользнуть мимо него, но он схватил ее за руку.

— Пожалуйста! Оставайтесь хоть на одну минуту!

Ноэль стояла, не двигаясь, и смотрела на него; он все еще держал ее за руку. Потом спросил тихо:

— Вы не можете сказать мне, почему вы пришли сюда?

— О, просто повидать Лилу!

— Значит, дома стало совсем невозможно, не правда ли?

Ноэль пожала плечами.

— Вы сбежали, да?

— От кого?

— Не сердитесь; вы не хотели доставлять неприятности отцу?

Она кивнула.

— Я знал, что дойдет до этого. Что же вы собираетесь делать?

— Жить в свое удовольствие.— Она чувствовала, что это звучит легкомысленно, но ей именно этого и хотелось.

— Это нелепо. Не сердитесь! Вы совершенно правы. Только надо поступать разумно, да? Сядьте!

Ноэль попыталась освободить свою руку.

— Нет, сядьте, пожалуйста.

Ноэль села. Но когда он отпустил ее, она рассмеялась. «На этом самом месте он сидел с Лилой, и здесь же они будут сидеть, когда я уйду»,— подумала она.

— Все это страшно забавно,— сказала она.

— Забавно? — пробормотал он со злостью.— Много забавного в этом забавном мире.

Она услышала, как неподалеку остановилось такси, и подобрала ноги, готовясь твердо опереться ими о пол, когда вскочит. Успеет она, прежде чем он схватит ее за руку, проскользнуть мимо него и добежать до такси?

— Если я сейчас уйду, вы обещаете мне оставаться здесь до прихода Лилы? — спросил Форт.

— Нет.

— Это глупо. Ну же, обещайте!

Ноэль покачала головой. Его озабоченность доставляла ей какое-то недоброе удовлетворение.

— Лиле везет, правда? Ни детей, ни мужа, ни отца, никого. Чудесно!

Она увидела, как он поднял руку, словно обороняясь от удара.

— Бедная Лила! — сказал он.

— Почему вы ее жалеете? У нее свобода! И у нее *вы*!

Она знала, что ее слова больно ранят его, но ей и хотелось сделать ему больно.

— Не вам ей завидовать.

Едва он сказал это, как Ноэль заметила, что кто-то стоит в дверях.

Она вскочила и выпалила одним духом.

— О! Это ты, Лила? Приходил папа, и мы выпили твое шампанское.

— Отлично! А вы так и сидите в темноте?

Ноэль почувствовала, как кровь прилила к ее лицу. Вспыхнул свет, и Лила шагнула вперед. В своем платье сестры милосердия она выглядела особенно бледной, спокойной и сдержанной, полные губы ее были крепко сжаты. Но Ноэль заметила, как вздымается ее грудь. Стыд, уязвленная гордость поднялись в девушке. Почему она не убежала? Зачем позволила поймать себя в ловушку? Лила подумает, что она кружит ему голову! Это ужасно! Отвратительно! Почему он ничего не говорит? Почему все молчат?

— Я не ждала вас, Джимми,— промолвила Лила. — Я рада, что вам не было скучно. Ноэль останется

здесь на ночь. Дайте мне сигарету. Садитесь оба. Я страшно устала!

Она опустилась в кресло, откинулась назад и положила ногу на ногу; Ноэль глядела на нее с восхищением. Форт подал ей огня; рука его дрожала, он казался жалким и обиженным.

— Дайте и Ноэль сигарету и задерните шторы, Джимми. Поскорее. Собственно, это все равно, но на улице светло как днем. Садись, дорогая.

Но Ноэль не села.

— О чем же вы разговаривали? О любви, о китайских фонариках или только обо мне?

При этих словах Форт, который задегивал штору, обернулся; его высокая фигура неуклюже вырисовывалась на фоне стены. Ему была чужда какая-либо дипломатия, и он выглядел так, словно его отхлестали. Если бы на его лице появились рубцы, Ноэль не была бы удивлена.

Он сказал, мучительно подыскивая слова:

— Я и сам не знаю, о чем мы говорили; мы только начали беседовать.

— Весь вечер еще впереди, — сказала Лила. — Продолжайте, а я пока переоденусь.

Она встала и с сигаретой во рту отправилась в другую комнату. Проходя, она бросила взгляд на Ноэль. Что крылось за этим взглядом, девушка не могла себе уяснить. Так могло смотреть, пожалуй, подстреленное животное — здесь был и какой-то затаенный вопрос, и упрек, и гнев, и в то же время гордость, и трепет угасания. Когда дверь закрылась, Форт начал шагать по комнате.

— Идите к ней! — крикнула Ноэль. — Вы ей нужны. Разве вы не понимаете, как вы ей нужны?

И прежде чем он успел двинуться, она была у двери, сбежала по лестнице и вышла на лунный свет. Чуть подалее отъезжало такси; она подбежала и крикнула:

— Куда-нибудь! На Пикадилли! — И, вскочив в машину, забила в угол, откинувшись на спинку сиденья.

Несколько минут она не могла прийти в себя, потом

почувствовала, что больше не может сидеть в машине, остановила ее и вышла. Где она? Бонд-стрит! Она бесцельно побрела по этой узкой улице, такой оживленной днем и такой пустынной ночью. Ах, как скверно! Ничего не было сказано — ничего, но все словно проступило наружу в поведении Лилы и ее самой. Ноэль казалось, что она потеряла и гордость и достоинство, словно ее уличили в воровстве. Веселое возбуждение испарилось, осталось только горестное беспокойство. Что бы она ни делала, все кончается плохо — почему так всегда получается? Свет луны падал меж высоких домов, и в голове у нее родились странные мысли. «Фея» — так называл ее отец. Она рассмеялась. «Нет, я не пойду домой», — подумала она. Ей надоела длинная улица, она свернула в сторону и неожиданно очутилась на Ганновер-сквер. Посреди площади стояла церковь, серо-белая, в которой когда-то венчался ее троюродный брат, а она, пятнадцатилетняя девочка, была подружкой невесты. Казалось, она видит все снова — свой наряд, лилии в руках, стихари хористов, платье невесты — и в лунном свете все кажется совсем сказочным! «Интересно, какой она стала? — подумала Ноэль. — А он, наверное, убит, как Сирил». Она ясно увидела лицо отца, который тогда венчал молодых, и слышала его голос: «В добре и в зле, в богатстве и бедности, в болезнях и здравии вы соединяетесь до самой смерти». Ей почудилось, что лунный свет, падающий на церковь, словно вздрагивает и движется — наверно, там летают кем-то вспугнутые голуби. Но тут видение свадьбы исчезло, и перед Ноэль встали лица мосье Барра, понуро сидящего на стуле, и Чики, баюкающей куклу. «Все спятили, mademoiselle, немного спятили. Миллионы людей с чистой душой, но все чуть-чуть сумасшедшие, знаете ли». Потом перед нею появилось лицо Лилы, ее взгляд. Она опять ощутила горячее прикосновение руки Форты к своей и торопливо пошла вперед, потирая эту руку. Она свернула на Риджент-стрит. Овальный купол Квадранта словно плыл по небу небывалой синевы, оранжевые блики затененных фонарей придавали всему еще большую призрачность. «О любви и о китайских фонариках...» «Мне хочется кофе», — подумала она вдруг. Она была недалеко от того кафе, куда они заходили с Лавенди.

Войти? А почему бы и нет? Нужно же где-нибудь по-
есть. Ноэль остановилась у вращающейся стеклянной
клетки. Но не успела она войти в нее, как вспомнила, ка-
кое отвращение было на лице Лавенди, вспомнила на-
крашенных женщин, зеленый напиток, пахнувший мя-
той, и остановилась в смущении. Она сделала полный
круг во вращающейся клетке и со смехом вышла снова
на улицу. Там стоял высокий молодой человек в хаки.
«Привет! — сказал он. — Пойдем потанцуем!» Она
вздрагнула, отскочила в сторону и пустилась бежать.
Она пронеслась мимо какой-то женщины, взгляд кото-
рой словно опалил ее. Женщина возникла как привиде-
ние из развалин — горящие глаза, грубо напудренные
щеки, обвисшие красные губы. У Ноэль мороз пробежал
по коже, и она помчалась дальше, понимая, что спасе-
ние только в быстроте... Но не может же она ходить по
городу всю ночь! Поезда в Кестрель не будет до утра;
да и хочет ли она поехать туда и окончательно истер-
зать там сердце? Вдруг она вспомнила о Джордже: по-
чему бы не поехать к нему? Он-то лучше знает, как ей
поступить. Она постояла у подножия ступенек колонны
Ватерлоо. Было тихо и пустынно. Огромные здания, бе-
лые от луны, сказочно-голубые деревья. От их цветущих
верхушек веяло легким ароматом. Лунная ночь про-
буждала в Ноэль то состояние одержимости, которое за-
ставило ее отца назвать ее «феей». Она почувствовала
себя маленькой и легкой, словно ей ничего не стоило про-
лезть через кольцо, снятое с пальца. Слабые полосы
света проступали из окон Адмиралтейства. Война! Как
бы ни были прекрасны ночи, как бы ни благоухала си-
рень — война продолжается. Она отвернулась и прошла
под аркой, направляясь к вокзалу. Только что прибыл
поезд с ранеными, и она стояла в шумной толпе встре-
чающих и смотрела, как подъезжают санитарные авто-
мобили. От волнения слезы заполнили ее глаза и по-
катились по щекам. Мимо нее проплывали на носилках
раненые, тихие, вялые, серые, один за другим, и каждо-
го провожали крики «ура». Потом все кончилось, и она
смогла войти в здание вокзала. В буфете она взяла
большую чашку кофе и булочку. Потом записала, когда
отходит самый ранний поезд, разыскала зал ожидания
для женщин, забилась в уголок и стала пересчитывать

деньги в кошельке. Два фунта пятнадцать шиллингов — достаточно, чтобы взять номер в гостинице, если бы она захотела. Но без багажа — это покажется подозрительным. Вполне можно выспаться здесь, в уголке. А как поступают те девушки, у которых нет ни денег, ни друзей и не к кому обратиться за помощью? Прислонившись к стене этой пустой, окрашенной масляной краской, неприветливой комнаты, она размышляла, и ей казалось, что она видит всю жестокость и бездушие жизни, видит ясно и отчетливо, как никогда, яснее даже, чем в дни, когда она готовилась стать матерью. Как, однако, ей всегда везло, да и сейчас везет! Все так добры к ней. Она никогда не знала настоящей нужды или несчастий. Но как ужасно положение женщин — да и мужчин, — у которых никакой опоры, ничего, кроме собственных рук и надежды на счастливый случай! У той женщины с горящими глазами, должно быть, тоже ничего и ничего нет. А люди, которые родились больными? А миллионы женщин вроде тех, которых они с Грэтной посещали иногда в бедных кварталах прихода своего отца, — теперь словно впервые перед ней по-настоящему раскрывалась их жизнь... Потом она вспомнила Лилу — Лилу, которую она ограбила. Хуже всего было то, что, несмотря на угрызения совести и жалость к Лиле, она ощущала какое-то удовлетворение. Она же не виновата в том, что Форт не любит Лилу, а полюбил ее! А он ее любит — она это чувствовала. Знать, что тебя любит кто-то, — это так приятно! Но как все это ужасно! И причиной всему — она. Но ведь она и пальцем не пошевелила, чтобы привлечь его. Нет! Она ни в чем не виновата.

Ей вдруг очень захотелось спать, и она закрыла глаза. И понемногу к ней пришло сладостное ощущение — она склоняется кому-то на плечо, как склонялась ребенком на плечо отца, когда они возвращались из далекого путешествия по Уэльсу или Шотландии. Ей даже показалось, что влажный, мягкий западный ветер дует ей в лицо, и она вдыхает запах куртки из грубой шерсти, и слышит стук копыт и шум колес, и погружается в темноту. В полудремоте ей стало казаться, что это не отец, а кто-то другой, кто-то другой... И потом все исчезло...

Она проснулась от гудка паровоза и испуганно огляделась по сторонам. У нее совершенно онемела шея. Болела голова, все тело ломило. Вокзальные часы показывали начало шестого. «Ах, если бы выпить чашку чая!— подумала она.— Все равно мне нечего здесь делать». Умывшись, она сильно растерла шею, чай освежил ее, и ей снова захотелось ехать, все равно куда. До поезда оставалось не меньше часа, можно было прогуляться и согреться; она пошла вниз, к реке. Там еще стоял утренний туман, все казалось странным и немного таинственным; но уже то и дело мимо проходили люди, направляясь на работу. Ноэль шла и глядела, как течет вода под клубящимся туманом, как над ней парят и кружатся чайки. Она дошла до Блэкфрайерского моста, потом повернула назад и уселась на скамейку под платаном как раз в ту минуту, когда выглянуло солнце. На скамейке уже сидела маленькая изможденная женщина с одутловатым желтым лицом, сидела так тихо и, казалось, не видела ничего вокруг себя, что Ноэль захотелось узнать, о чем может думать эта женщина. Пока Ноэль смотрела на нее, лицо женщины сморщилось и слезы потекли по ее щекам; набравшись смелости, Ноэль подселла ближе и спросила:

— Скажите, что с вами?

Слезы перестали течь, словно их остановил вопрос девушки. Женщина поглядела по сторонам, у нее были маленькие, серые, терпеливые глаза и странный, почти без переносицы, нос.

— У меня родился ребенок. Он умер... Отец его погиб во Франции. Я шла, чтобы утопиться. Но я испугалась воды, и теперь никогда не решусь на это.

«Никогда не решусь на это»... Эти слова потрясли Ноэль. Она протянула руку вдоль спинки скамьи и положила ее на костлявое плечо женщины.

— Не плачьте!

— Это был мой первенький. Мне тридцать восемь. У меня уже никогда не будет другого. Ах, почему я не утопилась!

Лицо ее опять сморщилось, и по щекам потекли слезы. «Да, ей надо поплакать,— подумала Ноэль,— ей на-

до поплакать, от этого ей станет легче». И она погладила плечо маленькой женщины, от которой шел запах старой, слежавшейся одежды.

— Отец моего ребенка тоже убит во Франции, — сказала Ноэль, помолчав.

Маленькие печальные серые глаза уставились на нее с любопытством.

— Правда? У вас есть ребенок?

— Да. О, да!

— Я рада этому. Это ведь так горько — потерять ребенка, правда? По мне уж лучше потерять мужа.

Солнце теперь ярко освещало это удивительно терпеливое лицо; однако Ноэль даже солнечный свет казался оскорбительным.

— Могу ли я чем-нибудь помочь вам? — прошептала она.

— Нет, спасибо, мисс. Я пойду домой. Я живу недалеко. Благодарю вас.

И, бросив на Ноэль еще один растерянный взгляд, женщина пошла вдоль набережной. Когда она пропала из виду, Ноэль вернулась на станцию. Поезд уже подали, и она вошла в вагон. Там было трое пассажиров, все в хаки; они сидели молча, сумрачные, как все люди, которым пришлось рано подняться с постели. Один был высок, черен, лет тридцати пяти; второй — небольшого роста, лет пятидесяти, с остриженными редкими седыми волосами; третий — среднего роста, наверно, ему было за шестьдесят, на его мундире красовалась колодка со множеством разноцветных ленточек; у него была лысая, узкая, красивой формы голова с седыми, зачесанными назад волосами, сухие черты лица и висячие усы в духе старой военной школы. На него и смотрела Ноэль. Когда он выглядывал в окно или задумывался, ей нравилось его лицо; но когда он поворачивался к контролеру или разговаривал со своими спутниками, оно почти переставало ей нравиться. Казалось, у этого старика две души — одну он хранит для себя, а в другую облачается каждое утро, чтобы встретиться с внешним миром. Военные разговаривали о каком-то трибунале, в котором им предстояло заседать. Ноэль не слушала, но слово-другое изредка доносилось до ее ушей.

— Сколько их сегодня? — услышала она вопрос старика.

Невысокий стриженный ответил:

— Сто четырнадцать.

Ноэль еще живо помнила маленькую бедную женщину, переживавшую свое горе, и невольно вся съежилась, глядя на этого старого солдата с тонким красивым лицом; в его твердых и спокойных руках была судьба «ста четырнадцати»; и, возможно, это происходит ежедневно. Может ли он понять несчастья или нужды этих людей? Нет, конечно, не может! Она вдруг увидела, что он оценивающе разглядывает ее своими острыми глазами. Знай он ее тайну, он, наверное, сказал бы: «Девушка из хорошего дома, а так поступает! О нет, это... это просто ни на что не похоже!»

Она почувствовала, что готова от стыда провалиться сквозь землю. Нет, пожалуй, он думает о другом: «Такая молодая — и путешествует одна в этот ранний час. К тому же хорошенькая!» Если бы он знал всю правду о ней — как бы он глядел на нее? Но почему же этот совершенно чужой ей человек, этот старый служака, одним случайным взглядом, одним только выражением лица заставил ее почувствовать себя гораздо более виновной и пристыженной, чем она чувствовала до сих пор? Это поразило ее. Он, наверно, просто твердолобый старик, начиненный всякими предрассудками; но он словно излучал какую-то властную силу, заставляющую ее стыдиться — должно быть, он твердо верит в своих богов и беззаветно им предан; она понимала, что он скорее умрет, чем отступит от своей веры и принципов. Она прикусила губу и отвернулась к окну, рассерженная, почти в отчаянии. Нет, она никогда, никогда не привыкнет к своему положению; тут уж ничего не поделаешь! И снова она затосковала о том, что видела во сне; ей захотелось уткнуться лицом в куртку, от которой пахнет грубой шерстью, зарыться в нее, спрятаться, забыть обо всем. «Если бы я была на месте этой маленькой одинокой женщины, — подумала она, — и понесла такую утрату, я бы бросилась в реку. Разбежалась бы и прыгнула. Это простая удача, что я жива. Не стану больше смотреть на этого старика и тогда не буду чувствовать себя такой плохой».

Она купила на вокзале шоколад и теперь грызла его, упорно глядя на поля, покрытые маргаритками и первыми цветками лютика и кашки. Трое военных разговаривали, понизив голоса. Слова: «эти женщины», «под контролем», «настоящая чума» — донеслись до нее, и уши ее запылали. Переживания вчерашнего дня, бессонная ночь и эта волнующая встреча с маленькой женщиной обострили ее чувствительность; ей казалось, что военные и ее включают в число «этих женщин». «Если будет остановка, я выйду», — подумала она.

Но когда поезд остановился, вышли эти трое. Она еще раз почувствовала на себе острый взгляд старого генерала, как бы подводивший итог впечатлению, которое она произвела на него. На мгновение она посмотрела ему прямо в лицо. Он прикоснулся к фуражке и сказал:

— Вы желаете, чтобы окно было поднято или опущено? — И до половины поднял окно.

Эта педантичность старика только ухудшила ее настроение. Когда поезд тронулся, она принялась рассказывать взад и вперед по пустому вагону; нет, ей не выйти из такого положения, как не выйти из этого мчащегося вперед мягкого вагона! Ей показалось, что она слышит голос Форта: «Пожалуйста, сядьте!» — и почувствовала, как он удерживает ее за руку. Ах, как приятны были и как успокаивали его слова! Уж он-то никогда не станет упрекать ее, не станет напоминать ни о чем. Но теперь она, наверно, никогда с ним не встретится.

Поезд наконец остановился. Она не знала, где живет Джордж, и ей пришлось пойти к нему в госпиталь. Она рассчитывала быть там в половине десятого и, наскоро позавтракав на станции, направилась в город. Над побережьем еще стоял ранний рассвет, предвещавший ясное утро. На улицах становилось все оживленнее. Здесь чувствовалась деловитость, порожденная войной. Ноэль проходила мимо разрушенных домов. С грохотом проносились огромные грузовики. Лязгали товарные платформы, отгоняемые на запасный путь. В светлой дымке неба летали, как большие птицы, самолеты и гидросамолеты. И повсюду были хаки. Ноэль хотелось попасть к морю. Она пошла к западу и добралась до небольшого пляжа, там она села на камень и раскинула

руки, словно стараясь поймать солнце и согреть лицо и грудь. Прилив уже кончился, на синем просторе моря видны были мелкие волны. Море — величайшее творение на всем свете, если не считать солнца; безбрежное и свободное — все человеческие деяния перед ним мелки и преходящи! Море успокоило ее, словно ласковое прикосновение руки друга. Оно может быть жестоким и страшным, может творить ужасные дела; но широкая линия его горизонта, его неумолчная песня, его бодрящий запах — лучшего лекарства не найти! Она пропускала меж пальцев зернистый песок, и ее охватывал какой-то неудержимый восторг; сбросив башмаки и чулки, она болтала ногами в воде, потом стала их сушить на солнце.

Когда она уходила с этого маленького пляжа, ей казалось, что кто-то ей говорит:

«Твои несчастья ничтожно малы. Есть солнце, есть море, есть воздух, наслаждайся ими! Никто не может отнять этого у тебя».

В госпитале ей пришлось прождать Джорджа полчаса в маленькой пустой комнате.

— Нолли! Великолепно! У меня как раз свободный час. Давай уйдем из этого кладбища. У нас хватит времени, чтобы погулять по холмам. Как мило, что ты приехала! Ну, а теперь рассказывай.

Когда она кончила говорить, он сжал ей руку.

— Я знал, что ничего не получится. Твой отец забыл, что он глава прихода и что его будут осуждать. Но хотя ты и сбежала, он все равно подаст прошение об уходе, Нолли.

— О нет! — крикнула Нолли.

Джордж покачал головой.

— Да, он уйдет — ты увидишь; он ничего не смыслит в житейских делах, ни капли.

— Тогда получится, что я испортила его жизнь, что я... О нет!

— Давай сядем здесь. Мне надо вернуться в госпиталь к одиннадцати.

Они сели на скамью, откуда открывался вид на растилающееся вокруг зеленое взгорье; оно возвышалось над спокойным, теперь уже очистившимся от тумана морем, далеким и очень синим.

— Почему он должен уйти? — снова воскликнула Ноэль.— Теперь, когда я покинула его? Ведь он пропадет без своей церкви.

Джордж улыбнулся.

— Он не пропадет, дорогая, а найдет себя. Он будет там, где ему надлежит быть, Нолли, где находится и его церковь, но где нет церковников,— на небесах!

— Не смей! — страстно крикнула Ноэль.

— Нет, нет, я не издеваюсь. На земле нет места для святых, облеченных властью. Людям нужны символы святости, даже если они не верят в них. Но нам совершенно не нужны те, кто смотрит на все с двух противоположных точек зрения; кто, оставаясь святым и провидцем, способен погружаться в практические мирские дела и командовать судьбами обыкновенных людей. Пример святости — да, но власть святых — никогда! Ты освободительница своего отца, Нолли.

— Но папа любит свою церковь.

Джордж нахмурился.

— Конечно, это для него удар. Человеку свойственно питать теплые чувства к тому месту, где он так долго был хозяином; да и в самом деле в церкви есть нечто притягательное: музыка, орган, запах ладана, таинственный полумрак — во всем этом какая-то красота, какой-то приятный наркоз. Но никто не просит его отказаться от привычки к наркозу, его просят только о том, чтобы он перестал угощать им других. Не беспокойся, Нолли, мне кажется, что это никогда не подходило ему; здесь нужна более толстая кожа.

— А как же все эти люди, которым он помогает?

— Почему же ему и дальше не помогать им?

— Но продолжать жить в этом же доме без... там умерла мать, ты ведь знаешь!

Джордж что-то проворчал.

— Он весь в мечтах, Нолли,— в мечтах о прошлом, о будущем и о том, каковы должны быть люди и что он может для них сделать. Ты ведь знаешь — когда мы с ним встречаемся, мы обязательно спорим; но все-таки я его люблю. И любил бы его гораздо сильнее и спорил бы гораздо меньше, если бы он бросил свою привычку выступать непререкаемым авторитетом. Вот

тогда-то, я думаю, он действительно мог бы оказать на меня влияние; в нем есть что-то красивое, и я это очень чувствую.

— Конечно, есть! — с жаром откликнулась Ноэль.

— В нем все как-то странно перемешалось, — размышлял вслух Джордж. — Он слишком чист для своих лет; духовно он на голову выше большинства священников, но в мирских делах ему до них далеко. И все же, я думаю, правда на его стороне. Церковь должна была бы стать последней надеждой людей, Ноэли; тогда мы поверили бы в нее. А она стала неким коммерческим предприятием, которое никто не принимает всерьез. Видишь ли, духовному началу в людях церковь не может принести пользы в наш век, она просто не в состоянии выполнять свои обещания — да у нее и нет таких возможностей; она уже давно отказалась от этого ради мирских благ и влияния в обществе. Твой отец — символ всего того, чем церковь не является в наши дни... Однако как быть с тобой, дорогая? В пансионе, где я живу, есть свободная комната; кроме меня, в нем живет только одна старая дама, которая вечно вяжет. Если Грэйси сумеет перевестись сюда, мы найдем отдельный дом, и ты возьмешь к себе ребенка. Ты напишешь домой, и тебе вышлют вещи с Пэддингтонского вокзала, а пока пользуйся вещами Грэйси, какие здесь есть.

— Мне надо послать телеграмму папе.

— Я пошлю сам. Приходи ко мне домой в половине второго. А до тех пор тебе лучше подождать здесь.

Когда он ушел, она побродила еще немного и прилегла на траве, мелкой и редкой, через которую полосами пробивался известняк. Издалека доносился глухой гул, словно ползущий по траве, — то громыхали пушки во Фландрии. «Интересно, такой ли там прекрасный день, как здесь? — подумала она. — Не видеть за пылью от рвущихся снарядов ни травы, ни бабочек, ни цветов, ни даже неба — как это ужасно! Ах, да будет ли этому когда-нибудь конец?» И ее охватила страстная любовь к этой теплой, поросшей травой земле; она прижалась к ней так плотно, что чувствовала ее всем телом, чувствовала легкое прикосновение травинок к носу и губам. Болезненная истома овладела ею, ей хотелось, чтобы земля раскрыла ей свои объятия, ответила на ее ласку. Она

живет и хочет любви! Не надо смерти, не надо одиночества, не надо смерти!.. И там, где гудят пушки, миллионы людей, наверно, думают о том же!

ГЛАВА X

Пирсон просидел почти всю ночь, разбирая реликвии своего прошлого: записи студенческих лет, сувениры, полученные за короткую семейную жизнь. И все время, пока он занимался этим грустным делом — разбирал памятки прошлого и уничтожал ненужное, — его поддерживала и укрепляла та идея, которая осенила его лунной ночью, когда он возвращался домой. Впрочем, все оказалось не так сложно, как он предполагал: при всей своей мечтательности Пирсон был до смешного аккуратен и деловит во всем, что касалось его прихода. Сотни раз он прерывал эту ночную работу, погружаясь в воспоминания. Каждый уголок, каждый ящик, каждая фотография, каждый клочок бумаги были нитями в паутине его жизни, сплетенной за долгие годы в этом доме. Тот или иной этап его работы, образы жены и дочерей вставали перед ним, стоило ему посмотреть на мебель, картины, двери. Всякий, кто увидел бы, как он в ночных туфлях бесшумно переходил из кабинета в столовую, из столовой в гостиную, при тусклом свете, который пробивался через окно над входной дверью и из коридора, подумал бы: «Привидение, привидение, надевшее траур потому, что происходит в мире». Пока не угас восторг, вызванный новой идеей, ему надо было подвести итог всей жизни. Ему надо было извлечь из глубин прошлого все, что его с ним связывало, чтобы раз и навсегда понять, хватит ли у него сил закрыть дверь в это прошлое. Пробыло пять часов, когда он кончил свою работу и, почти падая от усталости, сел за маленькое пианино уже при свете дня. Последнее воспоминание, охватившее его, было самым значительным: он вспомнил свой медовый месяц, те дни, которые они прожили перед тем, как поселились в этом доме, уже выбранном для них и обставленном. Они провели этот месяц в Германии — первые дни в Баден-Бадене; и каждое утро пробуждались от звуков хора, который исполнялся в курзале парка, —

нежная, красивая мелодия напоминала им, что они в раю. Тихо, тихо, будто мелодия звучит во сне, он стал наигрывать один за другим старинные хоралы, и нежные звуки улетали в открытое окно, пугая ранних птиц и кошек и удивляя немногих людей, которые уже появились на улице.

Телеграмму от Ноэль он получил днем, как раз тогда, когда собирался отправиться к Лиле, чтобы узнать что-либо о дочери; и тут же явился Лавенди. Пирсон застал художника в гостиной — он с безутешным видом стоял перед портретом Ноэль.

— *Mademoiselle* покинула меня?

— Боюсь, что мы все скоро покинем вас, *monsieur*.

— Вы уезжаете?

— Да, я уезжаю. Думаю, во Францию.

— А *mademoiselle*?

— Она сейчас живет у моего зятя на взморье.

Художник запустил было руку в волосы, но тут же отдернул ее, вспомнив, что его могут обвинить в невоспитанности.

— *Mon Dieu!*¹ — воскликнул он. — Это же для вас катастрофа, *monsieur le curé!* — Впрочем, рамки катастрофы так явно ограничивались для самого художника незаконченным портретом, что Пирсон невольно улыбнулся.

— Ах, *monsieur*, — сказал художник, от которого не ускользнуло выражение лица Пирсона. — *Comme je suis egoïste!*² Я дал волю своим чувствам; это прискорбно. Мое разочарование может показаться вам пустяковым — вы ведь огорчены, что покидаете свой старый дом. Должно быть, для вас это огромное несчастье. Поверьте мне, я понимаю это. Однако проявлять сочувствие к горю, которое стараются скрыть, — это уже просто дерзость, не правда ли? Вы, английские джентльмены, не хотите делиться с нами вашими горестями; вы оставляете их при себе.

Пирсон уставился на него.

— Верно, — сказал он. — Совершенно верно.

— Я не могу судить о христианстве, *monsieur*, но для

¹ Бог мой! (франц.)

² Как я эгоистичен! (франц.)

нас, художников, двери человеческих сердец всегда открыты—и наши и чужие. Мне думается, мы лишены гордости — *c'est très indelicat!*¹ Скажите мне, *monsieur*, вы не считали бы совместимым с вашим достоинством поведать мне о ваших горестях, как я когда-то поведал вам о своих?

Пирсон смущенно опустил голову.

— Вы проповедуете всеобщее милосердие и любовь,— продолжал Лавенди.— Но разве это совместимо с тем, что вы одновременно как бы тайно поучаете хранить горести при себе? Люди следуют примеру, а не поучению; а вы являете собой пример того, как поступает посторонний человек, а не брат. Вы ждете от других того, чего не даете сами. Право же, *monsieur*, неужели вы не понимаете, что, раскрывая людям душу и чувства, вы передаете им свою добродетель? И я вам объясню, почему вы этого не понимаете, если только вы не примете это за обиду. Вам кажется, что если вы откроете свое сердце, то потеряете авторитет, и, видимо, боитесь этого. Вы служители церкви и обязаны никогда об этом не забывать. Разве не так?

Пирсон покраснел.

— Мне кажется, что есть и другое объяснение. По моему, говорить о своих горестях и глубоких переживаниях — это значит быть навязчивым, надоедать людям пустяками, думать только о себе, вместо того, чтобы думать о ближних.

— *Monsieur, au fond*² мы все думаем только о себе. Казаться самоотверженным — это только особая манера проповедовать самоусовершенствование. Вы полагаете, что не быть навязчивым — это один из способов самоусовершенствования. *Eh bien!*³ Да разве это не есть проявление самого глубокого интереса к себе? Освободиться от этого можно только одним путем: делать свое дело, забывая о себе, как забываю обо всем я, когда пишу картину. Но,— добавил он с неожиданной улыбкой,— вы ведь не захотите забыть о самоусовершенствовании — это шло бы вразрез с вашей профессией!.. Итак, мне придется забрать этот портрет. Можно? Это

¹ Это очень неделикатно! (франц.)

² Мосье, в сущности (франц.).

³ Что ж! (франц.)

одна из лучших моих работ. Я очень жалею, что не окончил его.

— Когда-нибудь потом, быть может...

— Когда-нибудь! Портрет останется таким же, но *mademoiselle*—нет! Она натолкнется на что-либо в жизни, и вы увидите — это лицо уйдет в небытие. Нет, я предпочитаю сохранить портрет таким, какой он сейчас. В нем — правда.

Сняв полотно, он сложил мольберт и прислонил его к стене.

— *Bon soir, monsieur*¹, вы были очень добры ко мне.— Он потряс руку Пирсону, и на мгновение в его лице не осталось ничего, кроме глаз, в которых светилась какая-то затаенная мысль.— *Adieu!*²

— До свидания! — тихо ответил Пирсон.— Да благословит вас бог!

— Не думаю, чтобы я очень верил в него,— ответил Лавенди.— Но я всегда буду помнить, что такой хороший человек, как вы, хотел этого. Пожалуйста, передайте *mademoiselle* мое самое почтительное приветствие. Если позволите, я зайду за остальными вещами завтра.— И, взяв полотно и мольберт, он удалился.

Пирсон сидел в старой гостиной, поджидая Грэтину и размышляя над словами художника. Неужели из-за своего воспитания и положения он не может относиться к людям по-братски? Не в этом ли секрет того бесилия, которое он время от времени ощущал? Не в этом ли причина того, что милосердие и любовь не пускали ростков в сердцах его паствы? «Видит бог, я никогда сознательно не ощущал своего превосходства,— подумал он.— И все-таки я бы постыдился рассказывать людям о своих бедах и борьбе с самим собой. Не назвал ли бы нас Христос, очутись он снова на земле, фарисеями за то, что мы считаем себя на голову выше остальных людей? Но, право же, оберегая свои души от других людей, мы проявляем себя скорее как фарисеи, чем как христиане. Художник назвал нас чиновниками. Боюсь... боюсь, что это правда». Ну, хватит! Теперь уж для этого не будет времени. Там, куда он поедет, он научится раскрывать сердца других и раскрывать свое сердце.

¹ Доброй ночи, мосье! (франц.)

² Прощайте! (франц.)

Страдания и смерть снимают все барьеры, делают всех людей братьями. Он все еще сидел задумавшись, когда вошла Грэтиана. Взяв ее руку, он сказал:

— Нюэль уехала к Джорджу, и мне хотелось бы, чтобы ты тоже перевелась туда, Грэйси. Я оставляю приход и буду просить о назначении меня капелланом в армию.

— Оставляешь приход? После стольких лет? И все из-за Нолли?

— Нет, мне кажется, не из-за этого — просто пришло время! Я чувствую, что моя работа здесь бесплодна.

— О нет! Но даже если и так, то это только потому, что...

— Только почему, Грэйси? — улыбнулся Пирсон.

— Папа, то же самое происходило и со мной. Мы должны сами думать обо всем и сами все решать, руководствуясь своей совестью; мы больше не можем смотреть на мир чужими глазами.

Лицо Пирсона потемнело.

— Ах! — сказал он. — Как это мучительно — потерять веру!

— Но зато мы становимся милосердными! — воскликнула Грэтиана.

— Вера и милосердие не противоречат друг другу, моя дорогая.

— Да, в теории; но на практике они нередко находятся на разных полюсах. Ах, папа! Ты выглядишь таким усталым. Ты и в самом деле принял окончательное решение? А тебе не будет одиноко?

— Быть может. Но там я обрету себя.

У него было такое лицо, что Грэтиане стало больно, и она отвернулась.

Пирсон ушел в кабинет, чтобы написать прошение об уходе. Сидя перед чистым листом бумаги, он окончательно понял, что глубоко презирает публичное осуждение, которое коснулось его собственной плоти и крови; он видел также, что все его действия продиктованы чисто мирским рыцарством по отношению к дочери, суетным чувством обиды. «Гордыня! — подумал он. — Что же, оставаться мне здесь и попробовать подавить ее?» Дважды он откладывал перо, дважды брался за него снова. Нет, он не сумеет подавить в себе гордыни. Остать-

ся там, где его не хотят, согласиться на то, чтобы его только терпели,— никогда! Так, сидя перед чистым листом бумаги, он пытался совершить самое трудное дело, какое может совершить человек,— увидеть себя со стороны. Как и следовало ожидать, ему это не удалось; отвергнув приговоры других, он остановился на том, который вынесла ему собственная совесть. И снова вернулась мысль, которая терзала его с самого начала войны: его долг — умереть за родину! Остаться в живых, когда столь многие из его паствы приносят последнюю жертву, недостойно его. Эта мысль еще глубже укоренилась в нем после семейной трагедии и того горького разочарования, которое она принесла. Оставшись наедине со своим прошлым, которое покрылось пылью и стало казаться иллюзорным, он терзался еще и мыслью о том, что отвергнут своей кастой. У него было странное ощущение, что его прежняя жизнь спадает с него, как змеиная кожа; кольцо за кольцом отпадают все его обязанности, которые он выполнял день за днем, год за годом. Да и существовали ли они когда-нибудь на самом деле? Ну что ж, теперь он стряхнул их с себя, и ему надо идти в жизнь, озаренную великой реальностью — смертью!

Взяв в руку перо, он написал прошение об уходе.

ГЛАВА XI

Последнее воскресенье — солнечное и яркое! Грэтiana, хотя Пирсон не просил ее об этом, посещала каждую службу. Увидев ее в этот день сидящей после такого долгого перерыва на их семейной скамье, где он так привык видеть жену и черпать в этом новые силы,— он волновался больше, чем когда-либо. Он никому не говорил, что собирается покинуть приход, опасаясь фальши, недомолвок и всяких намеков, которые будут неизбежны, как только кто-нибудь начнет выражать сожаление. Он скажет об этом в последнюю минуту, в своей последней проповеди! Весь день он провел, как во сне. Поистине гордый, впечатлительный, уже чувствуя себя отверженным, он одинаково сторонился всех, не пытаясь делить прихожан на своих сторонников и на тех, кто ото-

шел от него. Он знал, что найдутся люди, и, возможно, таких будет немало, которых глубоко опечалит его уход; но искать их, взвешивать на весах их мнение, противопоставлять остальным — нет, это было противно его натуре. Либо все, либо ничего!

И когда он в последний раз поднялся по ступенькам на свою темную кафедру, он ничем не обнаружил, что наступил конец; быть может, он и сам еще не отдавал себе в этом отчета. Был теплый летний вечер, и прихожан в церкви собралось очень много. Хотя прихожане вели себя сдержанно, все же слух об его уходе распространился, и каждый был полон любопытства. Авторы писем, анонимных и прочих, потратили эту неделю не для того, чтобы предать гласности ими написанное, а для того, чтобы оправдать в своих глазах этот поступок. Такое оправдание легче всего можно было получить в разговорах с соседями — о тяжелом и неприятном положении, в котором очутился бедный викарий. В общем, церковь стала посещаться куда лучше, чем в начале лета.

Пирсон никогда не был выдающимся проповедником. Его голосу не хватало звучности и гибкости, а мыслям — широты и жизненной убедительности; к тому же он не был свободен от той певучести, которая так портит речь профессиональных ораторов. Зато его доброта и искренность всегда оставляли впечатление. В эту последнюю воскресную службу он произносил проповедь на ту же тему, что и в тот раз, когда молодым и полным сил впервые вошел на эту кафедру, — сразу же после медового месяца, который он провел с молодой женой: «Соломон во всей славе своей пышностью одежды не был подобен одной из сих». Но теперь проповеди не хватало той радостной приподнятости, которую он испытывал в счастливейшие дни своей жизни; зато усилилась ее острота, чему немало способствовали его страдальческое лицо и утомленный голос. Грэтiana, которая знала, что, закончив проповедь, он будет прощаться с прихожанами, начала задыхаться от волнения еще задолго до того. Она сидела, смахивая слезы и не глядя на него, пока он не сделал паузу, слишком продолжительную, и тут ей подумалось, что он теряет силы. Пирсон стоял, слегка наклонившись вперед, и, казалось, ничего не видел; его руки, вцепившиеся в

край кафедры, дрожали. В церкви стояла глубокая тишина — выражение его лица и вся фигура казались необычными даже Грэтиане. Когда его губы зашевелились и он начал снова говорить, глаза ее застлало пеленой, и она на мгновение перестала его видеть.

— Друзья мои, я покидаю вас. Это последние слова, с которыми я к вам обращаюсь в этой церкви. Перед мной другое поле деятельности. Вы все были очень добры ко мне. Бог был милостив ко мне. Я молюсь от всего своего сердца: да благословит он вас всех. Аминь! Аминь!

Пелена превратилась в слезы, и Грэтиана увидела, что он смотрит на нее сверху. На нее ли? Он, несомненно, что-то видел, но, может быть, перед ним было видение более сладостное — та, кого он любил еще больше? Она упала на колени и закрыла лицо руками. Все время, пока пели гимн, она стояла на коленях и не поднялась и тогда, когда он медленно и отчетливо произносил последнее благословение:

— Милость божия, безграничная и непостижимая, да пребудет с вами, да укрепит сердца и умы ваши в познании бога и в любви к нему и сыну его Иисусу Христу, нашему спасителю; и да почиет на вас благословение всемогущего бога — отца, сына и святого духа, да будет воля его с вами навеки.

Она до тех пор стояла на коленях, пока не осталась одна. Потом поднялась и, выскользнув из церкви, пошла домой. Отец еще не возвращался, да она и не ждала его. «Все кончено, — думала она, — все кончено. Дорогой папочка! Теперь у него нет дома — мы с Нолли разбили ему жизнь; и все же я не виновата, и, может быть, не виновата и она. Бедная Нолли!»

Пирсон задержался в ризнице, разговаривая с певчими и служками; здесь все прошло гладко, потому что его прошение было принято, и он договорился с одним своим другом, чтобы тот выполнял его обязанности, пока не будет назначен новый викарий. Когда все разошлись, он вернулся в пустую церковь и поднялся на хоры к органу. Там было открыто окно, и он выглянул наружу, опираясь на каменный подоконник и чувствуя, что

отдыхает всей душой. Только теперь, когда все уже кончилось, он понял, через какие мучения прешел. Чирикали воробьи, но шум уличного движения стал тише — был обеденный час спокойного воскресного дня. Кончено! Просто не верится, что он больше никогда не поднимется сюда, не увидит этих крыш, этого уголка Сквер-Гарден, не услышит знакомого чириканья воробьев. Он сел к органу и начал играть. В последний раз исторгнутые его руками звуки гремели в пустом доме божием, отдаваясь эхом в его стенах. Он играл долго, внизу медленно темнело. Из всего, что он покинет здесь, ему больше всего будет не хватать одного: права приходить и играть в полутемной церкви, посылать в сумеречную пустоту эти волнующие звуки, наполняющие ее еще большей красотой. Аккорд за аккордом, и он все глубже погружался в море нарастающих звуковых волн, теряя всякое чувство реальности, пока музыка и темное здание не слились воедино в какой-то благостной торжественности. А внизу тьма завладела всей церковью. Уже не видно было ни скамей, ни алтаря, только колонны и стены. Он начал играть свое любимое аллегretto из Седьмой симфонии Бетховена; он оставил это напоследок, зная, какие видения эта музыка вызывает в нем. Через маленькое оконце вползла кошка, охотившаяся за воробьями; уставившись на него зелеными глазами, она замерла в испуге. Он закрыл орган, быстро спустился вниз и в последний раз окинул взглядом церковь. На улице было теплее и светлее, чем в церкви, — дневной свет еще не угас. Он отошел на несколько шагов и остановился, глядя вверх. Стены, контрфорсы и шпиль были окутаны молочной пеленой. Верхушка шпиля словно упиралась в звезды. «Прощай, моя церковь! — подумал он. — Прощай, прощай!»

Он почувствовал, как дрогнуло его лицо; стиснув зубы, он повернулся и пошел прочь.

ГЛАВА XII

Когда Ноэль убежала, Форт бросился было за ней, но понял, что хромота помешает ему догнать ее; он вернулся и вошел в спальню к Лиле.

Она уже сняла платье и все еще неподвижно стояла перед зеркалом с сигаретой в зубах; синеватый дымок клубился в комнате. В зеркале он видел ее лицо — бледное, с красными пятнами на щеках; даже уши у нее горели. Она будто не слышала, что он вошел, но он заметил, как изменились ее глаза, когда она увидела его отражение в зеркале. Взгляд их, застывший и безжизненный, стал живым, в нем чувствовалась затаенная ненависть.

— Ноэль ушла,— сказал Форт.

Она ответила, словно обращаясь к его отражению в зеркале:

— А ты не пошел за ней? Ах, нет? Ну, конечно, помешала нога! Значит, она удрала? Боюсь, что это я спугнула ее.

— Нет. Думаю, что это я ее спугнул.

Лила обернулась.

— Джимми, я ведь понимаю, что вы разговаривали обо мне. Что угодно,— она пожала плечами,— но это!..

— Мы не говорили о тебе. Я только сказал, что не надо завидовать тебе только потому, что у тебя есть я. Ведь верно же?

Не успев договорить, он тут же раскаялся. Гнев в ее глазах сменился молчаливым вопросом, потом горечью. Она крикнула:

— Да, мне можно было завидовать! Ах, Джимми, можно было! — И она бросилась ничком на кровать.

В голове у Форты мелькнуло: «Как все это скверно!» Как ему утешить ее, как уверить, что он любит ее, если... он ее не любит? Как сказать, что он жаждет ее, если он жаждет Ноэль? Он подошел к кровати и осторожно прикоснулся к ее плечу.

— Лила, что с тобой? Ты переутомилась. И в чем дело? Я ведь не виноват, что эта девочка явилась сюда. Почему это тебя так расстроило? Она ушла. Все хорошо. Все снова так, как было раньше.

— Да! — донеслось до него приглушенное эхо.— Все снова так!

Он опустился на колени и погладил ее руку. Рука задрожала от его прикосновения, потом перестала дрожать, словно ожидая, что он еще раз прикоснется и гораздо теплее; потом задрожала снова.

— Посмотри на меня,— сказал он.— Что тебе нужно? Я сделаю все, что ты захочешь.

Она повернулась к нему, подтянулась на кровати, оперлась на подушку, словно ища в ней опоры, и подобрала ноги — он был поражен той силой, которой дышала в этот миг вся ее фигура.

— Мой милый Джимми,— сказала она,— я ни о чем не прошу тебя — только принеси мне сигарету. В моем возрасте не приходится ждать больше того, что имеешь.— Она протянула руку и повторила:— Тебе не трудно принести сигарету?

Форт поднялся и пошел за сигаретами. С какой странной, горькой и в то же время спокойной улыбкой она сказала это! Но едва он вышел из комнаты и начал искать в темноте сигареты, как уже снова, с болью и тревогой, вспомнил о Ноэль — оскорбленная, она убежала так стремительно, не зная даже, куда ей пойти! Наконец он нашел портсигар из карельской березы и, прежде чем вернуться к Лиле, сделал мучительное усилие над собой, пытаясь прогнать образ девушки. Лила все еще сидела на кровати, скрестив руки,— так спокоен бывает человек, нервы которого напряжены до предела.

— Закури и ты,— сказала она.— Пусть это будет трубкой мира.

Форт подал ей огня и, закулив сам, сел на край кровати; мысли его снова вернулись к Ноэль.

— Интересно,— вдруг сказала Лила,— куда она ушла? Ты не мог бы поискать ее? Она опять может натворить что-нибудь... безрассудное. Бедный Джимми! Вот будет жалость! Значит, сюда приходил этот монах и пил шампанское? Недурно! Дай мне немного вина, Джимми!

И снова Форт вышел в другую комнату, и снова последовал за ним образ девушки. Когда он вернулся, Лила уже надела то самое черное шелковое кимоно, в котором внезапно появилась в ту роковую ночь после концерта в Куинс-Холле. Она взяла бокал с вином и прошла в гостиную.

— Садись,— сказала она.— Нога не болит?

— Не больше, чем обычно.— И он сел рядом с ней.

— Не хочешь ли выпить? *In vino veritas*¹, мой друг. Он покачал головой и сказал смиренно:

— Я восхищаюсь тобой, Лила.

— Это очень приятно. Я не знаю никого, кто бы мною восхищался.— И Лила залпом выпила шампанское.

— А тебе не хотелось бы,— заговорила она,— чтобы я была одной из этих замечательных «современных женщин», умных и добродетельных? О, я бы на все лады рассуждала о мироздании, о войне, о причинах вещей, распивала бы чай и никогда бы не докучала тебе расспросами, любишь ли ты меня. Как жаль!

Но Форт в эту минуту слышал только слова Ноэль: «Все это ужасно забавно, не правда ли?»

— Лила,— сказал он вдруг,— ведь надо же что-нибудь предпринять. Я обещаю тебе не встречаться больше с этой девочкой — по крайней мере до тех пор, пока ты сама этого не пожелаешь.

— Милый мой, она уже не девочка. Она вполне созрела для любви, а я... я слишком перезрела. Вот в чем вся суть, и мне приходится мириться с этим.

Она вырвала у него свою руку, уронила пустой стакан и закрыла лицо. У Форта появилось мучительное ощущение, которое овладевает каждым истинным англичанином, ожидающим, что вот-вот разразится сцена. Схватить ее за руки, оторвать их от лица и поцеловать ее? Или встать и оставить ее одну? Говорить или молчать; пытаться утешать; пытаться притворяться? Он не сделал ничего. Он понимал Лилу, но лишь настолько, насколько мужчина вообще способен понять женщину на том этапе ее жизни, когда она признает себя побежденной молодостью и красотой. Но это был лишь мгновенный, слабый проблеск. Гораздо яснее он видел другое: Лила наконец поняла, что она его любит, а он ее — нет.

«И я ничего не могу поделать с этим,— думал он тупо,— просто ничего не могу поделать!» Что бы он теперь ни сказал, как бы ни поступил,— ничего не изменится. Нельзя убедить женщину словами, если поцелуи потеряли силу убеждения. Но тут к его бесконечному облегчению она отняла руки от лица и сказала:

¹ Истина в вине (лат.).

— Все это очень скучно. Я думаю, тебе лучше уйти, Джимми.

Он хотел было возразить ей, но побоялся, что голос его прозвучит фальшиво.

— Еще немного, и была бы сцена,— сказала Ли́ла.— Господи! Как ненавидят их мужчины! В свое время и я тоже ненавидела. У меня было предостаточно сцен в жизни; никакого толку от них нет — ничего, кроме головной боли на следующее утро. Я избавила тебя от сцены, Джимми! Поцелуй же меня за это!

Он наклонился и прижался губами к ее губам. От всего сердца он хотел ответить на ту страсть, которая таилась в ее поцелуе. Она внезапно оттолкнула его и сказала слабым голосом:

— Спасибо; ты все-таки старался!

Форт провел рукой по глазам. Ее слова странно расстрогали его. Какое он все-таки животное! Он взял ее бесильно повисшую руку, приложил к губам и прошептал:

— Я приду завтра. Мы пойдем в театр, хорошо? Спокойной ночи, Ли́ла!

Но, открывая дверь, он уловил выражение ее лица; она глядела на него, явно ожидая, что он обернется; в глазах ее стоял испуг, они вдруг стали кроткими, какими кроткими, что у него сжалось сердце.

Она подняла руку, послала ему воздушный поцелуй и улыбнулась. Сам не зная, ответил ли он на ее улыбку, Форт вышел. Но все-таки он не мог решиться уйти так и, перейдя мостовую, остановился и стал смотреть вверх на ее окна. Ведь она была очень добра к нему! У него было такое ощущение, будто он выиграл крупный куш и сбежал, не дав возможности партнеру отыгаться. Если бы только она не любила его, если бы их объединяла только бездушная связь, пошлая любовная интрига! Нет, все что угодно—только не это! Англичанин до мозга костей, он не мог так легко освободиться от чувства вины. Он не знал, как уладить отношения с ней, как загладить вину, и поэтому чувствовал себя негодяем. «Может быть, вернуться назад?» — подумал он вдруг. Штора на окне шевельнулась. Потом полосы света исчезли. «Она легла,— решил Форт.— Я еще больше расстроил бы ее... Но где сейчас Ноэль? Вот ее я, наверно, никогда больше не увижу. Все это, вместе взятое,—скверная

история. О господи, ну конечно! Очень скверная история!»

И с трудом, потому что нога у него разболелась, он зашагал дальше.

Лила очень хорошо понимала ту истину, что чувства людей, которых жизнь поставила вне так называемых моральных барьеров, не менее реальны, не менее остры и не менее серьезны, чем чувства тех, кто находится внутри этих барьеров. Ее любовь к Форту была, как ей казалось, даже сильнее и острее — так дикое яблоко всегда ароматнее яблока оранжерейного. Она заранее знала, что скажет о ней общественное мнение, ибо по собственной воле вышла за пределы этого морального круга; именно поэтому она даже не вправе считать свое сердце разбитым; другое дело, если бы Форт был ее мужем! Общественное мнение — она знала это — будет исходить из того, что она не имеет на него никаких прав и, следовательно, чем скорее будет разорвана эта незаконная связь, тем лучше! Но Лила чувствовала, что она так же несчастна сейчас, как если бы Джимми Форт был ее мужем. Она не хотела стоять за пределами морали, всю жизнь не хотела этого! Она была из тех, кто, исповедавшись в грехе, начинает грешить снова и грешить с чистой совестью. Да, она никогда не собиралась грешить, она хотела только любить; а когда она любила, все остальное теряло для нее всякое значение. По натуре она была игроком, и ей всегда приходилось расплачиваться за проигрыш. Но на этот раз ставка была слишком крупной, чтобы женщина могла легко за нее расплатиться. То была ее последняя игра, она знала это. До тех пор, пока женщина уверена в своей привлекательности, надежда не покидает ее даже после того, как над любовной интригой опустится занавес. И вот теперь надежда эта угасла, и, когда опустился очередной занавес, Лила почувствовала, что ее окутывает мрак и она останется в нем до тех пор, пока старость не сделает ее ко всему безразличной. А ведь между сорока четырьмя годами и старостью — целая пропасть! В первый раз случилось так, что она надоела мужчине. Почему? Может быть, он был равнодушен к ней с самого начала — или ей это кажется? В одно ко-

роткое мгновение, словно она шла ко дну, перед ней пронеслись подробности их связи, и теперь она уже с уверенностью знала, что у него это никогда не было подлинной любовью. Жгучее чувство стыда охватило ее, и она уткнулась лицом в подушку. Сердце его все время принадлежало этой девушке. С усмешкой она подумала: «Я поставила не на ту лошадь; надо было ставить на Эдварда. Этому бедному монаху я наверняка смогла бы вскружить голову. Если бы только я не встретила снова с Джимми! Если бы изорвала его письмо! Может быть, мне удалось бы пробудить любовь в Эдварде. Может быть, может быть!.. Какая глупость! Все происходит так, как должно». Вскочив, она заметалась по своей маленькой комнате. Без Джимми она будет несчастна, но с ним ей тоже не видать счастья. «Мне было бы невыносимо теперь смотреть на него,— думала она,— но и жить без него я не могу. Вот ведь забавно!» Мысль о госпитале наполнила ее отвращением. День за днем ходить туда с этим отчаянием в сердце,— нет, это невыносимо! Она стала подсчитывать свои ресурсы. У нее оказалось больше денег, чем она думала; Джимми к рождеству преподнес ей подарок — пятьсот фунтов. Сначала она хотела разорвать чек или заставить Джимми взять его обратно. Но в конце концов уроки предыдущих пяти лет одержали верх, и она положила деньги в банк. Теперь она была рада этому. Не придется думать о деньгах. Она все больше уходила мыслями в прошлое. Она вспомнила своего первого мужа Ронни Фэйна, их комнату с занавесками от москитов, чудовищную жару Мадраса. Бедный Ронни! Какой бледный, циничный, молодой призрак, носящий это имя, встал перед ней! Она вспомнила Линча, его прозаическое, какое-то лошадиное лицо. Она любила их обоих — некоторое время. Она вспомнила южноафриканскую степь, Верхнюю Констанцию, очертания Столовой Горы под звездами; и... тот вечер, когда она впервые увидела Джимми, его прямой взгляд, его кудрявую голову, доброе, открытое, по-мальчишески задорное лицо. Даже теперь, после стольких месяцев связи, воспоминание о том далеком вечере во время уборки винограда, когда она пела для него под благоухающим плющом,— даже теперь это воспоминание не утратило для нее своей прелести. В тот вечер,

одиннадцать лет назад, когда она была в полном расцвете, он во всяком случае тосковал по ней. Тогда она могла стать хозяйкой положения; и встреча его с Ноэль не имела бы никакого значения. Подумать только — у этой девушки впереди еще пятнадцать лет до полного расцвета! Пятнадцать лет колдовства; а потом еще десять лет — до полной отставки. Что ж! Если Ноэль выйдет замуж за Джимми, то к тому времени, когда она достигнет этого рокового возраста — сорока четырех лет, — он станет уже глубоким стариком и все еще будет обожать ее. Она почувствовала, что не в силах сдержать крик, и, приложив ко рту платок, погасила огонь. Темнота немного успокоила ее. Она раздвинула шторы и пустила в комнату лунный свет. Джимми и эта девушка где-то ищут друг друга, если не на самом деле, то мысленно. И когда-нибудь, может быть скоро, они встретятся, потому что такова воля судьбы! Да, это судьба придала ее молодой кузине сходство с ней самой; судьба поставила девушку в такое беспомощное положение, что Джимми потянуло к ней, и эта ее беспомощность дала ему преимущество перед молодыми людьми. С горькой отчетливостью Лила видела все это. Но хорошие игроки сразу прекращают игру, когда проигрывают! Да и, кроме того, гордая женщина не станет удерживать любовника против его воли! Если бы у нее был хотя бы малейший шанс, она бы отбросила свою гордость, затоптала бы ее в грязь, исколола шипами! Но у нее не было этого шанса. Она сжала кулак и погрозила им в темноту, словно самой судьбе, которую никогда не поймашь, — этой неосязаемой, бессовестной, беспощадной судьбе, с ее легкой насмешливой улыбкой, лишенной всякого человеческого тепла. Ничто не может повернуть назад ход времени. Ничто не может дать ей того, что имеет эта девушка. Время «прикончило» ее, как прикончит всех женщин, одну за другой. Лила видела себя год за годом — вот она стала немного больше пудриться, немного больше румяниться, вот она уже красит волосы, прибегает, и довольно искусно, к разным маленьким ухищрениям — и для чего? Чтобы увидеть, как его лицо становится все холоднее и отчужденнее; как он все с большим трудом старается придать своему голосу нежность; узнать, что за всем этим таится отвращение и невыска-

занимая мысль: «Ты отгородила меня от жизни, от любви!», пока в один прекрасный вечер нервы не выдержат, и она скажет или сделает что-нибудь ужасное, а он встанет и навсегда уйдет от нее.

«Нет, Джимми,— подумала она,— ищи ее и оставайся с ней. Ты не стоишь всего этого!» И, задернув шторы, словно этим жестом она могла преградить путь настигавшей ее судьбе, она включила верхний свет и села за письменный стол. Несколько минут она сидела неподвижно, опершись подбородком на руки; черные шелковые рукава упали, обнажив руки. На уровне ее лица висело маленькое зеркало в прихотливой резной рамке слоновой кости, и она видела себя в нем; это зеркало она купила на каком-то индийском базаре лет двадцать пять назад. «Я не безобразна,— подумала она со страстным воодушевлением,— нет, не безобразна. Я все еще привлекательна. Если бы только не появилась эта девочка! И все это я сделала своими руками. Ах, что толкнуло меня написать и Эдварду и Джимми?» Она повернула зеркало к стене и взялась за перо.

«Мой дорогой Джимми,

Для нас обоих будет лучше, если ты возьмешь себе отпуск и немного отдохнешь от меня. Не приходи, пока я не напишу тебе. Мне очень жаль, что я так расстроила тебя сегодня вечером. Развлекайся, отдыхай хорошенько и ни о чем не беспокойся.

Твоя....»

Она не дописала — на страницу упала слеза; пришлось разорвать письмо и начать сначала. На этот раз она подписалась: «Твоя Лила».

«Я должна отправить письмо сейчас же,— подумала она,— иначе он не получит его до завтрашнего вечера. Второй раз я уже этого не вынесу!» Она выбежала на улицу и опустила письмо в почтовый ящик. Ночь была напоена ароматами цветов; поспешно вернувшись к себе, она улеглась и несколько часов лежала без сна, ворочаясь с боку на бок и вглядываясь в темноту.

У Лилы было много мужества, но мало терпения. Теперь ее захватила только одна мысль — уехать; и она сразу начала устраивать свои дела и хлопотать о разрешении вернуться в Южную Африку. Возня с покупками, с подготовкой к отъезду — все это успокаивало ее. Трудно было придумать лучшее лекарство. Путешествия по морю в те дни были опасны, но ощущение риска доставляло ей какое-то удовольствие. «Если я пойду ко дну, — думала она, — тем лучше; сразу конец, без долгих проволочек». Но когда разрешение было у нее уже в руках и каюта заказана, она со всей ясностью поняла непоправимость этого шага. Повидать его еще раз или нет? Пароход отходил через три дня, надо было решать. Если бы он, чувствуя угрызения совести, проявил к ней хоть какую-то нежность, она еще могла бы отказаться от своего решения; но тогда бы снова начался весь этот ужас и она снова была бы вынуждена пойти на тот же шаг. Она колебалась до тех пор, пока не наступил канун отъезда; болезненная потребность увидеть его и боязнь этой встречи стали настолько непереносимыми, что она потеряла покой. К вечеру все до последней мелочи было уложено; она вышла на улицу, еще ни на что не решившись. Странное желание повернуть торчавший в ее ране кинжал и узнать, что стало с Ноэль, привело ее к дому Эдварда. Почти бессознательно она надела самое красивое платье и целый час провела у зеркала. Лицо ее горело. Она разругивалась от лихорадки скорее душевной, чем телесной, не оставлявшей ее с той знаменательной ночи, и была очень хороша; по дороге на Бейкер-стрит она купила гардению и приколотла ее к платью. Дойдя до дома Пирсона, она с удивлением увидела на дверях доску с надписью: «Сдается в наем», хотя дом казался еще обитаемым. Она позвонила, ее провели в гостиную. Лила только дважды бывала в этом доме, и почему-то, быть может, потому, что сама она была так несчастна, старая, довольно запущенная комната показалась ей необычайно трогательной, словно наполненной прошлым. «Интересно, как выглядела его жена?» — подумала она. И тут же увидела на стене, на куске черного бархата, выцветший портрет стройной молодой женщины — она сидела, слег-

ка подавшись вперед, положив руки на колени. Портрет был выполнен в сиреневых, палевых и розовых тонах. Глаза, очень живые и немного похожие на глаза Грэтианы; лицо нежное, энергичное, доброе. «Да,— размышляла Лила,— должно быть, он очень тебя любил! И распрощаться с тобой ему было нелегко». Она еще стояла перед портретом, когда вошел Пирсон.

— Какое милое лицо, Эдвард! Я пришла проститься. Уезжаю завтра в Южную Африку.— Прикоснувшись к его руке, она подумала: «Какая глупость — подумать только, что я собиралась влюбиться в себя этого человека!»

— Значит, ты... ты расстаешься с ним?

Лила кивнула.

— Весьма похвально, прекрасно!

— Ах, нет! Просто плетью обуха не перешибешь. Я отказываюсь от своего счастья отнюдь не добровольно. Вот в чем истина! Какой я стану, не знаю, но не лучше, чем сейчас, можешь быть уверен! Я отказываюсь от счастья потому, что не могу удержать его, и ты знаешь причину этого. Где Ноэль?

— Она на взморье вместе с Джорджем и Грэтианой.

Он смотрел на нее с удивлением; выражение его лица, в котором были жалость и недоумение, сердило ее.

— Я вижу, дом сдается. Кто бы мог подумать, что это дитя в силах свалить два таких дуба, как мы с тобой? Ничего, Эдвард, в наших жилах течет одна кровь. Как-нибудь вывернемся, каждый по-своему. А ты-то куда едешь?

— Кажется, меня назначают капелланом на восток.

На мгновение у Лилы мелькнула дикая мысль: «А что, если я предложу ему поехать с ним — два бездомных пса вместе?»

— Эдвард, что было бы, если бы в ту Майскую неделю, когда мы были чуточку влюблены друг в друга, ты предложил мне выйти за тебя замуж? Кто бы из нас оказался в проигрыше — ты или я?

— Ты бы не пошла за меня, Лила.

— Ах, кто знает! Но тогда ты не стал бы священником и уж никогда — святым.

— Не произноси этого глупого слова. Если бы ты знала!..

— Я знаю; я знаю, что ты наполовину сожжен живо; наполовину сожжен и наполовину похоронен! Что ж, ты получил свою награду, какова бы она ни была. А я получила свою. Прощай, Эдвард.— Она протянула ему руку:— Можешь благословить меня; мне хочется этого.

Пирсон положил ей руки на плечи и, наклонившись, поцеловал ее в лоб.

Глаза Лилы наполнились слезами..

— Ах! — воскликнула она.— До чего же безрадостен этот мир!

И, вытерев дрожащие губы рукой, затянутой в перчатку, она быстро прошла мимо него к двери. Там она обернулась. Он стоял неподвижно, но губы его что-то шептали. «Он молится обо мне! — подумала она.— Как забавно!»

Как только Лила вышла от Эдварда, она сразу забыла о нем. Мучительное желание увидеть Форта властно захватило ее, как будто черная фигура Пирсона — воплощение подавленных страстей — пробудила в ней любовь к жизни и к радости. Она непременно должна увидеть Джимми, даже если ей придется ждать его или искать всю ночь! Было около семи, он уже, должно быть, кончил работу в военном министерстве; возможно, он в клубе или у себя дома. Она решила поехать к нему на квартиру. Маленькая улочка, протянувшаяся вдоль ограды Букингемского дворца, на домах которой вот уже целый год никто не писал слово «мир», точно вся высохла после знойного солнечного дня. Парикмахерская под его квартирой еще была открыта, а дверь, которая вела к нему, стояла полуотворенной. «Я не стану звонить,— подумала она,— я прямо пойду наверх». Пока она поднималась по двум маршам лестницы, она дважды останавливалась, задыхаясь и чувствуя боль в боку. В последние дни эта боль часто давала себя знать, словно тоска в сердце становилась физической болью. На небольшой площадке верхнего этажа, у самой его квартиры, она подождала немного, прислонившись к стене, оклеенной красными обоями. В коридоре было открыто окно, и оттуда доносились неясные звуки, пели

хором: «Vivé-la, vivé-la, vivé-la vé. Vivé-la compagnie!»¹ «О боже,— думала она,— только бы он оказался дома, только бы он был ласков со мной! Это ведь последний раз!» И, вконец измученная тревогой, она открыла дверь. Он был дома — лежал на старой кушетке у стены в дальнем углу, закинув руки за голову, во рту торчала трубка; глаза были закрыты, он не пошевелился и не открыл их, вероятно, принял ее за служанку. Бесшумно, как кошка, Лиля пересекла комнату и остановилась над ним. Ожидая, когда он очнется от этого мнимого летаргического сна, она впилась глазами в его худое, скуластое лицо с запавшими щеками, хотя он был совершенно здоров. В зубах у него торчала трубка; казалось, он отчаянно сопротивляется во сне — голова откинута назад, кулаки сжаты, словно он готовится дать отпор кому-то, кто тянется к нему, подползает и пытается стащить его вниз. Из трубки тянулся дымок. Раненая нога все время подергивалась, видимо, она его беспокоила; но вообще он сохранял какую-то упрямую неподвижность, словно и впрямь спал. У него стали гуще волосы, в них не было ни одной серебряной нити, крепкие зубы, в которых торчала трубка, сверкали белизной. Да, у него совсем молодое лицо, он выглядит намного моложе, чем она! Почему она так любит это лицо — лицо человека, который так и не полюбил ее? На секунду ей захотелось схватить подушку, соскользнувшую на пол с кушетки, и задушить его — вот прямо здесь, на кушетке, на которой он лежит, не желая, как ей казалось, очнуться. Отвергнутая любовь! Унижение! Она уже готова была повернуться и выскользнуть из комнаты. Но через дверь, которую она оставила открытой, снова донеслись звуки песни «Vivé-la, vivé-la, vivé-la vé!», нестерпимо ударив ее по нервам. Сорвав с груди гардению, она бросила ее на его повернутое к стене лицо.

— Джимми!

Форт с усилием поднялся и уставился на нее. Лицо его выглядело комичным — настолько он был ошеломлен; у нее вырвался короткий нервный смешок.

— Сразу видно, что снилась тебе не я, милый Джим-

¹ Да здравствует, да здравствует наша рота! (франц.)

ми! Я даже в этом уверена. В каком же саду ты блуждал?

— Лила! Ты! Как... как это приятно!

— Как... как приятно! Захотела повидать тебя, и вот пришла. Теперь я увидела, какой ты, когда не со мной. Я запомню тебя таким; для меня это полезно — страшно полезно.

— Я не слышал, как ты вошла.

— Ты был далеко, мой дорогой. Продень гардению в петлицу; погоди, я продену сама. Хорошо ли ты отдохнул за эту неделю? Тебе нравится мое платье? Оно новое. Сам бы ты, наверно, и не заметил его, ведь правда?

— Обязательно бы заметил. Прелестное платье.

— Джимми, я думаю, теперь ничто-ничто не мешает тебе быть рыцарем.

— Рыцарем? Да я не рыцарь.

— Я хочу закрыть дверь. Ты не возражаешь?

Он встал и сам пошел к двери, закрыл ее и вернулся. Лила взглянула на него.

— Джимми, если ты когда-нибудь любил меня хоть немного, будь ласков со мной сегодня. И если я начну говорить разную чушь и в ней прозвучит горечь, не обращай внимания. Обещай мне!

— Обещаю.

Она сняла шляпу и села на кушетку, наклонившись к нему так, чтобы не видеть его лица. Она почувствовала, как он обнял ее, и позволила себе снова уплыть в море иллюзий, нырнуть в него глубоко-глубоко, стараясь забыть, что существует морская поверхность, куда ей надо вернуться; как маленькая девочка, она играла в игру, которая называется «понарошку».

«Он любит меня... любит... любит!» Забыться, забыться только на час, на один час; она чувствовала, что готова отдать ему все, что осталось у нее от жизни, все до конца и от всего сердца. Она взяла его руку, прижала ее к своей груди и закрыла глаза, чтобы не видеть его лица. Аромат гардении в его петлице был до боли сладким и крепким.

Уже темнело, когда она надела шляпу, собираясь уйти. Теперь она окончательно проснулась и больше не играла в ту детскую игру. Она стояла с каменным лицом,

улыбаясь в полумраке и глядя сквозь полуопущенные ресницы на грустного, ничего не подозревающего Форта.

— Бедный Джимми! — сказала она. — Я не буду мешать больше — тебе пора обедать. Нет, не надо меня провожать. Я пойду одна; и не включай, ради бога, свет.

Она положила руку на отворот его пиджака.

— Цветок совсем потемнел. Выброси его: я не люблю увядших цветов. Да и ты их не выносишь. Купи себе завтра свежий.

Она вытащила гардению из петлицы, раздавила в руке и подняла глаза на Форта.

— Ну хорошо, поцелуй меня еще раз. Тебя от этого не убудет.

На одно мгновение ее губы со страстной силой прижались к его губам. Она оторвалась от него, ощупью нашла ручку двери и, захлопнув ее перед его носом, медленно, слегка шатаясь, стала спускаться по лестнице. Рук в перчатке она хваталась за стену, словно стена могла поддержать ее. На последнем пролете, где висела занавеска, отделяющая боковые помещения, она остановилась и прислушалась. Не было слышно ни звука. «Если я постою здесь, — подумала она, — я, может быть, еще раз увижу его». Она проскользнула за плотно задернутую занавеску. Было так темно, что она не могла разглядеть даже собственной руки. Она услышала, как наверху отворилась дверь и слышались его медленные шаги. Она увидела его ступни, потом колени, потом всю его фигуру, только лицо казалось каким-то мутным пятном. Он прошел мимо, куря сигарету. Она зажала рот рукой, чтобы у нее не вырвалось какое-нибудь слово; в нос ударил пряный холодный запах раздавленной гардении. Форт ушел, дверь внизу захлопнулась. Дикое, глупое желание пришло к ней: подняться снова наверх, подождать, пока он придет, броситься ему на шею, рассказать, что она уезжает, умолять его оставить ее у себя. Ах, он бы это сделал! Он взглянул бы на нее с ужасающей жалостью, которую она не может переносить, и сказал бы: «Разумеется, Лила, конечно!» Нет, черт побери, нет!

— Я спокойно пойду домой, — пробормотала она, — прямо домой. Иди же, будь мужественной, не будь душой! Иди же! — И она вышла на улицу.

У входа в парк она увидела, как он, прихрамывая, идет впереди, шагах в пятидесяти от нее. И она шла за ним, словно тень, все время на одном и том же расстоянии, вдоль аллеи платанов, вдоль ограды парка, мимо Сент-Джеймского дворца, к Пэл-Мэл. Он поднялся по ступенькам и исчез в своем клубе. Конец. Она посмотрела на здание: перед ней высилась огромная, погруженная во тьму гранитная гробница. Возле дверей стояло свободное такси. Она села в него и сказала: «Кэймилот-Мэншенз, Сент-Джонс-Вуд». Затем откинулась на спинку сиденья и, прерывисто дыша, сцепив руки, подумала: «Ну вот я его и увидела. Лучше съесть сухую корку, чем остаться совсем без хлеба. О боже! Все кончено, все пошло прахом — все! *Vivé-la, vivé-la, vivé-la vé. Vivé-la compagne!*»

ГЛАВА XIV

До прихода Лилы Форт лежал уже около часа, засыпал и снова просыпался. Ему снился странный и удивительно волнующий сон. В сумрачном свете не то ночи, не то утра тянется длинная серая черта — линия фронта на полях сражений Франции; по всему фронту идет пулеметная стрельба короткими очередями, серая черта то выгибается вперед, то отодвигается назад, потом снова движется вперед, все дальше и дальше. И при каждом рывке проносится крик, слышен и его голос: «Ур-р-эй, англичане! Ур-р-эй, англичане!» Его захватила эта накатывающаяся в сером свете дня лавина тусклых фигур, топот и гул, это удивительно ритмичное, неуклонное движение вперед, которое нельзя остановить, как нельзя остановить волны прибоя. Жизнь — ничто, смерть — ничто! «Ур-р-эй, англичане!» В этом сне он был воплощением родины; каждый солдат в длинной наступающей цепи, неудержимо движущейся вперед, все вперед и вперед, — это он! В самый разгар этого уелекательного сновидения его разбудил шум на улице; он закрыл глаза в тщетной надежде досмотреть сон. Но сон больше не приходил, Форт закурил трубку и лежал, дивясь фантастической реальности сна. Смерть — ничто если родина живет и побеждает. В часы бодрствования ему еще никогда не удавалось прийти к такому цельному

познанию самого себя. Жизнь, удивительно реальная, перемешивается с фантастическим содержанием снов, словно кто-то старается убедить в чем-то спящего вопреки ему самому... «Ур-р-эй!» вместо «Ур-р-р-а!», простонародное «Ур-р-р-эй!». И «англичане», а не классическое «британцы». Именно в это мгновение его лба коснулся цветок и голос Лилы окликнул его: «Джимми!»

Когда она ушла, он устало подумал: «Ну вот, все началось сначала». Да и какое это имеет значение, если честность и сострадание отрывают его от той, к которой стремится его сердце, если желание его абсурдно, так же неосуществимо, как неосуществимо желание достать луну с неба! Какое это имеет значение? Если Лиле хочется любить его, пусть себе любит! И все же, пока он шел под платанами, ему казалось, что Ноэль плывет где-то впереди него, недостижимая, и у него начинало ныть сердце, стоило только ему подумать, что он никогда, никогда не догонит ее, никогда не пойдет с ней рядом!

Через два дня, придя вечером домой, он обнаружил письмо на пароходном бланке, с маркой, на которой был штемпель Плимута.

«Прощай, и если навсегда,
То навсегда прощай! ¹»

Лила»..

Он прочел эти строки с мучительным чувством, словно его обвинили в преступлении, а он не знает, совершил его или нет. Пытаясь собраться с мыслями, он взял машину и поехал к Лиле. Ее комнаты были заперты, но ему дали ее адрес — адрес банка в Кейптауне. Итак, он свободен! Мучаясь угрызениями совести и в то же время испытывая странное и острое облегчение, он услышал, что шофер такси спрашивает, куда ехать.

— О! Домой!

Но не проехали они и мили, как он передумал и назвал другой адрес, хотя уже в следующее мгновение ему стало стыдно своего внезапного порыва. То, что он делает, столь же недостойно, как если бы с похорон жены он отправился в будуар другой женщины. Когда он до-

¹ Из стихотворения Байрона «Прости».

ехал до Олд-сквер и ему в глаза бросились слова «Сдается в наем», он снова почувствовал странное облегчение, хотя понял, что не увидит той, за десятиминутную встречу с которой готов отдать год жизни. Отпустив такси, он стоял, колеблясь: позвонить или нет? В окне мелькнуло лицо служанки, и он решился. Пирсона не было дома, Грэтiana и Ноэль уехали. Он попросил адрес миссис Лэрд и пошел к выходу, но в дверях столкнулся с самим мистером Пирсоном. Они поздоровались холодно и принужденно. «Знает ли он, что Ли́ла уехала? — подумал Форт.— Если знает, то, наверно, считает меня последним негодяем. А может, я и есть негодяй?»

Придя домой, Форт сел писать Лиле. Но он целый час глядел на бумагу и написал только три строки:

«Дорогая Ли́ла,

Я не могу выразить тебе те чувства, которые испытал, получив твое письмо...»

Он разорвал листок. Нет, никакие слова не будут правдивыми, не будут верными. Пусть сгинет прошлое, мертвое прошлое, которое в его сердце никогда не было живым. Зачем притворяться? Он сделал все что мог, чтобы остаться на высоте. Зачем же притворяться?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I

В пансионе, где все еще жили Лэрды, у камина сидела и вязала старая женщина; свет заходящего солнца отбрасывал ее тень на стену, и тень, паукообразная и серая, двигалась по желтой стене в такт звяканью спиц. Она была очень стара, наверно, самая старая женщина на свете, как думалось Ноэль. И вязала она не переставая, не переводя дыхания, так что девушке иногда хотелось закричать. По вечерам, когда Джорджа и Грэтианы не было дома, Ноэль частенько сидела у камина, наблюдая, как она вяжет, и печально размышляя о своем будущем. Временами старуха взглядывала на нее поверх очков, уголки ее губ слегка подергивались, потом она снова опускала глаза. Старуха боролась против судьбы; пока она вяжет, война не кончится,— к такому заключению пришла Ноэль. Эта старая женщина под звяканье своих спиц вяжет эпическую поэму о покорности; это из-за нее длится война — из-за такой маленькой, иссохшей женщины! «Если бы я схватила ее сзади за локти,— думала иногда Ноэль,— наверно, она бы сразу умерла. Может быть, схватить? Тогда война кончится. А если война кончится, снова вернется любовь и жизнь». Но едва слышная серебристая мелодия спиц опять вторгалась в ее мысли, мешая думать. В этот вечер у нее на коленях лежало письмо от отца.

«Моя любимая Нолли,

Я рад сообщить тебе, что уже назначен капелланом и скоро выеду в Египет. Я бы хотел поехать во Францию, но, учитывая свой возраст, надо брать то, что пред-

лагают. Мне кажется, что нам, старикам, не хотят давать ходу. Для меня большое утешение, что с тобой Грэтiana; несомненно, вы скоро переселитесь, и ты сможешь взять к себе моего маленького внука. Я получил письмо от твоей тетушки, и она рассказывает о нем много забавного. Дитя мое, не думай, что я вышел в отставку из-за тебя. Это не так. Ты знаешь или, может быть, не знаешь, что с начала войны меня очень огорчало то, что мне приходится сидеть дома. Сердцем я был с нашими солдатами и рано или поздно должен был прийти к этому решению, независимо ни от чего. Дважды ко мне заходил по вечерам мосье Лавенди; он очень приятный человек и очень мне нравится, хотя наши взгляды совершенно расходятся. Он хотел отдать мне набросок, который сделал с тебя в парке, но зачем он мне сейчас? И если сказать правду, этот рисунок мне нравится не больше, чем портрет маслом. Ты на нем совсем не похожа и совсем не такая, какой я тебя знаю. Надеюсь, что он не обиделся — ведь чувства художника очень легко уязвимы. Есть и еще кое-что, о чем я должен тебе сказать. Лила уехала в Южную Африку. Она зашла однажды вечером, дней десять назад, чтобы попрощаться. Она держалась очень мужественно, хотя, мне кажется, ей было очень тяжело. Я надеюсь и молю бога, чтобы она нашла там утешение и покой. А теперь, моя дорогая, я хотел бы, чтобы ты мне обещала не встречаться с капитаном Фортом. Я знаю, что он восхищен тобой. Но, независимо от его отношения к Лиле, он произвел на меня самое неприятное впечатление — явиться к нам в дом в тот самый день, когда она уехала! В этом есть что-то такое, что не позволяет мне доверять ему. Я ни на минуту не предполагаю, что он занимает место в твоих мыслях, но все-таки, собираясь уехать так далеко от тебя, я должен тебя предостеречь. Я был бы счастлив, если бы ты вышла замуж за хорошего человека; но, хотя я не хочу думать ни о ком дурно, я не могу считать капитана Форта хорошим человеком.

Я заеду к вам перед отъездом, вероятно, это будет очень скоро. С горячей любовью к тебе и Грэйси и лучшими пожеланиями Джорджу.

Любящий тебя отец
Эдвард Пирсон».

Снова опустив письмо на колени, Ноэль стала глядеть на движение паукообразной тени по стене. А может быть, старая женщина вывязывает поэму не о покорности, а о сопротивлении, может быть, она бросает вызов самой смерти, вызов, который пляшет под звяканье спиц, как серый призрак сопротивления человека Судьбе! Она не хочет сдаваться, эта самая старая женщина в мире; она собирается вязать до тех пор, пока не сойдет в могилу... Значит, Лиля уехала. Ноэль с болью подумала об этом, но вместе с тем эта новость обрадовала ее. Покорность... сопротивление! «Почему отец всегда выбирает для меня дорогу, по которой я должна идти? Такой мягкий, он всегда хочет сделать по-своему! И почему он всегда заставляет меня идти не той дорогой, какой я хочу?»

Солнечный свет перестал вливаться в комнату, и тень старой женщины на стене угасала, но спицы все продолжали свою тихую песню. Девушка спросила:

— Вам нравится вязать, миссис Адам?

Старуха взглянула на нее поверх очков.

— Нравится, моя милая? Это убивает время.

— А вам хочется убивать время?

Ответа не последовало, и Ноэль подумала: «Зачем я спросила ее?»

— Что? — вдруг откликнулась старая женщина.

— Я спросила: не утомляет ли вас это?

— Нет, когда я об этом не думаю, дорогая.

— А о чем же вы думаете?

Старуха хихикнула.

— О, мало ли о чем! — сказала она.

У Ноэль мелькнула мысль: «Как страшно быть старой и убивать время!»

Она взяла письмо отца и задумчиво прижала его к подбородку. Он хочет, чтобы и она убивала время вместо того, чтобы радоваться жизни! Убивать время! А что другое делал он сам все эти годы, с тех пор, как она помнила его, с тех пор, как умерла мать, — что он делал, как не убивал время? Он убивал время, потому что не верил в земную жизнь; он не жил, а только готовился к другой жизни, к той, в которую верил. Он отказывал себе во всем, что дарует радость и счастье, только для то-

го, чтобы после смерти перейти чистым и святым в свой иной мир. Он не может считать капитана Форта хорошим человеком потому, что тот не убивал время и оказал сопротивление Лиле; и вот Лила уехала! А теперь выясняется, что для Форта грех полюбить кого-либо другого; он должен снова убивать время. «Папа не верит в жизнь,— подумала она,— он такой, каким изобразил его на картине *mon sieur*. Папа — святой; а я не хочу быть святой и убивать время. Ему ничего не стоит сделать человека несчастным, потому что чем больше человек подавляет свои чувства, тем святее он будет. Но я не хочу быть несчастной и не хочу видеть несчастными других. Интересно, смогла бы я согласиться стать несчастной ради блага другого, как поступила Лила? Я восхищаюсь ею! О, я восхищаюсь ею! Она уехала не для того, чтобы спасти свою душу, а только потому, что не хотела сделать несчастным его. Она, должно быть, очень его любит. Бедная Лила! И она сама решилась на это». Ей вспомнились рассуждения Джорджа о солдатах: они не знают, почему они герои; они герои не потому, что им так приказали, и не потому, что верят в загробную жизнь. Они становятся героями, чтобы спасти других.

«А ведь они любят жизнь не меньше меня,— подумала Ноэль.— Каким подлым начинаешь себя чувствовать после всего этого! Ах, эти спицы! Сопротивление... покорность? А может быть, и то и другое? Самая старая женщина на свете; уголки ее губ дергаются, она задерживает время, она прожила свою жизнь и знает это. Как страшно продолжать жить, зная, что ты больше никому не нужна и тебе остается только убивать время и ждать смерти! Но еще страшнее убивать время, когда ты молода и сильна и жизнь и любовь еще только ждут тебя! Я не стану отвечать папе»,— решила она.

ГЛАВА II

Горничная, которая в один из субботних дней июля открыла дверь Джимми Форту, никогда не слышала фамилию Лэрдов — видно, она сама затерялась в этом нескончаемом потоке людей, которые проходят через меб-

лированные комнаты в районах, подверженных воздушным налетам. Она провела его в гостиную и пошла разыскивать мисс Хэллоу. Он ждал, перелистывая страницы иллюстрированного журнала, разглядывая светских красавиц, голодающих сербов, актрис с красивыми ногами, призовых собак, тонущие корабли, особ королевского дома, взрывы снарядов, священников, отпевающих мертвецов, что должно было свидетельствовать о приверженности читателей к католической вере; но все это отнюдь не успокаивало его нервы. А что если никто не знает их адреса? Ведь в страхе перед предстоящим ему испытанием он из месяца в месяц откладывал свое посещение. У камина сидела и вязала старая женщина; звяканье ее спиц сливалось с жужжанием большой пчелы на оконном стекле. «Может быть, она знает? — подумал он. — Она выглядит так, словно живет здесь вечно». Он подошел к ней и сказал:

— Я уверен, что эти носки будут носить с большим удовольствием, сударыня.

Старая женщина посмотрела на него поверх очков.

— Это убивает время, — сказала она.

— Больше того: это помогает выиграть войну, сударыня!

Уголки губ старухи задергались, но она не ответила.

«Глухая!» — подумал он.

— Могу ли я вас спросить: не знаете ли вы моих друзей — доктора и миссис Лэрд, а также мисс Пирсон?

Старая женщина захихикала.

— О, да! Красивая молодая девушка — красивая, как сама жизнь. Она все сидела здесь возле меня. Одно удовольствие было смотреть на нее — у нее такие большие глаза.

— Куда же они уехали? Вы не можете мне сказать?

— О, понятия не имею.

Его точно обдало холодной водой. Ему хотелось крикнуть: «Перестаньте же вязать хоть на минуту, пожалуйста! В этом вся моя жизнь — я должен знать, где они». Но песенка спиц отвечала: «А моя жизнь — в вязанье».

Он отвернулся к окну.

— Она любила здесь сидеть — тихонько, тихонько, совсем тихо...

Форт посмотрел на подоконник. Так, значит, вот здесь она любила сидеть совсем тихо!

— Как ужасна эта война! — сказала старая женщина. — Вы были на фронте?

— Да.

— А возьмите бедных молодых девушек, у которых никогда не будет мужей! Право, это ужасно.

— Да, — сказал Форт. — Это ужасно.

Но тут из-за дверей послышался чей-то голос:

— Вы ищете доктора и миссис Лэрд, сэр? Их адрес — Восточное Бунгало; это недалеко, по северной дороге. Всякий вам покажет.

Со вздохом облегчения Форт благодарно посмотрел на старую женщину, которая назвала Нолли красивой, как жизнь.

— До свидания, сударыня.

— До свидания.

Спицы звякнули, и уголки губ старухи снова задержались. Форт вышел. Он не смог достать машину и долго тащился пешком. Бунгало оказалось неприглядным зданием из желтого кирпича с остроконечной красной кровлей. Дом стоял между шоссе и крутым обрывом, за ним тянулся сад-альпиниум; освещенный закатным солнцем, дом казался совсем новым. Форт открыл калитку и произнес про себя одну из тех молитв, которые так быстро приходят на ум неверующим, когда они чего-нибудь хотят добиться. Он услышал плач ребенка и подумал с восторгом: «Господи, она здесь!» Пройдя через сад, он увидел на лужайке за домом детскую коляску, стоявшую под дубом, и Ноэль, да, да, Ноэль! Собравшись с духом, он двинулся дальше. Она стояла, наклонившись над коляской, на голове у нее была лиловая шляпа от солнца. Он тихо шел по траве и уже был возле самой коляски, когда она услышала его шаги. Он не приготовил никаких слов, просто протянул ей руку. Тень упала на коляску, и ребенок перестал плакать. Ноэль пожала Форту руку. В шляпе, скрывавшей ее волосы, она выглядела старше и бледнее, словно ее измучил зной. У него не было такого ощущения, что она рада видеть его.

— Здравствуйте, — сказала она. — Вы уже видели Гретиану? Она должна быть дома.

— Я пришел не к ней; я пришел к вам.

Ноэль повернулась к ребенку.

— Вот он!

Форт стоял у коляски и смотрел на ребенка, отцом которого был тот парень. Затененная верхом коляски и гофрированной оборкой чепчика, головка ребенка казалась запрокинутой. Он царапал свой вздернутый носик и выпуклый лобик и глядел на мать голубыми глазами, под которыми, казалось, не было нижних век, такими пухлыми были его щечки.

— Интересно, о чем думают дети? — сказал Форт.

Ноэль сунула свой палец в кулачок ребенку.

— Они думают только тогда, когда им что-нибудь нужно.

— Это хорошо сказано; но его глаза с большим интересом смотрят на вас.

Ноэль улыбнулась, и тут же улыбнулся ребенок, обнажив беззубые десны.

— Он прелесть! — сказала она шепотом.

«И ты тоже, — подумал он, — если б только я осмелился сказать это».

— Здесь сейчас папа, — проговорила она вдруг, не глядя на него. — Послезавтра он отплывает в Египет. Вы ему не нравитесь.

У Форты чуть не выскочило сердце. Зачем бы ей говорить это, если бы... если бы она хоть немного не была на его стороне?

— Я так и думал, — ответил он. — Я ведь грешник, как вы знаете.

Ноэль подняла на него глаза.

— Грешник? — повторила она и снова наклонилась над ребенком; она произнесла это слово таким тоном, что он подумал: «Если бы не это крошечное создание, у меня не было бы и тени надежды!»

— Я пойду, поздороваюсь с вашим отцом, — сказал он. — Он в доме?

— Думаю, что да.

— Могу я прийти завтра?

— Завтра воскресенье. И последний день перед отъездом папы.

— А! Понимаю. — Он пошел к дому, не решаясь оглянуться, чтобы узнать, смотрит ли она ему вслед.

И подумал: «Есть ли у меня надежда или нет, но я буду драться за нее зубами и когтями».

Пирсон сидел на диване в освещенной заходящим солнцем комнате и читал. Он был в форме цвета хаки, и вид его удивил Форту, не ожидавшего такого превращения. Узкое лицо, сейчас чисто выбритое, с глубоко сидящими глазами и сжатыми губами, казалось более чем всегда аскетическим, несмотря на военную форму. Форт почувствовал, как слабы его шансы, и сказал, словно бросаясь в ледяную воду:

— Я пришел просить вас, сэр, разрешить мне жениться на Ноэль, если она захочет выйти за меня.

Лицо Пирсона всегда казалось Форту мягким и добрым; сейчас оно не было таким.

— Вы что же, знали, что я здесь, капитан Форт?

— Я видел Ноэль в саду. Разумеется, я ничего ей не говорил. Но она сказала мне, что вы завтра уезжаете в Египет. Поэтому другого случая у меня не будет.

— Очень жаль, что вы приехали. Не мне судить, но я не думаю, что вы можете составить счастье Ноэль.

— Позволю себе спросить: почему, сэр?

— Капитан Форт, мирские суждения о таких вещах не для меня; но раз вы спрашиваете, отвечу вам откровенно. Моя кузина Лила имеет права на вас. Ей, а не Ноэль вы должны были предложить выйти за вас замуж.

— Я предлагал ей; она мне отказала.

— Я знаю. Но она не отказала бы вам, если бы вы поехали к ней.

— Я не свободен и не могу так просто поехать к ней; кроме того, она все равно откажет. Она знает, что я не люблю ее и никогда не любил.

— Никогда?

— Никогда!

— Тогда почему же...

— Навернсе, потому что я мужчина и к тому же глупый.

— Если все произошло только потому, что вы мужчина, как вы выразились, значит, вами не руководили никакие принципы или вера. А вы просите отдать вам Ноэль — мою бедную Ноэль, которой нужна любовь и

защита не просто «мужчины», а хорошего человека. Нет, капитан Форт, нет!

Форт закусил губу.

— Конечно, я человек нехороший в вашем понимании этого слова; но я очень люблю ее и сумею ее защитить. Я не имею ни малейшего понятия, согласится ли она стать моей женой. Естественно, я и не надеюсь на это. Но я предупреждаю вас, что собираюсь спросить ее и буду ждать. Я так ее люблю, что не могу поступить иначе.

— Когда любят по-настоящему, поступают так, как лучше для той, которую любят.

Форт опустил голову, он почувствовал себя школьником, стоящим перед строгим учителем.

— Это верно,— сказал он.— И я никогда не воспользуюсь ее положением; если она не питает ко мне никаких чувств, я не стану ее беспокоить, заверяю вас. Если же произойдет чудо и она полюбит меня, я знаю, что смогу сделать ее счастливой, сэр.

— Она же совсем ребенок.

— Нет, она не ребенок,— упрямо ответил Форт.

Пирсон прикоснулся к отвороту своего военного костюма.

— Капитан Форт, я уезжаю от нее далеко и оставляю ее беззащитной. Я верю в ваши рыцарские чувства и надеюсь, что вы не сделаете ей предложения, пока я не вернусь.

Форт откинул голову.

— Нет, этого я не могу обещать. Здесь вы или нет, это ничего не меняет. Либо она полюбит меня, либо не полюбит. Если полюбит, она будет счастлива со мной. Если же нет, тогда всему конец.

Пирсон медленно подошел к нему.

— С моей точки зрения,— сказал он,— ваша связь с Лилой была такова, что вас можно считать в браке с ней.

— Вы ведь не ждете от меня, что я приму точку зрения священника, сэр?

Губы Пирсона задрожали.

— По-вашему, это точка зрения священника, а по-моему, это точка зрения порядочного человека.

Форт покраснел.

— Это уж дело моей совести,— сказал он упрямо.— Я не могу и не стану рассказывать вам, как все началось. Я был глупцом. Но я сделал все, что мог, и знаю, что Лила не считает меня связанным с ней. Если бы она так думала, она никогда бы не уехала. Когда нет настоящего чувства — а с моей стороны его не было — и когда есть другое — любовь к Ноэль, чувство, которое я старался подавить, от которого старался убежать...

— Так ли?

— Да. Продолжать связь с той, другой, было бы низостью. Мне казалось, что вы все понимали, сэр; но я все-таки сохранял эту связь. Лила сама положила всему конец.

— Мне думается, Лила вела себя благородно.

— В высшей степени благородно; но из этого вовсе не следует, что я негодяй.

Пирсон отвернулся к окну, откуда мог видеть Ноэль.

— Все это мне отвратительно,— сказал он.— Неужели в ее жизни больше никогда не будет чистоты?

— Неужели у нее вообще не должно быть жизни? По-вашему, сэр, выходит, что не должно. Я не хуже других мужчин, и ни один из них не будет любить ее так, как я.

Целую минуту Пирсон простоял, не произнеся ни слова, потом сказал:

— Простите меня, если я был слишком суров. Я не хотел этого. Я слишком люблю ее и желаю ей только добра. Но всю свою жизнь я верил в то, что для мужчины может существовать только одна женщина, а для женщины — только один мужчина.

— Тогда, сэр,— взорвался Форт,— вы хотите, чтобы она...

Пирсон поднял руку, словно защищаясь от удара, и, как ни был зол Форт, он умолк.

— Все мы созданы из плоти и крови,— заговорил он холодно,— а вы, мне кажется, об этом не думаете.

— У нас есть также души, капитан Форт.— Голос Пирсона стал вдруг мягким, и гнев Форты испарился.

— Мое уважение к вам очень глубоко, сэр; но еще глубже моя любовь к Ноэль, и ничто в мире не помешает мне попытаться отдать ей мою жизнь.

Улыбка пробежала по лицу Пирсона.

— Ну, если вы все-таки будете пытаться, то мне ничего не остается, как молиться о том, чтобы вы потерпели неудачу.

Форт не ответил и вышел.

Он медленно шел от Бунгало, опустив голову, обиженный, раздосадованный и все-таки успокоенный. Наконец-то он знает, как обстоят дела; и он не считает, что потерпел поражение — поучения Пирсона совершенно его не тронули. Его обвинили в аморальности, но он остается при убеждении, что человек всегда может найти себе оправдание. Только один отдаленный уголок его памяти, невидимый, а потому и не осужденный противником, вызывал у него беспокойство. Все остальное он себе прощал; все, кроме одного: он не мог простить себе, что знал Ноэль до того, как началась его связь с Лилой; что он позволил Лиле увлечь себя в тот самый вечер, когда с ним была Ноэль. Вот почему он испытывал иногда отвращение к самому себе. Всю дорогу до станции он продолжал думать: «Как я мог? За одно это я заслуживаю того, чтобы потерять ее! И все же я попытаю счастья: не теперь — позже!» Вконец измученный, он сел в поезд, идущий в Лондон.

ГЛАВА III

В этот последний день обе дочери Пирсона встали рано и отправились вместе с отцом к причастию. Грэтиана сказала Джорджу:

— Для меня причастие — ничто, для него же, когда он будет далеко, оно останется воспоминанием о нас. Поэтому я должна идти.

Он ответил:

— Совершенно верно, дорогая. Пусть он сегодня получит от вас обеих все, что может получить. Я постараюсь не мешать и вернусь поздно вечером, последним поездом.

Улыбка отца, увидевшего, что они ждут его, тронула

их до глубины души. Был прелестный день, свежесть раннего утра еще сохранилась в воздухе, когда они возвращались из церкви домой, торопясь к завтраку. Дочери вели его под руку. «Словно Мойсей — или то был Аарон?» — мелькнула нелепая мысль у Ноэль. На нее нахлынули воспоминания. Ах, эти прежние дни! Часы, которые они проводили по субботам после чая в детской; рассказы из огромной библии в кожаном с перламутром переплете, с фотогравюрами, на которых изображена святая земля: пальмы, холмы, козы, маленькие фигурки людей Востока, забавные кораблики на Галилейском море и верблюды — всюду верблюды! Книга лежала на коленях отца, а они обе стояли у ручек кресла, нетерпеливо ожидая, когда он перевернет страницу и появится новая картинка. Ближе от их лиц — его колючие щеки; звучат древние имена, овеянные величием: для Гретианы — это Иисус Навин, Даниил, Мордухай, Петр; для Ноэль — Авесалом, которого она любила за его волосы, Аман — за звучное имя, Руфь — за то, что она была красива, и Иоанн за то, что он склонялся на грудь Иисусу. Ни Гретиана, ни она не любили Иова, Давида, Илью и Елисея, — этого последнего они ненавидели за то, что его имя напоминало им нелюбимое имя Элиза. А потом они сидели перед вечерней службой у камина в гостиной, грызя жареные каштаны и рассказывая истории о привидениях, и пытались заставить папу съесть хоть немного каштанов. А часы, которые они проводили у пианино, с нетерпением ожидая «своего гимна»: Гретиана — «Вперед, христово воинство!», «Веди нас, свете тихий» и «Бог — наше прибежище»; а Ноэль — «Ближе, господи, к тебе» и еще один гимн, где пелось о «полчищах мидян» и еще «о терпящих бедствие в море». А рождественские гимны? Ах! А певчие? В одного из них Ноэль была влюблена — само слово «певчий» было полно для нее очарования; к тому же он был белокурый, и волосы у него не были жирными, а блестели, и она никогда не говорила с ним — просто обожала его издали, как звезду. И всегда, всегда папочка был так добр; иногда сердился, но всегда был добр. А они? Далеко не всегда! Эти воспоминания смешались с другими: вспоминались собаки, которые у них были, и кошки, и попугай, и гувернантки, и красные плащи, и помощники

отца, и пантомимы, и «Питер Пэн»¹ и «Алиса в стране чудес», и папа, который сидел между ними так, что обе они могли к нему прижаться. Вспоминались и школьные годы; тут и хоккей, и призы, и каникулы; приходишь домой и бросаешься к папе в объятия; а потом ежегодный большой, чудесный поход в далекие места, где можно ловить рыбу и купаться, путешествия пешком и в машинах, прогулки верхом и в горы — и всегда с ним!

А концерты и шекспировские пьесы на рождество или в пасхальные каникулы! А возвращение домой по улицам, залитым огнями в эти дни, — и опять они по обе стороны от него. И вот наступил конец!

Они ухаживали за отцом во время завтрака, то и дело бросая на него украдкой взгляды, словно запечатлевая его в своей памяти. Гретиана достала свой фотоаппарат и стала снимать его в утреннем солнечном свете, с Ноэль, без Ноэль, с ребенком — вопреки всем распоряжениям о защите государства. Ноэль предложила:

— Папа, давай второй завтрак возьмем с собой и на целый день уйдем в холмы, все втроем, и забудем про войну.

Как легко сказать и как трудно выполнить! Они лежали на траве, и до их ушей доносился гул орудий, он сливался с жужжанием насекомых. И все же шум лета, бесчисленные голоса крохотных существ, почти призрачных, но таких же живых, как они сами, существ, для которых их мимолетная жизнь была не менее важна, чем для людей; и белые облака, медленно движущиеся по небу, и далекая, странная чистота неба, льнущего к меловым холмам, — все эти белые, голубые и зеленые краски земли и моря несли с собой мир, и он окутывал души этих трех людей, в последний раз оставшихся наедине с природой перед разлукой — кто знает, надолго ли? По молчаливому соглашению они разговаривали только о том, что было до войны; над ними летал пух одуванчиков. Пирсон с непокрытой головой сидел на траве, скрестив ноги, ему было не по себе в жестком военном мундире. А они лежали по обе стороны от отца и смотрели на него, быть может, чуть-чуть иронически и все же с восхищением. Ноэль не нравился его воротник.

¹ Персонаж английских народных сказок.

— Если бы у тебя был мягкий воротник, папа, ты был бы очарователен! Может быть, там тебе разрешат снять этот. В Египте, наверное, страшная жара. Ах, как бы мне хотелось туда поехать! И как мне хотелось бы объехать весь мир! Когда-нибудь!

Вдруг он начал читать им эврипидовского «Ипполита» в переложении Мэррея¹. Время от времени Грэтiana обсуждала с ним какой-нибудь отрывок. А Ноэль лежала молча, глядя на небо. Когда умолкал голос отца, слышались песнь жаворонков и все тот же далекий гул орудий.

Они собрались домой только в начале седьмого — пора было пить чай и отправляться на вечернее богослужение. Часы, проведенные на палящем солнце, обессилили их; весь вечер они были молчаливы и грустны. Ноэль первая ушла к себе, не пожелав отцу спокойной ночи, она знала, что он придет к ней в этот последний вечер. Джордж еще не возвращался, и Грэтiana осталась в гостиной с Пирсоном; вокруг единственной горевшей лампы кружились мотыльки, хотя занавески были плотно задернуты. Она подвинулась к нему поближе.

— Папа, обещай мне не беспокоиться о Нолли; мы позаботимся о ней.

— Она может позаботиться о себе только сама, Грэйси. Но сделает ли она это? Ты знаешь, что вчера здесь был капитан Форт?

— Она сказала мне.

— Как она относится к нему?

— Я думаю, она сама еще не знает. Нолли ведь живет как во сне, а потом вдруг просыпается и бросается куда-нибудь, очертя голову.

— Я хотел бы оградить ее от этого человека.

— Но, папа, почему? Джорджу он нравится, и мне тоже.

О лампу бился большой серый мотылек. Пирсон встал, поймал его и положил на ладонь.

— Бедняга! Ты похож на мою Нолли; такое же неж-

¹ Мэррей, Гильберт (род. 1886) — английский филолог, популяризатор древнегреческой литературы.

ное и мечтательное существо, такое же беспомощное и безрассудное!

Подойдя к окну, он просунул руку сквозь занавес и выпустил мотылька.

— Отец,— сказала вдруг Грэтиана,— мы только сами можем решить, как нам жить; даже если бы нам пришлось опалить крылья. Мы как-то читали «Прагматизм» Джемса¹. Джордж говорит, что там нет единственно важной главы — об этике; а это как раз та глава, в которой должно быть доказано: все, что мы делаем, не является ошибочным до тех пор, пока результат не покажет, что мы ошибались. Я думаю, что автор побоялся написать эту главу.

На лице Пирсона появилась улыбка, как всегда, когда речь заходила о Джордже; эта улыбка словно бы говорила: «Ах, Джордж! Все это очень умно: но знаю-то я!

— Дорогая,— сказал он,— эта доктрина самая опасная! Я удивляюсь Джорджу.

— Мне кажется, что для Джорджа она не опасна.

— Джордж — человек с большим опытом, твердыми убеждениями и сильным характером; но, подумай, каким роковым все это может оказаться для Нолли, моей бедной Нолли, которая от маленького дуновения ветерка может угодить в пламя свечи.

— Все равно,— упрямо сказала Грэтиана,— я уверена, что человека нельзя назвать хорошим или стоящим, если у него нет головы на плечах и он не умеет рисковать.

Пирсон подошел к ней, лицо его дрогнуло.

— Не будем спорить в этот последний вечер. Мне надо еще зайти на минуту к Нолли, а потом лечь спать. Я не увижу вас завтра — вы не вставайте; я не люблю долгих проводов. Мой поезд уходит в восемь. Храни тебя господь, Грэйси; передай мой привет Джорджу. Я знаю и всегда знал, что он хороший человек, хотя мы с ним немало сражались. До свидания, моя родная!

Он вышел, чувствуя на щеках слезы Грэтианы, и немного постоял на крыльце, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. Короткая бархатная тень от дома

¹ Д ж е м с, Уильям (1842—1910)—американский философ, один из основателей идеалистической философии прагматизма.

падала на сад-альпиниум. Где-то рядом кружился козодой, шелест его крыльев страшно волновал Пирсона. Последняя ночная птица, которую он слышит в Англии. Англия! Проститься с ней в такую ночь! «Моя родина,— подумал он,— моя прекрасная родина!» Роса уже серебрилась на небольшой полоске травы — последняя роса, последний аромат английской ночи. Где-то прозвучал охотничий рожок. «Англия! — молился он. — Да пребудет с тобой господь!» Какой-то звук послышался по ту сторону лужайки — словно старческий кашель, потом бряцание цепи. В тени, падающей от дома, появилось лицо — бородатое, с рожками, как у Пана, и уставилось на него. Взглянув, Пирсон понял, что это козел, и услышал, как тот, словно испугавшись вторжения нежданного гостя, возится вокруг колышка, к которому был привязан.

Пирсон поднялся по лестнице, ведущей в маленькую узкую комнату Ноэль, рядом с детской. На его стук никто не ответил. В комнате было темно, но он увидел Ноэль у окна — она перегнулась через подоконник и лежала на нем, прижав подбородок к руке.

— Нолли!

Она ответила, не оборачиваясь:

— Какая чудесная ночь, папа! Иди сюда, посмотри. Мне бы хотелось отвязать козла, да только он съест все растения в альпиниуме. Но ведь эта ночь принадлежит и ему тоже, правда? В такую ночь ему бы бегать и прыгать! Стыдно привязывать животных. Папа, а ты никогда не чувствовал себя в душе дикарем?

— Я думаю, что чувствовал, Нолли, и даже слишком. Было очень трудно приручать себя.

Ноэль взяла его под руку.

— Пойдем, отвяжем козла и вместе с ним прогуляемся по холмам. Если бы только у меня была свистулька! Ты слышал охотничий рожок? Охотничий рожок и козел!

Пирсон прижал к себе ее руку.

— Нолли, води себя хорошо, пока меня не будет. Ты знаешь, чего я не хочу. Я писал тебе.

Он посмотрел на нее и не решился продолжать. На ее лице снова появилось выражение «одержимой».

— Ты не чувствуешь, папа,— сказала она вдруг,—

что в такую ночь все живет своей большой жизнью: и звезды, и луна, и тени, и мотыльки, и птицы, и козы, и деревья, и цветы; так почему же мы должны бежать от жизни? Ах, папа, зачем эта война? И почему люди так связаны, так несчастны? Только не говори мне, что этого хочет бог, не надо!

Пирсон и не мог ответить, потому что ему пришли на ум строки, которые он читал сегодня дочерям вслух:

Ах, с ключа бы студеного чистой воды
Зачерпнуть мне глоток и уста оросить!
Ах, под тополя сенью в зеленой траве
Мне прилечь бы... я там обрела бы покой!
Что со мною? Туда я... где ели темней!
Меня в горы ведите, где хищные псы
По следам за пятнистою ланью летят!
Ради бога! Хоть раз бы им свистнуть, хоть раз,
Фессалийский бы дрот, размахнувшись, метнуть
Мимо волн золотистых летучей косы!¹

Все, что осталось для него в жизни неизвестного, все соблазны и пряный аромат жизни; все чувства, которые он подавлял; быstroногий Пан, которого он отрицал; терпкие плоды, обжигающее солнце, глубокие омуты, неземной свет луны — все это вовсе не от бога, а все это пришло к нему с дыханием этой древней песни, со взглядом его юной дочери. Он прикрыл рукой глаза.

Ноэль потянула его за рукав.

— Разве красота — не живая? — прошептала она. — Разве не напоминает она любимого человека? Так и хочется ее расцеловать!

Губы у него пересохли.

— Есть и другая красота, за пределами этой, — упрямо сказал он.

— А где она?

— В святости, в долге, в вере. О Нолли, любовь моя!

Но Ноэль крепко держала его.

— Знаешь, чего бы я хотела? — сказала она. — Я бы хотела взять бога за руку и показать ему мир. Я убеждена, что он многого не видел.

Пирсона охватила дрожь, та странная, внезапная дрожь, которую может вызвать неверная нотка в голосе, или новый острый запах, или чей-нибудь взгляд.

¹ Э в р и п и д, «Ипполит». (Перев. И. Анненского.)

— Дорогая моя, что ты говоришь?

— Но он же действительно ничего не видел, а уж пора бы ему посмотреть! Мы бы облазили с ним все уголки, заглянули бы во все щелочки и сразу бы все увидели. Разве может он это сделать в своих церквах? Ах, папа! Я больше не могу этого вынести; я все думаю о том, что их убивают вот в такую ночь; убивают и убивают, и они больше никогда не увидят такой ночи, никогда, никогда! — Она опустилась на колени и закрыла лицо руками. — Я не могу, не могу! Ах, как жестоко — отнимать у них все это! Зачем же эти звезды, цветы, если богу все безразлично?

Потрясенный, он стоял, наклонившись над ней, и гладил ее по голове. Потом привычка видеть сотни людей на смертном одре помогла ему.

— Полно, Нолли! Жизнь быстротечна. Нам всем суждено умереть.

— Но не им, не таким молодым! — Она прижалась к его коленям и подняла голову. — Папа, я не хочу, чтобы ты ушел от нас. Обещай мне, что ты вернешься!

Детская наивность этих слов вернула ему самообладание.

— Моя дорогая крошка, конечно, вернусь! Ну же, Нолли, вставай! Ты, наверно, слишком долго пробыла на солнце.

Ноэль встала и положила руки на плечи отца.

— Прости меня за все дурное, что я натворила, и за то дурное, что еще натворю, — особенно за это!

Пирсон улыбнулся.

— Я всегда прощу тебя, Нолли, но больше ничего дурного не случится — не должно случиться. Я молю бога, чтобы он хранил тебя, чтобы ты стала такой, какой была твоя мать.

— В маме никогда не сидел бес, который сидит во мне и в тебе.

От удивления он замолчал. Откуда знать этому ребенку о той бесовской пляске чувств, с которой он боролся год за годом, пока на склоне жизни не почувствовал, что бес отступил!

Она продолжала шепотом:

— Я не могу ненавидеть своего беса. Почему я должна его ненавидеть? Он ведь часть меня. Каждый день

при закате солнца я буду думать о тебе; а ты делай то же самое — мне будет легче от этого. Утром я не пойду на станцию — я только буду плакать там. И я не стану говорить «прощай». Это не к добру.

Она обхватила его руками, и, чуть не задушенный этим горячим объятием, он стал целовать ее щеки и волосы. Наконец, отпустив ее, он минуту постоял, разглядывая ее в лунном свете.

— Я не знаю никого, кто любил бы меня больше, чем ты, Нолли! — сказал он тихо. — Помни о том, что я написал тебе в письме. И спокойной ночи, моя любимая!

Потом, словно боясь задержаться еще на секунду, он быстро вышел из темной маленькой комнатки...

Через полчаса Джордж Лэрд, подходя к дому, вдруг услышал тихий голос:

— Джордж! Джордж!

Взглянув наверх, он увидел в окне какое-то белое пятно и едва узнал Нолли.

— Джордж, отвяжи козла, только на эту ночь. Сделай это ради меня.

Что-то в ее голосе и в жесте протянутой руки странным образом растрогало Джорджа, хотя — как сказал однажды Пирсон — душа его была лишена музыки.

И он отвязал козла.

ГЛАВА IV

В недели, последовавшие за отъездом Пирсона, Грэтiana и Джордж часто обсуждали положение Ноэль и ее поведение в свете прагматической теории. Джордж стоял на научной точке зрения. Как и в материальном мире, — подчеркивал он в разговорах с женой, — особи, которые отличаются от нормальных, должны либо в борьбе со средой утвердить свое отличие, либо пойти ко дну, — так и в мире нравственном; весь вопрос в том, сможет ли Нолли утвердить свое право на «причуды». Если сможет и при этом выкажет твердость характера, то тогда ее отклонение от нормы будет объявлено достоинством, а человечество тем самым окажется обогащенным. Если же нет, если ее попытки утвердить себя потерпят неудачу, и человечество тем самым будет обеднено, тогда

ее поведение будет признано ошибочным. Ортодоксы и ученые-схоласты, настаивал Джордж, всегда забывают о приспособляемости живых организмов; забывают о том, что любое действие, выходящее за пределы обычного, постепенно изменяет и все прочие действия, а также и взгляды и философию тех, кто совершает эти действия.

Разумеется, Нолли поступила безрассудно, говорил он, но когда она уже сделала то, что сделала, она неизбежно начала думать по-иному о любви и морали. Самый глубокий инстинкт, которым мы обладаем,— это тот, который подсказывает нам: мы обязаны делать то, что нам надлежит делать, и при этом думать, что совершенное нами действительно правильно; по сути дела, это и есть инстинкт самосохранения. Все мы — животные, ведущие борьбу за существование, и мы постоянно живем с ощущением того, что копь скоро мы мысленно согласимся быть битыми, нас побьют; но каждый раз, когда мы одерживаем победу, особенно в неравном бою, это нас закаляет. Впрочем, лично я полагаю, что без посторонней помощи Нолли едва ли сможет твердо стать на ноги.

Грэтiana, прагматизм которой не был еще достаточно выпечен, отвечала с сомнением:

— Да, не думаю, чтобы ей это удалось. И даже если бы удалось, я все равно не была бы уверена, что она ничего не натворит. Но не кажется ли тебе, Джордж, что «прагматизм» — отвратительное слово? В нем нет юмора.

— Да, «прагматизм» звучит немного неуклюже, тем более, что в устах молодежи он может превратиться в «прыгматизм»; впрочем, к Нолли это не относится.

С подлинным беспокойством они наблюдали за объектом своих дискуссий. Уверенность в том, что Ноэль нигде не будет лучше и спокойнее, чем у них, по крайней мере, до тех пор, пока она не выйдет замуж, в значительной степени мешала им выработать определенное мнение относительно того, удастся ли ей утвердиться в жизни. У Грэтiana, которая все-таки знала сестру лучше, чем Джордж, то и дело возникала беспокойная мысль: к какому бы выводу они ни пришли, Ноэль заставит их рано или поздно отказаться от него.

Через три дня после отъезда отца Ноэль объявила,

что хочет поработать в поле. Джордж сразу же запретил ей это.

— Ты еще недостаточно окрепла, моя дорогая. Подожди, пока начнется уборка урожая. Тогда ты сможешь помочь на здешней ферме. Если только это не повредит тебе.

Но погода была дождливая, и уборка урожая задерживалась; Ноэль ничего не оставалось, как ухаживать за ребенком, хотя за ним прекрасно ухаживала нянька; мечтать и грезить, от случая к случаю готовить яичницу или делать какую-нибудь домашнюю работу — только для очистки совести. Грэтиана и Джордж на целый день уходили в госпиталь, и она подолгу оставалась одна. Несколько раз по вечерам Грэтиана пыталась поговорить с ней, узнать, что у нее на уме. Дважды она упоминала о Лиле. В первый раз Ноэль сказала только: «Да, Лила молодчина». Во второй раз она ответила: «Я не хочу думать о ней».

Однажды, собравшись с духом, Грэтиана спросила: — Не кажется ли тебе странным, что капитана Форта не слышно и не видно с того дня, как он сюда приезжал?

Ноэль ответила самым спокойным голосом:

— А что тут странного? Ведь ему же сказано, что его здесь не любят.

— Кто ему сказал это?

— Я передала ему, что папа его не любит; но думаю, что сам папа высказал ему и кое-что более резкое. — Она слегка усмехнулась и потом мягко добавила: — Папа — прелесть, правда?

— То есть?

— Он всегда заставляет тебя делать не то, что ты хочешь. Если бы он не запретил мне выйти замуж за Сирила, этого не произошло бы, вот в чем дело! Тогда это меня страшно раздосадовало.

Грэтиана смотрела на нее, пораженная тем, как хорошо Ноэлли разбирается в самой себе.

К концу августа пришло письмо от Форта.

«Дорогая миссис Лэрд,

Вам, конечно, все известно, — кроме того, что для меня всего важнее. Я не могу дальше жить, не зная, есть

ли у меня какая-либо надежда в отношении вашей сестры. Ваш отец не желает, чтобы между нею и мною было что-либо общес, но я сказал ему, что не могу и не хочу давать ему обещание не спрашивать ее об этом. В конце месяца у меня будет отпуск, и я собираюсь приехать к вам, чтобы попытаться счастья. Для меня это гораздо важнее, чем вы можете себе представить.

Остаюсь, уважаемая миссис Лэрд,
вашим верным слугой.
Джеймс Форт».

Она обсудила письмо с Джорджем, и тот дал следующий совет:

— Ответ на письмо вежливо, но ничего не обещавай; и — ни слова Нолли. Я думаю, если они поженятся, — это будет хорошо. Конечно, это не совсем то — ведь он вдвое старше ее. Зато он настоящий человек, хоть и не хватает звезд с неба!

Грэтиана ответила как-то угрюмо:

— Я всегда желала для Нолли самой лучшей партии!

Джордж поднял на нее свои серые, стального оттенка глаза и посмотрел так, точно перед ним был пациент, которого он должен оперировать.

— Это верно, — сказал он. — Но ты не должна забывать, Грэйси, что из лебедя, каким была Нолли, она превратилась в гадкого утенка. В глазах общества она обесценена по крайней мере на пятьдесят процентов. Надо смотреть правде в глаза.

— Отец категорически против этого брака.

Джордж усмехнулся, у него чуть не вырвалось: «Потому-то я и считаю, что это будет хорошо». Но он удержался и не сказал этого.

— Я согласен, что раз отца здесь нет, мы не должны проявлять инициативы. Да и Нолли знает, каково его желание, и решать придется ей, а не кому-либо другому. В конце концов она уже не ребенок.

Грэтиана последовала совету Джорджа. Но написать вежливое письмо и при этом ничего не сказать стоило ей целой бессонной ночи и трех или четырех часов занятий каллиграфией. Она была очень добросовестна. Зная о предстоящем визите, она с еще большей тревогой

наблюдала за сестрой; настроение Ноэль и образ ее мыслей стали чуть-чуть более ясны Грэтиане после того, как сестра показала ей письмо от Тэрзы — тетка приглашала ее в Кестрель. Под письмом был постскриптум, приписанный рукой дяди Боба:

«Мы превратились в пару ископаемых; Ева снова уехала и покинула нас. Нам ужасно не хватает тебя и малыша. Приезжай, Нолли, будь умницей!»

— Тетя и дядя — просто прелесть, — сказала Ноэль, — но я не поеду. Мне как-то очень беспокойно с тех пор, как уехал папа. Ты даже не знаешь, до чего беспокойно. Эти дожди вызывают во мне желание умереть.

На следующий день погода улучшилась, и в конце недели началась уборка урожая. Ноэль повезло: у фермера сломалась сноповязалка, починить ее не удалось, и он был рад каждому вязальщику. В первый день работы в поле ее руки покрылись волдырями, шея и лицо обгорели, каждая косточка и каждый мускул ныли от боли; но то был самый счастливый день за долгие недели, быть может, самый счастливый с той ночи, когда она расставалась с Сирилом Морлендом год тому назад. Вечером она приняла ванну и тут же легла. Лежа в постели, она грызла шоколад, курила и, погрузившись в дремотное блаженство, чувствовала, как проходит усталость и утихает тревога. Следя за дымком сигареты, кольцами подымавшимся в луче закатного солнца, падавшем из окна, она размышляла: «Вот бы уставать так каждый день! Тогда все было бы хорошо, тогда я знала бы, чего хочу, пропало бы ощущение, что надо мной захлопнулась крышка западни, в которую я попала, что я ослепленная пчела, которая бьется под перевернутым бокалом; пропало бы ощущение, что я наполовину жива, наполовину мертва, что у меня сломано крыло и я могу только взлететь, а потом все равно упаду на землю».

В эту ночь она спала как убитая. Но следующий день был истинной мукой, и на третий тоже не стало легче. Однако к концу недели у нее уже не так ломило тело.

В субботу был великолепный, безоблачный день. Поле, на котором она работала, тянулось по отлогому склону. Это было последнее поле, которое надо было

убрать, здесь плотной стеной стояла золотая пшеница, с полными, налитыми колосьями... Ноэль уже привыкла к большим снопам, и жгуты в ее руках так и мелькали. Чувство новизны прошло — теперь это была автоматическая работа, которую она делала как бы во сне; она занимала свое место в ряду, прислушиваясь к свистящему звуку жнейки и к голосу возницы, понукавшего лошадей на поворотах, и радовалась маленьким перерывам, когда можно было выпрямить на минуту спину, отмахнуться от мух или пососать палец, уколотый острым кончиком пшеничного колоса. Так проходили часы, на жаре и в усталости, но она радовалась тому, что делает доброе дело и работа явно идет к концу. Постепенно несжатая полоса становилась все уже и уже, а солнце медленно клонилось к горизонту.

Когда сделали перерыв для чаепития, Ноэль вместо того, чтобы, как всегда, бежать домой, выпила холодного чая из принесенной с собой фляжки, съела булочку, кусочек шоколада и растянулась в тени живой изгороди. Она все время держалась в стороне от остальных жнецов, сидевших сейчас возле чайников, которые принесла на поле жена фермера. Она уже привыкла избегать людей. Должно быть, они всё знают о ней или скоро узнают, дай только им повод. Она никогда не забывала о среднем пальце, на котором не было обручального кольца, и ей казалось, что глаза всех прикованы к нему. Она лежала в траве, попыхивала сигаретой и наблюдала за жуком, пока к ней не подошла овчарка, бродившая вокруг в поисках объедков; она скормила собаке вторую булочку. Покончив с булочкой, пес попытался проглотить жука, и Ноэль, зная, что ей нечем больше покормить собаку, прикрикнула на нее и прогнала. Погасив сигарету о землю, Ноэль оглянулась. Возница уже забрался на свое сиденье, рядом устраивался его помощник, который должен был подгребать колосья. Уить-уить! — снова засвистела жнейка. Ноэль встала, потянулась и заняла свое место в ряду. К вечеру поле будет убрано — впереди чудесный отдых, целое воскресенье! К семи часам осталась несжатой только узенькая полоска — не больше двадцати ярдов шириной. Но эти последние полчаса всегда особенно пугали Ноэль. Сегодня было еще хуже, чем обычно: у фермера кончи-

лись патроны, и кроликов приходилось отгонять палками и напускать на них собак. Кролики поедали зерно, и их надо было убивать. Кроме того, они годились в пищу и стоили по два шиллинга за штуку; Ноэль все это знала; но она не могла видеть, как маленькие создания крадутся и мечутся, напуганные криками, как на них бросаются огромные собаки, как мальчишки убивают их и потом тащат мягкие серые тельца вниз головами, мертвые и беспомощные,—каждый раз она чувствовала себя больной. Она стояла тихо, стараясь ничего не видеть и не слышать; неподалеку от нее крался кролик, приникая к земле, испуганно поглядывая по сторонам. «Ах,—подумала она,—иди сюда, дурачок! Я тебя выпущу, неужели ты не понимаешь? Для тебя это — единственное спасение. Иди же!» Но кролик жался к земле и робко высовывал из пшеницы маленькую головку с прижатыми ушами. Он словно пытался понять — похоже ли на остальных людей это огромное существо, что стоит перед ним. «Ну, конечно, он не убежит, пока я смотрю на него»,—подумала Ноэль и отвернулась. Уголкем глаза она заметила какого-то человека, стоявшего в нескольких шагах от нее. В это мгновение кролик выскочил. Теперь человек закричит и спугнет его. Но он не закричал, и кролик прошмыгнул мимо и скрылся за живой изгородью. Она услышала крики на другом конце ряда и увидела, как промчалась собака. Поздно! Ура! И, хлопнув в ладоши, она взглянула на незнакомца. Перед ней стоял Форт. Она смотрела, как он приближается к ней, с каким-то смешанным чувством изумления, удовольствия, скрытого волнения.

— Мне так хотелось, чтобы этот кролик спасся,—вздыхнула она.— Я все время наблюдала за ним. Спасибо!

Он посмотрел на нее.

— О боже! — только и произнес он.

Ноэль заслонила руками щеки.

— Да, да... У меня очень красный нос?

— Нет. Вы прелестны, как Руфь, если она была прелестна.

Уить-уить! Жнейка прошла мимо. Ноэль двинулась к своему месту в ряду, но он схватил ее за руку и сказал:

— Нет, позвольте мне доделать то, что осталось. Я не был в поле с начала войны. А вы разговаривайте со мной, пока я буду вязать снопы.

Она стояла рядом и смотрела на него. Он скручивал жгуты совсем по-другому — они получались более крепкими, да и снопы он вязал большие; она почувствовала какую-то зависть.

— Я не знала, что вы умеете это делать.

— Господи, да конечно же умею! Когда-то у меня была ферма на западе. Ни от чего другого не чувствуешь себя так хорошо, как от работы в поле. Я наблюдал за вами — вы вяжете превосходно!

Ноэль удовлетворенно вздохнула.

— Откуда вы приехали? — спросила она.

— Я прямо со станции. У меня отпуск.

Он посмотрел на нее, и оба замолчали.

Уить-уить! — снова мимо прошла жнейка. Ноэль начала вязать снопы на одном конце поля, он на другом. Они работали, приближаясь друг к другу, и встретились перед тем, как жнейка подошла к ним в третий раз.

— Вы поужинаете у нас?

— С удовольствием!

— Тогда уйдем сейчас. Мне не хочется больше видеть, как убивают кроликов.

По дороге домой они говорили совсем мало, но она все время чувствовала на себе его взгляд. Она оставила его с Джорджем и Гретианой и отправилась принимать ванну.

Стол накрыли на веранде; к концу ужина почти совсем стемнело. По мере того, как угасал дневной свет, Ноэль становилась все более молчаливой. Когда все вернулись в дом, она побежала наверх к ребенку и больше не спускалась вниз. Как и в ту ночь, когда уезжал отец, она долго стояла у окна, облокотившись на подоконник. Ночь была темная, безлунная; в свете звезд едва можно было различить сад, у ограды которого уже не пасся козел. Теперь, когда ее возбуждение улеглось, неожиданное появление Форта наполнило ее тревожной печалью. Ноэль прекрасно понимала, зачем он приехал, — она всегда это понимала. Она не могла разобраться в своих чувствах к нему, но одно она знала твердо: все эти не-

дели она как бы находилась меж двух огней — между Фортом и отцом; ей все казалось, что оба стоят перед ней и о чем-то умоляют. И, странное дело, эти мольбы не приближали ее к умоляющему, а словно толкали в объятия другого. Она чувствовала, что ей нужна защита либо того, либо другого. Это было унижительно: знать, что во всем мире для нее не найдется никакого другого прибежища. Опьянение той единственной ночи, проведенной в старом аббатстве, казалось, обрело над ней какую-то постоянную власть, которая определяет всю ее дальнейшую жизнь. Почему эта единственная ночь и то, что тогда произошло, возымело такую сверхъестественную силу, способную толкать ее в ту или другую сторону, в объятия либо того, либо другого? Неужели она из-за этого всегда будет нуждаться в защите? Она стояла в темноте и словно чувствовала у себя за плечами обоих, слышала их просьбы и мольбы; мороз пробежал у нее по коже. Ей хотелось обернуться и крикнуть: «Уходите! О, уходите! Мне никто не нужен! Оставьте меня в покое!» В этот миг что-то — наверное, мотылек — коснулось ее шеи. Она вздрогнула и ахнула. Как глупо!

Она услышала, что где-то в доме открылась дверь и грубый мужской голос сказал в темноте:

— Кто эта молодая леди, которая работает в поле?

Другой голос, видимо, прислуги, отвечал:

— Это сестра хозяйки.

— Говорят, у нее есть ребенок?

— А вам какое дело, есть или нет?

Ноэль услышала, как мужчина засмеялся. Ей показалось, что более отвратительного смеха она еще не слышала. Мысли ее лихорадочно заметались: «Я убегу от всего этого!» Окно было на высоте всего лишь нескольких футов; она вылезла на карниз, прыгнула и упала на мягкую клумбу, почувствовав запах герани и земли. Ноэль отряхнулась, на цыпочках пробежала по усыпанной гравием площадке перед домом и выбежала за ворота. В доме было темно и тихо. Она пошла по дороге. «Удивительно! — подумала она. — Мы спим, ночь за ночью, и никогда не видим ночей; спим, пока нас не разбудят, и ничего не видим! Если они захотят поймать меня, им придется побегать».

И она бросилась бежать по дороге в том же платье и туфлях, в которых была вечером, с непокрытой головой. Пробежав ярдов триста, она остановилась у опушки леса. Ее окутала чудесная темнота, и она стала ощупью пробираться от ствола к стволу, охваченная каким-то изумительным, тревожным ощущением приключения и новизны. Наконец она остановилась у тонкого ствола, кора которого слабо белела во тьме. Она прижалась к стволу щекой. Он был гладок — береза! Обняв дерево руками, она стояла в полной тишине. Удивительная, сказочная тишина, свежий аромат и мрак!

Ствол дерева вдруг дрогнул у нее под руками, и она услышала низкий далекий гул, к которому уже привыкла, — гул орудий, которые все время за работой, все время убивают — убивают людей, убивают, быть может, вот такие же деревья, как то, которое она обнимает, маленькие трепещущие деревья! Там, во тьме ночи, наверно, не осталось ни одного неискалеченного дерева, такого, как вот эта гладкая дрожащая береза, там не осталось полей пшеницы, ни куста, ни клочка травы, ни листьев, которые шуршат и сладко пахнут, ни птиц, ни юрких ночных зверьков, ничего, кроме крыс; она вздрогнула, вспомнив о бельгийском солдате-художнике. Крепко обняв березу, она прижалась к ее гладкому стволу. Ощущение все той же беспомощности, отчаянного бунта и печали охватило ее — то самое ощущение, которое вызвало ее страстную отповедь отцу в ночь, когда он уезжал. Все гибнет, все превращается в прах, сгорает, исчезает, как Сирил. Все юное — вот как это маленькое деревцо!

Бум! Бум! Дерево вздрогнуло, еще раз вздрогнуло. Если бы не этот гул, — как тихо и чудесно вокруг, какое звездное небо простерлось над листвой!.. «Я не перенесу этого», — подумала она и прижалась опаленными солнцем губами к шелковистой гладкой коре. Но деревцо бесчувственно стояло в ее объятиях, только содрогалось от далеких раскатов орудий. С каждым глухим ударом чьи-то жизнь и любовь угасали, как огоньки свеч на рождественской елке, один за другим. Глазам ее, привыкшим к темноте, казалось, что лес постепенно оживает и следит за ней, словно огромное существо с сотнями ног, рук и глаз и мощным дыханием.

Маленькое деревцо, только что такое близкое и ласковое, вдруг перестало быть прибежищем, превратившись в часть этого ожившего леса, погруженного в самого себя и сурово наблюдающего за незваной гостьей из того злонамеренного рокового племени, которое принесло на землю это громыхание и гул. Ноэль разжала руки и отступила. Сук царапнул ей шею и хлестнул по лицу; она отошла в сторону, споткнулась о корень и упала. Снова сук больно ударил ее, и она лежала немного ошеломленная, вся дрожа перед этой мрачной враждебностью. Она поднесла руки к лицу из единственного желания увидеть что-нибудь не такое темное; это было ребячливо и глупо, но уж очень она была испугана. Казалось, у леса так много глаз, так много рук — и все это враждебно ей; казалось, лес только и ждет, чтобы снова ударить ее, причинить боль, снова заставить ее упасть и держать ее здесь, в темноте, до... Ноэль вскочила, сделала несколько шагов и замерла: она забыла, с какой стороны пришла сюда. Боясь забраться еще глубже в этот недружелюбный лес, она медленно повернулась, стараясь сообразить, в какую же сторону ей идти теперь. Но всюду ее подстерегало это темное существо — многорукое и многоликое. «Все равно, — подумала она, — любая дорога выведет меня!» И она начала пробираться вперед, вытянув руки, чтобы защитить лицо. Это было глупо, но она не могла справиться с каким-то сосущим, тревожным чувством, которое всегда приходит к человеку, заблудившемуся в лесу или в тумане. Если бы лес не был таким темным, таким... живым! И на секунду у нее мелькнула нелепая, устрашающая мысль, совершенно детская: «А что, если мне никогда не выйти отсюда?» Она сама рассмеялась над этой мыслью и снова остановилась, прислушиваясь. Не слышно ни звука, по которому она могла бы ориентироваться, ни одного звука, кроме слабого, глухого гула, который теперь, казалось, доносился со всех сторон. А деревья все следили за ней. «Фу! — подумала она. — Ненавижу этот лес!» Теперь он был весь перед ней, его змеиные ветви, его мрак, его огромные массивы, словно населенные великанами и ведьмами. Она снова двинулась вперед, опять споткнулась и упала, ударившись лбом о пень. Удар ошеломил, но и успокоил ее. «Это идиотство, — подумала она, — я

как ребенок. Сейчас пойду медленно и осторожно, пока не доберусь до опушки. Я ведь знаю, что лес невелик!» Она повернулась, готовая идти наугад в любом направлении, но потом выбрала то, откуда, казалось, шло ворчание пушек, и пошла вперед потихоньку, медленно, вытянув руки. Где-то совсем близко в кустах послышался шорох, и она увидела пару зеленых сверкающих глаз. Сердце ее словно подскочило до самого горла. Какой-то зверек прыгнул из кустов. Прошелестели папоротники, ветки, и снова тишина... Ноэль прижала руки к груди. Это, наверное, бродячий кот! И опять пошла по лесу. Но она уже потеряла направление. «Я хожу кругами,— подумала она.— Так всегда бывает, когда собьешься с дороги». И снова вернулось грызущее ощущение страха. «Может быть, закричать? — мелькнула мысль.— Но ведь я, наверно, близко от дороги. Это просто ребячество». Она снова двинулась вперед. Нога ее ступила на что-то мягкое. Чей-то голос пробормотал грубое ругательство; чья-то рука схватила ее за лодыжку. Ноэль отпрянула, рванулась и высвободила ногу; она закричала от ужаса и, ничего не видя перед собой, кинулась бежать.

ГЛАВА V

Никто не понимал лучше самого Джимми Форта, что он «не совсем то» для Ноэль. После разговора с ее отцом прошли недели, а он все еще был одержим мыслями о Ноэль, хотя часто говорил себе: «Я не сделаю этого. Слишком низкая игра — добиваться этой девочки, зная, что если бы не ее беда, у меня не было бы никакой надежды». Он никогда не был высокого мнения о своей внешности, а теперь и вовсе казался себе невероятно старым и высохшим в этой лондонской пустыне. Ему была ненавистна работа в военном министерстве и царившая там атмосфера канцелярщины и казенщины. Теперь он мечтал о молодости и красоте и с тревогой начинал присматриваться к себе, критически оценивая свои физические достоинства. Еще год — и он сморщится, как лежащее яблоко! В следующем месяце ему исполнится сорок, а ей всего девятнадцать! Но бывали моменты, когда он

чувствовал, что с ней он может стать таким же молодым, как тот юноша, которого она любила. Не питая большой надежды на то, что завоюет ее, он совершенно не думал о ее «прошлом». Но не это ли прошлое — его единственная надежда? В двух вещах он был совершенно уверен: он не станет играть на ее прошлом; и если по какой-либо счастливой случайности она выйдет за него замуж, он никогда не покажет ей, что помнит о нем.

Написав письмо Грэтиане, он всю неделю перед отпуском провел в попытках как-то обновить и омолодить себя, но это привело лишь к тому, что он почувствовал себя еще старше, худее, костлявее и смуглее. Он рано вставал, ездил верхом даже в дождь, посещал турецкие бани и делал всякого рода физические упражнения; он не курил и не пил, рано ложился спать, словно ему предстояли состязания в скачках по пересеченной местности. В тот день, когда он наконец решился на это страшное паломничество, он с каким-то отчаянием разглядывал свое лицо, худое и словно обтянутое дубленой кожей, и насчитал с десяток седых волос.

Когда он добрался до Бунгало и ему сказали, что Ноэль в поле, у него впервые появилось чувство, что судьба — на его стороне. Там ему будет как-то проще встретиться с ней. Он несколько минут смотрел на Ноэль, прежде чем она заметила его, и сердце его билось сильнее, чем даже в окопах; и чувство надежды не покидало его все время — и тогда, когда они поздоровались, и тогда, когда ужинали, и даже тогда, когда она встала и ушла к себе наверх. Но потом это чувство надежды угасло, словно внезапно задернули штору; он продолжал сидеть, пытаясь поддерживать разговор, но понемногу становился все более молчаливым и беспокойным.

— Нолли так устала сегодня, — заметила Грэтиана. Он знал, что она сказала это с добрым намерением, но то, что ей пришлось это сказать, для него прозвучало зловеще. Наконец, потеряв надежду снова увидеть Ноэль и чувствуя, что уже на три вопроса хозяев ответил невпопад, он встал.

На крыльце Джордж промолвил:

— Приходите к нам утром завтракать, хорошо?

— О, спасибо, боюсь, что я надоел вам всем.

— Нисколько. Завтра Ноэли будет не такой усталой.

Снова это сказано с добрым намерением. Они очень милые люди. У ворот он оглянулся и посмотрел вверх, стараясь догадаться, которое окно ее; но дом был погружен в темноту. Пройдя немного по дорожке, Форт остановился закурить сигарету; прислонившись к калитке, он сильно затянулся, пытаясь успокоить боль в сердце. Итак, никакой надежды! При первом удобном случае она встала и ушла! Она знает, что он любит ее, не может не знать — об этом говорили его глаза, это звучало в его голосе; он ведь никогда не умел скрывать свои чувства. Если бы у нее было хоть маленькое ответное чувство к нему, она бы не избегала его. «Я вернусь в лондонскую пустыню,— подумал он,— и не стану хныкать и пресмыкаться. Я вернусь и поставлю на этом крест: надо же иметь какую-то гордость! Ах, за каким дьяволом я превратился в заезженную клячу? Если бы только я мог опять вернуться во Францию!» И снова перед ним встала Ноэль, склонившаяся над скошенной пшеницей. «Я попытаюсь еще раз,— подумал он,— еще один только раз, может быть, завтра, и тогда уже буду знать наверняка. И если на мою долю достанется то, что досталось Лиле, значит, я того и заслуживаю. Бедная Лила! Где-то она теперь? Снова в Верхней Констанции?..»

Что это?! Крик? Крик ужаса в лесу? Форт пересек опушку и закричал «Ау-у-у!» Затем остановился, вглядываясь в темноту. Он услышал шум раздвигаемых кустов и свистнул. Кто-то выбежал из кустов и налетел прямо на него.

— Послушайте,— спросил он.— В чем дело?

Кто-то, задыхаясь, ответил:

— О! Это... ничего!

Перед ним была Ноэль. Она отпрянула и остановилась в нескольких шагах от него. Он смутно видел, что она закрыла лицо руками. Инстинктивно почувствовав, что она хочет скрыть от него свой страх, он спокойно сказал:

— Какая удача! Я как раз проходил мимо. Темнота — хоть глаз выколи!

— Я... я заблудилась... И какой-то человек... схватил меня за ногу... вон там!

Беспредельно растроганный ее дрожащим голосом и всхлипываниями, он шагнул вперед и обнял ее за плечи. Он осторожно поддерживал ее, не говоря ни слова, боясь ранить ее гордость.

— Я... я пошла в лес,— все еще задыхаясь, бормотала она,— и там деревья... И я наткнулась на спящего человека, и он...

— Да, да, понимаю,— шептал он, словно ребенку.

Она отняла руки, и он видел ее лицо с еще расширенными от страха глазами и дрожащими губами. Снова растрогавшись, он притянул ее к себе так близко, что слышал, как бьется ее сердце, и коснулся губами ее покрытого потом лба. Она закрыла глаза, коротко вздохнула и спрятала лицо в его куртке.

— Ну, полно, полно! — повторял он.— Ну полно, полно, любимая.

Он почувствовал, как ее щека прижалась к его плечу. Она с ним!.. Она с ним! Теперь он почему-то был уверен, что они уже не расстанутся. Восторг охватил Форта, и мир, распростершийся над ее головой, и далекие звезды, и лес, который ее напугал,— все это казалось ему чудом красоты и совершенства. Судьба послала ему счастье, какое не выпадало еще на долю человека,— и вот она с ним! И он снова и снова шептал:

— Я люблю вас!

Ноэль стояла тихо, прижавшись к нему, и сердце ее постепенно стало биться тише. Он чувствовал, как она потерлась щекой о его куртку шотландской шерсти. Потом вдруг понюхала ткань и прошептала:

— Как хорошо пахнет!

ГЛАВА VI

В опаленном летним зноем Египте белый человек каждый день с нетерпением ждет вечера, когда розовая пелена сумерек переходит в молочно-опаловую, укрывает серую гряду холмов и, переливаясь всеми цветами раду-

ги, постепенно сгущается в темную синеву. Пирсон стоял в маленьком саду госпиталя под сенью пальм и бугенвиллий. Вечер был полон звуков. В дальнем крыле госпиталя граммофон наигрывал какую-то легкомысленную песенку; два самолета кружились, словно сарычи, над пустыней, слышно было легкое гуденье их моторов; удары металла о металл доносились из арабской деревни; скрипели колеса колодцев; под порывами дувшего из пустыни ветра шелестели листья пальм. По обе стороны госпиталя тянулись древние дороги, отмеченные то тут, то там маленькими старыми сторожевыми башнями. Сколько веков человеческая жизнь шествовала по этим дорогам на восток и на запад! Темнолицые люди на верблюдах пролагали этот древний путь через пустыню, на которую Пирсон взирал с изумлением,— так тиха она была, так широка, так безлюдна и каждый вечер так прекрасна! Порой ему казалось, что он мог бы вечно смотреть на нее, словно ее суровая таинственная красота ежевечерне даровала ему ощущение домашнего очага; и все же, любуясь и восхищаясь пустыней, он не мог избавиться от мучительной тоски по родине.

Его новая деятельность пока еще не приблизила его к сердцам людей. Во всяком случае, он не чувствовал этого. И на полковой базе и вот сейчас в этом госпитале— перевалочном пункте, где он дожидался пополнения, вместе с которым должен был отправиться в Палестину,— все были очень добры к нему, очень дружелюбны и несколько снисходительны: так школьники относятся к добросовестному, мечтательному чудаку-учителю или дельцы — к безобидному идеалисту-изобретателю, который приносит свое изобретение в их конторы. Его не покидала мысль, что они довольны его присутствием не более, чем своими талисманами или полковым знаменем; простого, сердечного товарищества они, пожалуй, и не ждали от него, да и не считали его способным на это, а самому предложить им свою дружбу казалось ему преждевременным и неуместным. Более того, он даже не знал, как это сделать. Он был очень одинок. «Когда я встречу лицом к лицу со смертью,— думал он,— все будет по-иному. Перед лицом смерти мы все станем братьями. Вот тогда я смогу принести им настоящую пользу!»

Он все еще стоял, прислушиваясь к вечерним звукам и глядя на древнюю дорогу пустыни, когда ему принесли письма.

«Восточное Бунгало.

Дорогой папа,

Я надеюсь, что письмо еще застанет тебя до отъезда в Палестину. Ты писал, что отправишься туда в конце сентября, и я надеюсь, что ты получишь письмо. У нас большая новость, боюсь, что она доставит тебе боль и огорчение. Нолли вышла замуж за Джимми Форта. Они обвенчались сегодня и сразу уехали в Лондон. Им ведь надо найти себе дом. Она была очень беспокойна, одинока и несчастна после твоего отъезда, и я думаю, что все это к лучшему. Она стала теперь совсем другой и просто без ума от него. Это ведь похоже на Нолли. Она говорит, что все время не знала, чего хотела, вплоть до последней минуты. Но теперь ей кажется, что ничего другого она и желать не могла.

Папа, Нолли никогда своими силами не выправилась бы. Это не в ее характере, и поэтому хорошо, что все так получилось,— я в этом уверена, и Джордж тоже. Разумеется, это не идеальный брак, и мы не того желали для нее; но у нее сломаны крылья, а он удивительно хороший человек и так предан ей, хотя ты этому не поверил и, может быть, не согласишься и сейчас. Главное — то, что она снова счастлива и что она в безопасности. Нолли способна на большую преданность; ей только нужна тихая гавань. Она все время металась, и трудно сказать, не натворила ли бы она еще чего-нибудь, если бы на нее «нашло». Я очень надеюсь, что ты не будешь сильно огорчаться. Ее страшно волнует, как ты отнесешься к ее замужеству. Я знаю, что для тебя это — большое потрясение, особенно сейчас, когда ты так далеко от нее. Но попытайся поверить, что это к лучшему... Теперь она вне опасности, а ведь была в страшном положении. Кроме того, это хорошо и для ребенка. Я думаю, что надо принимать жизнь такой, как она есть, дорогой папа. У Нолли так и остались бы сломанные крылья. Другое дело, если бы она по натуре была борцом и нашла бы в этом свое призвание, или была из тех, кто готов постричься в монахини, но она ни то, ни другое. Поэтому все и

вправду хорошо, папа. Она пишет тебе сама. Я уверена, что Лила отказалась от Джимми только потому, что не хотела видеть его несчастным,—ведь он не любил ее; иначе она никогда бы не уехала.

Джордж шлет тебе привет. Оба мы здоровы. А Нолли после работы в поле выглядит великолепно. Шлю тебе всю свою любовь, дорогой папа. Не надо ли что-либо достать здесь и послать тебе? Береги себя и не огорчайся по поводу Нолли.

Гретиана».

Из письма выпал маленький листок; он поднял его с кучи облетевших пальмовых листьев.

«Папочка, дорогой,

Я не послушалась тебя. Прости меня — я так счастлива.

Твоя Нолли».

Пустыня мерцала, шелестели листья пальм, а Пирсон все стоял, пытаюсь превозмочь волнение, вызванное этими двумя письмами. То был не гнев, не досада, не горе — то было чувство такого полного, такого глубокого одиночества, что он даже не знал, как выдержит его. Ему казалось, что порвалась последняя его связь с жизнью. «Мои девочки счастливы,—думал он.—А если я несчастлив, какое это имеет значение? Если моя вера и мои убеждения ничего для них не значат, почему они обязаны им следовать? Я не должен быть и не хочу чувствовать себя одиноким. Я всегда должен верить, что со мною бог и что рука его направляет меня. А если я не смогу верить в это, то какая от меня польза? Какую пользу я принесу этим бедным юношам? Кому я тогда нужен на свете?»

Мимо проехал на осле старый туземец, он наигрывал какую-то суданскую мелодию на маленькой деревянной арабской флейте. Пирсон повернул к госпиталю, напевая вполголоса эту мелодию. Его встретила сиделка.

— Бедный мальчик из палаты «А», кажется, умирает, сэр; я думаю, он захочет повидать вас.

Пирсон направился в палату «А» и прошел между койками к окну в западном углу комнаты, где были по-

ставлены две ширмы, чтобы отгородить умирающего. Возле кровати была другая сиделка. Увидев Пирсона, она поднялась со стула.

— Он в полном сознании,— прошептала она,— и еще может говорить. Он такой славный.

Слеза скатилась у нее по щеке, и она вышла за ширму. Пирсон смотрел на юношу. Ему было, наверно, лет двадцать, его щеки не знали бритвы, на них проступал мягкий, бесцветный пушок. Глаза его были закрыты. Он дышал ровно и, казалось, не страдал; но было в его облике нечто такое, что говорило о близком конце, что-то отрешенное — он был ближе к могиле, чем к жизни. Окно, занавешенное сеткой от moskitов, было широко открыто, и тонкий луч солнечного света медленно полз от ног умирающего по его телу, все время укорачиваясь. На фоне серой стены отчетливо выделялись кровать, лицо юноши, бледная желтая полоска солнечного света и маленький красно-синий флажок над кроватью. В этот час прохлады палата была почти пуста и ничто не нарушало ее тишины; лишь откуда-то издалека доносилось прерывистое шуршание сухих пальмовых листьев. Пирсон стоял в молчании, глядя на заходящее солнце. Если юноша уйдет из мира так легко, это будет божьим милосердием. Но тут он увидел, что юноша открыл глаза, удивительно ясные светло-серые глаза, окаймленные темными кругами; губы его зашевелились, и Пирсон наклонился, вслушиваясь в еле слышный шепот.

— Я иду на Запад, сэр-рр...

В его шепоте слышалась легкая картавость; губы дрожали; на лице его появилась легкая гримаса, словно у ребенка, и исчезла.

«О боже! Сделай так, чтобы я мог помочь ему!» — подумал Пирсон.

— Ты идешь к богу, сын мой! — сказал он.

Губы юноши тронула легкая улыбка; была ли это насмешка или иронический вопрос?

Страшно растроганный, Пирсон опустился на колени и начал тихо и горячо молиться. Его шепот смешивался с шуршанием пальмовых листьев, а полоска солнца по-прежнему ползла по телу умирающего. В улыбке юноши были и стоическое сомнение и стоическая покорность. Она потрясла Пирсона, увидевшего в ней бессознатель-

ный вызов и безграничную мудрость. Пирсон взял руку, лежавшую на простыне. Губы юноши снова зашевелились, словно выражая благодарность; он слабо, с усилием вдохнул воздух, как будто пытался вобрать в себя ниточку солнечного света, и глаза его закрылись. Пирсон склонился над его рукой. Когда он поднял глаза, юноша был мертв. Он поцеловал его в лоб и тихо вышел.

Солнце уже село, и он побрел от госпиталя к холмику, который возвышался у края дороги, ведущей в пустыню. Он стоял там, глядя на угасающую вечернюю зарю. И солнце и юноша — оба ушли на Запад, в это беспредельное, сверкающее небытие.

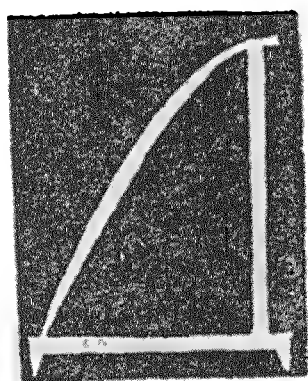
Пока он сидел на холме, бесконечно одинокий, из арабской деревни донесся ясный и чистый голос муэдзина, призывающего к вечерней молитве. Почему улыбка юноши так потрясла его? Предсмертные улыбки других умирающих были похожи на улыбку этого вечера, опустившегося на холмы пустыни, обещающего блаженный покой, отдых в раю. А улыбка юноши словно говорила: «Не теряйте понапрасну сил, вы все равно не можете мне помочь. Кто знает, кто знает? У меня не осталось ни надежды, ни веры; но я иду, иду в неизвестность. Прощайте!» Бедный мальчик! Он бросил вызов всему и ушел — неуверенный, но неустрашенный! Не в этом ли наивысшая правда, перед которой вера — ничто? Но от этой страшной мысли он в ужасе отшатнулся. «В вере я жил, в вере и умру! — подумал он. — Господи, помоги мне!»

А ветерок, играющий песком пустыни, швырял песчинки на его руки, простертые над горячей землей.

1919 г.

Последняя ГЛАВА ~

Книга первая



ДЕВУШКА ЖДЕТ

Перевод
Е. Г о л ы ш е в о й и Б. И з а к о в а
под редакцией
Э. К а б а л е в с к о й.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Епископ Портсминстерский угасал с каждой минутой; к умирающему вызвали всех четырех его племянников и обеих племянниц, одну из них — с мужем. Думали, что он не протянет до утра.

Тот, кого в шестидесятих годах приятели в Харроу¹ и Кембридже звали «Франтиком» Черрелом (как произносилась его фамилия Чаруэл), кто был потом преподобным Касбертом Черрелом в двух лондонских приходах, каноником Черрелом на вершине своей ораторской славы, а последние восемнадцать лет Касбертом Портсминстерским, — так и остался холостяком. Он прожил восемьдесят два года и пятьдесят пять из них — приняв духовный сан довольно поздно — представлял господ бога в самых разных уголках земли. Именно это, да еще умение с двадцатилетнего возраста подавлять свои природные склонности, придавало его лицу сдержанное достоинство, которого не нарушила даже близость смерти. Он относился к ней с иронией — судя по чуть поднятой брови и по словам, еле слышно сказанным сиделке:

— Завтра вы наконец выпитесь как следует. Я буду точен — ведь облачения мне надевать не придется.

Он умел носить облачение лучше всех в епархии, выделялся лицом и осанкой, сохранив до конца привычки заправского денди, которыми и заслужил свою кличку «Франтика»... а теперь он лежал не шевелясь, с аккурат-

¹ Закрытая мужская школа.

но причесанными седыми волосами и слегка пожелтевшим лицом. Он так долго был епископом, что никто уже не мог сказать наверняка, как он относится к смерти, да, пожалуй, и ко всему остальному, кроме, быть может, требника, малейшие изменения в котором он решительно отвергал. Он и от природы был сдержан, а жизнь со всем ее церемониалом и условностями и вовсе отучила его проявлять свои чувства,— так вышивка и драгоценные камни скрывают ткань ризы.

Он лежал в комнате с распахнутыми створчатыми окнами, в монашески строгой комнате дома шестнадцатого века, построенного возле собора, и даже свежий сентябрьский ветер не мог изгнать отсюда запах веков. Несколько цинний в старинной вазе на подоконнике были единственным красочным пятном, и сиделка заметила, что, когда у епископа открыты глаза, он, не отрываясь, смотрит на цветы. Около шести часов ему сообщили, что съехалась вся семья его давно умершего старшего брата.

— Устройте их поудобнее,— сказал он.— Я бы хотел повидать Адриана.

Когда через час епископ снова открыл глаза, он увидел у своей постели племянника Адриана. Несколько минут умирающий разглядывал его худое, смуглое лицо с бородкой, изрезанное морщинами и увенчанное седыми волосами,— разглядывал с удивлением, словно племянник оказался старше, чем он ожидал. Потом, чуть подняв брови, он проговорил слабым голосом, все с той же насмешливой ноткой:

— Дорогой Адриан! Рад тебя видеть! Подвинься поближе. Вот так. Сил у меня мало, но я хочу, чтобы все они пошли тебе на пользу; хотя ты, может, скажешь, что во вред. Я могу говорить с тобой прямо или молчать. Ты не священник, поэтому и я буду говорить как человек светский,— когда-то я им был, а может, так и остался. Я слышал, что ты питаешь склонность, или, как говорится, влюблен в одну даму, которая не может выйти за тебя замуж... Правда?

На добром морщинистом лице племянника мелькнула тревога.

— Правда, дядя Касберт. Мне очень жаль, если я тебя огорчаю.

— А склонность у вас взаимная?

Племянник пожал плечами.

— Со времен моей молодости, дорогой Адриан, свет изменил свои взгляды на многое, но брак все еще окружен неким ореолом. Впрочем, это дело твоей совести, и я не к тому веду... Дай мне воды.

Отпив глоток, он продолжал слабеющим голосом:

— После смерти вашего отца я был для всех вас *in loco parentis*¹ и хранителем семейных традиций. Хочу тебе напомнить: род наш старинный и славный. У старых семей только и осталось теперь, что врожденное чувство долга, а людям зрелым и с известным положением, как у тебя, не простят того, что простят человеку молодому. Мне было бы грустно покинуть этот мир, сознавая, что имя наше будет упоминаться в печати или станет пищей для сплетен. Извини, если я вторгся в твою личную жизнь, и разреши мне со всеми вами проститься. Лучше, если ты сам передашь остальным мое благословение, хотя боюсь, оно немногого стоит. Прощай, дорогой мой, прощай!

Голос упал до шепота. Умиравший закрыл глаза; Адриан постоял с минуту сгорбившись, глядя на его точеное восковое лицо, потом на цыпочках подошел к двери, тихонько открыл ее и вышел.

Вернулась сиделка. Губы епископа шевелились, брови слегка подергивались, но он заговорил еще только один раз:

— Будьте добры, позаботьтесь, чтобы голова у меня лежала прямо и рот был закрыт. Простите, что я говорю о таких мелочах, но мне не хочется произвести отталкивающее впечатление.

Адриан спустился в длинную, обшитую панелями комнату, где дожидались родственники.

— Кончается. Он шлет вам всем свое благословение.

Сэр Конвей откашлялся, Хилери сжал Адриану руку. Лайонел отошел к окну. Эмили Монт вынула крошечный платочек и протянула другую руку сэру Лоренсу. Одна Уилмет спросила:

— А как он выглядит?

— Как призрак воина на щите.

¹ Вместо отца (лат.).

Сэр Конвей снова откашлялся.

— Хороший был старик! — тихо сказал сэр Лоренс.

— Да, — со вздохом произнес Адриан.

Так они молча сидели и стояли, смирясь с неудобствами этого дома, где витала смерть. Принесли чай, но, словно по молчаливому уговору, никто до него не дотронулся. И вдруг зазвонил колокол. Все семеро подняли головы. Где-то в пространстве взоры их встретились, скрестились, словно они во что-то вглядывались, хотя там ничего не было.

Кто-то вполголоса сказал с порога:

— Теперь, если хотите, можно с ним проститься.

Сэр Конвей, самый старший из всех, пошел за духовником епископа; остальные двинулись за ним.

Белый, прямой и строгий лежал епископ на своей узкой кровати, придвинутой изголовьем к стене, как раз против створчатых окон, и был он как-то еще вышемернее, чем прежде. В смерти он, казалось, стал даже красивее, чем при жизни. Никто из присутствующих, в том числе и его духовник, тоже глядевший на него в эту минуту, не знал — действительно ли Касберт Портсминстерский был человеком верующим, не говоря, конечно, о вере в земную славу церкви, которой он так преданно служил. Теперь они смотрели на него с самыми различными чувствами, какие вызывает смерть у людей разного склада, но все они испытывали одно общее ощущение — чисто эстетическое удовольствие при виде такого незабываемого величия.

Конвей — генерал сэр Конвей Черрел — видел много смертей на своем веку. Сейчас он стоял, скрестив опущенные руки, как когда-то в Сандхерсте¹ по команде «вольно». Лицо его со впалыми висками, тонкими губами и тонким носом выглядело чересчур аскетическим для солдата; глубокие морщины сбегали по обветренным щекам от скул до волевого подбородка, темные глаза глядели пристально, над верхней губой топорщились короткие усы с проседью; он был, пожалуй, самым спокойным из всех восьмерых, а стоявший рядом долговязый Адриан — самым беспокойным. Сэр Лоренс Монт держал под руку свою жену Эмили, и его худое, нервное лицо

¹ Офицерское училище.

словно говорило: «Какое прекрасное зрелище... Не плачь, дорогая».

Хилери и Лайонел стояли по обе стороны Уилмет; на их длинных, узких и решительных лицах, морщинистом — у Хилери и гладком — у Лайонела, застыло выражение какого-то грустного недоумения, словно и тот и другой ожидали, что глаза покойника вот-вот откроются. Высокая, худощавая Уилмет покраснела и сжала губы. Духовник стоял с опущенной головой, губы его шевелились, точно он шептал про себя молитву. Так они простояли минуты три, потом с подавленным вздохом потянулись к двери и разошлись по своим комнатам.

Когда они встретились снова за ужином, помыслы и разговоры их вернулись к делам житейским. Дядя Касберт ни с одним из них не был особенно близок, хоть и считался признанным главой семьи. Обсудили вопрос, похоронить ли его рядом с предками на семейном кладбище в Кондафорде или здесь, в соборе. Вероятно, это должно было решить его завещание. Все, за исключением генерала и Лайонела, назначенных душеприказчиками, в тот же вечер вернулись в Лондон.

Прочитав завещание, — оно оказалось коротким, ведь умершему почти нечего было завещать — оба брата помолчали. Наконец генерал сказал:

— Я хочу с тобой посоветоваться. Насчет моего мальчика, Хьюберта. Ты читал, как на него накнулись в палате перед роспуском на каникулы?

Скупой на слова Лайонел — его вот-вот должны были назначить судьей — кивнул.

— Я читал, что был сделан запрос, но не знаю, что говорит об этом сам Хьюберт.

— Могу тебе рассказать. Возмутительная история. Конечно, он мальчик вспыльчивый, но чист, как стеклышко. На его слово можно положиться. И вот что я тебе скажу: будь я на его месте, я, наверно, поступил бы точно так же.

Лайонел кивнул.

— Что, собственно, случилось?

— Ты же знаешь, он пошел на войну добровольцем прямо из школы, хотя его возраст еще не призывали, год прослужил в авиации; был ранен, вернулся в строй, а после войны остался в армии. Служил в Месопотамии,

потом в Египте и Индии. Подцепил тропическую малярию и в октябре прошлого года получил отпуск по болезни на целый год — до первого октября. Врачи рекомендовали ему попутешествовать. Хьюберт получил разрешение и отправился через Панамский канал в Лиму. Там он встретил американского профессора Халлорсена, того, что не так давно побывал в Англии и прочитал тут несколько лекций, кажется, о каких-то редкостных ископаемых в Боливии, — Халлорсен как раз снаряжал туда новую экспедицию. Когда Хьюберт попал в Лиму, экспедиция собиралась в путь, и Халлорсену нужен был начальник транспорта. Хьюберт уже чувствовал себя хорошо и ухватился за эту возможность. Не выносит безделья. Халлорсен взял его — это было в декабре — и вскоре оставил начальником лагеря, одного с целой бандой индейцев, погонщиков мулов. Хьюберт был там единственным белым; к тому же его отчаянно трепала лихорадка. По его словам, эти индейцы — сущие черти; никакого понятия о дисциплине, и жестоко обращаются с животными. Хьюберт с ними не поладил, — я же говорю, что он мальчик вспыльчивый и очень любит животных. Индейцы все больше отбивались от рук; наконец один, которого Хьюберту пришлось отхлестать за скверное обращение с мулами и подстрекательство к мятежу, напал на него с ножом. К счастью, у Хьюберта был под рукой револьвер, и он его застрелил. Вся шайка, кроме трех человек, разбежалась; мулов они угнали. Не забудь, мальчик оставался там один почти три месяца, без всякой помощи, не получая никаких известий от Халлорсена. Но, хоть и еле живой, он кое-как продержался там с оставшимися людьми. Наконец вернулся Халлорсен и, вместо того чтобы посочувствовать ему, на него накинулся. Хьюберта это взорвало, он тоже в долгу не остался и сразу же взял да уехал. Вернулся домой и живет сейчас с нами, в Кондафорде. Малярия у него, к счастью, прошла, но он и сейчас еще никак не поправится. А теперь этот тип, Халлорсен, разругал его в своей книге, свалил всю вину за провал экспедиции на него, обвинил в самодурстве и неумении обращаться с людьми, назвал необузданным аристократом, словом, наговорил всякого вздора — сейчас ведь это модно. Ну вот, один член парламента из военных к этому привязался и

сделал запрос. От социалистов ничего хорошего и не ждешь, но когда военный обвиняет тебя в поведении, недостойном английского офицера, это уже никуда не годится. Халлорсен сейчас в Америке. Никто не может привлечь его к ответственности, и к тому же у Хьюберта нет свидетелей. Похоже, что вся эта история может испортить ему карьеру.

Длинное лицо Лайонела Черрела еще больше вытянулось.

— Он обращался в генеральный штаб?

— Да, ходил туда в среду. Встретили его холодно. Модная демагогия насчет самодурства знати их очень пугает. И все-таки там, в штабе, по-моему, могут помочь, если дело не пойдет дальше. Но разве это возможно? Хьюберта публично ошельмовали в этой книге, а в парламенте обвинили в уголовщине, в поведении, недостойном офицера и джентльмена. Проглотить такое оскорбление он не может, а в то же время... что ему делать?

Лайонел, куривший трубку, глубоко затянулся.

— Знаешь что,— сказал он,— лучше ему не обращаться на все это внимания.

Генерал сжал кулак.

— Черт возьми, Лайонел, ты это серьезно?

— Но он ведь признает, что бил погонщиков, а потом и застрелил одного из них. У людей не такое уж богатое воображение,— они его не поймут. До них дойдет только одно: в гражданской экспедиции он застрелил человека, а других избил. Никто и не подумает ему посочувствовать.

— Значит, ты всерьез советуешь ему проглотить обиду?

— По совести — нет, но с точки зрения житейской...

— Господи! Куда идет Англия? И что бы сказал дядя Франтик? Он так гордился честью нашей семьи.

— Я горжусь ею тоже. Но разве Хьюберт с ними справится?

Наступило молчание.

— Это обвинение марает честь мундира, а руки у Хьюберта связаны,—заговорил генерал.—Он может бороться, только выйдя в отставку, но ведь душой и телом он военный. Скверная история... Кстати, Лоренс гово-

рил со мной об Адриане. Диана Ферз — урожденная Диана Монтджой, правда?

— Да, троюродная сестра Лоренса... И очень хорошенькая женщина. Ты ее видел?

— Видел, еще девушкой. Она сейчас замужем?

— Вдова при живом муже... двое детей, а супруг в сумасшедшем доме.

— Весело. И неизлечим?

Лайонел кивнул.

— Говорят. Впрочем, никогда нельзя сказать наверняка.

— Господи!

— Вот именно. Она бедна, а Адриан еще беднее. Она его старая любовь, еще с юности. Если Адриан наделает глупостей, его выгонят с работы.

— Ты хочешь сказать — если он с ней сойдется? Но ему уже пятьдесят!

— Седина в голову... Больно уж хороша. Сестры Монтджой всегда этим славились... Как ты думаешь, он тебя послушается?

Генерал мотнул головой.

— Скорее он послушается Хилери.

— Бедняга Адриан... ведь он редкий человек! Поговорю с Хилери, но он всегда так занят.

Генерал поднялся.

— Пойду спать. У нас в усадьбе не так пахнет плесенью, а ведь Кондафорд построен куда раньше.

— Здесь слишком много дерева. Спокойной ночи.

Братья пожали друг другу руки и, взяв каждый по свече, разошлись по своим комнатам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Усадьба Кондафорд еще в 1217 году перешла во владение Черрелов — их имя писалось тогда Керуэл, а иногда и Керуал, в зависимости от прихоти писца; до них усадьбой владело семейство де Канфор (отсюда и ее название). История перехода имения в руки новых владельцев была овеяна романтикой: тот Керуэл, которому оно досталось благодаря женитьбе на одной из де Канфор, покорило сердце своей дамы тем, что спас ее от ди-

кого кабана. Он был безземельным дворянином; его отец, француз из Гюйенны, перебрался в Англию после крестового похода Ричарда Львиное Сердце; она же была наследницей владетельных де Канфоров. Кабана увековечили в фамильном гербе; кое-кто подозревал, что скорее кабан в гербе породил легенду, чем легенда — кабана. Как бы то ни было, знатоки каменной кладки подтверждали, что часть дома была построена еще в двенадцатом веке. Когда-то его окружал ров, но при королеве Анне некий Черрел, одержимый страстью к новшествам — то ли ему показалось, что настал золотой век, то ли его просто раздражали комары, — осушил ров, и теперь от него не осталось и следа.

Покойный сэр Конвей, старший брат епископа, получивший титул в 1901 году, когда его назначили в Испанию, служил по дипломатической части. Поэтому при нем имение пришло в упадок. Он умер в 1904 году за границей, но упадок имения продолжался и при его старшем сыне, нынешнем сэре Конвее: находясь на военной службе, он до конца войны¹ лишь изредка наезжал в Кондафорд. Теперь, когда он жил здесь безвыездно, сознание, что его предки обосновались тут еще во времена Вильгельма Завоевателя, подсказывало ему, что надо привести родовое гнездо в порядок, и сейчас оно неплохо выглядело снаружи и казалось уютным внутри, хотя жить там генералу стало уже не по карману. Имение не могло приносить большого дохода — слишком много здесь было лесных угодий; хоть и не заложенное, оно давало всего несколько сот фунтов стерлингов в год. Пенсия генерала и скромная рента его жены (достопочтенной² Элизабет Френшем) позволяли им платить небольшие налоги, держать двух верховых лошадей для охоты и жить скромно, едва сводя концы с концами. Жена генерала была одной из тех женщин, которые кажутся такими незначительными и так много значат для своих близких. Ненавязчивая, мягкая, она никогда не сидела сложа руки и всегда держалась в тени, а ее бледное, спокойное лицо с застенчивой улыбкой говорило о том, что для душевного богатства вовсе не нужно денег и даже большого ума. Муж и трое ее детей знали, что всегда

¹ Имеется в виду первая мировая война 1914 — 1918 годов.

² Титул сыновей и дочерей высшей знати.

могут положиться на ее безграничную преданность. Все они были люди куда более живые и яркие, но с ней они отводили душу.

Она не поехала с генералом в Портсминстер и теперь дожидалась его дома. Обивка на мебели уже поистерлась, и генеральша стояла посреди гостиной, раздумывая, продержится ли она еще сезон, но тут появился шотландский терьер, а за ним ее старшая дочь Элизабет, которую все звали Динни; тоненькая, довольно высокая, с каштановыми волосами, чуть-чуть вздернутым носом и широко расставленными васильковыми глазами и ртом, точно с картины Боттичелли, она напоминала цветок на длинном тонком стебле, — казалось, он вот-вот сломается, а он не ломался. Весь ее облик говорил о том, что ей трудно относиться к жизни серьезно. Она была похожа на родник, или ключ, где вода всегда весело журчит и искрится. «Искрится, как шампанское», — говорил о ней ее дядюшка сэр Лоренс Монт. Ей уже исполнилось двадцать четыре года.

— Мама, нам придется носить траур по дяде Франтику?

— Не думаю; во всяком случае, не глубокий.

— Его похоронят здесь?

— Наверно, в соборе; отец нам скажет.

— Хочешь чаю? Скарамуш, сюда и не суй свой нос в паштет.

— Динни, меня так беспокоит Хьюберт.

— Меня тоже, мамочка, он какой-то сам не свой; от него остался один профиль, похож на старинную немецкую гравюру. Нечего ему было ездить в эту дурацкую экспедицию. С американцами трудно ладить, ну, а Хьюберту труднее, чем кому бы то ни было. Он никогда не мог с ними ужиться. Да и штатским, по-моему, незачем связываться с военными.

— Почему?

— Понимаешь, у военных ум такой заостенелый. Они твердо знают, что богу, а что — мамоне. Неужели ты не заметила?

Леди Черрел это заметила. Она застенчиво улыбнулась и спросила:

— А где он? Сейчас вернется отец.

— Он пошел с Доном за куропатками к ужину. Дер-

жу пари, что он их прозевает, да и все равно куропатки к ужину не успеют. Хьюберт в таком настроении, что не приведи господь или, лучше сказать, не приведи дьявол. Ни о чем, кроме этой истории, не может думать. Одно для него спасение — влюбиться. Давай найдем ему подходящий идеал? Позвонить, чтобы принесли чай?

— Позвони. И сюда в комнату нужны свежие цветы.

— Сейчас нарву. Пойдем, Скарамуш!

Динни вышла в залитый сентябрьским солнцем парк; на нижней лужайке она заметила зеленого дятла и вспомнила детский стишок: «Семь малых птичек в семь клювов долбят,— берегись, червячок, тебя здесь съедят». Какая ужасная сушь! А все-таки циннии в этом году чудесные,— и она принялась их рвать. Они переливались всеми тонами в ее руках — от темно-красных до бледно-розовых и лимонно-желтых; красивые, но какие-то холодные. «Жаль, что не бывает клумб с живыми девушками,— подумала она,— мы бы могли сорвать там что-нибудь для Хьюберта». Она редко выказывала свои чувства, но глубоко в ее душе жили две заветные неотделимые друг от друга привязанности,— к брату и к Кондафорду; Кондафорд был смыслом ее жизни, она любила его с той страстью, какой никто бы у нее и не заподозрил; ее обуревало ревнивое желание внушить своему брату такую же любовь к родным местам. Ведь она родилась здесь, когда все было еще в запустенье,— усадьба отстраивалась у нее на глазах. Для Хьюберта она была только местом, где можно провести праздники и отпуск. Динни же, хотя ей и в голову бы не пришло говорить о своем происхождении или обсуждать его всерьез на людях, втайне питала непоколебимую веру в свой род, его владения и дела. Каждый зверь, каждая птица, каждое деревцо в Кондафорде, даже цветы, которые она сейчас рвала, были частицей ее самой, так же как и простые люди здешней округи, в своих крытых соломой домишках, или старинная англиканская церковь, которую она посещала, хоть и не была глубоко верующим человеком, и тусклые кондафордские зори, которые ей редко случалось видеть, и лунные, оглашаемые криками совы ночи, и длинные солнечные лучи на стерне,— все запахи, звуки и даже самый воздух родных

мест. Когда Динни бывала в отъезде, она никогда не жаловалась на тоску по дому, но томилась вдали от него, а возвратившись домой, старалась не проявлять своего восторга. Перейди Кондафорд в чужие руки, она бы, может, и не заплакала, но почувствовала себя как растение, вырванное с корнем из земли. Отец ее питал к Кондафорду спокойную привязанность человека, прожившего лучшие свои годы в других местах; мать принимала имение как должное, ей приходилось хлопотать с утра до ночи, но все же оно не было ей родным гнездом; сестра терпела его поневоле,— она предпочла бы место повеселее; ну, а Хьюберт... что думал Хьюберт? Динни не знала. С целой охапкой цинний вернулась она в комнату. Затылок ее нагрело вечерним солнцем.

Мать стояла у чайного столика.

— Поезд опаздывает,— сказала она.— А Клер всегда так гонит машину.

— Не вижу никакой связи, мамочка.

Но она видела эту связь. Мать всегда беспокоилась, когда отец опаздывал.

— Мама, я все-таки считаю, что Хьюберту следует написать в газеты.

— Посмотрим, что скажет отец... он должен был поговорить с дядей Лайонелом.

— Вот и машина,— сказала Динни.

Вслед за генералом в комнату вошла его младшая дочь. Клер была самой яркой в семье. Она коротко стригла свои мягкие черные волосы, на ее бледном выразительном лице выделялись чуть подкрашенные губы. Взгляд ее карих глаз был прямой и нетерпеливый, невысокий лоб поражал белизной. Сквозь внешнее спокойствие проглядывало какое-то отчаянное удальство, и она выглядела старше своих двадцати лет. У нее была прекрасная фигура и царственная осанка.

— Бедняжка папа не обедал,— сказала она, входя.

— Ну и поездка, Лиз,— заметил генерал.— Стаканчик виски с содовой и печенье — вот и все, что у меня было во рту с самого утра.

— Сейчас дам тебе гоголь-моголь с вином,— сказала Динни и вышла. Вслед за ней вышла и Клер.

Генерал поцеловал жену.

— Старик выглядел очень хорошо, дорогая; впро-

чем, все мы, кроме Адриана, видели его уже потом. Придется съездить на похороны. Думаю, что все будет очень пышно. Вот был человек, наш дядя Франтик. Говорил с Лайонелом о Хьюберте; он не знает, как быть. Но я кое-что надумал.

— Да?

— Все дело в том, как отнесется начальство к нападениям в парламенте. Хьюберта могут уволить в отставку. Тогда это конец. Лучше уж уйти в отставку самому. Ему надо явиться на медицинский осмотр первого октября. Удастся ли нам нажать кое на кого так, чтобы он ничего не заподозрил? Мальчик-то ведь гордый. Я бы мог повидаться с Топшемом, а ты поговори с Фоллэнби, ладно?

Лицо леди Черрел вытянулось.

— Я знаю,— сказал генерал,— это очень противно. Впрочем, все зависит от Саксендена, не знаю только, как до него добраться.

— Может быть, Динни что-нибудь придумает.

— Динни? — переспросил генерал.— Пожалуй, она и правда умнее нас всех... не считая тебя, дорогая.

— Ну,— сказала леди Черрел,— я-то умом не могу похвастаться.

— Чушь! А вот и она!

Появилась Динни со стаканом в руке.

— Динни, я как раз говорил маме, что по делу Хьюберта нам надо обратиться к лорду Саксендену. Как бы это сделать?

— Через его соседей по имению. У него есть соседи?

— Его имение граничит с землями Уилфрида Бентуорта.

— Ну, вот. Значит, нужны дядя Хилери или дядя Лоренс.

— Почему?

— Уилфрид Бентуорт — председатель комитета по расчистке трущоб, а ведь это любимое детище дяди Хилери. Пустим в ход кумовство, дорогой.

— Гм... Хилери и Лоренс оба были в Портсминстере. Жаль, что мне это там не пришло в голову.

— Хочешь, я с ними поговорю?

— Вот было бы хорошо! Терпеть не могу просить о протекции.

— Конечно, дорогой. Это ведь женское дело.

Генерал с подозрением посмотрел на дочь: он никогда толком не знал, шутит она или нет.

— Вот и Хьюберт,— поспешно сказала Динни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хьюберт Черрел, за которым шел спаниель, пересекал с ружьем в руке старые серые плиты террасы. Он был худощав и строен, чуть выше среднего роста, с небольшой головой, обветренным лицом, не по возрасту изборозженным морщинами, и темными усиками над тонким нервным ртом; на висках уже пробивалась седина. Над впалыми загорелыми щеками выдавались скулы, широко расставленные карие глаза глядели зорко и беспокойно, над прямым тонким носом срослись брови. Он как бы повторял своего отца в молодости. Человек действия, вынужденный вести созерцательный образ жизни, чувствует себя не в своей тарелке; и с тех пор, как его бывший начальник выступил с нападками на него, Хьюберт не переставал злиться: он считал, что вел себя правильно или что его, во всяком случае, вынудили так действовать обстоятельства. Он раздражался еще и потому, что его воспитание и характер не позволяли ему жаловаться открыто. Солдат по призванию, а не по случайности, он видел, что его военная карьера под угрозой, его имя офицера и дворянина запятнано, а он не может отплатить своим обидчикам. Голова его, казалось Хьюберту, зажата как в тисках, и каждый, кому не лень, может нанести ему удар,— мысль невыносимая для человека с его характером. Оставив на террасе ружье и собаку, он вошел в гостиную и сразу почувствовал, что говорили о нем. Теперь ему то и дело приходилось наталкиваться на такие разговоры,— ведь в этой семье неприятности каждого волновали всех остальных. Взяв из рук матери чашку чаю, он объявил, что птицы дичают все больше — ведь леса так поределели,— после чего воцарилось молчание.

— Ну, пойду просмотрю почту,— сказал генерал и ушел вместе с женой.

Оставшись наедине с братом, Динни решила поговорить с ним начистоту.

— Хьюберт, надо что-то предпринять.

— Не волнуйся, сестренка; история, конечно, скверная, но что поделаешь?

— Ты бы мог сам написать, как было дело,— ведь ты вел дневник. Я бы напечатала его на машинке, а Майкл найдет тебе издателя, он всех знает. Нельзя же сидеть сложа руки.

— Терпеть не могу выставлять свои чувства напоказ; а тут без этого не обойдешься.

Динни нахмурила брови.

— А я не желаю, чтобы этот янки сваливал на тебя вину за свою неудачу. Тут затронута честь армии.

— Даже так? Я поехал туда как частное лицо.

— Почему бы не опубликовать твой дневник?

— От этого лучше не станет. Ты его не читала.

— Мы могли бы кое-что вычеркнуть, кое-что приукрасить, и все такое. Понимаешь, папа принимает это так близко к сердцу!

— Тебе стоит его прочитать. Но там полно всяких излишней. Наедине с собой не стесняешься.

— Ты можешь выбросить оттуда все что угодно.

— Большое тебе спасибо, Динни.

Динни погладила его рукав.

— Что за человек этот Халлорсен?

— Откровенно говоря, он человек неплохой: дьявольски вынослив, ничего не боится, никогда не выходит из себя, но для него важнее всего в жизни собственная персона. Неудач у него быть не может, а уж если они случаются, отдуваться должен другой. По его словам, экспедицию подвел транспорт, ну, а транспортом ведал я. Но будь на моем месте сам архангел Гавриил,— и он бы ничего не сделал. Халлорсен ошибся в расчетах и не желает в этом сознаться. Обо всем этом написано в дневнике.

— А это ты видел? — Она показала ему газетную вырезку и прочитала вслух: — «Как стало известно, капитан Черрел, кавалер ордена «За особые заслуги», возбуждает дело против профессора Халлорсена, чтобы реабилитировать себя в связи с обвинениями, выдвинутыми Халлорсеном в книге о его боливийской экспеди-

ции; в своей книге Халлорсен приписывает капитану Черрелу, не оправдавшему его доверия в трудную минуту, ответственность за провал экспедиции». Видишь, кто-то хочет натравить вас друг на друга.

— Где это напечатано?

— В «Ивнинг сан».

— «Возбуждает дело!» — с горечью воскликнул Хьюберт. — Какое дело? У меня нет никаких доказательств; уж об этом-то он позаботился, когда оставил меня с этой шайкой туземцев.

— Значит, у нас одна надежда — дневник.

— Сейчас принесу тебе эту чертовщину...

Весь вечер Динни просидела у окна, читая «эту чертовщину». Полная луна плыла за старыми вязами; кругом стояла могильная тишина. Лишь где-то на холме одиноко позвякивал какой-то колокольчик да одинокий цветок магнолии белел у самого окна. Все казалось каким-то призрачным, и Динни то и дело прерывала чтение, чтобы поглядеть на это волшебство. Десять тысяч полных лун проплыло тут с тех пор, как ее предки получили этот клочок земли; вокруг царил нерушимый покой, а со страниц дневника на нее веяло мучительным одиночеством. Жестокими словами говорилось там о жестоких делах: белый, брошенный среди дикарей; он любил животных, а кругом животные подышали от голода, и люди не знали к ним жалости. Глядя на эту холодную, застывшую красоту за окном, она испытывала стыд и отчаяние.

«Эта подлая скотина Кастро снова пырлял мулов ножом. Несчастные твари совсем отощали и еле тянут. Предупредил его в последний раз. Если это повторится, он отведаст хлыста... Опять лихорадка».

«Кастро досталось сегодня как следует — дюжина ударов; посмотрим, уймется он теперь или нет. Никак не могу поладить с этими скотами; в них нет ничего человеческого. Эх, хоть бы денек провести в Кондафорде верхом, позабыть здешние болота и несчастных мулов, от которых остались кожа да кости...»

«Отстегал еще одного из этих скотов — чудовищно

обращаются с мулами, будь они трижды прокляты!.. Снова приступ...»

«Чистейший ад! Утром они взбунтовались. Устроили мне засаду. К счастью, меня предупредил Мануэль — славный парень. И все-таки Кастро едва не проткнул мне глотку ножом. Здорово поранил мне левую руку. Я его пристрелил. Может, теперь они поостерегутся. От Халлорсена никаких вестей. Долго еще собирается он держать меня в этом чертовом логове? Рука горит, как в огне...»

«Ну теперь уж мне крышка: пока я спал, эти черти угнали в темноте мулов и скрылись. Остались только Мануэль и еще двое. Мы долго за ними гнались; нашли двух павших мулов, и только; мерзавцы разбежались кто куда; ищи ветра в поле. Вернулся в лагерь чуть живой... Бог знает, выберемся ли мы отсюда когда-нибудь. Рука страшно ноет, надеюсь, это не заражение крови...»

«Думал двинуться сегодня пешком. Сложил груды камней и оставил записку для Халлорсена — описал ему все на случай, если он в конце концов придет за мной; потом передумал. Останусь здесь, пока он не вернется или пока мы все тут не подохнем, что куда более вероятно...»

Так и шла эта мучительная повесть до самого конца. Динни отложила неразборчивые, пожелтевшие записи и облокотилась на подоконник. Тишина и холодный свет за окном отрезвили ее. Пыл ее охладел. Хьюберт прав. Зачем выставять напоказ душу? Нет! Только не это. Личные связи — другое дело, к ним придется прибегнуть; и уж тут-то она для него постарается!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Адриан Черрел был одним из тех любителей деревенской жизни, что постоянно живут в городе. Работа удерживала его в Лондоне, где он опекал целую коллекцию останков доисторического человека. Он задумчиво взирает на челюсть из Новой Гвинеи, получившую восторженные отзывы в печати, и говорит себе: «Очеред-

ная шумиха! Просто низший тип Homo sapiens¹», — когда швейцар доложил:

— Вас спрашивает молодая дама, сэр, — кажется, мисс Черрел.

— Пусть войдет, Джеймс, — сказал он и подумал: «Динни? Как ее сюда занесло?»

— А! Динни! Канробер утверждает, что это челюсть яванского питекантропа, Моклей — эоантропа, а Элдон П. Бэрбенк — австралопитека. А я говорю — sapiens: взгляни на коренной зуб.

— Вижу, дядя Адриан.

— Совсем как у человека. У этого типа болели зубы. Зубная боль — признак высокоразвитой культуры. Недавно росписи Альтамиры были найдены в пещерах кроманьонской эпохи. Этот парень, безусловно, Homo sapiens.

— Зубная боль — признак культуры? Забавно! Я приехала в город поговорить с дядей Хилери и дядей Лоренсом, но подумала, — если сначала мы с тобой пообедаем, я буду чувствовать себя увереннее.

— Ну тогда пойдем в кафе «Болгария», — сказал Адриан.

— Почему?

— Потому что там пока еще хорошо кормят. Это новый ресторан, там пропагандируют все болгарское, и мы сможем пообедать вкусно и дешево. Хочешь попудрить нос?

— Хочу.

— Тогда иди вон туда.

Дожидаюсь племянницы, Адриан стоял, поглаживая козлиную бородку, и прикидывал, что можно заказать на восемнадцать шиллингов шесть пенсов; он был государственным служащим без собственных средств, и у него редко оказывалось в кармане больше одного фунта стерлингов.

— Дядя Адриан, — спросила Динни, когда они сидели за глазуньей по-болгарски, — что ты знаешь о профессоре Халлорсене?

— Это тот, который собирался открыть в Боливии первые очаги цивилизации?

¹ Мыслящий человек (лат.).

— Да, и взял с собой Хьюберта.

— А! Но, кажется, бросил его где-то по дороге.

— Ты с ним знаком?

— Да. Я познакомился с ним в тысяча девятьсот двадцатом году, мы вместе поднимались на Малого Грешника в Доломитах.

— Он тебе понравился?

— Нет.

— Почему?

— Видишь ли, он был вызывающе молод, обогнал меня и первым взобрался на вершину... Он чем-то напоминал мне бейсбол. Ты видела когда-нибудь, как играют в бейсбол?

— Нет.

— А я однажды видел, в Вашингтоне. Они поносят противника, чтобы его расстроить. Обзывают сосунком, ловкачом и президентом Вильсоном,— словом, всем, что только в голову придет,— как раз, когда он собирается ударить по мячу. Такой уж у них обычай. Лишь бы выиграть, любой ценой.

— А ты сам разве не думаешь, что главное — выиграть, любой ценой?

— Кто же в этом признается?

— Но ведь все мы ничем не гнушаемся, если нет выхода?

— Да, так бывает даже в политике.

— А ты бы пытался выиграть любой ценой?

— Наверно.

— Нет, ты бы не стал. А вот я — да.

— Ты очень любезна, детка, но откуда вдруг такое самоуничижение?

— Я сейчас кровожадна, как комар: жажду крови недругов Хьюберта. Вчера я читала его дневник.

— Женщина еще не утратила веры в свое божественное всемогущество,— задумчиво произнес Адриан.

— Думаешь, нам это угрожает?

— Нет, как бы вы ни старались, вам никогда не удастся уничтожить веру мужчин в то, что они вами командуют.

— Как лучше всего уничтожить такого человека, как Халлорсен?

— Либо дубинкой, либо выставив его на посмешище.

— Наверно, то, что он придумал насчет боливийской цивилизации,— чепуха?

— Полная чепуха. Там нашли странных каменных истуканов, происхождение которых еще не известно, однако его теория, по-моему, не выдерживает никакой критики. Но позволь, дорогая, ведь Хьюберт тоже принимал во всем этом участие.

— Наука Хьюберта не касалась, он там ведал транспортом.— Динни пустила в ход испытанное оружие: она улыбнулась.— А что если поднять на смех Халлорсена за его выдумку. У тебя это так чудно получится, дядя!

— Ах ты, лиса!

— А разве не долг серьезного ученого — высмеивать всякие бредни?

— Будь Халлорсен англичанином — возможно; но он американец, и с этим надо считаться.

— Почему? Ведь наука не знает границ.

— В теории. На практике многое приходится спускать: американцы так обидчивы. Помнишь, как они недавно взъелись на Дарвина? Если бы мы их тогда высмеяли — дошло бы, чего доброго, и до войны.

— Но ведь большинство американцев сами над этим смеялись.

— Да, но другим они этого не позволяют. Хочешь суфле «София»?

Некоторое время они молча ели, с удовольствием поглядывая друг на друга. Динни думала: «Как я люблю его морщинки, да и борода у него просто прелесть». Адриан думал: «Хорошо, что нос у нее чуть-чуть вздернутый. Прелестные у меня все-таки племянницы и племянники». Наконец Динни сказала:

— Значит, дядя, ты постарайся придумать, как нам проучить этого человека за все его подлости по отношению к Хьюберту?

— Где он сейчас?

— Хьюберт говорит — в Штатах.

— А тебе не кажется, что кумовство — это порок?

— И несправедливость тоже, а своя кровь — не вода.

— Это вино,—с гримасой сказал Адриан,—куда жи-
же воды. Зачем тебе нужен Хилери?

— Хочу выпросить у него рекомендательное письмо к лорду Саксендену.

— Зачем?

— Отец говорит, он важная птица.

— Значит, решила пустить в ход протекцию?

Динни кивнула.

— У порядочных и совестливых людей это не получается.

Ее брови дрогнули, она широко улыбнулась, показав очень белые и очень ровные зубы.

— А я себя ни к тем, ни к другим и не причисляю.

— Посмотрим. А пока возьми болгарскую папиросу,—действительно первоклассная пропаганда.

Динни взяла папиросу и, глубоко затянувшись, спросила:

— Ты видел дядю Франтика?

— Да. Очень достойно ушел из мира. Я бы сказал — парадно. Зря он связался с церковью; дядя Франтик был прирожденный дипломат.

— Я видела его только два раза. Но неужели и он не смог бы добиться того, чего хотел, при помощи протекции, не потеряв при этом достоинства?

— Ну, он-то действовал иначе — умелым подходом и личным обаянием.

— Учтивостью?

— Да, он был учтив, как вельможа, таких сейчас уже не встретишь.

— Ну, дядя, мне пора; пожелай мне поменьше совестливости и побольше нахальства.

— А я вернусь к челюсти из Новой Гвинеи, которой надеюсь повергнуть в прах моих ученых собратьев,—сказал Адриан.—Если я смогу помочь Хьюберту, не вступая в сделку с совестью, я ему помогу. Во всяком случае, я об этом подумаю. Передай ему привет. До свидания, дорогая!

Они расстались, и Адриан вернулся в музей. Взяв снова в руки челюсть из Новой Гвинеи, он стал размышлять о совсем другой челюсти. Он уже достиг того возраста, когда кровь человека сдержанного, привыкшего к размеренной жизни, течет ровно, и его «увлечение» Дианой Ферз, которое захватило его давно, еще до ее рокового замужества, приобрело некий альтруистический от-

тенок. Ее счастье было для него дороже своего собственного. В его постоянных думах о ней забота о том, «что лучше для нее», всегда занимала первое место. Он так давно только мечтал о ней, что ни о какой навязчивости с его стороны не могло быть и речи, да к тому же навязчивость была совсем не в его характере. Но ее овальное, обычно грустное, лицо с темными глазами, прелестным ртом и носом, то и дело заслоняло очертания челюстей, тазобедренных костей и прочих интересных образчиков его коллекции. Диана Ферз жила со своими двумя детьми в маленьком домике в районе Челси на средства мужа, который вот уже четыре года находился в частной клинике для умалишенных без всякой надежды на выздоровление. Ей было около сорока; она пережила страшные дни прежде чем Ферз окончательно потерял рассудок. В своих воззрениях и привычках Адриан был несколько старомоден; антропология научила его тому, что история человечества развивается по определенным законам; он принимал жизнь с чуть-чуть насмешливым фатализмом. Он не принадлежал к тем людям, которые хотят переделать жизнь, да и трагическое замужество дамы его сердца не позволяло ему и мечтать о брачном венце. Горячо желая ей счастья, он не знал, как ей помочь. Теперь у нее есть хотя бы покой, а заодно и средства того, с кем судьба обошлась так жестоко. К тому же муж Дианы внушал Адриану нечто вроде суеверного страха, какой первобытные люди испытывают перед несчастными, потерявшими разум. Ферз был славным парнем до той поры, пока болезнь не нарушила его душевного равновесия. Но перед этим он уже два года вел себя так, что это можно было объяснить только помрачением рассудка. Он был одним из «богом обиженных», и его беспомощность обязывала других относиться к нему с предельной щепетильностью.

Адриан отложил челюсть и снял с полки гипсовый слепок черепа питекантропа; останки этого удивительного создания нашли в Триниле на Яве, и он вызвал ожесточенные споры о том, считать ли его человеко-обезьяной или обезьяно-человеком. Какой долгий путь от него до современного англичанина,— вот его череп, там над камином! Сколько ни взывай к авторитетам, никто не ответит на вопрос: где же колыбель *Homo sapiens*, где то гнез-

до, где он вылутился из питекантропа, эоантропа, неандертальца или другого, еще неизвестного их родича? Единственной страстью Адриана, кроме страсти к Диане Ферз, было жгучее желание найти родовое гнездо человеческой породы. Сейчас ученые тешились теорией о происхождении человека от неандертальца, но Адриан не мог с ней согласиться. Когда развитие вида достигает такой стадии, как та, что была обнаружена у этих звероподобных особей, вид не может изменяться так резко. С равным основанием можно было бы говорить о том, что благородный олень произошел от лося. Он повернулся к огромному глобусу, где каллиграфическим почерком были нанесены все существенные открытия, касающиеся происхождения человека, вместе с данными о геологических изменениях, эпохах и климате. Где же, где искать решения? Это загадка, величайшая загадка на свете, решить ее можно только так, как это делают французы: наметить по наитию какую-нибудь возможную точку, чтобы затем подтвердить гипотезу исследованиями на месте. Где эта точка — в предгорьях Гималаев, в Фаюме, или она навеки погребена в пучине моря? Если она и в самом деле покоится на дне моря, ее никогда не удастся точно установить. Быть может, это чисто академический вопрос? Не совсем, — ведь с ним связана проблема сущности человека, истинной подоплеку его характера, столь важная для социальной философии, проблема, так часто всплывающая последнее время: является ли человек по самой натуре своей добропорядочным и миролюбивым, как позволяют заключить исследования жизни животных и некоторых так называемых «диких» народов, или же он воинственный и беспокойный, как свидетельствует мрачная летопись истории? Найдя родовое гнездо *Homo sapiens*, обнаружишь, быть может, доказательство того, кто он — дьяволо-ангел или ангело-дьявол. Адриана, по его характеру, очень привлекал тезис о врожденном благородстве человека, но склад ума не позволял ему легко и просто брать на веру что бы то ни было. Даже самые кроткие животные и птицы подчиняются закону самосохранения так же, как и первобытный человек; извращения цивилизованного человека начались с расширением круга его деятельности и обострением борьбы за существование — другими словами,

по мере того как осложнялась задача самосохранения в условиях так называемой цивилизованной жизни. Прimitивная жизнь первобытных людей дает меньше поводов к извращенному проявлению инстинкта самосохранения, но это еще ничего не доказывает. Лучше всего принимать современного человека таким, как он есть, и стараться ограничить его возможности творить зло. И не стоит так уж полагаться на врожденное благородство первобытных народов. Только вчера Адриан прочел очерк об охоте на слонов в Центральной Африке: по словам автора, мужчины и женщины из первобытного африканского племени, служившие загонщиками у белых охотников, набросились на еще не остывшие туши убитых слонов, разорвали их на куски и тут же съели, а потом скрылись в лесу, пара за парой, чтобы завершить свой пир. В конце концов у цивилизации есть свои хорошие стороны.

Тут размышления Адриана были снова прерваны швейцаром.

— Сэр, к вам какой-то профессор Халлорсен. Хочет взглянуть на черепа из Перу.

— Халлорсен? — с изумлением переспросил Адриан. — Вы не путаете? Я думал, он в Америке.

— Он сказал, что его фамилия Халлорсен, сэр; такой высокий господин, говорит, как американец. Вот его карточка.

— Гм! Зовите его, Джеймс.

И он подумал: «Тень Динни! Что мне ему сказать?»

В комнате появился очень высокий и очень красивый человек лет тридцати восьми. Его гладко выбритое лицо дышало здоровьем, глаза жизнерадостно блестели, в темных волосах кое-где пробивалась ранняя седина. С ним в комнату словно ворвался свежий ветер. Он сразу заговорил:

— Вы хранитель музея?

Адриан поклонился.

— Позвольте! Мы же встречались: помните, на горе, правда?

— Да.

— Ну и ну! Моя фамилия Халлорсен; слышали — экспедиция в Боливии? Говорят, у вас отличные черепа из Перу: У меня с собой несколько боливийских, хочется

их сравнить. Люди пишут так много ерунды о черепах, а сами настоящих черепов и в глаза не видели.

— Совершенно верно, профессор. Я с удовольствием взгляну на ваших боливийцев. Между прочим, вы, кажется, не знаете, как меня зовут.

Адриан протянул ему карточку. Халлорсен ее взял.

— Вот как! А вы не родственник капитана Чаруэла, который точит на меня зубы?

— Я его дядя. Но у меня создалось впечатление, что зубы точите на него вы.

— Да, но он меня подвел!

— А он думает, что подвели его вы.

— Ну, знаете что, мистер Чаруэл...

— Между прочим, наша фамилия произносится Черрел.

— Черрел... да, теперь вспомнил. Если вы нанимаете человека на работу, а он с ней не справляется, и вы из-за этого садитесь в лужу, что прикажете — дать ему золотую медаль?

— По-моему, прежде чем точить зубы, нужно выяснить, выполняема ли такая работа.

— Зачем же он нанимался, если она была ему не по силам? Работа не бог весть какая: держать в руках кучку туземцев.

— Я не знаю подробностей, но слышал, что он отвечал и за вьючных животных.

— Правильно; ну и провалил все дело. Конечно, я не думаю, что вы станете на мою сторону против собственного племянника. Могу я посмотреть на ваших перуанцев?

— Разумеется.

— Весьма любезно с вашей стороны.

Во время осмотра Адриан то и дело поглядывал на стоявший рядом с ним великолепный экземпляр *Homo sapiens*. Ему редко доводилось видеть такого пышущего здоровьем и жизнерадостностью человека. Естественно, что всякая неудача выводит его из себя. Буйная энергия мешает ему быть объективным. Как и прочие американцы, он считает, что все должно идти так, как ему хочется, — и представить себе не может, что бывает иначе.

«В конце концов, — подумал Адриан, — он же не виноват, что принадлежит к излюбленным тварям господ-

ним — *Homo Transatlanticus Superbus*¹», — и лукаво произнес:

— Стало быть, профессор, в будущем солнце будет вставать на западе?

Халлорсен улыбнулся — улыбка у него была обаятельная.

— Знаете, господин хранитель музея, мы, наверно, оба того мнения, что цивилизация началась с обработки земли. Если можно будет доказать, что мы на американском континенте выращивали маис давным-давно, может быть, за тысячелетия до того, как на древнем Ниле появились культуры ячменя и пшеницы, — почему бы реке истории и не течь с запада на восток?

— А как вы докажете вашу теорию?

— Видите ли, у нас есть сортов двадцать — двадцать пять маиса. Грвдличка утверждает, что понадобилось не менее двадцати тысяч лет, чтобы их вывести. Уже одно это доказывает наш неоспоримый приоритет в сельском хозяйстве.

— Увы! Ни один сорт маиса не рос в Старом Свете до открытия Америки.

— Совершенно верно; а в Америке прежде не росло ни одного из ваших злаков. Ну, а если культура Старого Света проложила себе дорогу к нам через Тихий океан, опять-таки возникает вопрос: почему она не принесла с собой своих злаков?

— Но ведь это еще не доказывает, что Америка — светоч для всего мира.

— Не знаю, может, и нет; но, во всяком случае, ее древняя цивилизация возникла на основе самостоятельного открытия собственных злаков; мы были первыми.

— Вы верите в Атлантиду, профессор?

— Балуюсь иногда этой мыслишкой.

— Ну-ну!.. Позвольте вас спросить; а вы не жалеете о своих нападках на моего племянника?

— Видите ли, когда я писал книгу, я был очень зол. Мы с вашим племянником не сошлись характерами.

— Тем больше оснований у нас сомневаться, что вы были справедливы.

¹ Великолепный трансатлантический человек (лат.).

— Если бы я отказался от своих обвинений, я поступил бы против совести.

— А вы уверены, что вы сами ничуть не повинны в своей неудаче?

Гигант нахмурил брови с таким изумлением, что Адриан поневоле подумал: «Во всяком случае, человек он честный».

— Не понимаю, куда вы клоните,— медленно проговорил Халлорсен.

— Вы же сами выбрали моего племянника?

— Да, из двадцати других.

— Вот именно. Значит, вы плохо выбрали?

— Конечно.

— Ошиблись в выборе?

Халлорсен расхохотался.

— Ловко вы меня поймали. Но я не из тех, кто хвастает своими ошибками.

— Вам нужен был человек без капли жалости в душе,— сухо сказал Адриан.— Что ж, вам действительно не повезло.

Халлорсен покраснел.

— Тут мы с вами не сговоримся. Ну что ж, возьму-ка я свои черепа и пойду. Спасибо за любезный прием.

С тем он и ушел.

Адриана обуревали самые противоречивые чувства. Этот тип оказался куда лучше, чем он думал. Великолепный экземпляр в физическом отношении, далеко не дурак, а его духовный склад... что ж, характерен для Нового Света, где человек не заглядывает далеко в будущее и где цель всегда оправдывает средства. «Жаль будет,— подумал он,— если они передерутся. А все-таки этот тип не прав; надо быть человечнее и не нападать на людей в печати. Уж очень он большой эгоист, наш друг Халлорсен». И Адриан положил новогвинейскую челюсть обратно в шкаф.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Динни направлялась к церкви святого Августина в Лугах. В этот солнечный день бедность района, в котором она очутилась, казалась ее привыкшему к деревне

глазу особенно гнетущей. Тем больше ее поразило веселье игравших на улице детей. Она спросила у одного из них, где находится дом священника, и за нею сразу увязалось пятеро. Они не отошли от нее и тогда, когда она позвонила, и это навело ее на мысль, что ими руководила не только любовь к ближнему. Они даже попытались войти вместе с нею в дом и удалились лишь после того, как она дала каждому по медяку. Ее провели в приятную комнату, у которой был такой вид, будто туда не часто заглядывают; Динни рассматривала репродукцию с картины Кастель Франко¹, когда ее окликнули, и она увидела свою тетю Мэй. Как и всегда, миссис Хилери Черрел выглядела так, точно разрывалась на части и ей нужно было попасть в три места сразу, но вид у нее был благодушный и довольный,— она любила племянницу.

— Приехала в город за покупками, деточка?

— Нет, тетя Мэй, я приехала к дяде Хилери за рекомендательным письмом.

— Дядя в полиции.

В глазах Динни заиграли озорные искорки.

— Господи, что же он наделал?

Миссис Хилери улыбнулась.

— Пока ничего особенного, но если судья не проявит благоразумия, я ни за что не ручаюсь. Одну из наших девушек обвиняют в том, что она приставала к мужчинам.

— Надеюсь, не к дяде Хилери?

— Нет, дорогая, до этого еще не дошло. Дядя Хилери должен засвидетельствовать ее добропорядочность.

— А есть там добропорядочность, которую можно засвидетельствовать?

— В том-то все и дело. Хилери говорит, что есть, но я в этом не уверена.

— Мужчины так доверчивы. Я еще ни разу не была в полиции. Взглянуть бы там на дядю хоть одним глазком!

— Что ж, я иду в ту сторону. Могу тебя проводить.

Через пять минут они уже шли по улицам, которые

¹ Джорджоне да Кастель Франко (Джорджо Барбарелли) (1478—1510) — итальянский художник.

все больше поражали Динни, привыкшую к живописной бедности сельских мест.

— Я никогда не представляла себе,— сказала она вдруг,— что Лондон похож на дурной сон.

— И беспробудный — вот ведь что страшно. Почему, скажи на милость, нельзя при нашей безработице принять программу перестройки трущоб для всей Англии? Она окупится за каких-нибудь двадцать лет. Политики проявляют чудеса энергии и принципиальности, пока они не у власти, но стоит им до нее дорваться, как они просто плывут по течению.

— Это, тетечка, потому, что они не женщины.

— Ты что, шутишь?

— Ничуть. Женщины не так боятся жизни, они видят препятствия, только когда они осязаемы; мужчина всегда воспринимает их отвлеченно, он всегда говорит: «Ничего не выйдет». Женщина никогда так не скажет. Она возьмется за дело и посмотрит, выйдет или нет.

Миссис Хилери помолчала.

— Да, пожалуй, женщины смотрят на жизнь более трезво. У них и глаз острее и чувства ответственности меньше.

— Хорошо, что я не мужчина.

— Отрадно слышать, и все-таки им даже теперь живется лучше, чем нам.

— Это им так кажется, но я в этом сомневаюсь. По моему, мужчины очень похожи на страусов. Они закрывают глаза на то, чего им не хочется видеть, но ведь это не преимущество.

— Если бы ты жила у нас, в Лугах, Динни, ты бы так не говорила.

— Если бы я жила в Лугах, тетя, я бы просто умерла.

Миссис Хилери посмотрела на племянницу. Она и правда казалась какой-то прозрачной и хрупкой, но в ней сказывалась «порода» и чувствовалось, что дух ее сильнее плоти. Она могла проявить неожиданную выносливость и выдержку.

— Не думаю, Динни, род ваш живучий. Если бы не это, Хилери давно протянул бы ноги. Ну, вот и полиция. Жаль, что мне некогда зайти с тобой. Но все здесь будут очень любезны. Тут ведь тоже люди, хоть и не очень де-

ликатные. Однако будь поосторожнее с теми, кто сидит рядом.

Динни подняла бровь.

— Вши, тетя Мэй?

— Не поручусь, что их там нет. Возвращайся пить чай, если успеешь.

Она ушла.

На торжище человеческой неделикатности яблоку негде было упасть: безошибочный нюх на всякую сенсацию заставил людей сбегаться сюда, где слушалось дело, по которому Хилери выступал свидетелем, — тут была затронута честь полиции. Динни заняла последние пятнадцать квадратных дюймов свободного места и поняла, что дело слушается вторично. Соседи справа напомнили ей детскую песенку: «Лекарь, сапожник, пекарь, пирожник».

Слева от нее стоял рослый полицейский. В глубине зала толпилось много женщин. Спертый воздух пропитался запахом неопрятной одежды. Динни взглянула на судью — вид у него был изможденный и какой-то кислый — и спросила себя, почему он не поставит на стол курильницу с благовониями. Потом внимание Динни привлекла женская фигура на скамье подсудимых; это была девушка одного с ней возраста, такая же высокая, чистенько одетая, с приятными чертами лица, — вот только рот чувственный, что сейчас было совсем некстати. Динни решила, что она, пожалуй, блондинка. Обвиняемая стояла неподвижно, ее бледные щеки чуть разрумянились, глаза испуганно бегали по сторонам. Звали ее, как выяснилось, Миллисент Поул. Насколько поняла Динни, некий полицейский заявил, что она приставала на Юстон-Род к двум мужчинам, — ни один из них, однако, не явился в суд, чтобы это подтвердить. Какой-то молодой человек, похожий на владельца табачной лавчонки, давал свидетельские показания: он видел, как обвиняемая два или три раза прошла по улице; он обратил на нее внимание потому, что она «лакомый кусочек»; вид у нее был озабоченный, точно она что-то искала.

— Что-то или кого-то? — спросили у него.

Почем он знает? Нет, она не смотрела на тротуар; нет, она не нагибалась; на него она, во всяком случае,

даже не взглянула. Он с ней заговорил? Еще чего выдумали! Что он делал на улице? Просто закрыл лавку и вышел подышать свежим воздухом. Он не заметил, заговаривала ли она с кем-нибудь? Нет, не заметил, но он и не стоял там долго.

— Преподобный Хилери Чаруэл!

Динни увидела, как ее дядя поднялся со скамьи и занял место под балдахином на возвышении для свидетелей. Вид у него был энергичный, он совсем не походил на священнослужителя, и она с удовольствием смотрела на его худое, все в морщинках, решительное лицо, дышавшее юмором.

— Ваше имя Хилери Чаруэл?

— Черрел, если не возражаете.

— Ничуть. Вы священник прихода святого Августина-в-Лугах?

Хилери поклонился.

— Давно?

— Тринадцать лет.

— Вы знаете обвиняемую?

— С самого детства.

— Расскажите, пожалуйста, все, что вы о ней знаете.

Динни увидела, как дядя решительно повернулся лицом к судье.

— Ее отец и мать, сэр, были достойны самого глубокого уважения; они хорошо воспитали своих детей. Он был сапожник, конечно, бедный; в моем приходе все мы бедны. Я бы даже мог сказать, что умерли они от бедности; это случилось пять или шесть лет назад; с тех пор их дочери росли у меня на глазах. Обе они работают у Петтера и Поплина. Я никогда не слышал ничего дурного о Миллисент. Насколько мне известно, она порядочная, честная девушка.

— А достаточно ли вы хорошо ее знаете?

— Видите ли... я часто посещаю тот дом, где она живет с сестрой. Если бы вы там побывали, сэр, вы бы сами поняли,— они с честью выходят из трудного положения.

— Она ваша прихожанка?

Хилери не сдержал улыбки, и судья улыбнулся ему в ответ.

— Этого я бы не сказал. В наше время молодежь

слишком дорожит воскресными днями. Но Миллисент одна из тех девушек, которые проводят праздники в нашем доме отдыха возле Доркинга. А девушки у нас там хорошие. Жена моего племянника, миссис Майкл Монт, которая заведует этим домом, прекрасно о ней отзывается. Хотите, я прочту ее отзыв? «Дорогой дядя Хилери. Ты спрашиваешь о Миллисент Поул. Она была у нас три раза; сестра-хозяйка считает, что она хорошая девушка и совсем не легкомысленная. У меня о ней сложилось такое же впечатление».

— Короче говоря, мистер Черрел, вы считаете, что в этом деле допущена ошибка?

— Да, сэр, я в этом уверен.

Девушка на скамье подсудимых приложила к глазам платок. И Динни вдруг до глубины души возмутила унижительность ее положения. Быть выставленной напоказ перед всеми этими людьми, даже если она и делала то, в чем ее обвиняют! А почему бы девушке и не предложить мужчине пойти с ней погулять? Ведь он же всегда может отказаться.

Рослый полицейский переступил с ноги на ногу, окинул Динни взглядом и, словно почуяв ее дерзкие мысли, кашлянул.

— Благодарю вас, мистер Черрел.

Спускаясь с возвышения для свидетелей, Хилери заметил племянницу и помахал ей. Динни поняла, что разбор дела окончен и судья принимает решение. Он сидел неподвижно, соединив кончики пальцев, и глядел на девушку; она перестала вытирать глаза и тоже уставилась на него. Динни затаила дыхание. В эту минуту решается судьба человека! Рослый полицейский снова переступил с ноги на ногу. На чьей стороне были его симпатии — на стороне сослуживца или на стороне девушки? В зале наступила мертвая тишина, слышалось только поскрипывание пера. Судья разъединил кончики пальцев и объявил:

— Я не считаю обвинение доказанным. Обвиняемая свободна. Можете идти.

Девушка тихонько всхлипнула. Справа от Динни «пекарь-пирожник» хрипло выкрикнул:

— Правильно!

— Тс-с! — одернул его рослый полицейский.

Динни увидела дядю, выходявшего из зала рядом с девушкой; проходя мимо, он улыбнулся.

— Подожди меня, Динни, минутки две, не больше.

Проскользнув к выходу вслед за полицейским, Динни осталась ждать в вестибюле. Все вокруг наводило на нее такую жуть, какую испытываешь, зажигая ночью свет в пустой кухне; от запаха дезинфекции першило в горле; она подвинулась поближе к выходу. К ней обратился сержант полиции:

— Могу я быть вам чем-нибудь полезен, мисс?

— Спасибо, я жду дядю: он сейчас придет.

— Его преподобие?

Динни кивнула.

— А! Хороший человек наш священник. Девушку отпустили?

— Да.

— Ну, что ж. Всегда можно ошибиться. А вот и ваш дядюшка.

Хилери подошел и взял Динни под руку.

— А, сержант! — сказал он. — Как здоровье супруги?

— Первый сорт, сэр. Девушку, значит, вызволили?

— Да, — ответил Хилери. — А теперь я хочу курить. Пойдем, Динни.

И, кивнув на прощанье сержанту, он вывел ее на воздух.

— А ты как попала в это логово, Динни?

— Зашла за тобой. Меня привела тетя Мэй. Скажи, эта девушка правда не виновата?

— Понятия не имею. Но засудить ее — значит искалечить ей жизнь. Она задолжала за квартиру, и у нее больна сестра. Постой-ка, я зажгу трубку. — Он выпустил облако дыма и снова взял ее под руку. — А что тебе от меня нужно, дорогая?

— Рекомендательное письмо к лорду Саксендену.

— К Зазнайке Бентхему? Зачем он тебе?

— Для Хьюберта.

— Вот оно что! Хочешь соблазнить Бентхема?

— Да, если ты нас познакомишь.

— Я учился с ним в Харроу, — он был тогда всего лишь баронетом, — с тех пор я его не видел.

— Но ведь Уилфрид Бентуорт готов для тебя на все, а их имения рядом.

— Что ж, надеюсь, Бентуорт даст мне для тебя записку.

— Этого мало. Мне надо встретиться с лордом Саксенденом где-нибудь в обществе.

— Гм! Да, пожалуй, иначе тебе его не соблазнить. А в чем, собственно, дело?

— На карту поставлено будущее Хьюберта. Мы хотим погасить огонь, пока не разгорелся пожар.

— Понятно. Но в таком случае, Динни, тебе нужен Лоренс. В будущий вторник Бентуорт едет к нему в Липпингхолл поохотиться на куропаток. Поезжай и ты туда.

— Я подумывала о дяде Лоренсе, но не могла упустить случай повидаться с тобой.

— Ах, моя дорогая,— сказал Хилери,— прелестные феи не должны говорить таких вещей. А то я совсем зазнаюсь. Ну, вот мы и пришли. Зайди, выпей чаю.

В гостиной Динни с изумлением увидела дядю Адриана. Он сидел в уголке, подобрав длинные ноги, в обществе двух молодых женщин, похожих на учительниц. Он помахал Динни чайной ложечкой и вскоре подсел к ней.

— Динни, как ты думаешь, кто пришел ко мне, как только мы расстались? Сам злодей,— захотел посмотреть моих перуанцев.

— Неужели Халлорсен?

Адриан протянул ей карточку: «Профессор Эдуард Халлорсен»; карандашом было приписано: «Гостиница Пьемонт».

— Он куда симпатичнее, чем мне показалось тогда в Доломитах; там он был просто заросший щетиной верзила; пожалуй, он не так уж плох, если правильно к нему подойти. Вот я и хотел сказать: попробуй-ка найти к нему подход.

— Ты не читал дневника Хьюберта, дядя.

— Я бы охотно его прочел.

— Ты, наверно, его и прочтешь. Надеюсь, он будет опубликован.

Адриан тихонько свистнул.

— Подумай хорошенько, девочка. Собачья драка доставляет удовольствие всем, кроме самих собак.

— Халлорсен сделал свой ход. Теперь очередь Хьюберта.

— Знаешь, Динни, никогда не вредно поглядеть на противника, прежде чем вступишь в игру. Дай-ка я устрою небольшой обед. Диана Ферз пригласит нас к себе; ты сможешь у нее переночевать. Как насчет понедельника?

Динни поморщила вздернутый носик. Если она и правда поедет на той неделе в Липпингхолл, понедельник ее устраивает. Стоит взглянуть на этого американца прежде чем объявлять ему войну.

— Хорошо, дядя, большое тебе спасибо. Если ты едешь сейчас в Уэст-энд¹, можно мне с тобой? Я хочу зайти к тете Эмили и дяде Лоренсу. Маунт-стрит тебе по дороге.

— Ладно. Допивай чай и едем.

— Я уже кончила,— сказала Динни, вставая.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ей опять повезло,— она застала и третьего своего дядю; тот задумчиво разглядывал собственный дом на Маунт-стрит, словно собирался его купить.

— А, Динни! Пойдем, тетя хандрит и будет тебе рада. Мне недостает старого Форсайта,— добавил он в холле.— Я прикидывал, сколько запросить за дом, если мы сдадим его на зиму. Ты не знала старого Форсайта — отца Флер; занятный был человек.

— А что с тетей Эм?

— Ничего, дорогая. Просто вид бедного старого дяди Франтика заставил ее призадуматься о будущем. А ты когда-нибудь думаешь о будущем, Динни? Грустная это штука, когда прошла молодость.

Он открыл дверь.

— А к нам приехала Динни.

В обшитой панелью гостиной стояла Эмили, леди Монт, со своим попугаем на плече,— она смахивала метелкой пыль с комнатных цветов. Опустив метелку, она

¹ Западная часть Лондона.

с каким-то рассеянным видом подошла и поцеловала племянницу.

— Осторожно, Полли,— сказала она попугаю.

Попугай перебрался на плечо Динни и с любопытством наклонил головку, заглядывая ей в лицо.

— Полли прелесть,— сказала леди Монт,— ты не рассердишься, если он ущипнет тебя за ухо? Я так рада, что ты приехала, Динни; у меня на уме одни похороны. Скажи, как, по-твоему, живут на том свете?

— А разве он есть, тетечка?

— Ах, Динни! Как все это грустно!

— Может, тот, кому он нужен, туда и попадает.

— Ты совсем как Майкл. Он тоже все умничает. Где ты нашел Динни, Лоренс?

— На улице.

— Какое неприличие. Динни, как поживает отец? Надеюсь, он не заболел, переночевав в этом ужасном доме в Портсминстере? Там так пахло сушеными мышами!

— Нас всех очень беспокоит Хьюберт.

— А! Хьюберт, ну, конечно. Знаешь, мне кажется, он напрасно бил этих людей. Застрелить — еще куда ни шло, но бить — это так прозаично; и потом, он ведь не Железный герцог.

— Разве тебе никогда не хотелось избить ломового извозчика, когда он хлещет лошадь, которая тащит в гору тяжелый воз?

— Хотелось. А разве они это делали?

— Только похуже. Выкручивали мулам хвосты, кололи их ножами и вообще мучили бедных животных как могли.

— Правда? Тогда хорошо, что он их побил, хотя я не люблю мулов с тех пор, как мы взбирались на Гемми. Помнишь, Лоренс?

Сэр Лоренс кивнул. На лице его было то ласковое, чуть насмешливое выражение, которое всегда напоминало Динни о тете Эм.

— А что там случилось, тетя?

— Они на меня свалились,— не все, конечно, а тот, на котором я ехала. А мне говорили, что мулы никогда ни на кого не падают — они такие устойчивые.

— Как это некрасиво с его стороны!

— Еще бы, и очень неприятно — так фамильярно. Как ты думаешь, Хьюберт не приехал бы на той неделе в Липпингхолл пострелять куропаток?

— По-моему, Хьюберта сейчас трудно куда-нибудь вытащить. У него на душе кошки скребут. Но если у тебя найдется конурка для меня, — можно мне приехать?

— Конечно. Места хватит. Давай-ка посчитаем: будут только Чарли Маскем со своей новой женой, мистер Бентуорт с Генриеттой, Майкл и Флер, Диана Ферз, может быть, Адриан, раз он все равно не умеет стрелять, и тетя Уилмет. Ах да! Еще лорд Саксенден.

— Не может быть! — воскликнула Динни.

— А что? Его нельзя принимать в обществе?

— Наоборот, я так рада. За ним-то я и гоняюсь.

— Какое неприличное слово; никогда не слышала, чтобы это так называлось. К тому же где-то есть еще и леди Саксенден, но она всегда болеет.

— Да нет же, тетя Эм. Он мне нужен из-за Хьюберта. Отец говорит, что за кулисами он самый главный.

— Динни, вы с Майклом очень странно выражаетесь. Какие кулисы?

Сэр Лоренс нарушил гробовое молчание, которое обычно хранил в присутствии жены.

— Динни хочет сказать, что Саксенден вертит делами армии за кулисами.

— Что он собой представляет, дядя Лоренс?

— Зазнайка? Мы знакомы с ним много лет... занятный тип.

— Ах, как меня все это волнует! — сказала леди Монт, беря у Динни попугая.

— Тетечка, милая, мне ничто не угрожает.

— Да, но этому лорду... как его... Зазнайке? Я всегда берегла репутацию Липпингхолла. Я и так уж сомневаюсь насчет Адриана, но... — она посадила попугая на камин, — он мой любимый брат. Чего не сделаешь для любимого брата!

— Вот именно, — сказала Динни.

— Все будет в порядке, Эм, — вставил сэр Лоренс. — Я присмотрю за Динни и Дианой, а ты не спускай глаз с Адриана и Зазнайки.

— Твой дядя становится с каждым годом все легкомысленнее, он мне рассказывает просто ужасные истории.

Она остановилась рядом с сэром Лоренсом, и он взял ее под руку.

«Черный ферзь и белая ладья», — подумала Динни.

— До свидания, Динни, — вдруг сказала леди Монт. — Я должна лечь. Шведская массажистка сгоняет с меня жир три раза в неделю. Я и правда худею. — Она оглядела Динни. — Интересно, может она нагнать на тебя хоть немножко?

— Я толще, чем выгляжу.

— Я тоже... и это ужасно. Я бы так не огорчалась, если бы твой дядя не был худым как жердь.

Она подставила щеку, и Динни ее звонко чмокнула.

— Как ты хорошо целуешься! — сказала леди Монт. — Сколько лет меня так не целовали. Люди теперь не целуют, они клюют. Пойдем, Полли! — И она выплыла из комнаты с попугаем на плече.

— Тетя Эм очень хорошо выглядит, — заметила Динни.

— Да. Но у нее мания — боится пополнеть, воюет с этим не на жизнь, а на смерть. Мы питаемся самой необыкновенной пищей. В Липпингхолле дело обстоит лучше, там хозяйка — Августина, а она все такая же француженка, какой была тридцать пять лет назад, когда мы привезли ее из нашего свадебного путешествия. И все так же любит готовить. К счастью, меня ничто не заставит пополнеть.

— Тетя Эм вовсе не полная.

— М-м... нет.

— И у нее прекрасная осанка. Мы так не умеем.

— Осанка исчезла вместе с веком короля Эдуарда, — сказал сэр Лоренс, — теперь ходят вприпрыжку. Все вы так подпрыгиваете, точно хотите на что-то кинуться и удрать с добычей. Интересно, что будет дальше. Логически рассуждая, вам пора перейти на скок, а может, наоборот, в моду войдет томная поступь.

— Дядя Лоренс, а что за человек лорд Саксенден?

— Один из тех, кто выиграл войну потому, что его никто не слушался. Знаешь, как пишут в мемуарах: «В субботу поехал в Кукерс. Там были Кэперсы и Гвен

Блэндиш. Она была в ударе и объясняла положение на польском фронте. Я-то, конечно, знаю больше. Беседовал с Кэперсом; он думает, что боши при последнем издыхании. Я с ним не согласен; он очень зол на лорда Т. В воскресенье приехал Артур Проз; он считает, что у русских два миллиона винтовок, но нет пуль. Говорит, что война к январю кончится, потрясен нашими потерями. Знал бы он то, что знаю я! Приехала леди Трипп с сыном,— он потерял левую ногу. Милейшая женщина; обещал посетить ее госпиталь и посоветовать, как наладить дело. Воскресный обед прошел очень мило,— все были в ударе, играли в фанты. Потом пришел Алик; говорит, что в последнем наступлении мы потеряли сорок тысяч человек, но французы потеряли больше. Я высказал мнение, что все это очень серьезно. Никто не обратил внимания».

Динни рассмеялась.

— Неужели есть такие люди?

— А ты думаешь, нет! Не люди, а золото; что бы мы без них делали?.. Они выстояли, не дрогнув, вынесли все, не моргнув, проболтали всю войну, не запнувшись... надо было это видеть, чтобы поверить. И каждый считал, что войну выиграл именно он. Особенно отличался Саксенден. Он все время занимал такой важный пост.

— Какой?

— Он был в курсе дела. По его словам, он был в курсе дела больше, чем кто бы то ни было другой. К тому же у него редкое здоровье, это сразу видно, он прекрасный яхтсмен и, кажется, никогда не хворает.

— Интересно будет познакомиться с ним поближе.

— Зазнайка,— вздохнул ее дядя,— один из тех людей, от которых лучше держаться подальше. Ты останешься ночевать или поедешь домой?

— Мне надо сегодня же вернуться. Поезд отходит в восемь с Пэддингтонского вокзала.

— В таком случае я пробегусь с тобой через Хайд-парк, мы закусим на вокзале, и я посажу тебя в поезд.

— Незачем тебе со мной возиться, дядя Лоренс.

— Пустить тебя одну в парк и прозевать такой случай! Нет уж, дудки! Меня же могут арестовать за то, что я прогуливаюсь с молодой особой женского пола.

Мы можем даже посидеть на травке и поглядеть, что из этого выйдет. Такие, как ты, и вводят пожилых людей в соблазн. В тебе есть что-то от женщин Боттичелли. Пойдем.

Было семь часов теплого сентябрьского вечера, когда они очутились в Хайд-парке; они прошли под платанами, и под ногами у них зашуршала сухая трава газона.

— Слишком рано,— сказал сэр Лоренс,— учитывая, что на лето передвинули вперед часы. За непристойное поведение наказывают только после восьми. Пожалуй, не стоит даже садиться. А ты могла бы узнать переодетого шпика? В жизни это может пригодиться. Они носят котелок — боятся, что ударят по голове,— в книгах котелок у шпика всегда сваливается,— и стараются изо всех сил выглядеть так, будто они совсем и не шпики; у них решительная складка у рта,— в полиции бесплатно вставляют зубы; глаза шарят по земле, если только они безжалостно не впились в тебя; те, кто чином постарше, крепко стоят на пятках, будто с них снимает мерку портной. Ну, и, конечно, их сразу узнаешь по казенным ботинкам.

Динни звонко расхохоталась.

— Знаешь что, дядя Лоренс, давай сделаем вид, будто я к тебе пристаю. У Пэддингтонских ворот, наверно, торчит какой-нибудь шпик. Я немножко погуляю взад-вперед, а когда ты подойдешь, я к тебе пристану. Но что я должна сказать?

Сэр Лоренс задумчиво нахмурил брови.

— Насколько мне помнится: «Как дела, котик? У тебя свободный вечерок?»

— Тогда я пойду вперед и скажу это под самым носом у шпика.

— Ты его не проведешь.

— Испугался?

— Мои затеи давно уже никто не принимает всерьез. К тому же «Жизнь реальна! Жизнь сурова! Не темница — цель ее»¹.

— Ты падаешь в моих глазах, дядя.

— А вот к этому я привык. погоди, станешь солид-

¹ Из «Псалма жизни» Г. Лонгфелло. (Перев. М. Зенкевича.)

ной, почтенной дамой,— сама увидишь, как легко упасть в глазах молодежи.

— Но ты только подумай: нам посвящали бы целые колонки в газетах, и не один, а много дней подряд! «Женщина пристаёт к мужчине у Пэддингтонских ворот! Мнимый дядя». Неужели тебе не лестно стать мнимым дядей и затмить все события в Европе? Неужели тебе не хочется подложить свинью полиции? Ты малодушный человек, дядя!

— Soit ¹,— сказал сэр Лоренс.— На сегодня с тебя хватит одного дяди в полиции. Нет, ты еще опаснее, чем я думал.

— Но, без шуток, за что их арестовывают, этих девушек? Ведь это — пережитки прошлого, когда женщину не считали за человека.

— Согласен, но в нас еще живет пуританская мораль, да и полицейским надо что-то делать, уволить их нельзя, у нас и так безработица. А если полиция бездельничает,— берегись, кухарки!

— Дядя, не смейся!

— Буду, дорогая! Что бы жизнь нам ни сулила, этого она у нас не отнимет! Но я верю: настанет век, когда мы сможем безнаказанно приставать друг к другу, лишь бы соблюдалась вежливость. Вместо нынешнего жаргона люди буду говорить: «Мадам, пройдемся». — «Сэр, угодно вам мое общество?» Это будет если не золотой, то, во всяком случае, блистательный век. А вот и Пэддингтонские ворота. И у тебя хватило бы духу надуть этого важного полицейского? Давай-ка лучше перейдем на ту сторону.

— Тетя Эм больше не поднимется сегодня с постели,— добавил он, когда они пришли на вокзал,— так что давай-ка я пообедаю с тобой в буфете. Выпьем немножко шампанского, а что до еды, то, насколько я знаю вокзальные буфеты, нам подадут суп из бычачьих хвостов, треску, ростбиф, салат, тушеный картофель и сливовый пирог — пища довольно вкусная, хоть и чересчур английская.

— Дядя Лоренс,— спросила Динни за ростбифом,— что ты думаешь об американцах?

¹ Пусть будет так (франц.).

— На этот вопрос, Динни, ни один истинный патриот не ответит тебе правду, всю правду и только правду. И тем не менее американцев, как и англичан, можно разделить на две группы: бывают американцы и американцы. Иначе говоря, хорошие и плохие.

— А почему нам с ними так трудно?

— Ну, на это ответить просто. Плохие англичане не могут ужиться с ними потому, что те богаче. А хорошим англичанам с ними трудно потому, что американцы чересчур разговорчивы, а самый звук американской речи режет английский слух. Или наоборот. Плохие американцы не могут ужиться с нами потому, что звук английской речи режет им слух. Хорошие американцы не уживаются с нами потому, что мы так молчаливы и высокомерны.

— А тебе не кажется, что они уж слишком хотят все сделать по-своему?

— Мы тоже. Дело не в этом. Нас разделяют привычки и язык.

— Почему?

— Вся хитрость в том, что когда-то у нас был общий язык. Даст бог, их жаргон все меньше будет похож на наш язык, и мы совсем перестанем понимать друг друга.

— Но мы же любим говорить, что нас связывает общий язык.

— А откуда вдруг такой интерес к американцам?

— В понедельник меня познакомят с профессором Халлорсеном.

— Это тот тип из Боливии? Позволь дать тебе маленький совет: гладь его по шерстке, и он будет тих, как ягненок. Но стоит тебе погладить его против шерсти — и он зарычит, как волк.

— Я буду держать себя в руках.

— Держи левый кулак наготове, но не бросайся в драку очертя голову. А теперь, если ты кончила, пойдем: без пяти восемь.

Он посадил ее в вагон и купил ей вечернюю газету. Когда поезд тронулся, он добавил:

— Взгляни на него, как ты умешь, Динни. Знаешь, как на картинах Боттичелли. Взгляни непременно!

Направляясь в понедельник вечером в Челси, Адриан размышлял о судьбе этой части города. Как она изменилась! Он помнил, что еще в конце прошлого века обитатели Челси были немножко похожи на троглодитов — люди боялись вылезать из своего логова; изредка среди них попадался светский лев или историк. Тут обитали поденщицы, художники, не терявшие надежды уплатить за квартиру; писатели, жившие на четыре шиллинга семь пенсов в день; дамы, готовые раздеться догола за шиллинг в час; супружеские пары, почти созревшие для развода; любители пропустить стаканчик; и тут же — поклонники Тёрнера¹, Карлейля², Россетти³ и Уистлера⁴; кабатчики, немало всяких грешников и обычная прослойка мещан. Однако за фасадами домов, выходящих на Темзу и чем дальше, тем больше принимавших величавый вид, постепенно побеждала респектабельность, — и вот она уже идет на приступ закоснелой Кингс-Род, создавая даже там бастионы Искусства и Моды.

Дом Дианы Ферз находился на Окли-стрит. Адриан помнил время, когда он ничем не отличался от других и жили в нем заурядные обыватели; но за шесть лет, которые провела здесь Диана, дом превратился в прелестный уголок. Хорошенькие сестры Монтджой в свое время пленяли высший свет, но младшая из них — Диана — была красивее, изящнее и остроумнее всех; это была одна из тех женщин, которые без особых затрат и без ущерба для своей добродетели умеют добиться того, чтобы все вокруг них покоряло своей изысканностью и вызвало всеобщую зависть. В обоих ее детях, в собаке колли (чуть ли не последней колли во всем Лондоне), в ее клавикордах, в кровати с пологом, в бристоальском хрустале, в обивке мебели, в коврах было столько вкуса, что душа радовалась. Да и сама она радовала глаз сво-

¹ Тёрнер, Джозеф (1775—1851) — английский художник-пейзажист.

² Карлейль, Томас (1795—1881) — английский историк.

³ Россетти, Данте Габриэль (1828—1882) — английский художник и поэт.

⁴ Уистлер, Джеймс (1834—1903) — американский художник, некоторое время проживавший в Англии.

ей все еще прекрасной фигурой, ясными и живыми черными глазами, тонким овалом лица, матовой кожей и милой картавостью. Картавость эта была свойственна всем сестрам Монтджой,— они унаследовали ее от матери, уроженки северной Шотландии,— и за тридцать лет они сделали немало, чтобы отучить общество от твяканья, модного в девяностых годах, и привить ему милую манеру проглатывать «р» и «л». Когда Адриан спрашивал себя, почему Диана при ее скромных средствах и сумасшедшем муже была везде принята в обществе, ему приходил на ум двугорбый верблюд. Два горба этого животного похожи на две части Общества (с большой буквы), соединенные мостиком, которым редко кто пользуется после первого знакомства. Семейство Монтджой, принадлежавшее к очень древнему роду землевладельцев из Дамфришира и связанное в прошлом бесчисленными браками с высшей аристократией, обладало чем-то вроде наследственного местечка на переднем горбу,— позиция не очень выгодная, так как голова верблюда очень ограничивает кругозор; Диану наперебой приглашали в самые знатные дома, где интересовались только охотой, попечительством в больницах, придворными церемониями и вывозом девушек на выданье в свет. Адриан знал, что Диана редко принимала такие приглашения. Она предпочитала второй горб верблюда,— его хвост не закрывал обширного и увлекательного вида на мир. Ну, и странная же компания примостилась на этом втором горбу! Многие, как и сама Диана, перебрались сюда с переднего горба через заветный мостик, другие вскарабкались вверх по хвосту, кое-кто свалился прямо с неба или — как его иногда называли — из Америки. Адриан никогда не претендовал на место здесь, но он хорошо знал, что тому, кто этого добивается, нужно обладать какими-нибудь талантами: либо превосходной памятью, которая позволяет вам безошибочно пересказать все, что вы прочли или услышали, либо природным даром остроумия. Не обладая ни тем, ни другим, вы могли появиться на этом горбу только раз — больше вас туда не пускали. К этому, конечно, требовалась и некоторая оригинальность, без излишнего, однако, чудачества, и оригинальность эта должна была быть выражена достаточно ярко. Желательно, конечно, чтобы вы пользовались известностью в какой-то области,

но это не было условием *sine qua non*¹. Не мешало иметь хорошее воспитание, лишь бы оно не делало вас скучным. Красота давала вам право на вход, но только если ей сопутствовала живость ума. Не мешали и деньги, но одни они не открывали вам туда доступа. Адриан заметил, что знание искусства, хотя бы с чужих слов, ценилось здесь выше умения создавать произведения искусства; не мешали и деловые способности, если они не превращали вас в сухаря. Кое-кто попадал сюда потому, что свободно вращался в «кулуарах» и повсюду считался своим человеком. Но превыше всего ставилось умение вести беседу. Отсюда, с этого заднего горба, приводились в движение скрытые пружины, но Адриан сомневался, управляют ли они движением верблюда, что бы ни думали те, кто эти пружины нажимал. Он знал, что Диане принадлежит такое прочное место в этом сборище любителей званых обедов, что она могла бы бесплатно кормиться круглый год и не проводить ни одного воскресенья дома. И, видя, как она постоянно жертвует этим ради того, чтобы провести лишний вечер с ним и с детьми, он был глубоко ей благодарен. Война разразилась сразу после ее свадьбы с Рональдом Ферзом; Шейла и маленький Рональд родились уже после его возвращения с фронта. Теперь Шейле исполнилось семь, а Рональду — шесть лет, и — как всегда усердно подчеркивал Адриан — они были «маленькими Монтджоями до мозга костей». Внешностью и живым характером они, несомненно, пошли в мать. Но — это знал он один — тень на ее лице в минуты задумчивости говорила о том, что ей вообще не следовало их иметь. И он один знал, что постоянное напряжение, в котором она жила с таким неуравновешенным человеком, каким стал Ферз, настолько убило в ней всякую чувственность, что она прожила четыре года своего фактического вдовства без малейшей потребности в любви. Он не сомневался, что она привязана к нему по-настоящему, но понимал, что привязанность эта не перешла в страсть.

Адриан пришел за полчаса до обеда и поднялся в детскую на верхнем этаже. Француженка-гувернантка поила детей на ночь молоком с сухариками; они встре-

¹ Обязательным (лат.).

тили Адриана с восторгом и потребовали, чтобы он рассказывал дальше сказку, которую начал в прошлый раз. Француженка, уже умудренная опытом, удалилась. Адриан уселся и, глядя на сияющие детские лица, начал с того места, где остановился.

— Так вот, лодочник был громадный детина, весь коричневый от загара; его выбрали за силу,— ведь берег здесь кишмя кишел белыми единорогами.

— У-у! Дядя Адриан, единорогов не бывает.

— В то время они были, Шейла.

— Куда же они подевались?

— Теперь остался только один,— он живет там, куда белому человеку не добраться из-за мухи «бу-бу».

— А что такое муха «бу-бу»?

— Муха «бу-бу», Рональд, залезает человеку в тело и разводит там мушек.

— Да ну?

— Так вот, когда вы меня перебили, я рассказывал, что берег кишмя кишел единорогами. Лодочника звали Маттагор, и вот как он справлялся с единорогами. Заманив их на берег охапкой кринибобов...

— А что такое кринибобы?

— Они похожи на клубнику, а вкус у них, как у морковки.... Лодочник подкрадывался к ним сзади...

— Если он заманивал их кринибобами, значит, он был впереди; как же он мог подкрадываться сзади?

— Он нанизывал кринибобы на веревку из древесного волокна и развешивал их в ряд между двумя заколдованными деревьями. Как только единороги принимались щипать кринибобы, он появлялся из-за кустов босиком, совершенно бесшумно и попарно связывал их хвостами друг с другом.

— Но они же чувствовали, что им связывают хвосты!

— Нет, Шейла, белые единороги хвостами ничего не чувствуют... Потом он опять прятался в кусты, щелкал языком, и единороги бросались бежать куда попало.

— А хвосты у них не отрывались?

— Никогда. В том-то вся и хитрость,— ведь лодочник любил животных.

— Наверно, единороги больше никогда не приходили?

— Вот и не угадал, Рони. Они так любили крини-
бобы!

— А он ездил на них верхом?

— Да, иногда он вскакивал на спины двух единоро-
гов и уносился в джунгли, стоя одной ногой на спине
одного, а другой — на спине другого; да еще посмеивал-
ся в кулак. Сами понимаете, что под охраной такого че-
ловека лодки были в безопасности. Сезон дождей еще
не начался, сухопутных акул кругом было не так уж мно-
го, и экспедиция совсем уже собралась в путь, когда...

— Что — когда, дядя Адриан? Это ведь только
мамочка.

— Рассказывайте, Адриан.

Но Адриан молчал; взгляд его был прикован к той,
которая к ним приближалась. Потом, с трудом отведя
глаза, он посмотрел на Шейлу и продолжал:

— Теперь я должен вам объяснить, почему так важна
была луна. Они не могли выступить в поход прежде,
чем не увидят, как молодая луна выплывает им навстре-
чу сквозь заколдованные деревья.

— А почему?

— Об этом я и хочу рассказать. В те дни люди, а в
особенности племя воттакмолодцов, поклонялись всему,
что красиво: такие красивые вещи, как мама, рожде-
ственские псалмы или молодые картофелинки очень им
нравились. И прежде, чем что-нибудь сделать, они жда-
ли знамения.

— А что такое знамение?

— Вы знаете, что такое воскресенье,— оно бывает
в конце, после пятницы и субботы, а знамение бывает в
начале,— оно приносит счастье. И знамение обязательно
должно быть красивое. А молодая луна до начала сезо-
на дождей была красивее всего на свете; вот они и жда-
ли, чтобы луна вышла им навстречу сквозь заколдован-
ные деревья,— как мама вышла к нам сейчас из той ком-
наты!

— Но у луны нет ножек.

— Нет, она плывет. И вот однажды вечером она вы-
плыла к ним, такая прекрасная и стройная — самая кра-
сивая на свете, и глаза ее так сияли, что все сразу по-
няли — экспедиция будет удачной. Они пали перед лу-
ной ниц и воскликнули: «Знамение! Не покидай нас, и

мы пройдем через пустынные пески и воды, с отражением твоего сияния в глазах и будем счастливы твоим счастьем во веки веков. Аминь!» И с этими словами все они уселись в лодки,— воттакмолодцы с воттакмолодцами, воттакфеи с воттакфеями. А молодая луна осталась там над верхушками заколдованных деревьев, благословляя их ласковым взглядом. Но один человек отстал. Это был старый воттакмолодец, который полюбил луну так сильно, что забыл все на свете, и он пополз к ней, надеясь хоть коснуться ее ног.

— Но ведь у луны нет ног!

— Он-то думал, что есть,— она ему казалась женщиной из серебра и слоновой кости. Вот он полз и полз мимо заколдованных деревьев, но так и не мог ее достать,— ведь это была луна.

Адриан умолк, и наступила тишина. Потом он сказал:

— Продолжение следует,— и вышел из комнаты.

В холле его нагнала Диана.

— Адриан, вы мне портите детей. Разве вы не знаете, что басни и сказки больше не должны отбивать интерес к технике? После вашего ухода Рональд спросил: «Дядя Адриан и правда верит, что ты луна, мамочка?»

— А вы как ответили?..

— Уклончиво. Но они ужасно хитрые.

— Что ж, спойте мне «Водоноса», пока нет Динни и ее кавалера.

Она пела, а Адриан не сводил с нее восторженных глаз. Голос у нее был хороший, и она отлично спела эту старинную тоскливую песню. Едва умолк последний звук, как горничная доложила:

— Мисс Черрел. Профессор Халлорсен.

Динни вошла с высоко поднятой головой, и Адриан отметил про себя, что взгляд ее не предвещает ничего хорошего. Он видел такие глаза у школьников, когда они собирались дать трепку новичку. За ней вошел Халлорсен, пышущий здоровьем и чересчур высокий для этой маленькой гостини. Когда его представили Динни, он низко поклонился.

— Ваша дочь, господин хранитель музея?

— Нет, племянница; сестра капитана Хьюберта Черрела.

— Вот как? Считаю за честь с вами познакомиться, мисс Черрел.

Адриан заметил, что, встретившись взглядом, они не сразу смогли отвести друг от друга глаза.

— Как вам нравится гостиница Пьемонт, профессор? — спросил он.

— Готовят отлично, но там слишком много нашего брата, американца.

— Прилетели целой стаей?

— Да. Недельки через две мы снимемся и улетим.

Динни, воплощенную английскую женственность, сразу же взбесил цветущий вид здоровяка Халлорсена, да еще по сравнению с изможденным Хьюбертом. Она села рядом с этим олицетворением мужества с твердым намерением выпустить в его толстую шкуру весь запас своих стрел. Однако он принялся разговаривать с Дианой, и она, еще не кончив есть бульон с черносливом, поглядела на него исподтишка и решила изменить тактику. Все же он — иностранец и гость, а она — девушка воспитанная. И тихая вода берега подмывает, подумала Динни. Она не выпустит своих стрел; напротив, она «очарует его улыбкой и лестью»¹; это будет куда вежливее по отношению к Диане и дяде Адриану и в конечном счете стратегически выгоднее. С коварством, достойным поставленной цели, она дождалась, пока он не завяз в проблемах английской политики, — по-видимому, он считал политику одной из самых важных сторон человеческой деятельности, — и, кинув на него взгляд, достойный кисти Боттичелли, сказала:

— Нам тоже следовало бы относиться к американской политике серьезнее, профессор. Но ведь нельзя же принимать ее всерьез, не так ли?

— Вероятно, вы правы, мисс Черрел. Все политики руководствуются одним и тем же правилом: придя к власти, не повторяй того, что ты говорил, будучи в оппозиции; в противном случае тебе придется взяться за то, с чем не справились твои предшественники. По-моему, единственная разница между партиями та, что у одних в государственном автобусе места сидячие, а у других — стоячие.

¹ Из стихотворения Льюиса Кэррола (1832 — 1898), английского детского писателя.

— А в России все, что осталось от других партий, забилось под сиденья.

— Ну, а в Италии? — спросила Диана.

— И в Испании? — добавил Адриан.

Халлорсен заразительно рассмеялся.

— Диктатура не имеет отношения к политике. Это просто шутка.

— Нет, это не шутка, профессор.

— Скверная шутка, профессор.

— В каком смысле шутка, профессор?

— Обман. Диктатор полагает, что человек — это глина в его руках. Стоит раскрыть обман, как его песенка спета.

— Позвольте, — сказала Диана, — но если большинство народа поддерживает диктатуру, — разве тогда это не демократия или не правление с согласия управляемых?

— Я бы сказал — нет, миссис Ферз, если оно, конечно, не подтверждается ежегодными выборами.

— Кое-кто из диктаторов умеет добиваться своего, — сказал Адриан.

— Дорогой ценой. Возьмите Диаса в Мексике. За двадцать лет он превратил ее в цветущий край, но посмотрите, что с ней стало с тех пор, как его нет. Вы никогда не добьетесь того, к чему народ еще не подготовлен.

— Беда нашего и вашего государственного устройства в том, профессор, — сказал Адриан, — что целый ряд реформ, назревших в сознании народа, не осуществляется по одной простой причине: избранные на короткий срок правители на это не решаются, боясь потерять свою мнимую власть.

— Тетя Мэй, — тихонько вставила Динни, — на днях мне сказала: почему бы не избавиться от безработицы, приняв программу перестройки трущоб, и не убить двух зайцев сразу?

— Да ну? Прекрасная мысль! — сказал Халлорсен, обратив к ней свое румяное лицо.

— Денежные магнаты, — сказала Диана, — хозяева трущоб и строительной промышленности, этого не допустят.

— Нужны ведь и деньги, — добавил Адриан.

— Ну, это просто. Ваш парламент может взять на себя необходимые полномочия для такого важного дела; и почему бы ему не выпустить заем? Деньги-то ведь вернутся; это же не военный заем, от которого ничего не остается, кроме порохового дыма. Сколько у вас идет на пособия по безработице?

Никто из присутствующих не мог на это ответить.

— Наверно, то, что вы сэкономите на пособиях, с избытком окупит любой заем.

— Беда в том, что нам не хватает простодушной веры в свои силы,— с невинным видом произнесла Динни.— Тут нам далеко до вас, американцев, профессор Халлорсен.

На лице американца промелькнула мысль: «Ну и ехидна же вы, мадам».

— Что ж, мы, конечно, проявили большое простодушие, когда пришли сражаться во Францию. Но мы его потеряли. В следующий раз предпочтем посидеть у своего камелька.

— Неужели в тот раз вы были уж так простодушны?

— Боюсь, что да, мисс Черрел. Из ста американцев не найдется и пяти, кто бы считал, что немцы представляют для нас, по ту сторону океана, хоть малейшую опасность.

— Так мне и надо, профессор.

— Что вы! Я совсем не хотел... Но вы подходите к Америке с европейской меркой.

— Вспомните Бельгию, профессор,— сказала Диана,— вначале даже мы были простодушны.

— Простите, мадам, но неужели судьба Бельгии действительно вас так тронула?

Адриан чертил вилкой круги на скатерти; теперь он поднял голову.

— Меня судьба Бельгии тронула. Впрочем, я не думаю, чтобы это имело политическое или иное значение для генералов, адмиралов, крупных дельцов — для большей части власть имущих. Все они знали заранее, что в случае войны мы неизбежно окажемся союзниками Франции. Но на простых людей, вроде меня, и на добрые две трети населения, не ведавшего, что творится за кулисами,— словом, на рабочий класс в целом,— события эти произвели огромное впечатление. Мы словно

увидели, что, как бишь его, «Человек-гора» напал на самого маленького боксера легкого веса, а тот принимает удары и дает сдачи, как настоящий мужчина.

— Вы это здорово объяснили,— сказал Халлорсен.

Динни вспыхнула. Неужели этот человек способен на великодушие? Потом, словно испугавшись, что такая мысль — предательство по отношению к Хьюберту, она колко заметила:

— Я читала, что трагедия Бельгии проняла даже Рузвельта¹.

— Она многих у нас проняла, мисс Черрел; но Европа от нас далеко, а на воображение действует только то, что случается рядом.

— Ну да; к тому же, как вы сами сказали, в конечном счете вы все же не остались в стороне.

Халлорсен пристально поглядел в ее наивное лицо, поклонился и промолчал.

Но, прощаясь с ней в конце этого не совсем обычного вечера, он заметил:

— Боюсь, что вы на меня сердитесь, мисс Черрел.

Динни улыбнулась и ничего не ответила.

— Все-таки позвольте надеяться, что я вас еще увижу.

— Вот как! А зачем?

— Может, мне удастся изменить ваше мнение обо мне.

— Я очень люблю брата, профессор Халлорсен.

— А я все же думаю, что ваш брат насолил мне больше, чем я ему.

— Надеюсь, будущее подтвердит, что вы правы.

— Это звучит грозно.

Динни только кивнула.

Она поднялась в свою комнату, кусая губы от злости. Ей не удалось ни покорить, ни уязвить противника; и вместо откровенной вражды он вызывал у нее какие-то противоречивые чувства.

Его рост давал ему какое-то обидное преимущество. «Он похож на этих субъектов в штанах с бахромой, из кинофильмов,— думала она,— на ковбоя, который похищает девчонку, а она не очень-то сопротивляется,— он

¹ Речь идет о Теодоре Рузвельте (1858 — 1919), президенте США в 1901—1909 годах.

смотрит на тебя так, словно ты уже лежишь у него поперек седла. Первобытная грубая сила во фраке и белой манишке! Сильная, хотя отнюдь и не молчаливая личность!»

Окна ее комнаты выходили на улицу, и ей были видны платаны на набережной, Темза и широкий простор звездной ночи.

— Не поручусь, что ты уедешь из Англии так скоро, как думаешь,— сказала она вслух.

— Можно войти?

Она повернулась и увидела в дверях Диану.

— Ну, Динни, как вам понравился друг наш — враг наш?

— Герой из ковбойского фильма пополам с великаном, которого убил мальчик-с-пальчик.

— Адриану он понравился.

— Дядя Адриан слишком много общается со скелетами. Когда он видит упитанного человека, он теряет голову.

— Да, это «настоящий мужчина»,— говорят, они покоряют женщин с первого взгляда. Но вы вели себя отлично, Динни, хотя вначале глаза у вас метали молнии.

— Но ведь они его не испепелили! И даже не обожгли.

— Ничего! У вас еще все впереди. Адриан попросил леди Монт пригласить его на завтра в Липпингхолл.

— Неужели?!

— Вам остается только поссорить его там с Саксенденом, и дело Хьюберта в шляпе. Адриан нарочно не сказал вам об этом — боялся, что вы себя выдадите. Профессору захотелось отведать английской охоты. Бедняга даже не подозревает, что попадет в логово львицы. Ваша тетя Эм, наверно, его очарует.

— Халлорсен! — пробормотала Динни. — Наверно, в нем есть скандинавская кровь.

— Он говорит, что мать его из Новой Англии, старинного рода, но вышла за человека пришедшего. Его родина — штат Вайоминг. Прелестное название: Вайоминг.

— «Безбрежные просторы прерий»... Почему меня так бесит выражение «настоящий мужчина»?

— Потому что напоминает большой подсолнечник, который вдруг распустился у вас в комнате. Но «настоя-

щие мужчины» водятся не только на «безбрежных просторах прерий»; вы увидите, Саксенден тоже из этой породы.

— Правда?

— Да. Спокойной ночи, дорогая. И пусть ни один «настоящий мужчина» не тревожит ваш сон!

Динни разделась и снова вынула дневник Хьюберта; она перечитала страницу, которую себе отметила.

«Сегодня чувствую себя скверно, — как выжатый лимон. Держусь только мыслью о Кондафорде. Что бы сказал старый Фоксхэм, если бы видел, как я лечу мулов! Средство, которое я придумал для них от поноса, привело бы в ужас кого хочешь, но им оно помогает. Бог был в ударе, когда создавал желудок мула. Ночью мне снилось, будто я стою дома на опушке рощи и фазаны летят надо мной один за другим, а я, хоть убей, не могу спустить курок, — словно меня сковало параличом. Без конца вспоминаю старого Хэддона и его слова: «А ну-ка, стреляй! Упрись в землю пятками и целься прямо в голову!» Славный старик! Вот это был человек... Дождь прошел. Сухо — впервые за десять дней. И звезды высыпали.

Море, да остров, да лунный рог.
Звезд немного, но зато каких! ¹

Эх, если бы я мог уснуть!..»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Основные черты всякого старинного английского загородного дома — обособленность и своеобразие каждой его комнаты — отличали и Липпингхолл. Гости расходились по своим спальням так, словно они здесь поселились навсегда; каждый из них попадал в свою особую обстановку и атмосферу. Кроме того, у них появлялось ощущение, что, если им вздумается, они смогут все изменить там по своему вкусу. Дорогая старинная мебель стояла вперемежку со случайными вещами, приобретенными для практических целей или ради комфорта. Потемневшие

¹ Из стихотворения английского поэта Элроя Флеккера (1884—1915). (Перев. Б. Слуцкого.)

или пожелтевшие от времени портреты предков висели на стенах против еще более потемневших и пожелтевших пейзажей голландских и французских мастеров, кое-где попадались прекрасные старинные гравюры и совсем неплохие акварели. В двух-трех комнатах ещё сохранились великолепные старые каминные решетки, на которых зато можно было посидеть. В темных переходах перед вами неожиданно возникали лестницы. Вы с трудом запоминали дорогу в свою спальню и тут же ее забывали. А в спальне вы могли обнаружить бесценный старинный гардероб орехового дерева и кровать под балдахином удивительной работы, диван в оконной нише с подушками и французские офорты. К спальне примыкала маленькая каморка с узкой кроватью, а ванная могла быть рядом или довольно далеко, зато вы обязательно находили там ароматические кристаллы. Один из Монтов был адмиралом, поэтому в темных закоулках коридоров висели старинные карты с драконами, которые били хвостом по морям. Другой Монт, дед сэра Лоренса, седьмой баронет, увлекался скачками,— и по картинам на стенах можно было изучать анатомию чистокровных скакунов и жокеев того времени (1860—1883). Шестой баронет,— уйдя в политику, он прожил на свете дольше других,— оставил память о ранней викторианской эпохе — портреты жены и дочерей в кринолинах и себя самого в бакенбардах. Здание было возведено при Карле и достроено при Георгах; кое-где можно было заметить следы викторианской архитектуры,— там, где шестой баронет дал волю своей тяге к прогрессу. Но единственное, что здесь было современным,— это ванны и уборные...

Когда Динни спустилась к завтраку в среду утром — охота была назначена на десять,— в столовой уже сидели или бродили три дамы и все мужчины, кроме Халлорсена. Она опустилась на стул рядом с лордом Саксенденом; тот слегка привстал и поздоровался с ней.

— Доброе утро!

— Динни! — окликнул ее стоявший у буфета Майкл. — Тебе кофе, какао или имбирное пиво?

— Кофе и копченую рыбу.

— Копченой рыбы нет.

Лорд Саксенден поднял голову.

— Нет копченой рыбы? — пробормотал он и снова принялся за колбасу.

— Может, хочешь трески? — спросил Майкл.

— Нет, спасибо.

— А что дать тебе, тетя Уилмет?

— Плов.

— Плова тоже нет. Есть почки, бекон, яичница, треска, ветчина, холодный пирог с дичью.

Лорд Саксенден поднялся.

— А! Ветчина, — сказал он и пошел к буфету.

— Чего же тебе положить, Динни?

— Немного джема, Майкл.

— Есть крыжовник, клубника, черная смородина, апельсиновый.

— Крыжовник.

Лорд Саксенден вернулся на свое место с тарелкой ветчины и, жуя, стал читать письмо. Динни не могла как следует разглядеть его лицо — глаза у него были опущены, а рот набит до отказа. Но она, кажется, поняла, почему ему дали кличку «Зазнайка». У него было красивое лицо; светлые усы и волосы начали седеть; за столом он сидел очень прямо. Вдруг он повернулся к ней и сказал:

— Простите, что я читаю. Это от жены. Понимаете, она у меня прикована к постели.

— Какая жалость...

— Ужасно! Бедняжка!

Он сунул письмо в карман, набил рот ветчиной и взглянул на Динни. Глаза у него оказались голубые, а брови — темнее волос — были похожи на связки рыболовных крючков. Глаза были немного навывкате — точно говорили: «Ай да я! Ай да я!» Но тут она заметила вошедшего Халлорсена. Он нерешительно остановился в дверях, потом, увидев ее, подошел к свободному месту с ней рядом.

— Можно мне сесть тут, мисс Черрел? — спросил он с поклоном.

— Конечно; если хотите завтракать, еда стоит вон там.

— Кто это такой? — спросил лорд Саксенден, когда Халлорсен отправился за пропитанием. — Явный американец.

— Профессор Халлорсен.

— Да? А! Написал книгу о Боливии. Так?

— Да.

— Красивый парень.

— Настоящий мужчина.

Лорд Саксенден посмотрел на нее с удивлением.

— Попробуйте ветчины. Кажется, я знал в Харроу вашего дядю.

— Дядю Хилери? Да, он мне говорил.

— Как-то раз он держал со мной пари на три стакана земляничного сиропа против двух, что первый сбежит по ступенькам до спортивного зала.

— Вы выиграли?

— Нет, но так и не заплатил свой проигрыш.

— Как же так?

— Он растянул ногу, а я вывихнул колено. Он доскакал на одной ноге, а я так и остался лежать. Мы провалялись до конца триместра, а потом я ушел из Харроу.— Лорд Саксенден фыркнул.— Так что я все еще должен ему три стакана земляничного сиропа.

— Я думал, это мы, в Америке, любим плотно позавтракать,— сказал, усаживаясь, Халлорсен,— но где уж нам тягаться с вами.

— Вы знакомы с лордом Саксенденом?

— Лорд Саксенден...— с поклоном повторил Халлорсен.

— Здравствуйте. У вас в Америке ведь нет таких куропаток, как наши?

— Кажется, нет. С удовольствием их постреляю. Первоклассный кофе, мисс Черрел.

— Да,— сказала Динни,— тетя Эм гордится своим кофе.

Лорд Саксенден выпрямился еще больше.

— Попробуйте ветчину. Я не читал вашей книги.

— Разрешите вам ее прислать; буду польщен, если вы ее прочтете.

Лорд Саксенден продолжал жевать.

— Да, вам стоит прочесть эту книгу, лорд Саксенден,— сказала Динни,— а я пришлю вам другую на ту же тему.

Лорд Саксенден пристально на нее поглядел.

— Вы оба очень любезны,— сказал он.— Это клубничный джем? — и протянул к нему руку.

— Мисс Черрел,— вполголоса сказал Халлорсен,— мне бы хотелось, чтобы вы просмотрели мою книгу и отметили те места, где я, по-вашему, несправедлив. Я писал эту книгу, когда все во мне еще кипело.

— Не пойму, какая сейчас от этого польза.

— Если хотите, я выброшу эти места из второго издания.

— Как это мило с вашей стороны,— ледяным тоном произнесла Динни,— но сделанного не воротишь.

Халлорсен понизил голос еще больше:

— Я просто в отчаянии, что вас огорчил.

Динни словно обдало волной самых противоречивых чувств — досады, торжества, холодной мстительности, иронии.

— Вы огорчили не меня, а моего брата.

— Это можно исправить, если взяться за дело всем вместе.

— Не знаю.

Динни поднялась.

Халлорсен тоже встал и поклонился, когда она шла к двери. «Ну до чего же вежлив»,— подумала Динни.

Все утро она провела в укромном уголке парка, скрытом со всех сторон живой изгородью из тисовых деревьев, за чтением дневника Хьюберта. Солнце пригревало вовсю, а жужжание пчел над цинниями, пентстемонами, мальвами, астрами и сентябрьскими маргаритками навевало покой. В этом мирном убежище она снова почувствовала, как ей не хочется выставлять напоказ душевные переживания Хьюберта. В дневнике не было нытья или жалоб, но Хьюберт писал о физических и моральных муках с откровенностью, не рассчитанной на посторонних. Изредка сюда доносились звуки выстрелов; облокотившись на изгородь, Динни посмотрела в поле.

Чей-то голос произнес:

— Вот ты где!

За изгородью стояла тетя Эм с двумя садовниками; широкие поля ее соломенной шляпы свисали до самых плеч.

— Я сейчас обойду изгородь, Динни. Босуэл и

Джонсон, можете идти. Мы займемся портулаком после обеда.— Она посмотрела на Динни из-под полей своей шляпы.— Это с Майорки,— так хорошо защищает.

— Но почему Босуэл и Джонсон¹, тетя?

— Босуэл у нас давно; дядя долго искал, пока не нашел Джонсона. Теперь он заставляет их ходить только вместе. А ты тоже поклонница доктора Джонсона, Динни?

— По-моему, он слишком часто употреблял слово «сэр».

— Флер взяла мои садовые ножницы. А это что у тебя?

— Дневник Хьюберта.

— Грустно?

— Да.

— Я приглядывалась к профессору Халлорсену,— за него надо взяться.

— Начни с его нахальства, тетя Эм.

— Надеюсь, они подстрелят хоть несколько зайцев,— сказала леди Монт,— всегда хорошо иметь про запас заячий суп. Уилмет и Генриетта Бентуорт уже поспорили.

— О чем?

— Понятия не имею,— не то насчет парламента, не то насчет портулака; они только и знают, что спорят. Генриетта столько времени провела при дворе!

— А это плохо?

— Она славная женщина. Я люблю Ген, но она так кудахчет. Что ты будешь делать с этим дневником?

— Покажу Майклу и спрошу его совета.

— Никогда не слушай его советов,— сказала леди Монт,— он славный мальчик, но ты его не слушай; у него странные знакомства — издатели и тому подобное.

— Потому-то мне и нужен его совет.

— Спроси Флер, она умница. У вас есть такие циннии в Кондафорде? Знаешь, мне кажется, что Адриан скоро свихнется.

— Тетя Эм!

— Он такой рассеянный; и от него остались кожа

¹ Джонсон, Самюэль (1709—1784) — английский писатель; Босуэл, Джеймс (1740—1795) — его биограф.

да кости. Конечно, мне не следует этого говорить, но, по-моему, пусть берет ее поскорее.

— Я тоже так думаю, тетя.

— А он не хочет.

— Может, не хочет она?

— Оба они не хотят; вот я и не знаю, как тут быть.

Ей же сорок.

— А сколько дяде Адриану?

— Он у нас самый маленький, если не считать Лайонела. Мне пятьдесят девять,— решительно заявила леди Монт.— Я-то помню, что мне пятьдесят девять, а твоему отцу шестьдесят! Твоя бабушка, верно, очень тогда торопилась, рожала нас одного за другим. А как ты смотришь на то, чтобы рожать детей?

Динни спрятала смешинку в глазах.

— Что же, для женатых, пожалуй, неплохо — в меру, конечно.

— Флер ожидает второго в марте; скверный месяц... так неосторожно! А когда ты собираешься замуж?

— Когда отдам кому-нибудь свое юное сердце,— никак не раньше.

— Вот это разумно. Только не за американца.

Динни едва не вспылила, но улыбнулась.

— Зачем, скажи на милость, мне выходить за американца?

— Ничего нельзя знать заранее,— сказала леди Монт, срывая увядшую астру,— все зависит от того, кто тебе подвернется. Когда я выходила замуж за Лоренса, он мне все время подвертывался.

— И сейчас все еще подвертывается, да?

— Не язви.

Леди Монт замечталась, и шляпа ее как будто стала от этого еще больше.

— Кстати о браках, тетя Эм,— мне хочется найти невесту Хьюберту. Ему нужно рассеяться.

— Твой дядя,— заметила леди Монт,— наверно, скажет: чтобы рассеяться, нужна балерина.

— Может, у дяди Хилери есть балерина, которую он может порекомендовать?

— Не дерзи, Динни. Я всегда говорю, что ты ужасно дерзкая. Но дай-ка подумать: была одна девушка... нет, она вышла замуж.

— Может, она уже развелась?

— Нет. Как будто собирается, но это еще не скоро. Прелестное создание.

— Не сомневаюсь. Подумай-ка еще, тетя.

— Пчел разводит Босуэл,— заметила тетя Эм.— Они итальянские. Лоренс называет их фашистками.

— Черные рубашки, и никаких угрызений совести. Ужасно энергичные.

— Да, все летают, летают, а чуть что — ужалят, если ты им не нравишься. Меня пчелы любят.

— У тебя одна на шляпе. Снять?

— Стой! — воскликнула леди Монт, откинув назад шляпу и слегка приоткрыв рот.— Нашла!

— Что?

— Джин Тасборо, дочь здешнего священника... семья очень хорошая. Денег, конечно, ни гроша.

— Совсем ни гроша?

Леди Монт покачала головой, и шляпа ее заколыхалась.

— Такие никогда не бывают богатыми. Хорошенькая. Похожа на тигрицу.

— А можно мне на нее посмотреть? Я примерно знаю, что Хьюберту понравится.

— Я приглашу ее ужинать. Они плохо питаются. У нас была уже одна Тасборо. Кажется, при короле Якове; так что она нам какая-то пятиюродная. Там есть еще и сын; на флоте; вполне разумный, и усов нет. Он сейчас дома, в отпуске.

— В отпуске, тетя Эм.

— Так и знала, что это не то слово. Будь добра, сними у меня со шляпы пчелу.

Динни сняла носовым платком с большой шляпы маленькую пчелку и поднесла платок к уху.

— Я все еще люблю слушать, как они жужжат,— сказала она.

— Позову и его,— ответила леди Монт,— его зовут Алан, очень милый мальчик.— Она посмотрела на волосы племянницы.— По-моему, это цвет мушмулы. Говорят, у него есть будущее, только не знаю какое. Взлетел на воздух во время войны.

— Но, надеюсь, спустился обратно?

— Да; ему даже за это что-то дали. Говорит, теперь

на флоте очень душно. Все какие-то углы, колеси́ки, вонь. Он тебе сам расскажет.

— Вернемся к девушке, тетя Эм; в каком смысле она тигрица?

— Понимаешь, когда она на тебя смотрит, ты так и ждешь, что из-за угла появится тигренок. Мать умерла. Джин прибрала к рукам весь приход.

— Она приберет к рукам и Хьюберта?

— Нет, но уж, конечно, всякого, кто захочет прибрать к рукам его.

— Это, пожалуй, подойдет. Хочешь, я отнесу ей записку?

— Пошлю Босуэла и Джонсона.— Леди Монт поглядела на часы.— Нет, они пошли обедать. Всегда проверяю по ним часы. Пойдем сами, Динни; тут всего четверть мили. В этой шляпе очень неудобно?

— Напротив.

— Тем лучше; мы можем выйти здесь.

Пройдя в дальний конец тисовой рощи, они спустились по ступенькам на длинную, поросшую травой аллею и, миновав калитку с турникетом, вскоре оказались у дома священника. Спрятавшись за тетиной шляпой, Динни поднялась на крыльцо, увитое плющом. Дверь была отворена, и полумрак обшитой панелями прихожей, где пахло душистым горошком и старым деревом, гостеприимно приглашал войти в дом. Оттуда слышался женский голос:

— Ала-ан!

Мужской голос ответил:

— Что-о?

— Ничего, если обед будет холодный?

— Тут нет звонка,— сказала леди Монт,— давай похлопаем в ладоши.

Они дружно похлопали.

— Кого там несет?

В дверях появился молодой человек в серых фланелевых брюках. У него были темные волосы, широкое загорелое лицо; серые глаза смотрели прямо и зорко.

— Ах! — сказал он.— Леди Монт... Эй, Джин!

Потом, поймав взгляд Динни, выглядывавшей из-за огромных полей шляпы, он улыбнулся как истый моряк.

— Алан, можете вы с Джин прийти к нам сегодня ужинать? Динни, это Алан Тасборо. Как вам нравится моя шляпа?

— Блеск, леди Монт.

В дверях появилась девушка; она была словно литая, двигалась легкой, пружинистой походкой. Коричневый джемпер без рукавов и такая же юбка под цвет смуглым рукам и щекам. Динни поняла, что хотела сказать леди Монт. Лицо с широкими скулами и точеным носом сужалось к подбородку; из-под длинных черных ресниц глядели прямо вперед и словно светились глубоко посаженные зеленовато-серые глаза; темно-каштановые стриженные волосы обрамляли низкий, широкий лоб. «Ишь ты какая», — подумала Динни. Девушка улыбнулась, и у Динни внутри что-то дрогнуло.

— Это Джин, — сказала тетя, — а это моя племянница, Динни Черрел.

Тонкая загорелая рука крепко сжала руку Динни.

— Где отец? — продолжала леди Монт.

— Папа уехал на какую-то духовную конференцию. Я просилась с ним, но он меня не взял.

— Значит, бегают в Лондоне по театрам.

Динни заметила, как у девушки сверкнули глаза, но потом, вспомнив, что перед ней леди Монт, она улыбнулась. Молодой человек засмеялся.

— Значит, вы оба придете? В восемь пятнадцать. Динни, нам пора обедать. Парад! — бросила леди Монт из-под полей своей шляпы и спустилась с крыльца.

— У нас гости, — пояснила Динни молодому человеку, удивленно поднявшему брови. — Она хочет сказать, что надо надеть фракную пару и белый галстук.

— А! Вот оно что! Парадная форма одежды, Джин. Брат и сестра стояли на крыльце, держась за руки. «Хороши, ничего не скажешь!» — подумала Динни.

— Ну, как? — спросила тетя, когда они снова вышли на поросшую травой аллею.

— Да, тигренок был тут как тут. По-моему, она красивая. Но я бы ее держала на привязи.

— А вот и Босуэл-Джонсон! — воскликнула леди Монт, словно это было одно лицо. — Боже мой! Значит, уже третий час!

После обеда, к которому Динни и леди Монт, конечно, опоздали, Адриан и четыре дамы помоложе вооружились складными стульчиками, которые не понадобились охотникам, и направились по тропинке туда, где был назначен главный гон. Адриан шагал рядом с Дианой и Сесили Маскем, а Динни и Флер шли впереди. Флер была замужем за двоюродным братом Динни, но они не виделись целый год, да и вообще мало знали друг друга. Динни разглядывала красивую, изящно посаженную голову Флер, которую так расхваливала тетка. Хорошенькое личико под маленькой шляпкой казалось немножко злым, но неглупым и весьма деловитым. Костюм так превосходно сидел на стройной фигуре, словно его обладательница была американка.

Динни почувствовала, что у этой холодной женщины она сможет почерпнуть немалую толику здравого смысла.

— Я была в полиции, когда там читали ваш отзыв, — сказала она.

— А! Я написала то, что просил Хилери. На самом деле я об этих девицах ровно ничего не знаю. Ближе к нам к себе не подпускают. Есть, конечно, люди, которые умеют влезть в душу. Я не умею, да и не хочу. А с сельскими девушками там, где вы живете, легче найти общий язык?

— Соседи так давно связаны с нашей семьей, что мы знаем о них больше, чем они сами.

Флер с любопытством ее разглядывала.

— Да, вы, наверно, умеете к ним подойти. С вас бы портреты предков писать, не знаю только, какому художнику. Нам пора начать работать в манере ранних итальянцев. У прерафаэлитов это так и не вышло, в их картинах не было ни музыкальности, ни юмора. А чтобы написать ваш портрет, нужно и то и другое.

— Скажите, — смущенно спросила Динни, — Майкл был в палате, когда внесли запрос о Хьюберте?

— Да, он пришел домой очень злой.

— Отлично!

— Он хотел вернуться к этому делу, но запрос внесли за два дня до роспуска парламента. Да и какое зна-

чение сейчас имеет парламент? В наши дни никто с ним не считается.

— К сожалению, отец очень с ним считается.

— Да, он ведь человек прошлого поколения. Единственное, чем парламент еще может пронять публику,— это бюджет. И не удивительно, все упирается в деньги.

— Вы это и Майклу говорите?

— А зачем? Кто же не знает, что парламент превратился просто в налоговую машину?

— Но он все-таки издает законы?

— Да, дорогая, но задним числом; он подтверждает то, что уже вошло в практику или по крайней мере в сознание общества. Инициативы он никогда не проявляет. Как можно? Это было бы не демократично! Если вы мне не верите, посмотрите, во что превратилась страна. А парламенту и горя мало.

— И кто же проявляет инициативу?

— Откуда ветер дует? Главным образом из-за кулис. Великая вещь эти кулисы!.. С кем вы хотите стоять рядом, когда начнется стрельба?

— С лордом Саксенденом.

Флер пристально на нее поглядела.

— Не из-за его beaux yeux¹ и не из-за его beaux titres². Тогда из-за чего?

— Он нужен мне по делу Хьюберта, а времени у меня в обрез.

— Понятно. Тогда позвольте вас предупредить. Не надо недооценивать Саксендена. Он хитрая старая лиса, да и не такая уж старая. И превыше всего на свете ставит правило — услуга за услугу. А какой услугой вы сможете его отблагодарить? Он потребует расплаты наличными.

Динни скорчила гримаску.

— Сделаю что смогу. Дядя Лоренс мне подсказал, как себя вести.

— «Берегись, она тебя дурачит», — промурлыкала Флер. — Ну, а я пойду к Майклу; при мне он лучше стреляет, а вообще-то стреляет он, бедняжка, неважно. Бентуорт и мой свекор рады будут от нас избавиться. Сесили, конечно, отправится к Чарлзу; она все еще

¹ Прекрасных глаз (франц.).

² Прекрасного титула (франц.).

переживает свой медовый месяц. Значит, Диана достанется американцу.

— Надеюсь,— сказала Динни,— что он из-за нее промажет.

— Его ничем не проймешь. Да, а как же Адриан? Придется ему посидеть в одиночестве и помечтать о скелетах и о Диане. Вот мы и пришли. Видите? Вам в ту калитку. Вон там Саксенден, ему-то дали местечко получше. Перелезьте через изгородь и нападите на него с тыла. Майкла, наверно, засунули в самый конец; ему всегда достается худшее место.

Она рассталась с Динни и пошла дальше по дорожке. Досадуя, что так и не спросила у Флер того, что ее интересовало, Динни перелезла через изгородь и осторожно подошла к лорду Саксендену. Он беспокойно бродил по отведенному ему уголку поля. У высокого шеста, к которому была прикреплена белая карточка с номером, стоял молодой егерь с двумя ружьями, у ног его лежала, высунув язык, гончая. Дальше вдоль дорожки круто поднималось сжатое поле, и Динни — она знала толк в охоте — поняла, что поднятая со стерни дичь пронесется над ними высоко и быстро. «Разве что у нас за спиной есть какие-нибудь заросли», — подумала она и оглянулась. Зарослей не было. Она стояла посреди большого луга, и ближайшие кусты начинались ярдах в трехстах. «Интересно,— мелькнуло у нее в голове,— стреляет он лучше или хуже, когда с ним женщина. Кажется, он не из нервных». Повернувшись, Динни убедилась, что он ее заметил.

— Я вам не помешаю, лорд Саксенден? Я буду вести себя тихо.

Лорд подергал свою охотничью кепку с козырьками спереди и сзади.

— Ну-ну...— сказал он.— Гм!

— Значит, помешаю. Уйти?

— Нет, нет. Ладно. Все равно я сегодня ни разу не попал. Вы мне принесете удачу.

Динни опустилась на складной стульчик рядом с гончей и стала потихоньку тормозить ее за уши.

— Американец трижды утер мне нос.

— Бестактно с его стороны!

— Он бьет по явно недостижимой цели и, черт его

возьми, попадает. Стоит мне промазать, как он достает мою птицу у самого горизонта. Прямо браконьер какой-то: пропустит дичь мимо, а потом бьет вправо и влево, когда птицы пролетят уже ярдов семьдесят. Говорит, что не видит, когда они у него под носом.

— Забавно,— сказала Динни, стараясь быть справедливой.

— Кажется, он еще не промазал сегодня ни разу,— с досадой добавил лорд Саксенден.— Я его спросил, почему он так чертовски хорошо стреляет, а он говорит: «Да ведь я привык добывать себе этим пропитание, а тут уж зевать не приходится».

— Начался гон, милорд,— слышался голос молодого егеря.

Гончая задышала быстрее. Лорд Саксенден схватил ружье, егерь держал наготове второе.

— Выводок слева, милорд.

Динни услышала шелест крыльев и увидела восемь птиц, летевших вереницей к их лужайке. Бах-бах... бах-бах!

— Ах ты господи! — сказал лорд Саксенден.— Вот черт!

Динни увидела, как все восемь птиц исчезли за изгородью в дальнем конце луга.

Гончая приглушенно тьякнула, она шумно дышала.

— Ужасно обманчивый свет,— сказала Динни.

— При чем тут свет,— сказал лорд Саксенден.— Это моя печень.

— Три птицы прямо на нас, милорд.

Бах!.. Бах-бах! Одна из птиц дернулась, сжалась в комок, перевернулась и упала ярдах в четырех за спиной у Динни. У нее перехватило горло. Только что такая живая, а теперь — такая мертвая! Она часто видела, как стреляют птиц, но у нее еще никогда не было такого чувства. Две другие птицы пролетели над дальней изгородью; она проводила их взглядом с легким вздохом облегчения. Гончая подбежала к егерю с убитой птицей в зубах, тот взял у нее добычу. Собака села с высунутым языком, не отрывая глаз от птицы. Динни увидела, как с языка у нее каплет слюна, и закрыла глаза.

Лорд Саксенден пробормотал что-то невнятное. По-

том повторил сказанное еще менее внятно, и, открыв глаза, Динни увидела, что он вскидывает ружье.

— Фазанья курочка, милорд! — предупредил егерь.

Фазанья курочка пролетела невысоко над ними, словно уверенная, что ее час еще не пробил.

— Гм,— произнес лорд Саксенден, опустив приклад на согнутое колено.

— Выводок справа; слишком далеко, милорд.

Прогремело несколько выстрелов; Динни заметила, что из-за изгороди показались две птицы, одна из них теряла перья.

— Подбита,— сказал егерь; он смотрел, как она летит, ладонью защищая от солнца глаза.— Упала! — воскликнул он; гончая смотрела на него, тяжело дыша.

Грянули выстрелы слева.

— Черт! — сказал лорд Саксенден.— Сюда ничего не летит.

— Заяц, милорд,— быстро сказал егерь.— У самой изгороди.

Лорд Саксенден резко повернулся и поднял ружье.

— Не надо! — вырвалось у Динни, но выстрел заглушил ее голос. Подстреленный заяц остановился как вкопанный, потом дернулся вперед, жалобно плача.

— Возьми! — сказал егерь.

Динни снова закрыла глаза и заткнула пальцами уши.

— Дьявольщина! — пробормотал Саксенден.— испортил шкурку.

Сквозь закрытые веки Динни чувствовала его ледяной взгляд. Когда она открыла глаза, мертвый заяц лежал рядом с птицей. Он выглядел необыкновенно пушистым. Ей вдруг захотелось уйти, и она поднялась, но тут же опять села. Пока не кончится гон, она не может уйти, не помешав стрелкам. Она снова закрыла глаза; стрельба продолжалась.

— Кончено, милорд.

Лорд Саксенден вернул егерю ружье; возле зайца лежали еще три птицы.

Стыдясь непривычного ощущения, Динни поднялась, сложила свой стульчик и пошла к изгороди. Вопреки традиции, она перебралась через нее первая и остановилась, поджидая лорда Саксендена.

— Жаль, что я испортил ему шкурку,— сказал он.— Но у меня весь день какие-то круги перед глазами. У вас бывают круги перед глазами?

— Нет. Искры из глаз иногда сыплются. Ужасно кричит заяц, правда?

— Да, мне это тоже всегда неприятно.

— Как-то раз на пикнике я видела зайца,— он сидел позади нас на задних лапах, совсем как собака; сквозь уши у него просвечивало солнце, они были совсем розовые. С тех пор я полюбила зайцев.

— Да, охотиться на них не такое уж удовольствие,— согласился лорд Саксенден.— Лично я предпочитаю жареного зайца тушеному.

Динни бросила на него быстрый взгляд. Он покраснелся и явно был доволен собой.

«Теперь или никогда»,— подумала Динни.

— Вы когда-нибудь говорите американцам, что это они выиграли войну? — спросила она.

Он неприязненно на нее поглядел.

— Зачем бы я стал это делать?

— Но ведь они же ее выиграли, правда?

— Кто вам сказал, этот профессор?

— Ну, от него я этого еще не слышала, но уверена, что и он так думает.

Динни снова поймала его острый взгляд.

— Что вы о нем знаете?

— Мой брат участвовал в его экспедиции.

— Ваш брат? А! — Это прозвучало так, словно он произнес: «Этой девице что-то от меня нужно».

Динни вдруг почувствовала, что теряет почву под ногами.

— Если вы читали книгу профессора Халлорсена,— сказала она,— надеюсь, вы прочтете и дневник моего брата.

— Я никогда ничего не читаю,— сказал лорд Саксенден,— нет времени. Но теперь вспоминаю. Боливия... ваш брат, кажется, застрелил человека и растерял выючных животных?

— Человека ему пришлось застрелить, чтобы спасти свою жизнь; двоих он вынужден был избить за жестокое обращение с животными; тогда все они — за исклю-

чением троих — разбежались и угнали мулов. Он был там единственный белый, а кругом одни индейцы.

И в ответ на его холодный проницательный взгляд она посмотрела ему прямо в глаза, вспомнив совет сэра Лоренса: «Взгляни на него, как ты умеешь, Динни, знаешь, как на картинах Боттичелли».

— Можно мне почитать вам его дневник?

— Что ж, если у меня будет время.

— Когда?

— Сегодня вечером? Я должен уехать завтра сразу же после охоты.

— Когда хотите, — храбро сказала она.

— До ужина не удастся. Мне надо отправить несколько писем.

— Я могу лечь сегодня попозднее.

Она заметила, как он посмотрел на нее оценивающим взглядом.

— Посмотрим, — коротко сказал он.

Тут к ним подошли остальные.

Улизнув с последнего гона, Динни пошла домой одна. Вся эта история казалась ей забавной, но она была немножко смущена. Ей было ясно, что дневник не произведет нужного впечатления, если лорд Саксенден не будет уверен, что получит какую-то награду; и Динни понимала, как трудно сделать так, чтобы волки были сыты и овцы целы. Слева из-за копны поднялся вы́водок лесных голубей и устремился в лесок у реки; солнце садилось, в вечернем воздухе повеяло прохладой, отчетливее разносились звуки. Заходящее солнце золотило стерню; на листьях, еще почти не начавших желтеть, едва проступал багрянец осени, а там, внизу, сквозь деревья, окаймлявшие берег, поблескивала голубая лента реки. Воздух был напоен влажным, чуть едким запахом ранней осени, и из труб деревенских домов уже струился дымок. Чудесное время, чудесный вечер!

Какие отрывки из дневника ему прочесть? Она была в нерешительности. Перед ней вновь вставало лицо Саксендена, когда он ее спросил: «Ваш брат? А!» Она сразу разгадала, что это сухая, расчетливая и бездушная натура. Вспомнила она и слова сэра Лоренса: «Ты думаешь, таких людей нет? Не люди, а золото!»

Совсем недавно она читала мемуары человека, который всю войну мыслил только «стратегическими операциями и большими цифрами» и, ужаснувшись вначале, затем и думать перестал о людских страданиях, скрытых за этими «операциями»; в своем стремлении выиграть войну он словно взял себе за правило не думать о людях и — в этом она была твердо уверена — не мог бы представить себе войну с их точки зрения, если бы и вспомнил о них. Золото, а не человек! Она слышала, как Хьюберт с презрительной усмешкой говорит о «кабинетных стратегах», которым война доставляет только удовольствие, — их возбуждает игра, возможность бросать в нее огромные людские массы, быть в курсе событий раньше других; они упиваются собственным величием. Не люди, а золото! Из другой, недавно прочитанной книги ей запомнился отрывок, посвященный тем, кто вершит историю. Они сидят в крупных концернах, в банках, в правительстве; тасуют людские массы, нимало не заботясь ни о ком, кроме самих себя, учреждают то одно, то другое предприятие, набрасывая проекты на листках блокнота и приказывая мелкой сошке: «А ну-ка, выполняй, черт тебя побери, и выполняй как следует». Люди в цилиндрах или брюках гольф, которые всюду и везде заправляют плантациями в тропиках, рудниками, торговлей, прокладкой железных дорог и концессиями. Не люди, а золото! Бодрые, здоровые, откормленные, неукротимые люди с холодными глазами. Непременные участники всех званных обедов, они знают все, что творится за кулисами, а человеческие чувства и человеческая жизнь им нипочем. «И все-таки, — подумала Динни, — ведь, наверно, есть и от них какой-нибудь толк; как бы мы получали без них каучук или уголь, кто бы добывал жемчуг и прокладывал железные дороги, кто бы спекулировал на бирже, затевал и выигрывал войны!» Она вспомнила о Халлорсене, — тот по крайней мере сам трудится и страдает за свои идеи, сам ведет свои войска в атаку: он не отсиживается дома, гордясь тем, что знает больше других, уписывая за обе щеки ветчину, подстреливая зайцев и помыкая своими ближними. Она свернула в парк и остановилась у крокетной площадки. Тетя Уилмет и леди

Генриетта — эти вечные спорщицы — не могли в чем-то убедить друг друга. Обе воззвали к ней:

— Я права, Динни?

— Нет, когда твой шар на ходу коснулся чужого, ты продолжаешь игру; но когда ты, тетя, бьешь по своему шару, ты не имеешь права сдвинуть с места шар леди Генриетты.

— Я же тебе говорила! — воскликнула леди Генриетта.

— Конечно, говорила. Ну и позиция у меня, нечего сказать. Ладно, остаюсь при своем мнении и продолжаю играть, — и тетя Уилмет прогнала свой шар через ворота, сдвинув при этом на несколько дюймов шар противника.

— Ну, где у нее совесть? — жалобно простонала леди Генриетта, и Динни сразу поняла, как выгодно оставаться при своем мнении.

— Ты ведешь себя совсем как Железный герцог, тетя, — сказала она. — Разве что реже чертыхаешься.

— Чертыхается, — сказала леди Генриетта, — да еще как!

— Ваш удар, Ген, — сказала польщенная тетя Уилмет.

Оставив их, Динни отправилась к себе. Там она переделалась и заглянула к Флер.

Горничная подстригала крошечной машинкой затылок своей хозяйки, а в дверях стоял Майкл и завязывал белый галстук.

Флер обернулась.

— А, Динни! Входите и садитесь. Довольно, Пауэрс, спасибо. Иди сюда, Майкл.

Горничная исчезла, а Майкл подошел к жене, и та поправила ему галстук.

— Вот так! — сказала Флер и, взглянув на Динни, добавила: — Вы пришли насчет Саксендена?

— Да. Сегодня вечером я буду читать ему отрывки из дневника Хьюберта. Но я не знаю: где именно присутствует мне, девушке молодой и...

— Только не невинной, Динни; вы никогда не были невинной, правда, Майкл?

Майкл улыбнулся.

— Невинной — никогда, но добродетельной — всег-

да. В детстве, Динни, ты была очень хитрым ангелочком, у тебя был такой вид, будто ты пытаешься сообразить, куда делись твои крылышки. Выглядело это ужасно трогательно.

— Наверно, я думала, что ты мне их повыдергивал.

— А тебе полагалось бы носить панталончики и ловить бабочек, как те две девочки на картине Гейнсборо в Национальной галерее.

— Довольно вам любезничать,— сказала Флер,— слышите гонг? Динни, я могу уступить вам мою маленькую гостиную; в случае чего постучите, и Майкл прибежит, вооруженный ботинком, словно он думал, что там крысы.

— Отлично,— сказала Динни,— только, по-моему, лорд Саксенден будет тих, как ягненок.

— Кто знает,— заметил Майкл,— он скорее похож на козла.

— Вот эта комната,— сказала Флер, когда они проходили мимо.— *Cabinet particulier*¹. Желаю успеха!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сидя между Халлорсеном и молодым Тасборо, Динни сбоку видела во главе стола тетю Эм и лорда Саксендена, а справа от него — Джин Тасборо. «Она была тигрица, но, боги, как прекрасна!» Ее бронзовая кожа, овальное лицо и необыкновенные глаза пленяли Динни. Кажется, они пленяли и лорда Саксендена,— лицо его было и краснее и приветливее, чем обычно, и он уделял Джин столько внимания, что леди Монт оказалась целиком предоставленной косноязычному Уилфриду Бентуорту. «Помещик» хоть и был куда более благородного происхождения, чем Саксенден,— такого благородного, что даже не нуждался в титуле,— согласно табели о рангах, все же сидел по левую руку хозяйки дома. Рядом с ним Флер занимала разговором Халлорсена, так что Динни очутилась под обстрелом молодого Тасборо. Он говорил без всякого стеснения, искренне, как человек, не избалованный женским обществом, и отнюдь не скрывал того, что Динни мысленно называла

¹ Отдельный кабинет (франц.).

«явным преклонением перед ее чарами»; и все же раза два она впадала, как он подметил, в «мечтательное забытьё»; откинув голову, не шевелясь, она разглядывала его сестру.

— Ага! — сказал он. — Она вам нравится?

— Просто прелесть!

— Если я ей это скажу, она и глазом не моргнет. Самое прозаическое существо на свете. Кажется, она совсем покорила своего соседа. Кто это?

— Лорд Саксенден.

— Да ну! А кто этот чистопородный англичанин в конце стола, с нашей стороны?

— Уилфрид Бентуорт, у нас его зовут «Помещиком».

— А рядом с вами — тот, что говорит с миссис Монт?

— Профессор Халлорсен из Америки.

— Красивый парень.

— Да, говорят, — сухо сказала Динни.

— А вы не согласны?

— Мужчине неприлично быть красивым.

— Рад, что вы так считаете.

— Почему?

— Значит, и некрасивые могут на что-то надеяться.

— Вот как? Вы всегда напрашиваетесь на комплименты?

— Знаете, я ужасно рад, что мы наконец познакомились.

— Наконец? Еще сегодня утром вы не знали, что я существую.

— Да. Но это не мешает вам быть моим идеалом.

— Боже мой! Это у вас на флоте так полагается?

— На флоте нас прежде всего учат не зевать.

— Мистер Тасборо...

— Алан.

— Я начинаю верить в «девушку в каждом порту».

— У меня, — серьезно сказал молодой Тасборо, — нет ни одной. И вы первая, кого мне хотелось бы назвать своей девушкой.

— Да ну? А может, даже — ну и ну!

— Факт! Видите ли, служба на флоте — штука не-

легкая. Когда видишь то, что тебе нужно, лови момент. Возможностей не так уж много.

Динни рассмеялась.

— Сколько вам лет?

— Двадцать восемь.

— Значит, вы не участвовали в бою у Зеебрюгге?

— Участвовал.

— Тогда понятно. Вы привыкли брать на абордаж.

— И идти за это ко дну.

Она ласково на него взглянула.

— Теперь я поговорю со своим врагом.

— Это ваш враг? Хотите, я им займусь?

— Его гибель не принесет мне пользы, если он прежде не сделает того, что мне надо.

— Жаль; на вид он опасен.

— Вас давно уже подкарауливает миссис Маскем,— шепнула Динни и повернулась к Халлорсену.

Тот произнес с полупоклоном: «Мисс Черрел!..» — словно она свалилась с луны.

— Говорят, профессор, вы замечательный стрелок.

— Ну, знаете, я не привык, как вы тут, чтобы птица сама просилась в ягдташ. Может, в конце концов и привыкну. Но пока все для меня здесь так ново.

— И жизнь вам улыбается?

— Еще бы! Быть с вами в одном доме — большая честь для меня, мисс Черрел.

«Артиллерия бьет справа, артиллерия бьет слева», — подумала Динни.

— А вы уже придумали, — спросила она вдруг, — как вам загладить свою вину перед моим братом?

Халлорсен понизил голос.

— Я глубоко уважаю вас, мисс Черрел, и сделаю все, что вы захотите. Если угодно, я напечатаю в ваших газетах опровержение и откажусь от всего, что написал о нем в книге.

— А что вы потребуете взамен?

— Разумеется, ничего, кроме вашего расположения.

— Брат передал мне свой дневник для опубликования.

— Если это для вас лучше — публикуйте.

— Наверно, оба вы никогда и не пытались понять друг друга.

— Пожалуй, нет.

— А ведь вас там было только четверо белых. Можно спросить, что именно раздражало вас в моем брате?

— Если я скажу, вы на меня рассердитесь.

— Нет, я умею быть справедливой.

— Что ж, прежде всего я убедился, что у него обо всем есть предвзятое мнение и он отнюдь не собирается его менять. Вот мы попали в страну, которой совсем не знаем, живем среди индейцев и других малоцивилизованных людей, а капитан Черрел хочет, чтобы все было как в Англии, по всем правилам, и чтобы правила эти соблюдались. Я думаю, если бы ему позволили, он надевал бы к ужину фрак.

— Но помилуйте,— сказала, немного растерявшись, Динни,— мы, англичане, убедились на опыте, что строжайшее соблюдение правил — наша главная опора. Мы добились своего в самых диких и забытых богом местах только потому, что везде оставались англичанами. Читая дневник брата, я, наоборот, думала: беда его в том, что ему не хватило твердости и выдержки.

— Да, не в пример лорду Саксендену или мистеру Бентуорту,— Халлорсен кивком головы указал на конец стола,— он у вас не типичный Джон Буль; может, потому-то я его и не понял. Нет, он человек очень нервный и уж слишком скрытный — стиснет зубы и грызет себя втихомолку. Похож на породистого скакуна, запряженного в извозничью пролетку. Вы, видно, из очень старинного рода, мисс Черрел?

— Да, но мы еще не впали в детство.

Она заметила, как он перевел глаза на сидевшего напротив Адриана, потом посмотрел на тетю Уилмет и на леди Монт.

— Мне бы хотелось побеседовать о старинных семьях с вашим дядей, хранителем музея,— сказал он.

— А что еще вам не понравилось в брате?

— Понимаете, я чувствовал себя перед ним дубиной. Динни чуть подняла брови.

— Вы только представьте себе,— продолжал Халлорсен,— мы попали в распроклятое — извините за выражение! — место, в страну примитивную, грубую. Что ж, я и сам становился примитивным, грубым — под стать этой стране; а он этого не желал, и все тут.

— Или не мог? А может, все дело в том, что вы — американец, а он — англичанин? Сознайтесь, профессор, мы, англичане, вам не нравимся.

Халлорсен рассмеялся.

— Вы мне очень нравитесь.

— Спасибо, но нет правил без...

— Что ж, — лицо его стало жестче, — я не люблю претензий на превосходство, в которое не верю.

— А разве мы одни этим отличаемся? Как насчет французов?

— Будь я орангутангом, мисс Черрел, мне было бы наплевать, что шимпанзе задирают нос.

— Понимаю, это уже совсем другая порода. Но, простите, профессор, как насчет вас самих? Разве вы не избранная раса? Разве вы этого не твердите все время? Разве вы согласитесь поменяться местами с каким-нибудь другим народом?

— Ни за что.

— А разве это не равносильно претензии на превосходство, в которое не верим мы?

Он рассмеялся.

— Тут вы меня поймали; но до сути дела мы еще не добрались. В каждом человеке есть своя спесь. Мы — молодая нация; у нас нет ваших корней и вашей старины; у нас нет вашей привычки считать себя солью земли; мы еще не устоялись — слишком уж нас много и слишком мы разные. Но, кроме наших долларов и наших ваннх комнат, у нас есть еще кое-что, чему вы можете позавидовать.

— Что именно? Назовите, пожалуйста.

— Видите ли, мисс Черрел, мы твердо знаем, что у нас есть достоинство и энергия, вера и возможности, которым вы можете позавидовать; а вы не завидуете, и тогда нас возмущает ваша косность и высокомерие. Вы похожи на шестидесятилетнего старика, который смотрит свысока на молодого человека тридцати лет, а это, простите, идиотство.

Динни глядела на него молча; его доводы произвели на нее впечатление.

— Вы, англичане, раздражаете нас тем, что утратили всякое чувство нового; а если оно у вас и есть, вы уж больно ловко его прячете. Наверно, мы, в свою

очередь, чем-то раздражаем вас. Но мы раздражаем только вашу кожу, а вы — наши нервные центры. Вот, пожалуй, и все, мисс Черрел.

— Понимаю, — сказала Динни, — все это страшно интересно и, я думаю, в общем, справедливо. Но тетя встала, поэтому я должна унести свою кожу и дать успокоиться вашим нервным центрам.

Она поднялась и улыбнулась ему через плечо.

Молодой Тасборо был уже у дверей. Она улыбнулась и ему, прошептав:

— Поговорите с моим другом-недругом; он того стоит.

В гостиной она подсела к «тигрице», но разговор у них не клеился: мешало взаимное восхищение, которого ни та, ни другая не хотели выказывать. Джин Тасборо только что исполнился двадцать один год, но Динни казалось, что собеседница много старше ее. Она привыкла веско и категорически — хоть и не глубоко — судить о вещах и людях; о чем бы ни заходила речь, у нее обо всем было свое мнение. Она незаменима в беде — решила Динни; вот уж кто постоит за своих, — но зато будет править ими железной рукой. Под ее напористой деловитостью Динни чувствовала какое-то странное, хищное очарование, — стоит ей захотеть, и она вскружит голову любому мужчине. Хьюберта она покорит с первого взгляда! И, придя к такому выводу, Динни серьезно задумалась, хочет ли она этого. Вот та самая девушка, которая сразу же заставит брата забыть обо всех его злоключениях. Но хватит ли у него сил и энергии, чтобы с ней совладать? А вдруг он влюбится, а ей не нужен будет совсем? Или влюбится и попадет к ней под башмак? И к тому же... деньги! Если Хьюберт не получит назначения или вынужден будет уйти в отставку, — на что они будут жить? Не считая жалованья, у него только триста фунтов в год, а у девушки, по-видимому, — ни гроша. Да, все это — палка о двух концах. Если Хьюберту дадут снова окунуться в армейскую жизнь, ему ничего больше и не нужно. Если же он и дальше останется без дела, ему нужно отвлечься, но он не может себе этого позволить. И в то же время разве такая девушка не сделает карьеру тому, за кого выйдет замуж? Они продолжали беседовать об итальянской живописи.

— Между прочим,— сказала вдруг Джин,— лорд Саксенден говорит, что вам от него что-то нужно.

— Да?

— Что именно? Я заставляю его это сделать.

Динни улыбнулась.

— Как?

Джин бросила на нее взгляд из-под ресниц.

— Да очень просто. Чего вы от него хотите?

— Я хочу, чтобы моего брата вернули в полк или — еще лучше — дали ему какую-нибудь должность. У него неприятности из-за боливийской экспедиции профессора Халлорсена.

— Этого высокого? Поэтому его сюда и пригласили?

Динни показалось, что ее просто раздевают донага.

— Откровенно говоря, да.

— Что ж, он довольно красивый.

— Это говорит и ваш брат.

— Алан — человек благородный. Он ведь просто бредит вами.

— Он мне и это уже сказал.

— Наивное дитя. Но, говоря серьезно, взяться мне за лорда Саксендена?

— Зачем вам беспокоиться?

— Люблю совать нос в чужие дела. Дайте мне только волю, и я принесу вам это назначение на блюде.

— Мне сообщили из вполне достоверных источников,— сказала Динни,— что лорду Саксендену палец в рот не клади.

Джин потянулась.

— Ваш брат Хьюберт похож на вас?

— Ничуть; у него темные волосы и карие глаза.

— Знаете, наши семьи когда-то были в родстве. Вас интересует проблема наследственности? Я развожу эрдель-терьеров и не очень-то верю во всякие теории о передаче наследственности только по мужской или только по женской линии. Свойства передаются как через самцов, так и через самок, в любой точке родословной.

— Возможно; но если лица моего отца и брата покрыть паутиной, они будут точной копией портрета самого дальнего из наших предков.

— А у нас есть портрет одной из Фицгербертов, которая вышла замуж за Тасборо в тысяча пятьсот сорок седьмом году,—она вылитая я, если не считать рюша; у меня даже руки как у нее.

Девушка протянула Динни свои длинные бронзовые руки, чуть скрючив пальцы.

— Какая-нибудь наследственная черта,—продолжала она,—может сказаться через несколько поколений. Это страшно интересно. Хотела бы я посмотреть на вашего брата, если он так на вас не похож.

Динни улыбнулась.

— Я попрошу его приехать за мной на машине из Кондафорда. Может, вы тогда решите, что он не стоит ваших хлопот.

Тут в гостиную вошли мужчины.

— У них такой вид,—шепнула Динни,—будто они задают себе вопрос: «Хочу ли я посидеть рядом с особой женского пола, и если да, то зачем?» У мужчин после обеда очень смешной вид!

Молчание нарушил голос сэра Лоренса:

— Саксенден, Помещик,—партию в бридж?

При этих словах тетя Уилмет и леди Генриетта привычно поднялись с дивана, на котором тихонько о чем-то спорили, и перешли туда, где им предстояло провести остаток вечера; за ними двинулись лорд Саксенден и Помещик.

— Вам не кажется, что страсть к бриджу растет, как дикое мясо? — сказала с гримасой Джин Тасборо.

— Кто еще? — спросил сэр Лоренс.—Адриан? Нет. Профессор?

— Пожалуй, нет, сэр Лоренс.

— Флер, тогда мы с тобой против Эм и Чарлза. Идемте и поскорее с этим покончим.

— Не думаю, чтобы дикое мясо росло на дяде Лоренсе,—сказала вполголоса Динни.—А! Профессор! Вы знакомы с Джин Тасборо?

Халлорсен поклонился.

— Вечер сегодня необыкновенный,—послышался голос молодого Тасборо.—Не пойти ли нам погулять?

— Майкл,—сказала, поднимаясь, Динни,—мы пошли гулять.

Вечер и в самом деле был необыкновенный. Листья

каменных дубов и вязов неподвижно повисли в воздухе. Звезды горели как алмазы. Роса еще не выпала. В темноте трудно было различить окраску цветов. Редкие звуки нарушали тишину — дальний крик совы где-то у реки, жужжание майского жука. Было совсем тепло, и сквозь подстриженные кипарисы смутно белел освещенный дом. Динни с моряком шли впереди.

— Сегодня такая ночь, — сказал он, — когда можно заглянуть в тайны мироздания. Отец мой — славный старик, но его проповеди могут убить всякую веру. А вы еще верите?

— В бога? — спросила Динни. — Пожалуй, хоть ничего в этом и не понимаю.

— А вы не находите, что думать о боге можно только, когда ты один, под открытым небом?

— Я испытывала какое-то волнение и в церкви.

— Одного волнения мало, — надо постичь бесконечное созидание в бесконечности миров. Вечное движение и в то же время вечный покой... А этот американец, кажется, славный малый.

— Вы говорили с ним о братских чувствах наших народов?

— Нет, о чувствах я хочу говорить с вами. При королеве Анне у нас был общий пра-пра-пра-пра-пра-дед; у нас сохранился его портрет, — сущее страшилище в парике. Так что мы с вами родня... и, значит, должны любить друг друга.

— Вот как? Родство проявляется по-разному. Нет ссоры хуже, чем в своей семье.

— Вы это о нас и американцах?

Динни кивнула.

— И все-таки, — сказал моряк, — я твердо знаю, что в любой потасовке предпочту драться плечом к плечу с американцем, а не с кем-нибудь другим. Да, пожалуй, мы все так думаем на флоте.

— Это потому, что у нас с ними общий язык?

— Нет. У нас есть что-то общее в закваске и во взглядах на жизнь.

— Да, если речь идет об американцах английского происхождения.

— Только такие и принимаются в расчет, особенно

если сюда добавить выходцев из Голландии и Скандинавии, вроде этого Халлорсена. Мы и сами в большинстве вышли оттуда.

— Почему бы не добавить сюда и выходцев из Германии?

— В какой-то мере, да. Но посмотрите на форму их головы. В общем и целом немцы скорее жители Центральной и Восточной Европы.

— Ну, об этом вам лучше поговорить с дядей Адрианом.

— Это тот высокий, с козлиной бородкой? Мне нравится его лицо.

— Он у нас прелесть,— сказала Динни.— Но остальные куда-то запропали, и у меня промокли ноги.

— Минутку. Я говорил за ужином совершенно серьезно. Вы действительно мой идеал, и, я надеюсь, вы позволите мне его добиваться.

Динни сделала реверанс.

— Мой юный рыцарь, вы очень любезны. Но я должна вам напомнить,— сказала она с легким смущением,— что у вас такая благородная профессия...

— Неужели вы никогда не бываете серьезной?

— Редко, особенно когда падает роса.

Он схватил ее за руку.

— Но когда-нибудь я заставлю вас быть серьезной.

Слегка пожав ему руку в ответ, Динни высвободила свою и пошла вперед.

— Деревья сплели свои ветви как руки... терпеть не могу этого выражения. А многим оно почему-то ужасно нравится.

— Прекрасная кухня,— сказал молодой Тасборо,— я буду думать о вас днем и ночью. Не утруждайте себя ответом.

И он отворил перед ней дверь в комнату.

Сесили Маскем сидела за роялем, Майкл стоял позади нее.

Динни подошла к нему.

— Майкл, я пойду сейчас в гостиную Флер; а ты покажешь лорду Саксендену, как туда пройти? Если он не появится до двенадцати, я лягу спать. Мне нужно выбрать для него отрывки.

— Хорошо. Я провожу его до самого порога. Желаю успеха!

В маленькой гостиной Динни открыла окно и усе-
лась выбирать отрывки из дневника. Пробило поло-
вину одиннадцатого, вокруг стояла полная тишина. Она
отметила шесть довольно длинных записей, которые, по
ее мнению, ясно показывали, какую непосильную за-
дачу задали Хьюберту. Потом она закурила и высу-
нулась в окно. Вечер был все такой же благодатный,
но на нее напало глубокое раздумье. Вечное движение
и вечный покой? Если это и в самом деле бог, смерт-
ным от него не так уж много проку. Да и почему от
него должен быть прок? Когда Саксенден подранил зай-
ца и тот закричал,— разве бог его слышал и дрог-
нул? Когда ей сжимали руку,— разве бог это увидел
и улыбнулся? Когда Хьюберт метался в лихорадке в
джунглях, прислушиваясь к крику диких птиц,— разве
бог послал ему ангела с хинином? Когда вон та звезда
в небе погасла миллиарды лет назад и повисла там,
холодная и тусклая, разве бог пометил это у себя в за-
писной книжке? Миллион миллионов листьев и стеблей
травы, которые темнеют там, внизу, миллион миллионов
звезд, при свете которых глаз ее проникает сквозь
эту тьму,— все, все — вечное движение в бесконечном
покое, все — частица божества... Да и она сама, и ды-
мок ее сигареты, и жасмин у самого ее лица — его цвет
она сейчас не может разглядеть,— и мысль, подсказы-
вающая, что он не желтый, а белый, и далекий лай
собаки — такой далекий, что звук этот точно нить, за
которую можно ухватить тишину,— во всем, во всем
есть какой-то неясный, бесконечный, всепроникающий и
непонятный смысл...

Динни вздрогнула и отошла от окна. Удобно
устроившись в кресле с дневником на коленях, она
оглядела комнату. Флер обставила ее по своему вкусу, и
он сказался во всем: в расцветке ковра, в мягком
свете, который лился из-под абажура на голубовато-
зеленое платье Динни, на руки, державшие дневник.
Долгий день утомил ее. Она откинулась на спинку
кресла, подняв кверху глаза, и сквозь дремоту стала
разглядывать бордюр из фаянсовых купидонов,—
одна из прежних леди Монт украсила им потолок.

Какие пухленькие, смешные детишки, прикованные друг к дружке цепями из роз и обреченные вечно созерцать друг у друга зады! Хоровод розовых минут, розовых... Беки Динни сомкнулись, губы полуоткрылись, она заснула. А мягкий свет, падавший ей на лицо, волосы и шею, подчеркивал их небрежную прелесть, их дерзкое изящество, совсем как у тех типично английских, прекрасных итальянок, которых любил писать Боттичелли. Локон коротких золотых волос упал на лоб; на полуоткрытых губах то появлялась, то исчезала улыбка; ресницы — они были у нее куда темнее волос — дрожали на нежных, почти прозрачных щеках; нос чуть вздрагивал во сне, словно его забавляло, что он немножечко курносый. Казалось, одно легкое движение руки — и это запрокинутое лицо можно сорвать с белого стебля шеи...

Она вздрогнула и подняла голову. Посреди комнаты стоял тот, кого когда-то прозвали «Зазнайкой Бентхемом», и, не мигая, разглядывал ее холодными синими глазами.

— Виноват, — сказал он, — виноват! Вы так славно дремали.

— Мне снились пирожки с мясом, — сказала Динни. — Как мило, что вы пришли в такой поздний час.

— Семь склянок. Надеюсь, вы недолго. Не возражаете, если я закурю?

Он сел на диван напротив и стал набивать трубку. У него был вид человека, который решил покончить поскорее с этим делом, не высказывая своего мнения. В эту минуту ей стало понятнее, как вершат государственные дела. «Ну, да, — подумала она, — он оказывает любезность и не знает, что получит взамен. Это виновата Джин!» Как и всякая женщина, она и сама толком не знала, благодарна ли она «тигрице» за то, что та отвлекла его внимание, или чувствует нечто вроде ревности. Но сердце ее билось, и она принялась читать быстрым, деловым тоном. Динни прочитала три отрывка, прежде чем решилась на него посмотреть. Лицо его ничего не выражало, и если бы не губы, сосавшие трубку, оно казалось бы вырезанным из крашеного дерева. Глаза по-прежнему разглядывали ее как-то странно и, пожалуй, слегка враждебно, словно

он думал: «Эта женщина хочет пробудить во мне какие-то чувства. Но сейчас уже поздно».

Динни торопливо читала, ее все больше и больше охватывало отвращение к тому, что она делает. Четвертый отрывок был, не считая последнего, самым страшным — по крайней мере для нее; когда она подходила к концу, голос ее дрожал.

— Ну, это уж он хватил через край,— сказал лорд Саксенден,— мулы-то ведь ничего не чувствуют... Удивительные твари!

Динни вспыхнула; нет, больше она не станет на него смотреть! Она продолжала читать. Ее целиком захватила эта повесть, которая впервые звучала сейчас вслух. Наконец она кончила, задыхаясь и напрягая все силы, чтобы подавить дрожь в голосе. Лорд Саксенден сидел, уткнувшись подбородком в кулак. Он крепко спал.

Динни постояла, глядя на него, в той же позе, в какой он недавно смотрел на нее. На секунду у нее появилось желание выдернуть его кулак из-под подбородка. Ее спасло только чувство юмора. Глядя на него таким взглядом, каким Венера Боттичелли смотрит на Марса, она взяла листок бумаги с письменного стола Флер и, написав: «Простите, что довела вас до полного изнеможения. Спокойной ночи», — потихоньку положила записку ему на колено. Затем свернула в трубку дневник, на цыпочках подошла к двери, открыла ее и оглянулась: лорд Саксенден посапывал, но скоро он громко захрапит. «Стоит воззвать к его чувствам, и он тут же засыпает,— подумала она.— Теперь я понимаю, как он выиграл войну». Она повернулась — перед ней стоял профессор Халлорсен.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Динни увидела, что взгляд Халлорсена устремлен поверх ее головы на спящего лорда, и чуть не застонала. Что он о ней подумает, застигнув ее в полночь выходящей украдкой из чужой комнаты, где спит сей титулованный муж? Теперь Халлорсен смотрел ей пря-

мо в глаза, взгляд его был мрачен. Боясь, что он скажет: «Простите!» — и разбудит спящего, она крепче сжала в руке дневник, приложила палец к губам и, шепнув: «Не разбудите младенца», — скользнула мимо Халлорсена в коридор.

У себя в комнате она расхохоталась, а потом села, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Если вспомнить о репутации лордов в демократических странах, Халлорсен, вероятно, вообразил бог знает что. Но скрепя сердце она отдала ему должное: что бы он о ней ни подумал, дальше это не пойдет. Каков бы он ни был, в нем нет ничего мелкого. Она представляла себе, как утром, за завтраком, он скажет с самым серьезным видом: «Мисс Черрел, вы сегодня прекрасно выглядите». И все же Хьюберту она так ничем и не помогла. Огорченная, Динни улеглась в постель. Спала она плохо, проснулась утомленная, бледная и позавтракала наверху в своей комнате.

Когда в загородный дом съезжаются гости, дни текут удивительно однообразно. Мужчины носят все те же пестрые галстуки и брюки гольф, едят одно и то же за завтраком, щелкают ногтем по тому же барометру, курят те же трубки и стреляют тех же птиц. Собаки так же машут хвостами, так же прячутся в неожиданных местах, так же заливаются отчаянным лаем и гоняют тех же голубей на тех же лужайках. Дамы все так же завтракают в постели или внизу, сыпят те же ароматические кристаллы в ту же ванну, бродят по тому же парку, говорят о тех же общих друзьях с тем же оттенком неприязни: «Конечно, я их очень люблю, но...», с той же страстью разглядывают портупак на тех же выложенных камнем клумбах, с тем же визгом играют в крокет или в теннис, пишут те же письма, опровергая те же слухи или сравнивая те же безделушки, все так же дружно спорят и так же дружно не соглашаются. Слуги сохраняют все то же искусство оставаться невидимыми, появляясь лишь в те же положенные часы. А дом хранит все тот же смешанный запах душистого горошка, засушенных и свежих цветов, табака, книг и диванных подушек.

Динни написала брату письмо, в котором умолчала о Халлорсене, Саксендене и обоих Тасборо, зато весело

рассказала о тете Эм, Босуэле и Джонсоне, дяде Адриане, леди Генриетте и просила его заехать за ней на машине. После обеда пришли Тасборо поиграть в теннис, и до самого окончания охоты она так и не видела ни лорда Саксендена, ни американца. Но за чаем тот, кого прозвали «Зазнайкой Бентхемом», бросил на нее такой долгий и странный взгляд, что она поняла — он ее не простил. Динни и вида не подала, что заметила это, но в душе огорчилась. Пока что она, кажется, причинила Хьюберту один только вред. «Напущу-ка я на него Джин!» — подумала она и отправилась на поиски «тигрицы». По дороге она встретила Халлорсена и, тут же решив наладить с ним прежние отношения, сказала:

— Появись вы вчера вечером пораньше, профессор Халлорсен, вы бы услышали, как я читала вслух лорду Саксендену отрывки из дневника брата. Может, вам это было бы полезнее, чем ему.

Лицо Халлорсена прояснилось.

— Ах, вот оно что, — сказал он, — а я-то никак не мог понять, каким снотворным вы опоили бедного лорда.

— Я подготавливала его к чтению вашей книги. Вы же ее хотите ему преподнести?

— Думаю, что нет, мисс Черрел; я не так уж заинтересован в его здоровье. Пусть его страдает бессонницей. Если человек способен уснуть, слушая вас, — я о нем невысокого мнения. А чем он вообще занимается, этот лорд?

— Чем занимается? Видите ли, он — то, что у вас принято называть «большой шишкой». Не знаю, на каком месте она сидит, эта шишка, но отец уверяет, что он имеет вес. Надеюсь, сегодня на охоте вы снова утерли ему нос, — ведь чем чаще вы будете утирать ему нос, тем больше шансов у моего брата вернуть свое место, потерянное из-за вашей экспедиции.

— Вот как? Разве у вас такие вещи зависят от личных отношений?

— А у вас разве нет?

— У нас-то да! Но я думал, что в старых странах еще сохранились добрые традиции.

— Разумеется, мы никогда не признаемся, что дела у нас зависят от личных отношений.

Халлорсен улыбнулся.

— Ну, а чем это плохо? Все люди — братья. Вам бы понравилась Америка, мисс Черрел. Хотел бы я когда-нибудь вам ее показать.

Он сказал это так, словно Америка была какой-то старинной безделушкой, лежавшей на дне его чемодана, и она не знала, как отнестись к его словам, — они могли быть сказаны мимоходом, а могли иметь до смешного серьезное значение. Потом, увидев по его лицу, что он придает им до смешного серьезное значение, она в ответ сверкнула улыбкой.

— Спасибо, но вы все еще мой враг.

Халлорсен протянул ей руку, но она на шаг отступила.

— Мисс Черрел, я сделаю все, чтобы вы изменили ваше мнение обо мне... Помните, что я ваш покорный слуга, а когда-нибудь надеюсь стать для вас и кем-нибудь более близким.

Он выглядел сейчас чересчур высоким, красивым и здоровым, и это ее раздражало.

— Давайте не будем относиться ко всему так серьезно, профессор; ничего из этого не выйдет. А теперь извините, я ищу мисс Тасборо.

И она убежала. Нелепо! Трогательно! Лестно! Возмутительно! Сумасшествие! За что ни возьмись, все так запутывается; может, лучше положиться на судьбу?

Джин Тасборо окончила партию в теннис с Сесили Маскем и снимала с волос сетку.

— Пошли пить чай, — сказала Динни, — лорд Саксенден изнывает без вас.

Но у дверей гостиной, где пили чай, Динни перехватил сэр Лоренс; заявив, что совсем ее не видит, он пригласил ее к себе в кабинет — посмотреть коллекцию миниатюр.

— Вот мое собрание характерных типов женщин разных национальностей: француженок, немок, итальянок, голландок, американок, испанок, русских; мне очень хотелось бы иметь и твой портрет, Динни. Ты бы согласилась позировать одному молодому человеку?

— Я?

— Да, ты.

— Но зачем?

— В тебе,— сказал сэр Лоренс, разглядывая ее в монокль,— заключается разгадка того, что же такое англичанка хорошей породы, а я коллекционирую особенности национальных культур.

— Это звучит страшно интересно.

— Вот взгляни, французская культура *in excelsis*¹: сообразительность, живой ум, трудолюбие, решительность; тонкое восприятие красоты,—но не от сердца, а от разума; полное отсутствие юмора; чувства, которых требуют приличия, и никаких других; стяжательство — обрати внимание на глаза; преклонение перед внешней формой; никакой оригинальности; очень четкий, но ограниченный кругозор — в ней и намека нет на мечтательность; пылкий характер, но умеет держать себя в руках. Вся она цельная, с четко очерченными контурами. А вот редкостный экземпляр американки — высший образчик этой культуры. Заметь, она выглядит так, точно на ней невидимая уздечка и она это знает; в глазах электрический заряд, который она непременно пустит в ход, но только в рамках приличия. Она отлично сохранится до конца своих дней. Хороший вкус, много знает, но не очень образованна. Посмотри на эту немку! Она дает волю своим чувствам больше, чем другие, и меньше почитает внешнюю форму, но у нее есть совесть и она работяга; сильно развито чувство долга, маловато вкуса, а юмор довольно тяжеловесный. Стоит ей себя распустить — обязательно растолстеет. Сентиментальности хоть отбавляй, но немало и здравого смысла. Восприимчива во всех отношениях. Может быть, это не особенно хороший экземпляр. Лучшего я не нашел. А вот моя итальянка — отличная находка! Интересная особа. Блестящий лоск, но сквозь него проглядывает что-то дикое, точнее говоря, естественное. На ней маска — очаровательная маска, и носит она ее очень мило, но маска всегда может упасть. Знает, чего хочет,—пожалуй, даже лучше, чем следует,—и умеет поставить на своем, а когда это не удается — подчиняется чужой воле. Поэтична только тогда, когда затронута ее чувственность. Способна

¹ Здесь — в своем высшем выражении (лат.).

на сильную привязанность к своим родным, да и не только к ним. Открыто смотрит в глаза опасности, смелая, но легко теряется. Тонкий вкус, но он то и дело ей изменяет. Природы не любит. Умеет мыслить логически, но ленива и не любопытна. А тут,—сказал сэр Лоренс, неожиданно поворачиваясь к Динни,—тут будет мой образец англичанки. Хочешь, я тебе о ней расскажу?

— На помощь!

— Не бойся, я буду говорить отвлеченно. Застенчивость, развитая и в то же время сдержанная до такой степени, что она превратилась в полнейшую непосредственность. Утверждение собственного «я» кажется ей непростительным нахальством; чувство юмора, не лишенное остроумия, которое окрашивает, а иногда выхолащивает все остальное. Выражение постоянной готовности к служению не столько семье, сколько обществу,—этой склонности не найдешь больше ни у кого. В ней есть какая-то прозрачная легкость, как будто в жилах у нее — воздух и роса. Ей не хватает законченности — законченности в знаниях, действиях, мыслях, суждениях,—зато решительности хоть отбавляй. Чувства не слишком развиты, эстетические эмоции возбуждаются скорее явлениями природы, чем произведениями искусства. В ней нет ни восприимчивости немки, ни трезвого ума француженки, ни двойственности и яркости итальянки, ни выработанной подтянутости американки; зато тут есть что-то совсем особенное — предоставляю тебе, дорогая, самой подобрать нужное слово,—из-за этого-то я и хочу, чтобы ты появилась в моей коллекции национальных культур.

— Ну, какая же у меня культура, дядя Лоренс!

— Я пользуюсь этим проклятым словом за неимением лучшего и меньше всего подразумеваю под ним ученость. Я имею в виду наследственные качества плюс воспитание, но то и другое обязательно вместе. Если бы эта француженка получила твоё воспитание, она все равно не была бы такой, как ты, а получи ты её воспитание, ты все равно не была бы такой, как она. Теперь взгляни на эту русскую довоенных лет,—она менее постоянна, более переменчива, чем все остальные.

Я нашел эту миниатюру в антикварной лавке. Эта женщина, наверно, хотела познать все, но не задерживаться подолгу на чем-нибудь одном. Пари держу,—она спешила жить и, если жива, все еще спешит: однако ей это куда легче, чем было бы тебе. Лицо ее говорит, что она пережила больше других, но страсти почти не оставили на ней следа. А вот моя испанка,—она, пожалуй, интереснее всех. Ты видишь женщину, воспитанную вдали от мужчин; теперь это, наверно, редкость. Посмотри, какая нежность,—в ней есть что-то монашеское; мало любопытства, энергии тоже немного; но зато сколько угодно гордости, хотя и очень мало самомнения. Тебе не кажется, что ее страсть может быть роковой? А разговаривать с ней, наверно, нелегко. Ну как, Динни, будешь позировать моему молодому человеку?

— Если ты серьезно,—буду.

— Вполне серьезно. Это моя страсть. Я все устрою. Он может приехать к тебе в Кондафорд. Теперь мне надо вернуться к гостям и проводить Зазнайку. Ты уже сделала ему предложение?

— Я убаюкала его вчера дневником Хьюберта,—он уснул под мое чтение. Он меня терпеть не может. Теперь я ни о чем не посмею его попросить. А он в самом деле шишка, дядя Лоренс?

Сэр Лоренс кивнул с загадочным видом.

— Зазнайка — идеал государственного мужа. Органы чувств у него атрофированы, а волновать его может только сам Зазнайка. Такого, как он, не уймешь,—он всегда тут как тут. Гуттаперчевый человек. Ну что ж, государству такие нужны. Если бы не было толстокожих, кто бы восседал на местах сильных мира сего? А места эти жестки, Динни, и утыканы гвоздями. Значит, ты зря потеряла время?

— Зато я, кажется, убила второго зайца.

— Отлично. Халлорсен тоже уезжает. Этот мне нравится. Американец до мозга костей, но закваска хорошая.

Он ушел, и, не желая больше встречать ни гуттаперчевого человека, ни американца с хорошей закваской, Динни поднялась к себе в комнату.

На следующее утро, часов в десять, с быстротой,

характерной для таких разъездов, Флер и Майкл повезли Адриана и Диану на своей машине в Лондон; Маскемы уехали поездом, а Помещик с леди Генриеттой отправились на машине в свое нортгемптонширское имение. Остались только тетя Уилмет и Динни, но к обеду ждали молодых Тасборо и их отца-священника.

— Он очень славный, Динни,— сказала леди Монт.— Старого закала, галантен, очень мило картавит. Какая жалость, что у них нет ни гроша. Джин очень эффектна, правда?

— Я ее немножко боюсь, тетя Эм,— слишком уж она хорошо знает, чего хочет.

— Сватовство,— ответила тетя Эм,— это так увлекательно. Давно я этим не занималась. Воображаю, что скажут Кон и твоя мать. Мне теперь, наверно, по ночам будут сниться кошмары.

— Сначала попробуй поймать на приманку Хьюберта.

— Я его всегда любила; у него наша семейная внешность,— а у тебя нет, Динни, не понимаю, откуда ты такая светлая,— и он так хорошо сидит на лошади. Кто ему шьет бриджи?

— По-моему, у него не было ни одной новой пары с самой войны.

— И такие милые длинные жилеты. Эти обрезанные по пояс жилеты так укорачивают. Я пошлю его с Джин посмотреть цветники. Ничто так не сближает, как портулак. А! Вот Босуэл-и-Джонсон — он-то мне и нужен!

Хьюберт приехал в первом часу и сразу же объявил:

— Я раздумал печатать дневник, Динни. Слишком уж противно выставлять напоказ свои болячки.

Радуюсь, что она еще ничего не успела предпринять, Динни кротко ответила:

— Хорошо, милый.

— Я вот что подумал: если мне не дадут назначения здесь, я могу поступить в суданские войска или в индийскую полицию.— там, кажется, не хватает людей. С каким удовольствием я бы опять уехал из Англии! Кто тут у них?

— Только дядя Лоренс, тетя Эм и тетя Уилмет. К обеду придет священник с детьми — это Тасборо, наши дальние родственники.

— А! — мрачно отозвался Хьюберт.

Динни наблюдала за появлением семейства Тасборо не без злорадства. Хьюберт и молодой Тасборо немедленно обнаружили, что служили в одних и тех же местах в Месопотамии и Персидском заливе. У них завязался разговор. Но тут Хьюберт обнаружил Джин. Динни заметила, как он бросил на нее долгий взгляд, удивленный, недоверчивый, словно увидел какую-то необыкновенную птицу, потом отвел глаза, снова о чем-то заговорил и засмеялся, опять посмотрел на нее и уже не мог отвести глаз.

Динни услышала голос тети:

— Хьюберт очень похудел.

Священник развел руками, словно выставляя напоказ свою внушительную комплекцию.

— В его возрасте я был куда худее.

— Я тоже, — сказала леди Монт, — такая же тоненькая, как ты, Динни.

— Приобретаем ненужные накопления, ха-ха! Поглядите на Джин, — гибкая, как тростинка, а лет через сорок... Но, может, нынешняя молодежь никогда не растолстеет. Они ведь сидят на диете... ха-ха!

За сдвинутым обеденным столом священник сидел против сэра Лоренса, между обеими пожилыми дамами. Алана посадили против Хьюберта, Динни — против Джин.

— Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

— Забавная штука эта молитва, — сказал молодой Тасборо на ухо Динни. — Благословляют убийство, правда?

— Нам подадут зайца, — сказала Динни, — а я видела, как его убивали. Он плакал, как ребенок.

— Я бы лучше съел собаку, чем зайца.

Динни бросила на него благодарный взгляд.

— Вы приедете с сестрой погостить к нам в Кондафорд?

— Только мигните!

— Когда вам надо вернуться на корабль?

— Через месяц.

— Вы, наверно, любите свою профессию?

— Да,— просто ответил он.— Это у меня в крови, у нас в семье всегда был моряк.

— А у нас солдат.

— Ваш брат молодчина. Я ужасно рад, что с ним познакомился.

— Не надо, Блор,— сказала Динни дворецкому,— дайте, пожалуйста, кусочек холодной куропатки. Мистер Тасборо тоже предпочитает что-нибудь холодное.

— Говядину, сэр, баранину или куропатку?

— Куропатку, пожалуйста.

— Как-то раз я видела, как заяц моет уши,— сказала Динни.

— Когда вы такая,— заявил молодой Тасборо,— я просто...

— Какая?

— Как будто вас здесь нет.

— Спасибо.

— Динни,— окликнул ее сэр Лоренс,— кто это сказал, что мир замкнулся в своей раковине, как устрица? А я говорю, что он закрылся в своей раковине, как американский моллюск. Ты как думаешь?

— Я не знаю, что такое американский моллюск, дядя Лоренс.

— Тебе повезло. Эта пародия на его добропорядочную европейскую разновидность — осязаемое доказательство того, что американцы — идеалисты. Они возвели этот символ своей обособленности на пьедестал и даже стали употреблять его в пищу. Когда американцы от него отрекутся, они начнут смотреть на вещи более реально и войдут в Лигу наций. Но нас к тому времени, увы, уже не будет.

Динни следила за выражением лица Хьюберта. Озабоченность слетела с него; глаза были прикованы к глубоким манящим глазам Джин. У Динни вырвался вздох.

— Вот именно,— сказал сэр Лоренс,— жаль, что мы не доживем до той поры, когда американцы отрекутся от моллюска и кинутся в объятия Лиги наций. Ведь в конце концов,— продолжал он, вздернув левую бровь,— она была основана американцем и является единственным

сколько-нибудь разумным порождением нашей эпохи. Но она по-прежнему остается самым страшным пугалом для другого американца, по имени Монро, который умер в тысяча восемьсот тридцать первом году; а такие, как Зазнайка, никогда не упоминают о ней без издевки.

Пинок, попрек и еще раз пинок,
Насмешек немного, но зато каких!

Знаешь это стихотворение Элроя Флеккера?

— Да,— с удивлением сказала Динни,— оно приводится в дневнике Хьюберта; я читала его лорду Саксендену. Как раз на этом он и заснул.

— Это на него похоже. Но не забудь, Динни,— Зазнайка чертовски хитрый субъект и знает, что к чему в этом мире. И как бы ни был противен тебе этот мир, никуда ты из него не денешься, недаром десять миллионов более или менее молодых людей недавно сложили в нем головы. Не помню,— задумчиво заключил сэр Лоренс,— когда это я так вкусно ел в собственном доме, как в последние дни; на твою тетю что-то нашло.

Собирая после обеда партнеров для партии в крокет — она сама и Алан Тасборо играли против его отца и тети Уилмет,— Динни краешком глаза видела, как Хьюберт и Джин направились к цветникам. Они тянулись от нижней террасы парка до старого фруктового сада, за которым поднимались холмистые луга.

«Ну, эти двое на портулак заглядываться не станут», — подумала Динни.

И действительно, они успели сыграть две партии, когда совсем из другой части парка показались погруженные в беседу Джин и Хьюберт. «Ну и ну,— подумала Динни, изо всех сил ударяя по шару священника,— вот это быстрота и натиск».

— Господи, спаси! — простонал потрясенный священнослужитель, а прямая, как гренадер, тетя Уилмет провозгласила на весь парк:

— Черт возьми, Динни, что ты вытворяешь!

Позднее, сидя рядом с братом в открытой машине, Динни пыталась привыкнуть к мысли, что отходит для него на второй план. Все произошло так, как она сама хотела, и все-таки ей было грустно. До сих пор она была Хьюберту ближе всех. Видя, как на губах у него то

и дело мелькает безотчетная улыбка, она призывала на помощь всю свою рассудительность.

— Ну, что ты скажешь о наших родственниках?

— Он славный парень. По-моему, он к тебе неравнодушен.

— В самом деле? Когда мы их пригласим?

— Когда угодно.

— На той неделе?

— Хорошо.

Убедившись, что ничего из него не вытянет, Динни принялась наслаждаться медленным угасанием света и красоты погожего дня. Возвышенность, уходившую в сторону Уэнтеджа и Фарингдона, заливали косые лучи солнца, а впереди грозно возвышались Уиттенхемские скалы. Свернув направо, они въехали на мост. Посреди моста она коснулась плеча Хьюберта.

— Помнишь, вон там наверху мы видели зимородков.

Остановив машину, они полюбовались на пустынную гладь реки, словно созданную для этих веселых птиц. Заходящее солнце кропило ее яркими бликами сквозь ветви ив на южном берегу. Казалось, в этой самой тихой реке на свете любое душевное движение человека найдет свой отклик; ничем не нарушая царившего здесь покоя, плавно текла она прозрачной лентой среди золотых полей и грациозных, никнувших к ней деревьев; река жила своей собственной жизнью, полная ласковой силы, прекрасная и величавая.

— Три тысячи лет назад,— сказал Хьюберт,— эта старая река была как те, что я видел в джунглях: хаотический поток во мраке лесной чащи.

Они снова тронулись в путь. Теперь они ехали спиной к солнцу, и все вокруг выглядело как нарочно для них написанный пейзаж.

Они мчались, а небо рдело отсветом заходящего солнца, и убранные поля, над которыми проносились птицы, собиравшиеся на ночлег, постепенно темнели и казались совсем заброшенными.

У ворот усадьбы Кондафорд Динни вышла из машины и, заглядывая брату в лицо, принялась вполголоса напевать: «Она была пастушка, но, боги, как прекрасна!» Впрочем, он возился с машиной и как будто не понимал намека.

Трудно понять душу молодого англичанина молчаливого склада. Разговорчивого раскусить куда легче. Его привычки и нрав сразу бросаются в глаза и мало влияют на жизнь империи. Горластый, недалекий, вечно недовольный всем и вся, признающий только себе подобных, он напоминает марево, которое мерцает над поверхностью болота и скрывает трясину под ногами. С неизменным блеском витийствует он впустую, тогда как те, кто всю жизнь не щадит себя в интересах дела, никому не видны, но зато имеют вес; ведь чувство, о котором кричат на всех перекрестках, перестает быть чувством, а чувства невысказанные крепнут в душе. У Хьюберта не было ни солидности, ни флегмы,— даже эти спасительные черты человека молчаливого у него отсутствовали. Образованный, впечатлительный и неглупый, он мог бы высказать о своих ближних и о жизни здравые суждения, которые удивили бы людей разговорчивых, но он хранил их про себя. До недавних пор у него к тому же не было для болтовни ни времени, ни возможностей; впрочем, встретив его в курительной, за обеденным столом или в любом другом месте, где орудуют крикуны, вы сразу же видели, что, даже будь у него сколько угодно времени и возможностей, он все равно не превратился бы в болтуна. Он рано ушел на войну, остался в армии, и это помешало ему расширить свои горизонты пребыванием в университете или в столице. Восемь лет в Месопотамии, Египте и Индии, год болезни и экспедиция Халлорсена ожесточили его, сделали нелюдимым и скрытным. Как все люди его склада, он не выносил праздности. Когда он бродил с ружьем и собакой или катался верхом, жизнь еще казалась ему сносной; но без этих любимых занятий он чахнул на глазах.

Через три дня после возвращения в Кондафорд Хьюберт вышел на террасу, держа в руках «Таймс».

— Погляди-ка!

Динни прочла:

«Милостивый государь,

Надеюсь, вы простите мне, что я отнимаю место в вашей газете. Как я узнал, некоторые замечания, выска-

занные в моей книге «Боливия и ее тайны», опубликованной в июле этого года, показались обидными моему помощнику капитану Хьюберту Черрелу, кавалеру ордена за особые заслуги, ведавшему транспортными средствами экспедиции. Перечитав свою книгу, я пришел к выводу, что под влиянием неудачи и переутомления я чересчур резко обрушился на капитана Черрела; в ожидании второго, исправленного издания, которое, как я надеюсь, не заставит себя ждать, я хочу воспользоваться первой возможностью, чтобы публично отказаться на страницах вашей уважаемой газеты от высказанных мною обвинений. Считаю своим долгом выразить капитану Черрелу и английской армии, в которой он служит, мои самые искренние извинения и сожаления, и с удовольствием делаю это.

Ваш покорный слуга
Эдуард Халлорсен (профессор).

Гостиница Пьемонт,
Лондон».

— Очень благородно!—сказала Динни, чувствуя легкую дрожь.

— Халлорсен в Лондоне! Какого черта он вдруг вздумал извиняться?

Динни принялась обрывать вялые листья с африканской лилии. Она начинала постигать, как опасно оказывать услуги своим ближним.

— По-видимому, он просто раскаивается.

— Станет этот тип раскаиваться! Ну уж нет! Здесь что-то кроется.

— Да, здесь кроюсь я.

— Ты!

Динни улыбнулась, но душа у нее ушла в пятки.

— Я встретила Халлорсена в Лондоне у Дианы; он приезжал и в Липпингхолл. Вот я и... гм... взялась за него.

Бескровное лицо Хьюберта залилось краской.

— Ты просила... кланчила?..

— Что ты!

— Тогда как же?..

— Кажется, я ему просто понравилась. Хочешь верь, хочешь нет, но, ей-богу, я не виновата.

— Он это сделал, чтобы добиться твоей благосклонности?

— Вот это слова, достойные порядочного мужчины и особенно брата!

— Динни!

Теперь вспыхнула Динни; она еще старалась улыбаться, но уже сердилась.

— Поверь, я не старалась его увлечь. Он поддался этой неразумной страсти, несмотря на целые ушаты холодной воды. Но, если хочешь знать мое мнение, он все не такой уж негодяй.

— Ты так думаешь? Не удивительно,— холодно сказал Хьюберт.

Лицо его побледнело и даже приняло какой-то пепельный оттенок.

Динни порывисто схватила его за рукав.

— Не глупи, дорогой! Если он решил публично принести извинения — все равно почему, пусть даже из-за меня,— разве это не к лучшему?

— Нет, если тут замешана моя сестра. Во всей этой истории я... я... — он схватился руками за голову,— я как в тисках. Каждый может меня ударить, а я не в силах и пальцем пошевелить.

К Динни вернулось все ее хладнокровие.

— Не бойся, я тебя не скомпрометирую. Письмо Халлорсена — отличная новость; теперь вся эта история лопнет, как мыльный пузырь. Раз он извинился, никто и пикнуть не посмеет.

Хьюберт молча повернулся и ушел, оставив у нее в руках газету.

Динни была лишена мелкого самолюбия. Чувство юмора помогало ей трезво оценивать собственные поступки. Конечно, нужно было предвидеть, что все обернется именно так, но что поделаешь?

Вполне понятно, что Хьюберт возмутился. Если бы Халлорсен извинился от чистого сердца, брат бы успокоился; но раз американец просто хотел угодить ей, Динни, Хьюберту было еще обиднее; и он из себя выходил при одной мысли, что сестра нравится профессору. И все же письмо опубликовано,— оно прямо и недвусмысленно признает беспочвенность обвинений и ме-

няет все дело. Динни сразу же стала соображать, как ей лучше использовать это письмо. Послать его лорду Саксендену? Раз уж она вмешалась в эту историю, отступать не стоит,— и Динни села писать.

«Усадьба Кондафорд,
21 сентября.

Дорогой лорд Саксенден,

Я беру на себя смелость послать вам вырезку из сегодняшнего «Таймса», так как думаю, что она в какой-то мере извиняет мою дерзость в тот вечер. Мне, право, не следовало надоедать вам отрывками из дневника брата в конце такого утомительного дня. Это было непростительно, и я ничуть не удивляюсь, что вы постарались от меня спастись. Но прилагаемая вырезка покажет вам, как несправедливо пострадал мой брат, и, я надеюсь, вы меня теперь простите.

Искренне ваша
Элизабет Черрел».

Вложив вырезку в письмо, Динни отыскала в справочнике лондонский адрес лорда Саксендена, надресала конверт и пометила: «Лично».

Потом она пошла искать Хьюберта, но ей сказали, что он взял машину и уехал в Лондон...

Хьюберт гнал вовсю. Разговор с Динни разозлил его. Он проехал пятьдесят с лишком миль меньше чем за два часа и остановился у гостиницы Пьемонт ровно в час. Они расстались с Халлорсеном полгода назад и с тех пор не встречались. Хьюберт послал профессору визитную карточку и стал дожидаться в холле, сам еще толком не зная, что ему скажет. Когда вслед за посыльным показалась высокая фигура американца, на Хьюберта точно столбняк напал.

— Здравствуйте, капитан Черрел! — сказал Халлорсен и протянул руку.

Пуще всего на свете Хьюберт боялся всяческих сцен: он взял протянутую руку, но не пожал ее.

— Я узнал ваш адрес из «Таймса». Где бы мы могли поговорить?

Халлорсен провел его в нишу.

— Принесите коктейли,— сказал он официанту.

— Спасибо, мне не надо. Разрешите закурить?

— Надеюсь, это трубка мира, капитан?

— Не знаю. Извинение, которое идет не от чистого сердца, ничего не стоит.

— А кто говорит, что оно идет не от чистого сердца?

— Моя сестра.

— Ваша сестра, капитан Черрел, на редкость очаровательная девушка; я бы не хотел ей противоречить.

— Можно мне говорить откровенно?

— Прошу вас.

— Тогда вот что: мне приятнее было бы обойтись без ваших извинений, чем знать, что этим я обязан вашей симпатии к одному из членов моей семьи.

— Что ж,— помолчав, сказал Халлорсен,— не могу же я написать в «Таймсе», что извинился по ошибке. Пожалуй, они этого не стерпят. Когда я работал над книгой, во мне все кипело. Я признался в этом вашей сестре, а сейчас повторяю вам. Надо было проявить снисходительность, и я жалею, что этого не сделал.

— Мне не нужна снисходительность. Я хочу справедливости. Я вас подвел или нет?

— В общем, конечно, вы распустили эту шайку, и моя песенка была спета.

— Признаю. Но чья тут вина — моя или ваша? Ведь передо мной была поставлена невыполнимая задача.

С минуту оба молча стояли, в упор глядя друг на друга. Халлорсен заговорил первый.

— Дайте руку,— сказал он,— вина была моя.

Хьюберт порывисто протянул было руку, но на полпути передумал.

— Секунду. Вы это говорите ради моей сестры?

— Нет, от всей души.

Они обменялись рукопожатием.

— Вот и хорошо,— сказал Халлорсен.— Мы с вами не ладили, Черрел; но с тех пор, как я пожил здесь в одном из ваших старых имений, я, кажется, понял почему. Я требовал от вас того, чего англичане вашего круга, как видно, дать не могут,— откровенности. Понять вас нелегко, я этого не сумел, мы говорили на разных языках. А это верный путь к тому, чтобы поссориться.

— Не знаю почему, но мы действительно все время ссорились.

— Жаль, что нельзя начать все сначала.

Хьюберт поежился.

— Ну, мне-то ничуть не жаль.

— А теперь, капитан, пообедаем вместе и скажите, чем я могу быть вам полезен? Я сделаю все, что хотите, лишь бы исправить свою ошибку.

С минуту Хьюберт молчал; лицо его оставалось невозмутимым, но руки слегка дрожали.

— Ладно,— сказал он.— Все это пустяки.

И они направились в ресторан.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Если и есть на свете правило без исключения,— что само по себе весьма сомнительно,— то оно гласит: в государственных учреждениях все происходит совсем иначе, чем предполагает частное лицо.

Более опытная и менее преданная сестра, чем Динни, не стала бы искушать судьбу. Но Динни еще не знала, что на сильных мира сего письма обычно оказывают совсем не то действие, какого ожидал отправитель. Ее письмо задело ашуг-ргорге¹ лорда Саксендена,— а с государственными деятелями шутить не стоит,— и он умыл руки в деле капитана Черрела. Неужели эта девица вообразила, будто он не заметил, как она обвела этого профессора вокруг пальца? Мало того: по иронии судьбы отказ Халлорсена от своих обвинений настроил власти на сугубо подозрительный лад; за два дня до окончания годичного отпуска Хьюберта известили, что отпуск продлен на неопределенный срок и что он переводится на половинный оклад в ожидании расследования по запросу, внесенному в палате общин членом парламента майором Мотли. В ответ на письмо Халлорсена этот отставной военный тоже опубликовал письмо, в котором спрашивал, следует ли теперь считать, что вообще не было ни убийства, ни побоев, о которых американский ученый упоминает в своей книге, и, если так, чем объяснить это вопиющее противоречие? В свою очередь, Халлорсен ответил, что факты изложены в книге

¹ Самолюбие (франц.).

правильно, но выводы сделаны ошибочные, и действия капитана Черрела были полностью оправданы.

Получив сообщение, что его отпуск продлен, Хьюберт отправился в военное министерство. Там его ничем не утешили; знакомый чиновник неофициально сообщил, что в дело «впутались» боливийские власти. Кондафорд был совершенно потрясен этой новостью. Правда, никто из четверых молодых людей — ни сам Хьюберт, ни Динни, ни брат и сестра Тасборо, которые все еще гостили в Кондафорде (Клер поехала в Шотландию), — не поняли, какая над Хьюбертом нависла угроза: ведь они еще не знали, до чего может дойти бюрократическая машина, если она пущена в ход; зато генералу это известие показалось таким зловещим, что он тут же уехал в Лондон и остановился в своем клубе.

В тот же день после чая в бильярдной Джин Тасборо спокойно спросила, натирая мелом кий:

— Что означает эта история с Боливией, Хьюберт?

— Все, что угодно. Вы же знаете, я застрелил боливийца.

— Но он же первый хотел вас убить.

— Хотел.

Она прислонила кий к столу; ее тонкие и сильные бронзовые руки сжали борт бильярда; вдруг она подошла к нему и взяла его под руку.

— Поцелуй меня, — сказала она, — я буду твоей.

— Джин!..

— Хьюберт, не надо рыцарских жестов и прочей ерунды. Я не хочу, чтобы ты расхлебывал эту кашу один. Я буду с тобой. Поцелуй меня.

Поцелуй был долгий, он примирил их обоих с жизнью, но потом Хьюберт все-таки сказал:

— Но это невозможно, Джин, пока все не уладится.

— Конечно, все уладится, но я хочу помочь это уладить. Давай поскорее обвенчаемся. Отец может выделить мне сто фунтов в год; сколько есть у тебя?

— У меня триста в год, да еще половинный оклад; правда, его могут у меня отнять.

— Значит, у нас верных четыреста фунтов в год, люди женятся, не имея и этого. А потом у нас будет больше. Конечно, мы можем обвенчаться. Где?

У Хьюберта перехватило дыхание.

— В войну,— сказала Джин,— люди женились, не откладывая, жениха ведь могли убить. Поцелуй меня еще.

Она обняла его за шею, и у Хьюберта совсем захватило дух. Так их и застала Динни.

Не меняя позы, Джин объявила:

— Мы поженимся, Динни. Как это лучше сделать? Зарегистрироваться? Оглашение в церкви — такая долгая история.

Динни даже рот раскрыла.

— Вот не думала, Джин, что ты сделаешь ему предложение так скоро.

— Пришлось. Он просто набит рыцарскими предрассудками. Отцу, конечно, регистрация не понравится; лучше, пожалуй, заpastись специальным разрешением. Для этого надо прожить на одном месте пятнадцать дней.

Хьюберт отстранил ее от себя.

— Не шути, Джин.

— А я и не шучу. Если мы возьмем разрешение, никто и знать ничего не будет заранее. Нам никто не помешает.

— Что ж,— спокойно сказала Динни,— наверно, ты права. Не надо откладывать того, чего все равно не миновать. Думаю, что дядя Хилери вас обвенчает.

У Хьюберта опустились руки.

— Обе вы рехнулись!

— Нечего сказать, вежливо,— откликнулась Джин.— Мужчины ужасно смешные; хотят, добиваются, а стоит им это предложить — начинают кудахтать, как наседки. Кто такой этот дядя Хилери?

— Священник прихода святого Августина-в-Лугах; приличия его мало заботят.

— Отлично! Завтра же поезжай в Лондон, Хьюберт; остановишься у себя в клубе. Мы приедем следом. А где мы будем жить, Динни?

— Надеюсь, Диана нас приютит.

— Тогда все в порядке. Придется по дороге заехать в Липпингхолл,— захвачу кое-какие вещи и увидаюсь с отцом. Посажу его стричь, да тут ему все и выложу,— он и пикнуть не успеет. Алан поедет с нами; нужен будет шафер. Динни, объясни Хьюберту.

Оставшись наедине с братом, Динни сказала:

— Она удивительная девушка, Хьюберт, и вовсе не сумасшедшая. Все это очень стремительно, но, пожалуй, разумно. У Джин никогда не было денег, так что хуже ей не будет.

— Дело совсем не в этом. Надо мной словно что-то нависло, а теперь нависнет и над ней.

— И будет висеть, даже если ты заупрямишься. На твоём месте я бы согласилась. Отец возражать не станет. Она ему нравится, и он предпочтет, чтобы ты женился на девушке из хорошей семьи и с характером, чем на деньгах.

— Как-то неприлично... такая спешка,— пробурчал Хьюберт.

— Но зато какая романтика; люди не успеют обсудить, правильно ты сделал или нет, а после все это примут, как должное, так всегда бывает.

— А что скажет мама?

— Если хочешь, я с ней поговорю. Она, наверно, не будет против,— ты же не поступаешь, как теперь принято, не женишься на какой-нибудь певичке. Мама просто в восторге от Джин. И тетя Эм и дядя Лоренс тоже.

Лицо Хьюберта прояснилось.

— Тогда решено. Даже не верится. И в конце концов чего мне стыдиться?

Он подошел к Динни, поцеловал ее с несвойственной ему пылкостью и выбежал из комнаты. Динни осталась одна в бильярдной, чтобы поупражняться в коротком ударе. Несмотря на внешнее спокойствие, она была очень взволнована. Объятие, которое она нечаянно застала, было таким страстным, а сама Джин — такой странной смесью темперамента и выдержки, раскаленной лавы и стали, она была такой властной и в то же время такой до смешного юной. Неизвестно, что из этого выйдет, но Хьюберт уже стал совсем другим человеком. И в то же время Динни отчетливо сознавала, что такие порывы ей самой глубоко чужды. Нет, она не отдаст своего сердца второпях. Как говаривала ее старая няня-шотландка: «Наша мисс Динни сперва семь раз отмерит, а уж потом отрежет». Ей-богу же, она нисколько не гордится своим «чувством юмора, не лишенным остроумия, которое окрашивает, а иногда выхолащивает все осталь-

ное». Наоборот, она завидует экспансивности Джин, прямодушную Алана, кипучей энергии Халлорсена. Но и у нее есть свои хорошие стороны... И она с улыбкой отправилась в комнаты матери.

Динни нашла леди Черрел в небольшом кабинете рядом со спальней — она шила муслиновые мешочки для душистой вербены, которая росла вокруг дома.

— Родненькая, — сказала Динни, — приготовься к легкому потрясению. Помнишь, я говорила, что хотела бы найти идеальную невесту для Хьюберта? Так вот, она нашлась: Джин только что сделала ему предложение.

— Динни!

— Они обвенчаются, как только смогут, по особому разрешению.

— Но...

— Вот именно, родненькая. Поэтому завтра мы едем в город; Джин и я проживем у Дианы, пока все не будет кончено. Хьюберт скажет отцу.

— Но, Динни, постой...

Динни перешагнула через гору муслина, опустилась на колени и обняла мать.

— Я взволнована не меньше тебя, — сказала она, — хоть и немного иначе — ведь не я его родила. Но, мамочка, ей-богу же, все будет хорошо. Джин — удивительное создание, а Хьюберт влюблен в нее по уши. Ему это пошло на пользу, а уж она постарается, чтобы он чего-то в жизни добился.

— А деньги?

— Они на папу не рассчитывают. Как-нибудь сведут концы с концами, а детей рожать сразу не обязательно.

— Пожалуй. Но все это так неожиданно. К чему такая спешка?

— Чутье подсказало, — прижав к себе худенькое тело матери, добавила Динни, — а у Джин его хоть отбавляй. Хьюберт сейчас и правда в очень трудном положении, мама.

— Да, это меня пугает, и я знаю, что отца тоже, хоть он ничего и не говорит.

Ни та, ни другая не захотели высказать свою тревогу откровеннее, и они принялись совещаться, где поселить влюбленную пару.

— Но почему бы им не пожить здесь, пока все не устроится? — спросила леди Черрел.

— Им будет интереснее мыть посуду самим. Самое важное сейчас — занять чем-нибудь Хьюберта.

Леди Черрел вздохнула. Да, ни писание писем, ни садоводство, ни заботы по хозяйству, ни заседания деревенских благотворительных комитетов, конечно, нельзя назвать интересным занятием, а для молодежи, которая не делает и этого, Кондафорд покажется уж совсем тоскливым.

— Да, развлечений у нас тут мало, — сказала она.

— Вот и слава богу, — пробормотала Динни, — но я чувствую, что Хьюберту сейчас нужна более бурная жизнь, и он найдет ее с Джин в Лондоне. Они могут снять дешевую квартиру. Это ведь ненадолго. Словом, мамочка, сделай вечером вид, будто ты ничего не знаешь, а мы будем знать, что ты знаешь. И у всех на душе будет спокойнее.

И, поцеловав грустно улыбающуюся мать, Динни ушла.

Наутро заговорщики встали чуть свет. По словам Джин, Хьюберт выглядел так, словно ему предстояла скачка с препятствиями; у Динни вид был решительный, но лукавый, у Алана — деловитый, в нем начинал пробуждаться настоящий шафер. Одна только Джин казалась невозмутимой. Они поехали в коричневой спортивной машине молодых Тасборо, по дороге высадили Хьюберта на станции и отправились дальше, в Липпингхолл. Машину вела Джин. Динни и Алан сидели сзади.

— Динни, — начал молодой Тасборо, — а почему бы и нам с вами не запасть с разрешением на брак?

— Вы думаете, оптом будет дешевле? Ведите себя прилично. Вы уйдете в море и позабудете обо мне через месяц.

— Неужели у меня такой вид?

Динни взглянула на его загорелое лицо.

— В профиль, да.

— Перестаньте же наконец шутить!

— Не могу; я так и вижу, как Джин срезает у отца локон и приговаривает: «Ну-ка, папа, благослови меня, а не то я выстригу тебе тонзуру», — а тот отвечает:

«Гм... ст-р-анно... не ожидал!..» — а Джин — чик

другой локон и говорит: «Значит, все в порядке; ты мне даешь сто фунтов в год, не то прощайся с бровями!»

— Джин — сущее чудовище. Обещайте хотя бы, что не выйдете ни за кого другого!

— Ну, а если я встречу кого-нибудь и он мне ужасно понравится, — неужели вы хотите, чтобы я погубила свою молодую жизнь?

— Хочу.

— Герой кинофильма ответил бы иначе.

— С вами и святой потеряет терпение.

— Но вы же не святой, а лейтенант флота. Да, кстати: я сегодня читала изречения на четвертой колонке «Таймса». Какой отличный получится шифр из «Песни песней» или из книги пророка Исайи. «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями» может означать: «Восемь немецких линкоров в Дуврской гавани. Спешите». А «змей, прямо бегущий, и левиафан, змей изгибающийся» означало бы «эскадрой командует Тирпиц» и так далее. Никто бы не сумел без ключа разгадать такой шифр.

— Я поеду побыстрее, — сказала, оглядываясь, Джин. Стрелка спидометра подскочила до сорока... сорока пяти... пятидесяти... пятидесяти пяти... Моряк взял Динни под руку.

— Еще немного — и нам крышка. Но это такой соблазнительный кусочек дороги.

Динни сидела с натянутой улыбкой; она терпеть не могла слишком быстрой езды и, когда Джин снова сбавила скорость до обычных тридцати пяти миль, жалобно сказала:

— Джин, у меня старомодные внутренности.

В Фолуэле она наклонилась вперед.

— Я не хочу показываться в Липпингхолле. Пожалуйста, поезжай прямо к вашему дому и спрячь меня где-нибудь, пока не разделаешься с отцом.

Укрывшись в столовой, Динни стала с любопытством разглядывать портрет, о котором рассказывала Джин. Внизу была надпись: «1553, Кэтрин Тастборо, née¹ Фицгерберт, лет от роду 35; супруга сэра Уолтера Тастборо».

¹ Урожденная (франц.).

Это пожелтевшее от времени лицо над брыжами, кольцом охватившими длинную шею, и правда могло быть лицом Джин лет через пятнадцать,— тот же заостренный к подбородку овал, те же продолговатые колдовские глаза под темными ресницами; даже руки были точной копией бронзовых рук Джин. Как сложилась жизнь этой удивительной прабабки, знают ли это сегодняшние Тасборо, и не повторит ли ее судьбу Джин?

— Как похожа на Джин, правда?— сказал молодой Тасборо.— Судя по всему, она была молодчага; говорят, инсценировала собственные похороны и бежала из Англии, когда Елизавета взялась за католиков в шестидесятых годах шестнадцатого века. Знаете, какая судьба ожидала тогда каждого, кто служит мессу? Выпустить кишки считалось сущим пустяком. Христианская религия! Нечего сказать! Наверно, эта дама не зевала. Держу пари, что ее не раз штрафовали за быструю езду.

— Какие новости с фронта военных действий?

— Джин отправилась в кабинет со старым номером «Таймса», полотенцем и ножницами. Остальное покрыто мраком неизвестности.

— Откуда бы нам подсмотреть, как они будут выходить из кабинета?

— Сядем на лестницу. Они нас не заметят, если не пойдут вверх.

Они вышли в холл и сели в темном уголке лестницы, откуда сквозь перила видна была дверь кабинета. Затаив дыхание, как в детстве, Динни ждала, не спуская глаз с этой двери. Вдруг оттуда появилась Джин с газетным кульком в одной руке и ножницами в другой и сказала, обернувшись назад:

— Помни, папочка, сегодня тебе нельзя выходить без шляпы.

В ответ слышалось нечто нечленораздельное, и дверь закрылась. Динни перегнулась через перила.

— Ну, как?

— Все в порядке. Немножко поворчал,— неизвестно, кто его теперь будет стричь и прочее, да и брак без оглашения он считает не совсем приличным; но сотню в год дает. Когда я уходила, он набивал трубку.— Она по-

стояла, разглядывая кулек.— Ну, и зарос же он. Сейчас пообедаем, Динни, а потом двинемся.

За обедом священник был галантен, как всегда, и Динни смотрела на него с восхищением. Этот пожилой вдовец вот-вот лишится единственной дочери, которая несет все хлопоты по дому и приходу и даже стрижет отца, и все же он остается невозмутимым и даже не жалуется. Чем это объяснить — воспитанием, добродушием или чувством облегчения, совсем недостойным христианина? Этого Динни не могла решить, и сердце ее сжалось. Скоро на его месте окажется Хьюберт. Она внимательно посмотрела на Джин. Да, эта тоже сумеет справиться собственные похороны, если не чужие; но командовать она будет грациозно, не надсаживая горла, и никогда не станет вести себя как вульгарная кумушка. Эх, если б у них с Хьюбертом хватило чувства юмора!

После обеда священник отвел Динни в сторону.

— Моя милая Динни,— если вы разрешите вас так называть,— что вы на это скажете? И что говорит ваша матушка?

— Нам обоим это напоминает детский стишок: «Филин и кошечка поехали кататься по морю...»

— «...в красивой зеленой лодочке». Все это так, боюсь только, что у Джин и вашего брата нет «целой кучи денег», как у филина и кошечки. Однако,— добавил он задумчиво,— Джин хорошая девочка и очень... м-м... энергичная. Я рад, что наши две семьи снова... м-м... соединятся. Мне ее будет не доставать, но нельзя же быть... м-м... эгоистом.

— Не знаешь, где найдешь, где потеряешь,— рискнула сказать Динни.

В голубых глазах священника мелькнул веселый огонек.

— Да,— сказал он,— нет худа без добра. Джин не хочет, чтобы я был посаженным отцом. Вот ее метрика на случай... м-м... если возникнут вопросы. Она совершеннолетняя.— Он передал Динни пожелтевшую бумажку.— Господи боже мой! — вздохнул он от души.— Господи боже мой!

Динни так и не решила, стоит ли его жалеть. Скоро они снова отправились в путь.

Высадив Алана Тасборо у дверей его клуба, обе девушки поехали дальше в Челси. Телеграммы Динни не посылала, надеясь на свое счастье. У дома на Оклестрит она вышла из машины и позвонила. Дверь открыла пожилая горничная, лицо у нее было испуганное.

— Миссис Ферз дома?

— Нет, мисс, дома капитан Ферз.

— Капитан Ферз?

Оглядевшись по сторонам, горничная зашептала:

— Да, мисс; мы совсем голову потеряли; не знаем, что и делать. Сегодня днем является вдруг капитан Ферз, а нам ничего и не говорили. И хозяйки нет дома. Ей принесли телеграмму, а ее взял капитан Ферз; потом кто-то звонил ей два раза по телефону, но передавать ничего не велел.

Динни подыскивала слова, чтобы спросить про самое страшное.

— Как... как он выглядит?

— Не знаю, что и сказать, мисс. Ни словом не обмолвился, только спросил: «Где хозяйка?» Выглядит-то он неплохо, но мы ведь ничего не знали, вот мы и боимся; дети дома, а где хозяйка — не знаем.

— Подождите минутку, — сказала Динни и вернулась к машине.

— В чем дело? — спросила Джин, выходя к ней. Девушки посовещались на тротуаре, а в дверях стояла горничная и не сводила с них встревоженных глаз.

— Надо разыскать дядю Адриана, — сказала Динни. — Ведь тут дети.

— Поезжай, а я войду и подожду тебя. У горничной такой испуганный вид.

— Кажется, он был буйным, Джин; знаешь, а вдруг он сбежал?

— Бери машину. Ничего со мной не случится.

Динни сжала ее руку.

— Я возьму такси; тогда у тебя будет машина, если придется уехать.

— Хорошо. Объясни ей, кто я такая, и поезжай. Уже четыре часа.

Динни кинула взгляд на дом и вдруг заметила в окне

столовой чье-то лицо. Она видела Ферза всего два раза, но тут же его узнала. Забыть его было невозможно: лицо его было словно пылающий за решеткой огонь — резко очерченное, суровое, широкоскулое, с усами щеточкой; в густых темных волосах проступала седина, отливавшие сталью глаза беспокойно мерцали. Глаза эти уставились сейчас на нее с такой горячечной напряженностью, что у нее защемило сердце, и она отвернулась.

— Не смотри вверх! Он там, в окне,— сказала она Джин.— Если бы не глаза, он выглядел бы совсем нормальным.... Давай либо вместе уйдем, либо обе останемся.

— Нет, со мной ничего не случится, поезжай,— и Джин вошла в дом.

Динни поторопилась уйти. Ее потрясло это неожиданное появление человека, которого все считали неизлечимо больным. Она не знала, при каких обстоятельствах Ферза поместили в клинику, да и вообще знала о нем только одно — он совершенно измучил Диану перед тем, как окончательно сдвинулся; она решила, что найти выход сможет только Адриан. Дорога в музей казалась нескончаемо долгой, но Адриан еще не ушел, и Динни сбивчиво ему все рассказала, а он только с ужасом на нее глядел.

— Ты не знаешь, где Диана? — спросила она в заключение.

— Вечером она будет у Флер и Майкла. Я тоже туда собирался. Но где она сейчас, я не знаю. Поедем на Окли-стрит. Все это как гром среди ясного неба.

Они сели в такси.

— Дядя, а ты бы не мог позвонить в клинику?

— Нет, сначала я должен поговорить с Дианой. По-твоему, он выглядит нормально?

— Да. Только глаза... но я помню,— они у него всегда были такие.

Адриан схватился за голову.

— Какой ужас! Бедная моя девочка!

У Динни заныло сердце: ей было мучительно жаль их обоих.

— Как страшно,— добавил Адриан,— что возвращение этого бедняги вызывает во мне только ужас. Господи! Плохо дело, Динни, плохо дело!

Динни сжала его руку.

— Дядя, а что говорит закон?

— Бог его знает! Официально он никогда не был признан сумасшедшим. Диана этого не хотела. Он находился в частной клинике.

— Но не мог же он выйти сам, по своей воле, так, чтобы об этом не сообщили близким?

— Кто знает, что там произошло? Может, он такой же безумный, как раньше, и сбежал оттуда в минуту просветления. Но что бы мы ни делали,— и тут Динни глубоко тронуло выражение его лица,— нам надо думать не только о себе, но и о нем. Разве можно мучить его еще больше? Бедный Ферз! Любая беда — болезнь, бедность, пороки, преступления,— ничто не может быть трагичнее психического расстройства.

— Дядя,— сказала Динни,— а что будет ночью?

Адриан застонал.

— От этого мы должны ее избавить любым путем.

В конце Окли-стрит они отпустили такси и дошли до двери пешком...

Войдя в дом, Джин сказала горничной:

— Я мисс Тасборо. Мисс Динни поехала за мистером Черрелом. Гостиная у вас наверху? Там я и подожду. Он уже видел детей?

— Нет, мисс. Он пришел полчаса назад. Они наверху, в классной комнате, с ними мадмуазель.

— Тогда я буду посередине,— сказала Джин.— Проводите меня наверх.

— Посидеть с вами, мисс?

— Нет. Подкараульте миссис Ферз и сразу ее предупредите.

Горничная посмотрела на Джин с восхищением и оставила ее в гостиной. Приоткрыв дверь, Джин прислушалась. Все было тихо. Она принялась неслышно расхаживать взад и вперед, от двери к окну. Как только она увидит Диану, она побежит к ней вниз; если же Ферз поднимется по лестнице, она выйдет ему навстречу. Сердце ее билось чуть быстрее, чем обычно, но она и не думала волноваться. Так она продежурила четверть часа и вдруг услышала за спиной шорох; обернувшись, она увидела, что в дверях стоит Ферз.

— Ах! — сказала она. — Я дожидаюсь миссис Ферз; вы, наверно, капитан Ферз?

Он поклонился.

— А вы?

— Джин Тасборо. Боюсь, что вы меня не знаете.

— Кто это был с вами?

— Динни Черрел.

— Куда она пошла?

— По-моему, повидать своего дядю.

Ферз издал странный звук, какое-то подобие смеха.

— Адриана?

— Кажется, да.

Он постоял, обводя горящими глазами уютную комнату.

— Здесь еще уютнее, чем прежде, — сказал он, — я некоторое время отсутствовал. Вы знакомы с моей женой?

— Я познакомилась с ней у леди Монт.

— В Липпингхолле? Диана здорова?

Слова вырывались у него отрывисто и с каким-то жадным нетерпением.

— Да, совершенно здорова.

— И все такая же красивая?

— Очень.

— Спасибо.

Разглядывая его с ног до головы из-под длинных ресниц, Джин не заметила в нем и тени сумасшествия. Выглядел он так, как ему и полагалось, — военный в штатском, очень подтянутый, сдержанный, вот и все... если бы не глаза...

— Я не видел жены четыре года, — продолжал он, — и хочу встретиться с ней наедине.

Джин двинулась к двери.

— Я пойду, — сказала она.

— Нет! — крикнул он с неожиданной резкостью. — Стойте!

И он загородил собой дверь.

— Почему?

— Я сам хочу сказать ей, что вернулся.

— Конечно.

— Тогда оставайтесь здесь!

Джин вновь отошла к окну.

— Как хотите,— сказала она.

Наступило молчание.

— Что вы обо мне слышали? — неожиданно спросил он.

— Почти ничего. Я знаю, что вы были нездоровы.

Он отошел от двери и шагнул к ней.

— Вы находите, что со мной что-то неладно?

Джин подняла голову и выдержала его взгляд, наконец он сам отвел глаза.

— Нет. Вы выглядите совершенно здоровым.

— Я и в самом деле здоров. Садитесь, пожалуйста.

— Спасибо.

Джин села.

— Вот-вот,— сказал он.— Смотрите на меня, смотрите.

Джин стала смотреть себе под ноги. У Ферза снова вырвалось нечто вроде смеха.

— Вы, видно, никогда не были психически больны, а не то вы бы знали,— все смотрят на вас, и вам приходится все время на всех смотреть. Ну вот, теперь я пойду вниз. *Au revoir*.

Он быстро повернулся и вышел, захлопнув за собой дверь. Джин не шелохнулась, выжидая, не войдет ли он снова. Она сидела как побитая, ее знобило, будто она долго простояла возле огня. Дверь была закрыта, и Джин поднялась, чтобы ее отворить. Но она оказалась запертой. Джин постояла, раздумывая, как ей быть. Позвонить? Постучать и позвать горничную? Она решила не делать ни того, ни другого, подошла к окну и стала глядеть на улицу. Скоро вернется Динни, и она ее окликнет. Джин хладнокровно припоминала всю сцену с начала до конца. Он ее запер, чтобы никто не помешал его встрече с женой,— он всех подозревает, естественно! На миг в ее юной, но не очень чувствительной душе мелькнуло сострадание: ужасно, когда на тебя смотрят как на сумасшедшего! Бедняга! Она прикинула, удастся ли вылезти из окна, не привлекая внимания прохожих, и, решив, что не удастся, стала ждать, не появится ли на улице помощь. И вдруг без всякого повода она вздрогнула. Глаза! Как страшно быть его женой! Джин пошире распахнула окно и высунулась наружу...

Увидев высунувшуюся из окна Джин, Динни и Адриан застыли на ступеньках крыльца.

— Меня заперли в гостиной, — негромко сказала Джин. — Неплохо бы вам меня выпустить.

Адриан отвел племянницу к машине.

— Подожди здесь, Динни. Я пришлю ее сюда. Не надо устраивать сцен.

— Осторожно, дядя! Ты сейчас как Даниил, вступающий в ров со львами.

Адриан слабо улыбнулся и позвонил. Ему открыл сам Ферз.

— А! Черрел? Входите.

Адриан протянул руку, но она повисла в воздухе.

— Вряд ли я могу рассчитывать на радушный прием, — сказал Ферз.

— Что вы, дорогой мой...

— Нет, я вряд ли могу рассчитывать на радушный прием, но я хочу повидать Диану. Не пытайтесь мне помешать, Черрел, — ни вы, ни кто другой.

— Никто и не собирается вам мешать. Вы не возражаете, если я схожу за Джин Тасборо? Динни ждет ее в машине.

— Я ее запер, — угрюмо сказал Ферз. — Вот ключ. Отправьте ее домой.

Он ушел в столовую.

Джин стояла за дверью.

— Ступайте к Динни, — сказал Адриан, — и уезжайте обе. Я справлюсь сам. Надеюсь, ничего с вами не случилось?

— Он меня только запер.

— Скажите Динни, что Хилери наверняка сможет устроить вас обеих у себя. Поезжайте к нему, а я буду знать, где вас найти, если вы мне понадобится. Вы храбрая девушка.

— Подумаешь, — сказала Джин. — До свидания! — И сбежала с лестницы.

Адриан услышал стук входной двери и медленно спустился в столовую. Ферз стоял у окна и смотрел, как уезжают девушки. Он круто повернулся. Это было движение человека, привыкшего, что за ним подглядывают.

Ферз мало изменился: немного пополнил, выглядел спокойнее, в волосах прибавилось седины — вот и все. Одет он был щегольски. как и всегда, держал себя уверенно, глаза его... но вот глаза-то...

— Да,— сказал Ферз, словно прочитав его мысли,— конечно, вам меня жаль, но вы хотели бы, чтобы я умер. Да и кто бы не хотел? Вольно мне было свихнуться. Но теперь я в здравом уме, Черрел, имейте это в виду. В здравом уме? Да, он казался совсем нормальным. Но сможет ли он выдержать хоть малейшее нервное напряжение?

Ферз заговорил снова:

— Все вы думали, что у меня это навсегда. Месяца три назад я стал поправляться. Когда я это понял, я никому ни гугу. Те, кто к нам приставлены,— в голосе его зазвучала горечь,— ни за что не хотят поверить, что ты выздоровел, и если бы это зависело от них, мы бы во-все не выздоравливали. Им это, понимаете, невыгодно.— И глаза Ферза, сверля собеседника, казалось, добавляли: «И вам и ей тоже».— Вот я и ни гугу. У меня хватило силы воли, выздоровев, притворяться три месяца. Только с неделю, как я дал им понять, что могу отвечать за свои поступки. Им нужно куда больше недели, чтобы они решились написать об этом домой. А я не хотел, чтобы они писали домой. Я хотел приехать прямо сюда такой, как я есть. Я не желал, чтобы Диану или кого бы то ни было предупреждали. И должен был поверить себя, что я и сделал.

— Ужасно! — чуть слышно прошептал Адриан.

Ферз снова впился в него глазами.

— Вы были влюблены в мою жену, Черрел, и все еще ее любите. Ну, и как?

— По-прежнему мы только друзья, — ответил Адриан.

— Так я вам и поверил.

— Воля ваша. Но мне нечего больше сказать, разве только одно: как и всегда, я думаю прежде всего о ней.

— Так вот почему вы здесь?!

— Боже мой, разве вы не понимаете, какое это будет для нее потрясение? Неужели вы не понимаете, что она вынесла в свое время? Неужели вы думаете, что она

это забыла? Разве не разумнее будет по отношению к ней,— да и к вам тоже,— если вы поедете, ну хотя бы ко мне, и на первый раз встретитесь с ней там?

— Нет; я встречусь с ней здесь, в моем собственном доме.

— Здесь она прошла через ад. Может, вы и правильно сделали, скрыв свою поправку от врачей, но вы, безусловно, не правы, если собираетесь так ошеломить Диану.

Ферз яростно взмахнул рукой.

— Вы не хотите меня к ней пускать!

Адриан опустил голову.

— Допустим,— мягко произнес он.— Но, послушайте, Ферз, вы ведь можете понять положение не хуже меня. Поставьте себя на ее место. Вообразите, что она входит — как может войти сейчас каждую минуту — и неожиданно видит вас, ничего не подозревая о вашем выздоровлении; а ведь ей нужно время, чтобы в него поверить, после всего, что еще так свежо в ее памяти. Ведь вы же сами себя режете.

Ферз застонал.

— Но я наверняка себя зарежу, если спасую... Вы думаете, я сейчас кому-нибудь верю? Попробуйте сами... попробуйте пожить там четыре года, сами увидите! — Глаза его окинули комнату.— Попробуйте все время находиться под надзором, как набедокуливший мальчишка. Последние три месяца, совсем уже здоровый, я насмотрелся, как их там лечат... Если уж собственная жена не поверит, что я в здравом уме и твердой памяти,— чего мне ждать от других?

Адриан подошел к нему.

— Спокойней! — сказал он.— Вы делаете ошибку. Только она и знала вас в самые худшие минуты. Для нее все это сложнее, чем для кого бы то ни было.

Ферз закрыл лицо руками.

Адриан ждал ответа, бледный от волнения; но, когда Ферз отнял руки от лица, Адриан не смог вынести его взгляда и отвел глаза.

— Одиночество! — сказал Ферз.— Попробуйте свихнуться, Черрел, тогда вы будете знать, что такое полное одиночество до конца ваших дней.

Адриан положил руку ему на плечо.

— Послушайте, дружище, в моей берлоге есть свободная комната,—переезжайте ко мне, пока все не наладится.

Внезапно лицо Ферза исказилось; он бросил острый, недоверчивый взгляд на Адриана, но тут же успокоился, в глазах его мелькнуло выражение благодарности, ее сменила горечь, наконец он опять смягчился.

— Вы всегда были порядочным человеком, Черрел; но нет, спасибо... не могу. Я должен остаться здесь. И у зверя есть нора,—моя нора здесь.

Адриан вздохнул.

— Что ж, хорошо; тогда подождем ее. Вы уже видели детей?

— Нет. Они меня помнят?

— Не думаю.

— Они знают, что я жив?

— Да. Они знают, что вы больны и в отъезде.

— А про это?..—Ферз коснулся своего лба.

— Нет. Давайте поднимемся к ним?

Ферз покачал головой, и в этот миг Адриан увидел в окно, что идет Диана. Он спокойно направился к двери. Что делать, что ей сказать? Он уже взялся за ручку, но Ферз оттолкнул его и прошел в холл. Диана отперла дверь своим ключом. Адриан увидел, как мертво побледнело ее лицо под маленькой шляпкой. Она прислонилась к стене.

— Не волнуйтесь, Диана,—поспешил сказать Адриан и распахнул дверь в столовую.

Она оторвалась от стены и прошла мимо них в столовую; Ферз шагнул за ней.

— Если я вам понадоблюсь, я буду здесь,—сказал Адриан и закрыл за ними дверь.

Муж и жена стояли друг против друга, тяжело дыша, словно пробежали сто ярдов, а не прошли всего три.

— Диана! — сказал Ферз.— Диана!

Казалось, она лишилась дара речи, и он повысил голос:

— Я совсем здоров. Ты мне не веришь?

Она опустила голову и продолжала молчать.

— Неужели у тебя не найдется для меня ни слова?

— Это... это от неожиданности.

— Я вернулся совершенно здоровым. Я здоров уже три месяца.

— Я рада... так рада.

— Боже мой! Ты все такая же красивая.

Он вдруг схватил ее, крепко прижал к себе и стал жадно целовать. Когда он ее отпустил, она упала на стул, задыхаясь и глядя на него с таким ужасом, что он закрыл лицо руками.

— Рональд... я не могу... не могу, чтобы все было, как раньше. Не могу... не могу!

Он бросился перед ней на колени.

— Я не хотел тебя пугать. Прости меня!

В полном изнеможении оба встали и отошли друг от друга.

— Нам надо поговорить спокойно,— сказал Ферз.

— Да.

— Ты не хочешь, чтобы я жил здесь?

— Это твой дом. Поступай так, как тебе будет лучше.

У него опять вырвалось нечто похожее на смех.

— Для меня будет лучше, если и ты и все остальные станете относиться ко мне так, будто со мной ничего не случилось.

Диана молчала. Она молчала так долго, что у него снова вырвался тот же странный смешок.

— Не надо! — сказала она. — Я постараюсь. Но я должна... у меня должна быть... своя комната.

Ферз поклонился. Внезапно он метнул на нее подозрительный взгляд.

— Ты любишь Черрела?

— Нет.

— Кого-нибудь другого?

— Нет.

— Значит, боишься?

— Да.

— Понимаю. Естественно. Что ж, не нам, богом обиженным, ставить условия. Бери, что дают. Пошли, пожалуйста, туда телеграмму, чтобы они прислали мои вещи. Тогда они не смогут поднять шум. Я ведь ушел отсюда, не простившись. Наверно, мы и должны им еще что-нибудь.

— Конечно. Я обо всем позабочусь.

— Можем мы теперь отпустить Черрела?

— Я ему скажу.

— Позволь мне.

— Нет, Рональд, это я сделаю сама,— и она решительно прошла мимо него.

Адриан стоял, прислонившись к стене напротив двери. Подняв на нее глаза, он попытался улыбнуться; он угадал развязку.

— Рональд будет жить здесь, но отдельно. Друг мой, спасибо за все. Пожалуйста, снесите с клиникой от моего имени. Я буду сообщать вам обо всем. Теперь мы пойдем с ним к детям. Прощайте!

Адриан поцеловал ей руку и вышел из дома.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Хьюберт Черрел стоял на пороге отцовского клуба на Пел-Мел,—это был клуб для высшего офицерства, куда ему еще не было доступа. Ему было немного не по себе, потому что он питал к отцу уважение, несколько необычное в наши дни, когда с отцом обращаются как с недорослем или говорят о нем «мой старикан». Вот почему он волновался, переступая порог этого дома, где люди крепче, чем где бы то ни было, цеплялись за привилегии и предрассудки своего века. Впрочем, в тех людях, которые находились в комнате, куда его провели, незаметно было ни заботы о своих привилегиях, ни предрассудков. Невысокий живой человек с бледным лицом и щетинистыми усиками покусывал кончик пера, пытаясь сочинить письмо в «Таймс» о полсжении в Ираке; скромного вида бригадный генерал с лысиной и седыми усами обсуждал с высоким, скромного вида подполковником особенности флоры на Кипре; какой-то совершенно квадратный человек с квадратным лицом и свирепым взглядом сидел на подоконнике так задумчиво, как будто только что похоронил свою тетку, и раздумывал, не переплыть ли ему летом Ламанш; а сэр Конвей читал «Альманах Уитэкера».

— А, Хьюберт! Здесь тесно. Пойдем в холл.

Хьюберт сразу почувствовал что не только он со-

бирается сообщить кое о чем отцу, но и тот хочет сообщить кое о чем ему. Они уселись в нише.

— Зачем ты приехал?

— Папа, я собираюсь жениться.

— Жениться?

— На Джин Тасборо.

— Вот как?

— Мы хотим взять особое разрешение и не устраивать никакой шумихи.

Генерал покачал головой.

— Она прекрасная девушка, и я рад за тебя, но дело в том, что положение твое осложняется. Я сегодня кое-что об этом узнал.

Хьюберт вдруг заметил, какой у отца измученный вид.

— Вся каша заварилась из-за туземца, которого ты пристрелил. Требуют твоей выдачи по обвинению в убийстве.

— Что?

— Чудовищная история, но мне не верится, что они будут на этом настаивать: ведь, ты говоришь, он напал на тебя первый,— к счастью, у тебя остался на руке шрам. В боливийских газетах, по-видимому, поднялась дьявольская буча, а все эти туземцы стоят друг за друга.

— Мне надо сейчас же повидать Халлорсена.

— Надеюсь, правительство не станет торопиться.

Отец и сын долго сидели в большом холле, молча уставившись в пространство с одинаковым выражением лица. Где-то в глубине души они давно побаивались, что дело примет такой оборот, но ни тот, ни другой не позволяли себе в этом сознаться; не мудрено, что удар оказался для них таким болезненным. Генерал страдал еще больше, чем Хьюберт. Мысль о том, что его единственного сына потащат на другой конец света по обвинению в убийстве, мучила его, как кошмар.

— Бесполезно терзаться заранее, Хьюберт,— сказал он наконец,— если в стране сохранилась хоть капля здравого смысла, никто этого не допустит. Я старался припомнить, у кого из наших знакомых есть настоящие связи. В таких делах я беспомощен,— а ведь есть люди, перед которыми все двери открыты, и они умеют

этим пользоваться. Давай-ка сходим к Лоренсу Монту; он знаком с Саксенденом, это я знаю, и, наверно, еще с кем-нибудь в министерстве иностранных дел. Обiske Боливии мне рассказал Топшем, но сделать он ничего не может. Пройдемся пешком. Нам полезно.

Хьюберт был глубоко тронут, что отец так близко принимает к сердцу его неприятности; он ласково взял его под руку, и они вышли на улицу. На Пикадилли генерал, явно пересиливая себя, заговорил о постороннем:

— Ох, не по душе мне все эти перемены!

— Какие же тут перемены, разве что Девонширский дворец перестроили.

— Да, как ни странно: дух старой Пикадилли еще жив, его не убьешь. Правда, теперь здесь больше не встретишь ни одного цилиндра, но, в сущности, все осталось по-старому. Когда я первый раз прошелся по Пикадилли после войны, я испытывал то же, что и тогда, когда зеленым юнцом вернулся из Индии. Каждый раз радуешься, что ты наконец опять дома.

— Да, по ней как-то странно тоскуешь. Я ловил себя на этом и в Месопотамии и в Боливии. Закроешь, бывало, глаза — и вот Пикадилли перед тобой.

— Дух Англии... — начал было генерал и умолк, словно удивившись, что вдруг заговорил так высокопарно.

— Даже американцы, и те это чувствуют, — заметил Хьюберт, когда они свернули на Хаф-Мун-стрит. — Халлорсен говорил мне, что у них нет ничего подобного, — «никакого средоточия национального духа», как он выразился.

— А все-таки их национальный дух чувствуется, — сказал генерал.

— Конечно, но чем они берут? Может быть, своим быстрым ростом?

— А куда их это привело? Повсюду и никуда. Нет, скорее всего это их деньги.

— Знаешь, что я заметил? Большинство людей на этот счет ошибается, — сами американцы не так уж любят деньги. Главное, побыстрее их заработать, но они предпочитают так же быстро их потерять, лишь бы не копить понемножку.

— Плохо, когда у страны нет души,— сказал генерал.

— Страна у них чересчур велика. И все-таки у них есть что-то вроде души: национальная гордость.

Генерал кивнул.

— Смешные старые улочки. Помню, мы шли здесь с отцом с Керзон-стрит в клуб Сент-Джеймс в тысяча восемьсот восемьдесят втором году — в тот день, когда я поступил в Харроу; ни одного камня здесь с тех пор не сдвинули.

Болтая о чем угодно, кроме того, что их волновало, они дошли до Маунт-стрит.

— А вот тетя Эм; не говори ей ничего.

В нескольких шагах от них величественно плыла домой леди Монт. Они нагнали ее почти у самых дверей.

— Кон,— сказала она,— ты похудел.

— Детка, я никогда не был полным.

— Да. Хьюберт, я хотела у тебя что-то спросить. Вспомнила! Но Динни говорит, что у тебя не было бриджей с самой войны. Как тебе понравилась Джин? Правда, хорошенькая?

— Да, тетя Эм.

— Ее даже из школы не выгнали.

— А почему ее должны были выгнать?

— Ну, кто их знает. Но я ее никогда не боялась. Вам нужен Лоренс? Теперь он занят Вольтером и Свифтом. Зря, их и так уже разобрали по косточкам, но ему нравится в них копаться, потому что они кусаются. А как насчет этих мулов, Хьюберт?

— В каком смысле?

— Никак не запомню, осел у них самец или самка?

— Осел самец, тетя Эм, а самка — кобыла.

— Да, да, и у них не бывает детей,— какое счастье. Где Динни?

— Где-то в городе.

— Ей пора замуж.

— Почему? — спросил генерал.

— Просто так. Ген говорит, из нее выйдет хорошая фрейлина — она не эгоистка. Вот в чем беда!

И, вынув из сумочки ключ от входной двери, леди Монт вложила его в скважину.

— Не могу приучить Лоренса пить чай... а вы хотите?

— Нет, спасибо.

— Он пыхтит у себя в библиотеке.— Поцеловав брата и племянника, она поплыла наверх.— Ничего не понимаю...— донеслось до них, когда они входили в библиотеку.

Сэра Лоренса они застали погруженным в труды Вольтера и Свифта,— он писал воображаемый диалог между этими двумя светочами ума. Рассказ генерала он выслушал мрачно.

— Я слышал, что Халлорсен покаялся в своих злодеяниях,— сказал он, когда шурин кончил,— это дело рук Динни. Пожалуй, нам надо с ним повидаться — не здесь, у нас нет повара, Эм все еще худеет,— мы можем поужинать в Кофейне.

И он поднял телефонную трубку.

Профессора Халлорсена ожидали в гостинице к пяти часам и обещали сразу же все ему передать.

— Такие дела скорее идут по ведомству министерства иностранных дел, чем полиции,— продолжал сэра Лоренс.— Сходим-ка мы повидаться со старым Шропширом. Он должен был хорошо знать твоего отца, Кон, а его племянник Бобби Феррар — одно из немеркнущих светил министерства иностранных дел. Старый Шропшир всегда сидит дома.

В особняке Шропширов сэра Лоренс спросил:

— Можно видеть маркиза, Поммет?

— Кажется, у него сейчас урок, сэра Лоренс.

— Урок — чего?

— Гейнштейна... кажется так, сэра Лоренс?

— Значит, слепой взял в поводыри слепого и надо его выручать. Впустите нас при первой же возможности, Поммет.

— Слушаю, сэра Лоренс.

— Восемьдесят четыре года — и изучает Эйнштейна! Кто сказал, что аристократия вырождается? Хотел бы я, однако, взглянуть на того типа, который его учит: вот, верно, мастер заговаривать зубы,— со старым Шропширом шутки плохи.

В эту минуту в холле появился человек аскетического вида с изрядной лысиной и холодным, непроницаемым

взглядом; взяв со стула шляпу и зонтик, он вышел на улицу.

— Поглядите на него! — сказал сэр Лоренс. — Интересно, сколько он берет за урок? Эйнштейн — непостижим, он вроде электрона или витамина; это самый наглядный случай вымогательства, какой мне попадался в жизни. Пойдем.

Маркиз Шропшир разгуливал по кабинету, покачивая головой в такт своим мыслям.

— А, молодой Монт! — сказал он, повернув к ним энергичное румяное лицо с седой бородкой. — Видали этого человека? Если он вам предложит давать уроки по теории Эйнштейна, — не соглашайтесь. Он так же не может объяснить, что такое ограниченное и в то же время беспредельное пространство, как и я.

— Этого не может и сам Эйнштейн.

— Я еще слишком молод, чтобы заниматься чем-нибудь, кроме точных наук, — сказал маркиз. — И я его прогнал. С кем имею удовольствие познакомиться?..

— Мой шурин, генерал сэр Конвей Черрел, и его сын, капитан Хьюберт Черрел, кавалер ордена «За особые заслуги». Вы, наверно, помните отца Конвея — он был послом в Мадриде.

— Да, да, ну конечно! Я знаю и вашего брата Хилери — огонь, а не человек. Садитесь! Садитесь, юноша. В чем дело, Монт-младший, — вы не насчет электричества?

— Не совсем, маркиз; скорее по поводу выдачи преступника.

— Вот как?

Маркиз поставил ногу на стул и облокотился о колено, подперев рукой подбородок. Пока генерал рассказывал, он продолжал стоять в такой позе, разглядывая Хьюберта, — тот сидел, сжав губы и опустив глаза. Когда генерал окончил, маркиз спросил:

— Кажется, ваш дядя сказал, что вы кавалер ордена «За особые заслуги». Получили на войне?

— Да, сэр.

— Сделаю, что смогу. Покажите, пожалуйста, шрам.

Хьюберт закатал левый рукав, расстегнул запонку и показал руку; длинный зловещий шрам тянулся от кисти почти до самого локтя.

Маркиз тихонько свистнул сквозь зубы,— они еще были у него настоящие.

— Легко отделались, молодой человек.

— Да, сэр. Я заслонился рукой как раз, когда он ударил.

— А потом?

— Отскочил и застрелил его, когда он бросился на меня опять. Тут я потерял сознание.

— Вы говорите, что избили этого человека за то, что он плохо обращался с мулами?

— Он постоянно их мучил.

— Постоянно? — повторил маркиз.— Кое-кто полагает, что владельцы боен и Зоологическое общество тоже мучают животных, но я что-то не слышал, чтобы их там били. Как видите, на вкус и на цвет товарищей нет. Дайте-ка подумать, чем я могу помочь. Скажите, Монт-младший, Бобби в городе?

— Да, маркиз. Вчера я видел его в Кофейне.

— Я позову его завтракать. Если не ошибаюсь, он не разрешает детям заводить кроликов и держит собаку, которая кусается. Это, вероятно, то, что нам надо. Всякий, кто любит животных, с радостью избежит всякого, кто их не любит. А теперь, прежде чем уйти, скажите-ка мне, Монт-младший, что вы об этом думаете?

Маркиз пошел в угол, взял прислоненный к стене холст и повернул его к свету. На нем была весьма приблизительно изображена раздетая молодая женщина.

— Это Стейнвич,— сказал маркиз.— Сможет она кого-нибудь соблазнить, а? Если ее повесить.

Сэр Лоренс вставил в глаз монокль.

— Школа продолговистов,— сказал он.— Вот что получается, маркиз, когда живут с высокими женщинами. Нет, соблазнить она никого не может, зато расстроит пищеварение,— зеленое тело, волосы цвета помидора, вся в кляксах. Вы ее купили?

— Да как вам сказать...— ответил маркиз,— но, говорят, она дорого стоит. А вы... вы бы случайно ее не взяли?

— Для вас, сэр, я готов на многое, но только не на это! Нет,— повторил сэр Лоренс и попятился,— только не на это!

— Я так и думал,— сказал маркиз,— а ведь гово-

рят, в ней есть что-то динамическое! Ну, ничего не поделаешь. Мне нравился ваш отец, генерал,— добавил он серьезным тоном,— и если слово его внука весит сейчас меньше, чем слово кучки погонщиков мулов, значит, мы дошли в Англии до такого альтруизма, что вряд ли выживем. Я вам сообщу, что скажет мой племянник. До свидания, генерал; до свидания, милый юноша,— шрам у вас ужасный. До свидания, Монт-младший, вы неисправимы.

Спускаясь по лестнице, сэр Лоренс взглянул на часы.

— Пока что,— сказал он,— все дело заняло у нас двадцать минут... ну, скажем, двадцать пять, считая дорогу. Таких темпов нет даже в Америке, а мы еще чуть было не приобрели в придачу продолговатую молодую женщину. А теперь в Кофейню, к Халлорсену! — Они свернули на Сент-Джеймс-стрит.

— Эта улица,— продолжал сэр Лоренс,— Мекка западного франта, как Рю-де-ла-Пэ — Мекка западной франтихи.

Он не без ехидства оглядел своих спутников. Вот образцовые экземпляры той породы, которая служит и предметом зависти и предметом насмешек в целом мире! На всем протяжении Британской империи мужчины, скроенные по их образу и подобию, трудятся и гоняют мячи во славу своей нации. Солнце никогда не заходит над людьми этой породы; история, взглянув на них, поняла, что их ничем не проймешь. Сатирики мечут в них свои стрелы, но стрелы эти отскакивают, словно от невидимой брони. «Эта порода,— думал сэр Лоренс,— спокойно шествует через века, по всему земному шару; у нее нет тонкости в обхождении, она не блещет ни образованностью, ни силой, ни вообще чем бы то ни было, зато в ней живет скрытое, неистребимое убеждение, что она-то и есть соль земли».

— Да,— сказал он на пороге Кофейни, — по-моему, это — пуп земли. Другие могут утверждать, что Северный полюс, Рим, Монмартр, а я говорю — Кофейня, самый старый и, судя по канализации, самый скверный клуб в мире. Пойдем мыть руки или, может, не будем доставлять себе напрасных мучений? Решено. Сядем здесь и подождем апостола заморской канализации. По-

моему, он человек неугомонный. Жаль, что мы не можем сравнить его с маркизом. Я бы поставил на старика.

— Вот и он,— сказал Хьюберт.

В низеньком холле самого старого клуба на свете американец казался особенно рослым.

— Здравствуйте, сэр Лоренс Монт...— произнес он, здороваясь.— А! Черрел! Генерал сэр Конвей Черрел? Считаю за честь познакомиться с вами, генерал. Чем могу служить, господа?

Он слушал рассказ сэра Лоренса, и лицо его все больше вытягивалось.

— Вот безобразие! — сказал он.— Этого я не допущу. Сейчас же пойду к послу Боливии. И, знаете, Черрел, я записал адрес вашего слуги Мануэля; дам телеграмму американскому консулу в Ла-Пас, чтобы тот немедленно взял у него письменное свидетельство, подтверждающее ваш рассказ. Неслыханная глупость! Вы меня извините, господа, но я не могу сидеть спокойно, пока не нажму на все педали.

И, кивком простившись со всеми, он исчез. Трое англичан снова сели.

— Да, старому Шропширу трудно будет с ним тягаться,— сказал сэр Лоренс.

— Так вот он какой, этот Халлорсен,— сказал генерал,— недурен.

Хьюберт не произнес ни слова. Он был тронут.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

По дороге к приходу святого Августина-в-Лугах встревоженные девушки долго молчали.

— Не знаю, кого из них больше жалеть,— сказала вдруг Динни.— Никогда раньше не представляла себе, что такое сумасшествие. Люди обычно либо смеются над ним, либо прячут подальше от глаз. А по-моему, это самое большое несчастье на свете, особенно когда у человека бывают минуты просветления и он сам это сознает.

Джин поглядела на нее с удивлением. Она привыкла, что Динни насмешница, а тут в ней вдруг мелькнуло что-то новое.

— Куда теперь?

— Свернем сюда, нам надо пересечь Юстон-роуд. Вряд ли тетя Мэй сможет устроить нас у себя. У нее наверняка живет какой-нибудь начинающий борец с трущобами. Ничего, если она не сможет, мы позвоним Флер. Жаль, что я раньше об этом не подумала.

Опасения Динни сбылись: в доме священника яблоку негде было упасть, тетя Мэй куда-то ушла, зато они застали дядю Хилери.

— Раз уж мы здесь, надо выяснить, согласится ли дядя Хилери вас окрутить,— шепнула Динни.

Хилери впервые за три дня улучил свободный часок и, скинув пиджак, вырезал из дерева модель ладьи викингов. Строить миниатюрные модели старинных кораблей было его любимым отдыхом, у него теперь не оставалось ни времени, ни сил, чтобы лазить по горам. Правда, излюбленное занятие требовало больше времени, чем всякое другое, а времени у него было меньше, чем у кого бы то ни было, но это его не останавливало. Он познакомился с Джин и, извинившись, продолжал заниматься своим делом.

— Дядя Хилери, Джин выходит замуж за Хьюберта,— сразу же заявила Динни,— и они не хотят дожидаться оглашения; вот мы и приехали спросить, не можешь ли ты их обвенчать.

Рука Хилери, державшая стамеску, застыла, глаза хитро сощурились и превратились в щелки.

— Бойтесь передумать? — спросил он.

— Вовсе нет,— ответила Джин.

Хилери посмотрел на нее внимательнее. С двух слов и одного взгляда он понял, что перед ним девица с характером.

— Я знаю вашего отца,— сказал Хилери,— он не любит торопиться.

— Папа не возражает.

— Это верно,— сказала Динни,— я его видела.

— А твой отец, дорогая?

— И он не будет возражать.

— Если он согласится,— сказал Хилери, снова принимаясь резать корму своего корабля,— я готов. Если вы твердо решили, какой смысл откладывать? — Он повернулся к Джин.— Из вас вышла бы альпинистка; вот только сезон прошел, а то я посоветовал бы вам провес-

ти медовый месяц в горах. Но почему бы вам не поката́ться по Северному морю на траулере?

— Дядя Хилери отказался от поста настоятеля собора,— пояснила Динни.— Он славится своим аскетизмом.

— Мне бы не пошла шляпа, которую носит епископ, Динни, но признаюсь тебе, с тех пор мне и жизнь не мила. И почему я отказался от такого привольного житья? У меня было бы время вырезать модели всех кораблей на свете, писать письма в газеты и отращивать себе животик. Вот и тетя не перестает меня за это пилить. Всякий раз, когда я вспоминаю о том, чего добился дядя Франтик своей внушительной внешностью и как он выглядел после кончины, передо мной проходит моя загубленная жизнь, и мне ясно, что стоит только снять с меня хомут, как я рухну. А отцу вашему здорово достается, мисс Тасборо?

— Да нет, он больше прохлаждается,— сказала Джин,— но у нас ведь деревня.

— Дело не только в этом. Прохлаждаться и думать, будто что-то делаешь,— это так естественно.

— Если только это не противоестественно...— встала Динни.— Да! Дядя, к Диане сегодня неожиданно явился капитан Ферз.

Хилери сразу перестал улыбаться.

— Ферз! Это либо очень страшная, либо очень благая вестъ. Адриан знает?

— Да; я за ним ездила. Он сейчас там с капитаном Ферзом. Дианы не было дома.

— Ты видела Ферза?

— Я вошла в дом и разговаривала с ним,— сказала Джин.— Он показался мне вполне нормальным, если не считать того, что он меня запер.

Хилери все еще стоял, не шевелясь.

— Ну, до свидания, дядя; мы едем к Майклу.

— До свидания и большое спасибо, мистер Черрел.

— Да,— рассеянно откликнулся Хилери,— будем надеяться на лучшее.

Девушки снова сели в машину и поехали в Вестминстер.

— Он явно ожидает худшего,— сказала Джин.

— Не удивительно,— ведь что бы ни случилось, все равно это будет ужасно.

— Спасибо!

— Да нет же! — сказала Динни.— Я вовсе не о тебе.

И ее снова поразила целеустремленность Джин: она сейчас может думать только об одном. В Вестминстере, у самого дома Майкла, они встретили Адриана; он позвонил по телефону Хилери и узнал, куда они поехали. Убедившись, что Флер устроит их у себя, Адриан ушел, но Динни, встревоженная его видом, побежала за ним. Он шагал к реке, и она нагнала его на углу площади.

— Может, ты хочешь побыть один?

— Тебе, Динни, я всегда рад. Пойдем.

Динни взяла его под руку, и они быстро зашагали по набережной к западу. Она молчала, предоставляя ему начать разговор.

— Знаешь,— сказал он наконец,— я несколько раз ездил в клинику, чтобы узнать, как обстоят дела с Ферзом и хорошо ли там с ним обращаются. А последние месяцы я там не был и вот наказан. Но меня ужасно угнетали эти поездки. Я туда только что звонил. Они хотели за ним приехать, а я им запретил. К чему? Там подтверждают, что последние две недели он был совершенно нормальным. В таких случаях они, оказывается, выжидают месяц, прежде чем сообщить близким. Сам Ферз говорит, что он здоров уже три месяца.

— А что собой представляет эта клиника?

— Большой загородный дом,— там всего около десяти пациентов, у каждого своя комната и свой служитель. Наверно, это одна из лучших клиник такого рода. Но меня всегда приводила в ужас стена, утыканная гвоздями, которой обнесен участок, да и самый дух, который царит в клинике,— будто там что-то прячут. Или я слишком чувствителен, или сумасшествие действительно самое страшное бедствие на свете.

Динни стиснула его руку.

— Мне тоже так кажется. А как же он убежал?

— Ферз вел себя так разумно, что они совсем потеряли осторожность; он как будто сказал, что приляжет, и улизнул во время обеда. Видно, Ферз заметил, что какой-то торговец появляется каждый день в один и тот же час,— пока сторож принимал покупки, он про-

скользнул в ворота, дошел до станции пешком, а там сел в первый поезд. Оттуда до Лондона всего двадцать миль. Когда они его схватились, он уже добрался до города. Завтра я туда поеду.

— Бедный дядя! — ласково сказала Динни.

— Что ж, дорогая, такова жизнь. Вот уж не думал, что попаду в такую переделку! Сомнительное удовольствие.

— У него это наследственное?

Адриан кивнул.

— Дед его умер в смиренной рубашке. Если бы не война, с Ферзом, может быть, ничего бы и не случилось, но кто знает? Наследственное сумасшествие! Какая несправедливость! Нет, Динни, я не верю, что милосердие божие проявляется в форме, понятной нам, людям, или что оно похоже на наше милосердие. Всеобъемлющая созидательная сила, божественное провидение без начала и конца — это я еще могу допустить. Но заставить эту силу печься о нас, смертных, — увы, невозможно. Взять хотя бы сумасшедший дом! О нем ведь страшно и подумать. А раз так, каково же несчастным, которых туда упекли? Люди отзывчивые шарахаются от них и отдают их во власть людям черствым, — и тут уж да поможет им бог!

— Но, по-твоему, бог и не думает им помогать.

— Кто-то когда-то сказал, что помощь человека человеку — это единственное проявление божественного начала.

— А дьявольского начала?

— Зло, причиняемое человеком человеку, а я бы добавил: и животным...

— Но ведь это чистейший Шелли, дядя.

— Лестное сравнение. Но я, кажется, начинаю сворачивать тебя с пути истинного.

— Нельзя совратить с пути, по которому не идут. А вот и Окли-стрит. Хочешь, я зайду и спрошу Диану, не нужно ли ей чего-нибудь?

— Еще бы! Я подожду тебя на углу, и большое тебе спасибо.

Динни подошла к дому быстрым шагом, не глядя по сторонам. Ей открыла все та же горничная.

— Я не хочу входить, но вы узнайте потихоньку у

миссис Ферз, все ли в порядке и не нужно ли ей чего-нибудь. И скажите, что я остановилась у миссис Майкл Монт, но готова в любую минуту приехать и побыть у вас, если миссис Ферз захочет.

Служанка ушла, а Динни вся превратилась в слух, но сверху не доносилось ни звука.

— Миссис Ферз велела вас от души поблагодарить,— сказала, вернувшись, горничная,— она непременно даст знать, если вы понадобится. Сейчас у нас все в порядке, мисс, но — боже мой! — мы совсем потеряли голову, хоть и надеемся на лучшее. И еще миссис Ферз вам кланяется и просит мистера Черрела не беспокоиться.

— Спасибо; передайте ей от нас привет и скажите, что мы всегда к ее услугам.

Таким же быстрым шагом, не глядя по сторонам, Динни вернулась к Адриану. Она передала ему слова Дианы, и они пошли дальше.

— Мучительная неизвестность,— сказал Адриан,— что может быть страшнее? Боже мой, и сколько это будет продолжаться? Но ведь она просила не беспокоиться...— И у него вырвался невеселый смешок.

Стало темнеть, и в этом неверном полумраке пролеты улиц и мостов были словно оборваны безрадостной мглой. Но зажглись фонари, сумерки отступили, дома снова приобрели очертания, контуры их смягчились.

— Динни, дорогая,— сказал Адриан,— какие уж тут со мной прогулки; давай вернемся.

— Тогда пойдем к Майклу, вместе поужинаем,— пожалуйста, дядя!

Адриан покачал головой.

— Таким, как я сейчас, не место на пиру. Да я и держать-то себя за столом прилично не сумею, как говорила твоя няня.

— Она вовсе этого не говорила, не так уж она была строга. Няня у нас была шотландка. А Ферз — шотландская фамилия?

— Предки его, возможно, и вышли из Шотландии. Но Рональд — из Западного Сассекса, откуда-то с Меловых холмов на юге Англии; старинный род.

— А тебе не кажется, что в старых семьях много странностей?

— Почему? Правда, когда в старой семье случается

что-нибудь неладное, это сразу бросается в глаза: ведь старые семьи у всех на виду. Однако в старых семьях гораздо меньше браков между близкими родственниками, чем в деревне.

Стараясь его отвлечь, Динни продолжала:

— Ты не думаешь, что старинный род имеет свои преимущества?

— А что такое старинный род? В известном смысле все семьи одного возраста. Но если ты имеешь в виду достоинства, которые вырабатываются в результате скрещивания из поколения в поколение внутри определенной касты,— не знаю. Конечно, можно говорить о «хорошей породе», как мы говорим о собаках или лошадях, но такую же породу можно получить в любых благоприятных природных условиях, например, в горных долинах на севере Англии или у моря — всюду, где людям живется лучше. Здоровая порода дает здоровое потомство — в этом нет сомнений. Я помню деревни на севере Италии, где нет никакой знати,— однако все жители там красивые и породистые. Но если речь идет о потомстве от гениев или людей выдающихся—тут я сильно опасаюсь, не получится ли уродство вместо гармонии. Семьи с военными или флотскими традициями, где родоначальниками были солдаты и моряки, пожалуй, счастливее других: они получили в наследство хорошее здоровье и не слишком много ума; зато наука и коммерция очень калечат людей. Нет! Единственное, в чем, по моему, старинные семьи имеют свои преимущества,— это в том воспитании, какое они могут дать детям: им прививают определенные традиции, внушают определенные моральные устои; пожалуй, у них больше возможностей и на ярмарке невест; они растут на свежем воздухе; наконец им проще определить свое призвание и вступить на избранный путь. То, что называют «породой» в человеке,— свойство скорее духовное, чем физическое. Наши мысли и чувства зависят главным образом от традиций, привычек и воспитания. Но я, наверно, тебе надоел.

— Нет, что ты, дядя; мне так интересно. Значит, ты веришь, что по наследству передается скорее мировоззрение, чем физические свойства?

— Да, но одно с другим тесно связано.

— И ты думаешь, что старинные традиции исчезают и скоро нечего будет передавать дальше?

— Не знаю. Традиции необычайно живучи, а у нас в Англии все устроено так, чтобы их сохранить. У нас столько руководящих постов, а наиболее подходящие для них люди — это те, кто еще с детства привык к самостоятельности, в ком воспитали скромность и чувство долга. Такие люди у нас держат в руках, например, армию, и я думаю, она так и останется у них в руках. Но в наши дни привилегии можно оправдать лишь тем, что ты бежишь, высунув язык, пока не свалишься замертво.

— Многие сперва валяются замертво, а потом уж пытаются бежать,— сказала Динни.— Ну, вот мы снова дошли до Флер. Пойдем, дядя, я тебя очень прошу. Если Диане что-нибудь понадобится, ты будешь под рукой.

— Хорошо, дорогая, и спасибо тебе — ты навела меня на тему, о которой я часто думаю. Ах ты, лиса!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Джин висела на телефоне до тех пор, пока не обнаружила Хьюберта в Кофейне и не узнала от него последние новости. Она прошла мимо Динни и Адриана, когда они входили в дом.

— Ты куда?

— Скоро приду,— ответила Джин и свернула за угол.

Она плохо знала Лондон и сразу же подозвала такси. Доехав до Итон-сквер, она отпустила такси у подъезда внушительного, мрачного здания и позвонила.

— Лорд Саксенден в городе?

— Да, миледи, но его нет дома.

— Когда он придет?

— К ужину, но...

— Я подожду.

— Извините... миледи...

— Я никакая не леди,— сказала Джин, подавая ему визитную карточку,— но он все равно меня примет.

С минуту слуга еще сопротивлялся, но она поглядела на него в упор, и он капитулировал.

— Прошу вас, пройдите, ми... мисс.

Джин вошла. В маленькой гостиной не было ничего, кроме стульев с позолотой в стиле ампир, двух мраморных столиков на консолях и канделябра.

— Пожалуйста, передайте ему мою карточку, как только он войдет.

Тем временем слуга, по-видимому, овладел собой.

— Милорд будет очень занят, мисс.

— Мне тоже очень некогда, не беспокойтесь.

И она уселась на позолоченный стул. Слуга удалился. Джин сидела спокойная, подтянутая, решительная, сцепив длинные пальцы загорелых рук, с которых сняла перчатки, и поглядывала то на площадь за окном, где сгущались сумерки, то на мраморные часы с позолотой. Слуга вошел снова и задернул шторы.

— Может, что-нибудь передадите, мисс, или оставите записку?

— Нет, спасибо.

Он потоптался на месте, поглядывая на нее с опаской, точно боялся, что она вот-вот выхватит револьвер.

— Мисс Тасбер? — переспросил он.

— Тасборо, — ответила Джин. — Лорд Саксенден меня знает. — И снова посмотрела на слугу в упор.

— Хорошо, хорошо, мисс, — поспешно ответил он и ретировался.

Стрелки часов приближались к семи, когда она услышала наконец голоса в холле. Дверь тотчас же открылась, и вошел лорд Саксенден с ее карточкой в руках; лицо его сияло благодушным самодовольством.

— Очень рад! — сказал он. — Очень рад.

Джин подняла на него глаза и подумала: «Ну, заблеял, старый козел». И протянула ему руку.

— Как мило с вашей стороны, что вы меня приняли.

— Ну, что вы!

— Я хотела сообщить вам о моей помолвке с Хьюбертом Черрелом; помните его сестру? Она была у Монтов. Вы слышали об этом нелепом требовании выдать его боливийским властям? Глупее ничего не придумаешь, — ведь он стрелял, защищая свою жизнь; у него страшный шрам, он может показать вам его в любую минуту.

Лорд Саксенден пробурчал что-то невнятное. В глазах у него появился холодок.

— Вот я и хотела вас просить положить этому конец. Я знаю, вы все можете.

— Я? Ничуть... вы ошибаетесь.

Джин улыбнулась.

— Конечно, можете. Все это знают. А для меня это так важно...

— Но тогда, в тот вечер, вы еще не были помолвлены?

— Нет.

— Как это вы так вдруг?

— А разве не все помолвки происходят вдруг?

Она, видимо, не представляла себе, какой удар нанесли ее слова этому пятидесятилетнему человеку, который вошел сюда с робкой надеждой, что покорил это юное существо; но она все же поняла, что чем-то разочаровала его, да она и сама, кажется, разочаровалась в нем. Лицо его приняло вежливое, настороженное выражение.

«Ну и бестия», — подумала Джин. Тон у нее сразу стал другим, и она сухо заявила:

— В конце концов капитан Черрел — кавалер ордена «За особые заслуги». Неужели англичанин бросит в беде англичанина? Особенно если учился с ним в одной школе...

Даже в этот миг крушения иллюзий этот мастерский выпад произвел впечатление на бывшего «Зазнайку Бентхема».

— Вот как! Он тоже из Харроу?

— Да. И вы знаете, как трудно ему пришлось в экспедиции. Динни читала вам отрывки из его дневника.

Лицо лорда побагровело, и он сказал с непонятным для нее раздражением:

— Вы, юные дамы, должно быть, полагаете, что мне больше нечего делать, как вмешиваться в чужие дела. Выдача лиц, обвиняемых в преступлениях, — дело судебное.

Джин взглянула на него сквозь ресницы, и несчастный лорд дернулся, словно хотел спрятать голову под крыло.

— Что я могу сделать? — проворчал он. — Меня и слушать не будут.

— Попробуйте, — возразила Джин. — Есть люди, которых всегда слушают.

Глаза у лорда Саксендена стали совсем рачьими.

— Вы сказали, что у него есть шрам. Где?

Джин закатала левый рукав.

— Отсюда до сих пор. Он выстрелил, когда тот человек снова на него набросился.

— Гм!

Он не сводил глаз с ее руки, потом опять глубокомысленно хмыкнул; наступило молчание, и Джин спросила:

— А вам было бы приятно, если бы вас выдали как преступника, лорд Саксенден?

Он нетерпеливо махнул рукой.

— Это вам не шутки, это — государственное дело, моя милая.

Джин снова на него поглядела.

— Неужели вы хотите меня уверить, будто у нас не пользуются протекцией?

Он рассмеялся.

— Приходите пообедать со мной в ресторане Пьемонт... когда? Послезавтра... нет, через два дня, и я вам скажу, удалось ли мне что-нибудь сделать.

Джин отлично знала, когда надо поставить точку; на приходских собраниях она никогда не затягивала своих речей. Она протянула ему руку.

— Большое спасибо! В половине второго?

Лорд Саксенден кивнул с некоторым удивлением. Молодая женщина отличалась прямоотой, и это невольно нравилось человеку, всю жизнь погруженному в государственные дела, где прямооты, как известно, днем с огнем не сыщешь.

— До свидания! — сказала Джин.

— До свидания, мисс Тасборо. Поздравляю с по-молвкой.

— Спасибо. Все теперь зависит от вас, правда?

И не успел он ответить, как Джин уже исчезла. Обратно она шла пешком, хладнокровно обдумывая положение. Мысль ее работала трезво, четко, со свойственной ей привычкой во всем полагаться только на себя. Ей

нужно повидать Хьюберта сегодня же! Придя домой, она тут же позвонила в Кофейню.

— Это ты, Хьюберт? Говорит Джин.

— Да, дорогая?

— Приходи сюда после ужина. Мне надо тебя видеть.

— Около девяти?

— Да. Люблю. Все.

И она повесила трубку.

Прежде чем пойти наверх и переодеться, Джин замерла на минуту — настоящая тигрица! Гибкая, будто всегда готовая к прыжку, — такую не остановишь, — она была сама Юность, бесстрашно вступающая в жизнь; в этой стильной, чопорной гостиной Флер она чувствовала себя как дома, и в то же время невольно казалось, что ей здесь тесно.

Когда кто-нибудь из сидящих за столом чем-нибудь серьезно взволнован, а остальные это знают, беседа ограничивается салонной болтовней. Все тщательно избегали разговора о Ферзах. Адриан ушел сразу после кофе. Динни проводила его до дверей.

— Спокойной ночи, дорогой. Перед сном я на всякий случай уложу чемодан; здесь всегда можно поймать такси. Обещай мне не волноваться.

Адриан улыбнулся, хотя на нем лица не было.

Возвращаясь в гостиную, Динни столкнулась с Джин, и та рассказала ей последние новости о деле Хьюберта. Когда первый испуг прошел, Динни вспыхнула от негодования.

— Какая страшная подлость!

— Да, — сказала Джин. — С минуты на минуту придет Хьюберт, и мне надо поговорить с ним наедине.

— Тогда отведи его наверх, в кабинет Майкла. Я пойду к Майклу и все ему расскажу. Об этом надо сказать в парламенте... Да, но он распущен сейчас на каникулы, — вспомнила Динни. — Он, кажется, заседает только тогда, когда это никому не нужно.

Джин дождалась Хьюберта в холле. Они поднялись в кабинет, где на стенах были развешаны афоризмы трех последних поколений; Джин усадила Хьюберта в самое удобное кресло, а сама устроилась у него на коленях.

Так она просидела несколько минут, обняв его за шею и прижавшись к нему лицом.

— Ну, хватит,— сказала она затем, поднимаясь и закуривая.— Ничего у них из этой затеи не выйдет.

— А если выйдет?

— Нет. А если да,— тем скорее мы должны обвенчаться.

— Девочка моя, я не могу.

— Ты должен. И не думай, пожалуйста, что если тебя выдадут — а этого, конечно, не будет,— я не поеду с тобой. Поеду, и тем же пароходом,— все равно, обвенчаемся мы или нет.

Хьюберт смотрел на нее с восхищением.

— Ты просто чудо,— сказал он,— но...

— Ну да, я знаю, что ты скажешь. Знаю я и твои рыцарские чувства, и что ты хочешь сделать меня несчастной для моего собственного блага, и что подумает отец... и так далее, и тому подобное. Я была у твоего дяди Хилери. Он согласен нас обвенчать, а он — священник и человек с большим жизненным опытом. Давай расскажем ему, что произошло, и, если после этого он не откажется от своего обещания, мы обвенчаемся. Пойдем к нему завтра же утром вместе.

— Но...

— Никаких «но»! Ему ты можешь верить: по-моему, он настоящий человек.

— Верно,— сказал Хьюберт,— он человек, каких мало.

— Вот и хорошо; значит, договорились. Теперь можешь опять меня поцеловать.

Джин снова заняла свое место у него на коленях, и, если бы не ее тонкий слух, Динни застала бы их в такой позе, но когда Динни открыла дверь, Джин уже разглядывала «Белую обезьяну» на стене, а Хьюберт вынимал портсигар.

— Какая замечательная обезьяна,— сказала Джин.— Мы поженимся, Динни, несмотря на всю эту ерунду, если только ваш дядя Хилери не передумает. Хочешь, поедem к нему с нами завтра утром?

Динни взглянула на брата; Хьюберт поднялся с кресла.

— Безнадежно,— сказал он.— Ничего не могу с ней поделать.

— А без нее и подавно. Ты только подумай, Динни! Он воображает, что, если дело будет плохо и его вышлют, я с ним не поеду! Мужчины просто младенцы! А ты что скажешь?

— Я рада за вас.

— Не забудь, Джин,— сказал Хьюберт,— все зависит от дяди Хилери.

— Да. Он человек практичный, и, как он скажет, так и будет. Зайди за нами завтра в десять. Отвернись, Динни. Я его разок поцелую, а потом ему пора идти.

Динни отвернулась.

— Пошли,— сказала Джин.

Они спустились вниз, и вскоре девушки отправились спать. Комнаты их были рядом и обставлены с присущим Флер вкусом. Они немного поболтали, поцеловались и разошлись.

Динни раздевалась не спеша. В окнах домов, выходящих на тихую площадь, где жили большей частью члены парламента, разъехавшиеся сейчас на каникулы, светилось мало огней; ни малейшее дуновение ветерка не шевелило темные ветви деревьев; воздух, струившийся в открытое окно, был так не похож на душистый воздух деревенской ночи, а глухой гул города не давал Динни успокоиться после всех тревожений этого долгого дня.

«Я бы не могла жить с Джин,— думала она и тут же добавила, справедливости ради,— но Хьюберт сможет. Ему именно это и нужно». И она невесело улыбнулась, почувствовав обиду. Да, ее вытеснили из сердца брата. Она легла в постель, но долго не могла заснуть, думая о страхах и отчаянии Адриана, о Диане и этом бедняге, ее муже, который тоскует по ней, отстранен от нее, отлучен от всех на свете. В темноте она видела его горящие, беспокойные глаза, глаза человека, томящегося по дому и покою, лишенного и того и другого. Она натянула на голову одеяло и, чтобы поскорее уснуть, снова и снова твердила детский стишок:

До чего же ты упряма, Мери,
Как твой садик у тебя цветет.
Новые игрушки, белые ракушки,
Милая девчушка рядышком растет.

Если бы вы заглянули в душу Хилери Черрела, священника прихода святого Августина-в-Лугах, и проникли в ее тайники, скрытые под покровом его речей и поступков, вы бы обнаружили, что он далеко не убежден, будто его благочестивая деятельность приносит кому-нибудь пользу. Но привычка «служить» вошла в его плоть и кровь,— как служат все те, кто ведет и направляет других людей. Возьмите на прогулку молодого сеттера, даже необученного,— и он сразу станет искать след; а далматский дог с первого же дня побежит рядом с лошадыю. Так и Хилери — потомок тех, кто целыми поколениями командовал в армии и на флоте,— впитал с молоком матери потребность целиком отдаваться своему делу, вести, управлять и помогать окружающим, отнюдь не чувствуя уверенности, что делает что-то значительное, а не просто коптит небо. В наш век, когда люди ни во что не верят и не могут удержаться от насмешек над сословиями и традициями, он принадлежал к некоему «ордену» — его рыцари выполняют свою миссию не для того, чтобы кого-то облагодетельствовать или стяжать выгоду, а потому, что бросить дело для них равносильно дезертирству. Хилери и в голову не приходило оправдывать свой «орден» или размышлять о ярме, которое несли, каждый по-своему, его отец-дипломат, его дядя-епископ, его братья — солдат, хранитель музея и судья (Лайонела только что назначили на этот пост). «Мы просто тянем каждый свою лямку», — думал он о них и о себе самом. К тому же то, что он делал, давало ему какие-то преимущества, — он даже мог бы их перечислить, хоть в душе и считал, что они ничего не стоят.

Наутро после возвращения Ферза Хилери уже успел просмотреть свою обширную корреспонденцию, когда в его более чем скромный кабинет вошел Адриан. Из всех многочисленных друзей и близких Адриана один Хилери по-настоящему понимал состояние брата и сочувствовал ему. Между ними было всего два года разницы, в детстве они росли закадычными друзьями; оба были альпинистами и привыкли в предвоенные годы вместе брать опасные подъемы и еще более опасные спуски;

оба побывали на войне: Хилери — полковым священником во Франции, Адриан, владевший арабским языком, — офицером связи на Востоке; к тому же характеры у них были совершенно несхожие, что всегда укрепляет дружбу. Им незачем было изливать друг другу душу, и они сразу же перешли к обсуждению практической стороны дела.

— Что нового сегодня? — спросил Хилери.

— Динни говорит, все как будто спокойно. Но он живет с ней под одной крышей и рано или поздно потеряет самообладание. Пока ему достаточно сознавать, что он дома и на свободе, но это вряд ли протянется больше недели. Я сейчас поеду в клинику, но они, должно быть, знают не больше нашего.

— Прости меня, старина, но полезнее всего ему была бы нормальная жизнь с ней.

Лицо Адриана передернулось.

— Это выше человеческих сил, Хилери. Самая мысль о близости с ним чудовищна. На это не пойдет ни одна женщина.

— Если только бедняга не останется в здравом уме.

— Решать тут не тебе, и не мне, и не ему, — решать может только она; нельзя требовать от нее невыполнимого. Не забудь, сколько ей пришлось перенести, пока его не поместили в клинику. Его нужно убрать из дома.

— Куда проще поискать другое пристанище для нее.

— Кто его даст, кроме меня, а это сразу же опять сведет его с ума.

— Если она готова мириться с неудобствами, мы можем ее устроить у себя, — сказал Хилери.

— А дети?

— Мы могли бы потесниться. Но одиночество и безделье не помогут ему сохранить здоровую психику. А работать он может?

— Не думаю. Четыре года в сумасшедшем доме доконают кого угодно. Да и кто даст ему работу? Эх, если б я мог убедить его переехать ко мне!

— Динни и та другая девушка сказали, что он выглядит и говорит вполне нормально.

— Да, внешне это так. Может быть, в клинике что-нибудь посоветуют.

Хилери взял брата под руку.

— Как это ужасно для тебя, старина! Но держу пари,— все обойдется. Я поговорю с Мэй; поезжай в клинику, посоветуйся там, и если ты потом решишь, что Диане лучше переселиться к нам, предложи ей это.

Адриан прижал к себе руку брата.

— Мне пора ехать.

Оставшись один, Хилери задумался. На своем веку он не раз видел, что пути провидения неисповедимы, и даже в своих проповедях перестал называть его милосердным. Однако он знавал немало людей, которые упорством победили свои напасти, и немало других, кого несчастья все-таки одолели, но потом и те и другие сумели извлечь из этого даже выгоду и жили припеваючи,— вот почему он был убежден, что беды всегда преувеличивают, а потери можно наверстать. Главное — не унывать и не опускать рук. Тут к нему пришла посетительница — девушка Миллисент Поул. Хоть суд ее и оправдал, фирма «Петтер и Поплин» выгнала ее с работы: о девушке пошла дурная слава, а этого оправданием в суде не сотрешь.

Миллисент Поул пришла в назначенный час; на ней было опрятное синее платье, а на чулки она истратила свои последние деньги; она стояла перед священником и ждала, что ее будут отчитывать.

— Ну, Милли, как здоровье сестры?

— Она вернулась вчера на работу, мистер Черрел.

— Поправилась?

— Да нет, но она говорит, что надо идти, а не то ее, наверно, тоже уволят.

— Почему?

— Она говорит, что если не пойдет, то подумают, будто и она занималась этим вместе со мной.

— А как ты? Хочешь поехать в деревню?

— Ну уж нет!

Хилери испытующе посмотрел на нее. Хорошенькая девушка, с изящной фигуркой, стройными ножками и отнюдь не аскетическим ртом; честно говоря, ей лучше всего выйти замуж.

— У тебя есть жених, Милли?

Девушка улыбнулась.

— Ну, какой же он жених!

— Значит, замуж выходить не думаешь?

— Да, видать, он не очень хочет.

— А ты?

— Да и мне не к спеху.

— А какие у тебя планы?

— Я бы хотела... я бы хотела стать манекенщицей.

— Вот как? А у Петтера тебе дали рекомендацию?

— Да; и даже сказали, что им жаль меня отпускать, но раз обо мне так много писали в газетах, другие девушки...

— Понятно. Видишь ли, Милли, ты сама во всем виновата. Я за тебя заступился потому, что ты попала в беду, но я не слепой. Обещай мне, что ничего подобного больше не случится,—ведь это первый шаг к гибели.

Ответа не последовало, но он его и не ждал.

— Тобой займется моя жена. Посоветуйся с ней; если ты не найдешь такой работы, как раньше, мы поможем тебе обучиться на скорую руку и найдем место официантки. Ладно?

— Я не против.

Она посмотрела на него полусмущенно, полунасмешливо, и Хилери подумал: «С таким лицом не убережешься, разве что государство станет брать хорошеньких девушек под особую опеку».

— Дай руку, Милли, и запомни, что я тебе сказал. Я дружил с твоими родителями и верю, что ты не замараешь их доброго имени.

— Хорошо, мистер Черрел.

«Как бы не так!» — подумал Хилери и повел ее в столовую, где жена печатала на машинке. Вернувшись в кабинет, он выдвинул ящик письменного стола и приготовился вступить в единоборство со счетами; на свете вряд ли нашелся бы такой уголок, где деньги были бы нужней, чем здесь, в трущобах этой христианнейшей державы, чья религия так презирает земные блага.

«Птицы небесные,— подумал он,— не сеют, не жнут, но и они не проживут без хлеба насущного. Откуда, во имя всего святого, раздобыть мне деньги, чтобы наше благотворительное общество могло дотянуть до конца года?» Он все еще бился над этой проблемой, когда вошла служанка и объявила:

— Капитан, мисс Черрел и мисс Тасборо.

«Ну и ну,— подумал он,— вот кто времени даром не теряет».

Хилери еще не видал племянника с тех пор, как тот вернулся из экспедиции Халлорсена, и был поражен, до чего он изменился и постарел.

— Поздравляю,— сказал он.— Я узнал вчера о твоих намерениях.

— Дядя,— сказала Динни,— приготовься сыграть роль Соломона.

— Да будет тебе известно, моя непочтительная племянница, что репутация мудреца, которой пользуется Соломон,— пожалуй, самая незаслуженная в истории. Вспомни, сколько у него было жен. Итак, в чем дело?

— Дядя Хилери,— сказал Хьюберт,— я узнал, что меня могут выдать боливийским властям — уже готовится распоряжение. Из-за того погонщика, которого я застрелил. И, несмотря на это, Джин хочет немедленно обвенчаться.

— Не «несмотря на это», а именно поэтому,— поправила его Динни.

— А по-моему, это слишком рискованно и по отношению к ней несправедливо. Вот мы и договорились все тебе рассказать,— как ты решишь, так мы и поступим.

— Спасибо,— пробурчал Хилери,— но почему мне?

— Потому, что ты мастер на быстрые решения,— сказала Динни,— ты набил на этом руку не хуже какого-нибудь судьи.

Священник скорчил гримасу.

— Тебя же учили священному писанию, Динни; ты могла бы припомнить, как доконала верблюда последняя соломинка. Но что поделаешь...— И он перевел взгляд с Джин на Хьюберта и снова на Динни.

— Мы ничего не выиграем оттяжкой,— заметила Динни,— если его заберут, я все равно поеду с ним.

— Поедете?

— Конечно.

— А ты, Хьюберт, можешь этому помешать?

— Боюсь, что нет.

— Скажите, молодые люди, у вас, значит, любовь с первого взгляда?

Ни Джин, ни Хьюберт не ответили, а Динни сказала:

— Безусловно; это было видно даже с крокетной площадки в Липпингхолле.

Хилери кивнул.

— Что ж, тут нет ничего плохого; со мной это тоже случилось, и я не жалею. А тебя действительно могут выслать, Хьюберт?

— Нет,— сказала Джин.

— А ты как думаешь, Хьюберт?

— Не знаю; отец волнуется, но кое-кто за меня хлопчет. У меня ведь остался шрам.— Он закатал рукав.

Хилери снова кивнул.

— Тебе повезло.

Хьюберт улыбнулся.

— Смею тебя уверить, что тогда, в этом климате, я так не считал.

— Вы получили разрешение на брак?

— Еще нет.

— Вот когда получите, я вас и обвенчаю.

— Правда?

— Да. Может быть, я поступаю неправильно, но вряд ли.

— Вы поступаете очень правильно.— И Джин схватила его за руку.— Вас устраивает,— завтра, в два часа?

— Дайте заглянуть в записную книжку... Идет,— кивнул он.

— Отлично! — воскликнула Джин.— Ну вот, Хьюберт, теперь пойдем брать разрешение.

— Я тебе страшно благодарен, дядя,— сказал Хьюберт,— если ты действительно уверен, что это не подлость с моей стороны.

— Милый мой,— сказал Хилери,— раз уж ты связался с такой девушкой, как Джин, ты должен быть готов ко всему. Au revoir, и да благословит вас бог!

Когда они ушли, он сказал Динни:

— Я очень тронут, Динни. Даже польщен. Кто все это придумал?

— Джин.

— Значит, она либо очень хорошо, либо совсем плохо разбирается в людях. Интересно, первое или второе? Никто и глазом моргнуть не успел. Вошли в пять минут одиннадцатого; сейчас — четырнадцать минут одиннадцатого. Мне никогда еще не приходилось так быстро ре-

шать участь двух людей. А эти Тасборо случайно не сумасшедшие?

— У них просто горячий нрав.

— В общем, горячие люди мне нравятся,— сказал Хилери.— Таких ничем не остановишь.

— Пойдут на abordаж, как у Зеебрюгге.

— А! Кстати, там есть и брат — моряк?

У Динни задрожали ресницы.

— Тебя он уже пытался взять на abordаж?

— Не раз.

— А ты?

— Горячность не в моей натуре, дядя.

— Предпочитаешь выждать, подрейфовать?

— Выждать, дядя.

Хилери улыбнулся своей любимой племяннице.

— Синий глаз — верный глаз. Я еще обвенчаю тебя, Динни. А теперь извини, мне надо повидать человека, которого погубили покупки в кредит. Влез в долги и не может вылезть,— барахтается, как щенок в пруду, и никак не выкарабкается — берег слишком высокий. Между прочим, девушка, которую ты видела тогда в полиции, сейчас у тети. Хочешь еще раз на нее взглянуть? Боюсь, что она для нас трудная задача; в переводе это означает: ничто человеческое ей не чуждо. Попробуй-ка эту задачу разрешить.

— Я бы с удовольствием, но ей это может не понравиться.

— Не уверен. Как девушка с девушкой, вы можете поговорить по душам, но я не удивлюсь, если ничего хорошего ты не услышишь. Это цинизм,— добавил он.— Цинизм помогает жить.

— Боюсь, что да, дядя.

— Хорошо католикам,— по части цинизма нам с ними не тягаться. Ну, до свиданья, дорогая. Увидимся завтра, когда я буду надевать на Хьюберта брачные цепи.

Хилери запер ящик со счетами и вышел из комнаты вслед за племянницей. Открыв дверь в столовую, он окликнул жену:

— Душечка, Динни пришла. К обеду вернусь,— и как был, без шляпы, вышел на улицу.

Девушки покинули дом священника вместе; они направлялись на Саут-сквер, где нужно было заручиться еще одной рекомендацией Флер.

— Знаете, на вашем месте я бы им этого не спустила, — сказала Динни, пересилив стеснительность. — Не понимаю, почему вас уволили.

Она заметила, что девушка рассматривает ее исподтишка, словно обдумывая, можно ли ей довериться.

— Обо мне пошла всякая молва, — сказала она наконец.

— Да, я случайно была в суде в тот день, когда вас оправдали. Свинство, что вас вообще туда привели.

— А я ведь и в самом деле заговорила с женщиной, — к удивлению Динни, сказала девушка. — Мне только не хотелось признаваться мистеру Черрелу. Позарез нужны были деньги. Как вы думаете, это очень дурно с моей стороны?

— Лично я никогда не пошла бы на это ради денег.

— А вам они никогда и не были нужны позарез.

— Это правда, хотя у меня никогда не было много денег.

— Лучше, чем красть, — мрачно сказала девушка. — В конце концов что здесь такого? Время пройдет, и забудешь. По крайней мере я так думала. Ведь мужчинам-то все сходит с рук. Но вы не скажете миссис Монт?

— Конечно, нет. Видно, вам пришлось очень туго.

— Хоть ложись да помирай. Мы с сестрой едва сводим концы с концами, когда обе работаем полный день. А тут она болела целых пять недель, да я еще как нарочно потеряла кошелек с тридцатью шиллингами. Тут уж я была ни при чем.

— Да, не повезло.

— Ужасно не повезло! Если бы я на самом деле была гулящая, — разве бы они меня сцапали! Вся беда-то, что я — в первый раз. Бьюсь об заклад, у вас, у богатых, девушкам все сходит с рук, когда они хотят подработать.

— Что ж, — сказала Динни, — наверно, у нас и в самом деле есть девушки, которые не прочь подработать,

ничем не гнушаясь. Но лично я думаю, что без любви это нехорошо; наверно, я слишком старомодна.

Девушка снова поглядела на нее долгим и на этот раз почти восхищенным взглядом.

— Так вы ж настоящая леди, мисс. По правде сказать, я и сама бы не прочь быть леди, но кем уродишься, тем и останешься.

Динни поморщилась.

— А что такое леди? Самые настоящие леди, каких я знаю,— это наши деревенские старушки.

— Правда?

— Да. А некоторые продавщицы тут, в магазинах, хоть кому ровня.

— Что ж, среди нас и вправду есть ужасно хорошие девушки. Вот моя сестра, например,— она куда лучше меня. Она бы на такое дело ни за что не пошла. Я не забуду, что мне говорил ваш дядя, но за себя все-таки не поручусь. Люблю пожить всласть, когда можно; а почему бы и нет?

— Весь вопрос в том, что такое жить всласть. Неужели это — случайная встреча с мужчиной? По-моему, в этом сладости мало.

Девушка кивнула.

— Что правда, то правда. Но когда тебе так нужны деньги, что хоть криком кричи, тут на что угодно пойдешь. Вы уж мне поверьте.

Теперь кивнула Динни.

— А дядя у меня славный, верно?

— Настоящий джентльмен, — никогда не донимает человека божественным. И всегда готов помочь из своего кармана, если только там что-нибудь есть.

— Кажется, это бывает редко, — сказала Динни. — У нас небогатая семья.

— Не деньги делают джентльмена.

Динни отнеслась к этому афоризму без всякого восторга — она его слышала уже не первый раз.

— Пожалуй, здесь нам лучше сесть в автобус, — сказала она.

День выдался солнечный, и они забрались на открытый верх.

— Вам нравится Риджент-стрит после перестройки?

— Очень! Она стала очень нарядная.

— Разве старая улица не была лучше?

— Что вы! Такая скучная, все дома желтые, одинаковые.

— Зато она не была похожа на другие улицы, а однообразие домов на этом повороте создавало общий ансамбль.

Девушка, видно, сообразила, что спор возник из-за разницы во вкусах; она запнулась, но потом сказала решительно:

— Нет, сейчас она стала куда веселее. Жизни больше, и не так все под одну гребенку, как раньше.

— Да?

— Люблю ездить на верхушке автобуса,— продолжала девушка,— столько всего увидишь. Жизнь-то ведь идет.

Эти слова, сказанные с простонародной интонацией, поразили Динни. Разве ее жизнь не сплошное прозябание? Разве есть в ней опасности или приключения? У людей, которым надо зарабатывать на хлеб, жизнь куда богаче. Ее же единственное занятие заключается в том, чтобы не иметь никакого занятия. И, подумав о Джин, она сказала:

— К сожалению, у меня очень бесцветная жизнь. Я всегда словно чего-то жду.

Миллисент снова поглядела на нее искоса.

— Ну, такой хорошенькой, как вы, наверно, весело живется!

— Хорошенькой? Я же курносая.

— Зато в вас много шику. Шик — это все. Я всегда говорю: какая б ты хорошенькая ни была, без шику ты нуль.

— Я бы предпочла быть хорошенькой.

— Ну, нет. Смазливой может быть кто хочет.

— Почему же их так мало? — И, бросив взгляд на профиль собеседницы, Динни добавила: — Вам-то не на что жаловаться.

Девушка приосанилась и повела плечами.

— Я сказала мистеру Черрелу, что хотела бы стать манекенщицей, но ему это не очень понравилось.

— По-моему, это самое идиотское из всех идиотских

загажий. Наряжаться для кучки привередливых женщин!

— Надо же кому-то этим заниматься,— с вызовом сказала девушка.— Да я и сама люблю хорошо одеться. Но, чтобы получить такое местечко, нужна рука. Вот если бы миссис Монт замолвила за меня словечко!.. А из вас какая бы получилась манекенщица, мисс,— с вашим-то шиком и с вашей фигурой!

Динни рассмеялась. Автобус остановился на Уайтхолле со стороны Вестминстерского аббатства.

— Нам тут сходить. Вы когда-нибудь были в Вестминстерском аббатстве?

— Нет.

— Пожалуй, вам стоит туда заглянуть, пока его еще не снесли и не построили здесь доходный дом или кино.

— А его что, правда снесут?

— Ну, пока на это еще не решаются. Поговаривают о том, чтобы его реставрировать.

— Большущий домина! — сказала девушка.

Но у стен аббатства она приумолкла и не открыла рта, даже когда они вошли под его своды. Динни наблюдала, как она, задрав голову, рассматривает памятник Чатаму¹ и статую рядом с ним.

— Кто этот старый бородач без штанов?

— Нептун. Это символ. Помните: «Правь, Британия, морями...»

— А!

И они двинулись дальше, пока перед ними не открылся весь старый музей.

— Ишь ты! Сколько тут всего понаставлено!

— В самом деле, похоже на лавку древностей. Да ведь здесь собрана вся английская история.

— Ужасно темно. Колонны-то как будто грязные.

— Хотите, заглянем в Уголок поэтов? — спросила Динни.

— А это еще что?

— Там хоронят великих писателей.

— За то, что они писали стишки? — спросила девушка.— Смешно, да?

Динни ничего не ответила. Она-то знала некоторые

¹ П и т н, Уильям, граф Чатам (1708—1778) — английский государственный деятель.

из этих стишков! Осмотрев несколько изваяний и прочитав имена, которые и Динни-то не слишком интересовали, а Миллисент и подавно, девушки медленно направились по приделу туда, где между двумя красными венками лежит черно-золотая плита Неизвестного солдата.

— Интересно, знает ли он,— сказала девушка,— я-то думаю, ему все равно; раз даже имя его никто не слышал, какой ему от всего этого прок?

— Ему — никакого. А вот нам есть прок,— сказала Динни; она испытывала волнение, которым весь мир платит дань Неизвестному солдату.

Когда они снова очутились на улице, Миллисент вдруг спросила:

— А вы верите в бога, мисс?

— В какой-то мере,— неуверенно ответила Динни.

— Меня этому никогда не учили: отец и мать любили мистера Черрела, но думали, что он ошибается; понимаете, отец у меня был социалист и всегда говорил, что религия — часть капиталистического строя. Вообще наш брат в церковь не ходит. Во-первых, и времени нет. А потом в церкви сиди тихо, как истукан. Я вот, например, не люблю сидеть на одном месте. И если бог есть, почему это обязательно «он»? У меня вся душа возмущается. Вот и с девушками обращаются так потому, что бог — это «он». С тех пор как меня судили, я много об этом думала. Да и много ли «он» сотворит, если тут не будет «ее», — держи карман шире!

Динни в изумлении уставилась на девушку.

— Жаль, что вы не сказали этого дяде. Интересная мысль.

— Говорят, женщины и мужчины теперь равны,— продолжала Миллисент,— но это вранье. У меня на работе все девушки боялись хозяина, как огня. Где деньги, там и сила. И чиновники, и судьи, и священники — все они мужчины, да и генералы тоже. Сила у них, а без нас все равно ничего поделать не могут. Эх, будь я одна женщина на свете, я бы им показала!

Динни молчала. Конечно, девушка ожесточена, жизнь у нее нелегкая, но в ее словах есть правда. Создатель должен быть двуполым, иначе процесс сотворения мира прекратился бы в самом начале. Тут заложена

основа равноправия полов, как это ей прежде в голову не приходило! Если бы Миллисент принадлежала к ее кругу, Динни поделилась бы с ней своими мыслями, но она не могла быть с ней откровенной; в душе ругая себя за спесь, она сказала с привычной иронией:

— Ну, вы прямо бунтары!

— Да уж тут забунтуешь,— возразила девушка.

— Вот мы и пришли к миссис Монт. У меня есть еще дела, я с вами расстанусь. Надеюсь, мы еще увидимся.

Динни протянула руку, Миллисент ее пожала.

— Хорошо мне было с вами,— сказала она от души.

— Мне тоже. Желаю удачи!

Динни оставила девушку в холле, а сама отправилась на Окли-стрит; ей было не по себе, как всякому человеку, который остановился на полпути. Она прикоснулась к неведомому и отступила. Ее мысли и чувства напоминали ей веселое чириканье весенних птиц, которые еще не сложили своих песен. Эта девушка пробудила в ней какое-то новое для нее желание схватиться с жизнью врукопашную, но ни намеком не подсказала, как это сделать. Эх, если бы она могла влюбиться! Приятно знать, чего хочешь, как это знали с первого взгляда Джин и Хьюберт, как это знали, по их словам, Халлорсен и Алан Тасборо. А ее существование скорее похоже на театр теней, чем на действительность. Недовольная собой, она облокотилась на парапет над Темзой, следя за поднимающимся приливом. Верит ли она в бога? В каком-то смысле — да. Но в каком? Ей припомнилась фраза из дневника Хьюберта: «Всякий, кто верит, что попадет на небо, находится в куда более счастливом положении, чем я. Ведь ему сулят посмертную пенсию». Разве религия — это вера в загробное вознаграждение? Если так — какая пошлость! Надо верить в добро ради самого добра, потому что добро прекрасно, как цветок, как звездная ночь, как музыка. Дядя Хилери делает свое трудное дело, ибо просто не может иначе. А он верит в бога? Надо его спросить. У самого ее уха раздался голос:

— Динни!

Динни вздрогнула и обернулась,— перед ней, широко улыбаясь, стоял Алан Тасборо.

— Я был на Окли-стрит, справлялся о вас и о Джин;

там мне сказали, что вы остановились у Монтов. Я пошел было туда и вдруг встречаю вас. Вот повезло!

— А я раздумываю, верю ли я в бога.

— Как странно! Я тоже!

— Что — тоже? Верю ли я или верите ли вы?

— По правде говоря, вы и я для меня — одно и то же.

— Вот как? Так как же мы, верим или нет?

— С грехом пополам.

— А вы слышали, что случилось на Окли-стрит?

— Нет.

— Капитан Ферз вернулся.

— Ах ты черт!

— Вот именно. Вы видели Диану?

— Нет; только горничную,—она была какая-то растерянная. А тот, бедняга, все еще не в своем уме?

— Ему лучше, но это так ужасно для Дианы.

— Надо бы ее оттуда убрать.

— Я перееду к ней, если она согласится,—сказала вдруг Динни.

— Ну, мне это совсем не нравится.

— Да уж чего хорошего, но я все-таки перееду.

— Почему? Она вам не такой уж близкий человек.

— Мне надоело бить баклуши.

Молодой Тасборо изумленно раскрыл глаза.

— Не понимаю.

— Вы не прячетесь за мамину юбку. Пора и мне начать жить самостоятельно.

— Тогда выходите за меня замуж.

— Ей-богу, Алан, я никогда не встречала человека с такой бедной фантазией.

— Лучше придумать что-нибудь одно, но стоящее.

Динни двинулась дальше.

— Я иду на Окли-стрит.

Некоторое время они шли молча; наконец молодой Тасборо серьезно спросил:

— Что вас мучает, моя дорогая?

— Собственная натура; уж больно спокойно живу, никаких треволнений.

— Дайте мне волю, у вас будет их сколько угодно.

— Я говорю серьезно, Алан.

— Вот и отлично. Пока вы не станете серьезной,

вы за меня замуж не выйдете. Но почему вам так не хватает синяков?

Динни пожала плечами.

— А помните у Лонгфелло: «Жизнь реальна, жизнь сурова». Вы, конечно, не знаете, что это за никчемное занятие — жить маменькиной дочкой в деревне.

— Сказал бы я вам, да боюсь.

— Почему же, скажите!

— Ваш недуг легко излечить. Отчего бы вам самой не стать маменькой в городе?

— Вот когда девушкам полагается краснеть, — вздохнула Динни. — Право, мне совсем не хочется превращать все в шутку, но, кажется, ничего другого мне не дано.

Молодой Тасборо взял ее под руку.

— Если вы сумеете превратить в шутку жизнь жены моряка, вы будете первая, кому это удалось.

Динни улыбнулась.

— Я ни за кого не выйду замуж, пока не почувствую, что не могу иначе. Я слишком хорошо себя знаю.

— Ладно, Динни; не буду вам больше надоедать.

Они снова помолчали; на углу Окли-стрит она остановилась.

— Дальше вам идти не стоит.

— Я загляну вечером к Монтам и узнаю, как ваши дела. И если вам понадобится помощь — любая помощь, — вам надо только позвонить мне в клуб. Вот по этому номеру.

Он написал карандашом номер на карточке и протянул ей.

— Вы будете на свадьбе Джин?

— А как же! Я ведь шафер. Хотел бы я только...

— До свидания! — прервала его Динни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Динни весело рассталась с Аланом, но на душе у нее скребли кошки, и она минутку помедлила у дверей. Ей еще не приходилось иметь дело с психически больными, и она очень боялась. Впустила ее все та же немолодая горничная. Миссис Ферз сейчас у капитана Фер-

за, и не поднимется ли мисс Черрел в гостиную? Динни подождала в той самой комнате, где сидела под замком Джин. Вошла Шейла, сказала: «Здравствуйте! Вы ждете мамочку?» — и ушла. Потом появилась Диана; лицо у нее было такое растерянное, словно она никак не может собраться с мыслями.

— Простите, дорогая, я читала ему газеты. Стараюсь вести себя с ним, как будто ничего не случилось.

Динни подошла к ней и погладила ее по руке.

— Но это не может так продолжаться, Динни; не может. Я теперь знаю.

— Давайте я поживу у вас. Вы можете ему сказать, что вы давно меня пригласили.

— Но, Динни, мало ли что здесь может произойти? Я просто не знаю, что с ним делать. Он боится выходить из дому и встречаться с людьми. И в то же время слышать не хочет о том, чтобы уехать куда-нибудь, где его не знают; и врача не хочет звать. Никого не желает видеть.

— Меня он будет видеть постоянно и, может, понемножку привыкнет к людям. Через несколько дней он освоится. Давайте я съезжу за вещами?

— Если уж вы и в самом деле такой ангел, пожалуйста!

— Я предупрежу дядю Адриана, что переезжаю к вам; он поехал в клинику.

Диана подошла к окну и постояла, глядя на улицу. Внезапно она обернулась.

— Я твердо решила, Динни: надо сделать все, чтобы ему помочь. Если хоть что-нибудь от меня зависит, я это сделаю.

— Молодец! — сказала Динни. — Я вам помогу!

И, боясь расплакаться или увидеть слезы Дианы, она вышла из гостиной и спустилась по лестнице. Проходя по улице, она опять заметила в окне столовой Ферза, его горящие глаза следили за ней. Всю дорогу назад, на Саут-сквер, ее преследовало сознание этой трагической несправедливости.

За обедом Флер сказала:

— Не к чему терзаться, пока еще ничего не случилось, Динни. Хорошо, что Адриан вел себя, как святой. Вот вам пример бессилия закона. Вообразите, что Дина-

на получила бы развод,— это не помешало бы Ферзу вернуться к ней, а ей отнестись к нему так же, как сейчас. Закон не в силах повлиять на отношения между людьми. А Диана любит Адриана?

— Не думаю.

— Вы в этом уверены?

— Нет. Мне трудно разобраться даже в себе самой.

— Да, кстати, звонил ваш американец. Он хотел зайти.

— Что ж, пусть заходит. Но я буду уже на Окли-стрит.

Флер посмотрела на нее испытующим взглядом.

— Значит, мне лучше поставить на моряка?

— Нет. Поставьте на старую деву.

— Ну, милая! Это невозможно.

— Не вижу от замужества никакого проку.

Флер ответила с жесткой усмешкой:

— Нельзя же стоять на месте. Вот мы и не стоим, а иначе было бы слишком скучно.

— Вы современная женщина, Флер, я средневековая.

— Да, у вас в лице есть что-то от ранних итальянцев. И ранним итальянцам не удавалось убежать от жизни. Не тешьте себя иллюзиями. Рано или поздно самой себе осточертеешь, и тогда...

Динни с изумлением взглянула на Флер,— она никогда прежде не слышала от нее таких горьких слов.

— А какой прок от брака вам, Флер?

— Ну, я по крайней мере стала настоящей женщиной, дорогая моя,— сухо ответила Флер.

— Вы хотите сказать, что у вас есть дети?

— Говорят, дети могут быть и без брака, хотя я в это не очень верю. У вас же, Динни, этого быть не может,— вами движут прадедовские инстинкты; в старых семьях царит врожденная тяга к законному потомству. Ведь без него не было бы и старых семей.

Динни наморщила лоб.

— Никогда об этом не думала, но я не хотела бы иметь незаконного ребенка. Да, кстати, вы дали той девушке рекомендацию?

— Да. Не вижу, почему бы ей не стать манекенщицей. У нее узкие бедра. Нынешняя мода на мальчише-

скую фигуру продлится еще не меньше года. Потом — помяните мое слово — юбки станут длиннее и снова начнут увлекаться пышными формами.

— Унизительно, правда?

— Что?

— Всячески подлаживаться, менять свои формы, волосы и так далее.

— Игра стоит свеч. Мы отдаем себя в руки мужчин для того, чтобы они попали в наши руки. Такова философия соблазнительницы.

— Если эта девушка будет манекенщицей, она уж наверняка пойдет по дурной дорожке.

— Не обязательно. Она может даже выйти замуж. Но меня не волнует нравственность моих ближних. Наверно, вам, в Кондафорде, приходится делать вид, что вас это интересует, — не зря вы сидите там со времен Вильгельма Завоевателя. Кстати, ваш отец принял меры, чтобы его дети заплатили поменьше налога на наследство?

— Он еще не старик, Флер.

— Да, но умирают не одни старики. У него есть что-нибудь, кроме имения?

— Только пенсия.

— У вас там много леса?

— Терпеть не могу, когда рубят деревья. Двести лет роста, жизни — все насмарку в каких-нибудь полчаса. Возмутительно.

— Милая моя, у людей обычно нет другого выхода, — разве что все продать и уехать.

— Как-нибудь перебьемся, — коротко сказала Динни, — мы никогда не продадим Кондафорд.

— Не забудьте о Джин.

Динни резко выпрямилась.

— И она этого не сделает. Тасборо — такой же старинный род, как наш.

— Предположим; но эта девушка полна неожиданностей, энергии у нее хоть отбавляй. Прозябать она не захочет.

— Жить в Кондафорде — это не прозябание.

— Не обижайтесь, Динни; я думаю только о вас. Я вовсе не хочу, чтобы вы потеряли Кондафорд, как не хочу, чтобы Кит потерял Липпингхолл. Майкл такой

взбалмошный. Говорит, что если он один из столпов страны, то ему жаль такую страну,—какая глупость! Я никому этого не говорю,—неожиданно добавила Флер с глубокой искренностью,—но Майкл — золотой человек!

Заметив удивленный взгляд Динни, она переменяла тему.

— Значит, на американце я могу поставить крест?

— Безусловно. Три тысячи миль между мной и Кондафордом — нет, спасибо!

— Тогда перестаньте мучить беднягу,—он признался мне, что вы его «идеал».

— И он туда же! — воскликнула Динни.

— Да, и даже сказал, что он от вас без ума.

— Это ничего не значит.

— В устах человека, который отправляется на край света, чтобы раскопать истоки цивилизации, что-нибудь да значит. Большинство людей готово сбежать на край света, лишь бы не видеть ни цивилизации, ни ее истоков.

— Я с ним покончу, как только уладится дело Хьюберта,—сказала Динни.

— Боюсь, что для этого вам придется либо постричься в монахини, либо надеть фату. Фата будет вам очень к лицу, Динни, когда вы пойдете с моряком к деревенскому алтарю под марш Мендельсона, окруженная милым вашему сердцу средневековьем. Хотела бы я это видеть!

— Я ни за кого не выйду замуж.

— Что ж, может, мы пока позвоним Адриану?

В квартире Адриана им ответили, что он будет дома к четырем часам. Динни попросила передать ему, чтобы он зашел на Саут-сквер, и поднялась к себе за вещами. В половине четвертого, спускаясь по лестнице, она заметила на пышном «саркофаге», где покоилась верхняя одежда, шляпу, поля которой были ей знакомы. Она попятилась, но было уже поздно.

— А! Вот хорошо!—раздался голос Халлорсена.—Я боялся, что вас не застаю.

Динни подала Халлорсену руку, и они вместе вошли в гостиную Флер, где на фоне мебели в стиле Людовика XV он выглядел, как слон в посудной лавке.

— Я хотел рассказать вам, мисс Черрел, что мне удалось сделать для вашего брата. Наш консул в Ла-Пас заставит этого парнишку Мануэля прислать данное под присягой свидетельское показание о том, как на капитана Черрела было совершено вооруженное нападение; это я уже устроил. Если здесь у людей есть хоть капля здравого смысла, вашего брата оправдают. Я положу конец всей этой идиотской истории, даже если мне придется вернуться ради этого в Боливию.

— Большое спасибо, профессор.

— Не за что! Я теперь на все готов ради вашего брата! Я полюбил его, как родного.

Динни вздрогнула, но в его словах было столько великодушия и душевной теплоты, что она почувствовала себя маленькой и ничтожной.

— Вы сегодня плохо выглядите,— сказал он вдруг.— Если вы чем-нибудь расстроены, скажите, я все улажу.

Динни рассказала ему о возвращении Ферза.

— Эта очаровательная дама! Как жаль! Но, может быть, она его любит, тогда со временем ей станет легче.

— Я собираюсь переехать к ней.

— Молодчина! А что, этот капитан Ферз не опасен?

— Мы еще не знаем.

Он сунул руку в задний карман и вытащил крошечный револьвер.

— Положите эту штуку в сумочку. Самый маленький револьвер на свете. Я купил его специально для Англии,— ведь у вас не принято ходить с оружием.

Динни рассмеялась.

— Спасибо, профессор, но у меня он непременно выстрелит совсем некстати. И даже в случае опасности было бы нечестно им воспользоваться.

— Верно! Мне это не пришло в голову. Но это верно. Человек, которого постигло такое несчастье, имеет право на сочувствие. Но мне не нравится, что вы будете подвергать себя опасности.

Помня наставления Флер, Динни храбро спросила:

— Почему?

— Потому, что вы мне очень дороги.

— Это так мило с вашей стороны; но должна вас предупредить, профессор, что на брачной бирже я не котируюсь.

— Всякая женщина котируется, пока не вышла замуж.

— Кое-кто полагает, что она только тогда и начинает котироваться.

— Знаете,— серьезно сказал Халлорсен,— лично я не признаю измен. Я стою за честную игру в отношениях между мужчиной и женщиной, как и во всем остальном.

— От души желаю вам найти честного партнера.

Он выпрямился во весь рост.

— Я его уже нашел. Имею честь просить вашей руки, и, пожалуйста, не говорите сразу «нет».

— Если вы стоите за честную игру, профессор, я должна сказать — «нет».

Она увидела, как его голубые глаза затуманились, точно от боли, и ей стало его жаль. Он подошел к ней поближе, возвышаясь над ней, как гора,— ее даже дрожь пробрала.

— Вас смущает, что я американец?

— Я сама не знаю, что меня смущает.

— Может, вы все еще на меня сердитесь из-за брата?

— Не знаю.

— Но вы мне позволите надеяться?

— Нет. Поверьте, я польщена и благодарна. Но... нет.

— Простите, вы любите другого?

Динни покачала головой.

Халлорсен замер, на лице его было написано недоумение, потом оно прояснилось.

— Наверно, я вас еще не заслужил,— сказал он.— Мне надо вас заслужить.

— Я этого не стою. Просто я к вам ничего не чувствую.

— У меня чистые руки и чистое сердце.

— Не сомневаюсь; я восхищаюсь вами, профессор, но я никогда вас не люблю.

Халлорсен отступил, словно не доверяя своей выдержке, и отвесил ей глубокий поклон. Во всем его облике было столько благородства, что она невольно им залюбовалась. Наступило долгое молчание.

— Ну что ж, слезами горю не поможешь,— сказал

он наконец,— располагайте мною, как вам будет угодно. Я ваш покорный слуга.—И, круто повернувшись, вышел.

Внизу хлопнула дверь, и Динни почувствовала комок в горле. Ей было больно оттого, что она причинила ему боль, но она испытывала и облегчение — такое, какое испытываешь, когда тебе перестает угрожать что-то огромное, стихийное, первобытное. Динни постояла перед зеркалом, злясь на себя, словно она только сейчас обнаружила, какие у нее чувствительные нервы. Как мог большой, красивый, пышущий здоровьем человек полюбить это существо с рыбьей кровью, эту спичку, которую она видела сейчас в зеркале? Да ведь он может убить ее одним щелчком. Не это ли ее и оттолкнуло? Своим ростом, своей силой, своим румянцем и звучным голосом он как бы олицетворял безбрежный простор его прерий. Смешно, глупо, может быть, но это и в самом деле ее отталкивало. Ее место здесь, в ее мире, а совсем не среди таких, как он. Если поставить их рядом, они будут выглядеть просто смехотворно. Она все еще стояла, невесело улыбаясь, перед зеркалом, когда приехал Адриан.

Динни порывисто повернулась к нему. Трудно было представить себе больший контраст с недавним посетителем. Она поглядела на этого совсем не цветущего, немолодого, умного, мягкого и глубоко встревоженного человека — и сразу как-то успокоилась. Динни поцеловала его.

— Я переезжаю к Диане и хотела перед этим тебя повидать.

— Ты в самом деле туда едешь?

— Да. Ты, наверно, не обедал и чаю не пил...— Она позвонила.— Кокер, принесите мистеру Адриану...

— Пожалуйста, коньяку с содовой, Кокер.

— Теперь рассказывай, дядя,— сказала она, когда он проглотил коньяк.

— Боюсь, Динни, что на них не очень-то можно положиться. По их мнению, Ферзу лучше вернуться в клинику. Но я не пойму, зачем это нужно, пока он ведет себя нормально. Они отрицают возможность его выздоровления, но не могут припомнить у него ни одного ненормального поступка за последние недели. Я разыскал его служителя и расспросил его. По-моему, это поря-

дочный человек; он мне сказал, что в данный момент Ферз так же здоров, как он сам. Но беда в том, что Ферз однажды уже поправился — он был здоров три недели, а потом все началось снова. Этот парень считает, что если что-нибудь выведет Ферза из равновесия, — например, если ему будут перечить, — он заболит опять, и, может быть, еще хуже. Просто ужас.

— А он не буйный, когда у него приступ?

— Буйный, но это какое-то мрачное буйство, направленное больше против себя, чем против других.

— А они не попробуют взять его обратно силой?

— Не имеют права. Он пошел к ним добровольно; я тебе говорил, что официально он сумасшедшим не признан. Как Диана?

— Вид у нее усталый, но красива, как всегда. Говорит, что пойдет на все, чтобы ему помочь.

Адриан кивнул.

— Это на нее похоже; редкого мужества человек. И ты тоже, дорогая. Мне гораздо легче от сознания, что ты будешь с нею. Хилери готов взять к себе ее и детей, если она захочет, но, судя по твоим словам, она на это не пойдет.

— Пока нет.

Адриан вздохнул.

— Что ж, подождем.

— Ах, дядя, — сказала Динни, — мне так тебя жаль.

— Дорогая, кому нужна пятая спица в колеснице, — лишь бы колесница была цела. Не буду тебя задерживать. Ты всегда застанешь меня либо в музее, либо дома. До свидания и спасибо! Передай Диане привет и все, что я тебе рассказал.

Динни поцеловала его еще раз, взяла вещи и отправилась на Окли-стрит.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

У Бобби Феррара было непроницаемое лицо. Казалось, ничто не может поколебать этого олимпийского спокойствия. Иными словами, он был идеальным чиновником — таким идеальным, что министерство иностран-

ных дел явно не могло бы без него существовать. Министры приходили и уходили, а Бобби Феррар — вежливый, безмятежный, сверкавший белозубой улыбкой, — оставался. Никто не знал, есть ли у него за душой хоть что-нибудь, кроме бесконечного множества секретов. Возраста он был самого неопределенного; коротенький, приземистый, с низким бархатным голосом, он был сама невозмутимость. В темном костюме в едва заметную светлую полоску, с цветком в петлице, он пребывал в большой приемной, которая была почти пуста, если не считать посетителей, желавших видеть министра иностранных дел и видевших вместо него Бобби Феррара. По сути дела, это был буфер — безупречный буфер. Он имел свою слабость — криминалистику. Ни одно сколько-нибудь громкое дело об убийстве не слушалось без Бобби Феррара — он всегда появлялся на своем постоянном месте в суде хотя бы на полчаса. Он переплетал и хранил отчеты об этих процессах. Пожалуй, наилучшей характеристикой его деловых качеств, каковы бы эти качества ни были, служило то, что никто его ни разу не попрекнул знакомством почти с целым светом. Люди обращались к Бобби Феррару, а не он к ним. Но почему? Что сделал он такого, что все звали его уменьшительным именем — «Бобби»? У него даже не было титула, он был просто сыном новоиспеченного лорда. Бобби бывал повсюду — любезный, загадочный, настоящий светский лев. Он сам, его цветок в петлице и легкая улыбка мешали Уайтхоллу¹ окончательно превратиться в бездушную машину. Он служил там еще до войны, откуда его, по слухам, вернули как раз вовремя, чтобы он успел помешать правительственным учреждениям утратить свой традиционный дух, и спас Англию от самой себя. Пока его крепко сбита, спокойная, невозмутимая персона с неизменным цветком в петлице ежедневно шествовала мимо этих слинявших, внушительного вида зданий, Англия не могла стать голодной, сварливой каргой, в которую война пыталась ее превратить.

¹ Так называют в Англии правительственный аппарат — по названию улицы, где находятся важнейшие министерства, в том числе министерство иностранных дел.

Как-то утром, недели через две после описанных событий, когда Бобби Феррар перелистывал каталог луковичных цветов, ему принесли визитную карточку сэра Лоренса Монта; вслед за ней появился он сам и с места в карьер спросил:

— Вы знаете, Бобби, зачем я пришел?

— Как нельзя лучше, — сказал Бобби Феррар басом, округлив глаза и откинув назад голову.

— Вы виделись с маркизом?

— Вчера с ним завтракал. Удивительный человек!

— Гордость старой гвардии, — сказал сэр Лоренс. — Что же вы собираетесь делать? Покойный сэр Конвей Черрел был лучшим послом в Испании, какой когда-либо вышел из вашей лавочки, а Хьюберт Черрел — его внук.

— У него действительно есть шрам? — осклабился Бобби Феррар.

— Ну, конечно.

— И он действительно получил его там?

— Фома неверующий! Разумеется.

— Странно.

— Почему?

Бобби Феррар сверкнул зубами.

— Кто может это доказать?

— Халлорсен обещал заручиться свидетельскими показаниями.

— Видите ли, это дело не нашей компетенции.

— Нет? Но вы можете нажать на министра внутренних дел.

— Гм! — глубокомысленно произнес Бобби Феррар.

— И уж, во всяком случае, вы можете поговорить с боливийцами.

— Гм! — сказал Бобби Феррар еще более глубокомысленно и протянул ему каталог. — Вы видели этот новый тюльпан? Лучше нельзя, правда?

— Послушайте, Бобби, — сказал сэр Лоренс, — это у вас не пройдет; Хьюберт — мой племянник, и он, как у вас говорят, парень что надо. Понятно?

— Век-то демократический, — таинственно изрек Бобби Феррар, — в палате сделали запрос, да? Насчет рукоприкладства?

— Если там будут шуметь, пустим в ход тормоза.

Халлорсен отказался от своих обвинений. Ладно, предоставляю это вам; вы же все равно ничего толком не скажете, даже если я проторчу тут до вечера. Но вы сделаете все, что сможете,—ведь обвинение действительно скандальное.

— Как нельзя более,—заметил Бобби Феррар.— Хотите пойти на процесс кройдонского убийцы? Поражительное дело. У меня два места. Я предложил одно дяде, но он заявил, что не пойдет в суд до тех пор, пока не введут электрический стул.

— А этот человек действительно виновен?

Бобби Феррар кивнул.

— Но прямых доказательств нет,—добавил он.

— Ну, до свидания, Бобби; я полагаюсь на вас.

Бобби Феррар вежливо осклабился и протянул руку.

— До свидания,—процедил он сквозь зубы.

Сэр Лоренс пошел в Кофейню, где швейцар вручил ему телеграмму: «Венчаюсь Джин Тасборо сегодня два часа святом Августине-в-Лугах буду рад видеть тебя и тетю Эм. Хьюберт».

Войдя в зал, сэр Лоренс сказал метрдотелю:

— Баттс, мне надо поглядеть, как будут венчать моего племянника. Подкрепите меня побыстрее.

Вскоре он уже ехал в такси к святому Августину и добрался туда около двух. На ступеньках он встретил Динни.

— Ты сегодня бледная, но интересная, Динни.

— А я всегда бледная, но интересная, дядя Лоренс.

— События, кажется, развиваются довольно быстро.

— Это все Джин. Я чувствую на себе страшную ответственность. Ведь это я ее откопала.

Они вошли в церковь и направились к передним скамьям. В церкви были только генерал, леди Черрел, жена Хилери и Хьюберт, если не считать двух случайных зевак и служителя. Послышались звуки органа. Сэр Лоренс и Динни сели на пустую скамью.

— Я ничуть не жалею, что здесь нет Эм,—шепнул он ей,—у нее глаза на мокром месте. Когда ты будешь выходить замуж, Динни, напечатай на пригласительных билетах: «Просьба не плакать». Что, собственно, вызывает такую сырость на свадьбах? На них рыдают даже судебные исполнители.

— Их умиляет фата,— сказала Динни.— Сегодня никто не будет плакать потому, что невеста без фаты. Смотри! Флер и Майкл.

Сэр Лоренс поглядел на них в монокль.

— Уже восемь лет, как они женаты. В общем, это не такой уж неудачный брак.

— Отнюдь,—шепнула Динни,— Флер на днях сказала, что Майкл — золотой человек.

— Неужели? Это хорошо. Были времена, Динни, когда я чувствовал тревогу.

— Надеюсь, не из-за Майкла?

— Нет, нет; на него можно положиться. Но Флер раза два-три устраивала семейный переполох; впрочем, после смерти отца она ведет себя безупречно. А вот жених и невеста!

Орган заиграл «Гряди, голубица». Алан Тасборо вел Джин под руку к алтарю. Динни залюбовалась его прямым и честным взглядом. Что касается Джин, она была олицетворением яркой красоты и силы. Хьюберт, стоявший, заложив руки за спину, словно по команде «вольно», повернулся навстречу Джин, и Динни увидела, как его худое, угрюмое лицо просветлело, будто его осветило солнце. У нее сжалось горло. Тут она заметила, что Хилери в стихаре неслышно появился на ступенях алтаря.

«Люблю дядю Хилери»,— подумала она.

Хилери заговорил.

На этот раз Динни изменила своей привычке не слушать того, что говорят в церкви. Она ждала знакомых слов: «Жена да повинуется...» — но их не было; она ждала обычных намеков на отношения между полами,— они были опущены. Вот Хилери просит дать ему кольцо. Кольцо надето. Вот он начал молиться. Вот он прочел «Отче наш», и они ушли в ризницу. Какая до странности короткая церемония!

Она поднялась с колен.

— Свадьба как нельзя лучше, сказал бы Бобби Феррар,— прошептал сэр Лоренс.— Куда они поедут?

— В театр. Джин хочет остаться в городе. Она сняла дешевую квартиру.

— Затишье перед бурей. Хотел бы я, чтобы эта история с Хьюбертом была уже позади.

Молодая чета вышла из ризницы, и орган заиграл марш Мендельсона. Динни смотрела, как они идут по проходу, и в ней боролись чувства радости и утраты, ревности и удовлетворения. Потом, заметив, что и у Алана такой вид, будто в нем бушуют какие-то чувства, она поспешно направилась к Флер и Майклу, но, увидев возле выхода Адриана, подошла к нему.

— Какие новости, Динни?

— Пока все в порядке. Я сейчас еду прямо туда.

Публика, как известно, любит посочувствовать чужим переживаниям,— снаружи собралась кучка прихожан Хилери; когда Джин и Хьюберт сели в свою двухместную машину и тронулись в путь, их проводили визгливыми напутствиями.

— Поедем со мной, дядя,— сказала Динни.

— А Ферз не сердится, что ты там живешь?—спросил в такси Адриан.

— Он со мной вежлив, но все время молчит и глаз не сводит с Дианы. Мне его ужасно жалко.

Адриан кивнул.

— А как она?

— Держится замечательно, как ни в чем не бывало. Вот только он не хочет выходить из дому; сидит в столовой и что-то высматривает в окно.

— Ему, видно, кажется, что весь мир в заговоре против него. Если только ему не станет хуже, это скоро пройдет.

— А разве ему непременно должно стать хуже? Ведь бывают же случаи полного выздоровления?

— Насколько я понимаю, тут на это рассчитывать нечего. Против него наследственность, да и характер.

— Он бы мог мне понравиться—у него такое смелое лицо,—но я боюсь его глаз.

— Ты его видела с детьми?

— Еще нет; но они говорят о нем хорошо и спокойно; видно, он их не напугал.

— В клинике они что-то объясняли мне на своем птичьем языке насчет комплексов, маний, депрессий и раздвоения личности; как я понял, приступы глубокой меланхолии чередуются у него с приступами сильнейшего возбуждения. За последнее время те и другие смягчились до такой степени, что он почти выздоровел. Надо

остерегаться рецидивов. В нем всегда жил мятежный дух; во время войны он бунтовал против командования, после войны — против демократии. Теперь, вернувшись, он наверняка затеет что-нибудь еще. А как только это случится, он сразу же свихнется опять. Если в доме есть оружие, Динни, его надо спрятать.

— Я скажу Диане.

Такси свернуло на Кингс-Род.

— Лучше мне не провожать тебя до самого дома,— печально сказал Адриан.

Динни вышла из машины вместе с ним. С минуту она постояла, глядя, как удаляется его высокая, сутулая фигура, потом повернула на Окли-стрит и открыла дверь своим ключом. На пороге столовой стоял Ферз.

— Войдите сюда,— сказал он,— мне нужно с вами поговорить.

В этой зеленовато-золотистой комнате, обшитой панелями, недавно отобедали; на узком столе лежали газеты, книги, стояла коробка с табаком. Ферз пододвинул Динни стул и встал спиной к огню, который никак не мог разгореться ярким пламенем. Ферз на нее не смотрел, и Динни могла разглядеть его лучше, чем когда бы то ни было. Его красивое лицо производило тягостное впечатление. Острые скулы, упрямый подбородок, вьющиеся волосы с проседью только подчеркивали жадно горящие серо-голубые глаза. И даже его поза,— он стоял, широко расставив ноги, подбоченясь, вытянув вперед шею,— тоже подчеркивала этот лихорадочный взгляд. Динни откинулась на стуле; ей было страшно, но она старалась улыбаться. Повернувшись к ней, он спросил:

— Что обо мне говорят?

— Не знаю; я была на свадьбе брата.

— Хьюберта? На ком он женился?

— На Джин Тасборо. Вы ее тут на днях видели.

— А! Помню. Я ее запер.

— Зачем?

— Она показалась мне опасной. Знаете, я ведь поехал в клинику по доброй воле. Меня никто туда не помещал.

— Конечно. Я знаю, что вы находились там по доброй воле.

— Мне там было не так уж плохо, но... ладно! Как я выгляжу?

Динни мягко сказала:

— Понимаете, ведь я вас раньше никогда вблизи не видела; но мне кажется, что вы выглядите очень хорошо.

— Я и чувствую себя хорошо. Я делал гимнастику. Со мной занимался санитар, которого ко мне приставили.

— Вы много читали?

— За последнее время — да. А что они обо мне думают?

Услышав этот вопрос вторично, Динни посмотрела ему прямо в глаза.

— Что они могут думать, раз они вас не видели?

— По-вашему, мне надо встречаться с людьми?

— В этом я ничего не понимаю, капитан Ферз. Но почему бы и нет? Встречаетесь же вы со мной каждый день.

— Вы мне нравитесь.

Динни протянула ему руку.

— Только не говорите, что вам меня жалко, — быстро сказал Ферз.

— Зачем мне вас жалеть? Я уверена, что вы совершенно здоровы.

Он прикрыл глаза рукой.

— Да, но надолго ли?

— Почему не навсегда?

Ферз отвернулся к огню.

— Если вы не будете волноваться, ничего с вами не случится, — робко сказала Динни.

Ферз круто повернулся к ней.

— Вы часто видели моих детей?

— Не очень.

— Они на меня похожи?

— Нет, они пошли в Диану.

— Слава богу хоть за это! Что думает обо мне Диана?

На этот раз он впился в нее глазами, и Динни поняла, что от ее ответа будет зависеть все — да, все.

— Диана очень рада.

Он неистово замотал головой.

— Это невозможно.

— Правда часто кажется невозможной.

— Она меня; верно, ненавидит?

— За что?

— Ваш дядя Адриан... что между ними было? Только не говорите мне «ничего».

— Дядя на нее молится,— тихо сказала Динни,— вот почему они просто друзья.

— Просто друзья?

— Просто друзья.

— Много вы знаете!

— Я знаю наверняка.

Ферз вздохнул.

— Вы хорошая. Что бы вы сделали на моем месте? Динни снова почувствовала всю тяжесть своей ответственности.

— То, чего хочет Диана.

— А чего она хочет?

— Не знаю. Наверно, она и сама еще не знает.

Ферз задумчиво прошелся к окну и обратно.

— Я должен что-нибудь сделать для таких несчастных, как я.

Динни огорченно вздохнула.

— Мне ведь повезло. Таких, как я, врачи чаще всего признают ненормальными и упрятывают в сумасшедший дом. А будь я беден, нам бы эта клиника была не по карману. Там тоже не сладко, но куда лучше, чем обычно бывает в таких местах. Я расспрашивал своего служителя. Он знал два-три таких заведения.

Ферз умолк; а Динни вспомнила слова дяди: «...Он наверняка затеет что-нибудь еще. А как только это случится, он сразу же свихнется опять».

Внезапно Ферз заговорил снова:

— Если бы у вас была хоть какая-нибудь работа, взялись бы вы ухаживать за помешанными? Никогда! Ни вы, ни кто другой, у кого есть нервы и душевная деликатность. Святые на это, вероятно, способны, но святых ведь не так уж много. Нет! Чтобы ходить за нами, нужно не знать жалости, быть железным человеком, иметь дубленую шкуру. Люди чувствительные для нас хуже толстокожих,— они не владеют собой, и это отражается на нас. Заколдованный круг. Господи! Сколько я ломал себе над этим голову! А потом—деньги. Если у больного есть деньги, не посылайте его в такие

места. Никогда, ни за что! Устройте ему лучше тюрьму в собственном доме, где хотите, как хотите. Если бы я не знал, что могу уйти оттуда в любое время, если бы я не цеплялся за эту мысль даже в самые тяжелые минуты,— меня бы не было здесь сейчас... я был бы в смиренной рубашке. Господи! В смиренной рубашке! Деньги! Но у многих ли есть деньги? Может быть, у пятерых из ста. А остальных девяносто пять несчастных запирают в сумасшедший дом, запирают насильно. Все равно, как бы ни были хороши эти дома, как бы там хорошо ни лечили,— там все равно заживо хоронят. Иначе и быть не может. Люди на воле считают нас покойниками... всем на нас наплевать. Мы не существуем больше, сколько бы ни болтали о научных методах лечения. Мы непристойны... мы уже не люди... старые представления о безумии держатся крепко; мы — позор для семьи, жалкие неудачники. Вот нас и убирают с глаз долой, закапывают в землю. Делают это гуманно — двадцатый век! Гуманно! Попробуйте-ка сделать это гуманно. Вам не удастся! Тогда хоть подлакируйте сверху... подлакируйте, и все. Ничего другого не остается, уж поверьте мне. Поверьте моему служителю, он-то все знает.

Динни молча слушала. Ферз вдруг расхохотался.

— Но мы не покойники, вот в чем беда,— мы не покойники. Если бы только мы были покойниками! Все эти несчастные скоты — они еще не умерли; они способны страдать, как и всякий другой... больше, чем другой. Мне ли этого не знать? А как помочь?

Он схватился за голову.

— Неужели нельзя помочь? — тихо спросила Динни.

Он уставился на нее широко раскрытыми глазами.

— А мы только подлакируем погуще... вот и все, что мы можем; все, что мы когда-нибудь сможем.

«Тогда зачем себя изводить?» — чуть не сказала Динни, но сдержалась.

— Может быть, вы придумаете, чем помочь,— произнесла она вслух,— но это требует спокойствия и терпения.

Ферз рассмеялся.

— Я, наверно, наскучил вам до смерти.

И он отвернулся к окну.

Динни неслышно выскользнула из комнаты.

В этом пристанище людей, понимающих толк в жизни,— в ресторане Пьемонт,— понимающие толк в жизни пребывали в разных стадиях насыщения; они наклонялись друг к другу, словно еда сближала их души. Они сидели за столиками попарно, вчетвером, а кое-где и впятером; там и сям попадался отшельник с сигарой в зубах, погруженный в меланхолию или созерцание; а между столиками сновали тощие и проворные официанты,— привычка мучительно напрягать память искажала их лица. В ближнем углу лорд Саксенден и Джин уже расправились с омаром, осушили полбутылки рейнвейна, поболтали о том, о сем, наконец Джин медленно подняла глаза от пустой клешни и спросила:

— Итак, лорд Саксенден?

Под этим взглядом, сверкнувшим из-под густых ресниц, он еще больше выпучил голубые глаза.

— Как омар? — спросил он.

— Изумительный.

— Я всегда сюда прихожу, когда хочу вкусно поесть. Официант, куропатка готова?

— Да, милорд.

— Давайте поскорей. Попробуйте-ка рейнвейна, мисс Тасборо; вы ничего не пьете.

Джин подняла зеленоватый бокал.

— Со вчерашнего дня я стала миссис Хьюберт Черрел. Об этом напечатано в газетах.

Лорд Саксенден слегка надул щеки, погружившись в раздумье: «Интересно, выиграю я от этого что-нибудь или нет? Приятнее ли будет эта юная особа замужней?»

— Вы не теряете времени,— произнес он вслух, изучая ее лицо, словно пытался найти на нем следы ее изменившегося положения.— Если бы я знал, я бы не посмел пригласить вас обедать одну.

— Спасибо,— сказала Джин,— он сейчас за мной зайдет.

И сквозь приспущенные ресницы она посмотрела, как он задумчиво осушает бокал.

— Есть новости?

— Я видел Уолтера.

— Уолтера?

— Министра внутренних дел.

— Вот это мило с вашей стороны!

— Очень. Терпеть его не могу. У него голова совсем как яйцо, только волосы мешают.

— Что он сказал?

— Да будет вам известно, миледи, в правительственных учреждениях никто ничего не говорит. Всегда обещают «подумать». В этом смысл государственной власти.

— Но он ведь должен считаться с тем, что сказали вы. А что сказали вы?

Ледяные глаза лорда Саксендена как будто ответили: «Ну, знаете, это уж слишком».

Но Джин улыбнулась, и глаза постепенно оттаяли.

— Вы самая непосредственная женщина, какую мне доводилось видеть. Если уж на то пошло, я сказал: «Прекрати это, Уолтер!»

— Вот чудесно!

— Ему это не понравилось. Эта скотина стоит на страже закона.

— Могу я его повидать?

Лорд Саксенден расхохотался. Он хохотал, как человек, услышавший презабавнейшую остроту.

Джин дала ему посмеяться и сказала:

— Решено, я его повидаю.

Неловкую паузу заполнила подоспевшая куропатка.

— Послушайте,— сказал вдруг лорд Саксенден,— если вы серьезно, есть один человек, который может добиться для вас приема: это Бобби Феррар. Он служил с Уолтером, когда тот был министром иностранных дел. Я дам вам записку к Бобби. Хотите сладкого?

— Нет, спасибо. Но я хочу кофе. А вот и Хьюберт!

Вырвавшись из вертящейся западни, заменявшей здесь дверь, Хьюберт явно искал жену.

— Приведите его сюда!

Джин пристально посмотрела на мужа. Лицо у того прояснилось, и он направился прямо к ним.

— Ну и взгляд,— проворчал, поднимаясь, лорд Саксенден.— Здравствуйте. Ваша жена — редкая женщина, капитан Черрел. Хотите кофе?

И, вынув визитную карточку, он написал на ней аккуратным, четким почерком:

«Роберту Феррару эсквайру м. и. д., Уайтхолл. До-

рогой Бобби, примите, пожалуйста, моего друга миссис Хьюберт Черрел и, если есть хоть малейшая возможность, устройте ей прием у Уолтера.— Саксенден».

Передав карточку Джин, он потребовал счет.

— Хьюберт,— сказала Джин,— покажи лорду Саксендену шрам.

И, расстегнув запонку на манжете Хьюберта, она закатала его рукав. На фоне белой скатерти как-то странно и зловеще выделялась синевато-багровая полоса.

— Гм,— изрек лорд Саксенден,— это будет вам очень кстати.

Хьюберт двинул рукой, и шрам исчез.

— Она все еще позволяет себе вольности,— сказал он.

Лорд Саксенден заплатил по счету и предложил Хьюберту сигару.

— Извините, но я должен бежать. Допивайте ваш кофе. До свидания, и желаю счастья вам обоим!

Он пожал им руки и стал пробираться между столиками к выходу. Молодая пара проводила его взглядом.

— Насколько я слышал,— сказал Хьюберт,— он не славится деликатностью. Ну как, Джин?

Джин подняла на него глаза.

— Что такое м. и. д.?

— Министерство иностранных дел, милая моя деревенщина.

— Допивай кофе, и пойдем к этому человеку.

Во дворе они услышали за спиной голос:

— А! Черрел! Мисс Тасборо!

— Профессор, это моя жена.

Халлорсен схватил их за руки.

— Ну, разве не замечательно? У меня в кармане телеграмма, которая стоит любого свадебного подарка.

Заглянув Хьюберту через плечо, Джин прочитала вслух:

— «Заявление Мануэля скрепленное присягой опровергающее обвинения послано почтой точка американское консульство в Ла-Пас». Великолепно, профессор! А вы не сходите с нами насчет этого дела к одному человеку в министерстве иностранных дел?

— Охотно. Я и сам не хотел ничего откладывать в долгий ящик. Давайте возьмем машину.

Сидя против них в такси, Халлорсен весь сиял доброжелательством.

— Ну, и быстро же вы это состряпали, а?

— Это все Джин.

— Да,— сказал Халлорсен, словно Джин здесь не было,— как только я увидел ее в Липпингхолле, я сразу понял, что она девушка решительная. А сестра ваша рада?

— Как по-твоему, Джин?

— Конечно.

— Вот чудесная девушка! В низких зданиях есть своя прелесть. Приятно смотреть на ваш Уайтхолл. Чем больше солнца и звезд видишь прямо с улицы, тем больше в народе порядочности. Вы венчались в цилиндре, Черрел?

— Нет, я был одет, как сейчас.

— Жаль. Мне нравятся цилиндры,— словно носишь на голове символ утраченных идеалов. Вы, кажется, тоже из родовой семьи, миссис Черрел. Ваш здешний обычай служить своей родине целыми семьями, от отца к сыну, подает вдохновляющий пример.

— Вот никогда об этом не думала!

— Я беседовал с вашим братом там, в Липпингхолле, и он сказал, что у вас в семье вот уже несколько столетий всегда есть моряк. А у вас, Черрел, говорят, всегда есть солдат. Я верю в наследственность. Это и есть министерство иностранных дел? — Он посмотрел на часы.— Сомневаюсь, чтобы ваш знакомый был на месте. У меня такое впечатление, что все свои дела они обделывают за обедом. Может, нам лучше до трех пойти в парк и поглядеть на уток?

— Я оставляю ему карточку,— сказала Джин.

Она быстро вернулась.

— Его ждут с минуты на минуту.

— Значит, придет не раньше, чем через полчаса,— сказал Халлорсен.— Тут есть одна утка, капитан, насчет которой я хотел бы знать ваше мнение.

Когда они пересекали по дороге к пруду широкую улицу, их едва не сшибли две чуть было не столкнувшиеся машины,— водителей смутил непривычный про-

стор. Хьюберт судорожно схватил Джин за руку. Лицо его под загаром мертвенно побледнело. Машины промчались мимо справа и слева от них. Халлорсен, схвативший Джин за другую руку, сказал, растягивая слова больше обычного:

— Чуть было нас не поцарапали.

Джин промолчала.

— Я иногда задаю себе вопрос,— продолжал Халлорсен,— так ли уж нам нужна вся эта спешка? Как вы находите, Черрел?

Хьюберт пожал плечами.

— Заменяв поезд автомобилем, мы, во всяком случае, теряем почти столько же времени, сколько выигрываем.

— Верно,— сказал Халлорсен.— Зато аэроплан действительно сберегает нам много времени.

— Это вопрос,— мы еще не знаем, что нам принесет авиация.

— Вы правы. Мы сами готовим себе сущий ад. Следующая война дорого обойдется ее участникам. Предположим, что подерутся Франция и Италия,— тогда за каких-нибудь две недели не станет ни Рима, ни Парижа, ни Флоренции, ни Венеции, ни Лиона, ни Милана, ни Марселя. Они превратятся в отравленные пустыри. А военные корабли и войска, должно быть, не успеют сделать ни единого выстрела.

— Да. И это отлично известно всем правительствам. Я сам солдат, но никак не пойму, зачем они продолжают тратить сотни миллионов на армию и флот, которые, вероятно, вовсе и не понадобятся. Если будут уничтожены жизненные центры страны, нельзя управлять войсками и эскадрами. Долго ли продержатся Франция и Италия, если будут отравлены газами их крупнейшие города? Англия и Германия наверняка не продержались бы и недели.

— Ваш дядя, хранитель музея, говорит, что при нынешних темпах человек скоро снова превратится в рыбу.

— То есть как?

— Очень просто! Эволюция видов — от рыб к пресмыкающимся, птицам и млекопитающим — пойдет теперь обратным ходом. Мы снова становимся птицами,

скоро будем ползать и пресмыкаться, а в конечном счете, когда суша станет необитаемой, вернемся в море.

— Почему бы всем сообща не запретить войну в воздухе?

— Как ее запретишь? — сказала Джин. — Государства не доверяют друг другу. К тому же Америка и Россия не входят в Лигу Наций.

— Мы, американцы, согласились бы ее запретить. Но наш сенат — вряд ли.

— Ох, уж этот ваш сенат, — проворчал Хьюберт, — тяжело вам с ним, должно быть, приходится.

— Еще бы! Он совсем как ваша палата лордов до реформы тысяча девятьсот десятого года. Вот эта утка, — Халлорсен показал на птицу, в самом деле непохожую на остальных.

— Я охотился на таких в Индии, — сказал Хьюберт, разглядывая птицу. — Она называется... позабыл. Мы сейчас посмотрим на дощечке — я вспомню, как только прочту.

— Нет! — заявила Джин. — Уже четверть четвертого. Наверно, он пришел.

Так и не установив породы утки, они вернулись в министерство иностранных дел.

Бобби Феррар славился своим рукопожатием: дернет вверх руку собеседника и бросит ее на весу. Как только Джин водворила свою руку на место, она сразу перешла к делу.

— Вы в курсе этой истории с требованием выдать моего мужа, мистер Феррар?

Бобби Феррар кивнул.

— Вот профессор Халлорсен, который возглавлял экспедицию. Хотите взглянуть на шрам, который остался у моего мужа?

— Очень хочу, — процедил сквозь зубы Бобби Феррар.

— Покажи, Хьюберт.

Несчастный Хьюберт снова закатал рукав.

— Как нельзя лучше! — сказал Бобби Феррар. — Я говорил Уолтеру.

— Вы его видели?

— Меня просил об этом сэр Лоренс.

— Что же сказал Уол... министр внутренних дел?

— Ничего. Он видел Зазнайку, но он не любит Зазнайку и поэтому подписал ордер на Боу-стрит¹.

— Как? Значит, его арестуют?

Бобби Феррар кивнул, разглядывая свои ногти.

Молодожены переглянулись.

Халлорсен угрюмо спросил:

— Неужели на них нельзя найти управу?

Бобби Феррар покачал головой; глаза его стали круглыми.

Хьюберт поднялся.

— Жаль, что я доставил всем столько хлопот. Пойдем, Джин!

С легким поклоном он повернулся и вышел. Джин последовала за ним.

Халлорсен и Бобби Феррар остались вдвоем.

— Никак не пойму вашей страны,— сказал Халлорсен.— Что еще нужно было сделать?

— Ничего,— ответил Бобби Феррар.— Когда дело дойдет до суда, представьте все доказательства, какие удастся раздобыть.

— Непременно. Рад, что познакомился с вами, мистер Феррар!

Бобби Феррар вежливо осклабился. Глаза его округлились еще больше.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Делу дали законный ход, и Хьюберт предстал перед судом на Боу-стрит. Сидя в зале суда вместе с другими членами семьи, Динни с молчаливым протестом в душе следила за разбирательством. Письменные показания шести боливийских погонщиков, утверждавших, что Хьюберт застрелил человека без всякого повода, устные показания Хьюберта, оглашение его послужного списка, освидетельствование шрама и показания Халлорсена — вот и весь материал, на основании которого судья должен был вынести приговор. Он принял решение: «Отложить рассмотрение дела до поступления дополнительных доказательств со стороны обвиняемого». Затем

¹ Улица в Лондоне, где находится главный полицейский суд.

судья рассмотрел ходатайство о выдаче обвиняемого на поруки,— ведь основной принцип английского закона гласит: «Арестованный считается невиновным, пока его вина не доказана»,— принцип, который так часто нарушается на практике; Динни затаила дыхание. Она не могла примириться с мыслью, что Хьюберт, который только что женился и считается невиновным, должен будет сидеть в тюремной камере, пока доказательства его невиновности не переплывут океан. Но в конце концов судья согласился принять крупный залог, предложенный сэром Конвеем и сэром Лоренсом, и, облегченно вздохнув, Динни с высоко поднятой головой вышла из здания суда. На улице ее догнал сэр Лоренс.

— Какое счастье,— заметил он,— что у Хьюберта такой правдивый вид.

— Наверно, все это будет в газетах...— сказала вполголоса Динни.

— На этот счет, моя прелестная фея, ты смело можешь прозакладывать шпоры, которых у тебя нет.

— А как это отразится на служебном положении Хьюберта?

— Только к лучшему. Запрос в палате общин ему повредил. Но «процесс британского офицера против боливийских туземцев» сразу же привлечет все симпатии на его сторону, ты же знаешь слепую приверженность, которую у нас питают к своим.

— Больше всего мне жалко папу. У него заметно прибавилось седины с тех пор, как все это началось.

— Тут нет никакого позора, Динни.

Динни вскинула голову.

— Разумеется, нет!

— Знаешь, Динни, ты похожа на двухлетку — такую норовистую гнедую, которая брыкается в загоне, плохо берет старт, а все-таки приходит к финишу первая. Нас догоняет твой американец. Подождать его? Он дал очень выгодные показания.

Не успела Динни пожать плечами, как Халлорсен ее окликнул:

— Мисс Черрел!

Динни обернулась.

— Большое спасибо, профессор, за то, что вы там говорили.

— Для вас я бы с радостью и приврал, да не пришлось. Как поживает тот несчастный?

— Пока все в порядке.

— Рад это слышать. Я беспокоился о вас.

— Судья так и ахнул, профессор,— вставил сэр Лоренс,— когда вы сказали, что не хотели бы встретиться с этими погонщиками даже на том свете.

— Я жалею, что встретился с ними на этом. У меня тут машина,— может, я могу куда-нибудь подвезти вас и мисс Черрел?

— Пожалуйста, если вы едете на запад, к границам цивилизованного мира.

— Ну, профессор,— продолжал сэр Лоренс, когда они сели в машину,— как вам нравится Лондон? Что это — самый варварский или самый цивилизованный город в мире?

— Я его просто люблю,— ответил Халлорсен, не отрывая глаз от Динни.

— А я нет,— сказала вполголоса Динни,— я ненавижу всю эту бедность попережку с богатством и запах бензина.

— Иностранцу трудно объяснить, чем ему нравится Лондон,— может быть, своей пестротой и разнообразием, тем, что здесь соединились вольность и тяга к порядку; а может, тем, что Лондон так не похож на наши города. В Нью-Йорке больше шума и всяких диковин, но он не такой уютный.

— Нью-Йорк,— сказал сэр Лоренс,— действует как стрихнин. Он вас возбуждает, пока не свалит с ног.

— Я бы, конечно, не смог жить в Нью-Йорке. Запад — вот моя стихия.

— Безбрежные просторы прерий? — пробормотала Динни.

— Вот именно, мисс Черрел; вам бы там очень понравилось.

Динни невесело улыбнулась.

— Человек слишком глубоко уходит корнями в родную землю.

— Да,— подтвердил сэр Лоренс,— мой сын как-то раз поднял в парламенте вопрос об эмиграции. И обжегся — уж очень прочно сидят эти корни.

— Вот как? — удивился Халлорсен.— Когда гля-

дишь на ваших горожан, низкорослых, бледных и словно потерявших всякую веру в жизнь, поневоле задумаешься, какие у них могут быть корни.

— Не говорите, у настоящего горожанина они очень крепкие. На что ему ваши просторы прерий,— он любит уличный гам, жареную рыбу с лотка и кино. Ну, я приехал, профессор. А ты куда, Динни?

— На Окли-стрит.

Халлорсен остановил машину, и сэр Лоренс вышел.

— Мисс Черрел, прошу вас оказать мне честь,— разрешите отвезти вас на Окли-стрит!

Динни наклонила голову.

Сидя с ним бок о бок в закрытой машине, она с тревогой ждала — не попытается ли он воспользоваться таким удобным случаем.

— Как только все уладится с вашим братом,— сказал он, не глядя на нее,— я уеду с экспедицией в Нью-Мехико. Я всегда буду гордиться знакомством с вами, мисс Черрел.

Его руки без перчаток были крепко сжаты между колен; это ее почему-то растрогало.

— Мне очень жаль, профессор, что вначале я была к вам несправедлива, как и мой брат.

— Ничего удивительного. Я буду счастлив, если заслужу в конце концов ваше расположение.

Динни порывисто протянула ему руку.

— Вы его уже заслужили.

Он молча взял ее руку, поднес к губам и бережно отпустил. Динни почувствовала себя очень несчастной.

— Вы заставили меня изменить мнение об американцах,— сказала она робко.

Халлорсен улыбнулся.

— И на том спасибо.

— Боюсь, что мои представления были очень примитивны. Я ведь американцев никогда и не знала.

— В том-то и беда; мы друг друга совсем не знаем. Мы просто по мелочам действуем друг другу на нервы; на том дело и кончается. Но вы мне навсегда запомнитесь, как улыбка на лице вашей страны.

— Как мило,— сказала Динни,— хотелось бы, чтобы это была правда.

— Если вы подарите мне вашу фотографию, я буду хранить ее всю жизнь.

— Конечно, подарю. Не знаю, есть ли у меня приличная, но пришлю вам лучшее, что найду.

— Спасибо. Если позволите, я здесь сойду; мне трудно владеть собой. Машина вас доставит куда нужно.

Он постучал по стеклу и сказал несколько слов шоферу.

— Прощайте! — сказал он, снова взял ее руку, посмотрел на нее долгим взглядом, сильно ее сжал и протиснул в дверцу свои могучие плечи.

— Прощайте! — шепнула Динни, откинувшись на сиденье и чувствуя, как у нее сдавило горло.

Через пять минут машина остановилась у дома Дианы, и Динни вошла туда в самом подавленном настроении.

Когда она проходила мимо комнаты Дианы, которой сегодня еще не видела, та приоткрыла дверь.

— Зайдите на минутку, Динни.

Она говорила шепотом, и у Динни мороз пробежал по коже. Они сели рядом на большую кровать, и Диана торопливо прошептала:

— Он пришел ко мне вчера вечером и остался. Я не посмела ему отказать. В нем какая-то перемена; у меня предчувствие, что это начинается снова. Он все больше теряет над собой власть, во всем. Мне кажется, надо поскорее убрать детей. Хилери их возьмет?

— Не сомневаюсь; не то их возьмет мама.

— Может быть, это будет еще лучше.

— А вы не думаете, что вам и самой лучше уехать? Диана вздохнула и покачала головой.

— Это только ускорит дело. Вы не могли бы увезти детей?

— Конечно. Но вы в самом деле думаете, что он...

— Да. Я уверена, что он все больше взвинчивает себя. Я слишком хорошо знаю симптомы. Вы заметили, что он и пить стал больше по вечерам? Одно к одному.

— Хоть бы он пересилил свой страх и стал выходить из дому!

— Боюсь, что это уже не поможет. Дома мы по крайней мере знаем, что с ним; мы сразу заметим, если произойдет самое худшее. Я так боюсь, как бы чего-ни-

будь не случилось при посторонних; тогда у нас руки будут связаны.

Динни стиснула руку Дианы.

— Когда мне увезти детей?

— Чем скорее, тем лучше. Ему нельзя об этом говорить. Вам придется уехать тайком. Если ваша мама сумеет взять к себе и мадмуазель, она поедет отдельно.

— Я, конечно, сразу же вернусь.

— Динни, я не решаюсь вас об этом просить. Я не одна, тут прислуга. Не могу же я сваливать на вас мои неприятности.

— Вернусь, не спорьте. Я возьму машину у Флер. Он не рассердится, что дети уехали?

— Только если поймет, что их отослали из-за него. Я скажу, что их давно уже пригласили.

— Диана,— спросила вдруг Динни,— вы его еще любите?

— Люблю? Нет!

— Значит, это только жалость?

Диана покачала головой.

— Сама не знаю; тут и прошлое, и сознание, что, если я его брошу, я помогу судьбе его добить. Страшная мысль!

— Понимаю. Мне жаль и вас обоих и дядю Адриана.

Диана провела ладонями по лицу, словно стирая с него всякие признаки волнения.

— Не знаю, что у нас впереди, но зачем мучиться заранее? Что касается вас, дорогая, ради бога, не давайте мне отравлять вам жизнь.

— Ничего. Мне сейчас полезно отвлечься. Знаете поговорку: старой деве нужна встряска, а потом венец и ласка.

— А когда же у вас будет венец и ласка, Динни?

— Я только что отказалась от безбрежных просторов прерий и чувствую себя негодяйкой.

— Вы — на распутье между безбрежными просторами прерий и морской пучиной, да?

— Боюсь, что так и останусь на распутье. Любовь порядочного человека и тому подобное, видно, ничуть меня не трогает.

— Подождите! С таким цветом волос в монастырь не берут.

— Я покрашусь в свой настоящий цвет: льдины ведь зеленоватые.

— Говорю вам,— подождите!

— Подожду,— сказала Динни.

Через два дня Флер сама привела машину к дверям дома на Окли-стрит. Детей и багаж погрузили без всякой помехи, и они тронулись в путь.

Путешествие было томительным — дети не привыкли к прогулкам в машине,— но Динни оно показалось настоящим отдыхом. Она и не подозревала, как действовала ей на нервы трагическая обстановка на Окли-стрит; а ведь прошло всего восемнадцать дней с тех пор, как она уехала из Кондафорда. На деревьях ярче горели осенние краски. Ясный октябрь сиял нежным, мягким светом; в воздухе, как только они удалились от города, потянуло любимым запахом моря, из деревенских труб поднимался дым, а со сжатых полей взлетали грачи.

Они успели как раз к обеду, и, оставив детей с мадмуазель, которая приехала поездом, Динни пошла гулять с собаками. Она остановилась у старого домика — он возвышался над проходившей внизу дорогой. Входная дверь открывалась прямо в жилую комнату, где при скудном огне сидела одинокая старушка.

— А! Мисс Динни! — сказала она. — Ну и как же я рада. Не видела вас, почитай, целый месяц.

— Я уезжала, Бетти. Как поживаете?

Маленькая старушка — она была совсем карманного формата — важно сложила руки на животе.

— Опять животом маюсь. А вообще-то я здорова,— доктор говорит, я молодец. Вот только живот донимает. Говорит, мне надо есть побольше, да мне и самой хочется, мисс Динни. А как съем кусок, так сразу тошно, ей-богу, правда.

— Бедная, как мне вас жалко.

— От живота одни неприятности. От живота и от зубов. Не знаю, зачем только они нам. Нет зубов — ничего не прожует, живот болит, есть зубы — жуешь, а он все равно болит.

Старушка тоненько захихикала.

— Он еще говорит, будто мне и остальные зубы на-

до выдернуть, мисс Динни, а мне их жалко. У отца зубов совсем нет, а он яблоко запросто разгрызает, правое слово! Но в мои годы мне уже не дожидаться, пока десны затвердеют, как у него.

— Но вы можете вставить чудесные искусственные зубы.

— Ну уж нет! Не хочу чужих зубов,— еще подумают, что я важничаю. Вы бы сами, мисс Динни, небось не захотели иметь чужие зубы.

— Наоборот. В наши дни почти у всех вставные зубы.

— Ох, и любите же вы пошутить! Нет, чужих зубов мне и даром не надо. Все равно что парик носить. А вот волосы у меня еще густые. Для моих лет я молодец. Есть за что бога благодарить; только вот животом маюсь, будто там что-то точит.

Динни увидела, как глаза ее потемнели от боли.

— А как поживает Бенджамин?

Глаза повеселели и в то же время стали снисходительными, как у взрослого, когда он говорит о ребенке.

— Отец-то здоров; его ничего не берет, вот ревматизм только. Он сейчас на огороде, копается там по-маленьку.

— Ну, а как поживает Щеглушка? — спросила Динни, печально разглядывая щегла в клетке.

Ее всегда возмущало, что птиц сажают в клетки, но она не решалась сказать об этом старикам, державшим взаперти своего веселого любимца. А кроме того, говорят, если выпустить на волю ручного щегла, другие птицы тут же заклюют его до смерти.

— А! — сказала старушка.— Он совсем нос задрал с тех пор, как вы подарили ему такую большую клетку.— Глаза ее заблестели.— Подумать только, капитан женился, мисс Динни! А в суд-то его потащили — надо же! Чего только не выдумают! В жизни не слыхала ничего подобного. Чтобы Черрела потащили в суд! Невиданно и неслыханно!

— Да, вы правы, Бетти.

— Говорят, она красавица. А где они жить будут?

— Никто еще не знает; надо подождать, пока это дело уладится. Может быть, поселятся здесь, а может, он получит назначение за границу. Конечно, денег у них будет очень мало.



«ДЕВУШКА ЖДЕТ»



«ДЕВУШКА ЖДЕТ»

— Ужас какой; прежде ничего такого не бывало. Боже ты мой, до чего сейчас туго приходится знатым господам! Я ведь помню вашего прапрадеда, мисс Динни,— ездил в экипаже четверкой, когда я еще под стол пешком ходила. Такой красивый старый господин был, такой обходительный.

Динни всегда чувствовала неловкость, когда при ней жалели знать,— она-то ведь помнила, что эта старушка была одной из восьмерых детей батрака, зарабатывавшего одиннадцать шиллингов в неделю, и что теперь они с мужем, вырастив семерых детей, доживали свой век на пенсию по старости.

— Ну, Бетти, что же вам все-таки можно есть? Я скажу кухарке.

— Благодарю душевно, мисс Динни; кусочек постной свининки мне, пожалуй, не повредит.— Глаза ее снова потемнели и затуманились болью.— Так живот бо́лит, что иной раз думаешь,— поскорей бы бог прибрал.

— Ну что вы, милая Бетти. Если вас немножко поддержать на легкой пище, вы у нас поправитесь.

Лицо старушки сморщилось в улыбке, но глаза были грустные.

— Для моих лет я молодец, грех жаловаться. А когда же вы под венец, мисс Динни?

— До этого еще далеко, Бетти. Одна под венец не пойдешь.

— Да, теперь люди не торопятся с женитьбой и детей столько не рожают, как в мое время. Тетка моя родила восемнадцать и вырастила одиннадцать.

— Пожалуй, для них теперь не хватило бы ни места, ни работы.

— Да, большие кругом перемены.

— У нас тут, слава богу, перемен меньше, чем в других местах.

И Динни оглядела комнату, где эти старики провели пятьдесят лет своей жизни; от кирпичного пола до бревенчатого потолка комната вся сияла безупречной чистотой и уютом.

— Ну, Бетти, мне пора. Я живу сейчас в Лондоне у друзей и должна к вечеру вернуться. Попрошу кухарку прислать вам чего-нибудь из еды,— получше свинины. Не вставайте, не надо!

Но маленькая старушка была уже на ногах, и глаза ее светились глубокой лаской.

— Уж как я рада, что повидала вас, мисс Динни. Благослови вас господь! И, даст бог, у капитана все наладится.

— До свидания, милая Бетти, и передайте от меня поклон Бенджамину.

Динни пожала старушке руку и вышла на мощеную дорожку, где ее поджидали собаки. Как и всегда после таких встреч, она чувствовала глубокое смирение и была тронута до слез. Корни! Вот чего ей не хватало в Лондоне, вот чего ей не доставало бы там, на «безбрежных просторах прерий»! Она дошла до опушки заброшенной буковой рощицы и шагнула через сломанную калитку,—ее не пришлось даже открывать. Динни поднималась вверх по склону, а позади, внизу, оставались ветви букóв с набухшими от дождей орешками, от них шел сладковатый запах мякины; слева сквозь золотистую листву просвечивало серо-голубое небо; справа тянулось поле, вспаханное под пар, там сидел на задних лапах заяц; он повернулся и опрометью кинулся к живой изгороди; собака вспугнула фазана, и он с пронзительным криком взвился над деревьями. На вершине холма Динни выбралась из рощи и остановилась, глядя вниз на длинный дом из серого камня. Он был виден не весь—мешали магнолии и деревья на лужайке перед террасой; дым поднимался из обеих труб, и голуби белыми крапинками усеяли один из коньков крыши. Динни вздохнула полной грудью и постояла минут десять,—так после поливки растение впитывает из земли жизненные соки. Пахло листьями, сырой землей и близким дождем; в последний раз она стояла тут в конце мая и вдыхала запах лета—аромат неповторимый, как память о прошлом и предвкушение счастья, как томление сердца и беспричинная радость...

После чая она уселась рядом с Флер в машину с поднятым верхом, и они отправились обратно в Лондон.

— Да, скажу я вам,—заявила проницательная Флер,—ну и тихая же у вас обитель. Я бы здесь просто умерла. Куда там Липпингхоллу до вашей глуши.

— Плесень веков, а?

— Я всегда говорю Майклу, что вы, Черрелы,—од-

но из наименее приметных и наиболее характерных явлений в Англии. Вы не шумите и не бросаетесь в глаза. Вами не интересуется современный писатель — слишком уж вы будничны, — а вот вы стоите как скала и продолжаете стоять, неведомо как. Все на свете в заговоре против вас — от налогов на наследство до патефонов. А вы все равно стоите где-то на краю земли и делаете что-то, о чем никто не знает, да и знать не хочет. У большинства из вас нет даже своего Кондафорда, куда можно вернуться домой умирать, но все вы связаны с родной землей глубокими корнями и чувством долга. У меня-то нет ни того, ни другого, вероятно, потому, что я наполовину французенка. У семьи моего отца — у Форсайтов, — может, и были корни, но у них нет чувства долга, — во всяком случае, такого, как у вас; пожалуй, это правильнее назвать инстинктом служения. Я им восхищаюсь, Динни, но мне было бы смертельно скучно. Это-то и заставляет вас отравлять себе жизнь из-за этой истории с Ферзом. Чувство долга — это болезнь, Динни, болезнь, хоть она и достойна всяческого уважения.

— Что же мне прикажете делать?

— Вырвать эту болезнь с корнем. Ведь это так старит, — то, что вы сейчас делаете. Что касается Дианы, она тоже вашей породы; у Монтджоев есть свой Кондафорд где-то в Дамфришире, — я преклоняюсь перед ней за то, что она не бросает Ферза, но ведь это же безумие. Конец все равно один, и всем будет только неприятней, если затянуть развязку.

— Да, я чувствую, что для нее это добром не кончится, но надеюсь, что на ее месте поступила бы так же.

— А я нет, — весело сказала Флер.

— По-моему, никто не знает, как он поступит, пока не настанет решающая минута.

— Главное — никогда не доводить до решающей минуты.

Голос Флер странно зазвенел, и Динни заметила, как сжались ее губы. Загадочность придавала Флер в глазах Динни какое-то особое обаяние.

— Вы же не видели Ферза, — сказала она, — а потому и не понимаете, как его жаль.

— Сантименты, моя дорогая. А я не сентиментальна.

— Мне почему-то кажется, что у вас есть прошлое, Флер; а не будь вы сентиментальны, его бы у вас не было.

Флер кинула на нее быстрый взгляд и нажала на аксельатор.

— Пора зажечь фары,— сказала она.

Весь остаток пути Флер говорила об искусстве, литературе и других отвлеченных предметах. Было уже около восьми, когда машина остановилась на Окли-стрит.

Диана была дома; она уже переделалась к ужину.

— Динни,— сказала она,— его нет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Простые слова, но какие зловещие!

— Когда вы сегодня утром уехали, он был вне себя,— вообразил, будто мы устроили против него заговор.

— Так оно и есть,— прошептала Динни.

— После отъезда мадмуазель он расстроился еще больше. Скоро я услышала, как хлопнула наружная дверь,— с тех пор он не возвращался. Я вам не говорила, но вчера я пережила страшную ночь. Что, если он не вернется совсем?

— Ах, Диана, как бы это было хорошо.

— Но куда он девался? Что делает? К кому он мог пойти? Господи! Как это ужасно.

Динни в страхе глядела на нее.

— Простите, Динни! Вы, верно, устали и проголодались. Давайте поскорее ужинать.

Они поужинали в «логове» Ферза — красивой комнате, отделанной зелеными панелями с золотистым оттенком, но их не покидала тревога. Мягкий свет падал из-под абажуров на открытые шеи и руки, на фрукты, цветы и серебро. Пока не вышла горничная, они говорили о посторонних вещах.

— У него есть ключ? — спросила Динни.

— Да.

— Давайте позвоним дяде Адриану?

— Что он может сделать? Если Рональд придет и застанет здесь Адриана, будет только хуже.

— Алан Тасборо говорил, что приедет сразу, если он нам понадобится.

— Нет, давайте сегодня никого не звать. А завтра посмотрим.

Динни кивнула. Ей было страшно, но больше всего она боялась показать свой страх,—ведь она здесь для того, чтобы своим спокойствием придать силы Диане.

— Пойдемте наверх, спойте мне,—сказала она наконец.

Наверху, в гостиной, Диана спела «Ветку тимьяна», «Юрские утесы», «Убирали в поле ячмень», «Замок Дромор»; все было так красиво — и комната, и песни, и певица,—что Динни охватило какое-то блаженное состояние. Она даже задремала, но вдруг Диана перестала играть.

— Слышите? Внизу стукнула дверь.

Динни встала и подошла к роялю.

— Играйте, не говорите ему ничего, не подавайте вида, что волнуетесь.

Диана заиграла и запела ирландскую песню: «Неужели мне быть в цепях, а тебе на воле». Дверь в гостиную открылась, и в зеркале напротив Динни увидела, как вошел Ферз и остановился, прислушиваясь к пению.

— Пойте дальше,—шепнула она.

Так что ж. я не волен, а ты вольна?
Люблю, а ты не любишь меня?
Неужто лишил меня разума бог
И разлюбить мне тебя не помог?

А Ферз стоял и слушал. Он выглядел не то смертельно уставшим, не то пьяным, волосы его были всклоочены, зубы чуть-чуть оскалены. Наконец он шевельнулся. Стараясь не шуметь, он подошел к дивану в дальнем углу и тяжело на него опустился. Диана перестала петь. Динни, положив руку ей на плечо, почувствовала, как Диана дрожит, стараясь говорить спокойно.

— Ты уже ужинал, Рональд?

Ферз не ответил; он пристально глядел на них из своего угла с той же странной, жуткой усмешкой.

— Играйте,—шепнула Динни.

Диана заиграла «Красный сарафан»; она повторяла

этот прелестный безыскусственный мотив снова и снова, словно стараясь загипнотизировать молчавшего в углу человека. Когда Диана наконец остановилась, наступила тишина. Динни не выдержала первая.

— Капитан Ферз, на улице дождь? — спросила она резко.

Ферз провел руками по брюкам и кивнул.

— Тогда, может, тебе пойти переодеться, Рональд?

Ферз уперся локтями в колени и опустил голову на руки.

— Ты, должно быть, устал, дорогой; ложись-ка лучше в постель. Принести тебе наверх чего-нибудь поесть?

Но он все не двигался. Усмешка сползла с его губ, глаза закрылись. Казалось, он заснул так внезапно, как валится в упряжке загнанная лошадь.

— Закройте рояль,— прошептала Динни,— пойдете наверх.

Диана тихонько опустила крышку рояля и поднялась. Они подождали, прижавшись друг к другу, но он не шевелился.

— Как, по-вашему, он спит? — шепнула Динни.

Ферз встрепнулся.

— Спит? У меня все начинается снова! Все снова! Но я не хочу, не позволю. Клянусь богом, не позволю!

Лицо его было искажено бешенством; он постоял минуту, потом, заметив их испуг, упал обратно на диван и закрыл лицо руками.

Диана порывисто бросилась к нему. Ферз поднял голову. Глаза его дико горели.

— Не смей! — прорычал он. — Оставьте меня в покое! Убирайтесь!

У двери Диана обернулась.

— Рональд, хочешь, позовем врача? Он даст тебе снотворное... тебе надо поспать.

Ферз вскочил с дивана.

— Не надо мне никого. Убирайтесь!

Они попятились из комнаты, бросились наверх и остановились только в спальне у Динни, обнявшись и дрожа.

— Прислуга уже спит?

— Они всегда рано ложатся, когда бывают вечером дома.

— Диана, по-моему, мне надо спуститься и позвонить.

— Нет, Динни, я пойду сама. Но кому звонить?

Этот вопрос заставил их задуматься. Они обсудили его шепотом. Диана хотела позвонить врачу, Динни считала, что надо попросить Адриана или Майкла пойти к врачу и привести его с собой.

— Так же начиналось и в прошлый раз?

— Нет. Тогда он не знал, что ему предстоит. Я боюсь, что он покончит с собой.

— А у него есть оружие?

— Я отдала его армейский револьвер Адриану.

— А бритвы?

— Только безопасные; и в доме нет никакого яда. Динни пошла к двери.

— Я должна позвонить...

— Динни, я не могу вам позволить...

— Меня он не тронет. Опасность грозит только вам. Заприте дверь, пока меня не будет.

И она выскользнула прежде, чем Диана смогла ее остановить. Повсюду еще горел свет; она замерла, прислушиваясь. Ее комната была на третьем этаже и выходила на улицу. Спальня Дианы и спальня Ферза были расположены ниже, недалеко от гостиной. Ей нужно было пройти мимо них, чтобы попасть в холл, а оттуда — в маленький кабинет, где стоял телефон. Внизу была полная тишина. Диана открыла дверь и показалась на пороге; боясь, что она ее обгонит, Динни побежала вниз по лестнице. Скрипнули ступени, и она остановилась, чтобы снять туфли. Держа их в руках, она прокралась мимо двери гостиной. Оттуда не доносилось ни звука, и Динни сбежала в холл. Там она успела заметить брошенные на стул шляпу и пальто Ферза и, войдя в кабинет, закрыла за собой дверь. Немножко постояв, чтобы отдышаться, Динни зажгла свет и взяла телефонную книгу. Она нашла телефон Адриана и уже протянула руку к трубке, как кто-то сжал ее запястье; ахнув, она оглянулась и увидела Ферза. Он рывком повернул ее к себе и ткнул пальцем в туфли, которые она все еще держала в руке.

— Хотите меня выдать,— сказал он и, не выпуская ее руки, вынул из бокового кармана нож.

Отпрянув насколько возможно назад, Динни посмотрела ему прямо в лицо. Почему-то она уже не так боялась, как раньше; главным ее ощущением был какой-то стыд,— ей было неловко, что она держит в руке туфли.

— Как это глупо, капитан Ферз,— произнесла она ледяным тоном.— Вы отлично знаете, что мы не хотим вам зла.

Ферз отшвырнул ее руку, открыл нож и одним ударом перерезал телефонный провод. Трубка упала на пол. Он закрыл нож и убрал его в карман. Динни показалось, что этот поступок немного успокоил его.

— Наденьте туфли,— сказал он.

Она повиновалась.

— Имейте в виду, я не позволю, чтобы мной распоряжались и вмешивались в мою жизнь. Я сам решу, что с собой делать.

Динни молчала. Сердце ее бешено колотилось, и она боялась, что голос может ее выдать.

— Вы слышите?

— Да. Никто не собирается вам мешать или делать что-либо вам наперекор. Мы хотим вам только добра.

— Знаю я это «добро»,— сказал Ферз.— С меня хватит.— Он подошел к окну, рванул в сторону штору и выглянул на улицу.— Дождь льет, как из ведра,— сказал он, потом повернулся и уставился на Динни. Лицо его начало подергиваться, руки сжались в кулаки. Он замотал головой и вдруг закричал: — Вон отсюда, живо! Вон, вон отсюда!

Динни быстро пошла к двери, стараясь не бежать, закрыла ее за собой и кинулась вверх. Диана все еще стояла на пороге спальни. Динни втолкнула ее в комнату, заперла дверь и, задыхаясь, упала на стул.

— Он побежал за мной,— с трудом выговорила она,— и перерезал провод. У него нож; боюсь, что начинается приступ буйства. Если он попробует взломать дверь, она выдержит? Может быть, пододвинуть кровать?

— Тогда нельзя будет спать.

— Спать мы и так не будем.

И Динни принялась тащить кровать. Вдвоем они загородили ею дверь.

— Прислуга запирается на ночь?

— Они запираются, с тех пор как он вернулся.

Динни с облегчением вздохнула. Ее бросило в дрожь при одной мысли о том, что ей пришлось бы идти предупреждать прислугу. Она села на кровать и посмотрела на стоявшую у окна Диану.

— О чем вы думаете, Диана?

— О том, как бы я боялась, если бы дети были дома.

— Да, слава богу, их нет.

Диана подошла к кровати и взяла Динни за руку. Динни ответила на ее пожатие, — они сжали друг другу руки почти до боли.

— Неужели мы ничего не можем сделать, Динни?

— Если он уснет, утром ему станет лучше. Теперь, когда он опасен, мне его не так жалко.

— Я вообще уже ничего не чувствую, — глухо сказала Диана. — Знает он, что я в вашей комнате? Может, мне лучше сойти вниз, и будь что будет.

— Ни за что!

И, вынув ключ из двери, Динни сунула его себе в чулок; прикосновение холодного металла ее немного успокоило.

— Теперь мы ляжем ногами к двери, — сказала она. — Незачем зря себя изводить.

Обеих охватила усталость, и они долго лежали, прижавшись друг к другу, под пуховым одеялом — ни та, ни другая не могли уснуть, но обе были в полузабытьи. Динни задремала, но ее разбудил какой-то шорох. Она взглянула на Диану. Та спала в самом деле, спала как убитая. Дверь прилегала к косяку не плотно, и над нею виднелась полоска света. Динни оперлась на локоть и прислушалась. Кто-то поворачивал и осторожно тряс ручку. Послышался стук.

— Да, — очень тихо сказала Динни, — в чем дело?

— Диана, — раздался голос Ферза, на этот раз очень покорный. — Мне нужна Диана.

Динни прижалась губами к замочной скважине.

— Диана нездорова, — прошептала она. — Она заснула, не будите ее.

Наступило молчание. Потом она с ужасом услышала протяжный вздох, похожий на стон, до того жалобный и безнадежный, что Динни чуть было не отворила дверь. Она вовремя взглянула на бледное, измученное лицо Дианы, и это удержало ее. Нельзя! Что бы ни означал этот вздох,— все равно нельзя! И, съезжившись на постели, она опять прислушалась. За дверью не раздавалось ни звука. Диана спала, но Динни больше не могла заснуть. «Если он себя убьет,— мелькнула у нее мысль,— это я буду виновата». Но разве так не лучше будет для всех — для Дианы, для детей и для него самого? И все же его протяжный вздох, почти стон, продолжал звучать у нее в ушах. Бедняга, вот бедняга! Она не чувствовала больше ничего, кроме острой, мучительной жалости и какой-то злобы на неумолимую природу, причиняющую людям такие страдания. Безропотно покоряться судьбе? Ни за что! Она бессмысленна и жестока! Динни лежала, вздрагивая, рядом с измученной спящей Дианой. Чем они прогневали судьбу? Могут они ему чем-нибудь помочь? Что им делать утром? Диана пошевелилась. Просыпается? Но та только повернулась на другой бок и снова забылась тяжелым сном. Постепенно Динни охватила дремота, она тоже заснула.

Ее разбудил стук в дверь. Было уже светло. Диана еще спала. Динни взглянула на часы. Восемь часов. Это пришли ее будить.

— Спасибо, Мери,— вполголоса откликнулась она.— Миссис Ферз у меня.

Диана села, глядя на полуодетую Динни.

— В чем дело?

— Ни в чем. Восемь часов! Надо встать и подвинуть кровать на место. Вы поспали как следует. Прислуга уже на ногах.

Они накинули халаты и отодвинули кровать. Динни вынула ключ и отперла дверь.

— Мешкать нечего. Идемте.

С минутку они постояли, прислушиваясь, на верхней площадке лестницы, потом спустились ниже. В комнате Дианы не было никаких следов беспорядка. По-видимому, сюда заходила горничная — шторы были отдернуты. Динни и Диана остановились у две-

ри, которая вела в комнату Ферза. Ни звука. Они вышли в коридор, откуда в его комнату вела другая дверь. Опять ни звука!

— Сойдем вниз,—шепнула Динни.—Что сказать Мери?

— Ничего. Она поймет сама.

Двери в столовую и кабинет были распахнуты. Отрезанная телефонная трубка еще валялась на полу; никаких других следов ужасной ночи не было заметно.

Вдруг Динни сказала:

— Диана, нет его шляпы и пальто. Они лежали здесь на стуле.

Диана пошла в столовую и позвонила. Из кухни появилась пожилая горничная, вид у нее был испуганный.

— Мери, вы сегодня утром видели шляпу и пальто мистера Ферза?

— Нет, миссис Ферз.

— Когда вы сошли вниз?

— В семь часов.

— Вы не были в его комнате?

— Еще нет, миссис Ферз.

— Вчера вечером мне нездоровилось; я ночевала в комнате мисс Динни.

— Да, миссис Ферз.

Все трое поднялись наверх.

— Постучите в дверь.

Горничная постучала. Динни и Диана стояли рядом. Ответа не последовало.

— Постучите еще, погромче.

Горничная постучала несколько раз. Никто не отвечал. Диана отстранила ее и повернула ручку. Дверь отворилась. В комнате никого не было, но в ней царил такой беспорядок, словно здесь была драка. Валялась пустая грелка; повсюду был рассыпан пепел. Постель был смята, но, по-видимому, Ферз лежал, не раздеваясь. Все его вещи были на месте, он явно ничего с собой не взял. Женщины переглянулись.

— Мери, дайте нам поскорее позавтракать,—сказала наконец Диана.—Нам надо уйти.

— Да, миссис Ферз... я видела телефон.

— Уберите трубку и позаботьтесь, чтобы телефон

починили; другим ничего не говорите. Скажите, что он уехал на день или на два. Приведите в порядок комнату, чтобы все выглядело как надо. Давайте поскорей оденемся, Динни.

Горничная ушла вниз.

— А деньги у него есть? — спросила Динни.

— Не знаю. Посмотрю, взял ли он чековую книжку.

Диана побежала по лестнице. Динни ждала. Минуту спустя Диана вернулась в холл.

— Нет, она лежит на бюро в столовой. Одевайтесь скорее!

Это означало... Что же это могло означать? В душе у Динни боролись надежда и страх. Она бросилась наверх.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Второпях они позавтракали и посоветовались, как быть дальше. Куда пойти?

— Только не в полицию,— сказала Динни.

— Конечно, нет.

— Я думаю, прежде всего нам надо поехать к дяде Адриану.

Они послали горничную за такси и отправились к Адриану. Еще не было и девяти. Они застали его за завтраком; он ел рыбу — в ней было столько костей, что чем больше ешь, тем больше остается на тарелке; только так и можно объяснить библейское чудо с семью корзинами, полными рыбы.

Адриан, который, казалось, совсем поседел за эти дни, выслушал их, набивая трубку; потом он сказал:

— Теперь предоставьте все это мне. Динни, ты можешь отвезти Диану в Кондафорд?

— Конечно.

— А можешь ты сначала попросить Алана Тасборо съездить в клинику и узнать, нет ли там Ферза, не говоря им, что он исчез? Вот адрес.

Динни кивнула.

Адриан поднес руку Дианы к губам.

— Дорогая, у вас совершенно измученный вид. Не

волнуйтесь; отдохните там с детьми. Мы будем сообщать вам обо всем.

— Адриан, можно избежать шума в газетах?

— Постараемся. Я посоветуюсь с Хилери; сперва испробуем все другие пути. Сколько у него с собой денег?

— По последнему чеку он получил пять фунтов два дня назад; но вчера он весь день не был дома.

— Как он одет?

— Синее пальто, синий костюм, котелок.

— И вы не знаете, где он был вчера?

— Нет. До вчерашнего дня он вообще не выходил.

— Он еще состоит в каком-нибудь клубе?

— Нет.

— Кто-нибудь из старых друзей знает о его возвращении?

— Нет.

— И он не взял чековой книжки?.. Когда ты сможешь поймать этого молодого человека, Динни?

— Сейчас же, если я могу позвонить по телефону; он ночует у себя в клубе.

— Иди звони.

Динни позвонила и, вернувшись, сообщила, что Алан немедленно поедет в клинику и о результатах даст знать Адриану. В клинике Алан скажет, будто он старый друг Ферза и не знал, что тот уехал домой. Он попросит известить его, как только Ферз вернется, чтобы он мог приехать его повидать.

— Хорошо, детка,— сказал Адриан,— ты у меня умница. А теперь поезжайте, и присматривай там за Дианой. Оставь мне номер вашего телефона в Кондафорде.

Записав телефон, он проводил их до такси.

— Дядя Адриан самый добрый человек на свете.

— Никто этого не знает лучше меня, Динни.

Вернувшись на Окли-стрит, они поднялись наверх, чтобы собраться. Динни боялась, что Диана в последнюю минуту откажется ехать. Но та дала слово Адриану, и вскоре они отправились на вокзал. Обе были так измучены, что все полтора часа пути провели молча, каждая в своем углу. Динни только теперь поняла, чего

ей все это стоило. И почему? Никто ни на кого не падал, и даже шума особого не было. Как страшно действует на окружающих безумие! Какой ужас оно внушает, сколько причиняет страданий! Теперь, когда ей больше не грозила встреча с Ферзом, он снова вызывал в ней только жалость. Она представляла себе, как он бродит с помутившимся рассудком, не зная, где приклонить голову, и не имея подле себя никого, кто бы ему помог; на грани полного безумия или, может быть, уже по ту сторону этой грани. Самые ужасные трагедии всегда порождают страх. Преступность, проказа, безумие — все это пугает людей, а жертвы этих несчастий обречены на беспросветное одиночество, окружены всеобщим страхом. Со вчерашней ночи ей куда понятнее стали отчаянные слова Ферза о том заколдованном круге, в котором мечется человек, потерявший рассудок. Теперь она знала, что у нее не хватит ни сил, ни жестокости иметь дело с сумасшедшими; поняла она и почему так жестоко обращались с сумасшедшими в былые времена. Так ведут себя и собаки, — обезумев от страха, они набрасываются всей сворой на бешеного пса. Презрение к полоумным, жестокость и презрение — ведь это только самозащита, самозащита и месть за что-то такое, что оскорбляет человеческие чувства. И тем больше их жалеешь и тем страшнее о них думать. Поезд мчал ее все ближе к дому, к покою, а Динни все больше мучили противоречивые чувства — хотелось прогнать от себя всякую мысль о несчастном отщепенце, и было нестерпимо жаль его. Она поглядела на Диану, прикорнувшую напротив с закрытыми глазами. Что она сейчас чувствует? Ведь она связана с Ферзом воспоминаниями, законом, детьми. На лицо, обрамленное плотно прилегающей шляпкой, легли следы долгих испытаний — на нем появились морщинки и какая-то суровость. Судя по чуть заметному движению губ, она не спала. «Что ее поддерживает? — думала Динни. — Она не религиозна и, в общем, ни во что особенно не верит. На ее месте я бы бросила все и сбежала куда глаза глядят... Нет, пожалуй, не сбежала бы. Может быть, в каждом из нас живет какое-то чувство долга перед самим собой, оно-то и поддерживает в нас твердость и стойкость духа».

На вокзале никто их не встречал, и, оставив там вещи, они пошли в Кондафорд пешком.

— Интересно,— сказала вдруг Динни,— может ли человек прожить в наши дни совсем без волнений? Могла бы я быть счастлива, живя здесь все время, как деревенские старики? Клер тут всегда томится. Тихая жизнь не по ней. В каждом из нас живет свой бес — живет и не дает покоя.

— В вас я его, кажется, никогда не замечала, Динни.

— Жалко, что я не была постарше во время войны. Когда она кончилась, мне было всего четырнадцать.

— Вам повезло.

— Не знаю. Вы пережили столько тревожений, Диана.

— Когда началась война, мне было столько лет, сколько вам сейчас.

— И вы были замужем?

— Только что вышла.

— Кажется, он провел всю войну на фронте?

— Да.

— Отсюда все и пошло?

— По-моему, только ускорило.

— Дядя Адриан говорил о наследственности.

— Да.

Динни показала на домик под соломенной крышей.

— В этом домике пятьдесят лет прожили друг с другом двое стариков, мои любимцы. Вы на это способны, Диана?

— Теперь — да; я хочу покоя.

Они молча дошли до дома. Там их застала телеграмма от Адриана: Ферз в клинику не возвращался, но Адриан и Хилери, кажется, напали на верный след.

Повидавшись с детьми, Диана прилегла в отведенной ей комнате, а Динни зашла к матери.

— Мама, я должна это кому-нибудь высказать: я молю бога, чтобы Ферз умер.

— Динни!

— Ради него самого, ради Дианы, ради детей, ради всех нас; даже ради меня самой.

— Конечно, если он безнадежен...

— Мне все равно, безнадежен он или нет. Все это слишком ужасно. Провидение обанкротилось.

— Что ты, детка!

— Слишком уж свысока оно на нас смотрит. Может, и есть какой-нибудь вечный промысл, но мы для него — просто козявки.

— Тебе надо хорошенько выспаться, детка.

— Да. Но это ничего не изменит.

— Не распускайся, Динни; от этого портится характер.

— Не вижу никакой связи между верой и характером. Разве я стану вести себя хуже оттого, что больше не верю в провидение или загробную жизнь?

— Но, Динни...

— Напротив, я стану вести себя лучше; если я человек порядочный, то это потому, что порядочность сама по себе хороша, а не потому, что мне за это воздастся.

— Какая может быть порядочность, если нет бога?

— О моя дражайшая и премудрая мать, я же не говорю, что бога нет. Я только сказала, что его промысл очень далек от нас. Разве ты не слышишь, как он говорит: «Да, кстати, этот шарик под названием Земля — он все еще вертится?» И какой-нибудь ангел ему отвечает: «Конечно, сэр, вертится, и довольно проворно». — «Позвольте-ка, он, наверно, совсем уж мохом порос. Помните, там еще развелся такой микроб... хлопотун...»

— Динни!

— «Ах да, сэр, вы имеете в виду человека?» — «Вот-вот, кажется, мы его так и назвали».

— Динни, какой ужас!

— Нет, мама, если я человек порядочный, то это потому, что порядочность придумали люди для блага самих людей; точно так же, как красоту создали люди себе на радость. Мамочка, я, наверно, ужасно выгляжу. У меня совсем глаза слипаются. Пойду, пожалуй, прилягу. Сама не знаю, почему я так разволновалась. Наверно, оттого, что я никак не могу забыть его лицо.

И с подозрительной поспешностью Динни повернулась и вышла.

Тот, кому возвращение Ферза причинило столько горя, в душе обрадовался его бегству. Этой радости не могло испортить Адриану даже то, что он сам взялся положить ей конец и вернуть беглеца. В такси по дороге к Хилери Адриан напряженно раздумывал, как ему разрешить эту задачу. Боязнь огласки мешала ему действовать обычными и прямыми путями — обратиться в полицию, объявить по радио, в газете. Все это привлекло бы к Ферзу слишком много внимания. Какие же средства оставались в его распоряжении? Ему казалось, что ему нужно решить кроссворд, а он, подобно другим высокоинтеллигентным людям, немало их разгадал на своем веку. Из рассказа Динни было неясно, в котором часу Ферз ушел из дома, а чем дольше откладывать поиски тех, кто мог заметить его возле дома, тем меньше надежды их найти. Повернуть такси и возвратиться в Челси? Но Адриан продолжал ехать в Луга, повинаясь скорее внутреннему чутью, чем логике. Он привык обращаться в трудную минуту к Хилери, да и вообще в таком деле ум хорошо, а два лучше. Адриан подъехал к дому священника, так ничего и не придумав, и решил только порасспросить о Ферзе на Набережной и на Кинг-Род. Было еще рано — начало десятого, и Хилери читал полученные утром письма. Выслушав брата, он вызвал в кабинет жену.

— Давайте минуты три подумаем, — сказал он, — а потом обменяемся мыслями.

Они постояли перед горевшим камином, — мужчины курили, женщина нюхала осеннюю розу.

— Ну? — спросил наконец Хилери. — Что-нибудь придумала, Мэй?

— Вот что, — ответила, наморщив лоб, жена. — Если все так, как описывает Динни, надо сначала навести справки в больницах. Я позвоню в три-четыре приемных покоя, куда его могли привезти, если с ним что-нибудь случилось. Еще рано, и к ним вряд ли поступило много народу.

— Очень мило с твоей стороны: ты женщина находчивая и сможешь все узнать, не называя его имени.

Мэй пошла звонить.

— А ты, Адриан?..

— Есть у меня одна догадка, но я хотел бы сперва выслушать тебя.

— Что ж,—сказал Хилери,—мне пришли в голову две возможности. Во-первых, нужно узнать в полиции, не было ли сегодня утопленников. Во-вторых,—я думаю, что это вероятнее всего,—он мог напиться.

— Так рано ему негде купить вина.

— А в гостинице? Деньги у него есть.

— Согласен, если моя догадка тебе не понравится, поищем в гостиницах.

— Ну?..

— Я пытался поставить себя на место этого бедняги. Мне кажется, если бы я почувствовал себя обреченным, я сбежал бы в Кондафорд,—может быть, не в самую усадьбу, а в ее окрестности, туда, где мы играли мальчишками, туда, где я жил, прежде чем на меня обрушилась судьба. Раненое животное уползает в свою нору.

Хилери кивнул.

— А где его дом?

— В Западном Сассексе,—у самой гряды Меловых холмов, на их северном склоне. Станция Петуорт.

— А! Знаю эти места. Перед войной мы с Мэй часто бывали в Бигноре и исходили пешком всю округу. Давай попытаем счастья на вокзале Виктория и узнаем, не сажился ли в поезд кто-нибудь похожий на Ферза. Но сперва выясним в полиции насчет утопленников. Я могу сказать, что пропал кто-то из моих прихожан. Какого он роста?

— Выше среднего, широкие плечи, большая голова, широкие скулы, тяжелый подбородок, темные волосы, серо-голубые глаза; костюм и пальто синие.

— Хорошо,—сказал Хилери,—позвоню в полицию, как только Мэй освободит телефон.

Оставшись один у горящего камина, Адриан погрузился в раздумье. Он читал детективные романы и знал, что следует французскому индуктивному методу, построенному на психологической догадке, тогда как Хилери и Мэй пытались решить задачу по английской системе, путем последовательного исключения одной

возможности за другой,—чудесная система, но разве у них есть время ждать чуда? В Лондоне человек может исчезнуть, как иголка в стог сена; а необходимость избегать огласки связывает им руки. Он с нетерпением ждал, что выяснит Хилери. Какая странная ирония судьбы,—он, именно он боится услышать, что несчастный Ферз утонул или попал под машину, а Диана стала свободной!

Адриан взял со стола Хилери расписание поездов. Поезд в Петуорт ушел в 8.50, следующий пойдет в 9.56. Времени почти не остается. Он сидел как на иголках, поглядывая на дверь. Торопить Хилери глупо — он мастер беречь время.

— Ну? — спросил Адриан, когда отворилась дверь. Хилери покачал головой.

— Ничего! Ни в больницах, ни в полиции. Никуда его не привозили, нигде о нем не слышали.

— Тогда поехали на вокзал,—сказал Адриан,—поезд уходит через двадцать минут. У тебя есть сейчас время?

Хилери взглянул на свой стол.

— Времени нет, но я все-таки поеду. Просто беда, какую власть имеет над нами сыскной азарт. Подожди минутку, я только скажу Мэй и захвачу шляпу. Можешь пока поискать такси. Ступай к Сент-Панкрасу и жди меня.

Адриан пошел, оглядываясь по сторонам в поисках такси. Наконец ему попалась машина, ехавшая с Юстон-Род. Он велел шоферу развернуться и стал ждать брата. Вскоре показалась сухощавая, одетая в черное фигура.

— Что-то я не в форме,—сказал Хилери, задыхаясь, и влез в машину.

Адриан высунулся из окна.

— Вокзал Виктория, и побыстрее!

Хилери взял его под руку.

— Ни разу не выбирались с тобой за город, старина, с тех пор как лазили на вершину Кармарзен сразу после войны. Помнишь, какой был туман?

Адриан вынул часы.

— Боюсь, что не успеем. Уж очень большое движение.

Некоторое время они сидели молча, подпрыгивая на сиденье.

— Никогда не забуду, я раз проходил во Франции мимо *maison d'aliénés*¹, — сказал вдруг Адриан, — большое здание у самого железнодорожного полотна, окруженное чугунной решеткой. Какой-то несчастный раскинул руки, широко расставил ноги и вцепился в эту решетку, как орангутанг. По-моему, это хуже смерти. Там хоть добрая, чистая земля, да небо над тобой. Я жалею, что Ферз не нашли в реке.

— Мы еще ничего не знаем; может, мы гоняемся за ним впустую.

— Осталось три минуты, — пробормотал Адриан, — ни за что не поспеем.

Но тут в машине словно пробудились свойства английского национального характера: в последний момент она развила сверхъестественную скорость, а другие машины словно расступались перед ней. Рывок — и они остановились у вокзала.

— Ты спроси в кассе первого класса, а я узнаю в третьем, — сказал на бегу Хилери. — К священнику отнесутся внимательнее.

— Нет, — сказал Адриан, — если уж он поехал, то первым классом; тут должен спрашивать ты. А будут сомнения, — скажи им про глаза!

Худое лицо Хилери исчезло в окошке кассы и тут же показалось снова.

— Здесь! На этом поезде! В Петуорт. Скорей!

Братья побежали, но не успели добраться до барьера, как поезд тронулся. Адриан бросился вдогонку, но Хилери схватил его за руку.

— Спокойно, старина, мы его все равно не догоним; но Ферз нас увидит, и тогда все пропало.

Они понуро направились обратно к выходу.

— Удивительно, как это ты догадался, — сказал Хилери. — Когда поезд приходит на место?

— В двенадцать двадцать три.

— Тогда мы можем догнать его на машине. У тебя есть деньги?

Адриан пошарил в карманах.

¹ Дома для умалишенных (франц.).

— Всего восемь шиллингов шесть пенсов, — с огорчением признался он.

— А у меня ровно одиннадцать шиллингов. Вот глупо!.. Придумал! Мы поедем на такси к Флер: если ее машина дома, она разрешит нам ее взять; либо она сама, либо Майкл нас отвезут. Машина не должна нас там связывать.

Адриан кивнул, все еще ошеломленный правильносью своей догадки.

На Саут-сквер Майкла они не застали, но Флер оказалась дома. Адриан знал ее хуже, чем Хилери, и очень удивился, что она так быстро все сообразила и вывела из гаража машину. Не прошло и десяти минут, как они пустились в путь. Флер сидела за рулем.

— Я поеду через Доркинг и Палборо, — сказала она, откидываясь назад. — По этой дороге я могу гнать вовсю после Доркинга. Но что вы с ним будете делать, дядя Хилери, если вы его нагоните?

Этот простой, но существенный вопрос заставил братьев переглянуться. Казалось, Флер затылком почувствовала их растерянность, — резко затормозив машину под самым носом у собаки, которая чудом избежала гибели, она повернулась и спросила:

— Может, вы хотите прежде подумать?

Адриан молчал, поглядывая то на круглое лицо Флер с правильными чертами — это воплощение практичной, спокойной, уверенной в себе молодости, — то на худое, умное, изборожденное морщинами лицо брата, все такое же доброе, хотя страдания ближних и оставили на нем свой след.

— Едем, — сказал Хилери, — будем решать, как подскажут обстоятельства.

— Пожалуйста, остановитесь у почты, — добавил Адриан. — Я хочу послать телеграмму Динни.

Флер кивнула.

— Почта есть на Кингс-Род. Мне еще надо где-нибудь заправиться.

И машина двинулась в потоке других машин.

— Что мне написать в телеграмме? — спросил Адриан. — Сказать про Петуорт?

Хилери покачал головой.

— Скажи только, что мы, кажется, попали на верный след.

Когда они отправили телеграмму, оставалось всего два часа до прихода поезда.

— До Палборо пятьдесят миль,— сказала Флер,— а оттуда еще около пяти. Не знаю, хватит ли бензина. Посмотрим в Доркинге.

И хотя в закрытом лимузине разговаривать очень удобно, Флер будто онемела, сосредоточив все внимание на машине.

Сперва братья сидели молча, не спуская глаз с часов и спидометра.

— Редко я теперь езжу кататься,— негромко сказал Хилери.— О чем ты думаешь, старина?

— О том, что мы с ним будем делать.

— Если бы при моей работе я еще раздумывал заранее, я бы через месяц протянул ноги. В городских трущобах священник живет, как в джунглях,— того и гляди, из-за дерева выскочит тигр; вырабатывается какое-то шестое чувство, на него и приходится полагаться.

— Ну да,— сказал Адриан.— А я живу среди мертвецов и совсем неопытен в обращении с живыми.

— Отлично ведет машину,— вполголоса заметил Хилери.— Погляди на ее затылок. Так и видна сноровка во всем.

Изящная головка с коротко подстриженными волосами удивительно ловко сидела на белой круглой шее,— сразу видно, что она тут полновластная хозяйка.

Несколько миль они проехали молча.

— Вот и Бокс-Хилл,— сказал Хилери,— в этих местах со мной однажды случилась история, я тебе о ней не рассказывал, но никогда ее не забуду; вот пример того, как легко каждому из нас свихнуться.— Понизив голос, он продолжал: — Помнишь веселого священника Даркотта? Когда я учился в Бикерской школе — до Харроу,— он был там классным наставником; как-то раз в воскресенье он взял меня на прогулку в окрестности Бокс-Хилла. В поезде на обратном пути мы оказались одни в купе. Мы с ним дурачились, но вдруг он словно взбесился, глаза у него загорелись и стали какими-то безумными. Я совершенно не понимал, чего ему

нужно, и порядком напугался. Потом он вдруг овладел собой. Все это произошло ни с того ни с сего. Разумеется, подавленный половой инстинкт... на какой-то миг он превратился в настоящего маньяка... ужасная штука. А ведь славный был человек. В нас живут темные силы, Адриан.

— Демонические силы. А когда они вырываются на свободу... Бедный Ферз!

Они слышали голос Флер.

— Начинает понемножку сдавать, придется заправиться. Тут рядом есть колонка.

— Хорошо.

Машина подъехала к заправочной станции.

— До Доркинга всегда приходится ползти как черепаха, — сказала, потягиваясь, Флер. — Теперь мы нагоним. Осталось всего тридцать две мили, а в запасе еще целый час. Вы что-нибудь придумали?

— Нет, — сказал Хилери, — мы всячески старались не думать.

Флер метнула на него один из тех пронизательных взглядов, которые сразу же убеждали людей, что она женщина умная.

— Вы повезете его назад? На вашем месте я бы этого делать не стала.

Достав сумочку, она чуть-чуть подкрасила губы и напудрила свой короткий прямой нос.

Адриан наблюдал за ней с почтительным восхищением. Ему не часто приходилось сталкиваться с современной молодежью. Его поразили не столько ее слова, сколько то, что под ними крылось. А означали они примерно следующее: предоставьте его самому себе — все равно вы ничем ему не поможете. Неужели она права?.. Может быть, он и Хилери просто платят дань общечеловеческой страсти — вмешиваться в чужие дела? Может быть, они поднимают святотатственную руку на природу? И все-таки, хотя бы ради Дианы, они должны выяснить, что делает Ферз и что он собирается делать. А ради самого Ферза — хотя бы убедиться, что он не попал в дурные руки. На лице брата мелькнула тень улыбки. Он-то знает молодежь, подумал Адриан, у него есть собственные дети, и ему известно, куда может привести жестокая логика юности.

Они двинулись дальше по длинным оживленным улицам Доркинга.

— Наконец-то выбрались,— сказала, оборачиваясь, Флер.— Теперь вы, пожалуй, его поймаете.

И она дала полный газ. Четверть часа они мчались мимо пожелтевших рощ, мимо полей и поросших дробком выгонов, где паслись гуси и старые клячи, мимо деревенских лугов, деревенских улиц, и повсюду сельская жизнь неохотно отступала под натиском города. Но тут машина, которая шла все время так плавно, вдруг начала скрипеть и подскакивать.

— Камера лопнула,— сказала, повернув голову, Флер.— Плохо дело.

Она остановила машину, и все вышли. Правая задняя покрышка совсем спустила.

— Аврал,— сказал Хилери, снимая пиджак.— Подними-ка ее домкратом, Адриан. Я достану запасное колесо.

Голова Флер скрылась в ящике с инструментами, но оттуда донесся ее голос:

— У семи нянек... дайте-ка, лучше я сама!

Адриан ничего не смыслил в машинах и был беспомощен, как ребенок, в обращении со всякими механизмами. Он охотно отошел в сторону, с восхищением наблюдая за работой Флер и Хилери,— те действовали спокойно, быстро, умело, но домкрат был не в порядке.

— Всегда так, когда торопишься,— заметила Флер.

Они потеряли двадцать минут, прежде чем тронулись дальше.

— Теперь я уже не успею,— сказала Флер,— но тут легко напасть на его след. Станция тут же за городом.

Они промчались через Биллингсхерст, Палборо и Стопхемский мост на предельной скорости.

— Поезжай лучше прямо на станцию,— сказал Хилери.— Если он пошел в город, мы его встретим.

— А что мне тогда делать, остановиться?

— Нет, проезжай мимо, а потом поверни.

Они проехали Петуорт и еще полторы мили до станции, но Ферза не было и в помине.

— Поезд пришел добрых двадцать минут назад,— сказал Адриан,— давайте спросим.

Железнодорожник подтвердил, что отбирал билет у господина в синем пальто и черном котелке. Нет, вещей у него не было. Он пошел по направлению к Меловым холмам. Давно это было? Да с полчаса назад.

Они поспешно сели в машину и поехали к Меловым холмам.

— Помнится, немного дальше будет поворот на Саттон,— сказал Хилери.— Весь вопрос в том, свернул он туда или пошел прямо. Там есть жилье. Спросим, может его видели.

Чуть дальше развилки стоял небольшой домик, где помещалась почта, к нему по саттонской дороге приближался на велосипеде почтальон.

Флер затормозила рядом с ним.

— Вы не встретили по дороге в Саттон человека в синем пальто и котелке?

— Нет, мисс, не встретил ни души.

— Спасибо. Ну как, дядя Хилери, ехать дальше, к холмам?

Хилери взглянул на часы.

— Если не ошибаюсь, до вершины холмов возле Данктонского маяка осталось около мили. От станции мы проехали полторы мили; он опередил нас, скажем, минут на двадцать пять; значит, наверху мы должны его нагнать. Оттуда будет видна вся дорога, и мы его заметим. Если он нам не попадется, значит, он пошел прямо по склону... но в какую сторону?

Адриан сказал вполголоса:

— Домой.

— На восток? — спросил Хилери.— Едем дальше, Флер, только не очень быстро.

Флер повела машину по дороге к холмам.

— Суньте руку в карман моего пальто, там три яблока,— сказала она.— Я успела их захватить.

— Ну и голова! — сказал Хилери.— Но они пригодятся тебе самой.

— Нет. Я худею. Оставьте мне одно.

Грызая яблоки, братья не спускали глаз с перелесков по обе стороны дороги.

— Лес тут слишком густой,— сказал Хилери,—

Ферз туда не пойдет. Если заметишь его, Флер, тут же остановись.

Но нигде не было и следа Ферза; поднимаясь все медленнее и медленнее, они достигли перевала. Справа виднелась круглая буковая рощица Данктона, слева простирался открытый склон; дорога перед ними была пуста.

— Дальше ехать нет смысла,— сказал Хилери.— Надо что-то решать.

— Послушайтесь меня, дядя Хилери, давайте я лучше отвезу вас домой.

— Послушаться ее, Адриан?

Адриан покачал головой.

— Я пойду дальше.

— И я с тобой.

— Смотрите! — воскликнула вдруг Флер и показала на что-то рукой.

Ярдах в пятидесяти от них слева на тропинке темнел какой-то предмет.

— Кажется, это пальто.

Адриан выскочил из машины и кинулся туда. Когда он вернулся, на руке у него висело синее пальто.

— Никаких сомнений,— сказал он.— Либо Ферз тут сидел и забыл его взять, либо ему надоело его нести, и он его бросил. В обоих случаях это плохой признак. Идем, Хилери!

Он кинул пальто в машину.

— Какие будут приказания, дядя Хилери?

— Ты вела себя молодцом. Хочешь быть еще бóльшим молодцом? Подожди нас тут с часок. Если мы за это время не вернемся, спускайся обратно и поезжай потихоньку низом на Саттон Бигнор и Уэст-Бартон, а там, если мы все еще не подадим признаков жизни, отправляйся по шоссе через Палборо обратно в Лондон. Если у тебя есть при себе какие-нибудь деньги, дай нам займы.

Флер достала сумочку.

— Три фунта. Хватит вам двух?

— Покорнейше благодарим,— сказал Хилери.— У нас с Адрианом никогда не бывает денег. Наверно, мы — самая бедная семья во всей Англии. До свиданья, дорогая, и спасибо! Пойдем, старина!

Помахав на прощанье Флер — она стояла у машины и ела яблоко, — братья двинулись по тропинке к холмам.

— Ступай вперед, — сказал Хилери, — у тебя зрение лучше, да и костюм твой не так бросается в глаза. Если ты его увидишь, мы решим, что делать.

Почти сразу же они наткнулись на высокую проводочную ограду, пересекавшую холм.

— Она кончается там, левее, — сказал Адриан. — Мы обойдем ее возле рощи; чем ниже мы будем держаться, тем лучше.

Братья зашагали по склону вдоль ограды, ступая по густой некошенной траве, и постепенно перешли на привычный шаг альпинистов, словно впереди было долгое и трудное восхождение. Они не знали, нагонят ли Ферза и как с ним быть, если нагонят, но понимали, что им, может быть, придется иметь дело с буйнопомешанным, и лица их приняли такое выражение, какое бывает у солдат, у моряков, у альпинистов — у всех, кто смотрит в глаза опасности.

Они перебрались через заброшенный неглубокий меловой карьер и уже карабкались вверх по другому его склону, как вдруг Адриан спрыгнул назад и потянул за собой Хилери.

— Он там, — прошептал Адриан, — ярдах в семидесяти от нас.

— Видел тебя?

— Нет. Вид у него страшный. Без шляпы, размахивает руками. Что делать?

— Выгляни из-за этого куста.

Адриан опустился на колени и стал наблюдать. Ферз больше не размахивал руками; он стоял в задумчивой позе, скрестив руки и понурив голову. Теперь он повернулся к Адриану спиной, и о его состоянии можно было судить только по этой неподвижности погруженного в себя человека. Внезапно он опустил руки, покачал головой и быстро зашагал вперед. Адриан подождал, пока он не скрылся в кустах, и сделал знак Хилери.

— Давай не отставать, — шепнул Хилери, — не то мы его потеряем, если он войдет в лес.

— Он пойдет по открытому месту; бедняге нужен простор. Осторожно!

Адриан снова потянул Хилери к земле. Перед ними начинался склон, который круто спускался в поросшую травой ложбину, и на середине склона они ясно видели Ферза. Он шагал медленно, явно не подозревая, что за ним следят. Время от времени он хватался за голову, словно стараясь освободить ее от каких-то пут.

— Боже мой! — прошептал Адриан. — Как жутко на него смотреть!

Хилери только кивнул.

Они легли на землю, не спуская глаз с Ферза. Лесистые холмы перед ними переливались на солнце всеми цветами осени. Утром пала обильная роса, и в воздухе все еще стоял запах травы; над белыми меловыми холмами раскинулось туманное, бледно-голубое, белесое небо. Тишь стояла такая, что дух захватывало. Братья молча ждали.

Ферз добрался до дна лощины; они видели, как он уныло бредет по кочкам к небольшой рощице. Из-под ног у него вспорхнул фазан; Ферз вздрогнул, словно пробудившись от сна, и остановился, глядя на взлетевшую птицу.

— Наверно, ему знакома тут каждая кочка, — сказал Адриан, — ведь он был страстным охотником.

В тот же миг Ферз вскинул руки, словно держал в них ружье. В этом жесте было что-то удивительно успокаивающее.

— Теперь бежим! — сказал Хилери, когда Ферз исчез в рощице.

Они сбежали в лощину и заковыляли по кочкам.

— А что, если он остановился в кустах? — задыхаясь, спросил Адриан.

— Рискнем! Теперь осторожно, пока не увидим тот склон...

Ферз медленно взбирался вверх по противоположному склону ярдах в ста за рощицей.

— Пока все в порядке, — прошептал Хилери. — Подождем, — пусть он выйдет на ровное место и скроется из виду. Странное это занятие для нас с тобой, старина. А главное, как сказала Флер, что с ним делать потом?

— Мы должны знать, что с ним произойдет,— ответил Адриан.

— Он уже скрывается. Дадим ему пять минут форы. Я засеку время.

Пять минут тянулись бесконечно. С поросшего деревьями откоса слышался пронзительный крик сойки; прямо перед ними из норы вылез кролик и уселся на задние лапы; между деревьями едва ощущалось легкое дуновение ветерка.

— Пора! — сказал Хилери. Они поднялись и быстрым шагом двинулись вверх по склону.— А если он повернет назад?..

— Чем скорее мы с ним столкнемся, тем лучше,— сказал Адриан.— Вот если он заметит, что мы идем за ним, он пустится бежать, и мы его потеряем.

— Не так быстро, старина. Мы выходим на ровное место.

Они осторожно выбрались из лощины. Перед ними тянулся небольшой спуск; слева каменистая тропинка огибала опушку буковой рощи. Нигде не было никаких признаков Ферза.

— Он либо в этой роще, либо прошел через те кусты и снова поднимается вверх. Прибавим шагу, не то он уйдет.

Братья побежали по тропинке, извивавшейся на дне оврага, и уже подходили к кустам, но звук голоса в каких-нибудь двадцати ярдах от них заставил их замереть на месте. Они отпрянули назад и, затаив дыхание, бросились наземь на краю оврага. Откуда-то из чащи доносилось невнятное бормотание Ферза. Слов нельзя было разобрать, но слушать это было мучительно.

— Бедняга! — шепнул Хилери.— Может, пойдем и попробуем его успокоить?

— Слышишь?

Раздался треск сухой ветки, приглушенное проклятие, и тут же сразу, вдруг — пронзительный охотничий клич. У братьев застыла кровь в жилах.

— Какая жуть! — сказал Адриан.— Но он вышел из лесу.

Они осторожно вошли в заросли; Ферз бежал к поднимавшемуся за лесом холму.

— Он нас не заметил?

— Нет, а то бы он оглядывался. Подожди, пока он снова скроется.

— Да, невеселое занятие,— сказал вдруг Хилери,— но я с тобой согласен: надо довести его до конца. Какой ужасный крик! Пора нам решить, что мы будем с ним делать.

— Если бы удалось уговорить его вернуться в Челси,— сказал Адриан,— можно было бы не пускать туда Диану и детей, уволить прислугу и нанять для ухода за ним специальных людей. Я готов побыть там с ним, пока все не наладится. Пожалуй, родной дом — единственная для него надежда.

— Не думаю, чтобы он пошел с нами добровольно.

— В таком случае, ей-богу, не знаю, что делать! Сажать его в клетку? Тут я не помощник.

— А что, если он захочет покончить с собой?

— Это уже твоя область, Хилери.

Хилери помолчал.

— Не очень-то полагайся на мой сан,— сказал он вдруг.— Священника городских трущоб ничем не проймешь.

Адриан схватил брата за руку.

— Его больше не видно.

— Тогда пошли!

Миновав быстрым шагом ровную полянку, они стали взбираться на следующий склон. Пригорок покрывали редкие кусты боярышника, тиса и ежевики, кое-где поднимались молодые буки. Тут было где укрыться, и братья смелее двинулись дальше.

— Мы подходим к перекрестку у Бигнора,— прошептал Хилери.— Что, если он спустится по тропинке в долину? Мы легко можем его потерять!

Они бросились бежать, но тут же остановились за тисовым кустом.

— Он и не думает идти вниз,— сказал Хилери.— Смотри!

Ферз миновал перекресток проселочных дорог, где стоял указательный столб, и теперь бежал по поросшему травой склону, к северной стороне следующего холма.

— Я помню, там есть другая тропинка вниз.

— Кто его знает, но отступать все равно поздно.

Ферз больше не бежал; медленно, понурив голову, он поднимался в гору. Они следили за ним из-за тисового куста, пока он не скрылся за перевалом.

— Пошли! — сказал Хилери.

На этот раз надо было пробежать целых полмили, а ведь им обоим было за пятьдесят.

— Не беги так, старина, — тяжело дыша, произнес Хилери, — а то мы совсем задохнемся.

Напрягая все силы, они достигли наконец пригорка, за которым скрылся Ферз, и увидели поросшую травой тропку.

— Теперь можно потише, — шепнул, переводя дыхание, Хилери.

Здесь склон тоже порос кустами и молодыми деревьями, и, перебегая от куста к кусту, они достигли небольшого мелового оврага.

— Приляжем на минутку и передохнем. Он не пошел вниз, в долину, — не то мы бы его увидели. Слушай!

Снизу доносилось какое-то пение. Адриан поднял голову и заглянул через край оврага. Чуть ниже, у самой тропы, лежал на спине Ферз. Они отчетливо слышали слова песни, которую он бубнил:

Так что ж, я не волен, а ты вольна?
Люблю, а ты не любишь меня?
Неужто лишил меня разума бог
И разлюбить мне тебя не помог?

Ферз умолк и лежал некоторое время не шевелясь; потом, к ужасу Адриана, лицо его исказилось, он потряс кулаками и закричал:

— Не хочу... не буду... не хочу сходить с ума! — и, перевернувшись, уткнулся лицом в землю.

Адриан отполз назад.

— Ужасно! Я должен спуститься вниз и успокоить его.

— Пойдем вместе, в обход, по той тропинке... Не спеши... Не спугни его.

Они двинулись по тропинке, огибавшей овраг. Но когда они подошли к месту, где только что лежал Ферз, его там уже не было.

— Пойдем потихоньку дальше, — сказал Хилери.

Они пошли совсем спокойно, точно отказавшись от погони.

— Кто же после этого поверит в бога? — спросил Адриан.

Худое лицо Хилери скривилось в невеселой усмешке.

— В бога я верю, но не в того милосердного бога, в которого принято верить. Помнится, на этом самом склоне расставляют капканы. Сотни кроликов терпят тут адские муки. Мы выпускали их из капканов и добивали ударом по голове. Если бы мои взгляды стали известны, меня лишили бы сана. Ну, и что изменится? Я ведь не богослов, а практик. Смотри! Лиса!

Они остановились на секунду, — через тропинку скользнуло небольшое бурое существо.

— Чудесный зверь — лиса! А покрытые лесом холмы — просто рай для зверья; тут так круто, что никто до них не доберется; голуби, сойки, дятлы, кролики, лисы, зайцы, фазаны — какой только живности здесь нет!

Тропинка пошла вниз, и Хилери указал рукой вперед.

Там, за оврагом, вдоль проволочной ограды шел Ферз.

Они видели, как он исчез, а затем, обогнув ограду, снова появился на склоне холма.

— Что дальше?

— Он нас оттуда не увидит. Чтобы заговорить с ним, надо к нему подобраться поближе, не то он просто убежит.

Они пересекли ложбину, поднялись вдоль ограды и обошли ее, скрываясь за кустами боярышника. Ферз снова исчез за какой-то складкой холма.

— Загородка для овец, — сказал Хилери. — Смотри, они рассыпались по всему склону — это местная порода.

Братья поднялись на пригорок. Ферза нигде не было.

Продолжая идти вдоль ограды, они достигли следующей вершины и огляделись. Немного дальше влево пригорок круто обрывался — там был овраг; прямо перед ними к лесной опушке спускалась открытая луговина. Справа все еще тянулась проволочная ограда, окружавшая пастбище. Вдруг Адриан схватил брата за ру-



«ДЕВУШКА ЖДЕТ»



«ДЕВУШКА ЖДЕТ»

ку. По ту сторону ограды, в каких-нибудь семидесяти ярдах от них, лежал ничком в траве Ферз, а вокруг него паслись овцы. Пригнувшись, братья забрались в кусты. Оттуда Ферз был отлично виден, и они стали молча за ним наблюдать. Он лежал так тихо, что овцы его не замечали. Шарообразные, коротконогие, курносые, с грязновато-белой шерстью и какие-то игрушечные, они безмятежно пощипывали траву.

— Как ты думаешь, он спит?

Адриан покачал головой.

— Нет, но успокоился.

В позе Ферза было что-то необычайно трогательное; он лежал, раскинув руки и прильнув к земле, словно ребенок, уткнувшийся в колени матери,— казалось, земля эта вселяла в него покой; он точно ощупью искал путь обратно в ее тихое лоно. Как можно было тревожить его, пока он так лежал?

Заходящее солнце грело им спину, и Адриан подставил лицо его лучам. Все, что в нем было от сельского жителя и любителя природы, жадно тянулось к этому теплу, к запаху трав, к пению жаворонков в голубом небе; он заметил, что и Хилери повернулся лицом к солнцу. Стояла удивительная тишина, и если бы не пение птиц и не шорохи на пастбище, впору было сказать, что природа онемела. С окрестных холмов не доносилось ни людской речи, ни крика животного, ни шума машин на дорогах.

— Три часа. Вздремни,— шепнул Адриан брату.— Я покараулю.

Теперь Ферз как будто заснул. Конечно, здесь его мозг отдохнет от возбуждения. Если в воздухе, в природе, в красках есть целебная сила, то она именно тут, на этом прохладном зеленом пригорке, где вот уже больше тысячи лет нет ни жилья, ни людской суеты. Когда-то в древности здесь жили люди, но теперь покой нарушают только ветер да тени плывущих облаков. А сегодня нет ни ветра, ни облаков, отбрасывающих на траву легкие, бегущие тени.

Адриан испытывал такую глубокую жалость к несчастному, который лежал там, как мертвец, что не мог думать ни о себе, ни даже о Диане. Приникший к земле Ферз пробуждал в нем какой-то глубочайший ин-

стинкт — инстинкт душевного родства людей перед несправедливыми ударами судьбы. Да, он спит, цепляясь за землю в поисках прибежища; искать вечного прибежища в земле — все, что ему осталось. И в эти тихие два часа, пока Адриан сторожил расprostертое среди пасущихся овец тело Ферза, его обуревало не бесплодное возмущение и не горечь, а какое-то тоскливое недоумение. Греки, авторы античных трагедий, понимали, какая жалкая игрушка человек в руках у богов; но потом пришла христианская вера в милосердного бога. Милосердного? Нет! Хилери прав. Но что делать, если тебя постигла судьба Ферза? Что делать, пока в тебе теплится хоть искра разума? Если жизнь сложилась так, что человек больше не может трудиться и становится слабым пугалом, — тогда, без сомнения, час его пробил и ему лучше успокоиться в земле навсегда. Кажется, и Хилери так думает; но Адриан не знал, как поведет себя брат в решительную минуту. Его дело — помогать живым, мертвый для него — потеря: мертвым нельзя служить. И Адриан с облегчением подумал, что его работа связана только с мертвецами: он изучает кости — единственную часть человека, которая не гибнет и сохраняется веками, чтобы оставить память о жизни этого удивительного животного. Время шло, а Адриан все лежал и смотрел, срывая травинки и растирая в ладонях их сладкий сок.

Солнце передвинулось еще дальше на запад и заглядывало теперь прямо ему в глаза; овцы перестали щипать траву и, словно решив, что пора домой, стали медленно перебираться через холм. Из нор выглянули кролики и тоже стали щипать траву; один за другим спускались с высоты жаворонки. В воздухе повеяло прохладой; деревья на холмах потемнели и приобрели четкие очертания; казалось, белесое небо ждет не дождетсЯ огней заката. Трава потеряла запах; роса еще не пала.

Адриан поежился. Еще через десять минут солнце скроется за холмом, и станет холодно. Когда Ферз проснется, — будет ему лучше или хуже? Все равно, выхода у них нет. Он коснулся плеча Хилери, который все еще спал, поджав колени. Тот сразу открыл глаза.

— А, что?

— Тс-с! Он еще спит. Что делать, когда он проснет-

ся? Может быть, подойдем к нему заранее и подождем там?

Хилери дернул брата за рукав. Ферз был уже на ногах. Из-за куста они видели, как он дико озирается по сторонам,— так озирается зверь, почуявший опасность, прежде чем пуститься бежать. Увидеть их он не мог, но явно слышал или почувствовал чье-то присутствие. Он подошел к проволочной ограде, прополз под ней и встал во весь рост, лицом к пылающему солнцу,— оно висело теперь как огненный шар над лесистой вершиной горы. Лицо его было озарено закатом, и так он стоял неподвижно, как каменное изваяние, пока солнце не скрылось за горой.

— Пора,— сказал Хилери и поднялся.

Адриан увидел, как Ферз внезапно встрепенулся, с диким отчаянием взмахнул рукой и бросился бежать.

— Он вне себя,— сказал ошеломленный Хилери.— А там, над дорогой, меловой карьер. Скорей, скорей!

Они побежали, но у них затекли ноги, и им было не угнаться за Ферзом, который опережал их все больше и больше. Он несясь вперед как одержимый, размахивая руками; до них доносились его крики. Хилери с трудом проговорил, задыхаясь:

— Стой! Он бежит не туда, не к карьеру. Тот правее. Он бежит в лес, вниз. Пусть думает, что мы отстали.

Они видели, как он мчался вниз по откосу и, все еще бегом, скрылся в лесу.

— Пошли! — сказал Хилери.

Братья, спотыкаясь, спустились к лесу и побрели дальше, боясь потерять направление, по которому шел Ферз. Это был буковый лесок; кустарник рос здесь только по опушке. Они остановились, прислушиваясь, но не уловили ни звука. Под деревьями уже сгустились сумерки, но лесок был небольшой, и они скоро достигли опушки на другой его стороне; внизу виднелись крестьянские домишки и какие-то строения.

— Давай спустимся на дорогу.

Поспешно спускаясь, они вдруг очутились перед глубоким меловым карьером и замерли как вкопанные у самого его края.

— Про этот я не знал,— сказал Хилери.— Ступай вдоль него в ту сторону, а я пойду в эту.

Адриан двинулся вверх по краю карьера, пока не достиг вершины. Внизу, футах в шестидесяти, что-то темнело на самом дне. Что бы это ни было, оно не шевелилось и не издавало ни звука. Неужели это конец, неужели он бросился в эту мрачную дыру? У Адриана перехватило горло, и он не мог ни крикнуть, ни двинуться с места. Потом он кинулся туда, где стоял Хилери.

— Ну как?

Адриан показал рукой вниз. Они пробрались сквозь кустарник, росший вдоль самого обрыва, и достигли места, откуда можно было спуститься вниз на заросшее травой дно заброшенного карьера и пройти в дальний его край, под самой высокой стеной.

Это был Рональд Ферз. Адриан опустился на колени и приподнял его голову. У него была сломана шея; он был мертв.

Нарочно ли он бросился вниз в поисках конца или сорвался нечаянно во время бегства — они не знали. Хилери молча положил руку на плечо Адриана.

— Недалеко отсюда у дороги стоит сарай, — сказал наконец Хилери, — но, пожалуй, тела лучше не трогать. Побудь с ним, а я схожу в деревню и позвоню. Наверно, надо вызвать полицию.

Адриан кивнул, он все еще стоял на коленях возле мертвого Ферза.

— Здесь близко почта, я скоро вернусь, — и Хилери поспешно ушел.

Оставшись один в старом карьере, где быстро сгущалась тьма, Адриан сел, поджав ноги, и положил к себе на колени голову Ферза. Он закрыл ему глаза и прикрыл лицо носовым платком. Сверху, из леса, доносился шорох крыльев и щебет птиц, располагавшихся на ночлег. Пала роса, и в синих сумерках стлался осенний туман. Все очертания стерлись, но высокая стена мелового карьера еще белела. Это место, откуда Ферз совершил свой прыжок в вечность, находилось меньше чем в пятидесяти ярдах от проезжей дороги, где сновали машины, но оно казалось Адриану глухим, заброшенным, полным страхов. Он понимал, что так лучше для Ферза, для Дианы, для него самого, но чувствовал только глубочайшее сострадание к этому человеку, истерзанному и сломленному в расцвете лет, и вместе с тем ощущал

какую-то связь с таинством природы, окружавшей мертвеца и место его упокоения.

Чей-то голос вывел Адриана из его странного забытья. Рядом с ним стоял старый крестьянин и протягивал ему стакан.

— Говорят, здесь несчастье случилось,— сказал он.— Его преподобие велели вам выпить глоточек коньяку.— Он передал стакан Адриану.— Он как, свалился, что ли?

— Да.

— Сколько лет говорю, надо наверху забор поставить. Его преподобие велели передать — доктор и полиция скоро будут.

— Спасибо,— сказал Адриан, возвращая пустой стакан.

— Тут подальше возле дороги — хороший, крепкий сарай; может, нам снести его туда?

— Нельзя его трогать до их прихода.

— Да,— сказал старик,— есть такой закон, я читал, если это убийство или самоубийство.— Он нагнулся к телу.— Лицо-то какое спокойное, правда? Вы знаете, кто он такой?

— Да. Капитан Ферз. Из здешних мест.

— Как, из тех Ферзов, что с Бартонского холма? Да я же там еще мальчишкой работал; в том приходе и родился.— Он всмотрелся внимательней.— Да уж не мистер ли это Рональд, а?

Адриан кивнул.

— Батюшки мои! Теперь уж из них никого не осталось. Дед его перед смертью совсем рехнулся, право слово. Вот дела! Мистер Рональд! Я его знал еще совсем мальчишкой.

Он пригнулся, чтобы получше взглядеться в лицо, едва различимое при последних отсветах дня, потом выпрямился, печально качая головой. Теперь, когда выяснилось, что тут лежит не «чужак», он отнесся к этой смерти совсем по-другому.

Внезапно тишину нарушил треск мотоцикла; он спускался с зажженными фарами по проложенной здесь когда-то дороге. С мотоцикла сошли двое: юноша и девушка. Они несмело подошли к освещенной фарами груп-

пе и остановились, пытаюсь разглядеть то, что лежало на земле.

— Говорят, здесь произошел несчастный случай.

— Ага,— подтвердил старик.

— Мы можем чем-нибудь помочь?

— Нет, спасибо,— сказал Адриан,— сейчас приедут врач и полиция. Нам остается только ждать.

Молодой человек открыл было рот, чтобы что-то спросить, но, так и не спросив, обнял девушку за плечи; потом, как и старый крестьянин, они постояли, вглядываясь в покойника, его голова лежала на коленях у Адриана. Мотор мотоцикла все еще тарахтел, нарушая тишину, а свет фар придавал зловещий вид старому карьеру и маленькой кучке живых, окружавших мертвеца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Телеграмма пришла в Кондафорд перед самым ужином. Она гласила: «Бедный Ф. умер. Упал меловой карьер. Будет доставлен Чичестер. Адриан и я сопровождаем. Следствие состоится там. Хилери».

Когда ей принесли телеграмму, Динни была в своей комнате. Она села на кровать; как и всегда, когда в душе борются два чувства — облегчения и скорби — у нее стеснило грудь. Случилось то, о чем она молила судьбу, но сейчас она помнила только тяжкий вздох за дверью и его лицо, когда он стоял и слушал пение Дианы.

— Найдите мне Скарамуша,— попросила она горничную, которая принесла телеграмму.

Когда появился шотландский терьер с умными глазами и весьма самоуверенным видом, Динни прижала его к себе так крепко, что он стал вырываться. Держа в руках это теплое, жесткое, лохматое создание, она снова обрела способность чувствовать; все ее существо испытывало облегчение, но жалость вызвала слезы. Такое странное состояние было непонятно псу. Скарамуш лизнул ее в нос и так отчаянно завилял хвостом, что Динни его опустила. Она наспех кончила одеваться и пошла в комнату матери.

Леди Черрел, уже переодетая к ужину, бродила между открытым гардеробом и открытым комодом, раз-

думывая, что из вещей ей легче всего пожертвовать на деревенский благотворительный базар в пользу больных бедняков. Динни молча подала ей телеграмму.

— Это как раз то, чего ты хотела,— сказала, прочитав ее, леди Черрел.

— Как ты думаешь, он покончил с собой?

— Думаю, что да.

— Сказать мне Диане сейчас или дать ей спокойно поспать до утра?

— Лучше сейчас. Если хочешь, я ей скажу.

— Нет, нет, мамочка. Это надо сделать мне. Ужин, наверно, нужно будет отнести ей наверх. А завтра нам, должно быть, придется поехать в Чичестер.

— Как все это ужасно для тебя, Динни!

— Напротив, мне это поможет.

Взяв телеграмму, она пошла к Диане.

Диана была в детской,— детей укладывали спать, и они всячески оттягивали эту нежеланную минуту; в их возрасте еще не понимаешь, как приятно заснуть. Динни знаком вызвала Диану в спальню и молча протянула телеграмму. Хотя за последние дни они очень сблизились, между ними все же было шестнадцать лет разницы, и Динни не решалась ее утешать, как поступила бы со своей сверстницей. К тому же она никогда толком не знала, что у Дианы на душе. Та прочитала телеграмму с каменным лицом, словно не узнала ничего неожиданного. Ничто не отразилось на этом красивом лице, с тонкими, как на старинной монете, чертами. Она взглянула на Динни, и в глазах у нее не было ни слезинки.

— Ужинать я не пойду. Значит, завтра — в Чичестер? — только и сказала она.

Сдерживая волнение, Динни молча кивнула и вышла. После ужина, наедине с матерью, она заметила:

— Хотела бы я так владеть собою, как Диана.

— Жизнь научила ее выдержке.

— Но есть в ней что-то и от холодной гордычки.

— А это не так уж плохо.

— Что будут выяснять на следствии?

— Боюсь, что там ей понадобится вся ее выдержка.

— Мама, а мне придется давать показания?

— Ведь ты же последняя, кто с ним разговаривал.

— Да. Я должна рассказать, как он подходил к двери вчера ночью?

— Если тебя спросят, ты, наверно, должна рассказать все, что знаешь.

Кровь прилила к щекам Динни.

— А я не расскажу. Я даже Диане не сказала. И вообще не понимаю, какое до этого дело посторонним.

— И я не понимаю; но нашего мнения в таких случаях не спрашивают.

— Не скажу: не буду потакать нездоровому любопытству и причинять Диане лишнюю боль.

— А что, если слышала горничная?

— Никто не докажет, что слышала я.

Леди Черрел улыбнулась.

— Жаль, что здесь нет отца.

— Не говори папе того, что я тебе сказала. Не надо испытывать мужскую совесть; хватит нам и женской, ее хоть можно унять.

— Хорошо, не скажу.

— У меня не будет ни малейших угрызений совести, если придется что-нибудь скрыть,— лишь бы меня не поймали,— заявила Динни, все еще под впечатлением от лондонского полицейского суда.— И зачем вообще это следствие? Он мертв. Просто нездоровое любопытство.

— Зря я тебе все-таки потакаю, Динни.

— Нет, не зря. Сама знаешь, в душе ты со мной согласна.

Леди Черрел промолчала. В душе она и в самом деле была согласна...

Генерал и Алан Тасборо приехали на следующее утро первым поездом, а спустя полчаса все они отправились в открытой машине в Чичестер; Алан правил, рядом сидел генерал, а на заднем сиденье прижались друг к другу леди Черрел, Динни и Диана. Поездка была долгая и печальная. Откинувшись на сиденье и подняв меховой воротник, из которого торчал только кончик носа, Динни предалась размышлениям. Ей становилось ясно, что в какой-то мере она могла оказаться в центре предстоящего следствия. Ведь это с ней Ферз поделился своими сокровенными мыслями; это она увезла из дома детей; она спустилась ночью звонить по телефону, а потом слышала то, о чем собиралась умолчать; на-

конец — и это самое важное — ей придется сказать, что это она обратилась за помощью к Адриану и Хилери. Лишь за ее спиной можно скрыть дружбу Адриана с Дианой: да, это она посоветовала Диане обратиться к дяде за помощью, когда пропал Ферз. Как и все, Динни читала в газетах о скандальных происшествиях с другими людьми — и даже не без удовольствия; но, как и всех, ее возмущала самая мысль, что в скандальную хронику могут попасть ее родные или друзья. Если бы на следствии выяснилось, что к дяде обратились как к давнему и близкому другу Дианы, им обоим не избежать расспросов, которые вызовут подозрения, — публика, помешанная на любовных историях, сразу наострит уши. Воображение Динни лихорадочно работало. Если выяснится давняя и близкая дружба Адриана с Дианой, еще, чего доброго, заподозрят, будто это он толкнул Ферза в карьер, — конечно, если при этом не было Хилери, никто ведь еще не знает подробностей. Перед Динни мелькали страшные картины. Любая сенсация куда больше по вкусу публике, чем правдивый, но прозаический факт. И в ней крепла озорная решимость провести публику и лишиться ее желанной сенсации.

В Чичестере в холле гостиницы их встретил Адриан; Динни отвела его в сторонку и сказала:

— Дядя, можно мне поговорить с тобой и дядей Хилери наедине?

— Хилери пришлось вернуться в Лондон, но он придет вечером, попозднее; тогда и поговорим. Следствие назначено на завтра.

Этим Динни и пришлось удовольствоваться.

Адриан рассказал ей, как все произошло; Динни, еще раньше решившая, что ему не следует провожать Диану в покойницкую, предложила:

— Скажи нам, дядя, где это; я сама провожу Диану.

Адриан молча кивнул.

В морг Диана вошла одна, а Динни осталась ждать в коридоре, где пахло дезинфекцией. Она смотрела в окно, выходящее в переулок. По стеклу уныло ползла огорченная приближением зимы муха. Глядя на этот тоскливый закоулок, на небо, лишенное тепла и света, Динни почувствовала себя очень несчастной. Жизнь казалась такой беспросветной и сулила одни только беды.

Это следствие... угроза, нависшая над Хьюбертом... нигде ни проблеска радости! Даже мысль о непритворной влюбленности Алана ее не тешила.

Обернувшись, она увидела рядом с собой Диану и, мгновенно позабыв о собственных горестях, обняла ее и поцеловала в холодную щеку. Они молча вернулись в гостиницу.

— Он лежит такой спокойный,— только и сказала Диана.

После ужина Динни сразу ушла к себе в номер и с книгой в руках стала ждать Хилери и Адриана. В десять часов Хилери наконец подъехал к гостинице на такси, и еще через несколько минут они с Адрианом пришли к Динни. Ее поразило, как оба они исхудали и измучились, но что-то в их лицах успокоило ее. Они принадлежали к породе людей, которые верны себе до последнего вздоха. Оба они расцеловали ее с несвойственной им нежностью и сели бочком на кровать — один справа, другой слева. Динни обратилась к Хилери:

— Я хотела поговорить о дяде Адриане. Мне вот что пришло в голову. Если мы не будем осторожны, это следствие может причинить нам массу неприятностей.

— Несомненно. Я ехал сюда в поезде с репортерами,— они не подозревали, что я причастен к этому делу. Про клинику они уже все пронюхали и сразу наострили уши. Газетчики — люди дотошные, они свое дело знают.

— Дядя,— спросила Динни Адриана,— ты не обидишься, если я буду говорить откровенно?

Адриан улыбнулся.

— Не обижусь. Ты ведь у нас молодчина.

— Так вот,— сказала она, обхватив руками спинку кровати,— по-моему, главное — скрыть дружбу дяди Адриана с Дианой, и я вот о чем подумала: это я попросила вас найти Ферза, все надо свалить на меня. Понимаете, я была последняя, с кем он разговаривал, когда перерезал телефонный провод; если меня вызовут, я постараюсь им внушить, что к вам обратились только по моему настоянию,— вы у меня умные дядюшки и хорошо решаете кроссворды. А иначе — почему мы обратились к дяде Адриану? Потому что он был таким близким другом Дианы,— вот тут-то им и ползет в голову

всякая чушь, особенно когда они узнают, что капитан Ферз не был дома четыре года.

Наступило молчание.

— А ведь она умница, старина,— сказал наконец Хилери.— Четыре года дружбы с красивой женщиной в отсутствие мужа означают для присяжных только одно, а для публики — все, что угодно.

Адриан кивнул.

— Я только не понимаю,— сказал он,— как можно скрыть, что я так давно знаю их обоих.

— Все дело в первом впечатлении,— горячо пояснила Динни.— Я могу рассказать, что Диана предложила обратиться к ее врачу и к Майклу, но я ее переубедила, так как знаю, что твоя работа приучила тебя докапываться до всего и что ты можешь заручиться помощью дяди Хилери, а тот вообще видит человека насквозь. Если мы дадим следствию правильный ход, вряд ли твое знакомство с ними привлечет внимание. По-моему, очень важно, чтобы меня вызвали как можно раньше.

— Тебе придется нелегко, дружок.

— Вовсе нет. Но если вас обоих вызовут раньше меня,— пожалуйста, скажите, что я приехала и попросила вас помочь. Ну, а потом я сама вдолблю им это как следует.

— После врача и полицейского первой вызовут Диану.

— Да, но я могу с ней поговорить, чтобы наши показания не расходились.

Хилери улыбнулся.

— Не возражаю, это весьма невинная ложь. Я могу вставить, что знаю их так же давно, как и ты, Адриан. Оба мы познакомились с Дианой, когда она была еще девчонкой, на том пикнике, который устроил в Лэндс-Энде Лоренс, а с Ферзом — у них на свадьбе. Знакомы домами, а?

— Может выясниться, что я ездил в клинику,— сказал Адриан,— оттуда вызвали свидетелем доктора.

— Ничего,— сказала Динни,— ты ездил туда как его друг и как человек, интересующийся психическими заболеваниями. В конце концов, дядя, считается ведь, что ты ученый.

Ее собеседники улыбнулись.

— Хорошо, Динни,— сказал Хилери,— мы поговорим со следователем — он вполне приличный человек — и устроим, чтобы тебя вызвали пораньше.

Он направился к двери.

— Спокойной ночи,— сказал Адриан.

— Спокойной ночи, милый; у тебя такой измученный вид. Есть у тебя с собой грелка?

Адриан покачал головой.

— У меня только зубная щетка, да и ту я только что купил.

Динни вытащила из своей постели грелку и заставила дядю взять ее.

— Значит, я скажу Диане, о чем мы договорились?

— Хорошо, Динни.

— Послезавтра снова взойдет солнце.

— Взойдет ли? — сказал Адриан.

Когда за ним закрылась дверь, Динни вздохнула. Взойдет ли? Диана, кажется, потеряла способность чувствовать. А тут еще дело Хьюберта!

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Когда Адриан и его племянница вошли на другое утро в здание Следственного суда, их мысли можно было бы изложить примерно так:

Следствие по делу о скоропостижной смерти так же устарело, как обычай есть по воскресеньям тяжелую пищу вроде ростбифа и йоркширского пудинга. В наше время люди по воскресеньям занимаются спортом, а убийства стали редкостью и самоубийц больше не хоронят на перекрестках дорог; поэтому оба эти обычая потеряли всякий смысл. В старину правосудие и его слуг считали врагами человечества, и попытка поставить между смертью и законом гражданского арбитра была вполне естественной. В наш век полицию именуют «стражем общественного порядка», но ей по-прежнему не доверяют судить о том, должна ли она вмешаться в то или иное дело. И если беспомощность полиции нельзя считать причиной сохранения устаревшего ритуала, значит, публика просто боится, как бы от нее не скрыли какого-нибудь скандальчика. Читатели газет уверены, что чем

больше они узнают сомнительных и неприглядных историй, тем лучше для души. Не будь следствия о скоропостижной смерти — в газетах не было бы отчетов о сенсационных процессах. А ведь как приятно, когда идет хотя бы одно разбирательство, если не нужно никакого, или два разбирательства, если можно было бы ограничиться одним! Люди обычно стесняются совать нос в чужие дела, но в толпе всякую щепетильность с них как рукой снимает. Чем нахальнее человек проявляет в толпе свое любопытство, тем лучше он себя чувствует. И чем чаще удастся протиснуться в зал Следственного суда, тем пламенней благодаришь бога. Слова: «Буду славить тебя, господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса твои!» — никогда не звучат горячее, чем в сердце того, кто раздобыл себе местечко на следствии о скоропостижной смерти. Ведь следствие о мертвых почти всегда сопряжено с пыткой для живых, а что может быть приятнее такого зрелища?

Зал суда был полон, что подтверждало справедливость этих мыслей; Динни и Адриан прошли в маленькую комнату ожидания.

— Ты будешь пятой, Динни, — сказал Адриан. — Хилери и меня вызовут раньше. Подождем здесь, пока нас не вызовут, тогда не заподозрят, что мы сговорились.

Они молча сидели в голой комнатухе. Сперва должны были допросить полицейского, врача, Диану и Хилери.

— Это как в песенке о негритятах, которые пошли купаться в море, — прошептала Динни.

Взгляд ее был прикован к календарю, висевшему напротив; ей почему-то непременно хотелось прочесть, что там написано, но она не могла разобрать ни слова.

— Выпей-ка глоточек, — сказал Адриан и вынул из кармана бутылочку. — Только не слишком много: это лекарство, оно тебя подбодрит.

Динни глотнула. Лекарство слегка обожгло ей горло.

— Теперь ты, дядя.

Адриан, в свою очередь, сделал осторожный глоток.

— Отлично подстегивает, когда у тебя состязание или что-нибудь в этом роде, — сказал он.

Они снова помолчали, ожидая, чтобы лекарство подействовало. Молчание нарушил Адриан:

— Если души умерших живут среди нас,— а я в это не верю,— что думает сейчас бедный Ферз обо всей этой комедии? Все-таки мы еще варвары. У Мопассана есть рассказ о клубе самоубийц,— там предлагали приятную смерть каждому, кто хотел покинуть этот мир. Я не одобряю самоубийства людей в здравом уме,— разве что в самых редких случаях. Человек обязан вытерпеть все; но я бы хотел, чтобы у нас был такой клуб для душевнобольных и для тех, кому это грозит. Ну как, помогло лекарство?

Динни кивнула.

— Оно действует не меньше часа.— Адриан поднялся.— Кажется, моя очередь. До свидания, дорогая, желаю успеха! Когда будешь отвечать следователю, не забудь время от времени вставлять «сэр».

Глядя, как он распрямил плечи, переступая порог, Динни почувствовала нечто вроде душевного подъема. Все-таки дядя Адриан лучше всех на свете! И хотя в этом не было ни капли логики, она мысленно помолилась за него. Нет, питье ей в самом деле помогло, головокружение и слабость прошли. Она вынула карманное зеркальце и пуховку. Когда она взойдет на костер, вовсе не обязательно, чтобы у нее блестел нос.

Прошло, однако, еще четверть часа, прежде чем ее вызвали; она провела это время, не отрывая глаз от календаря, думая о Кондафорде и вспоминая лучшие дни сенокоса и пикников в лесу; вот она собирает лаванду, катается верхом на гончей, потом ее пересаживают на пони, когда Хьюберт уезжает в школу; дни безоблачного счастья во вновь отстроенном доме,— хотя она там и родилась, до четырех лет ей пришлось кочевать, жить то в Олдершоте, то в Гибралтаре. С особым удовольствием вспомнила она, как разматывала золотые нити с коконов своих шелковичных червей и воображала, будто это какие-то ползучие слоны, и какой у них был особенный запах.

— Элизабет Чаруэл!

Что за наказание иметь фамилию, которую всегда перевирают! Она поднялась, повторяя про себя:

Последний негритенок один гулять бы рад,
Но вот судья нагрянул,—и нету негритят.

Кто-то встретил ее у порога и повел через весь большой зал за какую-то загородку. К счастью, она в последнее время уже не раз бывала в таких местах — все здесь было знакомо и даже немножко ее забавляло. Присяжные прямо перед ней были похожи на ископаемых, следовательно преисполнен важности. Слева от нее разместились остальные негритята, а за ними, вплоть до дальней голой стены, рядами тянулись десятки, десятки и десятки голов — точно сельди набились в огромную бочку. Тут она услышала обращенный к ней вопрос и сосредоточила все внимание на лице следователя.

— Вас зовут Элизабет Черрел. Вы, если не ошибаюсь, дочь леди Черрел и генерал-лейтенанта сэра Конвея Черрела, кавалера ордена Бани, кавалера орденов святого Михаила и святого Георгия?

Динни поклонилась. «Надеюсь, это ему понравится», — подумала она.

— И вы живете вместе с ними в усадьбе Кондафорд, в Оксфордшире?

— Да.

— Насколько мне известно, мисс Черрел, вы гостили у капитана и миссис Ферз вплоть до того самого утра, когда капитан Ферз покинул свой дом?

— Да.

— Вы их близкий друг?

— Я дружна с миссис Ферз. Капитана Ферза я видела до его возвращения, кажется, только один раз.

— А-а, до его возвращения! Вы уже гостили у миссис Ферз, когда он вернулся?

— Я приехала к ней как раз в тот день.

— В день его возвращения из клиники для душевнобольных?

— Да. Я, в сущности, поселилась у них в доме на следующий день.

— И оставались там, пока капитан Ферз его не покинул?

— Да.

— Как он себя вел все это время?

Услышав этот вопрос, Динни впервые поняла, как плохо не знать, что говорили до нее другие. Придется

ей, видно, говорить то, что она знала и видела на самом деле.

— Он казался мне совершенно нормальным, только не хотел выходить из дому или встречаться с людьми. Вид у него был совсем здоровый, но глаза его... от них становилось не по себе.

— В каком смысле?

— Они... они напоминали огонь, горящий за решеткой; казалось, в них сверкают искры.

При этих словах присяжные на какой-то миг стали меньше похожи на ископаемых.

— Вы говорите, он не хотел выходить из дому? Так было все время, пока вы там находились?

— Нет, он вышел накануне своего бегства. Насколько я знаю, его не было дома весь день.

— «Насколько вы знаете»? А разве вас там в это время не было?

— Не было; утром я увезла обоих детей в Кондафорд, к моей матери, и вернулась вечером перед самым ужином. Капитан Ферз еще не возвращался.

— Что заставило вас увезти детей?

— Меня об этом попросила миссис Ферз. Она заметила какую-то перемену в капитане Ферзе и решила, что детей лучше удалить.

— А вы бы могли сказать, что и сами заметили такую перемену?

— Да. Мне казалось, что он становится беспокойнее и, пожалуй, подозрительнее; он стал больше пить за ужином.

— Ничего из ряда вон выходящего?

— Ничего. Я...

— Да, мисс Черрел?

— Я хотела сказать кое-что с чужих слов.

— Со слов миссис Ферз?

— Да.

— Ну, в этом нет необходимости.

— Спасибо, сэр.

— Поговорим о вашем возвращении в тот день, когда вы увезли детей. Вы сказали, что капитана Ферза не было дома; а где была миссис Ферз?

— Дома. Я быстро переоделась, и мы поужинали вдвоем. Мы очень о нем беспокоились.

— А потом?

— После ужина мы поднялись в гостиную, и, чтобы отвлечь миссис Ферз — она очень волновалась, — я попросила ее спеть. Скоро мы услышали, как стукнула входная дверь, вошел капитан Ферз и сел.

— Он что-нибудь сказал?

— Нет.

— Как он выглядел?

— По-моему, ужасно. Он был совсем не такой, как всегда, вид у него был странный, напряженный, как будто его мучила какая-то страшная мысль.

— Да?

— Миссис Ферз спросила, ужинал ли он и не хочет ли лечь, предложила вызвать врача; но он не говорил ни слова — сидел с закрытыми глазами, точно спал, пока наконец я не шепнула: «Как по-вашему, он спит?» Тут он вдруг закричал: «Спит! У меня все начинается снова! Все снова! Но я не хочу, не позволю! Клянусь богом, не позволю!»

Когда она повторила эти слова, Динни наконец поняла, что означает выражение «движение в зале суда»; каким-то загадочным образом она придавала убедительность показаниям предыдущих свидетелей. Она никак не могла решить, хорошо это или нет, и отыскала глазами Адриана. Тот чуть заметно кивнул.

— Дальше, мисс Черрел.

— Миссис Ферз подошла к нему, а он крикнул: «Оставьте меня в покое! Убирайтесь!» Кажется, она спросила: «Рональд, хочешь, позовем врача? Он даст тебе снотворное». Но он вскочил на ноги и бешено закричал: «Убирайтесь! Не надо мне никого... никого!»

— Да, мисс Черрел, что же было потом?

— Мы испугались. Мы пошли в мою комнату посоветоваться, и я сказала, что надо позвонить по телефону.

— Кому?

— Врачу миссис Ферз. Она хотела пойти сама, но я ее не пустила и побежала вниз. Телефон находится в маленьком кабинете на первом этаже, и я уже стала набирать номер, как вдруг меня схватили за руку и я увидела у себя за спиной капитана Ферза. Он перерезал ножом провод. Он держал меня за руку, и я сказала: «Как это глупо, капитан Ферз, вы отлично знаете,

что мы не хотим вам зла». Он отпустил меня, спрятал нож и велел надеть туфли — я держала их в другой руке.

— Вы хотите сказать, что перед этим их сняли?

— Да, чтобы сбежать вниз потихоньку. И я их надела. Он сказал: «Я не позволю вмешиваться в мою жизнь. Я сам решу, что с собой делать». Я сказала: «Вы же знаете, что мы хотим вам только добра». А он ответил: «Знаю я это «добро», с меня хватит». Потом он посмотрел в окно и сказал: «Дождь льет как из ведра», — повернулся ко мне и закричал: «Вон отсюда, живо! Вон отсюда!» — и я бросилась бегом вверх по лестнице.

Динни остановилась и перевела дух. Она вновь переживала те памятные минуты, и сердце у нее колотилось. Она закрыла глаза.

— Да, мисс Черрел, что же было потом?

Она открыла глаза. Перед ней все еще был следователь, а присяжные слушали ее, раскрыв рот.

— Я рассказала обо всем миссис Ферз. Мы не знали, что делать и что нас ожидает... так мы ничего и не придумали, и я предложила пододвинуть к двери кровать и постараться заснуть.

— И вы заснули?

— Да, только не скоро. Миссис Ферз так измучилась, что наконец уснула; кажется, к утру уснула и я. Во всяком случае, меня разбудила горничная.

— Скажите, в эту ночь капитан Ферз больше не появлялся?

Она вспомнила старую школьную поговорку: «Если уж врешь, то ври как следует», — и твердо заявила:

— Нет, не появлялся.

— Когда вас разбудили?

— В восемь часов. Я разбудила миссис Ферз, и мы сразу спустились вниз. Комната капитана Ферза была в беспорядке; постель была смята; но в доме его нигде не оказалось, а его шляпа и пальто исчезли со стула в холле, куда он их бросил накануне.

— Что вы сделали дальше?

— Мы посоветовались; миссис Ферз хотела обратиться к своему врачу и к нашему общему двоюродному брату, члену парламента Майклу Монту; но я подумала,

что если этим займутся мои дяди, они куда вернее разыщут капитана Ферза. Я уговорила миссис Ферз поехать к дяде Адриану, попросить его рассказать обо всем дяде Хилери и вместе с ним попробовать отыскать капитана Ферза. Я знала, что оба они очень умные и тактичные люди.— Динни увидела, как следователь отвесил полупоклон в ту сторону, где сидели Адриан и Хилери, и торопливо продолжала: — Они ведь тоже старые друзья этой семьи; я решила, что никто не сможет найти Ферза без всякой огласки скорее, чем они. Вот мы и поехали к дяде Адриану, а он согласился попросить дядю Хилери ему помочь и вместе с ним отправиться на поиски; потом я отвезла миссис Ферз в Кондафорд, к детям, и это все, что мне известно, сэр.

Следователь поклонился ей довольно низко и сказал: — Спасибо, мисс Черрел. Вы отлично дали свои показания.

Присяжные заерзали на своих местах, словно их тоже подмывало поклониться, и Динни, неуверенно ступая, вышла из-за своей загородки и села рядом с Хилери; тот накрыл ладонью ее руку. Она сидела, не шевелясь, и вдруг почувствовала, как по щеке ее медленно катится слеза,— лекарство, видно, перестало действовать. Она вяло прислушивалась к тому, что было дальше: к показаниям главного врача клиники и речи следователя,— а потом, безмолвно ожидая решения присяжных, мучилась сознанием, что в своей верности живым предала мертвого. Какое это было отвратительное чувство: она обвинила в безумии того, кто не мог ни защититься, ни оправдаться. Потом она с напряжением и страхом смотрела, как гуськом возвращаются присяжные и рассаживаются по своим местам, как встает старшина присяжных, чтобы объявить решение.

— Мы считаем, что покойный умер от падения в меловой карьер.

— Это означает смерть от несчастного случая,— пояснил следователь.

— И хотим выразить сочувствие вдове покойного. Динни чуть было не захлопала в ладоши. Вот вам! Они, эти ископаемые, все-таки признали самоубийство недоказанным! Она вскинула голову и неожиданно наградила их теплой, почти нежной улыбкой.

Перестав улыбаться, Динни заметила, что дядя Хилери поглядывает на нее с хитрецей.

— Как ты думаешь, дядя, нам можно идти?

— Да уж пойдем, Динни, пока ты совсем не вскружила голову старшине присяжных.

На улице, на сыром октябрьском ветру — стояла обычная английская осень, — она сказала:

— Давай немножко подышим свежим воздухом, — пусть из нас выветрятся судебные запахи.

Они свернули в ту сторону, где вдалеке виднелось море, и бодро зашагали рядом.

— Мне ужасно хочется знать, что пришло до меня; я ничего не напутала?

— Нет. Из показаний Дианы сразу же выяснилось, что Ферз вернулся из клиники, и следовательно обошелся с ней деликатно. Очень удачно, что меня вызвали до Адриана, поэтому его показания только повторили мои, и он ничем не обратил на себя внимания. Мне даже жаль репортеров. Присяжные всегда избегают констатировать самоубийство или потерю рассудка, если к этому есть малейшая возможность; да в конце концов мы и в самом деле не знаем, что случилось с беднягой в последнюю минуту. Он легко мог оступиться и сорваться в карьер; сумерки сгущались, и было уже довольно темно.

— Ты в самом деле так думаешь?

— Нет, Динни, — покачал головой Хилери. — По моему, он задумал это с самого начала, а это место ближе всего к его родному дому. И хотя так говорить не следует, слава богу, что все кончилось и он обрел покой.

— Да! Да... Что же теперь будет с Дианой и дядей Адрианом?

Хилери набил трубку и остановился, чтобы ее раскурить.

— Видишь ли, дорогая, я дал Адриану один совет. Не знаю, послушается ли он, но, если придется к слову, ты могла бы меня поддержать. Он ждал столько лет. Пусть подождет еще годик.

— Вот это ты прекрасно придумал!

— Да ну! — удивился Хилери.

— Правда! Диана просто не в состоянии думать сейчас даже о нем. Ее надо оставить одну с детьми.

— Интересно,— сказал Хилери,— нельзя ли подсу-
нуть ему какую-нибудь экспедицию за черепами, кото-
рая на год унесет его из Англии.

— Халлорсен! — закричала Динни, хлопая в ла-
доши.— Халлорсен опять уезжает. А дядю Адриана он
любит.

— Отлично! А возьмет он его?

— Возьмет, если я попрошу,— коротко ответила
Динни.

Хилери снова бросил на нее лукавый взгляд.

— Ну и опасная же ты женщина! Надеюсь, попечи-
тели музея дадут Адриану отпуск. Я заставлю старого
Шропшира и Лоренса этим заняться. Пойдем назад.
Я должен поспеть на поезд. Жаль, конечно,— здесь та-
кой чудный воздух, но по мне соскучились мои Луга.

Динни взяла его под руку.

— Ты прелесть, дядя Хилери.

Хилери удивленно раскрыл глаза.

— С чего это вдруг?

— Будто ты не понимаешь: у тебя есть настоящие
устои, и в то же время ты какой-то ужасно сегодняшний,
терпимый, свободомыслящий!

— Гм! — произнес Хилери, выпуская облако дыма.

— Я уверена, ты допускаешь даже аборт.

— Видишь ли,— сказал Хилери,— мы, священники,
находимся тут в комическом положении. В свое время
считалось непатриотичным высказываться за ограниче-
ние рождаемости. Но в наши дни, когда авиация и ядо-
витые газы сделали пушечное мясо ненужным, а безра-
ботица растет,— боюсь, что теперь антипатриотично не
высказываться за ограничение рождаемости. Что ка-
сается наших христианских принципов, то, будучи пат-
риотами, отступили же мы во время войны от христиан-
ского принципа «Не убий»; таким образом, будучи пат-
риотами, мы логически не можем придерживаться и
христианского принципа «Плодитесь и размножайтесь!»
По крайней мере в условиях городских трущоб аборт —
благое дело.

— И ты не веришь даже в ад?

— Нет, верю; мои прихожане проводят в нем всю
жизнь.

— И ты считаешь, что в воскресенье можно играть

в футбол? — Хилери кивнул. — И принимать солнечные ванны без купального костюма?

— Да, если бы у нас было солнце.

— И ты не против того, чтобы женщины носили пижамы и курили?

— Только не вонючий табак, ни в коем случае!

— По-моему, это не демократично.

— Ничего не поделаешь, Динни. Понюхай! — И он пустил в нее клуб дыма.

Динни понюхала.

— Это турецкий табак, и пахнет чудесно, но женщины не курят трубку. Наверно, у каждого из нас есть свой пунктик, у тебя — долой махорку. Во всем прочем ты человек совершенно нового склада. Когда я сидела в суде и разглядывала это сборище, мне казалось, что у одного тебя по-настоящему современное лицо.

— Милая, ничего удивительного: Чичестер — одна из твердынь нашей церкви.

— Знаешь, по-моему, в жизни вообще не так много новшеств.

— Ты не живешь в Лондоне. Хотя в каком-то смысле ты права. Да, мы стали обо всем говорить откровеннее, но это еще не новый уклад. Вся разница между моей молодостью и сегодняшним днем — только в форме выражения. У нас были свои сомнения, свое любопытство, свои желания, только мы их не высказывали. А они теперь высказывают. Я вижу много студентов, — они приходят к нам поработать в Лугах. Знаешь, с самой колыбели их учат говорить все, что им взбредет в голову, и они не стесняются. Мы так не умели, хотя и нам приходили в голову те же самые мысли. Вот и вся разница. Это да еще, пожалуй, автомобили.

— Значит, я человек старомодный. Никак не научусь выражать свои чувства вслух.

— Тут виновато твое чувство юмора. Оно тебя сдерживает, ты боишься показаться смешной. Сейчас мало у кого из молодежи есть настоящее чувство юмора; они бывают остроумны, но это совсем другое дело. Разве наши молодые писатели, художники, музыканты вели бы себя так, как они себя ведут, если бы умели сами посмеяться над собой? А ведь тут-то и проявляется настоящее чувство юмора.

— Надо об этом подумать.

— Думай, только не теряй чувства юмора, Динни. Оно все равно что аромат у розы. Ты едешь назад, в Кондафорд?

— Да, наверно; Хьюберта вызовут в суд не раньше, чем придет почтовый пароход; а до этого еще десять дней.

— Что ж, передай привет Кондафорду; вряд ли мне еще суждены такие хорошие деньки, как тогда, когда мы жили там детьми.

— Я как раз об этом думала, дядя, когда ждала своей очереди,— последняя из негритят.

— Тебе еще рановато об этом думать. Подожди, скоро влюбишься.

— Я уже, дядя.

— Что, влюблена?

— Нет, жду.

— Ужасное состояние — влюбленность,— сказал Хилери.— Но я никогда не жалел, что пережил его.

Динни посмотрела на него искоса, и у нее блеснули зубы.

— А что, если тебе снова встать на эту стезю, дядечка?

— Ну нет,— сказал Хилери, выбивая трубку об угол почтового ящика,— моя песенка спета. Профессия не позволяет. К тому же я все никак не вылечусь от первого приступа.

— Я понимаю,— сказала Динни с сочувствием,— тетя Мэй такая душка.

— Тонко замечено. А вот и вокзал. До свидания, всего тебе лучшего! Я отправил чемодан еще утром.

Он помахал рукой и исчез.

Вернувшись в гостиницу, Динни пошла искать Адриана. Его нигде не было; огорченная, она снова вышла погулять и направилась в собор. Только она хотела там сесть и насладиться его мирной красотой, как увидела своего дядю: Адриан стоял у колонны и любовался круглым витражом. Динни подошла к нему и взяла его под руку. Он сжал ее руку, но ничего не сказал.

— Ты любишь цветное стекло, дядя?

— Ужасно люблю хорошее стекло, Динни. Ты когда-нибудь видела собор в Йорке?

Динни покачала головой; потом, поняв, что ей трудно будет навести разговор на нужную тему, она спросила напрямик:

— Что ты собираешься теперь делать?

— Ты говорила с Хилери?

— Да.

— Он хочет, чтобы я уехал на год.

— Я тоже.

— Это немалый срок, Динни, а я уже немолод.

— Ты бы поехал с Халлорсеном в экспедицию, если бы он тебя взял?

— Он меня не возьмет.

— Нет, возьмет.

— Я поеду, если буду уверен, что этого хочет Диана.

— Она ни за что не скажет, но я убеждена, что ей это необходимо.

— Если не можешь жить без солнца,— совсем тихо сказал Адриан,— тяжело ехать в края, где оно никогда не светит.

Динни погладила его по руке.

— Да, но ты знаешь, что скоро его увидишь. А это такая приятная экспедиция, и для здоровья полезно — недалеко, в Нью-Мехико. Ты вернешься совсем молоденький, в штанах, обшитых по бокам конской гривой, как у ковбоев в кино. Ты будешь неотразим, мне так хочется, чтобы ты был неотразим! А тут пока уляжется весь этот шум и гам.

— А моя служба?

— Ну, это легко уладить. Если Диана год проживет спокойно, она станет другим человеком и начнет о тебе мечтать, как о земле обетованной. Я знаю, что говорю.

— Ах ты, змея-искусительница,— сказал Адриан со своей невеселой улыбкой.

— Диана пережила тяжелое потрясение.

— Иногда мне кажется, что эта рана неизлечима.

— Ерунда!

— Станет она обо мне думать, если я уеду!

— Ты не знаешь женщин.

— А что можешь знать о женщинах ты, в твои годы? Я уже один раз уехал, а она стала думать о Ферзе. О таких, как я, женщины, наверно, не думают.

— Ну, тогда Нью-Мехико самое подходящее для тебя место. Когда ты вернешься, перед тобой не устоит ни одна женщина. Честное слово! Я обещаю, что буду ее стеречь, а дети не дадут ей тебя забыть. Они без конца говорят о тебе. Я уж постараюсь, чтобы они тебя почаще вспоминали.

— Как ни странно,— заметил бесстрастным тоном Адриан,— но, по-моему, она сейчас от меня дальше, чем когда был жив Ферз.

— Сейчас — да, и, может быть, это еще надолго. Но я знаю, в конце концов все уладится. Правда, дядя.

Адриан молчал.

— Я поеду, Динни,— сказал он наконец,— если Халлорсен меня возьмет.

— Возьмет. Нагнись, дядя. Я должна тебя поцеловать.

Адриан нагнулся. Поцелуй пришелся в кончик носа. Позади послышался кашель церковного служки...

Возвращение в Кондафорд состоялось в тот же день в прежнем порядке; молодой Тасборо сидел за рулем. В Чичестере он вел себя чрезвычайно тактично, ни разу не сделал предложения, и Динни была ему за это благодарна. Ей тоже хотелось покоя, как и Диане. Алан уехал из Кондафорда в тот же вечер, Диана с детьми — на другой день; Клер вернулась из Шотландии, где долго гостила, и теперь в Кондафорде остались только свои. А Динни все никак не могла успокоиться. Теперь, когда больше не надо было волноваться из-за бедного Ферза, ее мучили мысли о Хьюберте. Удивительно, какую тревогу вызывала эта нависшая над ними угроза! Хьюберт и Джин писали с Восточного побережья веселые письма. По их словам, они ничуть не беспокоились, чего нельзя было сказать о Динни. И она знала, как встревожена ее мать, а еще больше — отец. Клер была скорее сердита, чем встревожена, и злость ее выражалась в необычайном для нее приливе энергии,— по утрам она ходила с отцом охотиться на лисиц, а после обеда брала машину и отправлялась в гости к соседям, где часто засиживалась до позднего вечера. На нее — самого светского члена их семьи — всегда был большой спрос. Динни ни с кем не делилась своими тревогами. Она написала Халлорсену о дяде Адриане, послав ему одновременно обеща-

ную фотографию,— снимок изображал ее в бальном платье и был сделан два года назад, когда ее и Клер в целях экономии одновременно представили ко двору. Халлорсен немедленно ответил: «Фотография просто прелесть. Буду рад взять с собой вашего дядю. Пишу ему немедленно». Подпись гласила: «Всегда преданный вам».

Динни прочитала письмо с признательностью, но без сердечного трепета, за что тут же обозвала себя бесчувственной тварью. Успокоившись насчет Адриана,— она знала, что хлопоты о его отпуске охотно возьмет на себя Хилери,— Динни теперь неотступно думала о Хьюберте; ею все больше овладевали мрачные предчувствия. Она пыталась убедить себя, что это от безделья или нервная реакция после истории с Ферзом, но никакие доводы не действовали. Если даже на родине Хьюберту так мало доверяют, что готовы его выдать,— на что же ему рассчитывать там? Она подолгу разглядывала тайком карту Боливии, словно очертания страны помогали ей проникнуть в психологию этого народа. Никогда еще она так страстно не любила свой дом, как в эти тревожные дни. Кондафорд — родовое имение, и если Хьюберта вышлют, осудят, если он умрет в тюрьме или будет убит одним из этих погонщиков, а у Джин не окажется наследника,— имение перейдет к старшему сыну Хилери, к двоюродному брату, школьнику, которого она едва знает; конечно, оно останется в семье, но это будет уже не то. С судьбой Хьюберта связана судьба ее родного гнезда. И, хотя она удивлялась тому, что может думать о себе, когда на карту поставлена жизнь Хьюберта, она никак не могла отделаться от этих мыслей.

Как-то утром она попросила Клер отвезти ее в Липпингхолл. Динни терпеть не могла править машиной, и не зря: ее привычка видеть смешную сторону во всем, что ей встречается, несколько раз чуть было не довела ее до беды. Они приехали к самому обеду, и леди Монт встретила их восклицанием:

— Девочки, какая досада! Впрочем, может, вы любите морковку? Дяди дома нет. Так очищает кровь! Блор, поглядите, не зажарила ли Августина какую-нибудь птичку. Да, Блор, попросите ее сделать эти вкусные блинчики с вареньем, которые мне нельзя есть.

— Нет, тетя Эм, пожалуйста, не заказывай того, чего тебе нельзя есть самой.

— Но мне ничего нельзя есть. Ваш дядя толстеет, поэтому я худею. Да, Блор: омлет с сыром и какого-нибудь хорошего вина... и кофе.

— Тетя, это ужасно!

— Винограду, Блор. И эти сигареты — они наверху, в комнате мистера Майкла. Дядя их не курит, а я курю всякую дрянь, поэтому сигарет у нас никогда не бывает. И еще, Блор...

— Да, миледи?

— Коктейли, Блор.

— Тетя Эм, мы не пьем коктейлей.

— Нет, пьете, я видела. Клер, ты такая худенькая. Ты тоже сидишь на диете?

— Нет, я была в Шотландии.

— Охотилась и ловила рыбу? А теперь побегайте по дому. Я вас подожду.

Пока они «бегали по дому», Клер спросила Динни:

— Где тетя Эм научилась глотать окончания слов?

— Папа рассказывал, что в школе, где она училась, считалось неприличным произносить все слово до конца. Правда, она — прелесть?

Клер, которая в это время подкрашивала губы, только кивнула.

Возвращаясь в столовую, они услышали, как леди Монт говорит:

— Брюки Джеймса, Блор.

— Да, миледи.

— У них такой вид, будто они вот-вот свалятся. Нельзя ли с ними что-нибудь сделать?

— Да, миледи.

— А вот и вы! Тетя Уилмет гостит сейчас у Генриетты. Они там спорят напропалую. Для каждой из вас нашлось по холодной птичке. Динни, что ты сделала с Аланом? Он стал такой интересный, а завтра кончается его отпуск.

— Ничего я с ним не сделала, тетя Эм.

— Поэтому он такой интересный. Нет. Дайте мне морковку, Блор. Разве ты не выходишь за него замуж? Я знаю, у него есть виды на наследство... судебный про-

цесс... кажется, где-то в Уилтшире? Он все ходит сюда и плачется мне в жилетку, бедняжка.

Под пристальным взглядом Клер Динни застыла с поднятой вилкой.

— Смотри, не то он еще переведется в Китай и женится на дочке беглого корабельного казначея. Говорят, в Гонконге их полно. Да! Мой портулак погиб. Босуэл и Джонсон взяли да и полили его жидким навозом. Совсем не разбирают запахов. Знаете, что они один раз сделали?

— Нет, тетя Эм.

— Напустили насморк на моего племенного кролика,— обчихали всю его клетку. Бедняжка умер. Я их уволила, но они не ушли. Не уходят, и все. Дядя их совсем избаловал. А ты не собираешься с кем-нибудь сочетаться, Клер?

— «Сочетаться»! Тетя Эм!

— Прелестное слово,— то и дело попадаете в воскресных газетах. Но ты собираешься или нет?

— Конечно, нет.

— Почему? Все некогда? По правде говоря, терпеть не могу морковку... такая скука. Но у дяди начинается опасный возраст... приходится об этом думать. Не понимаю, зачем мужчинам опасный возраст. И, в сущности, он у него должен был уже пройти.

— Он прошел, тетя Эм. Разве ты забыла? Дяде Лоренсу уже шестьдесят девять.

— Понимаешь, это еще совсем незаметно. Блор!

— Да, миледи.

— Уйдите, пожалуйста.

— Да, миледи.

— Есть такие вещи, о которых при нем нельзя говорить,— сказала леди Монт, когда за дворецким закрылась дверь,— аборт, дядя и так далее. Бедная киска!

Она встала, подошла к окну и бросила кошку на цветочную клумбу.

— Блор с нею терпелив, как ангел,— прошептала Динни.

— В сорок пять они пускаются во все тяжкие,— сказала, возвращаясь на свое место, леди Монт,— и в шестьдесят пять тоже, а потом — уж и не знаю когда. Я нико-

гда не пускалась во все тяжкие. Но я подумываю о нашем священнике.

— Он очень скучает, тетя?

— Напротив, отдыхает душой. Он часто бывает у нас.

— Вот было бы здорово, если бы ты затеяла какую-нибудь скандальную историю!

— Динни!

— Дядя Лоренс был бы в восторге.

Леди Монт словно оцепенела.

— Где Блор? — спросила она. — Пусть он мне тоже даст хоть один блинчик.

— Ты же сама его отослала.

— Ах да!

— Нажать звонок, тетя Эм? — спросила Клер. — Он у меня под стулом.

— Я поставила его там для дяди. Он читает мне «Путешествие Гулливера». Какой это был грубиян!

— Ну, Рабле или Вольтер — еще хуже.

— Ты читаешь такие грубые книги?

— Что поделаешь, это классика.

— Говорят, есть такая книга — Апулеса или что-то в этом роде; дядя купил ее в Париже, а в Дувре ее у него отняли. Вы ее читали?

— Нет, — сказала Динни.

— Я читала, — сказала Клер.

— Дядя мне о ней рассказывал, — тебе вовсе не за чем было ее читать.

— Ну, теперь читают все, что попало; какая разница!

Леди Монт перевела взгляд с одной племянницы на другую.

— Что ж, — с загадочным видом произнесла она, — библия ведь тоже... Блор!

— Да, миледи.

— Кофе в холле на тигре. И подбросьте запашку в огонь. А мне виши.

Когда она выпила стакан виши, все поднялись.

— Восхитительно! — шепнула Клер на ухо Динни.

— Что вы делаете насчет Хьюберта? — спросила леди Монт, когда они уселись у горящего камина в холле.

— Дрожим от страха, тетя.

— Я просила Уилмет поговорить с Генриеттой, — ведь

та бывает при дворе. И потом теперь ведь летают. Почему бы ему куда-нибудь не полететь?

— Дядя Лоренс внес за него залог.

— Он не обидится. Мы можем обойтись без Джеймса, у него аденоиды, а вместо Босуэла и Джонсона можно взять одного.

— Хьюберт не согласится.

— Я люблю Хьюберта,— сказала леди Монт,— а он женился... слишком все как-то скоро. А вот и запашок.

За Блором, который нес кофе и сигареты, следовал Джеймс с огромным кедровым поленом. Пока леди Монт заваривала кофе, воцарилось благоговейное молчание.

— Сахару, Динни?

— Да, пожалуйста, две ложки.

— Я кладу себе три. Но от этого толстеют. Клер?

— Пожалуйста, одну.

Девушки отпили по глотку, и Клер вздохнула.

— Поразительно!

— Да. Почему у тебя кофе вкуснее, чем у кого бы то ни было, тетя Эм?

— Я тоже так думаю,— сказала тетя.— А этот бедняга, Динни. Я была так рада, что он вас не искусал. Теперь Адриан ее получит. Слава богу.

— Еще не скоро: дядя Адриан уезжает в Америку.

— Зачем?

— Нам всем казалось, что так лучше. И он тоже так думает.

— Когда он отправится в рай,— сказала леди Монт,— кому-нибудь придется его проводить, не то он так туда и не попадет.

— Что ты, ему там давно приготовлено место.

— Ничего не известно. В воскресенье священник как раз об этом читал проповедь.

— У него хорошие проповеди?

— Ничего.

— Наверно, их писала ему Джин.

— Да, раньше они были куда забористей. Где я подцепила это словечко?

— Наверно, у Майкла.

— К нему вечно все липнет. Священник говорит, что надо обуздывать свои аппетиты. Он приходил к нам обедать.

— И, наверно, пообедал с большим аппетитом.

— Да.

— Сколько он весит, тетя Эм?

— В раздетом виде,— не знаю.

— Ну, а в одетом?

— Порядочно. Он собирается писать книгу.

— О чем?

— О Тасборо. Там была одна, ее сперва похоронили, а потом она жила во Франции, только она была урожденная Фицгерберт. Потом один из них сражался при... как это... Макароне?... Нет, как-то иначе, Августина это нам тоже готовит.

— При Наварине? ¹ В самом деле?

— Да, но другие говорят, будто его там не было. Священник хочет все это раскопать. Потом был еще Тасборо, которому отрубили голову, а он забыл об этом рассказать. Но священник все разнюхал.

— При каком короле?

— Вот уж не могу запомнить всех этих королей. При Эдуарде Шестом... или Четвертом? Как ты думаешь? Он был Алая Роза ². Потом был еще Тасборо, который женился на одной из нас. Звали его Роланд... а может быть, и не Роланд. Но он сделал что-то необыкновенное, и у него отняли земли. Он был еретиком — что это значит?

— Это значит, тетечка, что при протестантском режиме он был католиком.

— Сперва сожгли его дом. Он упоминается в «Меркуриус Рустикус» или еще в какой-то книжке. Священник говорит, что его очень любили. Дом его жгли два раза, а потом разграбили... или наоборот, не помню. Там был ров с водой. И остался список того, что они взяли.

— Какая увлекательная история!

— Варенье, серебро, кур, белье и как будто зонтик или еще что-то очень смешное.

— Когда все это было?

¹ а) Сражение при Наварине между соединенным флотом России, Англии, Франции, с одной стороны, и турецко-египетским флотом, с другой (1827).

б) Наварин — рагу из баранины с картофелем, репой и фасолью.

² Ссылка на династическую войну Алой и Белой Розы (1455—1485), между потомками английского короля Эдуарда III.

— В гражданскую войну. Он был роялистом. Вспомнила! Его звали совсем не Роландом, а ее звали Элизабет, в честь тебя, Динни. История повторяется.

Динни задумчиво смотрела на горящее полено.

— Был у них еще и адмирал — при Вильгельме Четвертом, он умер от перепоя, — он, а не Вильгельм! Но священник говорит, что нет, и хочет доказать это в своей книге. Говорит, будто тот простудился, выпил рому от насморка и окочурился... Где я подцепила это слово?

— Я его иногда говорю.

— Ну да. Видишь, сколько их, не считая всех неинтересных — от самого Эдуарда Исповедника или кого-то там еще. Он хочет доказать, что их род древнее нашего. Какие глупости, правда?

— Ну и ну! — пробормотала Клер. — Кто будет читать такую книгу?

— Как знать! Но это потешит его спесь, да и спать он будет поменьше. А, вот и Алан! Клер, ты не видела, где у меня рос портулак? Пойдем взглянем.

— Тетя Эм, ты бесстыдница, — шепнула ей на ухо Динни, — и это все равно не поможет.

— «Если в первый раз не вышло»... помнишь стихок, который мы повторяли каждое утро, когда были маленькие? Подожди, я надену шляпу, Клер.

Они ушли.

— Значит, ваш отпуск кончается, Алан? — спросила Динни, оставшись наедине с молодым человеком. — Куда вы отправляетесь?

— В Портсмут.

— Это хорошо?

— Могло быть и хуже. Динни, я хочу поговорить с вами о Хьюберте. Ну, а если в следующий раз дело в суде примет дурной оборот, — что тогда?

Лицо Динни как-то сразу застыло, она опустилась на лежавшую у камина подушку и посмотрела на Алана с тревогой.

— Я наводил справки, — сказал он, — дело передается министру внутренних дел, и если через две-три недели он утвердит решение суда, приговоренного тут же вышлют. Думаю, его отправят через Саутгемптон.

— Неужели это возможно?

— Кто их знает, — хмуро ответил он. — Представьте

себе, что какой-нибудь боливиец убил бы кого-нибудь здесь, у нас, и вернулся домой,— разве мы не добились бы его выдачи и не нажали бы на все пружины?

— Но ведь это бог знает что!

Во взгляде молодого человека она прочла глубокое сочувствие.

— Будем надеяться, что все обойдется; но если дело примет дурной оборот, надо что-нибудь предпринять. Я этого не допущу, и Джин тоже.

— Но что же можно сделать?

Алан обошел холл, заглядывая во все двери, потом, наклонившись к ней, сказал:

— Хьюберт водит самолет, а я, с тех пор как вернулся из Чичестера, тренируюсь ежедневно. Мы с Джин кое-что подготавливаем... на всякий случай.

Динни схватила его за руку.

— Милый мой, это же безумие!

— Не больше чем тысячи вещей, которые делались на войне.

— Но это испортит вам всю карьеру.

— Черт с ней, с карьерой! Смотреть, как вы с Джин будете страдать, может быть, годами, а такого человека, как Хьюберт, погубят подлейшим образом... Еще чего не хватало!

Динни порывисто сжала его руку.

— До этого не может, не должно дойти. И потом, как вы увезете Хьюберта? Он же будет под стражей.

— Не знаю, но буду знать, когда придет время. Ясно одно: если они его туда отправят, его песенка спета.

— Вы с Хьюбертом говорили?

— Нет. Пока еще все неясно.

— Я уверена, что он не согласится.

— Об этом позаботится Джин.

Динни покачала головой.

— Вы не знаете Хьюберта, он на это не пойдет.

Алан ухмыльнулся, и она вдруг поняла, что если этот человек на что-нибудь решился, его уж не собьешь.

— А профессор Халлорсен знает?

— Нет, и не узнает, если не будет крайней необходимости. Но, должен признаться, он славный парень.

Она слабо улыбнулась.

— Да, славный парень, но переросток.

— Динни, а вы, часом, по нем не вздыхаете?

— Нет, дорогой.

— Ну и слава богу!.. Видите ли,— продолжал он,— вряд ли они обойдутся с Хьюбертом, как с обыкновенным преступником. Может, это облегчит дело.

Динни смотрела на него, затаив дыхание. Эти слова почему-то убедили ее в реальности его замысла.

— Я, кажется, начинаю понимать Зеебрюгге. Но...

— Никаких «но», и не робейте! Пароход приходит послезавтра, и тогда делу снова будет дан ход. Увидимся в суде, Динни. Теперь я должен идти,— у меня сегодня опять полет. Мне просто хотелось, чтобы вы знали,— если все обернется плохо, мы не станем сидеть сложа руки. Передайте привет леди Монт; я ее больше не увижу. Будьте здоровы!

И, поцеловав ей руку, он вышел из холла, прежде чем она успела открыть рот.

Динни притихла возле камина, где потрескивало кедровое полено; она была взволнована до глубины души. Мысль о сопротивлении властям не приходила ей в голову, может быть, потому, что она никогда не верила в возможность выдачи Хьюберта. Не верила она в нее и сейчас, а это делало безумный план Алана еще более романтичным: кто же не знает, что риск особенно приятен тогда, когда ты уверен, что рисковать не придется. Примешивалось сюда и теплое чувство к Алану. То, что он даже не сделал на этот раз предложения, еще больше убеждало ее в серьезности его намерений. И, сидя на тигровой шкуре, которая доставила так мало сильных ощущений восьмому баронету—он застрелил ее обладателя со спины слона, когда тигр пытался тихонечко улизнуть,— Динни грелась у огня, и душу ее согревала надежда, что скоро и ее наконец коснется пламя жизни. Старый черно-белый спаньель Куинс, который во время частых отлучек хозяина мало интересовался людьми, медленно прошел через холл и вытянулся, положив морду на передние лапы и поглядывая на нее глазами с красными веками. «Может, все это так, а может, и не так»,— казалось, говорил он. Полено тихонько шипело и потрескивало, а дедовские часы в дальнем конце холла с важной неторопливостью пробили три раза.

Накануне каких-нибудь важных событий — будь то спортивные состязания, ультиматум, скачки или казнь — страсти разгораются с особенной силой в последние несколько часов; когда наконец наступил день вторичного вызова Хьюберта в суд, тревога в семействе Черрел достигла своего апогея. Подобно тому как в древности какой-нибудь клан шотландских горцев собирался без всякого зова, когда одному из его членов грозила опасность, — так и все родные Хьюберта собрались сегодня в зале суда. Все, кроме Лайонела, — он сам был судьей и заседал в другом суде, — его детей и детей Хилери, которые учились в школе. Можно было подумать, что они собрались на свадьбу или на похороны, если бы не суровое выражение их лиц и чувство незаслуженной обиды в душе. Динни и Клер сидели между отцом и матерью, рядом с ними — Джин, Алан, Халлорсен и Адриан, позади — Хилери с женой, Флер с Майклом и тетя Уилмет, за ними — сэр Лоренс и леди Монт; и наконец священник из Липпингхолла являл собой острие перевернутой фаланги.

Войдя в зал в сопровождении адвоката, Хьюберт приветствовал свой клан улыбкой.

Теперь, когда она уже находилась в зале суда, Динни впала в какую-то апатию. Брат ее не был виновен, — он только защищал свою жизнь. Даже если его выдадут, он все равно ни в чем не виноват. Ответив на улыбку Хьюберта, она стала разглядывать Джин. Та никогда еще не была так похожа на тигрицу: ее странные, глубокие глаза, мерцая, перебегали с ее «тигренок» на того, кто грозил его похитить.

Когда зачитали протокол предыдущего заседания, адвокат Хьюберта предъявил новый документ — скрепленное присягой показание Мануэля. И тут апатию Динни как рукой сняло: прокуратура ответила предъявлением другого документа, скрепленного присягой четырех погонщиков, где утверждалось, что Мануэля не было, когда Хьюберт стрелял в их товарища.

Это была ужасная минута. Четыре индейца против одного!

Динни заметила, что на лице судьи промелькнула растерянность.

— Кто представил второй документ, мистер Баттол? — спросил он.

— Адвокат, который ведет это дело в Ла-Пасе, ваша честь. Ему стало известно, что слугу Мануэля просили дать показания.

— Понятно. А что вы скажете по поводу шрама, предъявленного обвиняемым?

— За исключением личного заявления обвиняемого, ни вы, сэр, ни я не имеем никаких доказательств того, как и когда этот шрам появился.

— Так. Но вы же не предполагаете, что рана могла быть нанесена убитым после того, как его застрелили?

— Если Кастро с ножом в руке упал после выстрела головой вперед, такая возможность не исключена.

— Но маловероятна, мистер Баттол.

— Да. Но представленные мной доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый стрелял преднамеренно и хладнокровно, с расстояния в несколько ярдов. Мне вообще неизвестно, выхватил Кастро нож или нет.

— Тогда вопрос сводится к следующему: лгут либо шесть свидетелей обвинения, либо обвиняемый и слуга Мануэль.

— Совершенно верно, ваша честь. И теперь ваше дело — решить, каким показаниям верить: показаниям шестерых человек или показаниям двух.

Динни заметила, что судья заерзал в кресле.

— Я это отлично понимаю, мистер Баттол. Капитан Черрел, что вы скажете по поводу предъявленного документа?

Динни перевела взгляд на лицо брата. Оно казалось бесстрастным, даже чуть-чуть насмешливым.

— Ничего. Я не знаю, где в это время был Мануэль. Я был слишком занят тем, что защищал свою жизнь. Я знаю только одно — он подбежал ко мне почти сразу же.

— «Почти»? Когда именно?

— Право, не знаю, сэр... может быть, через минуту. Я пытался остановить кровь и потерял сознание как раз в тот миг, когда он ко мне подбежал.

Потом произнесли речи оба адвоката, и Динни снова охватила апатия, которая рассеялась лишь во время наступившего затем пятиминутного молчания. Во всем зале

хлопотал один судья; казалось, он никак не может уговориться. Из-под полуопущенных ресниц Динни видела, как он перелистывает и читает то одну, то другую бумагу. У него были красные щеки, длинный нос, острый подбородок и, кажется, хорошие глаза, но ей трудно было их разглядеть. Она чувствовала, что ему как-то не по себе. Наконец он заговорил:

— В этом деле мне не приходится задавать себе вопроса, было ли совершено преступление и совершил ли его обвиняемый; мне приходится только спросить себя, доказано ли, что преступление, якобы совершенное обвиняемым, влечет за собой его выдачу другой стране; доказано ли, что требование иностранного государства должным образом обосновано, и, наконец, имеются ли достаточные улики для того, чтобы привлечь обвиняемого к суду, если бы правонарушение было совершено в нашей стране.— Помолчав, он добавил:— Мне ясно, что такого рода преступления влекут за собой выдачу обвиняемого и что требование иностранного государства должным образом обосновано.

Он снова умолк, и в наступившей тишине Динни слышался долгий вздох,— такой тоскливый, словно его издал бесплотный дух. Судья перевел взгляд на Хьюберта и продолжал:

— Я поневоле пришел к убеждению, что, на основании предъявленных доказательств, мой долг — заключить обвиняемого в тюрьму в ожидании выдачи его иностранному государству по ордеру министра внутренних дел, если он найдет нужным такой ордер выдать. Я выслушал доводы обвиняемого,— он выдвинул мотивировку, исключаящую его поступок из категории преступлений; эти доводы были подкреплены письменными показаниями одного свидетеля, которые опровергаются письменными показаниями четырех других. У меня нет оснований вынести суждение в пользу одного из этих противоречащих друг другу документов — можно лишь констатировать, что их авторы выступают в соотношении четыре к одному,— и я не могу поэтому принять во внимание ни один из этих документов. Если бы правонарушение произошло в нашей стране,— не думаю, чтобы, при наличии шести свидетельских показаний о его преднамеренном характере, ничем не подкрепленное заверение

обвиняемого в противном могло бы убедить меня не передавать дела в суд: поэтому я не могу поверить на слово обвиняемому и отказаться от передачи его суду по правонарушению, совершенному в другой стране. Я, не колеблясь, признаю, что пришел к такому заключению неохотно, но считаю, что у меня нет другого выхода. Повторяю, вопрос заключается не в том, виновен обвиняемый или нет, а в том, нужно его судить или нет. Я не могу взять на себя ответственность сказать: нет, не нужно. Окончательное решение в делах такого рода остается за министром внутренних дел, который подписывает ордер на выдачу обвиняемого. Поэтому в ожидании такого ордера я приговариваю вас к тюремному заключению. Вас выдадут не раньше чем через пятнадцать дней, и вы вправе потребовать по закону *habeas corpus*¹ письменного изложения юридических оснований вашего заключения под стражу. Не в моей власти отпустить вас снова под залог; но вы можете, если захотите, обратиться с такой просьбой в Верховный суд.

Динни в ужасе увидела, как Хьюберт поднялся, вытянулся, слегка поклонился судье и медленно, не оглядываясь, покинул скамью подсудимых. За ним последовал его адвокат.

Сама она сидела как оглушенная; единственное, что она заметила в эти минуты, было окаменевшее лицо Джин и загорелые руки Алана, вцепившиеся в набалдашник трости.

Придя в себя, Динни увидела, что по щекам ее матери текут слезы и что отец вскочил с места.

— Пойдем! — сказал он. — Выйдем отсюда!

В эту минуту она больше всего жалеяла отца. С тех пор как началось это дело, он так мало говорил и так много чувствовал. Для него все это было настоящей трагедией. Динни отлично понимала чувства этого простодушного человека. Отказ поверить Хьюберту на слово был для него оскорблением, нанесенным не только его сыну и ему самому, но и всему, за что они стояли и во что верили, всей армии и всему дворянству. Что бы дальше ни случилось, этого ему не забыть никогда. Какая глубокая пропасть между законом и справедливостью! А ведь

¹ Английский закон 1679 года, гарантирующий арестованному право требовать предъявления ему объяснений причин ареста.

есть ли на свете люди более благородные, чем ее отец и брат, а может быть, и этот судья? Выбираясь вслед за отцом на Бау-стрит, в этот грязный закоулок большого города, она увидела всех своих, кроме Джин, Алана и Халлорсена.

— Нам остается только взять такси и двинуться во-свояси,— сказал сэр Лоренс.— Поедемте-ка лучше все на Маунт-стрит и посоветуемся, что каждый из нас может сделать.

Когда полчаса спустя они собрались в гостиной тети Эм, те трое все еще отсутствовали.

— Куда они девались? — спросил сэр Лоренс.

— Наверно, пошли поговорить с адвокатом Хьюберта,— сказала Динни.

Но она-то знала, что это не так. Там вынашивался какой-то отчаянный план, и Динни очень рассеянно прислушивалась к тому, что говорилось на семейном совете.

По мнению сэра Лоренса, надо было делать ставку на Бобби Феррара. Если уж он не сумеет уломать Уолтера — все потеряно. Нужно снова обратиться к нему и к маркизу.

Генерал молчал. Он стоял в стороне и пристально глядел на одну из картин своего зятя, хотя явно ее не видел. Динни понимала, что он не участвует в разговоре потому, что ему это сейчас не по силам. О чем он думает? О прошлом, когда он был так же молод, как сын, и тоже только что женился? О долгих маршах в песках и скалах под знойным солнцем Индии и Южной Африки? О еще более долгих полковых буднях? О напряженных ночах, проведенных над картой, когда он не отрывал глаз от часов и не отнимал от уха телефонной трубки? О своих ранах и тяжелой болезни сына? Оба они отдали армии жизнь,— и вот она, награда.

Динни не отходила от Флер; инстинкт подсказывал ей, что этот ясный, живой ум способен найти правильный выход.

— Бентуорт пользуется влиянием в правительстве; я могу сходить к нему,— услышала она голос Хилери.

А священник из Липпингхолла добавил:

— Я учился с ним в Итоне, я пойду с вами.

— Я еще раз поговорю с Ген насчет кого-нибудь из королевского дома,— пробурчала тетя Уилмет.

— Через две недели начнется сессия парламента,— заикнулся Майкл.

И тут же послышался нетерпеливый возглас Флер:

— Бесполезно, Майкл. И пресса нам тоже не поможет. У меня есть мысль.

«Вот оно!» — подумала Динни и пододвинулась поближе.

— Мы еще не докопались до самой сути дела. Что за всем этим кроется? Какое дело боливийскому правительству до простого индейца? Дело совсем не в том, что его застрелили, но это оскорбляет национальный престиж. Иностранцы безнаказанно бьют и убивают граждан Боливии! Нам надо добиться, чтобы боливийский посланник объяснил Уолтеру, что им, в сущности, все это безразлично.

— Но мы же не можем похитить посланника,— пробормотал Майкл,— в порядочных домах это не принято.

Тень улыбки мелькнула на губах Динни: она вовсе не была в этом уверена.

— Посмотрим,— продолжала Флер словно про себя.— Динни, поедemте к нам. Больше они тут ничего не придумают.— Она окинула взглядом совет девяти старейшин.— Я схожу к дяде Лайонелу и Элисон. Его только что назначили судьей, он не осмелится и пальцем шевельнуть, но тетя за это возьмется, а она бывает во всех посольствах. Вы поедете к нам, Динни?

— Мне не хочется оставлять маму и папу.

— Они побудут в городе, Эм их только что пригласила. Ну, что ж, если вы останетесь с ними, заходите к нам почаще: вы можете понадобиться.

Динни с облегчением кивнула; хорошо, что она будет в городе, уж очень тяжело сидеть в эти дни в Кондафорде.

— Мы идем,— сказала Флер,— и я сразу же позволю Элисон.

Майкл сжал руку Динни.

— Держись, Динни! Мы его как-нибудь вызволим. Эх, если бы не Уолтер! Хуже никого не придумаешь. Надо совсем рехнуться, чтобы возомнить себя ходячей законностью!

Когда все, кроме родителей, разошлись, Динни подо-

шла к отцу. Он все стоял перед картиной, правда, теперь перед другой. Взяв его под руку, Динни сказала:

— Папочка, милый, все уладится. Ты же видел, судья был искренне огорчен. Он не мог поступить иначе, но министр внутренних дел может.

— Я думал о том, что случилось бы с нашим народом, если бы мы не надрывались и не рисковали жизнью ради него,— произнес генерал. Он говорил без всякой горечи, даже спокойно.— Я думал о том, зачем нам и дальше тянуть лямку, если нам не верят. Допустим даже, что этот судья, по-своему, человек порядочный, но где он был бы сейчас, если бы такие мальчишки, как Хьюберт, не пошли на фронт добровольцами! Я думал о том, зачем мы выбрали себе такую профессию,— я на волоске от нищеты, Хьюберту приходится расхлебывать эту кашу, а ведь мы могли бы жить припеваючи, стоило нам пойти по коммерческой или по судейской части. Неужели из-за такой мелочи вся наша жизнь пойдет насмарку? В нашем лице оскорбили армию, Динни.

Она видела, как судорожно сжимаются его худые загорелые руки, сложенные за спиной, будто он стоял в положении «вольно», и нежность к нему переполняла ее сердце, хотя умом она и понимала, как нелепо требовать особых привилегий перед лицом закона. «Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет». Разве не так гласил один из священных текстов, которые она недавно предлагала использовать для секретного морского кода?

— Ладно,—сказал генерал,—мне надо идти с Лоренсом. Поухаживай за матерью, Динни; у нее болит голова.

Динни задернула занавески в спальне матери, дала ей лекарство и велела поскорее заснуть, а потом снова спустилась вниз. Клер ушла, и гостиная, где еще так недавно было столько людей, опустела. Пройдя в комнату, она подняла крышку рояля и вдруг услышала голос:

— Нет, Полли, ступай спать, мне очень грустно.

В нише, в дальнем конце гостиной, Динни увидела тетю, которая сажала в клетку попугая.

— Давай погрустим вдвоем, тетя Эм.

Леди Монт обернулась.

— Прижмись к моей щеке, Динни.

Динни повиновалась. Щека была розовая, пухлая и мягкая; Динни стало как-то легче.

— Я заранее знала, что он скажет,— заявила леди Монт,— у него такой длинный нос. Через десять лет он дойдет ему до подбородка. Не знаю, почему это разрешают. От такого человека ничего хорошего не дождешься. Давай поплачем, Динни. Ты садись туда, а я сяду сюда.

— А ты плачешь громко или тихо?

— И так и этак. Начинай. Вот тебе и мужчина, не смеет взять на себя ответственность! А я бы взяла ее за просто. Ну, что ему стоило сказать Хьюберту: «Ступай и больше не греши».

— Но Хьюберт и не грешил.

— Тем хуже. Обращать внимание на каких-то иностранцев! На днях я сидела в Липпингхолле у окна, а на террасе прыгали три скворца, и я два раза чихнула. Думаешь, они обратили на меня внимание? А где она, эта Боливия?

— В Южной Америке.

— Никогда не могла выучить географию. Хуже моих карт не было во всей школе. Раз меня спросили, где Ливингстон поцеловал Стенли, и я сказала: «У Ниагарского водопада». А оказывается, совсем не там.

— Ты ошиблась всего на один континент, тетя.

— Да. В жизни не видела, чтобы так смеялись, как смеялась моя учительница, когда я это сказала. Даже слишком... она была такая толстая. А Хьюберт, по-моему, похудел.

— Он всегда был худой, но с тех пор, как женился, выглядит не таким замученным.

— Джин пополнела, и это естественно. Тебе бы тоже следовало, Динни.

— Прежде ты никогда не занималась сватовством так рьяно.

— А что произошло тогда на тигре?

— Вот и не скажу.

— Значит, случилось что-то нехорошее.

— Ты хочешь сказать — хорошее?

— Ты надо мной смеешься.

— Разве я бываю когда-нибудь непочтительной, тетя?

— Да. Ты думаешь, я не помню, как ты написала про меня стихи:

Я обижаюсь на тетю Эм
За то, что она рассказала всем,
Что я не умею шить совсем,
А я шью лучше, чем тетя Эм.

Они у меня даже где-то есть. Я сразу поняла, что ты девочка с характером.

— Неужели я была таким бесенком?

— Да. Ты не знаешь какого-нибудь способа укорачивать собак? — Она ткнула пальцем в золотистую гончую, растянувшуюся на ковре. — У Бонзо все-таки слишком длинное туловище.

— Я тебя предупреждала, тетя, когда он был еще щенком.

— Да, но я этого не замечала, пока он не стал гоняться за кроликами. Никак не может толком перепрыгнуть через нору. И вид у него тогда такой жалкий. Ну, что ж! Если мы не плачем, Динни, что же нам делать?

— Смеяться... — пробормотала Динни.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Динни поужинала вдвоем с теткой, — отец и сэр Лоренс еще не вернулись, мать так и не встала с постели, Клер была в гостях.

— Тетя Эм, — сказала она после ужина, — ничего, если я сейчас поеду к Майклу? В голове у Флер родилось, по-моему, что-то интересное...

— Как! — сказала леди Монт. — Ей еще рано... она родит только в марте.

— Ты меня не поняла. У нее родилась интересная мысль, а не ребенок.

— Отчего же она сразу не сказала? — И леди Монт позвонила. — Блор, такси для мисс Динни. И еще, Блор, когда придет сэр Лоренс, дайте мне знать; я приму ванну и вымою голову.

— Да, миледи.

— А ты, Динни, моешь голову, когда тебе грустно? В этот мгlistый, туманный вечер Динни охватила такая тоска, какой она еще никогда не испытывала. Ее

неотвязно преследовала мысль о Хьюберте, он в тюрьме, разлучен с молодой женой, может быть, навеки, и всего через три недели после свадьбы, а что его ждет впереди — даже страшно подумать. И все — по вине слишком осторожных людей, которые ко всему подходят формально и боятся поверить ему на слово! Страх сдавил Динни грудь, как духота перед грозой.

Она застала у Флер тетю Элисон, — дамы обсуждали, как быть. Оказалось, боливийский посланник уехал отдыхать после болезни, и во главе посольства остался один из его подчиненных. По мнению леди Элисон, это усложняло дело, — вряд ли тот захочет взять на себя какую-нибудь ответственность. Тем не менее она решила устроить для него званый обед, пригласить Флер и Майкла, а если Динни захочет, то и ее. Но Динни покачала головой, — она разуверилась в своей способности обольщать государственных мужей.

— Если уж вы с Флер с ним не справитесь, тетя Элисон, у меня наверняка ничего не выйдет. Но вот Джин, когда хочет, может быть на редкость обаятельна.

— Джин только что звонила. Она просила передать тебе, если ты заглянешь ко мне сегодня вечером, чтобы ты зашла к ней домой.

Динни поднялась.

— Я пойду к ней сейчас же.

Она зашагала сквозь туман по Набережной и свернула в рабочий квартал, где Джин снимала квартиру. На углу газетчики выкрикивали самые устрашающие новости дня; она купила газету, чтобы посмотреть, нет ли там сообщения о деле Хьюберта, и развернула ее под фонарем. Да! Вот оно! «Приговор английскому офицеру. Высылка за границу по обвинению в убийстве!» Если бы эта заметка не касалась ее так близко, Динни вряд ли вообще обратила бы на нее внимание. Ей и ее близким это причиняло такие страдания, а толпу только тешило. Чужие несчастья ее забавляют, а газеты строят на этом свое благополучие! Газетчик был худой, грязный, хромой; и, как ни горька была ее чаша, ей захотелось его порадовать, — она вернула ему газету и сунула шиллинг в придачу. Он уставился на нее, разинув рот: небось, выиграла на скачках, а?

Динни поднялась по лестнице. Квартира находилась

на третьем этаже. У самой двери большая черная кошка пыталась поймать собственный хвост. Покружившись, она уселась, подняла заднюю лапу и стала ее вылизывать.

Дверь открыла сама Джин. Она явно собиралась в дорогу, на руке у нее висели трусики. Динни поцеловала ее и огляделась, — она пришла сюда впервые. Двери маленькой гостиной, спальни, кухни и ванной были открыты настежь, стены оштукатурены и выкрашены в светло-зеленый цвет, полы покрыты темно-зеленым линолеумом. Вся обстановка состояла из двуспальной кровати и нескольких чемоданов в спальне, двух кресел и небольшого стола в гостиной, кухонного стола на кухне и стеклянной банки с ароматическими кристаллами в ванной; в квартире не было ни ковров, ни картин, ни книг, только на окнах висели набивные полотняные занавески, да целую стену в спальне занимал висячий шкаф, из которого Джин вынимала одежду и клала на кровать. В отличие от запаха на лестнице здесь пахло кофе и лавандой.

Джин отложила трусики.

— Хочешь кофе, Динни? Только что сварила.

Она налила две чашки, положила сахар и протянула одну из них Динни вместе с пачкой сигарет, потом усадила ее в кресло, а сама устроилась в другом.

— Значит, тебе передали, что я звонила? Я рада, что ты пришла, — теперь мне не придется отправлять тебе посылку. Терпеть этого не могу, а ты?

Ее хладнокровие и невозмутимость совершенно потрясли Динни.

— Ты уже видела Хьюберта?

— Да. Ему там совсем неплохо. Он говорит, что камера удобная, ему дали книги и пишущую бумагу. Еду он может получать с воли, вот только курить запрещают. Об этом надо похлопотать. По английским законам, Хьюберт пока такой же ни в чем не повинный человек, как и министр внутренних дел, а ведь министру не запрещают курить. Я его больше не увижу, Динни, но ты к нему, верно, зайдешь, — передай ему, как я его люблю, и возьми папирос на случай, если ему позволят курить.

Динни глядела на нее с недоумением.

— А ты что собираешься делать?

— Вот об этом-то я и хотела с тобой поговорить. Строго между нами. Обещай, что будешь молчать как рыба, а то я ничего не скажу.

— Лопни мои глаза,— так, кажется, говорят,— решительно сказала Динни.

— Завтра я еду в Брюссель. Алан уехал туда сегодня; ему продлили отпуск по неотложным семейным обстоятельствам. Мы просто хотим быть готовыми ко всему, понимаешь? Я быстренько научусь водить самолет. Если я буду летать три раза в день, трех недель мне совершенно достаточно, а адвокат обещает, что у нас не меньше трех недель в запасе. Разумеется, он ничего не знает. И никто не должен ничего знать, кроме тебя. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала.— Она нагнулась и вынула из сумочки сверток в папиросной бумаге.— Мне нужно пятьсот фунтов. Говорят, что там можно купить хороший поддержанный самолет по дешевке, но нам очень понадобятся деньги вообще. Вот смотри, Динни: это старинная фамильная драгоценность. Она дорогая. Я хочу, чтобы ты заложила ее за пятьсот фунтов; если не удастся получить эту сумму, придется ее продать. Заложить или продай от своего имени, обменяй английские деньги на бельгийские и перешли мне заказным письмом на главный почтамт в Брюссель. На все это тебе достаточно трех дней.

Она развернула бумагу и вынула старомодный, но очень красивый изумрудный кулон.

— Ах!

— Да,— сказала Джин,— вещь красивая. Можешь поторговаться. Пятьсот кто-нибудь даст наверняка. Изумруды сейчас в цене.

— Но почему бы тебе самой не заложить их перед отъездом?

Джин покачала головой.

— Нет, я не сделаю ничего, что может вызвать подозрение. Ты — другое дело, ведь ты не собираешься нарушать закон. А нам, может быть, придется, но мы не хотим, чтобы нас посадили.

— Знаешь,— сказала Динни,— рассказывай уж до конца.

Но Джин снова покачала головой.

— Незачем, да и невозможно; мы пока еще и сами

толком. ничего не знаем. Но могу тебя успокоить — Хьюберта они не получают. Значит, ты возьмешь эту штуку?

И она завернула кулон.

Динни взяла пакетик; у нее не было с собой сумочки, и она сунула его себе в вырез платья.

— Обещай, что вы ничего не сделаете, пока не будут испробованы все обычные средства, — взволнованно сказала она, наклонившись к Джин.

Джин кивнула.

— Мы будем ждать до последней минуты. Да иначе и нельзя.

Динни схватила ее за руку.

— Мне не следовало втягивать тебя в эту историю, Джин; ведь это я вас свела.

— Я бы тебе не простила, если бы ты нас не свела. Я его люблю.

— Но все это для тебя так ужасно.

Джин поглядела вдаль, и Динни сразу увидела, как из-за угла выходит ее тигренок.

— Ничуть! Мне нравится, что это я должна его выручить. Мне еще никогда так интересно не жилось.

— Скажи, Алану это грозит чем-нибудь серьезным?

— Нет, если продумать все как следует. У нас несколько планов, — все зависит от обстоятельств.

Динни вздохнула.

— Надеюсь, ни один из них не понадобится.

— Я тоже; но нельзя рисковать, когда имеешь дело с таким «законником», как Уолтер.

— Ну, до свиданья, Джин. Желаю удачи!

Они поцеловались, и Динни вышла на улицу; изумрудный кулон, казалось, жег ей грудь. Моросил дождь; она взяла такси. Отец и сэр Лоренс только что вернулись. Ничего существенного они не узнали. Как выяснилось, Хьюберт не хотел, чтобы его взяли на поруки. «Тут не обошлось без Джин», — подумала Динни. Министр внутренних дел уехал в Шотландию и вернется не раньше парламентской сессии, которая откроется недели через две. Следовательно, и ордер на высылку не может быть подписан раньше. По мнению людей знающих, у них в запасе еще три недели. Вот за это время и надо сдвинуть горы. Да, но горы сдвинуть легче, чем добиться, чтобы «одна черта из закона пропала». Однако не зря ведь лю-

ди говорят о «протекции», о «закулисных интригах», о том, как им удалось «протолкнуть вопрос» и «уладить дельце по знакомству»; неужели все это выдумки? А может быть, есть какие-то магические средства, о которых они не знают?

Отец поцеловал ее и, удрученный, пошел к себе. Динни осталась одна с сэром Лоренсом. Даже он был мрачен как туча.

— Веселая мы с тобой пара, нечего сказать,— заметил он.— Мне иногда кажется, что слишком у нас уважают закон. А ведь на самом деле это очень грубый инструмент — он с такой же точностью определяет наказание за вину, с какой врач назначает лечение больному, которого видит в первый раз; а мы по каким-то таинственным причинам приписываем закону непогрешимость духа святого и прислушиваемся к нему как к гласу, вещающему с небес. Ведь в этой истории министр внутренних дел как раз и мог бы позволить себе отойти от буквы закона и быть человеком. Но не думаю, чтобы он на это пошел. И Бобби Феррар тоже не думает. Беда в том, что недавно какой-то идиот сдуру сказал, будто Уолтер—«сама принципиальность», и такая откровенная лесть вызвала у нашего министра, по словам Бобби, не тошноту, а головокружение — с тех пор он не отменил ни единого приговора. Я подумываю, не написать ли мне письмо в «Таймс»: «Позиция твердокаменной принципиальности, занимаемая ответственными лицами, опаснее для дела справедливости, чем методы чикагских гангстеров». Про гангстеров он поймет,— он, кажется, бывал в Чикаго. Ужасно, когда человек перестает быть человеком.

— Он женат?

— Теперь даже не женат.

— А правда, что есть люди, которые никогда и не были людьми?

— Это еще не самое страшное; тут по крайней мере знаешь, с кем имеешь дело, и можешь вооружиться ко-чергой. Куда опаснее болваны, у которых голова распухла от самомнения. Кстати, я сказал моему молодому человеку, что ты будешь ему позировать для миниатюры.

— Что ты, дядя, разве я могу позировать в таком настроении!

— Нет! Конечно, нет! Но ведь долго так продолжаться не может.— Сэр Лоренс посмотрел на нее испытующе и спросил:— Кстати, а что Джин?

Динни взглянула на него широко раскрытыми невинными глазами.

— А что Джин?

— Ей ведь пальца в рот не клади...

— Да, но что она, бедняжка, может сделать?

— Не знаю,— сказал сэр Лоренс, вскинув бровь,— просто не знаю. «Эти миленькие крошки, вот как! Им бы крылышки, ну просто ангелочки, вот как!» Так писали в «Панче», когда тебя еще на свете не было, и будут писать, когда тебя не станет, вот только крылышки у вас отрастают уж очень быстро.

Динни и глазом не моргнула. «Дядя Лоренс—страшный человек»,— подумала она и пошла спать.

Но разве заснешь, когда на душе так тревожно? И разве мало людей лежат сегодня ночью без сна? Казалось, в этой комнате скопилась безотчетная скорбь всего мира. Будь у нее талант, она бы села и излила душу в стихах об ангеле смерти. Увы, писать стихи не так просто. Лежи и мучайся, мучайся и злишься — вот и все, на что ты способна. Она вспоминала себя в тринадцать лет, когда Хьюберт — ему не было еще и восемнадцати — ушел на войну. Это было ужасно, но сейчас куда хуже — почему? Тогда его могли убить каждую минуту; в тюрьме он в большей безопасности, чем те, кто на свободе. Его будут тщательно оберегать даже тогда, когда пошлют на край света, чтобы судьи с чужою кровью судили его в чужой стране. Да, еще несколько месяцев с ним ничего не случится. Почему же то, что произошло с ним сейчас, в ее глазах куда хуже, чем все опасности солдатской жизни или долгой, трудной экспедиции Халлорсена? Почему? Не потому ли, что на все прежние опасности и лишения он шел по доброй воле, а это испытание ему навязано силой? Его держат под замком, его лишили двух величайших благ человеческого существования — независимости и свободы личности,— двух благ, которых люди добивались тысячелетиями и ради них даже дошли до большевизма. Блага эти дороги каждому, но особенно таким, как они с братом, с детства не знавшим никакого насилия и признающим только один закон — закон

своей совести. Ей казалось, что она тоже заперта в тесной камере, тоже ждет неизвестной участи, тоже томится, полная горечи и отчаяния. Что сделал он такого, чего не совершил бы на его месте всякий другой отзывчивый и горячий человек?

Глухой шум улицы, доносившийся к ней с Парк-Лейн, словно вторил ее тоскливым мыслям. Динни охватило такое беспокойство, что она не могла больше лежать в постели и, накинув халат, принялась бесшумно шагать из угла в угол; в открытое окно дул холодный октябрьский ветер, и она замерзла. А может, в браке все-таки есть какой-то смысл: чье-то плечо, к которому можно прижаться, а если станет невмоготу, то на нем и поплакать; ухо, в которое можно излить жалобы; руки, которые могут погладить тебя по голове. Но сознание своей бездеятельности мучило ее в этот час испытаний даже больше, чем одиночество. Она завидовала тем, кто, как отец или сэр Лоренс, может хотя бы ездить из одного места в другое и хлопотать; но особенно она завидовала Джин и Алану. Что бы они там ни делали,— все лучше, чем сидеть сложа руки, как она! Динни вынула изумрудный кулон и стала его разглядывать. По крайней мере на завтра у нее есть дело, и она живо представила себе, как, вертя в руке кулон, выманивает крупную сумму у какого-нибудь бессовестного старика, дающего деньги под заклад.

Положив кулон под подушку, словно его близость придавала ей мужества, она наконец заснула.

Наутро Динни встала рано. Ей пришла мысль, что, может быть, она успеет заложить кулон, получить деньги и отвезти их Джин прежде, чем та уедет. Она решила посоветоваться с Блором. В конце концов она знает его с пятилетнего возраста; он сам по себе — ходячая традиция и ни разу не выдал ее злодеяний, в которых она признавалась ему в детстве.

Динни обратилась к нему, как только он появился, неся кофейник тети.

— Блор!

— Да, мисс Динни.

— Будьте так добры, скажите мне по секрету, какой ломбард считается в Лондоне самым лучшим?

Дворецкий был удивлен, но, как всегда, невозмутим — в конце концов в наши дни кому угодно может понадо-

биться что-нибудь заложить. Он поставил на стол кофейник и задумался.

— Видите ли, мисс Динни, есть, конечно, и Аттенборо, но я слышал, что люди из общества обращаются к Фрюину на Саут-Молтон-стрит. Могу найти номер дома в телефонной книге. Говорят, это надежный человек и цену дает справедливую.

— Отлично, Блор. Все это, конечно, пустяки...

— Понимаю, мисс.

— Да! Скажите, Блор, вы бы... как вы думаете, называть мне свое настоящее имя?

— Нет, мисс Динни, я бы вам не советовал; назовите фамилию моей жены и здешний адрес. Если от них придет письмо, я вам позвоню, и никто ничего не узнает.

— Вы меня очень выручите. А миссис Блор не будет возражать?

— Что вы, мисс, она будет только рада вам услужить. Если хотите, я все сделаю без вас.

— Спасибо, Блор, к сожалению, я должна заняться этим сама.

Дворецкий потер подбородок, глядя на Динни с благодушной хитрецей.

— Осмелюсь заметить, мисс, даже с лучшими из них немного притворства не помешает; сделайте безразличный вид. Если он не даст настоящую цену, найдутся и другие.

— Огромное спасибо, Блор; я вам скажу, если у меня ничего не выйдет. Половина десятого—это не слишком рано?

— Я слышал, мисс, это самое подходящее время: со сна они покладистее.

— Вы просто золото, Блор!

— Говорят, он парень с головой—угадает настоящую даму с первого взгляда. Не примет вас за одну из этих финтифлюшек.

Динни приложила палец к губам.

— Только честное благородное, Блор?

— Не сомневайтесь, мисс. После мистера Майкла вы всегда были моей любимицей.

— А вы—моим любимцем, Блор.

Тут вошел ее отец, она раскрыла «Таймс», а Блор удалился.

— Хорошо спал, папа?

Генерал кивнул.

— Как мамина голова?

— Лучше. Она сейчас сойдет вниз. Мы решили, что нельзя распускаться.

— Конечно, дорогой, ты совершенно прав. Может, нам позавтракать, не ожидая остальных?

— Эм завтракает у себя, а Лоренс уже позавтракал в восемь. Завари кофе.

Динни, разделявшая страсть тети к хорошему кофе, принялась священнодействовать.

— Как Джин? — спросил вдруг генерал. — Она к нам не приедет?

Динни не подняла глаз.

— Не думаю, папа; у нее сейчас слишком беспокойно на душе; наверно, ей захочется побыть одной. Мне бы хотелось на ее месте.

— Еще бы. Бедняжка. Во всяком случае, она не размазня. Я рад, что Хьюберт женился на девушке с характером. Эти Тасборо — славные люди. Помню одного ее дядю в Индии — бесстрашный был человек, командовал полком гурков; они готовы были за ним в огонь и в воду. Дай-ка вспомнить, где это его убили?

Динни только ниже склонилась над кофейником.

Около половины десятого она вышла на улицу, положив кулон в сумочку и надев свою лучшую шляпку. Ровно в половине десятого она была на Саут-Молтон-стрит и поднималась на второй этаж, — ломбард помещался над каким-то магазином. В просторной комнате, за столом красного дерева, сидели два джентльмена, которых она приняла бы за солидных букмекеров, если бы знала, как выглядят букмекеры. Она с тревогой вглядывалась в их лица: правда ли, что со сна они покладистые? Вид у них, во всяком случае, был такой, будто они и в самом деле только что встали; один из них шагнул ей навстречу.

Динни мысленно провела языком по пересохшим губам.

— Говорят, вы так любезны, что даете деньги в долг под залог драгоценностей?

— Совершенно верно, мадам.

Это был седой, лысоватый и румяный человек со свет-

лыми глазами; он разглядывал ее через пенсне, которое держал в руке. Потом он надел пенсне на нос, пододвинул стул, указал на него рукой и сел на свое место. Динни тоже села.

— Но мне нужна целая куча денег: пятьсот фунтов.— Она улыбнулась.— У меня фамильная драгоценность, очень милая вещь.

Оба джентльмена слегка поклонились.

— Деньги мне нужны немедленно: я должна заплатить по счету. Вот!

Она вынула из сумочки сверток, развернула его и пододвинула к ним кулон через стол. Потом, вспомнив, что нужно принять безразличный вид, откинулась на стуле и положила ногу на ногу.

С минуту оба джентльмена разглядывали кулон, не шевелясь и не произнося ни слова. Потом второй из них выдвинул ящик стола и достал лупу. Пока он рассматривал кулон, Динни заметила, что первый джентльмен рассматривает ее самое. Такое уж у них разделение труда, решила она. Не обнаружат ли они там или тут подделки? У нее даже дух захватило, но она стойко продолжала сидеть, чуть вздернув брови и полуприкрыв глаза ресницами.

— Это ваша собственность, мадам? — спросил первый джентльмен.

— Да,— решительно сказала Динни, снова вспомнив старую школьную поговорку.

Второй джентльмен опустил лупу и прикинул вес кулона в руке.

— Очень мило,— сказал он.— Старомодно, но очень мило. И на какой срок вам нужны деньги?

Динни и не думала о сроке, но теперь храбро сказала:

— На шесть месяцев; но я надеюсь, кулон можно выкупить и раньше?

— Ну конечно. Вы сказали: пятьсот?

— Да, пожалуйста.

— Если вы согласны, мистер Бонди,— сказал второй джентльмен,— у меня нет возражений.

Динни подняла глаза на мистера Бонди. Неужели он сейчас скажет: «Нет, ведь она наврала»? Но вместо

этого он прикрыл нижней губой верхнюю, поклонился ей и произнес:

— Согласен.

«Интересно,—подумала она,—верят они всему, что им говорят, или не верят ничему? Хотя не все ли им равно—кулон-то остается у них, и верить должна я... вернее, Джин».

Второй джентльмен смахнул кулон со стола в ящик и, вынув конторскую книгу, стал что-то писать. Мистер Бонди направился к сейфу.

— Вы хотите наличными, мадам?

— Пожалуйста.

Второй джентльмен с усиками, в белых гетрах — глаза у него были чуть навывкате — протянул Динни книгу.

— Вашу фамилию и адрес, мадам.

Когда она писала — «миссис Блор» и адрес тети на Маунт-стрит,—она мысленно закричала «караул» и судорожно сжала левую руку: ведь она совсем забыла, что на ней нет обручального кольца. Как на грех перчатка отлично облегла руку, и на безымянном пальце не было никакой выпуклости.

— При выкупе этой вещи вы нам заплатите двадцать восьмого апреля будущего года пятьсот пятьдесят фунтов. После этой даты, если вы не дадите о себе знать, кулон поступит в продажу.

— Да, конечно. Но если я выкуплю его раньше?

— Тогда вы заплатите соответственно меньше. Мы берем двадцать процентов годовых, так что, скажем, через месяц, считая с сегодняшнего дня, мы возьмем только пятьсот восемь фунтов шесть шиллингов восемь пенсов.

— Понимаю.

Первый джентльмен оторвал листок бумаги и дал его Динни.

— Вот квитанция.

— А если я не смогу прийти сама,—с этой квитанцией кулон может выкупить кто угодно?

— Да, мадам.

Динни положила квитанцию в сумочку,—сунув туда как можно глубже левую руку,—и стала слушать, как мистер Бонди отсчитывает банкноты. Он считал артистически; бумажки приятно хрустели и были совсем но-

венькие. Она взяла их правой рукой, положила в сумочку и, все еще пряча левую руку, поднялась со стула.

— Большое спасибо.

— Не за что, мадам; это мы вам обязаны. Всегда к вашим услугам. До свидания!

Динни поклонилась и медленно пошла к выходу. У самой двери она взглянула из-под ресниц и отчетливо увидела, как первый джентльмен подмигнул второму.

Захлопнув сумочку, она в раздумье стала спускаться по лестнице.

«Любопытно, что они обо мне подумали: наверно, что я жду незаконного ребенка или просто проигралась на скачках?» Так или иначе, деньги она получила, а времени было всего без четверти десять. У Кука¹ их обменяют или по крайней мере скажут, где достать бельгийскую валюту.

Но потребовалось съездить в несколько мест, и ушел целый час, прежде чем Динни обменяла большую часть денег на бельгийские франки и, запыхавшись, прибежала на перрон вокзала Виктория. Она медленно двинулась вдоль поезда, заглядывая в каждый вагон, и прошла уже две трети состава, когда услышала за спиной знакомый голос:

— Динни!

Оглянувшись, она увидела Джин в дверях одного из купе.

— Ах, вот ты где! Я очень торопилась. У меня, наверно, ужасно встрепанный вид?

— У тебя встрепанного вида никогда не бывает.

— Ну, я все сделала! А вот тебе и добыча: пятьсот фунтов, почти все в бельгийских франках.

— Прекрасно.

— И квитанция. Каждый может по ней получить. Они берут двадцать процентов годовых, считая с сегодняшнего дня, но если ты до двадцать восьмого апреля его не выкупишь, кулон продадут.

— Оставь квитанцию себе, Динни.— Джин понизила голос.— Если нам придется действовать, нас здесь не будет. Есть несколько стран, которые не имеют дипло-

¹ Туристская фирма.

матических отношений с Боливией,— там мы и подождем, пока все как-нибудь уладится.

— А-а,— беспомощно сказала Динни.— Тогда бы я выторговала побольше. Они в него прямо вцепились.

— Ничего! Мне пора. Главный почтамт, Брюссель. До свидания! Передай Хьюберту, что я его люблю и что все идет нормально.

Она обняла Динни, чмокнула ее и вскочила в поезд. Поезд тотчас же тронулся, а Динни все стояла и махала, глядя на обращенное к ней смеющееся смуглое лицо.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

После такого деятельного и успешного начала дня время тянулось особенно долго: ведь теперь ей больше нечего было делать.

Отсутствие министра внутренних дел и боливийского посланника тормозило все хлопоты, даже если бы она и могла принять в них участие, что было весьма сомнительно. Оставалось только ждать и терзаться от беспокойства. До обеда Динни бродила по улицам, разглядывая витрины и людей, которые разглядывали витрины. Потом она зашла в кафе, съела яйцо с гренками и отправилась в кино со смутной надеждой, что безумные планы Джин и Алана покажутся ей более осуществимыми, если она увидит что-нибудь подобное на экране. Ей не повезло. В фильме, который она смотрела, не было ни самолетов, ни прерий, ни сыщиков, ни бегства из когтей закона; это был незамысловатый рассказ о каком-то французе не первой молодости, который целый час плутал по чужим спальням без пагубных последствий для чьей бы то ни было добродетели. И все-таки Динни получила удовольствие: герой был милый и, пожалуй, самый законченный враль, каких ей доводилось видеть.

У Динни стало теплее и легче на сердце, и она снова двинулась на Маунт-стрит.

Там она обнаружила, что отец и мать уехали послеобеденным поездом в Кондафорд, и это ее смутило. Вернуться ей домой и «выполнять дочерний долг»? Или «остаться на посту» на случай, если она понадобится здесь?

Динни в нерешительности пошла в свою комнату и нехотя стала укладываться. Она выдвинула ящик комода, и ей попался на глаза дневник Хьюберта, с которым она все еще не расставалась. Рассеянно перелистывая рукопись, она набрела на запись, где ничего не говорилось о пережитых тяготах и которой она поэтому не помнила:

«Я только что прочел в книге: «Конечно, наше поколение не проведешь: оно знает, как тщетны наши усилия, имеет мужество не закрывать на это глаза и говорить себе — остается только ловить миг наслаждения. Это сказано о моем поколении, о поколении, которое пережило войну и ее последствия; я знаю, многие так рассуждают. Но, если вдуматься, так рассуждать мог любой человек во все времена, и уж, во всяком случае, то поколение, которое испытало удар, нанесенный Дарвином религии. А к чему сводятся такие рассуждения? Допустим, вы разубедились в религии, браке, договорах между державами, честности в коммерческих делах, свободе и всяческих идеалах; поняли, насколько все это относительно и не сулит награды ни на этом свете, ни на том — впрочем, тот, может, и вовсе не существует; допустим, вы пришли к выводу, что единственная нерушимая ценность — наслаждение, и решили, что будете жить только ради него, — разве вы этим приблизились к своей цели? Нет! Наоборот, отдалились от нее. Если каждый открыто провозгласит своим символом веры погоню за наслаждением, все станут за ним гнаться, расталкивая друг друга и работая локтями, — и горе неудачнику. А неудачниками окажутся почти все, и в первую очередь те дармоеды, которым такой символ веры больше всего по душе, так что они-то уж безусловно не смогут наслаждаться жизнью. Ведь те идеалы, которые все эти люди ни в грош не ставят, — только правила уличного движения, выработанные веками для того, чтобы не мешать друг другу и чтобы на свете получше жилось не только наглецам, хапугам, бандитам и ловкачам. Все наши устои — религия, брак, договоры между державами, закон и прочее — это всего лишь проявления заботы о том, чтобы люди не обижали друг друга, а следовательно, чтобы не обидели тебя самого. Без всего этого мы превратились бы в общество гангстеров и проституток, которым правит кучка сверхгангсте-

ров. Нельзя поэтому относиться с неуважением к другим, если не хочешь быть идиотом и портить жизнь самому себе. Забавнее всего то, что, как бы мы ни рассуждали, мы все это отлично понимаем. Люди, которые болтают, как этот человек в книге, на практике ведут себя совсем иначе. Даже гангстер не выдает своих сообщников. Фактически эта новая философия — иметь мужество признавать тщетность всех усилий и ловить миг наслаждения — не более как пустозвонство; а все-таки в книге это выглядело довольно убедительно».

Динни как ужаленная выронила листок и замерла; она даже в лице изменилась. Причиной было не то, что она прочла, — она едва ли понимала, что читает. Нет, ее вдруг осенила одна мысль, — удивительно, как она не пришла ей в голову раньше. Динни побежала вниз к телефону и позвонила Флер.

— Слушаю, — ответила Флер.

— Флер, мне нужен Майкл; он дома?

— Да. Майкл, это Динни.

— Майкл? Ты бы мог сейчас же зайти к нам? Насчет дневника Хьюберта. Мне пришла в голову одна мысль, но я бы не хотела говорить об этом по телефону. А может, мне прибежать к вам?.. Ты сам придешь? Хорошо. Если Флер хочет, пусть придет тоже, если нет, — захвати с собой ее здравый смысл.

Майкл пришел один — через десять минут. Волнение Динни, кажется, передалось и ему, и энергия была в нем ключом. Динни увлекла его в нишу гостиной, и они уселись на диван под клеткой попугая.

— Майкл, дорогой, мне вдруг пришла в голову одна мысль: что, если бы нам удалось напечатать дневник Хьюберта? Он не очень большой, и можно дать ему хороший заголовок, например: «Тот, кого предали», или что-нибудь в этом роде...

— «Всеми покинутый», — сказал Майкл.

— Да, «Всеми покинутый»; если показать министру внутренних дел книгу, которая вот-вот выйдет с боевым предисловием, — может, он не станет подписывать ордера. С таким заголовком, предисловием и с поддержкой в печати книга произведет настоящую сенсацию, и очень для министра неприятную. В предисловии можно на-

писать порезче о том, как бросили на произвол судьбы соотечественника, как проявили малодушие и раболепство перед иностранцами и так далее. Пресса на это, безусловно, клюнет.

Майкл взъерошил волосы.

— Это действительно мысль; но тут возникает ряд вопросов. Во-первых, как сделать так, чтобы все это не пахло шантажом. Если мы не сможем этого избежать, вся затея рухнет. Стоит Уолтеру почуять шантаж — он ни за что не уступит.

— Но ведь наша задача — внушить ему, что, если он подпишет ордер, ему придется об этом пожалеть.

— Детка, — сказал Майкл, пуская дым в попугая, — все это надо сделать куда тоньше. Ты не знаешь наших государственных мужей. Они не любят действовать по подсказке и делают только то, что им выгодно, под видом самых высоких побуждений. Заставляя Уолтера руководствоваться побуждениями низменными, надо внушить ему, что они высокие. Без этого ничего не выйдет.

— А разве ему будет мало, если он на словах заявит, что они высокие? Неужели надо, чтобы Уолтер и на самом деле так думал?

— Да, надо, хотя бы при дневном свете. То, что он думает в три часа ночи, не имеет значения. Знаешь, он ведь не дурак. — Майкл снова взъерошил волосы. — Пожалуй, единственный человек, который может нам помочь, — это все тот же Бобби Феррар. Он знает Уолтера как облупленного.

— А он хороший человек? Он захочет?

— Бобби — сфинкс, но очень порядочный сфинкс. Он все знает. Он словно аккумулятор, собирающий слухи, мимо него ничего не пройдет, а мы сможем держаться в тени.

— Но разве не важнее всего — поскорее послать дневник в типографию, чтобы казалось, будто он вот-вот выйдет в свет?

— Да, но вся загвоздка в предисловии...

— Почему?

— Мы ведь хотим, чтобы Уолтер прочитал книгу и пришел к выводу, что подписать ордер — значит нанести Хьюберту незаслуженный удар, — как оно и есть на самом деле. Другими словами, мы хотим затронуть тай-

ные струны его души. Но я уже слышу, как он себе говорит: «Да, не повезло молодому Черрелу, здорово не повезло; но ведь это — решение судьбы, да и боливийцы на нас нажимают; к тому же он принадлежит к привилегированному классу, а тут дело тонкое — еще подумают, что мы делаем поблажки аристократам...»

— По-моему, это так несправедливо! — горячо прервала его Динни. — Почему надо жестче подходить к человеку только за то, что он случайно родился не сыном сапожника? Это просто трусость.

— Да, но в этом смысле все мы трусы. Однако предоставим слово Уолтеру, которого ты прервала. «Нельзя делать поблажки, — продолжает он. — К тому же малые страны требуют к себе особого уважения».

— Но почему? — снова прервала его Динни. — Мне кажется...

— Знаю, Динни, знаю, — жестом остановил ее Майкл. — Но это как раз тот психологический момент, когда откуда ни возмись появляется Бобби и говорит: «Между прочим, тут еще будет предисловие. Мне его показали. Там проводится мысль, что Англия любит проявлять великодушие за счет своих собственных подданных. Довольно-таки едко сказано, сэр. Пресса за это ухватится. Старая песенка — «Мы не умеем постоять за своих соотечественников» — всегда имеет успех. И знаете, — заметит дальше Бобби, — мне давно казалось, что такой большой человек, как вы, легко мог бы рассеять впечатление, будто мы не умеем постоять за своих. Я не говорю, что это так на самом деле; может быть, это вовсе не так, но такое впечатление существует, и оно прочно укоренилось; вы, сэр, лучше всякого другого могли бы восстановить равновесие. А данный случай не плохой повод снова завоевать общественное доверие. Да и по существу-то ведь, — скажет далее Бобби, — было бы правильнее не подписывать ордера, — ведь шрам-то, между нами говоря, настоящий, и выстрел действительно был сделан в порядке самозащиты; наконец и стране будет полезно почувствовать, что на правительство можно положиться, оно не бросает своих на произвол судьбы». На этом Бобби и ретируется. А Уолтеру уже и в голову не придет, что ему просто хочется избежать неприятностей, — он будет верить, что мужественно защи-

щает интересы своей страны... Что и требуется государственным деятелям.— Майкл закатил глаза.— Видишь ли, Уолтер прекрасно сообразит, хоть никогда этого и не признает, что, если ордер не будет подписан, предисловие не появится. Больше того, в ночной тиши он будет с собой откровенен; но если при свете дня он себе скажет, что совершает геройский поступок, не подписывая ордера,— какое кому дело до того, о чем он думает по ночам. Понятно?

— Ясно как божий день, Майкл. Но разве не нужно, чтобы он прочел предисловие?

— Надеюсь, что нет, но оно должно быть у Бобби под рукой, на случай, если ему понадобится подкрепить свои доводы. Бобби Феррар любит все делать основательно.

— Но захочет ли мистер Феррар этим заниматься?

— Да,— сказал Майкл,— в общем, да. Отец когда-то оказал ему услугу, а старый Шропшир его дядя.

— Кто может написать предисловие?

— Думаю, что уговорю старого Блайза. У нас в партии его все еще побаиваются, и он, когда захочет, умеет писать так, что мороз подирает по коже.

Динни в волнении сжала руки.

— А он захочет?

— Это зависит от дневника.

— Тогда я думаю, что захочет.

— Можно мне его прочесть, прежде чем я отдам его в типографию?

— Конечно! Только имей в виду, Хьюберт не хочет, чтобы дневник был напечатан.

— Ничего. Если дело с Уолтером выгорит и он не подпишет ордера, печатать будет не нужно; а если не выгорит, тоже будет не нужно,— после драки кулаками не машут, как любил говорить старый Форсайт.

— А дорого будет стоить напечатать дневник?

— Пустяки — фунтов двадцать.

— Это мне по карману,— сказала Динни и подумала о двух джентльменах с Саут-Молтон-стрит: ведь у нее никогда не было за душой ни гроша.

— Ерунда, не беспокойся!

— Это моя идея, Майкл, и я хочу платить за нее са-

ма. Ты и представить себе не можешь, как это ужасно—сидеть сложа руки, когда Хьюберт в такой опасности! Я уверена, что, если его выдадут, ему несдобровать.

— Никто не может предсказать, как поступит государственный деятель,— сказал Майкл.— Их недооценивают. Они куда сложнее, чем мы думаем, порой даже обладают кое-какими принципами, и уж конечно гораздо хитрее. Но, пожалуй, дело у нас все-таки выгорит, если мы сумеем как следует взяться за Блайза и Бобби Феррара. Я займусь Блайзом, а на Бобби напущу старика. Тем временем мы напечатаем дневник.— Он взял рукопись.— До свиданья, дорогая, и поменьше волнуйся.

Динни поцеловала его, и он ушел.

Он позвонил в тот же вечер около десяти.

— Динни, я прочел. Если это не тронет Уолтера, значит, он сухарь, каких мало. Ручаюсь, он не заснет над этим, как тот тип; что бы ни говорили об Уолтере, он человек добросовестный. В конце концов речь идет о чем-то вроде помилования, и он поймет, как все это серьезно. Если дневник попадет ему в руки, он уж дочитает его до конца; дневник его проймет, а заодно он узнает, как все происходило в действительности. Словом, держись!

— Слава богу! — от всей души сказала Динни и пошла спать; впервые за два дня у нее немного отлегло от сердца.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Дни текли томительно медленно, и казалось, им не будет конца. Динни все еще жила на Маунт-стрит, чтобы быть под рукой, если она понадобится. Труднее всего было скрывать от близких замыслы Джин. Ей это удавалось со всеми, кроме сэра Лоренса, который, вскинув бровь, загадочно произнес:

— Pour une gaillarde, c'est une gaillarde! ¹

А когда Динни посмотрела на него невинными глазами, он добавил:

— Ну, чем не дева Мария кисти Боттичелли! Хочешь познакомиться с Бобби Ферраром? Мы обедаем с ним

¹ Вот это девка так девка! (франц.)

в подвальчике у Дюмурье на Друри-Лейн; но имей в виду, мы питаемся одними грибами.

Динни возлагала столько надежд на Бобби Феррара, что была потрясена его видом: на лице его было написано полное безразличие. Гвоздика в петлице, бархатный голос, широкое невозмутимое лицо с чуть отвисшей нижней губой — ничто не внушало ей доверия.

— Вы питаете страсть к грибам, мисс Черрел? — спросил он

— Да, но не к шампиньонам.

— Вот как?

— Бобби, — сказал сэр Лоренс, глядя то на него, то на племянницу, — никто не скажет, что вы — самая хитрая лиса в Европе. Но я-то вас знаю; держу пари, — вы назовете Уолтера «великим человеком», когда будете пугать его предисловием.

Бобби Феррар оскалил ровные зубы.

— Я не имею никакого влияния на Уолтера.

— Тогда кто же имеет?

— Никто. Кроме...

— Да?

— Самого Уолтера.

Динни, не выдержав, сказала:

— Поймите, мистер Феррар, ведь это вопрос жизни и смерти для моего брата и сущая пытка для всех нас!

Бобби Феррар молча посмотрел на ее взволнованное лицо. В течение всего обеда он не сказал и не обещал ничего определенного, но когда они с Динни поднялись, а сэр Лоренс платил по счету, Бобби спросил:

— Мисс Черрел, хотите пойти со мной к Уолтеру? Я могу устроить так, что вы будете сидеть поблизости.

— Страшно хочу.

— Пусть тогда это останется между нами. Я дам вам знать.

Динни стиснула руки и улыбнулась ему.

— Вот чудак! — сказал сэр Лоренс на обратном пути. — Ведь он, в сущности, добрая душа. Терпеть не может, чтобы людей вешали. Не пропускает ни одного процесса об убийстве. Ненавидит тюрьмы лютой ненавистью. Глядя на него, никогда этого не подумаешь.

— Да, пожалуй, — мечтательно протянула Динни.

— Бобби мог бы служить секретарем в какой-нибудь

чека,— продолжал сэр Лоренс,— и никто бы не заподозрил, что он готов спалить их всех живьем. Это уникам. Дневник печатается, Динни, а старый Блайз пишет предисловие. Уолтер возвращается в четверг. Ты уже виделась с Хьюбертом?

— Нет, завтра мы с папой к нему идем.

— Я не хотел тебя выпрашивать, но молодые Тасборо, ведь правда, что-то затеяли? Я случайно узнал, что Алана нет на корабле.

— Разве?

— Святая невинность,— буркнул сэр Лоренс.— Ладно, милая, можешь секретничать, но я от души надеюсь, что, пока не будут исчерпаны мирные средства, они ничего не выкинут.

— Что ты, конечно, нет!

— Такая молодежь еще может внушить нам веру, будто личность делает историю. А тебе когда-нибудь приходило в голову, Динни, что история—просто повесть о том, как люди принимались вершить судьбы человечества, причиняя и себе и другим кучу неприятностей или спасая и себя и других от неприятностей. А у Дюмурье неплохо готовят, правда? Непременно свожу туда твою тетю, когда она наконец похудеет.

И Динни поняла, что опасность перекрестного допроса миновала.

Назавтра за ней зашел отец, и они отправились в тюрьму; был ветреный и тоскливый ноябрьский день. От одного вида тюремного здания ей захотелось завыть по-собачьи. Начальник тюрьмы — из военных — принял их очень любезно, с тем уважением, какое проявляет низший чин к высшему. Он не скрывал, что в деле Хьюберта его симпатия на их стороне, и предоставил им больше времени для свидания, чем полагалось по тюремному уставу.

Хьюберт вошел улыбаясь. Динни поняла, что, будь она одна, он, пожалуй, и не скрывал бы своего состояния, но в присутствии отца твердо решил держаться бодро, словно все это неудачная шутка. Со своей стороны, генерал, который всю дорогу был мрачен и молчалив, сразу же оживился и стал делать вид, будто вся эта история его просто забавляет. Динни невольно подумала, что, если бы не разница в возрасте, они были бы до смешно-

го похожи друг на друга и внешностью и манерой держаться. В обоих было что-то детское или, вернее, что-то привитое им с детства и, по-видимому, на всю жизнь. За все это получасовое свидание ни тот, ни другой и не заикнулись о своих переживаниях. Встреча была тяжелым испытанием для всех троих, а откровенного разговора так и не получилось. По словам Хьюберта, жилось ему превосходно и беспокоиться было совершенно не о чем; по словам генерала, оставалось потерпеть еще несколько дней, а потом уж они поохотятся на славу. Он почему-то все время говорил об Индии и о беспорядках на границе. Только под конец, прощаясь, они очень прямо и серьезно взглянули друг другу в глаза. Отец отошел, и Динни, в свою очередь, поцеловала брата и пожала ему руку.

— Как Джин? — чуть слышно спросил Хьюберт.

— Все в порядке, любит по-прежнему. Говорит, чтобы ты ни о чем не беспокоился.

Его губы дрогнули и застыли в невеселой улыбке, он сжал ей руку и резко отвернулся.

В воротах привратник и двое надзирателей почтительно взяли под козырек. Динни с отцом сели в ожидавшее такси и до самого дома не проронили ни слова. Вся эта история казалась им дурным сном, — может быть, они когда-нибудь и проснутся.

В эти дни единственным утешением была тетя Эм, чьи причуды отвлекали Динни от ее неотвязных мыслей. Тревога день ото дня нарастала, и целебные свойства тетиной непоследовательности все больше и больше давали себя знать. Положение Хьюберта искренне волновало тетю Эм, но мысли ее разбегались, она не могла сосредоточиться ни на одной из них и страдать по-настоящему. Пятого ноября она подозвала Динни к окну гостиной, — по осенней пустынной Маунт-стрит при свете уличных фонарей мальчишки волокли чучело¹.

¹ 5 ноября в Англии празднуют провал католического заговора 1605 года («Пороховой заговор»); заговорщики — Гай Фокс, Роберт Кэтсби и другие — собирались взорвать парламент, но были схвачены и повешены. По традиции, в этот день дети, вымазав лицо сажей, распевая песни, ходят по улицам с изображением виселицы, на которой болтается чучело Гая Фокса.

— Священник как раз сейчас этим занимается,— сказала тетя Эм.— Был у них такой Тасборо,— его не повесили и даже головы не отрубили, в общем ничего такого с ним не сделали, а он пытается доказать, будто должны были сделать: он продал столовое серебро или что-то еще, чтобы купить пороху, а его сестра вышла замуж, кажется, за Кэтсби. Словом, за кого-то из них. Твой папа, я и Уилмет любили делать чучело из нашей гувернантки; у нее были ужасно большие ноги, у этой Роббинс! Ах, дети такие бесчувственные. Динни, ты тоже?

— Что — тоже?

— Делала чучела?

— Нет.

— Мы ходили петь песенки и мазали лицо сажей. Уилмет была просто прелесть. Такая высокая девочка, ноги прямые, как палки, и широко расставленные,— знаешь, как у ангелов. Теперь это не модно. Я думаю, тут надо что-то предпринять. Вот и насчет виселицы тоже. У нас была виселица. Мы повесили на ней котенка. Сперва мы его утопили,— не мы, а слуги.

— Какой ужас, тетя Эм!

— Да, но не слишком. Твой отец воспитывал из нас диких индейцев. Ему-то было хорошо: он мог делать с нами все, что хочет, а плакать мы не смели. А Хьюберт?

— Ну, нет! Хьюберт сам себя воспитывал диким индейцем.

— Это виновата твоя мама,— она очень добрая. Наша мама была из Хангерфордов. Ты, наверно, заметила.

— Я бабушки не помню.

— Она умерла, когда ты еще не родилась. В Испании. Таких бацилл, как там, нигде не найдешь. И девушка тоже. Мне было тогда тридцать пять. У него прекрасные манеры. У всех тогда манеры были прекрасные. И всего шестидесяти лет. Кларет, пикет и такая смешная борода. Ты видала?

— Эспаньолки?

— Да, у них очень дипломатический вид. Их теперь носят, когда пишут статьи об иностранных делах. Лично я люблю коз, хотя они и бодаются.

— Но какой у них запах, тетя Эм!

— Пронзительный. Джин тебе пишет?

В сумочке у Динни лежало только что полученное письмо.

— Нет,— ответила она; врать постепенно входило у нее в привычку.

— Что за слабохарактерность — от всех прятаться. С другой стороны, ведь это был их медовый месяц.

По-видимому, сэр Лоренс не делился с ней своими подозрениями.

У себя наверху Динни перечитала письмо, прежде чем его разорвать.

«Брюссель. До востребования,

Дорогая Динни,

Все идет как по маслу, и мне очень нравится. Говорят, я словно для этого создана. Между Аланом и мной уже почти нет разницы, разве что рука у меня тверже. Большое спасибо за письма. Ужасно обрадовалась твоей выдумке с дневником,— по-моему, это может подействовать. Но все-таки мы должны быть готовы ко всему. Ты не пишешь, как идут дела у Флер. Кстати, можешь ты достать турецкий разговорник,— такой, где указано произношение? Наверно, дядя Адриан знает, где его взять. Тут их не купишь. Алан шлет тебе сердечный привет. Я тоже. Пиши обо всем подробно, если понадобится — телеграфируй.

Твоя люб.

Джин».

Турецкий разговорник! Этот первый намек на то, в каком направлении работает мысль Джин и Алана, заставил Динни задуматься. Она вспомнила, как Хьюберт ей рассказывал, что в конце войны спас жизнь одному турецкому офицеру и с тех пор с ним переписывается. Значит, убежищем выбрана Турция, если... Но весь этот план — чистое безумие. До этого не может, не должно дойти! И все же наутро она отправилась в музей.

Адриан, которого она не видела с того дня, как Хьюберта взяли под стражу, встретил ее со своим обычным спокойным радушием, и у нее появилось сильное искушение довериться ему. Ведь должна же Джин понимать, что спросить совета Адриана насчет турецкого разговорника — значит возбудить его любопытство. Все-таки Динни сдержалась и только спросила:

— Дядя, у тебя нет турецкого разговорника? Хьюберт хочет вспомнить турецкий, чтобы как-нибудь убить время в тюрьме.

Адриан посмотрел на нее и хитро прищурил один глаз.

— Хьюберт не знает ни слова по-турецки, ему нечего вспоминать. Но вот, пожалуйста...— И, сняв с полки маленький томик, добавил: — Змея!

Динни улыбнулась.

— Меня обманывать бесполезно,— продолжал Адриан.— Я все знаю.

— Дядя, расскажи откуда?

— Видишь ли, в этом участвует Халлорсен.

— Вот как?

— А поскольку я связан сейчас с Халлорсеном, я помножил два на два и получил четыре. Они-то, правда, хотят, чтобы дважды два стало пять, и я от души надеюсь, что до этого не дойдет. Но Халлорсен очень хороший парень.

— Знаю,— уныло сказала Динни.— Расскажи, дядя, что они, собственно, затеяли.

Адриан покачал головой.

— Они и сами толком не знают, пока не выяснится маршрут, каким повезут Хьюберта. Мне известно только одно—Халлорсен посылает своих боливийцев не в Штаты, а обратно в Боливию, и для них готовится весьма странный ящик с хорошей вентиляцией, подбитый изнутри чем-то мягким.

— Каких боливийцев? Скелеты?

— Наверно, копии,— их сейчас тоже делают.

Динни смотрела на него как зачарованная.

— К тому же,— добавил Адриан,— копии делает мастер, который думает, что эти скелеты—из Сибири и вовсе не для Халлорсена; их тщательно взвесили—сто пятьдесят два фунта,—средний вес живого человека. Сколько весит Хьюберт?

— Около семидесяти килограммов.

— Вот именно.

— Дальше, дядя!

— Раз уж мы договорились до этого, поделюсь с тобой моими догадками; не знаю, прав я или нет. Халлорсен и его ящик с копиями отправятся на том же паро-

ходе, на котором вышлют Хьюберта. В каком-нибудь порту в Испании или Португалии Халлорсен сойдет с парохода и, естественно, заберет свой ящик, где будет спрятан Хьюберт. Предварительно Халлорсен как-нибудь вынесет скелеты и выбросит их за борт. В порту его будут ждать настоящие скелеты, и он положит их в ящик, как только Хьюберт переседет на самолет. Тут уже настанет очередь Джин и Алана. Они полетят... ну, хотя бы в Турцию, судя по твоей сегодняшней просьбе. Ты сама мне подсказала — куда. Чтобы успокоить власти, у Халлорсена в ящике будут настоящие скелеты, а исчезновение Хьюберта так и останется загадкой, — может, его объяснят прыжком за борт — не удивлюсь, если тут припомнят всплеск, когда сбрасывали в море копии. Все это, как видишь, довольно рискованное предприятие.

— А что, если пароход никуда не зайдет по дороге?

— Ну, где-нибудь он непременно остановится, а если нет, им придется выдумать что-нибудь другое, — скажем, похитить его по дороге на пароход. Или же устроить свою проделку с ящиком, когда его привезут в Южную Америку. Пожалуй, это будет безопаснее всего, хотя лететь тогда уже будет нельзя.

— Но зачем профессору Халлорсену так рисковать?

— И это спрашиваешь ты, Динни?

— Это уж слишком... я... я этого не хочу.

— Видишь ли, дорогая, должно быть, ему еще и кажется, что это он подвел Хьюберта и теперь должен его выручать. Не забудь, что он принадлежит к нации, которая славится своей энергией и привыкла вершить суд и расправу. Но требовать награды за услугу он не станет. А в паре с ним бежит Тасборо, — тот замешан в этом деле ничуть не меньше. Словом, тебе ничто не угрожает.

— Но я вовсе не хочу быть обязанной ни тому, ни другому. До этого просто не должно дойти. И ведь надо спросить Хьюберта, — неужели ты думаешь, что он согласится?

— Думаю, Динни, что он уже согласился, — серьезно сказал Адриан, — а не то он попросился бы на поруки. Вероятно, его отправят под охраной боливийцев, и у него не будет ощущения, что он нарушает английские

законы. А остальным удалось его убедить, что они ничем не рискуют. Ему все, наверно, осточертело, и он готов на что угодно. Не забудь: ему грозит серьезная опасность, и, кроме того, он только что женился.

— Да,— сказала Динни упавшим голосом.— А ты, дядя? Как твои дела?

— Ты была права,— невесело ответил Адриан,— и я готов ехать, как только кончится дело Хьюберта.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Даже после разговора с Адрианом Динни не могла поверить, что подобные вещи случаются в жизни — слишком уж часто читаешь о них в книгах. Однако ими полна и история и бульварная пресса. Как ни странно, мысль о бульварной прессе вернула Динни равновесие,— она твердо решила, что имени Хьюберта там не появится. Тем не менее она добросовестно отправила Джин турецкий учебник и, когда сэра Лоренса не бывало дома, подолгу разглядывала у него в кабинете географические карты. Изучала она также и расписания пароходов на южноамериканских линиях.

Прошло два дня, и сэр Лоренс сообщил за ужином о возвращении Уолтера, но после отпуска тот, разумеется, не сразу сможет заняться такой мелочью, как дело Хьюберта.

— Мелочь?—воскликнула Динни.—Ну да! Всего-навсего жизнь Хьюберта и наше счастье!

— Дорогая моя, министру внутренних дел только и забот, что чужая жизнь и чужое счастье.

— Какая ужасная должность! Я бы ее возненавидела.

— В том-то и разница между тобой и государственным деятелем. Министр возненавидел бы свою работу, если бы ему не приходилось вмешиваться в жизнь своих ближних. А мы уже готовы припугнуть Уолтера, если он возьмется за дело Хьюберта раньше, чем мы думаем?

— Дневник набран, я сама вычитала корректуру, предисловие написано. Я его не видела, но Майкл говорит, что это здорово.

— Отлично. Когда мистер Блайз пишет «здорово», тут только держись. Бобби даст нам знать, когда Уолтер доберется до нашего дела.

— А что такое Бобби? — спросила леди Монт.

— Это целая традиция, моя дорогая.

— Блор, напомните мне, чтобы я написала насчет щенка этой овчарки.

— Да, миледи.

— Ты заметила, Динни, — когда носы у них белые, они выглядят как одержимые и всех их зовут Бобби.

— Ну, наш Бобби никак не похож на одержимого, правда, Динни?

— А он всегда делает то, что обещает?

— Да, положиться на него можно.

— Мне ужасно хочется побывать на выставке овчарок, — сказала леди Монт. — Такие умницы. Говорят, они сами знают, какую овцу кусать, а какую — нет. И такие тощие. Только волосы да мозг. У Генриетты их две. А как твои волосы, Динни?

— Что, тетя Эм?

— Ты хранишь те, что отрезала?

— Храню.

— Смотри, не отдавай их чужим; они еще могут понадобиться. Говорят, старомодное скоро опять войдет в моду. Старое, но новое. Понимаешь?

Сэр Лоренс лукаво прищурил глаз.

— А Динни всегда такой и была. Вот почему я хочу, чтобы она позировала. Постоянство типа.

— Какого типа? — спросила леди Монт. — Только не будь типом, Динни: они такие скучные. Один человек даже Майкла звал типом; не знаю почему.

— А почему бы тебе, дядя, не заставить позировать тетю Эм? Она ведь куда моложе меня, правда, тетя?

— Не дерзи. Блор, мое виши.

— Дядя, сколько Бобби лет?

— Никто толком не знает. Около шестидесяти. Когда-нибудь, я думаю, его возраст установят, но с ним придется поступить, как с деревом: отпилить кусок ствола и сосчитать кольца. Уж не решила ли ты выйти за него замуж? Кстати, Уолтер — вдовец. В его жилах те-

чет пуританская кровь; он новообращенный либерал, — материал легко воспламеняющийся.

— За Динни придется долго ухаживать, — сказала леди Монт.

— Можно мне встать из-за стола, тетя Эм? Мне надо сходить к Майклу.

— Скажи Флер, что я зайду завтра посмотреть на Кита. Я купила ему новую игру — называется «парламент», — это звери, и у них свои партии; пищат и режут на разные голоса, и делают все невпопад. Премьер-министр у них зебра, а министр финансов — тигр, совсем полосатый. Блор, такси для мисс Динни.

Майкл был в парламенте, но Флер оказалась дома. Она объявила, что предисловие Блайза уже послано Бобби Феррару. Что касается боливийских дипломатов, — посланник еще не вернулся, но поверенный в делах обещал неофициально поговорить с Бобби. Он был так убийственно вежлив, что Флер никак не могла угадать, что он думает. Она сомневается, думает ли он вообще.

Вернувшись домой, Динни все еще чувствовала себя как на иголках. По-видимому, судьба Хьюберта целиком в руках Бобби Феррара, а ему под шестьдесят, он ко всему привык и давно утратил пыл красноречия. Ну, а может, это к лучшему? Взывать к чувствам Уолтера, пожалуй, было бы неправильно. Здесь, наверно, требуется хладнокровие, точный расчет, умение намекнуть мимоходом на неприятные последствия и тонко обрисовать возможные выгоды. Ах, в общем, она совершенно себе не представляет, что руководит помыслами власть имущих. Послушать Майкла, Флер, сэра Лоренса, — они делают вид, будто это понимают, но Динни подозревала, что и они разбираются в этом ничуть не лучше ее. Все, по-видимому, висит на волоске, зависит от прихоти и тончайшей смены настроений. Динни легла в постель, но так и не заснула.

Прошел еще день. И как матрос, чье судно долго дрейфовало в ожидании попутного ветра, вдруг просыпается утром и видит надутые паруса, так и Динни за завтраком обнаружила у своего прибора конверт без марки со штампом: «Министерство иностранных дел». Она распечатала его и прочла:

«Дорогая мисс Черрел,

Вчера я вручил министру внутренних дел дневник вашего брата. Он обещал вечером его прочитать и примет меня сегодня в шесть. Если вы придете в министерство иностранных дел без десяти шесть, мы сможем отправиться к нему вместе.

Искренне ваш,
Роберт Феррар».

Вот оно! Но впереди еще целый день. А Уолтер уже прочел дневник и, может быть, уже принял решение! Получив эту сухую записку, она почувствовала себя участницей какого-то заговора, давшей обет молчания. Она почему-то никому о ней не сказала, ей почему-то хотелось быть совсем одной, пока все не кончится. В таком состоянии бывает человек накануне операции. Она вышла из дома — утро было солнечное — и задумалась: куда же ей деваться? Не пойти ли в Национальную галерею? Но картины требуют слишком большого внимания. А может быть, зайти в Вестминстерское аббатство? И тут она вспомнила о Миллисент Поул. Флер устроила ее манекенщицей к Фриволю. Почему бы не сходить в ателье, не посмотреть зимние модели и не повидать снова девушку? Конечно, не очень-то прилично заставлять показывать платья, которые не собираешься покупать, — нехорошо зря доставлять людям столько хлопот. Но если освободят Хьюберта, — тут уж она пустится во все тяжкие и непременно купит настоящее вечернее платье, хотя бы ей пришлось попросить карманные деньги вперед. И, собравшись с духом, Динни свернула на Бонд-стрит, переправилась через узкий стремительный поток людей и машин, добралась до Фриволя и вошла в ателье.

— Что угодно, мадам?

Ее проводили наверх и посадили в кресло. Она сидела, чуть-чуть склонив голову набок, улыбаясь и мило беседуя с продавщицей, — Динни помнила, как однажды в большом магазине продавщица ей сказала: «Вы даже представления не имеете, мадам, как приятно, когда покупатель улыбается и относится к вам по-человечески. У нас бывает столько капризных дам, и... да что уж там говорить!» Модели были — «последний крик

моды», очень дорогие и почти все, по ее мнению, уродливые, несмотря на заверения продавщицы: «При вашей фигуре и вашем цвете лица, мадам, это вам очень пойдет».

Не зная, полезно ли будет Миллисент Поул, если она о ней спросит, Динни отобрала два платья и попросила показать их на манекенах. В первом появилась очень худенькая надменная девица с гладко зачесанными волосами и торчащими лопатками; она томно побродила по залу, упершись рукой в то место, где полагось быть правому бедру; поглядывая через плечо, она словно раздумывала, куда же у нее девалось левое; теперь Динни окончательно укрепилась в своем отращении к этому роскошному черно-белому туалету. Миллисент Поул появилась во втором платье — цвета морской воды, отделанном серебром, — Динни нравилось в нем все, кроме цены. Двигаясь по залу с профессиональным безразличием, Миллисент Поул даже не взглянула на покупательницу, словно говорила всем своим видом: «Еще чего! Буду я на вас смотреть! Вам бы вот так целый день поболтаться в одном белье, отбиваясь от целого полчища чужих мужей!» Но тут, повернувшись, она заметила улыбку Динни и, радостно улыбнувшись в ответ, двинулась дальше с заученной томностью. Динни встала и, подойдя к стоявшей теперь неподвижно девушке, взяла двумя пальцами складку платья, будто хотела попробовать материю на ощупь.

— Рада вас видеть.

Мягкие губы девушки, похожие на цветок, раскрылись в ласковой улыбке. «Она просто прелесть!» — подумала Динни.

— Я знакома с мисс Поул, — сказала она продавщице. — На ней это платье выглядит очаровательно.

— Ах, мадам, оно совершенно в вашем стиле. Мисс Поул для него чуть полновата. Разрешите примерить его на вас.

Динни так и не поняла, считать ли это за комплимент.

— Сегодня я все равно ничего не решу, — ответила она. — Я не уверена, что оно мне по карману.

— Не беспокойтесь, мадам. Мисс Поул, пройдите в кабинку и скиньте платье; мы примерим его на мадам.

В кабинке девушка сбросила платье. «Так она еще

лучше,— подумала Динни.— Хотела бы я так выглядеть в одном белье». Она позволила снять с себя свое платье.

— У мадам такая стройная фигурка,— сказала продавщица.

— Худая как щепка.

— Ах, что вы, мадам, у вас совсем не видно костей.

— Как раз то, что надо! — горячо сказала Миллисент.— У мадам есть шик.

Продавщица застегнула крючок.

— Отлично,— сказала она.— Может, вот тут немножечко свободно; но это мы исправим.

— Слишком много голого тела....— пробормотала Динни.

— Ах, но это вам идет, такая кожа, как у мадам...

— Позвольте мне посмотреть мисс Поул в том, другом платье — в черно-белом?

Динни сообразила, что раздетую девушку за тем платьем не пошлют.

— Сию минуту, я его сейчас принесу. Помогите мадам, мисс Поул.

Оставшись наедине, девушки улыбнулись друг другу.

— Как вам тут нравится, Милли, вы ведь добились того, что хотели?

— Знаете, мисс, это не совсем то, что я думала.

— Глупое занятие, а?

— Наверно, все на свете совсем не то, что ты о нем думаешь. Конечно, бывает и хуже.

— Я пришла сюда посмотреть на вас.

— Честное слово? Но, я надеюсь, вы купите платье,— до чего же оно вам к лицу. Вы в нем такая хорошенькая.

— Смотрите, Милли, вас еще продавщицей назначат.

— Ну, в продавщицы я не пойду. Лебези тут с утра до ночи.

— Где это расстегивается?

— Здесь. Очень удобно — только один крючок. И если изогнуться, можно расстегнуть самой. Я читала про вашего брата, мисс. Вот безобразие!

— Да,— сказала Динни и так и застыла, полураздетая. Она вдруг крепко пожала руку девушки.— Желаю вам счастья, Милли!

— А я вам, мисс!

Едва они успели отдернуть руки, как вошла продавщица.

— Простите, что я вас напрасно побеспокоила,— улыбнулась ей Динни,— но я окончательно остановилась на этом платье, если у меня хватит денег. Оно ужасно дорого стоит.

— Неужели, мадам? Это парижская модель. Я поговорю с мистером Беттером, может, он что-нибудь для вас сделает,— ведь это платье просто создано для вас! Мисс Поул, разыщите мистера Беттера.

Накинув черно-белый туалет, девушка вышла.

Динни, которая тем временем успела переодеться в свое платье, спросила:

— А скажите, манекенщицы у вас служат подолгу?

— Я бы не сказала: целый день раздеваться и одеваться — надоедливое занятие.

— А куда же они потом деваются?

— Так или иначе выходят замуж.

Очень тонко сказано! Вслед за этим мистер Беттер— стройный человек с седыми волосами и изысканными манерами — сообщил, что сделает скидку «только для мадам»; но и со скидкой цена казалась Динни чудовищной. Она сказала, что даст ответ завтра, и вышла на улицу, освещенную бледными лучами ноябрьского солнца. Еще целых шесть часов ждать! Она пошла на северо-восток, по дороге к Лугам, стараясь унять свою тревогу мыслью о том, что каждого встречного, как бы он ни выглядел, обуревают свои тревоги. Семь миллионов лондонцев — и всех их гложет тревога. На некоторых лицах это видно, на других — нет. Она посмотрела на свое отражение в витрине и решила, что она из тех, у кого на лице ничего не видно; а между тем что творится у нее в душе! Да, лицо человека — только маска. Она вышла на Оксфорд-стрит и остановилась на краю тротуара у перехода. Рядом с ней очутилась костлявая белая морда ломовой лошади. Динни погладила ее по шее, жалея, что у нее нет с собой куска сахара. Ни лошадь, ни возчик не обратили на нее никакого внимания. Да и что она им! Вот уже много лет они проезжают здесь и останавливаются, а постояв, едут дальше, сквозь водоворот уличного движения, бредут медленно, еле-еле,

без всякой надежды на избавление, пока не упадут и их не стащат на свалку. Белые краги полицейского повернулись в другую сторону, возчик дернул вожжи, фургон тронулся, а за ним — длинная вереница автомобилей. Полицейский снова взмахнул крагами, Динни пересекла улицу, дошла до Тоттенхэм-Корт-роуд и снова остановилась в ожидании. Какая шумная и пестрая вереница людей и машин, — куда она движется, к какой непонятной цели? Ради чего? Ради куска хлеба, пачки сигарет, возможности полюбоваться на «красивую жизнь» хотя бы на экране кино, ради крыши над головой после рабочего дня? Миллион людей трудится целыми днями — прилежно или спустя рукава — только для того, чтобы поесть, немножко помечтать, поспать и начать все сначала. Жизнь неумолима, — от этой мысли у нее перехватило горло, и она даже охнула; какой-то толстяк спросил:

— Простите, мисс, я, кажется, наступил вам на ногу?

Не успела она улыбнуться и ответить «нет», как полицейский взмахнул крагами, и она опять перешла на другую сторону. Дойдя до Гауэр-стрит, она быстро пошла по безлюдной улице. «Еще одну реку, еще одну реку нужно переплыть», — и вот она в Лугах, в этой паутине убогих переулков, сточных канав и безрадостного детства. На сей раз в доме священника Динни застала и дядю и тетю — они собирались обедать. Динни подсела к ним. Им она могла сказать о предстоящей «операции». Они постоянно жили в атмосфере всевозможных «операций».

Хилери рассказал:

— Старый Тасборо и я уломали Бентуорта поговорить с министром внутренних дел, вчера вечером я получил от Помещика записку: «Уолтер сказал, что рассмотрит дело строго по существу, невзирая на общественное положение вашего племянника». Общественное положение! Ну и ну! Я всегда говорил, что этот тип — не бог весть какая находка для нашей партии!

— Ах, если бы он действительно рассмотрел дело по существу! — воскликнула Динни. — Тогда бы за Хьюберта нечего было бояться. Как я ненавижу это угодничество перед простонародьем! Какому-нибудь извозчику он бы скорее поверил на слово.

— Это естественная реакция на прежние порядки, Динни, и, как всякая реакция, она заходит слишком далеко. Когда я был мальчишкой, привилегии еще действительно существовали. Теперь все пошло наоборот: положение в обществе только вредит вам в глазах закона. Труднее всего плыть против течения: ты и хочешь быть справедливым, да не можешь.

— Знаешь, о чем я думала по дороге сюда? Зачем только и ты, и Хьюберт, и папа, и дядя Адриан, и сотни других трудятся не за страх, а за совесть,— я хочу сказать, не только ради хлеба насущного?

— Спроси тетю,— ответил Хилери.

— Тетя Мэй,— зачем?

— Не знаю, Динни. Меня воспитывали в убеждении, что так надо, вот я и продолжаю в это верить. Была бы ты замужем и имела детей, ты бы, наверно, об этом не спрашивала.

— Так я и знала, что тетя Мэй увильнет от ответа. А ты, дядя?

— Что ж, Динни, я тоже не знаю. Мы и правда делаем то, к чему приучены; вот и все.

— В своем дневнике Хьюберт пишет, что забота о других — это в сущности забота о себе самом. Это верно?

— Очень уж прямолинейно сказано. Я бы предпочел выразить это так: все мы зависим друг от друга, и, если хочешь позаботиться о себе, приходится ничуть не меньше заботиться о других.

— А стоим ли мы того, чтобы о себе заботиться?

— Ты хочешь сказать: стоит ли чего-нибудь наша жизнь?

— Да.

— Люди живут на земле уже пятьсот тысяч лет (Адриан уверяет, что даже миллион), а их сейчас больше, чем когда бы то ни было. Видишь! Разве человеческая жизнь — а она ведь такая хрупкая — сохранилась бы вопреки всем нашим бедам и тяготам, если бы жить на свете не стоило?

— Наверно, нет,— задумчиво произнесла Динни,— Кажется, в Лондоне перестаешь понимать истинную цену вещей.

Тут вошла горничная.

— Сэр, вас хочет видеть мистер Камерон.

— Пусть войдет. Он поможет тебе познать цену вещей, Динни. Это ходячий пример неистребимой любви к жизни: болел всеми болезнями на свете, включая черную лихорадку, прошел через три войны, пережил два землетрясения, работал кем только хочешь во всех уголках земного шара, а сейчас — безработный и вдобавок страдает пороком сердца.

Вошел Камерон — невысокий, худощавый человек лет пятидесяти, с ясными серыми глазами, крючковатым носом и темными седеющими волосами. Одна рука была у него на перевязи, точно он вывихнул большой палец.

— Здравствуйте, Камерон, — сказал, вставая, Хилери. — Снова попали в переделку?

— Эх, если бы вы только видели, как эти мерзавцы в моем районе обращаются с лошадьми! Вот и дошло вчера до драки. Хлестать безответную скотину, да еще и нагруженную сверх всякой меры, — тут уж я не стерпел.

— Надеюсь, вы ему как следует влепили!

У Камерона глаза заблестели от удовольствия.

— Да, раскровянил ему нос и вывихнул себе палец. Но я зашел к вам, сэр, сказать, что приходский совет нашел мне работу. Не бог весть какую, но я прокормлюсь.

— Отлично! А теперь извините меня, Камерон, но миссис Черрел и я спешим на собрание. Садитесь, выпейте чашку кофе и поболтайте с моей племянницей. Расскажите ей о Бразилии.

Камерон посмотрел на Динни. Улыбка у него была обаятельная.

Час прошел быстро и принес ей облегчение. Камерон оказался хорошим рассказчиком. Он поведал ей почти всю свою жизнь, начиная с детства в Австралии и ухода в шестнадцать лет добровольцем на войну в Южную Африку, вплоть до последних своих мытарств. Не было такой заразы, которая бы к нему не пристала; он ходил за лошадьми, имел дело с китайцами, неграми, бразильцами; ломал себе шею и ноги, был отравлен ядовитыми газами, контужен; но теперь — это он особенно подчеркнул — здоровье его не оставляло желать ничего лучшего, если не считать «пустячной сердечной слабости». Лицо его как-то светилось изнутри, а в сло-

вах не было и намека на то, что он сознает свою незаурядность. Сейчас он был для Динни наилучшим лекарством, и она старалась подольше его не отпускать. Когда он наконец ушел, она снова окунулась в уличную сутолоку, но теперь все окружающее воспринималось как-то иначе. Была половина четвертого, оставалось сократить два с половиной часа. Она направилась в Риджентс-парк. Деревья стояли уже почти голые, и в воздухе носился запах костров, на которых жгли сухие листья; она проходила через их сизые дымки, раздумывая о Камероне и борясь со своей тоской. Какую он прожил жизнь! И какую сохранил жизнерадостность! Она посидела возле Длинного пруда, освещенного тусклыми лучами заходящего солнца, вышла на улицу Мэрилбоун и подумала, что, прежде чем идти в министерство иностранных дел, надо навести красоту. По дороге ей попался универмаг Хэрриджа. Часы показывали половину пятого. У прилавков теснились покупатели. Динни потолкалась среди них, купила пуховку, выпила чаю, привела себя в порядок и снова вышла на улицу. Оставалось еще добрых полчаса, и она опять принялась бродить, хотя уже порядком устала. Ровно без четверти шесть она подала свою карточку швейцару министерства иностранных дел, и ее провели в приемную. Там не было зеркала, и, вынув пудреницу, Динни попыталась разглядеть себя в крошечном, покрытом пудрой зеркальце. Она показалась себе некрасивой и пожалела об этом; впрочем, ей ведь не придется разговаривать с Уолтером,— она посидит где-нибудь в уголке и подождет. Вечно она чего-то ждет!

— Мисс Черрел!

На пороге стоял Бобби Феррар. Вид у него был самый будничный. Ну, конечно,— ему все равно. Да и чего ему волноваться?

Он похлопал себя по верхнему карману пиджака.

— Предисловие у меня. Идемте?

И он тут же заговорил об убийстве в Чингфорде. Она следит за процессом? Нет, не следит. Дело совершенно ясное, абсолютно ясное! И вдруг он добавил:

— Боливиец не захотел взять на себя ответственность, мисс Черрел.

— Ах!

— Ничего, обойдется.

Он улыбнулся.

«А зубы-то у него настоящие,— подумала Динни,— вот и золотые пломбы видны».

Они подошли к министерству внутренних дел и переступили его порог. Служитель повел их вверх по широкой лестнице, в конец коридора, в большую, пустую комнату, где горел огонь в камине. Бобби Феррар пододвинул ей к столу кресло.

— «График» или лучше это? — И он вынул из бокового кармана маленький томик.

— Пожалуйста, и то и другое,— ответила она слабым голосом.

Он положил перед ней и то и другое. «Другое» оказалось тоненькой книжечкой в красном переплете — стихи о войне.

— Только что вышла,— сказал Бобби Феррар,— я купил ее после обеда.

— Да,— рассеянно ответила Динни и села.

Открылась одна из дверей, и в нее просунулась голова.

— Мистер Феррар, министр внутренних дел примет вас.

Бобби Феррар взглянул на нее, шепнул сквозь зубы: «Не падайте духом!» — и спокойно удалился.

Никогда еще в жизни не чувствовала она себя такой одинокой, не радовалась так одиночеству и не боялась так мгновения, когда его нарушат. Раскрыв маленький томик, она прочла:

Над очагом листок висел
И разъяснял толково всем
Героям-инвалидам, как,
И где и по какой цене
Потерянные на войне
Колено, голень и плечо
И что недостает еще
Им будут выданы.
Потом
В листке провозглашалось том,
Что офицерские чины
Хоть две руки, хоть две ноги
Бесплатно получить должны
За счет казны.

Из камина вдруг с треском вылетела искра. Динни с грустью смотрела, как она гаснет на коврике. Она про-

бежала глазами еще какие-то стихи, не понимая, что читает, потом захлопнула книжку и развернула «График». Просмотрев газету от первой до последней страницы, она не запомнила ни одной иллюстрации. Голова у нее кружилась, сердце замирало. «Что хуже,— подумала она,— когда операцию должны сделать тебе или кому-нибудь из тех, кого любишь?» И решила, что последнее все-таки хуже. Время тянулось бесконечно; как давно он ушел? Только половина седьмого! Динни отодвинула кресло и поднялась. На стенах висели портреты деятелей викторианской эпохи, и она стала переходить от одного к другому; впрочем, все они были на одно лицо и отличались только величиной бакенбардов. Динни вернулась на свое место, пододвинула кресло к столу, облокотилась на него и уткнулась подбородком в ладони,— неудобная поза как будто принесла некоторое облегчение. Слава богу, хоть Хьюберт не знает, что сейчас решается его судьба, и ему не приходится терпеть муки ожидания. Она вспомнила о Джин и Алане, всей душой надеясь, что они ко всему готовы. С каждой минутой плачевный исход казался ей все более и более неизбежным. На нее напало какое-то оцепенение. Этот человек вообще никогда не вернется — никогда, никогда! Ну и пусть не возвращается: ведь он принесет с собой смертный приговор. В конце концов Динни положила руки на стол и уронила на них голову. Она не знала, долго ли пробыла в этом странном забытии,— чье-то покашливание за спиной привело ее в себя, и она резко подняла голову.

Это был не Бобби Феррар,— перед камином стоял, чуть расставив ноги и заложив руки за фалды фрака, высокий человек с красноватым, гладко выбритым лицом и серебристой шевелюрой, взбитой коком над самым лбом; он смотрел на нее в упор широко раскрытыми светло-серыми глазами, губы у него чуть приоткрылись, точно он собирался что-то сказать. Динни была так поражена, что тоже глядела на него во все глаза.

— Сидите, мисс Черрел, сидите, пожалуйста.

Выпростав руку из-под фалды фрака, он поднял ее, словно успокаивая Динни, которая с радостью осталась сидеть,— у нее отчаянно дрожали колени.

— Феррар говорит, что вы редактировали дневник вашего брата?

Динни наклонила голову. «Дыши поглубже!»

— В том виде, как он напечатан, он соответствует первоначальному тексту?

— Да.

— Дословно?

— Да. Я не изменила и не вычеркнула ни одного слова.

Глядя ему в лицо, она не видела ничего, кроме круглых блестящих глаз и слегка отвисшей нижней губы. Ее охватила такая оторопь, будто перед ней был сам господь бог! Но Динни тут же передернуло от этой мысли, и губы ее изобразили жалкое подобие улыбки.

— У меня к вам вопрос, мисс Черрел.

Динни с трудом выдавила тихое «да?».

— Много ли в этом дневнике написано вашим братом после его возвращения?

Она смотрела на него, не понимая; наконец до нее дошел смысл его слов, и ее словно подстегнуло.

— Ничего! Ровно ничего! Он весь был написан тогда же, на месте.

И она вскочила на ноги.

— Можно узнать, откуда вам это известно?

— Мой брат... — только тут она поняла, что у нее вообще нет никаких доказательств, кроме слова Хьюберта, — мне так сказал мой брат.

— Вы верите каждому его слову, как святыне?

У нее еще хватило чувства юмора, чтобы не встать в позу, но все же она вскинула голову.

— Как святыне. Хьюберт — солдат, и...

Она запнулась и, глядя на эту высокомерную нижнюю губу, выругала себя за то, что употребила такое избитое выражение.

— Конечно, конечно. Но вы отдаете себе отчет, как мне важно это знать?

— У меня есть рукопись, — пробормотала Динни. Как глупо, что она не взяла ее с собой! — Там все ясно видно... я хочу сказать, она вся грязная, в пятнах. Я могу вам ее показать когда угодно, хотите?

Он снова удержал ее властным жестом.

— Не беспокойтесь. Вы очень любите брата, мисс Черрел?

У Динни задрожали губы.

- Очень. Как и все у нас.
- Я слышал, он недавно женился?
- Да, совсем недавно.
- Ваш брат был ранен на войне?
- Да. В левую ногу, пулей навывлет.
- А в руку он не был ранен?
- Ее опять словно укололо!
- Нет!

Короткое слово вырвалось, точно выстрел. Они постояли друг против друга полминуты, минуту; к горлу ее подступали слова мольбы, негодования; какие-то бесвязные слова, но она не раскрыла рта, она зажала его рукой. Он кивнул.

— Благодарю вас, мисс Черрел.

Голова его немножко склонилась набок, он повернулся и направился к двери, словно неся эту голову на блюде. Когда он исчез, Динни закрыла лицо руками. Что она наделала! Она только настроила его против Хьюберта! Она провела руками по лицу, по телу и так и замерла, дрожа с ног до головы, не отрывая глаз от двери, за которой он скрылся. Прошла еще минута. Дверь снова отворилась, и вошел Бобби Феррар. Он сверкнул зубами, кивнул, прикрыл за собой дверь и сказал:

— Все в порядке.

Динни быстро отвернулась к окну. За окном уже стемнело, а если бы и было светло, она бы там все равно ничего не могла разглядеть. В порядке! В порядке! Она провела рукой по глазам, повернулась и протянула обе руки, сама не видя куда.

Руки ее повисли в воздухе, но голос Бобби Феррара произнес:

— Я очень рад.

— А мне казалось, что я все испортила.

Теперь она увидела его глаза, круглые, как у щенка.

— Если бы он заранее не принял решения, он бы к вам не вышел, мисс Черрел. Не такой уж он кремень. Дело в том, что он обедал с судьей,— это нам помогло.

«Значит, зря я так мучилась»,— подумала Динни.

— Вам пришлось показать ему предисловие, мистер Феррар?

— Нет, и это к лучшему,— оно могло бы и повредить. В сущности, мы всем обязаны судьбе. Но вы произ-

вели на Уолтера хорошее впечатление. Он сказал, что вас видно насквозь.

— Вот как?

Бобби Феррар взял со стола красную книжечку, любовно на нее поглядел и положил в карман.

— Ну что ж, пойдете?

На улице Динни так глубоко вдохнула, словно хотела вобрать в себя весь этот ноябрьский вечер — и никак не могла надышаться.

— Бегу на почту! — сказала она. — Ведь он теперь уже не передумает, правда?

— Он дал мне слово. Вашего брата освободят сегодня вечером.

— Ах! Мистер Феррар!

И вдруг у нее из глаз хлынули слезы. Она наклонила голову, чтобы их скрыть, а когда повернулась к своему спутнику, его уже и след простыл.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Динни отправила телеграммы отцу и Джин, позвонила по телефону Флер, Адриану и Хилери, взяла такси и ворвалась к кабинет дяди. Сэр Лоренс сидел у камина с раскрытой книгой на коленях. Он поднял голову.

— Ну, как, Динни?

— Спасен!

— Это все ты!

— Бобби Феррар говорит, что мы всем обязаны судьбе. А я чуть было не испортила дела.

— Позвони.

Динни позвонила.

— Блор, попросите сюда леди Монт.

— А у нас радость, Блор: мистера Хьюберта освободили!

— Спасибо, мисс; я поставил на это шесть фунтов против четырех.

— Что бы нам сделать на радостях, Динни?

— Мне придется поехать в Кондафорд.

— Но сначала ты с нами поужинаешь. И сегодня ты

у меня напьешься. А как будет с Хьюбертом? Кто его встретит?

— Дядя Адриан сказал, что мне лучше не ходить; он пойдет сам. Хьюберт, конечно, побежит домой и будет ждать Джин.

Сэр Лоренс лукаво ей подмигнул.

— Откуда она прилетит?

— Из Брюсселя.

— Так вот где у них оперативный центр! Ликвидация этого предприятия доставляет мне почти такое же удовольствие, как освобождение Хьюберта. У них бы ничего не выгорело,— не такое теперь время.

— Могло бы и выгореть,— заявила Динни: теперь, когда в побеге не было больше необходимости, мысль о нем уже не казалась такой невероятной.— Тетя Эм! Какой у тебя чудный халат!

— Я переодевалась. Блор выиграл четыре фунта. Динни, поцелуй меня. И дядю тоже. Ты так мило целуешься, совсем не платонически. Если я выпью шампанского, я завтра слягу.

— Тогда зачем тебе его пить?

— Надо. Динни, обещаю, что ты поцелуешь этого молодого человека.

— Уж не платят ли тебе комиссионные с поцелуев, тетя Эм?

— Я знаю, он собирался выкрасть Хьюберта из тюрьмы, распилить решетку или что-то вроде этого, и не спорю со мной. Наш священник рассказывал, что он прилетел с бородой, взял ватерпас и две книги о Португалии. Люди всегда бегут в Португалию. Теперь священник успокоится, а то он совсем похудел. Вот я и думаю, что ты должна его поцеловать.

— В наши дни поцелуй ничего не стоит. Я чуть было не поцеловала Бобби Феррара, но он вовремя увернулся.

— Динни некогда целоваться,—сказал сэр Лоренс,— она будет позировать портретисту. Динни, мой молодой человек завтра же будет в Кондафорде.

— У твоего дяди пунктик, Динни,— он собирает Женщин с большой буквы. А их давно уже нет и в помине. Вымерли. Все мы теперь просто женский пол.

Динни уехала в Кондафорд последним поездом. За

ужином ее так усердно поили вином, что в вагоне она сидела в каком-то блаженном полусне, радуясь всему — и быстрому движению поезда и серебряной луне в темном небе, пронесившейся за окном. Счастливая улыбка то и дело появлялась у нее на губах. Хьюберт свободен! Кондафорд спасен! Отец и мать вздохнут с облегчением! Джин счастлива! Алану больше не угрожает позор! Ее спутники, честные обыватели (она ехала третьим классом), поглядывали на нее — кто откровенно, а кто украдкой — с любопытством и недоверием: чего это она все улыбается? Выпила лишнего или просто влюблена? Может быть, и то, и другое, и еще третье? Динни же, в свою очередь, смотрела на них с благодушным сожалением: у них-то, бедняг, голова не кружится от счастья. Полтора часа пролетели быстро, и она вышла на тускло освещенную платформу не такая сонная, но все такая же счастливая, какой села в поезд. Она позабыла в телеграмме предупредить о своем приезде, и теперь ей пришлось сдать вещи на хранение и отправиться пешком. Динни пошла по большой дороге, — так было дальше, но ей хотелось пройтись и вдоволь надышаться воздухом родных мест. Ночью все кажется незнакомым: дома, изгороди, деревья, — она видела их как будто впервые. Дорога углубилась в лес. Пронеслась машина, и в слепящем свете фар Динни заметила, как через дорогу прошмыгнула ласка — странный зверек, по-змеиному изгибавший свою длинную спинку. Минуту она помедлила на мостике через узкую извилистую речушку. Этот мост стоял здесь уже не одно столетие, он был почти так же стар, как самые древние камни Кондафорда, но все еще очень крепок. Сразу за ним высились ворота парка; в самые дождливые годы речка разливалась в половодье по лугам почти до самого кустарника, где когда-то был ров. Динни толкнула калитку и пошла по траве вдоль главной аллеи между рододендронами. Перед ней раскинулся фасад дома, который был, собственно, его задней стеной, — длинный, приземистый, погруженный сейчас в темноту. Ее не ждали, время подходило к полуночи; ей пришло в голову потихоньку обойти дом и полюбоваться при лунном свете на это серое, призрачное здание, окруженное деревьями и увитое плющом. Динни вышла на лужайку мимо тисов, отбрасывавших ко-

роткие тени у верхней террасы парка, и остановилась на газоне, дыша полной грудью и стараясь наглядеться на все, к чему она так привыкла с детства. Оконные стекла и блестящие листья магнолий призрачно сверкали в лунном свете; старый каменный фасад таил столько загадок! Как красиво! Только в одном окне горел свет — в кабинете отца. Ей показалось странным, что все так рано легли спать, еще не придя в себя от радости. Она пробралась на террасу и заглянула в комнату сквозь неплотно задернутые занавески. Генерал сидел за письменным столом, заваленным бумагами; голова его была опущена, руки зажаты между коленями. Ей была видна впадина у виска, сильно поседевшие в последнее время волосы, сжатые губы, угрюмое выражение лица. Он сидел в позе человека, покорно ожидающего рокового известия. В городе, на Маунт-стрит, она читала книгу о гражданской войне в Америке, — именно так, подумала она, мог выглядеть какой-нибудь старый генерал из южан в ночь перед капитуляцией Ли¹. Только тогда они все носили бороды. И вдруг она поняла, что здесь, как на беду, еще не получили ее телеграммы. Она постучала в окно. Отец поднял голову. При свете луны лицо его было пепельно-серым; он явно решил, что она привезла дурные вести. Он открыл окно, Динни перегнулась в комнату и положила руки ему на плечи.

— Папа! Неужели вы не получили моей телеграммы? Все хорошо, Хьюберт свободен!

Генерал судорожно схватил ее за руки, лицо его залилось краской, губы разжались, в один миг он помолодел лет на десять.

— Это... это правда, Динни?

Динни кивнула. Она улыбалась, но на глазах у нее были слезы.

— Боже мой! Вот это новость! Входи скорее. Я должен сейчас же сказать маме!

И он выбежал из комнаты.

Динни постояла в этой комнате, строгой, как казарма, вопреки всем попыткам навести здесь хоть какую-нибудь красоту; все с той же улыбкой, которая теперь

¹ Генерал Роберт Эдуард Ли (1807—1870), во время гражданской войны в США командовал армией южан-рабовладельцев.

уже не сходила с ее лица, она разглядывала поле битвы, где потерпело поражение искусство. Ах, уж этот папа со своими документами, военными книгами, пожелтевшими фотографиями, сувенирами из Индии и Южной Африки, акварельным портретом любимого скакуна, со своей картой поместья, шкурой леопарда, что когда-то его помял, и двумя лисьими мордами — ну, теперь он опять будет счастлив! Дай бог ему здоровья!

Отцу и матери, наверно, будет приятнее остаться со своей радостью наедине; и Динни пробралась наверх в комнату Клер. Этот самый буйный отпрыск их рода спал, высунув из-под одеяла руку в пижаме и подперев кулаком щеку. Динни ласково посмотрела на темную стриженую головку и снова вышла. Зачем нарушать ее сладкий сон! Она постояла у открытого окна своей спальни, глядя сквозь почти оголенные ветки вязов на залитые луною поля и дальний лес. Сейчас ей трудно было не верить в бога. И в то же время ей казалось подлым и мелким верить в бога, когда все идет хорошо, и не верить в него, когда у тебя беда, — точно так же, как подло и мелко молиться богу, когда тебе от него что-нибудь нужно, и не молиться, когда тебе нечего у него просить. Впрочем, ведь бог — это Вечный Разум, недоступный нашему пониманию, а отнюдь не любящий отец, которого легко и просто понять. И чем меньше об этом думать, тем лучше. Она снова дома, как корабль после бури, и это — самое главное. Динни покачнулась и поняла, что засыпает стоя. Кровать не была постелена; вынув старенький, теплый халатик, она сбросила туфли, платье, пояс с подвязками, накинула халатик и свернулась клубочком под пуховым одеялом. Через две минуты она уже спала — все с той же улыбкой на губах.

На следующее утро, когда они сидели за завтраком, пришла телеграмма от Хьюберта: он сообщал, что они с Джин приедут к ужину.

— «Сенсационное возвращение молодого помещика под родной кров! — пробормотала Динни. — С ним молодая, любимая жена!» Слава богу, будет уже темно, и мы сможем заклать тельца для блудного сына без посторонних глаз. А у тебя есть телец, папа?

— У меня еще осталось от деда две бутылки «Шам-

бертена» тысяча восемьсот шестьдесят пятого года. Мы разопьем их; есть у нас и старый коньяк.

— Хьюберт очень любит вальдшнепов, можно их достать, мама? И блинчики. А как насчет речных устриц? Он обожает устрицы.

— Постараюсь, Динни.

— Непременно грибы,— добавила Клер.

— Боюсь, мама, что тебе придется порыскать по всей округе.

Леди Черрел улыбнулась; она разительно помолодела.

— Сегодня славный денек для охоты,— сказал генерал.— Что скажешь, Клер? Соседи собираются у Уайвел-кросс в одиннадцать.

— С удовольствием.

Проводив отца с Клер на конюшню, Динни пошла погулять с собаками. Чувство облегчения после долгой тревоги, мысль, что больше не из-за чего волноваться,— все это было так восхитительно; ее даже не смущало, что служебные дела Хьюберта за эти два месяца ничуть не поправились,— а ведь прежде они ее порядком огорчали. Положение его было не лучше, а даже хуже прежнего,— ведь ему придется думать теперь и о жене; и все-таки на сердце у Динни было легко. Это доказывало, что Эйнштейн прав и все на свете относительно.

Напевая «Линкольнширского браконьера», она побежала в парк, но треск мотоцикла в аллее заставил ее обернуться. Кто-то помахал ей рукой и, загнав машину в куст рододендрона, направился к ней, снимая на ходу шлем.

Ну, конечно, Алан! И она поняла, что ей вот-вот снова сделают предложение руки и сердца. Сегодня уж ему ничто не помешает,— он даже не совершил опасного подвига, и предложение не будет выглядеть как требование награды.

«Одна надежда,— подумала она,— что он еще не сбрил бороду, и это его остановит». Увы! На загорелом лице Алана выделялся светлый подбородок.

Он подошел к ней с протянутыми руками, и она протянула ему свои.

Так, держась за руки, они постояли, глядя друг на друга.

— Ну,— сказала наконец Динни,— рассказывайте. Вы напугали нас до смерти, молодой человек.

— Давайте куда-нибудь сядем, Динни.

— Хорошо. Не наступите на Скарамуша, он у вас под ногой, а ножка у вас не маленькая.

— Не такая уж большая. Динни, вы выглядите...

— Ничего подобного,— сказала Динни,— я выгляжу как драная кошка. И все знаю — и насчет профессора, и насчет ящика для боливийских скелетов, и насчет подмены Хьюберта на пароходе.

— Откуда?

— Не такие уж мы дураки, Алан. А какова была ваша роль — зачем понадобилась борода? Мы не можем сесть прямо на камень.

— А я не сойду за подушку?

— Никак. Лучше подложите куртку. Теперь рассказывайте!

— Что ж,— сказал он, с неодобрением разглядывая свой башмак,— если уж вам так хочется знать... Конечно, мы еще не придумали ничего определенного,— все зависело от того, как его отправят. Было несколько возможностей. Если бы пароход зашел по дороге в порт — в Испании или в Португалии,— мы бы действительно воспользовались этим ящиком. Халлорсен поехал бы на пароходе, а Джин и я дожидались в порту с самолетом и настоящими скелетами. Джин должна была пилотировать самолет, она просто рождена для этого, и они полетели бы в Турцию.

— Да,— сказала Динни,— мы так и догадались.

— Каким образом?

— Не важно. А другой вариант?

— Если бы пароход никуда не заходил, все было бы куда сложнее; мы собирались послать подложную телеграмму охране Хьюберта в Саутгэмптон или в другой порт отправления с требованием доставить его в местную полицию для получения дальнейших инструкций. По дороге Халлорсен на мотоцикле врезался бы в них с одной стороны, я — с другой; Хьюберт должен был перескочить в мою машину, и я отвез бы его к самолету.

— Гм! — произнесла Динни.— В кино все это получается хорошо; но неужели и в жизни охранники — такие простофили?

— Видите ли, этот вариант мы еще как следует не разработали. Мы делали ставку на первый.

— А вы все деньги истратили?

— Нет, только около двухсот фунтов; самолет мы можем перепродать.

Динни с облегчением вздохнула и посмотрела на него долгим взглядом.

— Если хотите знать мое мнение,— сказала она,— вы дешево отделались.

Он осклабился.

— Тем более что в случае удачи мне неудобно было бы к вам приставать. Динни, я возвращаюсь сегодня на корабль. Вы не согласились бы?..

— Разлука сближает сердца,— ласково сказала Динни.— Когда вы вернетесь в следующий раз, обещаю вам подумать.

— Можно мне вас поцеловать?

— Можно.

Она подставила ему щеку.

«Вот,— подумала она,— теперь он пылко прильнет к моим губам. Но нет, он этого не сделал! Ей-богу, он меня как будто даже уважает!» — И она поднялась.

— Пойдемте, дорогой мой, и большое спасибо за все, что вам, к счастью, не довелось сделать. Я, честное слово, постараюсь забыть, что я убежденная старая дева.

Он грустно взглянул на нее, словно пожалев о своем самообладании, но все же не мог не улыбнуться в ответ на ее улыбку. Вскоре треск его мотоцикла замер в тиши осеннего дня.

Все с той же улыбкой Динни вернулась домой. Какой он милый! Но нельзя же так сразу! Даже в наши дни люди иногда горько каются в своей поспешности.

Они наспех пообедали, леди Черрел села в фورد, которым правил конюх, и отправилась на поиски тельца. Динни собралась было обойти сад и посмотреть, не осталось ли цветов — уже стоял ноябрь,— но тут ей подали визитную карточку:

*Мистер Нейл Уитни.
Мастерские Фердинанд,
Орчард-стрит,
Челси.*

«Караул! — пронеслось у нее в голове — Это молодой человек дяди Лоренса!»

— Где он, Эми?

— В холле, мисс.

— Пригласите его в гостиную, я сейчас приду.

Динни бросила корзину и садовые перчатки, достала пудреницу и осмотрела свой нос в маленьком зеркальце; в гостиную она вошла с террасы и с удивлением увидела «молодого человека», который удобно расположился в кресле, поставив рядом свои принадлежности. У него была густая седая шевелюра, на черной ленточке висел монокль; когда он поднялся, она поняла, что ему не меньше шестидесяти.

— Мисс Черрел? — спросил он. — Ваш дядя, сэр Лоренс Монт, поручил мне написать с вас миниатюру.

— Знаю, — сказала Динни, — но я думала...

Она не договорила. В конце концов дядя Лоренс любит пошутить; а может быть, для него шестьдесят — и в самом деле молодость.

«Молодой человек» вскинул монокль, и его голубой глаз внимательно уставился на Динни. Склонив голову набок, он сказал:

— Если мы сделаем набросок и вы мне дадите ваши фотографии, я долго вас мучить не буду. Ваше платье... бледно-васильковое... отличный цвет; на фоне неба... у того окна... да, небо не слишком синее... в нем чисто английская белизна. Может быть, приступим, пока свет хороший?

И, не переставая болтать, он уже раскладывал мольберт и краски.

— Английская леди — вот идея сэра Лоренса; высокая культура, но не бросается в глаза. Чутьочку повернитесь. Спасибо... ваш нос...

— Ну, — сказала Динни, — это безнадежно.

— Что вы! Что вы! Прелестный нос. Насколько я знаю, вы нужны сэру Лоренсу для его коллекции. Я уже сделал для него две работы. Опустите, пожалуйста, глаза. Нет, посмотрите на меня. Вот. Зубы... замечательно.

— Пока еще все мои собственные.

— Такая улыбка нам и нужна; чутьочку лукавства, не слишком много, как раз в меру.

— Ровно три унции лукавства и ни капельки больше?

— Нет, нет, так уж придираюсь я не буду. Теперь повернитесь, пожалуйста, в три четверти. Ага. Так видна линия головы; цвет волос восхитительный.

— Не слишком рыжие?

«Молодой человек» не ответил. Он уже начал сосредоточенно рисовать и делать заметки на полях.

Наморщив брови, Динни не решалась шевельнуться. Он вдруг бросил писать и подкупаяще ей улыбнулся.

— Да, да, да,— сказал он.— Вижу, вижу.

Что он увидел? Ее вдруг охватило смятение, и она сжала руки.

— Поднимите руки, мисс Черрел. Нет! Слишком много святости. Не забудьте, у вас чертики в волосах. Смотрите на меня, прямо на меня.

— Как, радостно? — спросила Динни.

— Не слишком радостно, как раз в меру... Да, вот чисто английский взгляд — прямой, но сдержанный. Теперь поверните шею! Чуть-чуть откиньте голову. Во-от так. Знаете, как смотрит лань: немножко... нет, не испуганно... чуть-чуть горделиво.

Он снова принялся рисовать и делать наброски,— он весь ушел в работу, словно был тут один.

А Динни думала: «Если дядя Лоренс хочет получить портрет деревянной куклы, он его получит».

«Молодой человек» бросил карандаш, отошел назад, склонив голову совсем набок; все его существо, казалось, было сосредоточено в монокле, который он направил на Динни.

— Выражение! — пробормотал он.

— Вы, должно быть, хотите, чтобы у меня был жалобный взгляд, как у безработной?

— Шалунья! — сказал «молодой человек». — Углубитесь в себя. Можно я поиграю на рояле?

— Конечно. К сожалению, на нем давно не играли.

— Сойдет.

Он сел, откинул крышку, подул на клавиши и заиграл. Играл он с силой, но мягко, как настоящий мастер. Динни слушала, стоя у рояля, и музыка совершенно ее захватила. Это был явно Бах, но она не знала, что именно. Проникновенная, строгая, ясная тема повторялась

снова и снова; однообразная, она все же волновала так, как может волновать только Бах.

— Что это?

— Хорал Баха в переложении одного пианиста.

«Молодой человек» снова уставился моноклем в клавиши.

— Дивно! Слышите небеса и шагаете по цветущему лугу,— прошептала Динни.

«Молодой человек» захлопнул крышку рояля и встал.

— Вот что мне нужно, вот что мне нужно, моя дорогая леди.

— Как! — сказала Динни.— И это все?

1931 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТЬ СВЯТОГО

Перевод Л. Чернявского

Часть первая	5
Часть вторая	77
Часть третья	156
Часть четвертая	251

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Книга первая. ДЕВУШКА ЖДЕТ. Перевод Е. Гольщевой и Б. Изаксона	293
---	-----

Джон Голсуорси.
Собрание сочинений в 16 томах.
Том IX.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Оформление художника
А. Васина.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подписано к печ. 7/V 1962 г. Тираж 375 000 экз. Изд. № 524. Зак. 765.
Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Бум. л. 9,5. Печ. л. 31,16 + 4 вкл. (0,41 печ. л.)
Уч.-изд. л. 32,94. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
Москва, А-47, улица «Правды», 24.